

РУССКАЯ ИСТОРИ-ЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988




Н.М.КАРАМЗИН

•

В.А.ЖУКОВСКИЙ

•

К.Н.БАТЮШКОВ

•

Н.А.БЕСТУЖЕВ

•

А.А.БЕСТУЖЕВ – МАРЛИНСКИЙ

•

О.М.СОМОВ

•

Ф.В.БУЛГАРИН

•

Н.А.ПОЛЕВОЙ

•

А.О.КОРНИЛОВИЧ

•

К.П.МАСАЛЬСКИЙ

•

Н.В.ГОГОЛЬ

•

А.Ф.ВЕЛЬТМАН

•

Н.В.КУКОЛЬНИК




РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р1
Р89

Составление, подготовка текста,
вступительная статья, комментарии
Ю. А. Беляева

Оформление художника
Д. Шимилиса

Р $\frac{4702010100-367}{028(01)-88}$ 1–88

ISBN 5–280–00094–9 (Т.1)
ISBN 5–280–00093–0

ЭПОХИ, ВОСКРЕШЕННЫЕ СЛОВОМ

I

Классицизм, утвердивший себя высокими трагедиями и патетическими одами, оставил заметный след и в жанре героико-исторической поэмы (достаточно вспомнить хотя бы «Россияду» Хераскова). На смену одам пришли эпические поэмы, затем наступил черед повести и еще позже романа. Что касается исторической повести, то она в России практически принадлежит уже литературе XIX столетия с ее новыми стилями и направлениями — от сентиментализма и романтизма до символизма и акмеизма. Последний был уже детищем XX века, и именно им завершилась более чем вековая эволюция русской исторической повести, у колыбели которой стояли два выдающихся прозаика — Н. М. Карамзин и А. А. Бестужев-Марлинский.

Становление русской исторической повести заняло не менее трех десятилетий (конец 1790-х — конец 1820-х гг.). В этот период на авансцену литературной жизни вышел сам жанр повести. В 1827 году Пушкин, тогда еще целиком принадлежавший поэзии, тем не менее признавал приоритет этого жанра: «Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частию журнала...» [1] Плодотворно развивалась и одна из важнейших разновидностей жанра — историческая повесть. Откликаясь на бум исторической тематики в прозе, Белинский не без некоторой иронии замечал: «Кто не пишет в наше время романов и повестей, особенно же исторических романов и повестей? Кто? — Только люди, ничего не пишущие».

Успех повести во многом был связан с тем, что, являясь промежуточным жанром между романом и новеллой, она предоставляла автору наибольшую свободу в выражении его идей

[1] Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9. М., 1962, с. 264.

и в передаче жизненного материала. В исследованиях по поэтике можно найти подтверждение этой точки зрения: «Повесть — наиболее свободный и наименее ответственный эпический жанр, и потому она получила такое распространение в новое время» [1].

Иногда, конечно, бывает весьма сложно отнести то или иное произведение к жанру «повести» или «романа». Характерными примерами могут служить «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Андрей Безыменный» А. О. Корниловича. В основном мы отличаем повесть от романа и по отсутствию полифонизма в структуре, и по меньшему числу действующих лиц, и по краткости временной амплитуды. Как правило, повесть не претендует и на разносторонний анализ изображаемых событий. Она, можно сказать, моментальный снимок какого-либо фрагмента действительности — современной автору или уже ставшей историей. По определению Белинского, «повесть — распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа» [2]. Один из первых отечественных теоретиков этого жанра известный русский критик Н. И. Надеждин выступил с еще более лаконичной формулировкой: «Повесть не что иное, как — роман в миниатюре!» [3] Деля все повести на три вида: *«философические, сентиментальные* и *собственно дееписательные»*, относя к последним историческую повесть и считая, что она есть «изображение жизни как сцепления действий», критик далее продолжает: «Повесть *историческая* в наше время, наравне с историческим романом, подчиняется строгим условиям поэтической истины, есть настоящий эпизод истории в лицах» [4].

Действительно, уже в первой половине XIX века историческая повесть явила собой широкий спектр не только разнообразных тем и сюжетов, но и жанровых разновидностей. Появляются повести историко-биографические, посвященные жизнеописанию замечательной личности, историко-авантюрные, с акцентом на острозанимательной интриге, историко-фольклорные, основанные на легендарном и этнографическом материале.

Другое деление исторической повести по типологии основывалось на роли автора в повествовании, когда он подчеркивал дистанцию между собой и героем или, напротив, добивался отождествления с ним. Этому делению, правда, не в адекватном объеме, с некоторыми исключениями, соответствовали и два типа

---

[1] Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов в двух томах, т. II. М.—Л., 1925, с. 602.

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1. М., 1976, с. 150.

[3] Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 321.

[4] Надеждин Н. И. Указ. соч., с. 104.

исторического повествования: поэтический, с романтически-условным изображением прошлого, и прозаический, ориентированный на фактологическую точность и этнографическую достоверность.

Как раз обе исторические повести Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа-посадница» при некоторой условности обобщения представляют эти два основных направления.

В лице Карамзина историческая проза оказалась связана со становлением русского сентиментализма, обязанного своим возникновением прежде всего переводам «чувствительных» романов Ричардсона («Памела», «Кларисса Гарлоу», «История сэра Чарльза Грандисона») и сочинений Стерна («Сентиментальное путешествие»). Все названные произведения появились в русском переводе в течение каких-нибудь шести лет, с 1787 по 1793 годы и послужили, конечно, мощным толчком к эмоциональному обновлению уже воспитанного екатерининской эпохой чувства галантности и личной значимости отдельного человека. Гуманизированная, «человечески» мотивированная концепция истории требовала не только иного в сравнении с классицизмом идейного акцента, но и иных средств художественного выражения.

Нравственная интерпретация исторического процесса была особенно характерна для Карамзина: «И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой: здесь все для души, все для ума и чувства» [1]. В первой же его исторической повести «Наталья, боярская дочь», с которой обычно связывают зарождение самого жанра [2], чувствуется и идеализация главных героев, включая царя Алексея Михайловича, и любование самим этнографическим колоритом прошлого. Приметы времени, несмотря на относительно короткую отдаленность (всего лишь одно столетие), еще недостаточно конкретизированы и в ряде эпизодов условны по своим реалиям. И хотя патриархальные времена допетровской Руси служат прежде всего красочным фоном для сентиментальной любовной интриги, самый выбор эпохи все же согласуется с теми принципами восприятия истории как школы нравственного, духовного и патриотического воспитания, которые отстаивал Карамзин. Позднее он перенес акцент на познавательный характер исторической литературы: «Я не верю той любви к отечеству, которая презирает

---

[1] Карамзин Н. М. Соч., т. 3. СПб., 1848, с. 654.

[2] Если строго следовать хронологии, то первыми историческими повестями необходимо признать повести А. Сумарокова о стрелецком бунте и Стеньке Разине (1768 и 1775 гг.), а также малоизвестное творение Г. Лазаревича «Добродетельная Розана» (1782).

его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» [1].

Поэтому в следующей исторической повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» уже чувствуется бо́льшая опора на исторический документ. История становится самим предметом изображения, а не красочно декоративным фоном для любовной или авантюрной интриги. Герои повести — деятели русской истории Марфа Борецкая, последняя защитница новгородской вольности, великий князь московский Иоанн III, завершивший грандиозную задачу восстановления русского централизованного государства, дают автору благодатную возможность рассказать о подлинных событиях минувшего во всем их трагизме и блеске. Писатель признает и диалектическую сложность исторического процесса: «Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую к своей державе: хвала ему! Однако ж сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права...»

Образ Марфы-посадницы, созданный Карамзиным, можно рассматривать как предтечу героических образов романтических бунтарей и правдоискателей в творчестве писателей-декабристов.

Новая повесть Карамзина была написана им в 1802 году, накануне начала работы над многотомной «Историей государства Российского», ставшей великим научным подвигом писателя-историка. Поэтому текст повести несет на себе явные следы знакомства Карамзина с древнерусскими летописями, житиями и апокрифами [2]. Рост карамзинского интереса к отечественной истории хорошо иллюстрирует относящееся к 1800 году одно из его писем к другу, поэту И. И. Дмитриеву, в котором он восклицает: «Я по уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором» [3].

Эпоха 1800-х годов вообще характеризовалась повышенным интересом русского общества к отечественной истории. В 1802 году Карамзин писал с гордостью в издаваемом им журнале «Вестник Европы»: «Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше

---

[1] Карамзин Н. М. Соч. в 2-х томах, т. 2. Л., 1984, с. 154.

[2] См.: Крестова Л. В. Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница» (из истории раннего русского романтизма).— Исследования и материалы по древнерусской литературе. Вып. 1. М., 1961, с. 216—217.

[3] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 116. Интересно, что двумя годами ранее (20 сентября 1798 г.) Карамзин в письме к тому же Дмитриеву считает для себя маловероятным, чтобы он «...месяца три посвятил на чтение русской истории и Голикова» (с. 102).

происхождение: слава была колыбелию народа русского, а победа — вестницею бытия его» [1].

Мысль о приоритете для писателя именно родной истории звучит и в известной статье Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств»: «Таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское...» [2]

В десятилетие, разделявшее две исторические повести Карамзина, было создано еще несколько заслуживающих внимания произведений этого жанра — «Оскольд» М. Н. Муравьева, «Рогвольд» В. Т. Нарежного и «Филарет Милостивый» А. Н. Радищева (эта неоконченная повесть писалась Радищевым в заключении, когда ему был вынесен смертный приговор). Оссиановский колорит с его мрачными красками, внешними эффектами и стилизованной архаикой сочетался в них с еще классицистической поэтикой. Радищевская повесть, правда, выделялась своей житийной основой, которую автор сумел использовать для выражения автобиографических мотивов и ощущений. Тем более что эта форма предоставляла удобную возможность сочетать «высокий предмет» вечных истин с прозой повседневной жизни.

Исповедальный характер повести опирался на устойчивую традицию в древнерусской литературе, наиболее значительными проявлениями которой были «Житие» протопопа Аввакума, «Житие Стефана Пермского» и «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. Нравственное кредо радищевского произведения выражено в рассуждении автора о том, что «добродетель есть вершина всех наших деяний».

Морализаторская направленность характеризовала и повести Нарежного и Муравьева, но им не хватало психологизма, и они в большей степени подвержены влиянию внешнего стилистического рисунка. Вот образец типичной для Муравьева высокопарной патетики: «Но духу моему более благоприятствует дерзностный подвиг Оскольда. Из дома Севера заманил он за собою сонмы ратников кровожаждущих, убийственных. Как орел низвергся он с высоты небес на добычу, на величественный град царей, процветавший тысячи лет в непроницаемой ограде, в недрах вечной весны...»

Появление карамзинской «Марфы-посадницы», однако, сразу не могло изменить характера русской исторической прозы, поэтому и более поздние произведения были написаны еще в прежней предромантической манере. Это относится и к циклу повестей Нарежного из истории Киевской Руси под общим назва-

---

[1] Карамзин Н. М. Соч. в 2-х томах, т. 2, с. 226.
[2] Там же, с. 154.

нием «Славенские вечера» (1 часть — 1809 г.), и к сентиментальной истории В. А. Жуковского «Марьина роща», основанной на легендарном предании из времен Владимира (1809), да и к другим произведениям такого рода, среди которых следует отметить «Ермака, завоевателя Сибири» И. Буйницкого (1805) и «Русские исторические и нравоучительные повести» С. Н. Глинки (1810). И хотя общественное развитие эпохи опережало эволюцию литературного мышления и стиля, все же историческая проза начала XIX века выполняла свои функции, как познавательные, так и воспитательные. Беллетризируя летописные и исторические материалы, Сергей Глинка, например, более всего заботится о достижении нравоучительного эффекта. Это характерно для его повестей «Григорий», «Князь Василько Ростиславович, внук Всеволодов, правнук Ярославов. 1097», «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, супруги князя Ивана Алексеевича Долгорукого» [1].

Столь же дидактичны и повести Нарежного, которые тем не менее, по мысли русского исследователя литературы Н. А. Энгельгардта, «для своего времени являются важным литературным вкладом. Самая область, которую затронул автор — Владимир и его богатыри, показывает большую чуткость» [2].

Тема Киевской Руси, с ее богатырями, с идеализированными мудрыми государями, вообще пользовалась особой популярностью в русской исторической прозе не только в начале века, но и в более поздний период (вспомним основанные на былинах романы 1830-х гг., принадлежавшие перу А. Ф. Вельтмана). Эпохе великого князя Киевского Владимира Святославовича посвящена и единственная историческая повесть выдающегося поэта-романтика Константина Батюшкова «Предслава и Добрыня». Написанная в 1810 году, она была опубликована лишь в 1831 году в альманахе «Северные цветы». В предпосланном ей примечании, принадлежавшем, возможно, Пушкину, говорилось, что, «может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности, может быть, скажут, что в ней не видно Древней Руси и двора Владимирова. Как бы то ни было, но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в других его произведениях, и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом».

---

[1] Некоторые сюжеты С. Глинки позднее были использованы другими русскими литераторами — А. А. Шаховским, В. К. Кюхельбекером, К. Ф. Рылеевым.

[2] Энгельгардт Н. История русской литературы XIX столетия, т. 1. СПб., 1902, с. 68.

Но повесть Батюшкова интересна и своим историко-этнографическим фоном. Желая не допустить «больших отступлений от истории» и подчеркивая свое внимание к историческим реалиям, автор даже снабдил текст специальными примечаниями со ссылками на источники. Правда, атмосфера сказки снижает историзм «Предславы и Добрыни» и сближает ее по художественной структуре с «богатырской» поэмой. Примерами последней могут служить «Илья Муромец» Н. М. Карамзина и «Добрыня» Н. А. Львова с характерной для них стилизацией сюжетов фольклорного эпоса.

Творчество писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского стало новым, качественно иным шагом в развитии русской исторической повести. Появление его повестей, сыгравших важную роль в развитии русского романтизма, было обусловлено и успехами отечественной исторической науки, в активе которой теперь был титанический труд Карамзина «История государства Российского», и эволюцией самого общества, пережившего колоссальный подъем национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года. Как вспоминал сам Бестужев-Марлинский, «тогда слова *отечество* и *слава* электризовали каждого» [1].

Несомненно способствовало развитию исторической прозы и утверждение в литературе романтического направления с его тираноборческим пафосом, с духом рыцарства и повышенным вниманием к героической личности. Особое место в этом ряду занимают романтические произведения литераторов-декабристов. В самой природе романтизма, тяготевшего ко всему яркому и необычайному, лежал и интерес к историческому. Как писал один из критиков 1810-х годов, романтизм «любит воспоминания о старинных обычаях, любит тосковать по минувшем», и состоит он среди прочего и в «возобновлении тех событий, которыми люди занимались во времена рыцарства» [2].

Проповедуя творческие принципы романтизма, А. А. Бестужев в немалой степени способствовал обновлению литературного вкуса как у самих писателей, так и у читающей публики. В эти годы он последовательно выступал с позиций революционного романтизма, чему содействовала, конечно, и его дружба с К. Ф. Рылеевым, о которой писатель позднее вспоминал так: «Мы

---

[1] Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., 1981, с. 394.

[2] Снядецкий И. О творениях классических и романтических.— Вестник Европы, 1819, № 7, с. 197, 194.

мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более».

Вместе с Карамзиным Бестужеву-Марлинскому принадлежит честь создания в России жанра исторической повести. Историческая проза, написанная А. А. Бестужевым в первой половине 1820-х годов, ценна еще и тем, что была выражением декабристской идеологии и эстетики. Пафос свободолюбия и антидеспотическая настроенность характерны как для первых повестей Бестужева на древнерусскую тематику («Роман и Ольга», «Изменник»), так и для произведений «ливонского» цикла («Замок Нейгаузен», «Ревельский турнир», «Замок Эйзен»). Огромное значение имели эти вещи для становления и разработки отечественной исторической прозы. Один из виднейших представителей русского романтизма Николай Полевой в предисловии к своему знаменитому историческому роману «Клятва при гробе господнем» отмечал заслуги именно Бестужева: «Первые опыты настоящих исторических повествований явились еще в 1821 году (sic!) в «Полярной звезде». Разумею здесь повести А. Бестужева: «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Замок Нейгаузен»...»

Белинский также называл Бестужева-Марлинского «зачинщиком русской повести» [1].

Высоко ценил творчество писателя и Пушкин. В марте 1825 года великий поэт писал ему: «...для себя жду твоих повестей да возьмись за роман — кто тебя держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова; в Европе также получишь свою цену — во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок etc ...» [2] Не изменилось его отношение к Бестужеву как к выдающемуся литератору и в тридцатые годы, когда последнему по политическим причинам пришлось превратиться в прозаика Марлинского. Вот свидетельства известного журналиста той эпохи Кс. Полевого: «Соглашаюсь с Пушкиным, который сказал, что *из живых писателей Бестужев теперь один романист в Европе*» [3].

Трагедия восстания на Сенатской площади, казалось бы, должна была навсегда вычеркнуть Александра Бестужева из числа активно действующих литераторов. Однако на удивление всем он, приговоренный к каторге, прошедший через ужас николаевских казематов и ссылки в Якутию, проведший последние восемь лет своей жизни солдатом в сражавшейся на Кавказе

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 151.

[2] Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, с 144.

[3] Цит. по кн.: Канунова Ф. З. Эстетика русской романтической повести. Томск, 1973, с. 33.

армии, с триумфом вернулся в большую литературу, став самым популярным прозаиком в России в 1830-е годы.

В этот период Бестужев-Марлинский, несмотря на труднейшие жизненные условия, продолжает плодотворно работать в жанре повести, в том числе и исторической. В 1831 году в свет выходят увлекательно написанные «Наезды» и «Лейтенант Белозор». Художественных успехов добивается Марлинский и как писатель-баталист, причем в произведениях и на современную, и на историческую тематику. По словам видного исследователя литературы прошлого века Н. А. Котляревского, Бестужеву-Марлинскому «принадлежит честь одного важного литературного открытия. Он открыл русского солдата и офицера, того самого, который у всех был на глазах, которым все восхищались и о ком, кроме заученных фраз, не умели сказать ничего путного» [1].

Говоря о «Лейтенанте Белозоре» — повести о приключениях русских военных моряков в оккупированной Наполеоном Голландии, в свое время высоко оцененной Пушкиным, Котляревский, вслед за В. В. Стасовым («Всего больше мы восхищались «Лейтенантом Белозором»), подтверждает: «Редкая повесть тех лет читается с таким интересом, как эта» [2].

На «ливонскую» тематику написана и повесть Н. А. Бестужева (старшего брата Бестужева-Марлинского) «Гуго фон Брахт», носящая подзаголовок «Происшествие XIV столетия». Рыцарское средневековье с ужасами тайного суда, с культом силы давало возможность писателю показать извечное столкновение Добра и Зла. В трагизме жизненного пути рыцаря Гуго фон Брахта, из-за людского вероломства потерявшего свою семью и вынужденного стать предводителем шайки разбойников, угадываются мотивы популярной у романтиков темы Рока. Средневековым романтическим колоритом пронизана и повесть Н. Н. Муравьева «Превратности судьбы».

Много схожих черт с повестями Н. Бестужева и Муравьева находим в «эстонской повести» В. К. Кюхельбекера «Адо» (1824). Однако произведение это примечательно еще и тем, что исполнено страстного пафоса национально-освободительной борьбы. Действие повести происходит в древней Эстонии в XIII веке. Нашествие Ливонского ордена заставляет старейшину племени Адо уйти после поражения в леса и там продолжать неравную борьбу. Содержание повести характерно для декабристского мировоззрения с его сочувствием к обездоленным, явным неприятием любой формы деспотизма.

---

[1] Котляревский Н. Декабристы. Кн. А. Одоевский и А. Бестужев. СПб., 1907, с. 255.

[2] Котляревский Н. А. Указ. соч., с. 281.

Другое направление в исторической прозе декабристов представлено повестями А. О. Корниловича «За Богом молитва, за царем служба не пропадают», «Утро вечера мудренее», «Татьяна Болтова» и «Андрей Безыменный». Обращение к той эпохе, которую принято считать началом новой истории России, а также внимание к историческим реалиям и простота стиля выгодно отличают повести Корниловича. Сам Корнилович назвал «Андрея Безыменного» «небольшим историческим романом», но это произведение все же по жанровой характеристике больше напоминает развернутую повесть, что было тотчас замечено современниками. Так, «Московский телеграф» писал: «По самому объему книги, «Андрей» собственно не роман, но *повесть*» [1].

Написана повесть была в Петропавловской крепости, и, естественно, писатель не мог пользоваться исторической документацией, что сказалось на степени исторической точности произведения, на характере некоторых обобщений [2]. Между тем сам Корнилович выступал за скрупулезное отношение к документу, считая, что историческая проза требует «величайшей точности в событиях, характерах, обычаях, языке». То обстоятельство, что писатель выступал в ряде своих исследований, посвященных петровской эпохе, как профессиональный историк, наложило отпечаток и на художественную прозу Корниловича, освободив ее от анахронизмов и риторичности.

Писатель видел в петровских временах благодатнейший материал для исторического прозаика: «Какое обширное поприще для писателя с дарованием представить государя, юношу еще полудикого, в беседе с Лефортами, Гордонами, Тасмановыми, замышляющего пересоздать себя и Россию!» [3]

В понимании реформаторской сущности петровского правления Корнилович оказался предшественником многих писателей, в том числе Пушкина.

Современники Корниловича особенно ценили в его исторических повестях «верный очерк русского быта во времена Петровы» [4]. И в этом смысле нельзя не согласиться с оценкой «Андрея Безыменного» Н. Полевым, обратившимся со страниц «Московского телеграфа» к читателям с призывом: «...читайте его, как живую картину жизни русской при Петре Великом» [5].

Петровскую тематику разрабатывали в ряде своих повестей также К. П. Масальский, получивший известность историческими

---

[1] Московский телеграф, 1832, № 14, с. 241.

[2] Повесть была напечатана в типографии III Отделения без указания имени автора.

[3] Корнилович А. О. Соч. и письма. М.— Л., 1957, с. 301—302.

[4] Телескоп, 1832, № 17, с. 107.

[5] Московский телеграф, 1832, № 14, с. 242.

романами «Стрельцы» и «Регентство Бирона», и представитель русского романтизма Н. В. Кукольник. Повести Масальского «Черный ящик» и «Русский Икар» удачно сочетали сюжетную занимательность с исторической достоверностью, с колоритными зарисовками Петра I, князя Меншикова, придворного шута Балакирева. В 1833 году сразу же по выходе в свет «Черного ящика» журнал «Московский телеграф» в рецензии на эту повесть Масальского отмечал, что автор «тщательно изучает характеры», быт и нравы избранной им эпохи. История каждой улицы в Петербурге, каждого места и даже дома замечательного известны ему». Литературная критика, как правило, видела достоинство произведений Масальского, включая и «Черный ящик», в том, что они «представляют верные очерки эпох и характеров» [1].

Схожих оценок удостоились и повести Кукольника. Как писала о них «Библиотека для чтения», «сочинения из времен Петра Великого представляют едва ли не самые точные, какие можно создать в художестве, картины этого интересного времени» [2].

И в самом деле, именно в историческом жанре Кукольник-прозаик добился наибольших творческих успехов. Оценивая его прозу, посвященную эпохе Петра I, даже Белинский, который в целом весьма нелестно высказывался о Кукольнике, писал о «неподражаемом мастерстве, с каким г. Кукольник изображает в своих повестях нравы этого интереснейшего момента русской истории...».

По словам критика, «г. Кукольник мастер писать интересные рассказы из времен Петра Великого. Главные достоинства их — простота, естественность и правдоподобие» [3]. Действительно, лучшие повести Кукольника — «Позументы», «Прокурор», «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» — хорошо передают дух и характер эпохи, отличаясь при этом занимательностью сюжета и верностью историческим фактам.

Правда, критика не без основания упрекала Кукольника в идеализации образа Петра I, который, по словам А. И. Скабичевского, для писателя «является постоянным deus ex machina» ⟨богом из машины.— *лат.*⟩ [4]. Зато особо следует выделить повесть «Сержант Иван Иванович Иванов», содержащую откровенное неприятие крепостнических устоев. Этому произведению Белин-

---

[1] Северная пчела, 1845, № 55.

[2] Библиотека для чтения, 1843, № 2, с. 55.

[3] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М., 1979, с. 213, 362.

[4] Скабичевский А. М. Соч., т. 2. СПб., 1890, с. 775.

ский дал восторженную оценку: «Рассказ г-на Кукольника «Иван Иванович Иванов» более чем хорош — прекрасен» [1].

Критический характер повести был «замечен» и власть имущими, вызвав неодобрение самого императора Николая, внимательно следившего за идейным развитием русской литературы. Шеф пресловутого III Отделения граф Бенкендорф поэтому и направил автору письмо, в котором писал: «Желание ваше беспрерывно выказывать добродетель податного сословия и пороки высшего класса людей не может иметь хороших последствий, а потому не благоугодно ли вам будет на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства» [2].

Но, естественно, не только образ великого царя-реформатора привлекал внимание писателей исторической темы. Многих интересовала суровая и противоречивая эпоха Ивана Грозного.

Так, еще в 1827 году в альманахе «Северные цветы» была напечатана повесть Ф. В. Булгарина «Падение Вендена». Особенности жизненного пути Булгарина (идейная и личная вражда с Пушкиным, сотрудничество с тайной полицией и т. п.) делали невозможным беспристрастное отношение к нему литературной критики. Как верно заметил академик П. Н. Сакулин, «сомнительная репутация Булгарина-человека мешала Булгарину-романисту закрепить за собой то литературное значение, какое все-таки принадлежало его романам» [3]. Объективный анализ развития отечественной литературы действительно раскрывает вклад Булгарина как автора «Дмитрия Самозванца» и «Мазепы» в создание русского исторического романа наряду с Загоскиным и Лажечниковым.

Правда, в жанре исторической повести творческие успехи Булгарина были скромнее, но повесть «Падение Вендена» все же выделяется и занимательностью, и стремлением автора найти поучительные моменты в исторических событиях.

В этой повести Булгарина чувствуется заметное влияние «ливонских» повестей А. А. Бестужева, ощутимое уже в названии (вспомним бестужевский «Замок Венден»). Тот же «страшный», романтический колорит: ясновидящий вещун, предсказывающий правителю Ливонии Магнусу его будущее, и ночное свидание «прелестной» девы с «доблестным воином», заключенным в «тесную темницу». Однако любовная интрига в повести ослаблена: автора больше интересует личность Ивана Грозного, который выведен суровым, но мудрым государем.

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., 1979, с. 469.
[2] Цит. по изд.: Белинский В. Г. Там же, с. 617.
[3] Сакулин П. Н. Русская литература, ч. 2. М., 1929, с. 493.

О том резонансе, который вызвала среди читателей историческая проза Булгарина, можно судить по отзыву А. А. Бестужева: «Мы обязаны ему благодарностию за пробуждение в русских охоты к родным историческим романам» [1].

Легендарному украинскому атаману гайдамаков Гаркуше посвящена небольшая повесть талантливого представителя русского романтизма О. М. Сомова «Гайдамак» (1825). Попытка писателя в образе Гаркуши раскрыть героические черты национального народного характера предваряла работу Гоголя по созданию схожего, но еще более монументального и впечатляющего образа Тараса Бульбы.

Немалый успех выпал на долю первой исторической повести Николая Полевого «Симеон Кирдяпа» (1828). Впоследствии, в 1840-х годах, она получила название «Повесть о Симеоне, Суздальском князе». Однако в истории литературы повесть более известна под первым названием, к тому же только ранняя ее редакция могла оказать непосредственное влияние на развитие жанра как такового.

В исторической повести, написанной в романтической манере, автор сумел достичь художественной убедительности и передать характер изображаемой эпохи. «В «Симеоне Кирдяпе», этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и широкою кистью,— писал В. Г. Белинский,— поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом» [2].

Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», в целом отрицательно оценивая историческую прозу того периода, назвал «блестящими исключениями» лишь романы Загоскина, Лажечникова и Полевого, с некоторыми оговорками включив в это число и повесть «Симеон Кирдяпа» [3].

Сам Н. А. Полевой считал, что для писателя исторического жанра «потребны высший патриотизм и высшие взгляды, которые, соединяясь с мелким изучением местностей и потребностей, могут верно прообразить нам прошедшее». Эти творческие принципы, опробованные в «Симеоне Кирдяпе», писатель еще с большей художественной силой воплотил в своем самом известном произведении — историческом романе «Клятва при гробе господнем», который исследователь творчества Полевого назвал «одним из первых романов-«былей», точно рисующим исторические со-

---

[1] Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 2, с. 448.
[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 156.
[3] Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967, с. 205.

бытия, при отсутствии отличительных принадлежностей романов этого вида, как: любовная интрига, главный герой и т. д.» [1]. Эта характеристика приложима и к «Симеону Кирдяпе», имеющему подзаголовок «Русская быль XIV века». И действительно, внимание автора занимает политическая история нижегородского княжества в конкретный исторический момент. Автор стремится показать сложную политическую обстановку, в которой действуют сторонники и противники князя Симеона Кирдяпы. Внутренние распри дополняются вмешательством ордынского князя и угрозой еще более страшного нашествия — среднеазиатских полчищ под предводительством самого Тимура Тамерлана. Интересно, что впоследствии Тамерлану, эпизодически появляющемуся в повести, Полевой посвятит отдельный очерк — «Тамерлан» (1835).

Другим романом, повлиявшим на развитие русской исторической повести, был «Юрий Милославский» М. А. Загоскина (1829). Роман, по мысли советского исследователя, «открыл собственно историю русского романтического романа, построенного на событиях отечественной жизни, на национальном историческом материале» [2].

Современники Загоскина восторженно приветствовали появление романа. С. Т. Аксаков, например, в рецензии, напечатанной в «Московском вестнике» утверждал, «что, наконец, словесность наша обогатилась *первым историческим романом*, первым творением в этом роде, которое имеет народную физиономию: характеры, обычаи, нравы, костюм, язык» [3]. Это мнение подтверждал и Пушкин: «Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши — все это угадано, все это действует, чувствует как должно действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраама Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни!» [4]

Роман Загоскина сыграл значительную роль и в усвоении вальтер-скоттовской традиции русской исторической прозой. Однако его же повесть о благородном разбойнике «Кузьма Рощин» несмотря на те же приемы уже не передавала столь отчетливо национальный колорит и не раскрывала исторический характер эпохи. Ее притчево-морализаторская направленность казалась некоторым художественным анахронизмом, хотя заниматель-

---

[1] Козьмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903, с. 119.

[2] Троицкий В. Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20—30-х годов XIX в. М., 1985, с. 139.

[3] Аксаков С. Т. Собр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., 1986, с. 353.

[4] Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6, с. 41.

ность изложения все же делает это произведение Загоскина достаточно заметным на фоне многочисленных исторических повестей 1830-х годов.

Одним из вершинных произведений русской исторической прозы стала героико-эпическая повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Представляя собой синтез романтической манеры с элементами уже зрелого реализма, гоголевская повесть, первый вариант которой был напечатан в знаменитом «Миргороде» (1835), ознаменовала качественно новый шаг в развитии исторического жанра, доказав, что последний может представлять национальную литературу на высшем художественном уровне.

Пушкин отозвался на появление «Тараса Бульбы» сравнением автора с В. Скоттом. В «Миргороде», писал Пушкин, «... с жадностию все прочли и «Старосветских помещиков»... и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер Скотта» [1]. С этим был согласен и Белинский, также утверждавший, что Гоголь «вышел из Вальтера Скотта». Но в действительности сходство могло заключаться лишь в масштабности литературного таланта. Принципы историзма у писателей были разными. Это подтверждают высказывания самого Гоголя. Работа над повестью у него началась в разгар его историко-научных увлечений, когда он собирался выступить с многотомной «Историей Малороссии». В начале 1834 года Гоголь даже поместил в «Северной пчеле», «Московском телеграфе» и «Молве» объявление о планируемом издании. Оно не состоялось. Однако исторические разыскания его в конечном итоге не были безрезультатными; писатель использовал их при работе над «Тарасом Бульбой». Он изучил наиболее серьезные труды по истории Запорожской Сечи: «Историю о казаках запорожских» Мышецкого, «Описание Украйны» француза Г. де Боплана, многие летописные материалы. И все же наибольшее влияние на него оказал украинский фольклор, особенно народные исторические песни и думы. Существенным подспорьем для писателя стали публикации М. А. Максимовича («Малороссийские песни», 1827) и И. И. Срезневского («Запорожская старина», 1833). В письме к последнему Гоголь признавался: «Если бы наш край не имел такого богатства песен — я бы никогда не писал истории его, потому что я не постигнул бы и не имел бы понятия о прошедшем...» [2]

Поэт в Гоголе победил историка: «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать» [3]. И результатом стала поэтическая трактовка истори-

---

[1] Пушкин. А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6, с. 108.
[2] Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1967, с. 151.
[3] Там же, с. 150.

ческого материала с акцентом на героику и народность, как основные черты древнего эпоса. Эту особенность гоголевского метода довольно тонко подметил В. Я. Брюсов: «История Украйны только подала повод Гоголю рисовать картины какой-то героической эпохи, мечтавшейся ему». Брюсов допускал и влияние Гомера: «Очень вероятно, что бой Дубно и написан не столько на основании изучения малороссийской старины, сколько под влиянием перевода Гнедича «Илиады» [1]. «Тарас Бульба»,— сказал Белинский об этом выдающемся произведении русской прозы,— есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..» [2]

И если Гоголь назвал поэмой в прозе «Мертвые души», то, думается, что с еще большим основанием поэмой в прозе можно было бы назвать «Тараса Бульбу». При всем драматизме сюжета повесть привлекает более всего эпичностью образов, красотой и совершенством слога, выраженным и в богатстве авторского языка, и в точности выбираемых эпитетов и метафор. Образ Тараса Бульбы стал нарицательным, вошел в галерею бессмертных литературных героев. В жанре исторической прозы такая завидная участь досталась лишь вымышленному герою Гоголя (если не считать, конечно, героев толстовской «Войны и мира»).

В настоящую антологию включен первый вариант «Тараса Бульбы», потому что именно он, в составе «Миргорода», был впервые прочитан современниками и вошел в литературный обиход эпохи. Второй вариант, расширенный и переработанный Гоголем (1842), с точки зрения истории развития жанра выглядит менее предпочтительным. Ведь именно в первой редакции познакомились с повестью Пушкин, Бестужев-Марлинский, Вельтман и другие создатели исторической прозы. К тому же и для современного читателя именно этот малознакомый для него вариант будет представлять определенную новизну и соответственно больший интерес.

В 1835 году в разгар «исторического бума» в русской литературе появилось одно из лучших прозаических произведений Пушкина — «Капитанская дочка». Подчас ее считают романом, но как бы то ни было «Капитанская дочка» сыграла значительную роль и в развитии малой исторической прозы. В духе вальтерскоттовской традиции Пушкин показывает картины семейной жизни на широком историческом фоне, которым служит крупнейшее народное движение XVIII века — восстание Пугачева. Однако. значение повести выходит за пределы ее связей с традицией

[1] Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1975, с. 143.
[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 181.

основоположника европейского исторического романа. Как отмечал известный русский философ и критик Н. Н. Страхов, «Капитанская дочка», хотя и написана в форме романов Вальтер Скотта, есть однако ж произведение чисто русское не только по духу, но и по всему тону и складу рассказа» [1]. Особенно высоко оценил этот исторический роман Н. В. Гоголь, по мнению которого «Капитанская дочка» — «решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде... Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — все не только сама правда, но еще как бы лучше ее» [2].

К 30—40-м годам XIX столетия относятся и первые попытки создания историко-биографической повести, которая отличалась от архаизированных произведений С. Н. Глинки и языком, и психологической разработкой характера и которая послужила как бы основой для дальнейшего развития этой жанровой разновидности. Среди них заслуживают упоминания прежде всего два произведения — «Себастиян Бах» В. Ф. Одоевского (1835) и «Максим Созонтович Березовский» Н. В. Кукольника (1844). Обе повести посвящены трудным судьбам великих композиторов: драматической — Баха и трагической — Березовского.

Гибель Максима Березовского, признанного в Италии, но не нашедшего понимания своего таланта в чиновничье-сановных кругах родной страны, не только была выражением романтической концепции неизбежности трагического разлада прекрасного и действительности, но и также служила укором феодально-абсолютистскому режиму крепостнической России. Замечательный композитор, вместе с Д. С. Бортнянским закладывавший фундамент русской национальной музыки, показан в повести Кукольника личностью яркой, незаурядной. Особенно удалась автору вторая часть повести, построенная в форме переписки Березовского с его итальянской возлюбленной, в которой постепенно от письма к письму раскрывается трагедия гениального музыканта. Сколько горечи и трагизма в проникновенных строках письма этого настоящего подвижника музыки, оскорбленного и раздавленного тупым бюрократическим равнодушием и невежеством салонных петербургских аристократов: «Опера... Какой лукавый сон! И он уже снится не впервые; но как вы могли, как вы смели подумать,

---

[1] Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки, т. 2. СПб., 1890, с. 19—20.

[2] Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, с. 384—385.

что я захочу, что я позволю себе жаловаться перед ненавистной Европой на страстно любимое отечество. Оно растет и процветает на глазах моих. Не одна музыка — много, много отраслей знания еще не начинались в нашем огромном царстве. Так что ж за беда! Придет время, и они выйдут из-под спуда, а музыка и подавнему. Тут нет никакой ошибки, разве та, что я родился слишком рано, что полюбил музыку по свойственному мне неблагоразумию, как полюбил вас...» Белинский, при общем критическом отношении, все же отметил в повести несомненные достоинства: «Содержание ее очень интересно, основная мысль прекрасна...» [1]

В 1843 году в популярном журнале «Библиотека для чтения» появилась повесть А. Ф. Вельтмана «Райна, королевна Болгарская». Ее герои — подлинные исторические лица, вершители судеб целых народов. В творчестве Вельтмана, этого самобытного русского прозаика, в свое время прославившегося историко-былинными и историко-фантастическими романами, повесть «Райна» занимает особое место как типичное историческое повествование. В нем реальные события перемежаются вымышленными, а следование летописным источникам чередуется с полетом авторской фантазии. Интригой, цементирующей сюжет, становится трагическая любовь великого князя Киевского Святослава и Райны, дочери болгарского царя Петра. В повествовании проявился талант Вельтмана как историка и этнографа. Недаром повесть была отмечена Белинским, который писал, что своего главного героя Святослава «г. Вельтман рисует нам так обстоятельно, как будто бы сам жил в его время и все видел своими глазами» [2].

Высокий пафос образа Святослава и любование старинным укладом жизни раскрывают идейные устремления самого автора, тяготевшего к панславизму: «Что было делать воинственной душе Святослава посереди всеобщего мира? Святослав не любил пировать и столовать, как впоследствии пировал сын его, по обычаям заморским. Его столы были не браные, яства не сахарные, питья не медвяные. Не любил он и сидеть на золотом стуле, на рытом бархате, червчатой камке, суды рассуживать, ряды разряживать, грозно костылем махать. Не было у него ни себе, ни людям неги и роскоши, жило все по старине и обычаю. Ни сам он, ни бояре теремов высоких не строили, красных девиц не неволили. Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает».

Пришедший с мечом на древнеболгарскую землю славянский

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 151.

[2] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М., 1981, с. 54.

князь Святослав постепенно проникается, не без влияния любви к Райне, родственным чувством к ее народу: «Ни одна победа не празднуется так искренно и радостно, как подвиг великодушия.

Народ со всей Болгарии стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией».

Не удивительно, что это произведение Вельтмана пользовалось особым успехом в Болгарии, переживавшей во второй половине XIX столетия подъем национально-освободительной борьбы. Болгарскому читателю повесть стала впервые известна по переводу, появившемуся в Петербурге в 1852 году. Журнал «Москвитянин» так откликнулся на это событие: «Нельзя не порадоваться этому общению славянских литератур и не поблагодарить переводчицу за прекрасный выбор для своего труда, прекрасный и по литературному достоинству подлинника, и по его предмету» [1].

По признанию уже упоминавшегося выше историка литературы Н. А. Энгельгардта, «гениальная проза Пушкина и Гоголя совершенно заслонила для нас произведения других, весьма многочисленных и богато одаренных беллетристов 30-х годов. Многие теперь совершенно забыты, а между тем в свое время они читались всей Россией и, быть может, более удовлетворяли вкусам публики, чем произведения гениальные, до которых еще надо было ей дорасти и доразвиться. Напомним имена: Загоскина и Лажечникова, Кукольника и Полевого, Марлинского и Одоевского, Погорельского, Павлова, Ушакова, Бегичева, Квитка, Вельтмана, Даля, Калашникова, Масальского, а также Греча и Сенковского» [2].

Примечательно, что большинство из означенных в этом списке писателей выступало и в жанрах исторической прозы. Удивляться этому не приходится. Историческая проблематика, размышления над многовековым ходом развития человечества, интерес к поучительным событиям давно минувших дней были в центре духовной жизни русского общества, особенно в 20-е и в 30-е годы XIX века. Как верно заметил Иван Киреевский, «история в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает *все*» [3].

К историческим сюжетам в жанре повести обращалось в те годы множество русских писателей. Кроме тех, чьи произведения

---

[1] Москвитянин, 1854, № 3—4, кн. 1—2, с. 63.
[2] Энгельгардт Н. Указ. соч., с. 471.
[3] Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984, с. 44.

вошли в 1-й том настоящей антологии, можно назвать еще немало литераторов разной степени одаренности. Это О. Сенковский («Счастливец») и Н. Дурова («Нурмека. Происшествие времени Иоанна Грозного»), А. Тимофеев («Чернокнижник») и И. Калашников («Изгнанники»), Р. Зотов («Студент и княжна, или Возвращение Наполеона с острова Эльбы») и Е. Аладьин («Кум Иван», «Владислав и Александра», «Тысяча вторая ночь» и «Кочубей»), А. Бочков («Красный яхонт») и В. Троицкий («Василий Воинко»), В. Панаев («Раскольник») и П. Каменский («Иаков Моле»).

Русская историческая проза того времени, будучи тесно связана с развитием европейской литературы, оказалась восприимчивой к различного рода влияниям — от готического романа (через А. Радклиф и М. Льюиса) до новейших романтических веяний (Вальтер Скотт, Виктор Гюго, А. де Виньи). Однако не меньшее значение имела и национальная основа исторического жанра, представленная древнерусскими летописями, «Словом о полку Игореве», карамзинской «Историей государства Российского». Вот этот синтез современной европейской книжной культуры со старинными, исконно русскими элементами и обусловил становление и развитие оригинальной исторической прозы, внесшей немалый вклад в идейно-общественную жизнь страны и ставшей неотъемлемым компонентом русской классической литературы.

Юрий Беляев




РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Н·М КАРАМЗИН

НАТАЛЬЯ, БОЯРСКАЯ ДОЧЬ

Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностию целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их *подкапкам* и шубейкам перед нынешними *bonnets à la...* [1] и всеми галло-албионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого-надесять века. Таким образом (конечно, понятным для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль, или историю,

[1] чепчиками на манер... *(фр.)*

слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство... Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень,— ты неудобна к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем: итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба,— возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного правнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей, и наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон... Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец,— о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила,— ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я *сладко-гремящие* слова твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так я буду продолжать, буду: и, вооружась пером, мужественно начертаю историю *Натальи, боярской дочери.*

Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием!

В престольном граде славного русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей,— чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не

почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но), по моей совести; сей виноват, по моей совести»,— и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестию царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно: в каждый двунадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных[1] людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ими. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и, наконец, веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей.

После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизнен-

---

[1] В истине сего уверял меня не один старый человек. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

ного вечера и приближение ночи — но доброму ли бояться сего густого, непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным, хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность.

Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина; но венцом его счастия и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье увидел он новый образ умершей, и, вместо горьких слез печали, воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну италиянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты, и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц; одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова

«Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте,— не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца.

Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры,— взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу,— взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои,— поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная

кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья.— Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водою, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу свою (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне.

«Всякий день?» — спросит читатель. Конечно,— таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением.

Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни, по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!»,— вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!»

После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются *Красные ворота* с трубящею Славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских.

Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы: играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается.

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула, вздохнула в другой и в третий раз, посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке),— опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, потом и в левом — и обе выкатились; одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при

рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села, наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми *набожными оговорками*[1] бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит не от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей боярских; не знала...

Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают),— может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных, цветущих бережков; что ж сделалось с нею? Скромная Муза, поведай!.. С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце — *потребность любить, любить, любить!!!* Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьмнадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась — стала не так жива, не так резва, иногда задумывалась,— и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества,— берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только

[1] Например, «прости господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась.

Так, красавицы! Ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное,— а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно — горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном,— найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость.

Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее: родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостию о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая

жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими и прослыла если не чародейкою, то, по крайней мере, велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внуке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья, по своему обыкновению, пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго: снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека,— и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедшей в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак,— думала Наталья,— итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него, как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня,— хотя темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает воро-

шиться то, чего они долго не называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня, все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видела и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами: тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею и молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела,— по обыкновению всех влюбленных,— ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель.— Увидев в первый раз и не слыхав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело: не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке),— Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала — взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки?

«Я говорю о том,— продолжала Наталья,— о том, который — который был всех лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его»,— холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить!

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было — на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий,— думала она,— жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье — это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась.

Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое и через левое плечо свое. Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что молодой человек вздохнул; по крайней мере, она сама вздохнула.

Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова от Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышне своей супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» и сама не знала, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали,— возвращались домой и у ворот говорили нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем недовольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Ужели захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли?

Посмотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась — вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных — ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня! — сказала она слабым голосом.— Кто это?» Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему — ах, боже мой! Что будет?» — думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже

в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня — взглянула на барышню, улыбнулась — и не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением — долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» — «Болен? Чем?» — спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен,— продолжала няня,— у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и насилу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» — «Что же, няня? Дала ли ты ему лекарство?» — «Нет, я велела подождать».— «Подождать? Где?» — «В наших сенях».— «Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а он болен!» — «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти; куда ж его ввести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный — станет за тебя богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома — сумерки, темно — никто не увидит, и беды никакой нет: ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь, сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю... как хочешь... ты лучше моего знаешь».

Тут няня отворила дверь — и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись, белые руки повисли, и голова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку, в другой, в третий раз — осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин! Барин! Помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе;

и в тех и в других изображались пламенные чувства, любовию кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности; сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили — но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли ты меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим».

«Ах, барышня! — сказала жалостливая няня.— Отвечай скорее, что он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» — «Ты мил сердцу моему,— произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его.— Дай бог,— примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца,— дай бог, чтоб я была столько же мила тебе!» Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее, но она была трогательна — самая старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.

После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» — сказала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья! [1] — отвечал он.— Оно еще не совершенно уверено в своем счастии».— «Что ж ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование».— «Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сделаю, что велишь мне!» — «В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц,— в то время, как

---

[1] Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они, но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только *некоторым образом* подделаться под древний *колорит. (Примеч. Н. М. Карамзина.)*

поют первые петухи,— я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти и ехать со мною; вот чего от тебя требую!» — «Ехать? В нынешнюю ночь? Куда?» — «Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу».— «Как? Без ведома отца моего? Без его благословения?» — «Без его ведома, без его благословения, или я погиб!» — «Боже мой!.. Сердце у меня замерло. Уехать тихонько из дому родительского? Что же будет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь».— «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают».— «Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут?» — «Алексеем».— «Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» — «Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья! Время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его,— чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?»

При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? — сказала она с чувствительностию.— Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня, очень, очень любит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее),— тебя знаю недавно, а люблю еще больше: как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» и скрылся как молния. Старушка няня проводила его со двора.

Вместе с читателем мы искренно виним Наталью, искренно порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дому, не зная куда, поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, а что всего более — оставить доброго,

чувствительного, нежного отца... Но такова ужасная любовь! Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот — счастлив! Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелию,— иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после того как он увидел Наталью в церкви) нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея,— забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости,— ибо она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты делаешь, безрассудная?», но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена, по самому закону, должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть? — перервала Наталья, вслушавшись в последние слова.— Нет! Я буду помнить моего родителя, буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным,— не так ли, няня?» — «Конечно, барышня! — отвечала старушка.— А что он сказал, то будет».— «Верно, будет!» — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась — Наталья думала не обо сне, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе — месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты по круглому небу! Зайди скорее,

месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась, уже часть ее зашла за круг земной, мрак в воздухе сгустился, петухи запели — месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула: «Ах, няня! Беги, беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю»,— сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты написал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки: «Я люблю милую дочь твою более всего на свете, ты не согласился бы отдать ее за меня, она едет со мною — прости нас! Любовь всего сильнее — может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья взяла письмо, и хотя не умела читать, однако ж смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши,— сказала она,— напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться и что бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».

Молодой человек вынул из кармана перо и чернилицу — написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолвившись богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора,— взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей, и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги, вдали, светился огонек: туда поворотили, и Наталья увидела деревянную, низенькую церковь, занесенную снегом.

Алексей (читатель не забыл имени молодого человека) — Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! Внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спавшего, поставил

любовников перед налой и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого бога, которого нам и мрак ночи и шум бури проповедует (в сие мгновение страшно зашумел ветер),— именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, божеству приятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце — в нечистом же она жить не может,— тот приятен всевышнему. Грядите с миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния, ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались во глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных; сани двигались медленно, и наконец Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на вершины дерев, и сказал, что жилище его недалеко. В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках. Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище, посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли! Мы в руках — у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей — прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби,— но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет! На сей раз побереги слезы свои — успокойся: старушка няня ошиблась — Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком оссианским, *сын опасности и мрака*, живущий во глубине лесов? Прошу читать далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полною доверенностию к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей — не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться!

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои,— сказал Алексей, указывая направо,— а здесь — я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать и перед иконою богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея, низенько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои...

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их было тогда в русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей — злодей!», она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья! — сказал он.— Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина Любославского».— «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести».— «Его уже нет на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за тринадцать перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя, но скоро гнев божеский наказал мятежников — рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных, представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судии готова была подписать ему смерть... надежда исчезала в душе невинного — один всевышний мог спасти его — и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы — и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности: мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету — народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран Российских, проливали жаркие слезы; всякая птица, летевшая с запада [1], казалась нам милее; всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и — вздохами.

Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего —

---

[1] То есть от России. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

благословил меня — и, сказав: «Бог и друг наш не оставят тебя», умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты; несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моём несчастии; в ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. «Верстах в сорока от Москвы,— писал он,— в дремучем, непроходимом лесу, построил я уединенный домик, не известный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место».

Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов, простился с зеленою могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю — и в густоте темного леса, на узкой равнине, нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: «Ты сын боярина Любославского! Господин мой, верный друг его — тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище,— скончался! Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои». Я поднял глаза на небо; молчал — и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником? — думал я.— Моим наставником? Я один в свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой! Не оставь бедного!»

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши... Хладный ужас разлился по моей внутренности.

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной

тихой гостинице и называя себя иногородным купцом, часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно — в пустом лесу и среди народа. С горестию ходил я по улицам царственного града и, смотря на людей, которые встречались со мною, думал: «Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады — мне идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает!» Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима; лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и — увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом божиим... Нет! Говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал: «Господь бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек», но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось — они казались мне *чужими*. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как *родную свою*. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; наконец я пришел в себя — стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. «Со мною то же делается,— думал я,— и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захо-

чет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня... с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь — только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково... Но я, верно, ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастие не вдруг приходит!»

Наступила ночь — и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей — крестилась белою рукою своею и прятала ее под соболью шубейку.

На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постеле».— «Так! — прервала Наталья.— Так! Я это знала: сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг моих был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности — наконец она согласилась быть мне помощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви — иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры,— наконец решился узнать судьбу мою — упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать: «Жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених, богатый и знатный?» Нет, нет! Мне оставалось умереть или жить с тобою! Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! — сказала она, прижавшись к сердцу супруга.— Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую

тебя, сердечного друга моего?» — «Тот,— отвечал Алексей,— тот милостивый бог, который дал мне тебя, верно, все для нас сделает. Положимся на него: он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его и проч., и проч. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось в передней: старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться; сердца их бились; он взял ее за белую руку... Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!

А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать — пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постеле и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь — неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость — но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию своей няни, помолилась богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!.. Мне

бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать...» Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что делается в царственном граде.

Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился — увидел на столике письмо, развернул его, прочитал — не верил глазам своим; прочитал в другой раз — хотел еще не верить,— но дрожащие ноги его подогнулись — он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь! — сказал трепещущий старец.— Государь!..» Он не мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель? — сказал он.— Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал, и во все страны Русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит,— сказал он, взглянув на небо,— бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!.. Так, государь! Она и теперь мила мне более всего на свете!.. Кто увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делается?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край света!.. Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее... Нет! Дочь моя не могла полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?.. Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?.. Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я плачу: она не видит слез моих; умру: она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли всевышнего ничего не делается; может быть, я заслужил наказание руки его... Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу тебя, господи: будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести — лишь бы дочь моя была благополучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя... (Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты плакала; эта бумага мокра от слез твоих: я буду хранить ее на моем сердце как последний

знак любви твоей. Ах! Если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти... Но как угодно всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом несчастных и горестных; обнимая их, как детей своих,— как твоих братий,— он скажет им со слезами: «Друзья! Молитесь о Наталье».

Так говорил боярин Матвей, и чувствительный царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали — увы! и самая добродетель не может нас предохранить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой сердца твоего — вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек — ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государева, вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог отвечать ни *да*, ни *нет*, ибо он хотя и видел боярина, но смотрел на него не проницательными глазами нежной дочери. «Для чего,— сказала Наталья,— для чего не могу я превратиться в невидимку или в маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» — «Ах, нет! Я не пустил бы тебя! — отвечал Алексей.— Почему знать, что бы могло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать о разлуке — а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастье юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастьем, скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, не различаемые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья

просыпалась и — любила; вставала с постели и — любила; молилась и — любила; что ни думала — все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки,— нет! Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки; первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» — говорила красавица и тихонько вздыхала.

Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки — любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры: не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они (как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении.

Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье! — сказала красавица.— Мой друг! Пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли,— сказала Наталья супругу своему,— знаешь ли, что прошедшею весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на кусточке, поют две птички — кажется, малиновки,— посмотри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли?» Всякий может

вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовью, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинакие: боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешностию. «Государь! — сказал он Алексею.— Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за царя-государя! Умрем за отечество или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра выдет оно в поле под начальством воевод храбрейших».

Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела — он схватил со стены меч отца своего, взглянул на супругу — и меч упал на землю; слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова.

«Любезная Наталья! — сказал Алексей по некотором молчании.— Ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?»

Н а т а л ь я. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю — теперь я совершенно счастлива!»

А л е к с е й. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.

Н а т а л ь я. Какой же, мой друг?

А л е к с е й. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству.

Н а т а л ь я. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною: я всюду готова.

А л е к с е й. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами: как тебе ехать со мною?

Наталья. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою — или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем,— сказал он,— поедем и умрем вместе, если так богу угодно! Только на войне не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок... Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать ее. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он, будучи тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой,— сказала она с усмешкою,— теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный — увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано: «С нами бог: никто же на ны!» [1]), вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы покойного отца своего — и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что небо не оставит их и будет им защитою в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву — там началась наша история, там должно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить бога, чтобы он отвратил грозную тучу от Русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает

---

[1] В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надписью. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь! — говорит он.— Надейся на бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню, грудь сынов твоих — победа будет всегда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе отечества — и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник — царь встречает его на половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо военачальников... Первое слово есть «победа!». «Победа!» — восклицает он в радости. «Победа!» — восклицают бояре. «Победа!» — народ повторяет; и во всем царственном граде раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было одно чувство: *радость*!

Начальники доносили государю обо всем с величайшею подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!», и в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось и, восклицая: «Умрем или победим!», устремилось, как буря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем,— писали начальники,— восхвалить по достоинству того юного воина, которому принадлежит вся честь победы и который гнал, разил неприятелей и собственною рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного всей твоей милости».

Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле, вместе с боярином Матвеевым и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям; супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался —

второй и третий; разноцветные знамена веяли над оными: воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом; назади ехали конные — впереди начальники, под сению трофеев. Увидели государя, и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» — загремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас именем отечества».— «Государь! — отвечали они.— Мы старались исполнить должность свою! Но бог даровал нам победу рукою сего юного воина».

Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша? — спросил государь, простирая к нему правую руку свою.— Имя твое должно быть славно в пределах Русского царства».— «Государь! — отвечал юноша.— Сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, боже,— сказал он,— что ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдание невинного отца наградить достойного сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего открылась — к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым осудили невинного. Видишь слезы мои. Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» — «Итак, память отца моего,— сказал Алексей,— чиста от поношения!.. Но я — винен перед тобою, государь великий! Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь удивился. «Где ж она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде воина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие не поддержали его. Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Наталье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она,— назвал ее своею милою, прекрасною,— и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным! Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена: столь медленно

он их выговаривал! И повторял столь часто! Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! — говорила она.— Так же любишь!», и теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот,— сказала Наталья,— вот — супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью...

Ц а р ь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости.

«Она дочь моя,— сказал боярин Матвей прерывающимся голосом,— он сын мой... Господи! Дай мне умереть в их объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

Читатель вообразит себе все последующее. Старушку няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенною царскою милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своею дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого отрока — и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим, прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленный рукою времени,— с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь — вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей.

МАРФА-ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Вот один из самых важнейших случаев российской истории!» — говорит издатель сей повести. Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала ему! Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно: им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы.

В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историею. И летописи и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Катоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только *страстную*, пылкую, умную, а не великую и не добродетельную женщину.

КНИГА ПЕРВАЯ

Раздался звук *вечевого колокола*, и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граж-

дан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают, никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославова, уже собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти концов новогородских [1] с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени,— всходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь Московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования... Посадник сходит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных — храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют, боярин хочет говорить... Но юные надменные новогородцы восклицают: «*Смирись пред великим народом!*» Он медлит — тысячи голосов повторяют: «*Смирись пред великим народом!*» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

«Граждане новогородские! — вещает он.— Князь Московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину.

Граждане новогородские! В стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сем месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть

[1] Так назывались части города: Конец *Неровский, Гончарский, Славянский, Загородский* и *Плотнинский. (Примеч. Н. М. Карамзина.)*

единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы под державною рукою варяжского героя сделались ужасом и завистию других народов; и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостию, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства; но Великий Новгород был всегда десницею князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам Цареградским. Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван *Владетелем мира.*

Граждане новогородские! Не только воинскою славою обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь на все концы вашего града, видят повсюду златые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибли с шумом в быстрых волнах его, то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному богу, Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Ярослава) — здесь жил мудрый законодатель, благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное! Внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию... и в какие времена? О стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также... Бог в неисповедимом совете своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от стран, никому не известных [1], подобно сим тучам насекомых, которые небо во гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут, земля русская обагряется кровью русских, города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах... Что ж де-

[1] Так думали в России о татарах. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

лают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим?.. Нет! Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать *вечевого колокола*, как трубы суда Страшного! Наконец никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча... Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее пламя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, в Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их; в Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей[1] иностранных! Русские считают язвы свои — новогородцы считают златые монеты. Русские в узах — новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. Но вы также рабствуете. Народ! Я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен,— но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! Потомки славян ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысячские, люди житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли, торгуют и благом народа: кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так, известны князю Московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола*, и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «*Вы — рабы мои!*» Но бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и тор-

---

[1] То есть купцов. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

жества христианского. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, избранный богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию. Димитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все предвидит, и, зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети отечества, после горестной долговременной разлуки, объемлются с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратится под сень отечества. Вы оскорбляли его предков, он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с каким благоволением, с какою мудростию он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все концы града и веселые окрестности; вспомните, как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь Московский, великий и мудрый!» Такому ли государю не славно повиноваться, и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете *первыми* сынами России; здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумное *вече*, но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые? Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки самодержавного.

Народ и граждане! Да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! Или — внимайте его последнему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим — да усмирит мятежников!.. Мир или война? Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «*Марфа! Марфа!*» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво, взирает на бесчислен-

ное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! Здесь лилась священная кровь твоя, здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан, что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече, но предки мои были друзья Вадимовы, я родилась в стане воинском под звуком оружия, отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего счастия...»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.

«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежниками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях древнего мира... Они утвердились на красных берегах Ильменя и все еще служили одному богу. Когда Великая Империя [1], как ветхое здание, сокрушалась под сильными ударами диких героев севера, когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда славяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но все еще любили независимость. Под сению древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия [2], но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: «Никто во вселенной не может поработить нас, доколе не выдут из употребления мечи и стрелы!..» [3] О великие воспоминания древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

Правда, с течением времени родились в душах новые страсти, обычаи древние, спасительные забывались, и нео-

---

[1] Римская. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

[2] См. византийских историков Феофилакта и Феофана. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

[3] См. Менандера. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

пытная юность презирала мудрые советы старцев; тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да повелевают юным, мятежным воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим *Храбрый* звал его пред суд народа. «Меч и боги да будут нашими судиями!» — ответствовал Рюрик,— и Вадим пал от руки его, сказав: «Новогородцы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова и в стенах ваших...» Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его, свободно и независимо решить судьбу свою.

Так, кончина Рюрика — да отдадим справедливость сему знаменитому витязю! — мудрого и смелого Рюрика воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от Новагорода с воинством храбрых варягов и славянских юношей, искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными и гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников; народ избирал власти гражданские и, повинуясь им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую, служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность свою Владимир, здесь, среди примеров народа великодушного, образовался великий дух его, здесь мудрая беседа старцев наших возбудила в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их, да откроется истина ко благу людей, и когда, убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость называет отцов наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны; их признательность радовала его сердце, ибо только души свободные

могут быть признательными: рабы повинуются и ненавидят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на сии древние стены, говорит с любовию: «Там жил друг наш!»

Князь Московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не может оправдаться! Так, конечно: цветут области новогородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются к нам рекою; Великая Ганза[1] гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: «Мы видели Новгород, и ничего подобного ему не видали!» Так, конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на распутиях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! Не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни, когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих — без робости: ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Напрасно с высоты башен взор их искал вдали дружественных легионов русских, в надежде что вы захотите в последний раз и в последней ограде русской вольности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы беглецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения; они требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!.. Напрасно граждане новогородские молили князей воспользоваться таким примером и общими силами, с именем бога русского

---

[1] Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

ударить на варваров: князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг друга в замыслах против Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несчастию ложных!.. И если имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли новогородского оружия напоминал его земле русской? Не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное! Сей витязь добродетельный, драгоценный остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставил здесь и славу и счастие, когда предпочел имя великого князя России имени новогородского полководца: не величие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире — и тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом: не удивительно! он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не престали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны, одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны! Благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать гибели, но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новогородские всего святее нам по боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностию для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? Разве последнего счастия умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя; искренние сердца их свободно изливались в радостных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя Московского; мы хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его

свергнет с России иго татарское: он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь Московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли русской, которыми она еще славится в мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его своим данником: да идет Иоанн против монгольских варваров, и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову! Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: «Иоанн! Ты возвратил земле русской честь и свободу, которых мы никогда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском: они были собраны с земли твоей; на них нет клейма новогородского — мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою, залечи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших братий счастливыми — и если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавидуем благоденствию твоего народа, если всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда — клянемся именем отечества и свободы! — тогда приидем не в столицу польскую, но в царственный град Москву, как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику; и скажем — не Казимиру, но тебе: «Владей нами! Мы уже не умеем править собою!»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет мимо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы — и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к святым уставам его, когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы, то скоро ударит последний час нашей вольности, и *вечевой колокол*, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы! Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бледному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород! что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолю-

бие, изощряет серпы и златит нивы, она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли, она же окриляет суда новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *концы* твои, широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь *был* Новгород!..»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! Мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса.— Новгород — государь наш! Да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами, взвывая: «Новгород — государь наш! Война, война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! Да возвратятся *клятвенные грамоты!* [1] Бог да судит вероломных!» Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и *знамя мира.* Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина... Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провожаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца угасали на их блестящем оружии.

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа (который, подобно бурным волнам, стремился по стог-

---

[1] Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объявлении войны надлежало всегда возвращать их. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

нам и беспрестанно восклицал: «Новгород — государь наш! Смерть врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во всех пяти *концах* города (в знак объявления войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга! — тихо вещает она с умилением.— Я исполнила клятву свою! Жребий брошен: да будет, что угодно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на великой площади... Земля колеблется под ногами... Набат и шум народный умолкают... Все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место... Сильный порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярослава, новое гордое здание народного богатства, пала с *вечевым колоколом* и дымится в своих развалинах... [1] Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют... Скоро тишина прерывается голосом — внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое величие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место, но след голоса исчез в воздухе вместе с словами: напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили: «Мы слышали!», никто не мог сказать — от кого? Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самым происшествием, всходили один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы: посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы; сильный ветер беспрестанно задувал их, беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли *вечевой колокол* и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его — услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил *вече*. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою, но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в домах (где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.

---

[1] Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя, жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр новогородских. Он семьдесят лет служил отечеству: мечом, советом, добродетелию и наконец захотел служить богу единому в тишине пустыни, торжественно простился с народом на вече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новагорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом [1] и нашла его стоящего на коленях пред уединенною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец! — сказала она.— Буря угрожает отечеству».— «Знаю»,— ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо [2]. Густая туча висела и волновалась над Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих... Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось: если Новуграду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию. «Великая дочь моего сына! — вещал он с умилением.— Последняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь Молинских: она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами; посвятив его небу, еще люблю славу и вольность Новаграда... Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары всевышней десницы? Душа моя содрогается: я предвижу

---

[1] В Новегороде было еще обыкновение называться древними славянскими именами. Так, например, летописи сохранили нам имя Ратьмира, одного из товарищей Александра Невского. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

[2] В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

бедствия!..» — «Судьба людей и народов есть тайна провидения,— ответствует Марфа,— но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей: они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует! Самая опасность веселит ее... Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий... Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но должно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий [1] во гробе, в сынах моих нет духа воинского, я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы».— «Разве мало славных витязей в Новеграде? — сказал Феодосий.— Ужас Ливонии, Георгий *Смелый...*» — «Переселился к отцам своим».— «Победитель Витовта, Владимир *Знаменитый...*» — «От старости меч выпал из руки его».— «Михаил *Храбрый...*» — «Он — враг Иосифа Делинского и Борецких; может ли быть другом отечества?» — «Димитрий *Сильный...*» — «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним».— «Кто ж будет главою войска и щитом Новаграда?» — «Сей юноша!» — ответствует посадница, указав на Мирослава... Он снял пернатый шлем с головы своей: заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.

«Никто не знает его родителей,— говорила Марфа,— он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава [2], рано удивлял старцев своею мудростию на вечах, а витязей — храбростию в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он — сирота в мире, но бог любит сирых, а Новгород — великодушных. Их именем ставлю юношу на степень величия, их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее в свете: вольности и Ксении! Так, он будет супругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не

---

[1] Муж ее. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

[2] Так называлось всегда главное училище в Новегороде (говорит автор). *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

должен быть чуждым роду Борецких и крови моей... Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши: он клянется победою или смертию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз достоин твоей правнуки: он заключается в день решительный для Новаграда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель отечества, или обреченная жертва свободы!»

Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею рукою снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе: Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми буквами слова: *«Никогда врагу не достанется»*... Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условие!»

Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя Московского, о верных и неверных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде, но для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ! Сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости... (Марфа с жаром и красноречием описала их.) Сограждане! — сказала она в заключение.— Кого более всех должен ненавидеть князь Московский, тому более всех вы можете верить: *я признаю Мирослава достойным вождем новогородским!*.. Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду: счастие ласкает юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран!.. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» — восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делинский, друг

Марфы, вручил юноше златой жезл начальства. Старосты пяти концов новогородских стали пред ним с секирами, и тысячские, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Димитрий *Сильный* обнимал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил *Храбрый*, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его: они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши,— говорила она,— жили всегда в мире и дружбе: у них было *одно* бедствие и счастье, ибо они *одно любили* и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новегороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: «Сердце на Великой [1], душа на Волхове». Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ваше, если условия, заключенные Великим градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его), то хвала единому небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного: гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным. Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначали пред градом место для верной дружины псковской».

Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты в шелковых красных мантиях шли впереди, за ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни драгоценные. Они приближались к Вади-

---

[1] Имя псковской реки. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

мову месту и поставили блюда на ступени его. *Ратсгер* города Любека *требовал слова* — и сказал народу: «Граждане и чиновники! Вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новуграду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, славимся приязнию новогородскою, знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! Примите усердные дары добрых гостей иностранных, не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас семь сот человек в великом граде, все выдем в поле — и клянемся верностию немецкою, что умрем или победим с вами!»

Народ с живейшею благодарностию принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион; Марфа назвала его *дружиною великодушных*, и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже среди шумных воинских приготовлений день склонялся к вечеру — и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные: они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злополучная!.. Так юный, невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!.. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаждаться только одною своею ангельскою непорочностию и ничего более не желала; никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она краснелась, не зная причины: стыдливость есть тайна невинности и добродетели. Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственною потребностию сей кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле светится, сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую,

ожерелье жемчужное, серьги изумрудные, произносят имя матери ее, и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душою и дает волю слезам материнской горячности... Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило сердце ее, может быть, милая дочь казалась ей несчастною жертвою, украшенною для алтаря и смерти! Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей, наконец, укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения! Сей день есть счастливейший в жизни твоей, нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы своей... Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури... Уже Ксения стоит пред алтарем подле юноши, уже совершается обряд торжественный, уже она — супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее... О слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил [1] благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая, с нежностию обнимая дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей,— говорил он,— отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских да живет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Новгород желает ныне угостить новобрачных!..» — *«Нет,*— ответствовала Марфа,— *еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!..*— И тихо примолвила: — *О верный друг Борецких! Хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства!»*

Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу,

---

[1] Тогдашний епископ новогородский. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы) — впереди Марфа, за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну, веселие сияло на лицах, и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим, и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее, она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести: теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими, везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол с детьми своими, ласкает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксения! — говорит она.— Нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастие, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность, которой могут завидовать герои!.. О дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!..— Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились.— Было время, и вы помните его,— продолжала Марфа,— когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие и бедствие людей. О время блаженное! Твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная, с смелою твердостию председает теперь в совете старейшин, является на лобном месте среди народа многочисленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волнует народ, как море, требует войны и кровопролития — та, которую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в душе моей? Что пременило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь... к отцу вашему, сему герою добродетели, который

жил и дышал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным, наконец открыл мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову в сей войне кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моею смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен: ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь Московский, который тайно желает покорить Новгород. О друг моего сердца! Успокой его! Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских: клянись мне превзойти их! Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете! Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы новогородской, клянись умереть защитницею прав ее! И тогда умру спокойно...» Я дала клятву... Он погиб вместе с моим счастием... Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его: я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила — и старцы с удивлением внимали словам моим, народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня, чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда; враги и завистники... Но я презираю их. Все видят дела мои, но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О Ксения! Я могу служить тебе примером, но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойства великого мужа: жена слабая бывает сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» Так Ольга любовию к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме, но сон не смыкал глаз ее. В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет ее — и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, с златою на груди звездою, едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом

Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира, я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет *новогородскою Вандою*...[1] Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастие союзников и бедствие врагов его... Она с гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Новугороду свое заступление,— говорит он,— требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами!..» Марфа задумалась... «Когда же спасем вас, тогда...» Посадница быстро взглянула на него... «Тогда благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя и властелина, который, без сомнения, не употребит во зло их доверенности...» — «Умолкни!» — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новагорода, если Казимир не защитит его от князя московского... «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей! — с жаром ответствует Марфа.— Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему?[2] И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колена пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет! Если угодно небу, то мы падем с мечом в руке пред князем московским: одна кровь течет в жилах наших; русский может покориться русскому, но чужеземцу — никогда, никогда!.. Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу... Вот ответ Казимиру!»

Посол удалился.

На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана, и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной

---

[1] О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

[2] Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись граждане в шлемах и в латах; старцы сидели на Великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова: ударили в колокол, и граждане сели за них; воины клали подле себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с восточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского: внук с седою брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных: он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы новогородской!..» Сама посадница налила ему серебряный кубок вина фряжского: старец выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. «Марфа! — говорил он.— Я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемог в стане: войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из великого града, и, когда мы разили немецких рыцарей — когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их *святому прапору*, ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом победы, но Молинский упал мертвый на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но...» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид в больших корзинах лежали товары чужеземные: Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искус-

ственными лаврами; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава; граждане, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувствительностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем, один Михаил *Храбрый* не хотел брать участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии. Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал — и с печальным видом отдал письмо Марфе... «Друзья! — сказала она знаменитым гражданам.— Псковитяне, как добрые братья, желают Новугороду счастия,— так говорят они,— только дают нам советы, а не войско,— и какие советы? Ожидать всего от Иоанновой милости!..» — «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомстим им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа, изорвала письмо и на отрывке его написала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею ревностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области [1] с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Ловати, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению в присутствии жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами Московскими возвышался холм — туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли: там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга... Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностию. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего

---

[1] Они назывались пятинами: Водскою, Онежскою, Бежецкою, Деревскою, Шелонскою. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

приводил все войско в движение, летал орлом среди полков — восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи, но чрез минуту слезы катились из глаз ее... Она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому граду с своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска, но верховный совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с *хоругви отечества...* Она возвеялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! В поле!» Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают: первая и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых; одежда их отличалась богатством, оружие — блеском, осанка — благородством, а сердца — пылкостию; каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил *Храбрый* шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай сими мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствительность... «Юноша! Я — враг Борецких!..» — «Но друг славы новогородской!» — ответствовал Мирослав, и витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла *дружина великодушных* под начальством ратсгера любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником, с надписью: «Дружба и благодарность!» Они вместе с новогородцами составляли *большой полк*, онежцы и волховцы — *передовой*, жители Деревской области — *правую*, шелонские — *левую руку*, а невские — *стражу* [1]. Мирослав велел войску остановиться на равнине... Марфа явилась посреди его и сказала:

«Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный: судьба его написана теперь на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители и жены новогородские, которые обнимут детей

---

[1] Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус, а стражею, или сторожевым полком,— арьергард. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

и супругов; если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым!

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и навеки утвердить благие законы его, вы любите тех, с которыми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие Новаграда? Отразите их — и тогда с радостию примиримся с ними!

Грядите — не с миром, но с войною для мира! Доныне бог любил нас, доныне говорили народы: «Кто против бога и великого Новаграда!» Он с вами: грядите!»

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом — и войско двинулось, громко взывая: «Кто против бога и великого Новаграда!» Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота — и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новогородские не могли удержать слез своих, но Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером!»

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. *Торговая сторона*[1] опустела: уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз: огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены; не видно никого на *месте княжеском*, где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских — и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи: священники не снимают риз, свечи не угасают пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах, и молебное пение не умолкает на крилосах, народ толпится в церквах, старцы и жены преклоняют колена. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга... Так народ дерзко зовет к себе опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен! Одни чиновники кажутся спокойными — одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не

[1] Часть города, где жили купцы. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный.

Первый гонец Мирославов нашел их в саду: Ксения поливала цветы, Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его в дружбе, и всех более Димитрий *Сильный*, что Иоанн соединил полки свои с тверскими и приближается, что славный воевода московский Василий Образец идет впереди и что Холмский есть главный по князе начальник.

Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен пятьдесят московских дворян.

С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало: она спешила на Великую площадь, сама ударила в *вечевой колокол*, объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило... Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер... И Марфа сказала: «Я вижу облака пыли». Все руки поднялись к небу... Марфа долго не говорила ни слова... Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн — победитель!» — и бросилась в объятия к несчастной Ксении.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами: так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих...

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее вопля жен малодушных... Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю — с горестию, но без стыда,— люди житые и воины чужеземные: кровь запеклась на их оружии, обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя, сидел Михаил *Храбрый*, бледный,

окровавленный, ветер развевал его черные волосы, и томная глава склонялась ко груди.

Колесница остановилась на Великой площади... Граждане обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия; он не мог идти: чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава... На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти... «Счастливый юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать *Храброму* Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! Разбито воинство храброе, убит полководец великий! Небо лишило нас победы — не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном!» — ответствовал гордый юноша и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских: там Образец, славный воевода московский, принял их удары на щит свой... Мы шли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движения и силу врагов. Воинство Иоанново было многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя московского на белом коне, видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце новогородское, на *хоругвь отечества*, видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окружить нас... Мирослав повелел — и стража невская с Димитрием *Сильным* двинулась навстречу к нему. Вероломный!.. Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров шелонских: меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем: мы взглянули — и знамена новогородские уже развевались на холмах — и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: «Кто против бога и великого Новаграда?», все ряды наши устремились в битву и сразились... На всей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братий есть самая ужасная!.. Тысячи

падали, но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностию заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою, новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие за честь и вольность; мы шли вперед... за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь московский был окружен знаменитыми витязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду — поднял руку — и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в главу, и шлем распался на части; он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы — и скоро главная дружина московская замешкалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами... Мы с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское... Димитрий изменил согражданам!.. Не исполнил повелений вождя, завел *стражу* в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев: он помог им только умереть великодушнее! Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новогородский служил ему щитом. Он увидел Димитрия среди московской дружины — последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее...»

Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком, бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал — взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои... Чиновники положили тело его на колесницу, рядом с Мирославом.

«Народ! — сказал Александр *Знаменитый*, старший из витязей.— Благослови память Михаила! Он вышел из битвы с *хоругвию отечества*, с телом Мирослава, обагренный кровию бесчисленных врагов и собственною, собрал остатки храбрых людей *житых, дружины великодушных* и в самом бедствии казался грозным Иоанну — враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом: они купили ее смертию славнейших московских витязей. Народ и чиновники! Многие новогородцы погибли славно: радуйтесь! Некоторые спаслися бегством: презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их осталось менее половины, все они легли вокруг *хоругви*

отечества».— «Сочтите нас! — сказал начальник *дружины великодушных.*— Из семи сот чужеземных братий новогородских видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».

«Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением. «Оба»,— ответствовал Александр *Знаменитый* [1] с горестию. «Хвала небу! — сказала посадница.— Отцы и матери новогородские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ! будь строгим, неумолимым судиею и реши судьбу мою! Унылое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю его властвовать в Новегороде; может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости!..»

«Нет, нет! — воскликнул народ в живейшем усердии.— Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они: мы пошлем их головы к князю московскому!» Отцы, которые лишились детей в битве шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам! Мы плакали!..» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ! — сказала она.— С такою душою ты еще не побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия: небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились свободными. Издревле счастие воинское славится превратностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте, видал надменного врага пред стенами своими — кто ж входил в них доныне? Одни друзья его. Народ великодушный! Будь тверд и спокоен! Еще не все погибло! Борецкая жива и говорит с тобою! Когда железные ступени престанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя зна́ком, что Марфа при свете ее мыслит о благе

---

[1] В летописях сказано, что сын ее Димитрий был взят в плен. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

Новаграда, тогда, тогда скажи: «Все погибло!..» Теперь, друзья сограждане, воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники наши пекутся о безопасности града!»

Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысячский положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои — боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах, никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новаграда положил во гробы *хартию славы!..* [1] Их опустили в землю под веянием *хоругви отечества*. Посадница стала на могилу, она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым. Стыд и поношение робким! Здесь лежат знаменитые витязи: совершились их подвиги — они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечною благодарностию. О воины новогородские! Кто из вас не позавидует сему жребию! Храбрые и малодушные умирают: блажен, о ком жалеют верные сограждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на сего старца, родителя Михайлова: согбенный летами и болезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество... Народ! Если всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место да будет для тебя священно! Жены знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезнейшего из сынов моих... (Марфа рассыпала

---

[1] На сих хартиях (говорит автор) изображались славные дела усопшего. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*

цветы)... и витязя храброго, некогда врага Борецких, но тень его примирилась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и юноши да славят здесь кончину героев и да клянут память изменника Димитрия!» — «Клятва, вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане — и брат Димитрия упал мертвый в толпе народной, и супруга его отчаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду и медленно окружали его: народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шаром увенчанный, стоял пред вратами Московскими — и степенный тысячский отправился послом к Иоанну. Новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным: она велела ему объявить всенародно успех посольства... «Граждане! — сказал он.— Ваши мудрые чиновники думали, что князь московский хотя и победитель, но самою победою, трудною и случайною, уверенный в великодушии новогородском, может еще примириться с нами... Бояре ввели меня в шатер Иоанна... Вы знаете его величие: гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения... «Князь Московский! — я вещал ему.— Новгород еще свободен! Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность: хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя — возьми наши сокровища: завтра принесем их в стан твой с радостию, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злата, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем, скажем: «Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того — хвала ему». Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением, а мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новаграда, доколе древние стены его не опустеют или не приимут в себя жителей, чуждых крови нашей!» — «Покорность без условия или гибель мятежникам!» — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру *Знаменитому* вручили жезл начальства — и битвы началися...

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность; юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя; иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфы бывало также радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа одно знаменовали в великом граде). Часто Иоанн, видя славную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли,— он с гневом ответствовал,— хотите ли, чтобы я венец Мономаха положил к ногам мятежников?..» И суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась *дружина княжеская*, из храбрых дворян состоящая, и знамена ее (на которых изображались слова: «С нами бог и государь!») дымились кровию.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он.— Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?..» — «Небо,— ответствовала посадница.— Влажная осень наступает, блата, нас окружающие, скоро обратятся в необозримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке *хоругвь отечества*; иногда, видя отступление новогородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась ужасами кровопролития — столь чудесно действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончину друга: Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала

Холмского по его оружию и доспехам, обагренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелию на смелых противников. Александр *Знаменитый* с веселием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался; он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу — и при восходе солнца ударили в *вечевой колокол*. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников — и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное! Приими снова в недра свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Молинских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником великого града! Исполни усердное желание верховного совета! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу владеть оружием — могу умереть в поле!.. Народ! Объяви волю свою!..» — «Да будет! Да будет!» — громогласно ответствовали граждане, и Марфа сказала: «О славное торжество любви к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал как мертвого, воскресает для его служения! Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина, оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных! Народ и граждане! Можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в верховном совете? Возвратился Феодосий — возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу,

и мы будем тем счастливее, ибо *слава* есть счастие великих народов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в великом граде: они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить отечеству только усердными обетами чистой души своей — и бесполезными — ибо суды вышнего непременны!

Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ: Марфа приготовила великолепное пиршество, и сограждане еще дерзнули веселиться! Еще дух братства оживил сердца! Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев.

Скоро открылося новое бедствие, скоро в великом граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели — шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов; всё еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления... Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое... Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными: когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица — и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании... Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорства посадницы и Делинского, некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми власами отирал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали

по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее, во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами: там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и давала ему отчет в делах своих.

Наконец ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новогородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и что великодушное терпение есть должность их... В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела, казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивою, бесчеловечною... Она содрогнулась... Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой; он возвратит изобилие Новуграду — она хочет обратить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, вдруг упадает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее... Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют... «В последний раз,— вещает она,— в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да решит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились, многие сами упали на колена пред Марфою, называли ее *матерью новогородскою* и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата Московские отворились, воины спешили в поле; она вручила *хоругвь отечества* Делинскому, который обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!», удалился.

Войско Иоанново встретило новогородцев... Битва продолжалась три часа, она была чудесным усилием храбрости... Но Марфа увидела наконец *хоругвь отечества* в руках Иоаннова оруженосца, знамя *дружины великодушных* —

в руках Холмского, увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!», прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов — и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении, остатки воинства едва спаслися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей; она растворила окно, сказала: «Делайте, что хотите!» — и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь Московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решительный ответ великого князя... Взор их невольно искал Марфы, невольно устремлялся на высокий терем ее: там угасла ночная лампада! Они вспомнили слова посадницы... Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласие на требование Иоанна; наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому — он будет отцом Новаграда!» Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее: «Кто они?» — еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение, огни не угасали в домах: только в жилище Борецких все казалось мертвым.

Солнце восходило — и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне, под *хоругвию* новогородскою, среди воинского стана, полководцев и бояр московских; взор его сиял величием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону, за ним шли все чиновники великого града. Посадник стал на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Московских — тысячские преломили жезлы свои, и старосты пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новаграда!» — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь всея России и Новаграда!..»

«Государь! — продолжал старец.— Судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными

уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными: ибо сердца русские не знают измены, и клятва их надежна. Твори, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость! — вещал он.— Милость всем чиновникам и народу...» «Милость! Милость!» — воскликнули бояре московские. «Милость! Милость!» — радостно повторяло все войско: казалось, что она *ему* была объявлена,— столь добродушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами,— сказал Иоанн,— кого наказал он, того милую! Идите! Да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и принял начальство над градом: окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу: она и дочь ее сидели в тереме за рукоделием... «Не бойся мести Иоанновой,— сказали друзья,— он всех прощает». Марфа ответствовала им гордою улыбкою — и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что князь московский уважает Борецкую: он считает ее врагом опасным! Простите!.. Вам еще можно жить...» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову твоему...» — «Вот оно,— ответствовала посадница,— пусть Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию.

Граждане толпились вокруг дома Борецких — напрасно воины хотели удалить их, но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти концах, и народ, всегда любопытный, забыл на время судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород, под сению *хоругви отечества*, среди легионов многочисленных, в венце Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон

колокольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь всея России и великого Новаграда!..» — «Давно ли,— сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза,— давно ли сей народ славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих, иногда с горестию будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия моего останутся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? Неблагодарным! Я могла бы наслаждаться счастием семейственным, удовольствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеобщею любовию, почтением людей и — самою нежною горестию о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе моего народа: самую чувствительность женского сердца — и хотела ужасов войны; самую нежность матери — и не могла плакать о смерти сынов моих!.. (Тут *в первый раз* глаза Марфы наполнились слезами *раскаяния...*) Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним гласом женской слабости. Я клялась заступить твое место в отечестве и, конечно, исполнила клятву свою — ибо князь московский считает меня достойною погибнуть вместе с вольностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы: награда признательности уменьшает ее... Теперь я спокойно ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новогородскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Герои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали себя жизни: бесстрашные боялись казни — я не боюсь ее. Небо должно располагать жизнию и смертию людей, человек волен только в своих делах и чувствах». Ксения слушала мать свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня: Феофил и духовенство встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава угостил роскошною трапезою бояр новогородских и державною рукою своею сыпал злато на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, но

великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкою выходили из домов и видели в глубокую полночь Иоанна и Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму; два воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь наклонился на могилу юного Мирослава; казалось, что он изъявлял горесть и с жаром упрекал Холмского смертию сего храброго витязя... Новогородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись — и никогда не могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше. Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они видели множество пламенников на Великой площади, слышали стук секир — и высокий эшафот явился пред домом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежала секира. От конца Славянского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом, воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились: выходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на *вече*. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие, ужасная тишина царствовала; посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на сердце ее — знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот — сорвала покрывало с головы своей: казалась томною, но спокойною, с любопытством посмотрела на лобное место (где разбитый образ Вадимов лежал во прахе), взглянула на мрачное, облаками покрытое небо — с величественным унынием опустила взор свой на граждан... приблизилась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы... Многие невольно воскли-

нули от ужаса, другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом... Ударили в бубны — и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли... Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее:

«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре! Не ужасайтесь: Иоанн не нарушит слова; на вас милующая десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных — одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия; отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий — отцом и главою. Народ! Не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие и безопасность* суть три столпа гражданского счастия: Иоанн обещает их вам пред лицом бога всемогущего...»

Тут князь московский явился на высоком крыльце Ярославова дому, безоружен и с главою открытою: он взирал на граждан с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал далее:

«Обещает России славу и благоденствие, клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священна самодержцам российским — или да накажет бог клятвопреступника! Да исчезнет род его, и новое, небом благословенное поколение да властвует на троне ко счастию людей!» [1]

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах — и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново, и граждане наконец воскликнули: «Слава государю российскому!»

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из семи сот немецких граждан только пятьдесят человек пережили осаду новогородскую: они немедленно удалились во свои земли. *Вечевой колокол* был снят с древней башни и отвезен в Москву; народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

---

[1] Род Иоаннов пресесекся, и благословенная фамилия Романовых царствует. *(Примеч. Н. М. Карамзина.)*



МАРЬИНА РОЩА

СТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ

Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Услад, молодой певец, приблизился к берегам Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая легким ветерком, покрыта была розовым сиянием запада: в зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес и терем грозного Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном (он был построен на крутой горе — там, где ныне видим зубчатые стены Кремля, великолепные чертоги древних русских царей, соборы с златыми главами и колокольню Иван Великий),— с другой — зеленые берега, покрытые кустарником и осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворен благоуханием цветущей липы; иногда во глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок потрясал вершины дерев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шел по тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями, погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в которое находил он себя счастливым, представилось мыслям его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? — воскликнул печальный Услад,— где ты, прежнее время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река, зеленые берега, вы не изменились; но, счастие мое, тебя уже

нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют во глубине дремучего леса; а тот, кто некогда услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живее мечтал о своем счастии, тот уже не похож на самого себя. Ах! не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо мое помрачилось унынием...» Услад приближается к берегам светлого ручья [1], который, журча и сверкая, бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою; он увидел на крутизне горы уединенный терем грозного Рогдая. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой кровле верхней светлицы и на острых концах высокого тына; вершины древних дубов, берез и лип, которыми покрыта была вся гора, восходящие одни над другими, мало-помалу омрачались, наконец потемнели совсем; на одном только тереме, который, подобно великану, возвышался над лесом, оставалось умирающее мерцание; наконец и оно померкло, повсюду распространился сумрак. Услад, увидя Рогдаев терем, затрепетал, остановился, долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатились ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его склонилась ко груди.

Молодой Услад родился на берегу Москвы-реки в бедной хижине, от честных родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекрасным лицом и дарованием слагать прекрасные песни. Часто, простертый на берегу светлой Москвы и смотря на ее серебряные волны, провожал он вечернюю зарю звонким своим рожком. Приятные звуки раздавались по берегам и повторяемы были отголосками сенистой рощи. Молодые сельские девушки любили слушать Услада, когда он простыми стихами прославлял весну, спокойствие земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц или изображал приятность маткиной-душки, которой запах сравнивал он с милою душою чадолюбивой матери. Услад был всех приятнее на посиделках; никто не умел так хорошо рассказывать страшных сказок, от которых робкие девушки трепетали и прижимались к своим матерям, а на голове молодых мужчин становились волосы дыбом; ни с кем так

[1] Ныне мутная Неглинная. *(Примеч. В. Жуковского.)*

не любили играть в хороводы и в разные игры, как с милым, веселым, добросердечным Усладом. В селе называли его соловьем. Старушки переставали хмуриться и бранить своих дочерей, когда приходил к ним Услад; а старики в его присутствии оживлялись и чувствовали себя молодыми. Сельские девушки засматривались на Услада, который имел лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными ресницами, нежные, сияющие под черными густыми бровями; светло-русые волосы, которые легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу, вились вокруг открытой шеи, белой как снег, и оттеняли свежие, румяные, как молодая роза, щеки. Но чаще других и с чувством более нежным смотрела на него прекрасная Мария. Хижина ее построена была на самом том месте, где быстрый ручей сливался с прозрачною Москвою. Марии минуло пятнадцать лет; она имела доброе сердце, но была совершенный младенец: все ее веселило, все трогало и увлекало. Она любила свою старую мать более самой себя; часто смотрела ей в глаза и говорила со слезами: «Матушка, друг мой, я готова отдать тебе свою душу». Она плакала, когда старушка была или больна, или печальна; но в то же самое время безделица могла овладеть ее вниманием: она бросалась за пестрым мотыльком или смеялась от доброго сердца, когда слышала забавное слово, замечала уродливое лицо. Мария была чувствительна: никакое нежное чувство не могло изгладиться в сердце ее, но оно могло быть забыто (правда, на короткое время) для всякого нового, даже слабейшего впечатления.

Добрая Мария цвела, как полевая фиалка, под сенью родительской хижины, хранимая любовию матери. С некоторого времени душа ее наполнена была тайным пламенем, которым оживотворены были в ней все другие чувства,— любовию к прекрасному Усладу; но это чувство не мешало ей быть веселою по-прежнему, по-прежнему поливать свои цветы, кормить свою малиновку, распевать веселые песенки, когда она сидела вместе с матерью за пряжею на пороге хижины, и смеяться от всей души, когда подружки рассказывали ей смешные сказки. Прекрасный певец ощущал нежную томность в груди своей, когда смотрел в глаза добросердечной Марии. Ах! он любил ее страстно. Милый ее образ носился перед ним, когда он засыпал; он представлялся ему в сновидении; он видел его при первом блеске восходящего утра. Услад был задумчив, когда был с нею розно, задумчив, когда видел ее перед собою, живую, резвую, веселую. Мария вздыхала, на лице ее изображалось

глубокое сердечное чувство, когда глаза ее встречались с глазами Услада. Она радовалась, когда Услад уверял ее в нежной своей любви; целовала его в розовые щеки и говорила ему: «Добрый Услад, ты — мое счастие».

Однажды, вечернею порою, певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, услышав знакомые звуки, взяла кувшин и пошла за водою к светлому источнику. Поравнявшись с Усладом, она поставила кувшин на зеленую траву, села подле своего друга, поцеловала его в пламенную щеку и, окружив его белою рукою, склонила к нему на плечо свою прелестную голову. Они задумались. Вечер был тих и ясен; роща, одушевленная возвратившеюся весною, была наполнена запахом черемухи, благовонным дыханием ландышей, маткиной-душки и трав ароматных; ветерок порхал по деревьям; соловьи свистали вдалеке; в воздухе слышалось жужжание насекомых; легкие струйки источника, озлащаемые заходящим солнцем, которое проникало сквозь редкие деревья, сливали нежное свое плескание с шорохом тростника и трепетанием цветущего шиповника, осенявшего низкие берега источника: все сии звуки производили вместе единую очаровательную гармонию, которая трогала душу и погружала ее в задумчивое мечтание. Услад и Мария долго молчали, упоенные любовию.

— Ах, Мария! — сказал наконец Услад,— люблю тебя более своей жизни. Помнишь ли ту минуту, в которую мы встретились на берегу светлого источника? Ты пришла зачерпнуть в кувшин свежей воды, заслушалась соловья и стояла в задумчивости под тою развесистою березою — я возвращался из Новагорода, был утомлен путем и зноем; ты утолила мою жажду и посмотрела на меня таким ласковым взглядом, что сердце мое наполнилось в ту минуту неизъяснимою сладостию. Ах! с той минуты я перестал владеть своею душою; с той минуты единственное мое счастие быть с тобою или о тебе думать. Тобою прекрасный божий мир сделался для меня еще прекраснее. Во всем, что радует мою душу, нахожу я твой милый образ. Твой голос усладительнее для меня воркования иволги, когда внимаю ему при блеске заходящего солнца; походка твоя легче игривого весеннего ветерка, когда он пролетает над поверхностию спокойной Москвы-реки или колышет нежную травку. Чувствуя в роще запах *ночной красавицы*, я думаю: он так же приятен, как сладостное дыхание моей Марии. Светит ли полная луна сквозь частую рощу, я погружаюсь в задумчивость: мне кажется, что в светлом ее мерцании

летает надо мною твой образ, что я окружен твоим невидимым присутствием. Часто в минуту воцаряющегося вечера забываюсь по целому часу вблизи твоей хижины; сокрытый кустами шиповника, смотрю на тебя, когда ты сидишь у дверей вместе с твоею матерью, озаренная розовым сиянием вечера; мать твоя перебирает долгие светло-русые твои волосы, заплетает их в косы, целует тебя, называет своею радостию; а ты распеваешь, как соловей, или подымаешь на свою мать нежный, невинный, исполненный сердечной задумчивости взор, тогда... но, милый друг, прелестная, добросердечная моя Мария, могу ли сказать, что я тогда чувствую? Ах! в эту минуту не нахожу в себе души; она стремится к тебе, она исполнена чистейшею, непорочною к тебе любовию.

Так говорил Услад. Мария не отвечала; но она вздохнула, крепче обхватила его белою рукою, нежнее прижала ко груди его прелестную свою голову.

— Мы соединимся,— продолжал Услад,— когда исполнится тебе шестнадцать лет. Шесть раз полная луна должна осветить вершины дерев, прежде нежели ты будешь моею; тогда нежная твоя мать переселится в нашу хижину; старость ее пройдет спокойно, как вечер ясного дня... Теперь, мой милый друг,— продолжал Услад, помолчав минуту,— я должен на время с тобою разлучиться. Старый Пересвет, мой благодетель, мой наставник, идет отсюда в свою отчизну, к своим ближним и сродникам — я должен его проводить: ибо мы, вероятно, расстаемся навеки. Путешествие мое продолжится до третьей полной луны. Мария, не забывай меня в отсутствии. Когда взойдет луна,— в эту минуту золотые рога месяца мелькнули из тучи над кровлею Рогдаева терема,— когда озлатятся струистые волны, приди на берег источника и думай об Усладе: душа его будет над тобою. В каждом приятном звуке, с которым прольется в душу твою сладостная унылость, внимай нежному голосу его сердца.

Мария плакала; Услад умолкнул; они встали. Певец поднял глаза на высокий Рогдаев терем — черная туча над ним носилась; невольно печаль овладела его душою: туча сия казалась ему подобием его жребия. «О! что ты принесешь мне, время будущее, время далекое, время неизвестное?» — подумал он. Быстрая молния раздвоила тучу пламенною браздою; облака вспыхнули и вдруг угасли; сердце Услада стеснилось; он бросил на Марию задумчивый взгляд: на миловидном ее лице изображена была робость; взоры ее, устремленные на тучу, как будто искали

на ней следов пролетевшей молнии: она вздохнула, поцеловала Услада и медленно пошла в свою хижину. Услад сел в свою лодку, переправился на другой берег Москвы, на котором находилась его хижина, простерся на траву, печально опустил на руку свою голову, и долго смотрел на хижину Марии, в которой светился огонек, иногда затмеваемый легкою тению. Наконец сияние исчезло. Услад закрыл руками глаза и заплакал: ему казалось, что в эту минуту угасло счастие жизни его, что для него уже не было на свете Марии.

Утренняя заря не застала Услада на берегах светлой Москвы. В первые два дни Мария не переставала крушиться и плакать. Потупив голову, закрыв передником прискорбные очи свои, орошенные слезами, сидела печальная на пороге хижины и не внимала утешениям своей добросердечной матери. На третий день пошла она к источнику. Вдруг представляется взору ее незнакомый витязь: на нем сияла блестящая броня, голова покрыта была шишаком, на плечах лежала медвежья кожа. Лицо неизвестного было величественно и сурово: глаза, глубоко впадшие, ярко блистали из-под густых бровей; черная всклокоченная борода закрывала до половины смуглые щеки его. Мария оторопела. Незнакомец поглядел на нее пристально.

— Кто ты, красная девица? — спросил он. Мария испугалась громозвучного голоса, не посмела поднять своих глаз и побежала опрометью в хижину. Витязь последовал за нею.

То был Рогдай, славный, могучий богатырь. Ему принадлежали обширные поля, между которыми извивалась прозрачная Москва; ему принадлежал высокий терем, окруженный дубовым тыном. Он долго служил могущественною мышцею великому Новугороду; сподвижники называли его: Рогдай *булатная рука*; а прочие люди: Рогдай *жестокое сердце*; ибо ни одно человеколюбивое чувство не было ему известно, никогда на челе его не разглаживались морщины; грозный, неукротимый во мщении, ни вопли, ни улыбка невинного младенца не проницали в его неприступную душу. Умертвив на соборище народном одного из знаменитейших посадников новогородских и принужденный поспешно с верною дружиною сокрыться из великого града, пошел он в знаменитый Киев, к великому князю Владимиру, дабы служить ему вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею. Желая на перепутье посетить свое наследие и отческий терем, в котором провел

младенческие лета, явился он на берегах Москвы-реки дни через два по отшествии певца Услада.

Новое чувство открылось в душе Рогдая в ту минуту, когда он встретился у источника с Мариею; он начал каждый день посещать хижину ее матери. Разговаривая с старушкою, бросал он косвенные взгляды на прелестную дочь ее, которая, потупив голову, краснея и трепеща, сидела за пряжею и роняла из рук веретено всякий раз, когда робкие взоры ее встречались нечаянно с задумчивыми взорами Рогдая, в которых пылало мрачное пламя. Неутолимая страсть, сопутствуемая мукою желаний и тайным волнением ревности, свирепствовала в сердце грозного витязя. Впервые почувствовал он желание быть любимым, впервые научился смягчать громозвучный свой голос; иногда на устах его показывалась усмешка; везде и всякую минуту он думал о Марии; искал ее на берегу источника, во глубине рощи; следовал за нею в село и даже нередко, чтоб угодить ей, вмешивался в веселые игры поселян и поселянок. Всякий день приносили ей богатые дары от Рогдая: иногда жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафан, обшитый богатым галуном, иногда ленту с серебряною бахромою, серьги, золотой перстень.

— Мария,— говорил ей грозный витязь,— отдай мне свое сердце, я сделаю твое счастие. Тебе будут принадлежать мои сокровища, мой терем, мои поля и рощи. Будешь ходить в серебре и золоте. Повезу тебя в великолепный град Киев, покажу тебе великого князя Владимира; увидишь богатырские игры, затмишь собою всех киевских красавиц, будешь украшением княжеских палат и радостию всего града Киева...

Что происходило в твоем сердце, что думала ты, добрая Мария? Сначала она тосковала и плакала. «Услад, милый Услад, для чего нет тебя со мною?» — говорила она, смотря на струистый источник, при котором они расстались. Увы! она уже чувствовала, что присутствие Услада было необходимо, чтоб сохранить в сердце ее прежнюю к нему привязанность. Воображая Услада, она воображала счастие жизни своей; но, думая о Рогдае, видела в мыслях своих одни бесчисленные богатства его, пышный град Киев (о котором слыхала только в сказках), славных богатырей, блистание великолепного дворца княжеского и никогда не думала о самом Рогдае; ибо никогда сердце ее не могло бы поколебаться между прекрасным Усладом и грозным витязем, которого мрачный образ приводил ее в трепет. Но, увы! ослепленный рассудок ослепил и нежное сердце Марии;

в продолжение первого месяца она всякий божий день приходила к источнику вспоминать об Усладе — и всякий раз встречала на берегах его витязя Рогдая. Наступил другой месяц, и Мария с большим уже вниманием начала слушать Рогдаевы предложения: в душе ее, которая прежде была так непорочна, родились гордые мечты о блеске, богатстве и торжестве ее прелестей. Наступил третий месяц — и Мария отдала руку свою Рогдаю... Ах! кто бы это подумал, добрая Мария? Но для чего же обвинять ее доброе сердце? Оно никогда не изменяло Усладу. Ты обманывалась, Мария, когда уверяла себя, что более не любишь своего друга. Скоро исчезнет твое ослепление; скоро опять воскреснет в душе твоей прежнее чувство любви, к которому ты привыкла, которым была так счастлива... что будешь тогда, невинная, обманутая, несчастная Мария!

Услад приближался уже к месту своей родины; уж видел он вдалеке высокий Рогдаев терем, видел дым, вьющийся над кровлями хижин и озлащенный сиянием восходящего утра. Душа его наполнена была смутными чувствами радости, любви, нетерпения. В эту минуту повстречался ему пастух, который гнал стадо на паству и пел утреннюю свою песню,— они узнали друг друга.

— Бедный Услад, зачем воротился ты на свою родину,— воскликнул пастух.

Услад побледнел.

— Что сделалось? — спросил он изменившимся голосом.

— Много воды утекло с того времени, как ты оставил наше селение,— отвечал пастух.— Мария твоя — перелетная птичка; она покинула родимое гнездышко и хочет лететь на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ах! бедный Услад, для чего возвращался ты на свою родину?

Пастух посмотрел на него с состраданием, вздохнул, опять погнал свое стадо, опять запел свою утреннюю песню. Услад не мог отвечать ему ни слова: стоял как убитый громом и долго неподвижными очами смотрел на волны, в которых отражалось чистое небо. Жаворонок кружился и пел под облаками; утренний ветерок дышал ему в лицо; с полей подымались благовония цветов и трав. Услад ничего не чувствовал. Солнце взошло; первые лучи его заиграли на кровле высокого терема; нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся душа его пришла в волнение; он бросился на траву, залился слезами и целый день пролежал на одном месте неподвижно, вздыхал и терзался. Наступил вечер.

Земледельцы и пастухи пришли с полей. Веселые голоса их пробудили Услада. Он встал, опять устремил глаза на терем, смотрел на него долго, наконец снял с груди пучок засохших ландышей, перевязанных волосами Марии, который подарила она ему накануне разлуки, бросил его в реку, несколько минут следовал за ним глазами по течению волн, потом, потупив голову, стараясь удерживать стеснившиеся в груди вздохи, пошел назад, чтобы никогда, никогда не возвращаться в то место, где все, что радовало его в жизни, погибло навеки.

Прошла осень, прошла зима — Услад скитался по городам и селениям. Увы! он думал забыть прежнее время, забыть утраченное свое счастие — напрасно! В тех самых песнях, которыми веселил он горожан и сельских жителей, чтобы избавить себя от голодной смерти, изображались милые чувства, некогда услаждавшие душу его, изображен был тот счастливый край, где прежде встречал он с веселием каждое утро, провожал он с надеждою каждый вечер. Наступила весна, и вся любовь, которую он почитал почти угасшею, опять воспламенилась в душе его.

— Нет,— воскликнул Услад,— я не могу дышать в разлуке с нею; где бы я ни был, везде мой жребий — угаснуть в любви, увянуть в страдании; здесь, на чужой стороне, все для меня чужое; а там, в отчизне моей, все мне друг, все было свидетелем моего счастия, все будет поверенным моей скорби. Не буду с нею встречаться; но буду с нею вместе, но буду скитаться вокруг ее жилища, невидимо следовать за нею во глубину рощи, иногда внимать ее голосу, дышать ветерком, освежающим ее грудь или волнующим ее светлые кудри, орошать слезами следы, оставленные на мураве легкими ее стопами, в упоении, сокрытый мраком ночи, смотреть на свет ее лампады, горящей перед образом и проницающей сквозь окна ее светлицы, и вместе с нею молить божию матерь о счастии жизни ее. Так, моя родина, и вы, отческие рощи, и вы, цветущие берега Москвы, опять увидите возвратившегося к вам Услада; возвращусь к вам, чтобы увянуть на вашем лоне, увянуть там, где расцвело и увяло мое веселие. Ах, видя, как другой владеет моим счастием, скорее умру с печали. Утро взойдет, ранняя ласточка взовьется под облака, ветерок побежит по вершинам дерев, и листья осенние посыплются с шумом; тогда, Мария, ты взглянешь в окно высокого терема и скажешь: «Утренняя ласточка, для чего ты поднялась так рано? Ветерок осенний, для чего рассыпаешь ты красоту дубравы? Для чего в душе моей тоска неизвестная?» Ты выдешь

рассеять печаль свою в поле; там, близ тропинки излучистой, на краю кладбища, под сению древних берез, увидишь свежую могилу; ты устремишь на нее задумчивые взоры. «Здесь положили певца Услада»,— скажут тебе сельские девушки, печально собравшиеся вокруг могилы. Ты вспомнишь прежние наши радости, вспомнишь певца Услада; приуныввши, возвратишься в свой терем, вздохнешь из глубины сердца и скажешь: «Он меня любил, но его уже нет».

Солнце почти закатилось, когда Услад остановился на берегу источника, в виду Рогдаева терема.

Долго в унылой задумчивости смотрел он на жилище Марии; взоры его искали сияния лампады в окне уединенной ее светлицы... напрасно; глубокая мрачность царствовала в тереме витязя Рогдая. Уже на западе исчезла последняя полоса вечерней зари, на востоке показывалась полная луна, подобная зареву отдаленного пожара: весь терем покрылся ее сиянием. Услад мог ясно видеть, что задвижные окна были все раскрыты; что крепкие тесовые ворота, не заложенные затвором, ходили на железных петлях,— невольно робость проникнула в его душу. «Что это значит? — подумал он.— Отчего такая мрачность в Рогдаевом тереме? Что сделалось с тобой, Мария?» Услад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы — часто останавливается — слушает — ничего не слышит — одни только легкие струйки ручья переливаются с журчанием по песку, изредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на землю.

— Что предвещаешь ты мне, тишина ужасная? — вопрошал Услад, осматриваясь с робостию и видя вокруг себя одно печальное запустение. Вдруг послышался ему близкий шорох... кто-то бежал... сухие листья хрустели под ногами... шорох приблизился... Услад прячется в кусты... видит женщину... луна осветила ее лицо... Певец узнает добродушную Ольгу, любимую подругу Марии... бросается к ней навстречу... Ольга закричала, закрыла обеими руками лицо...

— Защитите меня, силы небесные,— воскликнула она,— привидение, душа Усладова! — Ноги ее подкосились, она упала бы на траву, когда бы Услад не принял ее в объятия.

— Что с тобою сделалось, добрая Ольга? Отчего боишься Услада?

Ольга дрожала как лист, не смела отворить глаз, крестилась, читала про себя молитву.

— Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвец, я Услад, живой Услад, возвратился в свою отчизну, хочу увидеть Марию.

Звуки знакомого голоса ободрили несколько робкую девушку — несколько минут не могла она прийти в себя от испуга, наконец мало-помалу осмелилась отворить глаза...

— Точно ли вижу Услада? — спросила она.— В самом деле, его лицо, его приятные взоры, его знакомый голос. Ах! добрый Услад, зачем ты здесь?.. Но удалимся от этого места — мне страшно. Скоро будет полночь; никто из наших поселян не ходит сюда в это время: я сама нечаянно запоздала в роще; удалимся, Услад; это место ужасно.— Ольга побежала вперед, потащив за собою Услада, и чрез две минуты находились они уже на берегу светлого источника.

— Ольга,— сказал Услад,— я не пойду и не пущу тебя далее: хочу знать, отчего так страшен тебе Рогдаев терем и что сделалось с Мариею?

— Ах! добрый Услад, о чем ты у меня спрашиваешь?

— Говори, милая Ольга, именем бога прошу тебя; неизвестность мучительнее смерти.

— Хорошо, Услад, слушай. Садись ко мне ближе; здесь не так страшно: я вижу на том берегу источника нашу хижину.

Они сели. Услад трепетал: сердце предсказывало ему что-то ужасное.

— Много, Услад, очень много переменилось с тех пор, как ты оставил нашу деревню,— так начала говорить Ольга.— Дорого бедная моя подруга заплатила за свое легкомыслие. Ах! милосердое небо, для чего, не спросясь с душою своею, поверила она коварным обещаниям обольстителя?.. Услад, Мария твоя ни на одну минуту не переставала о тебе помнить. Что же делать, если она как младенец прельстилась золотыми парчами, жемчугом, лентами, которыми дарил ее грозный Рогдай, и суетною надеждою сиять прелестями в великолепном граде Киеве? Увы! она сама обманывала себя, когда почитала прежнюю любовь свою угасшею, а гордые свои замыслы — привязанностию к грозному Рогдаю. Нет, Услад, не обижай ее такою мыслию: никогда Мариино сердце не было переменчиво; и можно ли, друг мой, забыть те сладкие чувства, которыми животворится душа наша в лучшие годы жизни, с которыми соединены все наши надежды на счастие, кото-

рыми земля претворяется для нас в царство небесное? Ни одной минуты веселия не видала она с той поры, как принуждена была оставить родительскую хижину. Слушай: ввечеру накануне того дня, в который надлежало ей идти к венцу и в церкви божией перед святым алтарем навсегда отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что позабудет Услада навеки, я навестила мою подругу; но где же нашла ее? Здесь, на берегу светлого источника, на том самом месте, где ты, Услад, в последний раз с нею простился. Она сидела в унынии, склонив ко груди прелестную свою голову, с потухнувшими глазами, увядшими щеками, как будто приговоренная к смерти. Ах! Услад, еще не вступила она в Рогдаев терем, а уже мечты удовольствий, которые найти в нем она воображала, для нее исчезли: одна только мысль о том, что была она готова утратить, одно минувшее время, одни погибшие радости наполняли ее прискорбную душу. Увидя меня, она встала, подала мне знак, чтобы я за нею последовала, и молча пошла в свою хижину. Матери ее не было дома; свечка горела перед образом богоматери. «Молись вместе со мною,— сказала Мария и упала на землю, обливаясь слезами.— Святая утешительница,— воскликнула она,— молю не о себе; для меня уже нет счастия: не желаю, не буду искать его, я сама от него отказалась; но будь твое милосердие над милым, оставленным, осиротевшим другом моим; храни его, покровительница несчастных». На другое утро принесли к ней богатые дары от Рогдая: она посмотрела на них с равнодушием. Сельские девушки пели веселые песни у дверей ее хижины: Мария, казалось, им не внимала. Мать убирала ее к венцу, ласкала словами и взорами. Мария устремляла на нее умильные глаза, целовала ей руки, вздыхала, утирала слезы и не говорила ни слова. Грозный Рогдай изумился, когда она вошла в церковь, печальная, бледная как полотно, и с трепетом подала ему руку. Лицо ужасного витязя во все продолжение венчального обряда было мрачно: с суровым подозрением рассматривал он свою невесту, которая стояла пред алтарем как жертва, приведенная на заклание. Их обвенчали. Услад, я повторяю: ни единою радостию не насладилась твоя Мария с той самой минуты, в которую оставила родительскую хижину. Мы виделись с нею каждый божий день: всегда находила я ее погруженную в задумчивость. Иногда, вечернею порою, она сидела на скате горы и пела прекрасные твои песни; иногда с прискорбием останавливалась на берегу источника; но чаще всего приходила к реке смотреть на отдаленную твою хи-

жину. Суровость витязя Рогдая приводила ее в трепет: он любил ее страстною любовию, но самая нежность его имела в себе что-то жестокое. Простодушная Мария, которой слова и взоры всегда согласны были с тайным расположением сердца, ответствовала на любовь его одною тихою покорностию: она подходила к нему только тогда, когда он сам приказывал ей приблизиться; не смела к нему ласкаться, а только с смирением принимала его надменные ласки. Увы, несчастная Мария, которая прежде была так весела и резва, которая прыгала от удовольствия в кругу игривых своих подруг, Мария почти никогда уже не улыбалась, и в самой улыбке ее изображено было душевное прискорбие. Рогдай заметил ее тоску; часто с видом угрюмого подозрения устремлял он свои взоры на бледное лицо Марии: она содрогалась и потупляла глаза свои в землю. Часто хотел он спросить ее о причине такой непрерывной унылости, начинал говорить и уходил, не кончив вопроса,— и что могла бы отвечать ему Мария? Прошло три недели. В одно утро (мы сидели вместе с Мариею и низали жемчужное ожерелье для ее матери) приходит он в светлицу. «Мария,— говорит он,— послезавтра мы едем в Киев: будь готова». Мария побледнела; руки ее опустились, хотела отвечать, и слезы побежали из глаз ее ручьями. «Что это значит?» — загремел ужасным голосом витязь. Мария схватила его руку (в первый раз позволила она себе такую смелость). «Ради бога,— воскликнула она, устремив на него умильный взор,— пробудь здесь еще один месяц, один только месяц; дай мне познакомиться с печальною мыслию, что я должна расстаться с своею родиною, навсегда покинуть свою мать, моих подруг, мои отеческие поля и рощи». Прижавши прекрасное лицо свое к руке ужасного витязя, она орошала ее слезами. Какое сердце могло бы не тронуться умоляющим стенанием Марии? Несколько минут молчал суровый Рогдай: в сумрачных взорах его блеснуло чувство. «Не могу отказать тебе, Мария,— отвечал он, смягчивши голос,— мне сладко тебя утешить. Согласен, еще на месяц остаюсь в этих местах; но, Мария,— тут устремил он на нее подозрительный взгляд,— ты худо отвечаешь на страстную мою любовь: горе тебе, если не одна привязанность к матери, подругам и отчизне удерживает тебя в этом месте». Он удалился. Мария посмотрела на меня и не сказала ни слова: мы обе вздохнули.

Прошло еще две недели — самые печальные для бедной Марии. Она старалась удалить от себя воспоминания об Усладе, но всякую минуту против воли своей думала: «Он

скоро возвратится, он придет отдать мне свою душу, исполненный сладкой надежды, исполненный прежней любви, а я...» Она томилась в тоске и слезах и не могла утаить ни тоски, ни слез своих от Рогдая; он видел ее печаль — но он молчал, и грозные взоры его час от часу становились мрачнее; страшная ревность свирепствовала в его сердце. «Мария,— говорил он иногда, устремив на нее пристальное око,— душа твоя неспокойна, совесть тебя обличает: взоры мои тебе ужасны. Мария,— восклицал он иногда громозвучным голосом, от которого несчастная цепенела,— я люблю тебя страстно... но горе, если ты меня обманула!»

Наконец наступило время твоего возвращения, и бедная Мария совсем потеряла спокойствие. Увы! она боялась ужасного Рогдая, боялась твоего милого присутствия, боялась собственного своего сердца: малейший шорох заставлял ее содрогаться. Она не хотела, она страшилась тебя увидеть; но, Услад, несмотря на то, как будто ожидая тебя, не отходила она от окна своей светлицы, по целым часам просиживала на берегу Москвы, устремив неподвижные взоры на противную сторону реки, туда, где видима соломенная кровля твоей хижины. В одно утро — это случилось на другой день после твоей встречи с пастухом нашего села — навещаю ее, нахожу одну, печальную по-прежнему, на берегу Москвы, на том же самом месте, на которое приходила она и вчера и всякий день; сказываю, что тебя видели накануне; что ты, узнавши о ее замужестве, не захотел войти в деревню; что ты удалился неизвестно куда. Мария заплакала: «Ангел-хранитель, сопутствуй ему,— сказала она,— пусть будет он счастлив; пускай, если может, забудет Марию». Она устремила глаза на небо. Мы стояли тогда на самом том месте, где волны образуют мелкий залив; разливаясь по светлым камешкам, с тихим плесканием — одна волна прикатилась почти к самым ногам Марии — рассыпалась — что-то оставила на песке — я наклоняюсь — вижу пучок увядших ландышей, перевязанный волосами,— подымаю его, показываю Марии: боже мой, какие слова изобразят ее ужас! Казалось, что грозное привидение представилось ее взору, волосы поднялись на голове ее дыбом, затрепетала, побледнела. «Это мои волосы,— воскликнула она.— Услада нет на свете: он бросился в реку». Она упала к ногам моим без памяти. В эту минуту показался Рогдай: подходит, видит бесчувственную Марию, поднимает ее; смотрит с недоумением ей в лицо: оно покрыто было бледностию смерти; снимает с головы шишак, велит мне зачерпнуть в него воды

и орошает ею голову Марии, которая, как увядшая роза, наклонена была на правое плечо. Несколько минут старались мы привести ее в чувство; наконец Мария отворила глаза — но глаза ее были мутны; она посмотрела на Рогдая — и не узнала его. «Ах! Услад,— сказала она умирающим голосом,— я любила тебя более жизни; последние радости, последние надежды, простите!» Как описать то действие, которое произвели слова ее на душе грозного Рогдая? Лицо его побагровело, глаза его засверкали, как уголья; он страшно заскрежетал зубами. «Услад,— воскликнул он, задыхаясь от бешенства,— кто Услад? Что ты сказала, несчастная?» Но Мария была как помешанная; она не чувствовала, что Рогдай стоял перед нею; с судорожным движением прижимала она его руку к сердцу и говорила: «На что мне жить? Я любила его более моей жизни: все кончилось!» Рогдай затрепетал; в исступлении обхватил он ее одною рукой поперек тела и помчал, как дикий волк свою добычу, на высоту горы, к ужасному своему терему. Я хотела за ними последовать. «Прочь!» — заревел он охриплым голосом, блеснув на меня зверскими глазами — ноги мои подкосились. С той поры, Услад, ни разу не видала я нашей Марии... Ввечеру прихожу опять к горе, смотрю на высокий терем — все было в нем тихо, как будто в могиле,— светлица Марии казалась пустою — я долго прислушивалась — но все молчало — ничто, кроме трепетания волн и шороха дубравных листьев, не доходило до моего слуха — кровь леденела в моих жилах. «Боже мой,— думала я,— что сделали они с тобою, несчастная Мария?» Три дня сряду приходила я к терему: то же молчание, та же пустота. «Куда девалась Мария? Где витязь Рогдай?» — спрашивали наши поселяне. Один из них осмелился войти в самый терем; но он не нашел ни витязя, ни Марии, ни служителей Рогдаевых: повсюду царствовала пустота, стены были голы, все утвари домашние исчезли — казалось, что никогда нога человеческая не заходила в эту обитель молчания. Увы! Услад, с того времени мы ничего не знаем об участи твоей Марии. Никто из поселян не смеет приближаться к Рогдаеву терему. Горе заблудившемуся пешеходцу, который отважится зайти в него полуночною порою! Божие проклятие постигло этот вертеп злодейств, говорит наш сельский священник. Мы смотрим на него из-за реки, содрогаемся и молим небесного царя, чтобы он успокоил душу Марии. Бедная мать ее умерла с печали: мне суждено было от бога заступить при ней место дочери; я посадила на могиле ее шиповник и молодую липу. Услад,

кто знает? может быть, она уже встретилась теперь на том свете с своею Мариею.

Ольга перестала говорить; Услад не мог отвечать ей ни слова. Несчастный сидел, потупив голову, закрыв руками лицо,— состояние души его было ужасно; несколько минут продолжалось печальное безмолвие. Услад посмотрел на Мариину подругу: она плакала, он поцеловал ее в щеку.

— Милая Ольга,— сказал он,— возвратись к своей матери; конечно, беспокоит ее теперь долговременное твое отсутствие; оставь меня, я никогда не сойду с этой горы: она должна быть моим гробом. Бог с тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива; скажи в деревне, что бедный Услад жив, что он возвратился, что он умрет на том самом месте, где мучилась и погибла его несчастная Мария.

Они поцеловались опять. Ольга переправилась на другой берег источника; Услад пошел по излучистой тропинке на высоту горы, к ужасному терему.

Полночь была уже близко — полная луна, достигшая вершины неба, сияла почти над самою головою Услада. Он приближается к терему; входит в широкие ворота, растворенные настежь,— они скрипели и хлопали; входит на двор — все пусто и тихо. Дорога от ворот до крыльца, окруженного высокими перилами, покрыта крапивою, полынью и репейником. Услад с трудом передвигает ноги, наконец вступает на крыльцо, идет к двери... Дикая лисица, испуганная приходом человеческим, давно не возмущавшим сего пустынного места, бросилась в высокую траву, сверкнув на него глазами; филин, пробужденный шорохом, встрепенулся, захлопал крыльями, полетел на кровлю и завыл... Услад почувствовал робость и начал осматриваться. При свете луны увидел он себя в обширной горнице, в которой находился длинный стол, приставленный к стене; две или три скамейки, лежавшие на полу; пустой поставец, где прежде находились образа, и на полу разбросанные черепки разбитых глиняных кружек: здесь грозный Рогдай угощал иногда поселян и поселянок своей деревни. Услад прошел еще две или три горницы: везде представлялись глазам его голые стены, везде царствовала тишина, изредка нарушаемая шумом нетопырей, которые быстро над ним порхали. Наконец он видит маленькую дверь и узкую лестницу, обвившуюся винтом вокруг столба: сердце его сильно затрепетало — эта лестница вела в светлицу Марии. Услад идет по ступеням, входит в светлицу, ярко озаренную лучами луны, которая ударяла прямо в раскрытые окна. Душа его наполнилась неизъяснимым прискорбием,

когда он увидел себя в том самом месте, где бедная Мария провела последние дни своей жизни, встречая утро со вздохами, провожая вечер с унынием. Он находил горестное удовольствие дышать тем воздухом, которым некогда она дышала; как будто чувствовал, что в тихой полуночной прохладе разливалось вокруг него ее присутствие. Все было ею наполнено — на все устремлял он с неописанным волнением взоры свои; ибо везде мечтались ему следы милого бытия утраченной Марии. В одном углу брошены были ее пяльцы с недоконченным шитьем, которое почти все истлело. В другом что-то блистало — Услад приближается: смотрит — что же? Находит тот самый образ богоматери в серебряном окладе, который привез он ей из Киева и который Мария, до самой разлуки с Усладом, носила на шее; он упал перед ним на землю, заплакал, снял его со стены, поцеловал и положил на грудь свою. Он сел под окно — глаза его устремились на Москву, которая тихо вилась под горою, отражая в волнах своих и берега, покрытые лесом, и синее небо, усыпанное легкими сребристыми облаками; окрестности, одетые прозрачною пеленою светлого сумрака, были спокойны; все молчало — и воздух, и воды, и рощи. Услад задумался; минувшее предстало его воображению, как легкий призрак; он видел Марию, прежде цветущую, потом увядающую во цвете лет. «Здесь,— думал он,— сидела она в унынии под окном, смотрела в туманную даль и посылала ко мне свои вздохи; здесь, проливая слезы, молилася перед святою иконою; здесь, о боже милосердный, может быть, на самом этом месте убийца...» Он содрогнулся; ужас проникнул все его члены; ему мечталось слышать стенания, выходящие как будто из могилы; мечталось, что скорбное, тоскующее привидение бродило по горницам оставленного терема; жилы его сильно бились; кровь, устремившаяся в голову, производила в ушах его звуки, подобные погребальному стону. Час полночи, всеобщее безмолвие, мрачность и пустота ужасного терема — все приготовляло душу его к чему-то необычайному: таинственное ожидание наполняло ее. Услад сидит неподвижно... прислушивается... все молчит... ни звука... ни шороха... Вдруг от дубравы подымается тихий ветерок: листочки окрестных деревьев зашевелились, ясная луна затуманилась, по всем окрестностям пробежал сумрак, какое-то легкое, почти нечувствительное дуновение прикоснулось к пламенным щекам Услада и заиграло в его разбросанных кудрях: казалось, что в воздухе распространялось благовонное дыхание весны и разливалась при-

ятная, едва слышимая гармония, подобная звукам далекой арфы. Услад поднимает глаза... что же? О ужас! о радость!.. он видит... видит перед собою Марию — светлый, воздушный призрак, сияющий розовым блеском; одежда ее, прозрачная, как утреннее облако, летящее перед зарею, расстилалась по воздуху струями; лицо ее, бледное, как чистая лилия, казалось прискорбным, на милых устах видима была унылая улыбка; задумчивый взор ее стремился к Усладу. Священный ужас наполнил его сердце.

— Ты ли, душа моей Марии? — воскликнул он, простирая к привидению трепещущие руки.— О! скажи, для чего покинула ты селения неба? Велишь мне разлучиться с жизнию? Хочешь ли приобщить меня к своему блаженству?

Он умолк — ответа не было. Но призрак, казалось, хотел, чтобы Услад за ним последовал,— одною рукою указывал на дремучий лес, другою, простертою к Усладу, манил его за собою. Услад осмелился ступить несколько шагов... привидение полетело... Услад остановился... и вместе с ним остановился призрак, опять устремив на него умоляющие взоры... Услад был в нерешимости... не знал, идти ли ему или нет... Наконец ободрился... пошел... руководствуемый таинственным вождем, вышел на пустынный двор, за ворота, наконец в дремучий лес, который на несколько верст простирался позади Рогдаева терема. Входит во глубину леса — тишина и мрачность окрест него царствуют; ни одно живое творение не представляется взору его; дикие дубравные звери, как будто чувствуя присутствие бесплотного духа, ему сопутствующего, уклоняются от стези его с робостию... храня глубокое безмолвие, идет он за бледным улетающим сиянием... Несколько часов продолжалось его уединенное шествие... вдруг видит реку, вьющуюся под сению древних дубов, развесившихся берез и мрачных елей... устремляет глаза на светлую свою сопутницу... она остановилась... печаль, прежде напечатленная во взорах ее, уже исчезла: они сияли небесным веселием... привидение указывает ему на небо... улыбается... простирает к нему объятия... и вдруг, как легкая утренняя мечта, исчезает в воздушной пустыне. Все помрачилось; Услад остался один, в глуши дремучего леса, в стране ужасной и дикой... осматривается... видит вблизи сверкающий огонек... идет... глазам его представляется низенькая хижина, покрытая соломою... он отворяет дверь... дряхлый старик молится перед распятием, при свете ночника... скрип двери заставил его оглянуться... он посмотрел пристально Усладу в лицо... улыбнулся и подал ему руку.

— Благословляю приход твой,— сказал отшельник,— давно пророческое сновидение возвестило мне его в этой пустыне. В лице твоем узнаю того юношу, который несколько раз являлся мне в полуночное время, когда в спокойном сне отдыхал я после трудов и молитвы.

— Кто ты, старец? — спросил Услад, исполненный умиления и тайного страха.

— Смиренный отшельник Аркадий,— отвечал старик.— Два года, как поселился я на берегу светлой Яузы, в этой уединенной хижине. Здесь провожу дни свои в молитве, оплакиваю прошедшие заблуждения и спасаюсь. Приди в обитель мою, несчастный труженик: в ней обретешь утраченное спокойствие, а с ним и желанное забвение прошедшего. Скажи мне, кто указал тебе дорогу к моей неизвестной хижине?

Услад описал ему несчастия своей жизни.

— Так,— воскликнул Аркадий, выслушав повесть Услада,— здесь, на берегу Яузы, покоится несчастная твоя Мария; мне назначило божие провидение принять последние взоры ее и примирить с небом ее отлетающую душу. Слушай: в одно утро я собирал коренья на берегу Яузы; внезапно поразили слух мой жалобные стенания... Иду... шагах в пятидесяти нахожу женщину, молодую, прекрасную, плавающую в крови,— это была твоя Мария; вдали раздавался конский топот; воин, одетый в панцирь, мелькал между деревьями; он вскоре исчез в густоте леса — то был убийца Рогдай. Беру в объятия умирающую Марию — увы! последняя минута ее уже наступила, уста и щеки ее побледнели, глаза смыкались. Медленно подняла на меня угасающий взор. «Прими мою душу, благослови меня»,— сказала она, усиливаясь приложить руку мою к сердцу. Я перекрестил ее — умирающая посмотрела на меня с благодарностию. «Ангел-утешитель,— сказала она, простирая ко мне объятия,— молись о душе моей, молись об Усладе». Взоры ее потухли, голова наклонилась на плечо — она скончалась. Могила ее близко. Ты скоро увидишь ее, Услад; заря начинает уже заниматься.

— Ах! несчастная! — воскликнул Услад.— Какая участь! И этот убийца жив!.. Нет, божий угодник, клянусь у ног твоих...

— Услад, не клянись напрасно,— ответствовал старец,— небесное правосудие наказало Рогдая: он утонул во глубине Яузы, куда занесен был конем своим, испугавшимся дикого волка. Усмири свое сердце, друг мой; скажи

вместе со мною: вечное милосердие да помилует убийцу Марии!

Услад утихнул.

— Очи мои прояснились,— воскликнул он и простерся к ногам священного старца.— Она сохранила ко мне любовь и за гробом. Отец мой, тебе, воспоминанию и служению бога посвятится отныне остаток моей жизни.

Заря осветила небо, и лес оживился утренним пением птиц. Старец повел Услада на берег Яузы и, указав на деревянный крест, сказал:

— Здесь положена твоя Мария.

Услад упал на колена, прижал лицо свое, орошенное слезами, к свежему дерну.

— Милый друг,— воскликнул он,— бог не судил нам делиться жизнию: ты прежде меня покинула землю; но ты оставила мне драгоценный залог твоего бытия — безвременную твою могилу. Не для того ли праведная душа твоя оставляла небо, чтоб указать мне мое пристанище и прекратить безотрадное странничество мое в мире? Повинуюсь тебе, священный утешительный голос потерянного моего друга; не будет прискорбна для меня жизнь, посвященная гробу моей Марии: она обратится в ожидание сладкое, в утешительную надежду на близкий конец разлуки.

Услад поселился в обители Аркадия: на гробе Марии построили они часовню во имя богоматери. Прошел один год, и Услад закрыл глаза святому отшельнику. Еще несколько лет ожидал он кончины своей в пустынном лесе; наконец и его последняя минута наступила: он умер, приклонив голову к тому камню, которым рука его украсила могилу Марии.

И хижина отшельника Аркадия, и скромная часовня богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии,— все исчезло; одно только наименование *Марьиной Рощи* сохранено для нас верным преданием. Проезжая по Троицкой дороге, взойдите на Мытищинский водовод — вправе представится глазам вашим синеющийся лес; там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее,— там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом ее часовня во имя богоматери, там наконец и Услад кончил печальный остаток своей жизни.



ПРЕДСЛАВА И ДОБРЫНЯ

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о победе над печенегами. Скачет всадник за всадником, и последний возвещает приближение победоносного войска. Шумными толпами истекают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и восклицаний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и веселою апрельскою зеленью. Пыльное облако уже показалось в отдалении; оно приближилось, рассеялось и обнажило стальные доспехи и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего солнца. Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы сыплют пред конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном проходит дружина, тихо и торжественно, ряд за рядом, и шумные толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают: «Да здравствует победитель печенегов, храбрый Владимир!»

Герой, по обычаю древнему, преклонил меч свой к земле, благосклонно поклонился народу и сказал богатырским голосом: «Честь и слава Добрыне! Он избавитель мой!» Богатырь, сидящий на борзом коне своем, отрешил златую запону забрала, снял шелом и открыл голову пред народом и Владимиром в знак почтения и благодарности. Слезы блистали в очах его; черные кудри, колеблемые дыханьем ветра, развевались по плечам, и правая рука его лежала на сердце. Восторженные киевляне снова воскликнули: «Честь и слава Добрыне и всей дружине русской!» Цветы посыпались на юношу из разных кошниц прекрасных жен

и дев киевских, и эхо разнесло по благоуханной долине, где видны были развалины храма, посвященного вечно юной Зимцерле: «Честь и слава дружине!»

Супруга Владимира, прекрасная царевна Анна, и дочь ее Предслава, выходят навстречу к великому князю. Он простирает к ним свои руки, попеременно прижимает к стальной броне, под которой билось нежное сердце, то супругу, то дочь свою, и все труды ратные забыты в сию сладкую минуту свидания! Владимир указывает им на Добрыню. «Вот избавитель мой!» — говорит он, обращаясь к супруге, к царедворцам и седовласым мудрецам греческим, притекшим с царевною из Царяграда. «Вот избавитель мой! — продолжает великий князь.— Когда единоборство с исполином печенегским кончилось победою, когда войска мои ринулись вослед бегущим врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал по грудам тел и вторгся в толпу отчаянных врагов. Мечи их засверкали надо мной, стрелы пробили шелом и щит; смерть была неизбежна. Но Добрыня рассеял толпы врагов, вторгся в средину ужасной сечи: он спас меня! Чем и как заплачу ему?»

Слезы благодарности заблистали в очах прекрасной Анны; она подала супругу своему и Добрыне правую и левую руку и повела их по узорчатым коврам в высокий терем княжеский. Предслава взглянула на Добрыню, и ланиты ее запылали, подобно алой заре пред утренним солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою, как у стыдливой девы, взглянувшей на жениха своего при блеске брачных светильников.

Прекрасна ты была, княжна киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий Днепр, сверкающий в просеках дубовых. Но отчего сильно бьется девическое сердце твое под парчами и златою дымкою? Отчего белая грудь твоя волнуется, как лебедь на заливах Черного моря, когда полуденный ветер расколыхает воды его? Отчего глаза твои блистают огнем, когда они невольно обращаются на прекрасного витязя? Ах, и Добрыня давно любил тебя! Давно носил образ твой в сердце, в пламенной груди своей, покрытой тщетно стальною кольчугою! Повсюду образ твой, как тайный призрак, за ним следовал: и на потешных играх, где легкие копья ломаются в честь красных жен и дев киевских, и на войне против ляхов и половцев, на страшных битвах, где стрелы свистят, как вихри, и острые мечи, ударяя по шеломам, наносят глубокие раны. Давно уже богатырь любил краса-

вицу; но никогда не являлась она ему столь прелестною, как в сии минуты славы и радостей народных. Тщетная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя с возлюбленной: и высокий сан ее, и слава Владимира, и слава предков красавицы, повелителей Царяграда! Ты знаешь сие, несчастный Добрыня, знаешь и — любишь. Но сердце твое чуждо радостей, чело твое мрачно посреди веселий и торжеств народных. Как дерево, которого соки погибли от морозов и непогод зимних, не воскресает с весною, не распускает от вешнего дыхания молодых листков и почек, но стоит уныло посреди холмов и долин бархатных, где все нежится и пирует, так и ты, о витязь, часто мрачен и безмолвен стоишь посреди шумной гридницы, опершись на булатное копье. Все постыло для тебя: и красная площадь, огражденная высоким тыном (поприще словутых подвигов), и столы дубовые, на которых блестят кубки и златые чары с медом искрометным и заморскими винами; все постыло для тебя; турий рог недвижим в руке богатырской, и унылые взоры твои ничем не прельщаются, ниже плясками юных гречанок [1], подруг Предславиных, которые, раскинув черные кудри свои по плечам, подобным в белизне снегам Скандинавии, и сплетясь рука с рукою, увеселяют слух и взоры Владимира разнообразными хороводами и нежным, протяжным пением. Они прекрасны, подруги Предславины... Но что звезды вечерние пред красным месяцем, когда он выходит из-за рощей в величии и в полной славе?

Долго ли таиться любви, когда она взаимна, когда все питает ее, даже самая робость любовников? Тогда сердца подобны двум ручьям, которые невольно, как будто влекомые тайною силою, по покатам долин и отлогих холмов ищут друг друга, сливаются воедино, и дружные воды их составляют единую реку, тихую и прозрачную, которая по долгом и счастливом течении исчезает в морях неизмеримых. Счастливы они, если не найдут преграды в своем течении!

Так красавица и рыцарь невольно, неумышленно прочитали во взорах, в молчании и в словах отрывистых, им

---

[1] Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось множество греков при его дворе. Скажем мимоходом, что мы не позволяли себе больших отступлений от истории, но просим читателя не забыть, что повесть не летопись. Здесь вымысел позволен. Относительно к басням: Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable ⟨Только истинное прекрасно, любезна лишь истина.— *фр.*⟩ — принимается в другом значении. *(Примеч. К. Н. Батюшкова.)*

одним понятных, взаимную страсть. Они не видели под цветами ужасной пропасти, навеки их разлучающей, ибо она засыпана была руками двух сильных волшебниц, руками *любви и надежды!* Предслава не помышляла об опасности. Добрыня тогда только ужасался своей страсти, тогда только сердце его заливалось кровью, когда прекрасная Анна, мать его возлюбленной, обращала к нему приветливую речь или когда Владимир выхвалял послам чуждых народов силу и храбрость своего избавителя. Юноша страшился неблагодарности.

Терем младой княжны был отделен от высоких теремов Владимира. Длинные деревянные переходы, украшенные резьбой, соединяли сии здания. Вековые дубы, насажденные руками отважного Кия, как говорит предание, осеняли уединенную обитель красавицы. Часто весенние вечера она просиживала на высоком крыльце, опершись рукою на дубовые перилы; часто взоры ее стремились в синюю даль, где высокие холмы, величественно возвышаясь один над другим, неприметно сливались с небесной лазурью; часто, отдалив усердных прислужниц, одна среди безмолвия ночного, она предавалась сладким мечтаниям девического сердца, мечтаниям, которые невольно украшались образом Добрыни. Когда месяц осребрял высокие верхи дубов и кленов и тихое дыхание полночи колебало листы, перебирая их один после другого, тогда Предславу обнимал ужас. Ей мечталось видеть Добрыню. Она вперяла прилежно слух и взоры; но все было тихо, безмолвно, мечта исчезала, а с ней и тайный, но сладостный страх. Так младая княжна питала тоску и любовь свою, когда Добрыня воевал печенегов с великим князем Владимиром. Она переносилась мысленно на поля, обагренные кровью: опасности, окружающие отца ее, ужасали сердце красавицы; но при мысли, что Добрыня падет под мечом или булавою варвара, сердце ее обливалось кровью, тяжко поднималась высокая грудь, и слезы падали обильною росою на златошвейные ткани.

Теперь сии деревянные переходы, осененные тению столетних дубов, сия тайная обитель невинности, учинились свидетельницею ее радости. Страстный витязь позабыл и страх, и благодарность: все забыто, когда сердце любит.

Витязь, в часы туманной полуночи, приходил к княжне и там, у ног ее, поверял ей сердечную тоску и мучения, клялся в верности и утопал в счастии. Но любовники были скромны. Тих и ясен ручей при истоке, но скоро, возрастая собственными водами, становится быстр, порывист, мутен.

Такова любовь при рождении, таковы и наши любовники.

Между тем все народы покорялись великому князю. И воинственные жители Дуная, и дикие хорваты, сыны густых лесов и пустыней, и печенеги, пиющие вино из черепов убиенных врагов на сражении,— все платили дань христианскому владыке. Народы стран северных, жители туманных берегов Варяжского моря, обитатели неизмеримой и бесплодной Биармии страшились и почитали Владимира. Многие владельцы желали вступить в брак с Предславою, желали, но тщетно, ибо они были все служители идолов или поклонники Магомета.

Часто на холмах, окружающих Киев, неизвестный витязь становил златоглавый шатер и вызывал на единоборство богатырей киевских. Ристалище открывалось, и пришлец, почти всегда побежденный, со стыдом удалялся в свое отечество. Витязи иноплеменные ежедневно увеличивали двор Владимиров. Меж ними блистали красотой и храбростью Горислав Ляхский, юноша прекрасный, как солнце весеннего утра, храбрый Стефан Угорский и сильный Андроник Чехский, покрытый косматой кожей медведя, которого он задавил собственными руками в бесплодных пустынях, орошенных Вислою. Все они требовали руки Предславиной, все состязалися с богатырями киевскими и угощаемы были под богатыми наметами гостеприимным Владимиром. «Не наживу друзей сребром и золотом,— говорил он,— нет, а друзьями наживу, по примеру деда и отца моего, сокровища и славу!»

Но ужасная туча сбиралась над главами наших любовников. *Радмир*, сын князей болгарских, владыка христианского поколения, спешит заключить союз с народом русским и тайно требует руки Предславиной. Владимир принимает богатые дары его и дает ласковый ответ посланнику болгарскому: Радмир вскоре является на берегах днепровских. Десять ставок, одна другой богатее, блистают при восходе солнечном, и сии ставки принадлежат Радмиру, который, окруженный блистательной толпою витязей дунайских, вступает в терема княжеские. Вид его был величествен, но суров; взоры проницательны, но мрачны; стройный стан его был препоясан искривленным мечом; руки обнажены; грудь покрыта легкою кольчугой, а вниз рамен висела кожа ужасного леопарда. Предслава увидела незнакомца, и сердце ее затрепетало от тайного предчувствия. Невольный румянец, заменяемый смертною бледностию, обнажал страсти, волнующие грудь красави-

цы. Взоры ее искали Добрыни, который безгласен, бледен стоял в толпе царедворцев; но надменный Радмир толковал в свою пользу явное смущение красавицы и, ободренный своим заблуждением: «Повелитель земли русской,— сказал он,— тебе известны храбрые поколения болгаров, населяющих обильные берега Дуная. Меч храбрых славен не один раз притуплялся о сие железо (указывая на свой меч); не один раз лилась кровь обоих народов, народов равно славных и воинственных, от которых трепетал и Запад, и поколения северные — ибо где неизвестна храбрость болгар и славен! Храбрые россы унизили надменные стены Царяграда; ты рассеял в прах стены корсунские. Мечом предков моих избиты бесчисленные полчища греков, ими выжжен град, носивший имя древнего Ореста. Мудрые предки мои приняли веру истинного бога [1], и ты, Владимир, отверг служение идолов, и ты капища претворил во храмы. Я желаю твоего союза, о повелитель земли русской! Соединенные народы наши воедино удивят подвигами вселенную, расширят за Урал пределы твоего владычества... У твоего знамени будут сражаться мои воины. Меч мой будет твоим мечом... Но да введу в дом престарелого отца моего твою дочерь, да назову Предславу супругою!.. Владимир! я ожидаю благосклонного ответа».

Царедворцы и младые витязи русские с негодованием взирали на гордого Радмира: они с нетерпением ожидали решительного отказа. Но те из них, которые поседели не на поле ратном, а в служении *гридницы*, лучше знали сердце своего владыки: они прочитали во взорах его совершенное согласие, и хитрая их улыбка одобрила речь надменного Радмира. Решительность в битвах, пылкая храбрость и дух величия болгарского владыки, дух, алкающий славы и подвигов, давно были известны Владимиру; гордые слова, гордый и величавый вид его напоминали ему о годах его юности, и, наконец, союз двух народов, доселе неприязненных, но равно храбрых и сильных, союз двух народов, скрепленный браком Предславы, долженствовал возвеличить княжество русское,— и мудрый Владимир подал руку свою в знак согласия. Красавица безмолвна, бледна, как жертва, обреченная року, склонясь на руку прекрасной Анны, робкими, медленными шагами приближилась к свое-

---

[1] Болгары были магометанского исповедания, но не все, ибо император Михаил, победив их, принудил принять христианскую веру (смотри Нестора). Они же разорили Адрианополь, носивший в древности имя основателя своего Ореста (и об этом упоминает Нестор). *(Примеч. К. Н. Батюшкова.)*

му отцу, который подал ей *чашу пиршества*, исполненную сладкого меда. Совершается древний обряд праотцев: жених принимает чашу из рук стыдливой невесты и выпивает до дна сладостный напиток.

Десять дней сряду солнце киевское освещает радушные пиры в теремах княжеских. Десять дней сряду все торжествует и радуется. Но красавица проливает слезы на лоно матери: единственное утешение в горести! Часто ужасная тайна готова вылететь из груди ее и всегда замирает на робких устах. Анна приписывает к нежности сердечной тоску дочери своей, и слезы ее текут с слезами красавицы. Но гордый Радмир, познавший в первый раз любовь, близок проникнуть ужасную тайну. С негодованием взирает на слезы и силится подавить в глубине сердца своего ужасную страсть — ревность, спутницу пламенной любви.

Между тем настает великий день, посвященный играм богатырским. При восходе лучезарного солнца голос бранной трубы раздается в заповедных лугах, и на возвышенном месте, устланном коврами вавилонскими (похищенными при взятии Корсуня), возвышается высокий намет княжеский. Там восседает Владимир с супругою и прекрасною Предславой. Там, под другими шатрами, заседают старцы и жены киевские. Из них старейшины называются *судьями тризны*, ибо награда храброго искони принадлежала мудрости и красоте. Народ стекается за ставками, и бесчисленные толпы его покрывают ближние возвышения. Посреди ратного места пешие и конные витязи ожидали знака для начала игр. Грозный Роальд, витязь новгородский, возвышался меж ними, как древний дуб посреди низкого кустарника. Юный Переяслав, богатырь низкого рода, но низвергнувший разъяренного вола, Переяслав, победивший исполина печенегов, гордился чудесною силою. Он был пеш; кожа безобразного зверя, им растерзанного, развевалась на широких его раменах. Тяжелая секира, которую и три воина нашего века едва ли поднять могут, лежала на правом плече богатыря. Он ожидал борца и громким голосом вызывал на поединок всех витязей; вызывал — тщетно! Всякий страшится неестественной его силы. Гордый Свенальд, древле пришедший с отлогих берегов озера Нево, Свенальд, воевода Владимиров, являлся в толпе витязей в броне вороненой, в железном шеломе, на котором ветер развевал широкие крылья орлиные. Израненная грудь его, на которой струилась седая брада, черный шелом, исполинское копье и щит величины необычайной напоминали киевцам о товарище отважного

Святослава. Но меж вами, о витязи, находилась славная воительница, притекшая с берегов баснословного Термодона [1]. Высокая грудь ее, где розы сочетались со свежими лилиями, грудь ее, подобная двум холмам чистейшего снега, покрыта была легкою тканью. Черные власы красавицы, едва удержанные златою повязкой, развевались волною по плечам, за которыми звенел резной тул, исполненный стрел. Нетерпеливый конь ее, легкий как ветр, был покрыт кожею ужасного леопарда, ноги его вздымали облако праха; златые бразды его, омоченные пеною, громко звенели, и он, казалось, гордился своею всадницею. Меч, кованный в Дамаске, блистал в правой руке ее, а левая покрыта была щитом сребра литого. Все в ней обличало деву — и гибкий стан, подобный пальме или стеблю лилейному, и маленькая нога, обутая в багряный полусапог; но рука ее, о страх врагам и дерзким витязям! Киевцы, пораженные новым для них зрелищем, громко выхваляли красавицу, и сердце, гордое сердце девицы, сильно билось от радости.

Но Добрыня явился, и все взоры на него обратились, и ланиты Предславы запылали розами. Витязь вошел в толпу, одетый тонким панцирем, на котором блистала голубая повязка, тайный подарок его любезной. Белые перья развевались на его шеломе. Меч-кладенец висел на широком поясе у левой бедры. По поданному знаку из шатра княжеского юные гридни подвели ему коня, на котором Владимир воевал в молодости. Давно уже никто не седлал его, давно уже на свободе топтал он траву в заповедных лугах киевских. Предание говорит, что конь сей был некогда посвящен Световиду и имел дар пророчества [2]. В знак дружбы своей Владимир его отдает витязю. Добрыня смело вложил ногу в златое стремя; конь почувствовал седока, преклонил смиренно дикую свою голову и радостным ржанием огласил луга и долины.

Знак был подан старейшинами, и взоры устремились на высокую мету, поставленную на конце поприща. К ней был привязан быстрокрылый сокол.

Стрелки отделились, и в числе их прекрасная воительница. Златый лук зазвенел в ее руках, и стрела помчалась по воздуху; но тщетное острие ударилось в дерево, зашаталось, и устрашенная птица затрепетала крыльями. Юный

---

[1] Конечно — Царь-девица. *(Примеч. К. Н. Батюшкова.)*

[2] Конь бога Световида имел дар пророчества. Смотри *Мифологию славян* г. Кайсарова. *(Примеч. К. Н. Батюшкова.)*

Горислав вынул каленую стрелу, и пернатая, пущенная из сильных рук его, рассекла воздух пламенною стезею. Так пролетает молния или звезда воздушная по синему небу! Стрела перерезала нити, которыми был привязан сокол, и птица, свободная от уз, быстро полетела над главами зрителей. Добрыня натягивает лук свой, пускает меткую стрелу... И сокол лежит у ног Предславы, и народ восклицает: «Честь и слава Добрыне!» А сердце красавицы утопало в веселии.

Изводят на поприще дикого вола, воспитанного на пажитях черкасских: ужасная глава его, вооруженная крутыми рогами, поникла к земле; взоры дикие и мутные обращены были на толпу, которая раздалась в ту и другую сторону. Андроник, дерзкий витязь, желая разъярить чудовище, вонзил в ребра его легкое копье; острие впилось, древко зашаталось, и черная кровь хлынула рекою. Разъяренный вол бросается на толпу; тяжелые ноги его вздымают к небесам облако праха и пыли; пышет черный дым, искры сыплются из глубоких его ноздрей, и страшный рев, подобный грому, оглушает устрашенных зрителей. Между тем отрок Переяслав исторгается из толпы и сильными мышцами ухватывает за рога дикого зверя. Начинается ужасная борьба. Трижды разъяренный вол опрокидывал богатыря и давил его своею громадою; трижды богатырь опрокидывал зверя, и ноги его, подобные столбам тяжелого здания, глубоко входили в песок. Наконец храбрый юноша, уже близкий к погибели, вскакивает на хребет его, обхватывает жилистыми руками... и чудовище, изрыгая ручьи кровавой пены, падает бездыханно. Богатырь, покрытый пылью и потом, одним махом секиры своей отрубает ужасную голову чудовища, приподымает ее за крутые рога и бросает к ставке княжеской. Прекрасные княжны ужаснулись, а киевцы, удивленные сим новым и чудесным зрелищем, провозглашают богатыря победителем.

Радмир, сохраняя глубокое молчание, стоял близ ставки княжеской. Он желает сорвать пальму победы, требует позволения войти в толпу храбрых и в тайне сердца своего полагает совершить победу над Добрынею.

Начинаются игры не менее опасные, но в которых сила и храбрость должны уступить искусству; всадники разделяются на две стороны; каждый из них выбирает соперника; Радмир назначил Добрыню, и витязь благословляет сей выбор! В руках его и жизнь и слава соперника; в руках Предславы награда победителю — златый кубок, чудо искусства греческих художников.

Разъезжаются по широкой равнине: легкие кони летят, как вихри, один навстречу другому, копья ударились в щиты. Добрыня удвояет удары, и Радмир, простертый на земле, глотает пыль и прах! Русский витязь покидает коня своего, меч сверкает в руке болгара, удары сыплются на доспехи любовника Предславы, звонкие иверни летят с кольчуги,— мщение и гнев владеют рукою витязей, равно храбрых и искусных... Но Владимир подает знак — и *витязи остановились.*

Ибо внезапу воздух помрачился тучами. Зашумели вихри, и гром трижды ударил над главами зрителей. Сердца малодушных жен и старцев, которые втайне поклонялись мстительному Чернобогу, исполнились ужасом. Празднество кончилось; мечи и копья витязей опустились долу; но дождь и снег беспрестанно шумели и наполняли внезапными ручьями путь и окрестную равнину. Порывистый вихрь сорвал воткнутые древки и разметал далеко наметы княжеские. Народ укрывался под развалинами древних капищ и толпами бежал к городу. Анна прижала к груди своей Предславу и робкою, но поспешною стопою, ведомая Владимиром и окруженная верными гридням, удалялась в терем свой. Гласы бегущего народа, топот скачущих по полям всадников, свист разъяренных вихрей, дождь, падающий реками,— все сие устрашало прекрасную княжну. Омоченные власы рассыпались по высокому челу ее, вихрь сорвал легкие покровы с главы, дыхание ее прерывалось от скорого бега, и она, изнемогая, почти бездыханна, упала на пути, в дальнем расстоянии от Киева. Анна и Владимир спешили к ней на помощь, и Радмир предложил ей коня своего. Сердце Добрыни, в свою очередь, запылало ревностью: он желал бы сам проводить княжну, желал бы... Тщетное желание! Ненавистный болгар, жених ее, он один имеет сие право. Между тем служитель Радмиров подводил коня за звучащие бразды; Предслава приблизилась к нему... Она увидела беспокойство Добрыни, прочитала в глазах витязя глубокую печаль его, и горестный вздох вылетел из груди прекрасной девицы. Жених ей подал свою руку... О счастие! Нетерпеливый конь, устрашенный шумною толпою, вырвался из рук клеврета и стрелою исчез во мраке. Болгарский князь, снедаемый гневом, бросился вслед за ним: тщетны были его старания, и ревность на крилах ветра заставила его возвратиться к Предславе. Но Добрыня, по приказанию Владимира, сидел уже на коне с княжною; уже борзый конь вихрем уносил счастливую чету, и великое пространство поля отделяло любовников от ревнивца.

Сладкие минуты для Добрыни! Красавица обнимала его лилейными руками, сердце ее билось, билось так близко его сердца; нежная грудь ее прикасалась к стальной кольчуге, дыхание ее смешивалось с его дыханием (ибо витязь беспрестанно обращал к ней голову свою), и лицо ее, омоченное хладными ручьями дождя и снега, разгорелось, как сильное пламя... Конь мчался вихрем... И витязь в первый раз в жизни сорвал продолжительный, сладостный поцелуй с полуотверстых уст милой всадницы. Гибельный поцелуй! Он разлился, как огнь, глубоко проник в сердце и затмил светлые очи красавицы облаком любви и сладострастия. Она невольно преклонила голову свою на плечо витязя, подобно нежному маку, отягченному излишними каплями майской росы. Благовонные власы ее, развеваемые дыханием ветров, касались ланит счастливого любовника; он осыпал их сладкими поцелуями, осушал их своим дыханием, и упоение обоих едва ли кончилось, когда быстрый конь примчался к терему Владимира, когда он трижды ударил нетерпеливым копытом о землю, и прислужницы княжеские вышли им навстречу с пылающими светильниками.

Владимир возвратился в высокие терема и там нашел печальную и бледную Предславу. Ах, если бы матерь ее, которой ласковые руки осушали омоченные волосы дочери, если б матерь знала, какая буря свирепствовала в ее сердце, отчего лилии покрыли бледностию чело и ланиты, отчего высокая грудь красавицы столь томно волнуется под покровами!..

Но вскоре княжна, окруженная подругами, скрылась в терем свой, ибо глубокая ночь уже давно покрывала землю. Добрыня, увлеченный любовию, забыв и долг, и собственную безопасность, Добрыня, пользуясь ночным мраком, поспешил к терему красавицы. Все начинало вкушать сон в чертогах княжеских, но буря не умолкала. Ужасно скрипели древние дубы, осеняющие мирную обитель красоты, и град шумел беспрестанно, падая на деревянный кров терема. Тусклый свет ночной лампады едва мерцал сквозь густые ветви, и богатырь, стоящий на сырой земле, сохранял глубокое молчание. Он желал отличить образ Предславы, мелькающий в окнах терема, приблизился и увидел ее. Там, в тайном уединении, освещенная лучом лампады, являлась она посреди своих прислужниц, подобно деве, посвященной служению *Знича*, подобно жрице, когда она в глубокую ночь, уклонившись в Муромские убежища, медленно приближается к жертвеннику, на котором пылает неугасимое пламя, медленно снимает пред тайным боже-

ством девственные покровы и совершает неисповедимые обряды.

Как билось сердце твое, храбрый юноша, когда красавица, отдалив подруг, отрешила узлы таинственных покровов! Как билось сердце твое, несчастный и вместе счастливейший из смертных, когда рука ее обнажила белую грудь, подобную двум глыбам чистейшего снега, когда волосы ее небрежно рассыпались по высокому челу и по алебастровым плечам! Нет, не в силах язык человеческий изобразить страстей, пылающих в груди нашего рыцаря! Но вы, пламенные любовники, перенеситесь мыслями в те времена страстей и блаженства, когда случай или любовь, властительница мира (ибо и случай покорствует), когда любовь открывала пред вами свои таинства; вы, счастливцы, можете чувствовать блаженство Добрыни!

Робкий голос его назвал имя Предславы, и ветер трижды заглушал его. Наконец красавица услышала: встревоженна, приближилась к окну и при бледном луче светильника узнала его. Долго смотрела она, как ветер развевал черные его кудри, как снег сыпался медленно на открытую голову возлюбленного; долго в недоумении глядела она... и, наконец, сожаление (предание говорит: любовь), владея робкою рукой, тихонько отодвинуло железные притворы терема — и витязь упал к ее ногам! «Что ты делаешь? — сказала прекрасная.— Что ты делаешь, несчастный? Беги от меня, сокройся, пока мстительный бог... Ах, я навеки твоей не буду! Небо разлучает нас».— «Люди разлучают нас,— прервал ее Добрыня,— люди разлучают два сердца, созданные одно для другого, в один час, под одной звездою, созданные, чтобы утопать в блаженстве или глубоко, глубоко лежать в сырой земле, но лежать вместе, неразлучно!» — «Удались, заклинаю тебя...» — «Ах, Предслава, ты моя навсегда... Жених твой, сей болгар, должен упасть от меча храброго!» — «Ах, что ты хочешь предпринять? А судьба матери моей, а гнев, неукротимый гнев великого князя?» — «Так, Предслава, я вижу, ты меня не любишь. Брак с повелителем обильных стран дунайских льстит твоему честолюбию. Вероломная женщина, ты не любишь Добрыни, ты забыла священнейший долг, клятвы любви... Но смерть мне остается в награду за верность!..»

Сияющий меч висел при бедре героя, правая рука его лежала на златой рукояти; но Предслава, слабая и вместе великодушная, Предслава бросилась в его объятия; горячие слезы текли из глаз ее, слезы любви, растворенные

сердечною тоскою. Любовники долго безмолвствовали. Сама любовь запечатлевала стыдливые уста красавицы; вскоре слезы сладострастия заблистали, как перлы, на длинных ее ресницах, розы запылали на щеках, грудь, изнемогая под бременем любви, едва-едва волновалась, и прерывистый, томный вздох, подобно шептанию майского ветерка, засыпающего на цветах, вылетел из груди ее, вылетел... и замер на пламенных устах любовника.

Быстро мчится время на крилах счастия; любовь осыпает розами своих любимцев, но время прикосновением хладных крил своих вскоре и самые розы сладострастия превращает в терны колючие! Все безмолвствовало в обители красавицы. Светильник, догорая, изредка бросал пламень свой... и она проснулась от очарования среди мрака бурной ночи. Напрасно витязь прижимал печальную к груди своей, напрасно пламенные уста его запечатлевали тихое, невольное роптание: рука ее трепетала в руке любовника, слезы лились обильными ручьями, и хладный ужас застудил последний пламень в крови печальной любовницы.

Наконец, горестный поцелуй прощания соединил на минуту души супругов. Красавица вырвалась из объятий витязя. Добрыня надвинул сияющий шелом свой, открыл двери терема, ведущие на длинные переходы... О ужас!.. он увидел, при сумнительном блеске месяца, который едва мелькал сквозь облако, увидел ужасный призрак... вооруженного рыцаря! — и сердце его, незнакомое со страхом, затрепетало — не за себя, за красавицу. Предслава упала бездыханная на праг светлицы. Но меч уже сверкал в руке незнакомца, страшный голос его раздавался во мраке: «Вероломные, мщение и смерть!» Добрыня, лишенный щита и брони, вооруженный одним шлемом и острым мечом своим, тщетно отбивал удары: тайный враг нанес ему тяжелую рану, и кровь ударилась ручьями. Богатырь, пылая мщением, поднял меч свой обеими руками; незнакомец уклонился — удар упал на перилы; щепы и искры посыпались, столпы здания зашатались в основаниях, и сердце незнакомца исполнилось ужасом. Красавица, пробужденная от омрака, бросилась в объятия Добрыни; тщетно дрожащая рука ее удерживала его руку, тщетно слезы и рыдания умоляли соперника: ревность и мщение кипели в лютом его сердце. Он бросился на Добрыню, и витязь, прижав к окровавленной груди своей плачущую супругу, долго защищал ее мечом своим. От частых ударов его разбился шелом соперника, иверни падали с кольчуги,

гибель его была неизбежна... Но правая нога изменяет несчастному Добрыне, он скользит по помосту, омоченному ручьями дождя и крови, несчастный падает, защищая красавицу, и хладный меч соперника трижды по самую рукоять впивается в его сердце.

Светильники, принесенные устрашенными девами, стекающимися из терема, осветили плачевное зрелище... Радмир (ибо это он был, сей незнакомец, завлеченный ревностию к терему Предславы), Радмир довершал свое мщение. Добрыня, плавая в крови своей, устремил последний, умирающий взор свой на красавицу; улыбка, печальная улыбка, потухла в очах его, и имя Предславы вместе с жизнию замерло на устах несчастного.

Нет ни жалоб, ни упрека в устах красавицы. Нет слез в очах ее. Хладна, как камень, безответна, как могила, она бросила печальный, умоляющий взор на притекшего Владимира, на отчаянную матерь и, прижав к нагой груди своей сердце супруга, пала бездыханна на оледенелый его труп... как лилия, сорванная дыханием непогод, как жертва, обреченная любви и неизбежному року.

Насилу досказал!

1810 года. Августа. Деревня.



ГУГО ФОН БРАХТ

ПРОИСШЕСТВИЕ XIV СТОЛЕТИЯ

> Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез, и место поросло крапивой...
>
> *Батюшков.* Послание к другу

Гроза суши и моря, вертеп разбойников, замок Зонденбург, отражает стены свои в зеленых водах Рижского залива, на берегу острова Вердера. Гуго фон Брахт господин замка; и хотя никакой закон не утвердил его владений, но они простираются так далеко, как только глаза видеть могут с подзорной башни замка. Воды залива до Эзеля и Дагерарта, острова: Моон, Скулдай и страшный плавателям Патер-ностер принадлежат Брахту. Зорки глаза стражей его — и ни один корабль не проходит безопасно.

Плаванье по заливу пагубно торговле рижской и торговле возрождающегося Пернова. Эзель, притон разбойников, протягает к югу мыс Свалферорт и ловит плавателей, идущих с моря. С севера Гуго фон Брахт владеет Моон Зундом; но ежели счастливец ускользнет сих опасностей, остров Руно посреди залива днем расставляет сети несчастным, ночью зажигает ложные маяки, и обманутый пловец, вверяясь свету огней, сам идет на погибель.

Смутное правление Эстонии попускает злодействам. Епископы враждуют с рыцарями Ордена; одни слабеют, другие без единодушия стараются оградить свои замки развалинами чужих; сила заменяет закон, и безначалие не обуздывает более преступлений.

Гуго разбойничает; но он не всегда был злодеем. Кровь немецких рыцарей течет в его жилах. Он был некогда добр,

был богат, владел замком в соседстве Зонденбурга, и радушное гостеприимство Брахта было славою его дома. Часто под чуткими сводами замка раздавались голоса веселых гостей: аббаты Мальские, соседние рыцари, между коими фон Келлер, владелец Зонденбурга, отличался дружбою к Брахту. Часто за шумными пиршествами гости передавали из рук в руки бокал из козьей ноги и пили за здоровье Ильдегерды, прекрасной Гуговой супруги; но еще чаще, засматриваясь на ее глаза прелестные, забывали наполнять свои кубки. Келлер, про которого говорили будто бы он член Тайного суда в округе, строгий наружностью, но развращенный душою, силой очаровательных слов умел скрывать свои пороки; он пленился женою своего друга, и часто продолжительные взоры ярких его очей заставляли краснеть Ильдегерду; часто рука его искала украдкою встречи с ее рукою; иногда слова непонятные, сопровождаемые выражением дерзновенного взгляда, оставались без ответа от смущенной Ильдегерды. Она не хотела знать силы своих прелестей. Любовь ее разделялась между супругом, единственным сыном и племянницею, залогом дружбы сестры ее, слишком рано отшедшей от сего мира. В семейственных добродетелях искала благополучия Гугова супруга, и до сих пор восходящее солнце или пылающий дуб равно освещали в замке одни веселые лица.

Но скоро пылкому Брахту недостало счастья безмятежного. Покой бездейственный и неугасшие еще страсти не уживались между собою. Он обрек себя кресту с другими рыцарями эстонскими и пошел в Палестину, где еще лилась кровь, еще гремело оружие. Слезы Ильдегерды, любовь к сыну, ласки невинной племянницы не удержали Гуго; он вырвался из объятий супруги и вероломному Келлеру поручил свое семейство в защиту. Несчастный! он верил еще тогда дружбе, верил благородным чувствованиям человечества!

Без вести о родных, с грустью в сердце, Брахт искал славы, нашел — и она не наполнила пустоты сердечной. Протянулись три года странствований; пролитая в битвах кровь охладила воображение Гугово. Изнуренный и покрытый ранами, возвращался он на родину, питаясь сладостными мечтаниями. Уже чужие земли не останавливали любопытства; пышные города, ясное небо, роскошная природа стран далеких не прельщали более взоров. Мысль его стремилась к туманным и диким берегам Эстонии, где думал обрести снова счастье свое в семействе.

Наконец сердце забилось от радости и замерло при виде

граничного столба Эстонии; он хочет приветствовать родную землю... Кто опишет изумление, когда на листе, к столбу прибитом, прочел Брахт свое проклятие, отлучение от церкви Тайным судом и обречение к смерти от руки каждого гражданина?.. Холодный пот выступил на челе смущенном; он не верил чувствам, читает снова, хочет ехать, возвращается опять — и наконец в мучении неизвестности понуждает коня; усталый оруженосец едва за ним последует.

Солнце уже село позади холмов Эзеля; месяц осеребрил лес и воды и осветил дорогу к замку Брахтову. Скачет Гуго в поте и пыли; обманутый светом месяца, он думает видеть стены и башни: оруженосец издали трубит в рог — но эхо пустынное одно своими перекатами ему отвечает. Изумленный рыцарь видит одни развалины; ищет знакомой тропинки; но трава высокая окружает замок; рвы засыпаны камнями, исполины-башни лежат под разрушенными сводами, как в могилах. Сердце Гуго онемело: в недоумении обращается к оруженосцу; оба вопрошают друг друга и, думая видеть очарование, творят молитвы.

На звуки рога выходит из подземелья старец — живая развалина посреди тлеющих обломков; он узнал господина и в слезах горести сообщает Брахту страшную повесть несчастья.

«Келлер сбросил личину по отсутствии Брахта, и все ужасы ненаказанного злодейства предстали для искушения Ильдегерды; но добродетельная равно презрела ласки и угрозы. Тогда Келлер, в неистовстве неудовлетворенной страсти, употребил силу Тайного судилища, которого даже имени трепетали в сии времена варварства и предрассудков. Гуго и супруга его обвинены в еретичестве и чародействе; проклятие церкви поразило Брахта; мученица супружеской верности истомилась голодом, закладенная заживо в стене Тайного судилища. Сын и племянница пропали без вести; замок разрушен; земли были захвачены Келлером».

Где слова для выражения отчаяния Брахтова?.. Восходящее солнце застает его кипящего мщением и яростию; но что сделает он, бессильный?.. Обращается к рыцарям, прежним друзьям своим — и подобно раннему жаворонку, тщетно ищущему проталины на земле, еще снегами покрытой, напрасно умоляет их о помощи. Эгоизм или страх покрывают сердце ледяною корою. Ему отказали даже в жалости. Эстония, порабощенная немцами, с утратою свободы не вышла из дикого состояния. Вассалы, притесняемые, разоряемые своими и неприятелями, бежали от пепла

жилищ своих, соединялись шайками, мстили и грабили. Лесистый Эзель служил им убежищем и, подобно громовой туче, висел на небосклоне смятенной Эстонии. Туда обратился Брахт; между злодеями нашел сострадание. Многочисленная шайка признала его своим атаманом, и он, вторгнувшись в стены Зонденбурга, в жестоких казнях вымучил дух из бесчеловечного Келлера. Там, отвергнутый обществом, оставленный друзьями, лишенный жены и детей, разорвал все связи с миром и поклялся новым своим товарищам предводить ими на грабеж и мщение.

Отчаяние произнесло клятву; желание мести влекло к злодействам. Много замков разрушено; тела врагов Брахта разметаны в жертву волкам и коршунам. Рыцарский замок превратился в разбойничий вертеп, рыцарь в атамана, и прежде, нежели пылкость чувствований миновалась, он сделался уже злодеем. Иногда, при мгновенном спокойствии сердца, Гуго желал возвратиться на путь добродетели; но тени убиенных, в мечтаниях совести, заграждали ему дорогу — и ненависть к людям снова кипела в сердце; в каждом человеке видел он орудие своего несчастия; даже те, которые его окружали, возмущали его душу. Он хотел бы бежать: но куда?.. Двери в мир сей для него уже затворились. Новая причина пылала в душе огорченной, и он в новых потоках крови тушил пламень, его пожиравший. Так отчаянно больной, излеченный страшным опием, не может оставить его даже по выздоровлении, и что другому причиняет смерть, для него служит утолением страданий. Иногда он казался спокойным; но это спокойствие было тишиною моря в то время, когда доверчивый пловец беспечно смотрится в обманчивую поверхность и не видит в ней предвестницы приближающейся бури. Никогда вздох не изводил из сердца тяжкой думы, никогда пламень очей не утушался слезою, никогда глаза не обращались к небу — и подобно дыму отверженного богом жертвоприношения, взоры его блуждали долу.

Так протекли пятнадцать лет мщения и ревностных поисков для обретения своих детей злополучных. Одна надежда, оставленная неизвестностию участи их, составляла все богатство души Брахта, отягченной злодеяниями. Сила тайных судов ослабела пред отчаянием отца и супруга, и страшный отзыв: «За жену и детей!» гремел как гром, вслух врагов Брахтовых. Напрасно рыцари восставали: Эзель и Зонденбург посмеивались их усилиям.

Осень шестнадцатого года наступила; октябрь принес дожди и туманы. Уже перестали разбойники точить ножи свои; вдруг лазутчик извещает Брахта о датском судне, плывущем в Ригу с богатым грузом. Злодеи ждут; они негодуют на безмолвие тишины, оковавшей вдали ход корабля.

Тишина грозит бурею. Воздух густеет, пары скопляются; лишенное лучей своих, солнце катится на запад по бледному небу и разливает на лес и воды залива свет багровый. Увеличиваются тени. Башни Зонденбурга чернеют, как призрак над морем безмолвным. Усталая пена лежит неподвижно на каменьях вкруг замка; только волны, движимые теченьем, взбегая по отлогости, изредка оставляют на ней раковины. Черные тюлени, поднимая блестящие головы, плывут к северу и гонят пред собою полукружиями волны. Дикий крик чаек, мешаясь с голосом нетерпения разбойников, грозит бедой и предвещает несчастье.

Наконец вдали, как месяц над небосклоном, поднимается белый парус. Во мгновение изготовлены две большие лодки; носы их вооружены острыми крючьями. Двадцать разбойников с самим Гуго Брахтом садятся и гребут к добыче. Датчане видят их приближение, призывают бурю, готовую разразиться, и негодуют на вероломную тишину. Течение двигает корабль к злодеям; приготовляются встретить их: снимают с боков лестницы, вешают на блоках тяжелые камни для поражения неприятелей, подмащиваются, заваливают входы и, изготовясь, клянутся умереть без сдачи.

Разбойники разгребают сильно: вдруг опустили весла по боку лодок, встают и устремляют оружие; быстрые лодки вонзаются носами в корабль; посыпались градом стрелы, застучали мечи; камни с свистом, опускаясь на веревках, подавляют злодеев, которые, втыкая в корабль ножи и мечи, всходят наверх и начинают сечу — но победа останавливается: ужасный Брахт встретил сопротивника; прекрасный юноша, заслоняя супругу свою, уже сразил троих; Гуго теснит его, но сам, пораженный, качается — скользит по своей крови — и падает к ногам героя. Еще одна минута и корабль спасен... но удар по голове чеканом повергает бездыханного юношу подле бесчувственной его супруги.

Брахт еще жив: тяжелы его раны; но победа одержана, и разбойники восклицают с радости. Датчане, в сопротивлении, проломили одну лодку; в нее бросают убитых, пускают в море и спешат стащить грузный корабль в гавань до бури.

Атаман едва дышит; но при себе разделяет добычу. Прекрасная пленница остается его долею. Кто знает ее участь! Она теперь бесчувственна; может быть, она откроет глаза свои для того, чтоб вечно потуплять их от стыда и бесславия!

При гласе ревущей бури, при шуме волн, бьющих в несокрушимые стены замка, при восклицаниях разбойников, при стоне Брахта пробудилась датчанка. Какие предметы поразили ее смущенные взгляды?.. Она лежит на богатой постели; против нее раненый Гуго. Островерхий свод отделяет от них огромную залу, из которой несутся странные звуки: бряканье денег, звон стаканов, песни и воздыхания, клятвы и молитвы. Она там различает высокие своды; повешенные на столбах гербы и латы; разбросанное оружие; разбойников, перевязывающих раны или лежащих в беспорядке на полу, на котором иссеченные изображения едва приметны под струями вина и крови. Она собирает рассеянные мысли свои и постигает свою участь. Слова Брахта отняли всякое о том сомнение. Слабым голосом он произносит ей ласкательства и проклятия тому, кто простер его на одре болезни. Собрались около него разбойники — им представлена новая повелительница; они отводят ее в назначенное жилище для успокоения.

Там, одна, трепещущая, представляет свое несчастие во всем ужасе. Она слышала из уст Брахта о участи супруга — о своей, и отчаяние раздирает ее душу.

Но благотворная природа оставила несчастным в утешение слезы и надежду. Плачет датчанка и облегчает стесненное сердце. Она видела тяжкие раны Гуго и не боится за себя надолго. Темное предчувствие, пробужденное усердной молитвой, позволяет ей надеяться — чего? — она не знает; но думает, что бог, не оставляющий невинных, отдаляя от нее несчастие, видимо уже осеняет ее своим покровом. Погруженная в думы будущего, посреди ужасов, посреди проливаемых слез, еще позволяет сердцу предаваться мечтам обманчивым!..

Уже мрачные облака с ночными тенями двигаются на запад дождливый. Бледнеют рыбачьи огни по берегу возникающего Пернова, и на востоке горит радужными красками светлая утренняя звезда. Буря утихла, но не улеглись еще тяжелые волны и, преследуя друг друга, разбивались на гряде камней подводных. На корне облетевшего дуба, подле вытащенной лодки, веселый рыболов сидит и, встречая

утро песнею, починяет сети. Вдруг в отдалении показывается черная точка, мелькает на волнах, исчезает и появляется снова, увеличивается, растет, наконец принимает образ лодки. Она наполнена по самые края водою; один человек сидит в ней и правит. Течение двигает ее к берегу, волны передают друг другу, и наконец последняя, с ревом вскатываясь на острые камни, бросает на них лодку, скрывает на минуту от глаз и, с шумом отступая назад, оставляет одни обломки и безобразные трупы. Пловец еще борется с волнами, но, бессильный, погружается и вскоре всплывает наверх с обращенным к небу лицом, с распростертыми руками. . . .рыболов бросается к нему на помощь. . . . .

Он спасен! Это датчанин, оглушенный ударом, но не убитый. Холод воды в лодке привел его в чувство; буря пригнала к берегу, и теперь в теплой хижине, у огня, бледный, изъязвленный и бессильный лежит он и не может отвечать попечениям, отогревающим его сердце.

Несчастный! — во цвете лет, едва искра жизни тлеется в изнеможенном теле, как под перегоревшим пеплом; от благополучия не осталось даже надежды. Безмолвным сердцем молит он бога прекратить бедное и одинокое свое существование. Еще не знает, какой участи назначена его супруга: иначе не пережил бы своего позора!..

Вскоре попечения рыболова возвращают юношу к жизни. Мало-помалу сила наполняет мышцы, кровь начинает быстрее обращаться в жилах, но с возвращеньем жизни возрастает и горесть. Однако же состраданье в несчастии отверзает сердце, и наливаемая участию доверенность облегчает страдания души растерзанной. Перед дрожащим огнем на очаге, складенном из камней, датчанин повествует свои приключения рыболову: «Несчастье гонит меня с младенчества,— говорит он,— не помню имени отца, матери моей; знаю только, что меня звали Генрих, сестру мою Ида. Как в тумане, вспоминаю отца, но живое впечатленье осталось во мне, когда видел разоренье нашего замка, похищенье и смерть матери и жестокие с нами поступки. Как теперь вижу сестру в слезах, когда мы с нею, проданные в неволю, увезены были за море. Но господин наш, датчанин, заступил место отца, и мы, сироты в его бездетном доме, взросли усыновленные. От него узнал я, что отечество мое в Эстонии, что Ида мне не родная сестра... и только!.. Любовь моя к сестре, которая тайно роптала противу родственной связи, была награждена рукою Иды. Недавно благодетель наш умер; сладостное желание видеть родину, отыскать имя свое и узнать об участи родителей влекло

меня в Эстонию. Я здесь... но так ли встретило меня отечество?.. Где жена моя?.. Что сталось с нею? — и что мне в жизни без Иды!..»

Старец плачет вместе с ним, но показывает Генриху возможность соединиться с супругою. Надежда красноречива; она возжигает огонь во взорах юноши, она придает ему бодрости. Он хочет идти в Ригу и там искать помощи.

Добродетель и опытность рыболова напутствуют странника; он отправляется. Уже начали редеть пред ним леса эстонские; уже появляются желтые пески Ливонии... вдруг, близ берега, видит он распростертого человека; он еще дышит; открывает глаза и на старания Генриха произносит слабым голосом:

«Оставь меня, незнакомец, умирать заслуженною смертию; я молод, но от моей руки уже многие погибли; я Ральф, атаман разбойников с острова Руно; нашу шайку разорили рыцари Ордена; один я спасся и шел искать убежища в безопасном Зонденбурге: но сего дня...» Слова его пресеклись... он вздохнул — и смерть сомкнула его вежди.

Светлая мысль, подобно молнии блеснувшая, проясняет чело датчанина. Переодевается в платье Ральфа, берет его оружие и возвращается поспешно к Зонденбургу. Обстриженные в кружок волосы, тюленья шапка, серое полукафтанье, широкие сапоги преображают его в жителя Руно. Огорчение на лице, два ножа за поясом, свисток и чекан дают ему вид совершенного разбойника. Четыре дня странствует он и так является пред Зонденбургом.

Море омывает со всех сторон замок, неширокая только каменная насыпь соединяет его с берегом острова Вердера. На нее вступает Генрих, и резкий звук свистка далеко пробуждает окрестное эхо. По стенам рассыпались люди, с башни послышался голос: «Кто ты, дерзновенный?» — «Товарищ с острова Руно; ищу убежища».— «Дожидай ответа».

Датчанин, опершись на чекан, рассматривает на стенах зверские лица. Он узнал некоторых; страх быть узнанным взаимно, невольно заставляет его трепетать, но любовь придает отважность, и он ободряется.

Заскрипели ворота, звякнули цепи, упал подъемный мост; четверо разбойников вышли, окружили Генриха, отобрали оружие, завязали глаза и повели в замок. Решетка опустилась с громом за ними; содрогание пробежало по членам юноши — но воображение представляет ему супру-

гу в оковах, несчастную, и мысль, что он идет для ее спасения, дает ему новую силу.

Перед постелей с раненого Гуго снимают повязку. Датчанин в безмолвии обозревает представляющееся тусклым еще взором: узкие и завешенные окна разливают слабый свет; лежащий атаман окружен всею шайкою; в ногах его постели сидит женщина...

— Кто ты,— спрашивает Гуго,— и чего ты хочешь, незнакомец?

— Если имя Ральфа известно тебе: я тот, который управлял отважными на острове Руно. Если дошло до вас известие о нашем бедствии: я один не был им постигнут; товарищ! я ищу приюта, которого лишили меня рыцари.

При сих словах раздались радостные восклицания разбойников; при сем голосе женщина вскрикивает и падает бесчувственна к ногам Брахта; в ней узнает Генрих свою супругу. Но она не в цепях; на ней богатое платье; она сидела у атамана?.. Яд ревности разливается по жилам; уже не боязнь заставляет его трепетать; не страх занимает дух; только движение между разбойниками скрывает его замешательство.

— Отнесите малодушную,— говорит Гуго,— она думает, что новая жертва мести нашей предстала пред нею... Знаю, Ральф, твою славу,— продолжает он,— жалею о несчастии и радуюсь твоему товариществу; но скажу тебе, что законы наши суровы: будешь ли согласен им повиноваться?

— Не боюсь строгости,— кто умел повелевать, тот, конечно, учился повиноваться. Чего требуют законы ваши?

— Отречься человечества, всего света, этого гнездилища змей ядовитых, у которых тайные жала лицемерия и вероломства язвят и губят более, нежели сталь ножей наших; ненавидеть Тайные суды и Орден рыцарей; не жалеть жизни для их пагубы, за утеснения от коих мужественные скрываются в сих стенах; за варварства, которые лишили их свободы, имени и отечества. Ежели ты немец: отрекись сам себя и клянись, подобно нам, эстонцам, на костях братий наших местью немцам.

Положа руки на мертвую голову, под которою лежит широкий нож, датчанин повторяет страшную клятву, произнесенную некогда самим Брахтом. Прерывистый голос смятения сердечного делает оную еще страшнее. Для утверждения разрезывает себе руку, орошает кровию поверженный на полу меч и проходит по ним трикраты босыми ногами.

— Теперь ты наш, Ральф,— продолжает атаман,— обними меня в знак союза и ступай; но помни, что жизнь твоя нам принадлежит: одна только смерть в твоей власти.

С буйною радостью окружили разбойники нового товарища. В огромной зале, около пылающего дуба, с чашею в руках, должен он рассказывать вымышленные свои приключения. Клятвы и хулы исступленные, дикий хохот и смешанные клики отдаются гулом по сводам. Волнующийся свет пламени и перекаты отзыва, кажется, колеблют стены, и висящие на столбах латы с непостоянными тенями будто оживились и движутся.

Разбойники также повествуют — о своих подвигах: рассказывают наконец собственную его повесть. «Видишь ли,— говорят,— обломки корабля на огнище? Это последняя наша добыча; она стоит дорого: много легло наших; сам Гуго ранен датчанином, который, защищая жену, дрался, как отчаянный. Мы его сразили; а жена досталась атаману и прислуживает ему в болезни. Она прекрасна, но вечные слезы помрачают глаза ее; что в красавице, которая не понимает своего счастия?..»

Дикое исступление страсти неблагородной отлегло от сердца Генриха: уверяется, что супруга его несчастнее нежели в оковах, и радость выступает на лицо огорченное. Он пьет, он поет с разбойниками, пробует с ними силу — и общее признание уступает ему место первенства.

Утихли шумные восклицания; огонь едва дымится; сон овладел всеми. Один Генрих не спит, помышляя о свидании с супругою. Но как видиться... как не изменить тайне?.. думает, и ночь проходит, не смыкая глаз его. Но счастие осенило их на время: они свиделись. Генрих объявляет, на что для ней отважился, условливается, при первой очереди стражи своей на башне замка, уйти с помощью ключей, которые должно похитить Иде из-под изголовья атамана. Страх сокращает краткие минуты встречи: они расстались.

Время течет быстро для счастья; медленно для злополучия, еще медленнее для ожидания. Проходят многие дни; мнимый Ральф много раз выезжает в море для разбоя, прежде исполнения надежд своих. «За жену и за детей!» — повторяет раненый Гуго, отпуская на добычу; «За жен и детей!» — восклицают разбойники; «За жену, за жену!» — шепчет Генрих. Невинная кровь льется; но ни одна капля не брызнула на Генриха; ни одно пятно не замарало его совести.

Наступает желанный срок. Сердца супругов бьются ожиданием неизвестным. Очередь стражи Ральфу. Кажет-

ся, судьба благоприятствует супругам. Разбойники празднуют новую добычу; осенняя ночь усугубляет мраки; море шумит; сгущенная холодом вода плещет в стены; ветер завывает между зубцами. На высокой башне, с которой протянута цепь к колоколу в залу разбойников для призывного знака, стоит безмолвный Генрих, ждет супруги и прислушивается к каждому шороху. Уже гаснут огни; умолкают буйные клики; один только рев волн доходит до его слуха. Напрасно море силится смыть кровавые пятна со стен; еще прольется много на них крови!..

Ида уже не плачет; ласкается к Брахту, наливает ему полные стаканы, и выздоравливающий злодей трепетною рукою радостно принимает подносимое вино. Она молится так усердно над каждым бокалом и улыбается атаману так приятно, что он готов выпить чашу смерти из рук пленницы. Скоро скатилась голова его на изголовье: еще невнятно бормочет ей ласкательства, еще с судорожными движениями руки его ищут прекрасной... она с ключами уже на башне.

Первый поцелуй со времени разлуки награждает обоих супругов. Тихо, едва дыша, спускаются они с башни. Ральф в темноте брякнул нечаянно цепью: «Ты уронил ключи»,— произносит Ида, хватает цепь — и ах, несчастная! прежде нежели супруг успел остановить ее руку, она ударила в колокол час своей смерти!..

Вдруг осветились стены... забегали люди... супруги спешат... вот уже близ ворот... вот вложен ключ... но свет пламенников мгновенно озаряет их бегство!.. их схватили!..

Кто изобразит бешенство пробужденного Брахта? Ярость его задушает; все встревожены; измена очевидна. Приготовляется немедленно казнь: около головы Генриха обвивают веревку, крутят и... уже к трупу бездушному призывают Иду — и так бросают обоих со стен замка в море!..

Свирепый Брахт дышит отрадою. Пред ним лежат для раздела кольца, серьги, запястья, золотые образа, снятые с виновных. Теперь только обращает он на них внимание: вдруг глаза его выкатились, волосы становятся дыбом, судорожное движение объемлет члены... Отвратим взоры от страданий наказанного злодейства; самые разбойники впервые познали ужас в сердцах своих...

Поутру нашли Брахта истекшего кровию; перевязки были сорваны; золотые образа несчастных супругов замерли в руках Гуго, сложенных на груди...

Никто не знал причины исступленной смерти Брахта; но, думали, что перст карающего Провидения указал ему в последней жертве — его детей злополучных...

Протекли веки. Эстония переменила вид свой. Земля, упитанная кровию, погребена под волнами желтеющих класов. Одни только развалины замка Зонденбурга, будто печать отвержения, посреди цветущей природы, вопиют гласом немолчным свою страшную повесть. Там, где буря выкинула тела брошенных в море супругов, ныне стоит страннораиемная гостиница; а на могильном кургане Брахта, в возвышающейся мельнице, тяжкие жернова вертятся беспрерывно над сердцем несчастного отца, ожесточенного злодея, ужаса человечества!..



РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

I

> «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде».

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле все шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем, за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, то есть с сединою, Буртнек был человек лет пятидесяти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество.

Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам, со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу, на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешенная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разно-

цветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор? — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости московцев, отчасти задержанный городскою думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.

— Нагулялся ли ты? — повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон,— отвечал весельчак доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения.— Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия, и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы же тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены, а грозны они только издали; половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофелю, нежели картечей.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! Хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни.

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее как вчерась я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения, мальвазиею, господин барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? А ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.

— Тебе завтра будет вдоволь работы,— продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон? Разве я кузнец? — отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива.— Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любы ли они им? Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставать вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешевы из нее перчатки!.. Оно и не мудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что, если бы русские увезли у меня хоть уздечку, я бы нагнал удальцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. Другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встречи со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели бы тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! Некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал? Это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его, хотя я вовсе не прошу господина гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, явясь сюда с первыми жаворонками, воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это статься! Мое дело так ясно, как мой палаш, так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости,— а, смотришь, деньги улетают как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь, мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось; у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет, тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*.

За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопою об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю,— сказал с улыбкою рыцарь,— понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду? Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопа,* господин доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно.

Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга-эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами, вбежал и смирно остановился у притолки с раболепно-вопросительным лицом.

— Друмме! — сказал ему Бернгард,— скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок,— продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту),— и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме,— слышишь ли, глупец?

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан! — грозно закричал рыцарь.— Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, нечесаное животное, куда?.. Чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ! — продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения.— Скорее мед-

ведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Икскулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать, глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится [1]. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных,— безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев. Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно, не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И, по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать, у меня так болит голова, будто с двух сот русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель: [2] это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: utile dulci [3].

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово vale [4].

Так говоря, они вышли из залы.

---

[1] Прошу читателя вспомнить о феодальных правах. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

[2] Род бильярда. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

[3] Полезное с приятным *(лат.)*.

[4] Прощай *(лат.)*.

II

> На радуге воображенья
> Воздушный замок строит он;
> Его любви лелеет сон...
> Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум — такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю — что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц, скользили взоры... но какие взоры! От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотою и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро приметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастия; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеа-

ле; а сердце в восемнадцать лет — порох, одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтрему. В углу за занавесом, вокруг длинного стола, сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам, золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом.— И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любование красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин,— сказала она вполовину тронутым, вполовину ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлейн Минна; простите меня или, лучше, самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлейн Минна,— я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо?

Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрас-

ною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред светскими красавицами? кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце, остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори, я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет,— сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!

— И недаром блестит, фрейлейн Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом.— И для всех или только для вас она кажется такою? Не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фрейлейн Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства, а мне бы хотелось знать ее имя,— сказала Минна холоднее.— Могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.

Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен, Минна — чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и образованностию, ловкостью далеко превосходил

рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, Эдвин говорил ей о *ней* самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей, он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги, он любовался ее очами. Следствие угадать нетрудно, ибо состояния выдуманы не для любовников и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу, и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (то есть местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал перед тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох развевал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную, не сводил их с ее окна и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастие, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! Пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой,— наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось

в одно мгновение с умилительным, голос замер, сердце как будто пронзилось, но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд.

Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фрейлейн Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли — розового; я бы избрал,— продолжал он пламенно, схватив ее руку,— прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь! — прошептала она.

Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя.— Зачем я злосчастен своим благополучием!

И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты.

— Минна! — повторила впросонках ее тетушка.

III

> В любви, добыче и утрате
> Мои права — в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов, кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титло царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома: вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания, пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения козьей ноги [1] у них

[1] Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей — в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-Fall — падение серны. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.

Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.

За нею последовал Эдвин.

— Благодари господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею...— сказал барон, потирая от удовольствия руки.— Благодари; я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из трефов коронку, и смущенная нечаянностию Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас,— тихо сказал Эдвин, положа руку на сердце,— вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала.

Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.

— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей,— сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь...— Соколом моим, фрейлейн Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф,— у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль! — воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши.— Вот, что называется, соглашаться, не сказав «да». Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества — моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, а ты, милый Эдвин,

постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.

Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! Что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вещую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? — продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку.— У меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье? — сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь.

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г. барон,— стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру, я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.

(Читает.)

— «Ба... ба... барону... Бур... Бур...» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца; это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами! [1]

---

[1] Fraktur-Buchstaben. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

— О! конечно,— сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпенье...— возразил доктор.— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней, благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...»

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс *при смерти* не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он и весь в четырех словах: «исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином, а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите, так и незачем. Жаль только бедных

путешественников по нужде, они не журавли: не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога — вещь мирская; а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью,— сказал Лонциус, наливая стопу.

— Я говорю про бумагу,— с досадой произнес Буртнек.

— А я думал, про стопу,— отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи.

(Читает.)

— «Гермейстер...» и тому подобное... «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою и насилием и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, *я* с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, *нашли...*» Ошибка против грамматики! — вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,— возразил Буртнек.— Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «...рассмотрев, *нашел,* по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озерка Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту! — вскричал барон, вскакнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...— Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон *так* кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет,— а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья,— и какой воды!

— Без воды обойтиться можно,— возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение.— «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... Я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью, его флюгерною дружбой? Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя, даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.

Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, и громче и громче раздавался голос его, до того, что стака-

ны и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.

Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.

Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,— продолжал Буртнек,— я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,— вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,— сказал, пошатываясь, Доннербац,— мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки.— Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. Завтра турнир, и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгерна как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... Но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... Вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг, кто бы ни выбил Унгерна из седла,— я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,— вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,— и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!

С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка! — воскликнула испуганная Минна.

— Минна... Я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим

желаньем: что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин? — кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было.— Чудак!.. а славный малый,— примолвил он,— скажи слово, и Эдвин отдает все без росту и закладу.

— Молодец,— повторил Доннербац,— даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница,— прибавил доктор,— хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.

IV

...I write in haste, and if a stain
Be on this sheet 'its not what it appears,
My eyeballs burn and throb, but have no tears.

Byron [1]

Как бешеный вбежал Эдвин домой.

Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелись вдребезги, и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами.— Турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда? — спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать куда? Я еду, и этого довольно; ветер хорош; кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!

Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими

---

[1] Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. *Байрон (англ.).*

руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:

«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно,— тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец я, безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал... Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву... Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня, и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге, склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость, еще один взор, как сегодня... и я причарован,— и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадет мое счастие, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться, не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.

Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч туской лампады, и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!» [1]

Летит как вихорь, как огонь
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостию, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг- и Брейтштрассе — две дороги, ведущие к Дом-плацу в Вышгороде,— заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вкруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зри-

[1] Любовь — дамам, почет — храбрецам! *(фр.)*

тельницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, Лонциус и Эдвин стояли у въезда, оттуда им видна была вся окружность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну,— сказал доктор, которому все казалось в забавном виде.— Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы. Какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи,— отвечал Эдвин.— Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских,— следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похо-

жая на корабельную статуйку,— жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью — к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу,— дворянка Зегефельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати, об ушах... Тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой,— это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф; знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою,— баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт; он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние. Но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства...Фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга: [1] шейная цепочка его весит ровно в тридцать фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованые его пальцы! Он имеет *вес* между рыцарями.

— Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрей-

[1] Гер. Плеттенберг в 1503 году издал, для удержания роскоши, указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий, но это осталось без действия. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

бер Рабенштраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность [1] можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...

Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бренчание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно.

И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба, и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш,— народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.

---

[1] Seine Durchlaucht. Его светлость, его прозрачность — немецкий титул. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

Бросив повода и опершись на копье, величаво стоял он среди площади.

Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала,— никто не являлся.

Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»

— Отворите! — закричал неизвестный рыцарь, приближаясь,— и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.

Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле, только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрянули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводами, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкою. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвеваемой его ногами.

— Какой статный мужчина! — сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец! — воскликнул ее брат,— во всех статях,— даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец — хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы,— с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь,— смеючись отвечал фон Клокен.— Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац! — отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склопил копье, низко-низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что мундштук звякнул о мундштук...

— Что это значит? — с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике,— насмешливо отвечал неизвестный,— то брошенная перчатка значит вызов на бой.

— Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвастун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов! Поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец! — вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника.— И также воткну на копье твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор!.. Поклонись в последний раз петуху на олаевской колокольне,— вы уж больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвета кровь, двигающая этот дерзкий язык!

— Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца,— говорили рыцари, разъежаясь.

И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копья, и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится...

Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два, и копьев как не было, но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом

ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завеяли платками в одобрение Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины: они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы.— Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью.

— Едва ли это неправда,— примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать назабудки с копья Унгернова,— прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь,— сказал третий.

— Распечатай его наличник! — кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты,— так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями, устремились рыцари навстречу: один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились, и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн, кто победитель?

— Судьба,— отвечал тот едва внятно.

— И смерть, если ты не сознаешься; кто победил тебя?

— Ты, ты! — отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней, или через минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных, то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.

— Слава великодушному, награда и честь победителю! — раздалось в громе рукоплесканий.— Ему, ему награду! — восклицали все.

— Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок! — решили судьи турнира, и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты; поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь,— сказал гермейстер Бругеней, стоя,— ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие; покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.

Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин! — сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским.— Неужели откажетесь вы ответствовать на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет! — говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем,— он колебался.— Минна! — воскликнул он наконец, хватая кубок,— да будет!.. Я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

Не встанешь ты из векового праха,
Ты не блеснешь под знаменем креста.
Тяжелый меч наследников Рорбаха [1],
Ливонии прекрасной красота.

Н. Языков

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет пятнадцать спустя после введения лютеранской веры.

---

[1] Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Schwert-Brüder). *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новогородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами, от чистой души, уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унизить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостию стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество Черноголовых (Schwarzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню,— но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет, то будет, а будет то, что бог даст.

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин! — воскликнула Минна.

— Купец! — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.

— Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает месть! — раздавалось отовсюду, и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.

— Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца! — кричали рыцари.— Он не наш.

— Он будет наш! — возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина.— Мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст? Кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? — шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки!.. Храбрость ваша качается на весовой стрелке, а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

— Аршинники, разбойники! — летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил:

— Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата и преимуществ Ордена, не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет,— загремели дворяне и рыцари, и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

— Так мы сломим их в битве! — зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А! коли так, бейте черноголовых! — закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых! — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам и бой завязался.

Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех, ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира,— никто не слушал, никто не замечал его. Наконец усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнию за эту игрушку.

Эдвин все еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая на Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержать слова, чтобы поддержать имя. Коротко сказать, Эдвин очень высоко задумал; я вовек не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпься червонцами,— я не соглашусь раздвоить [1] свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном, неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров! — гордо возразили старшины сего сословия.— Он заслужил это достоинство храбростию.

— Слышите ли?..— сказал доктор.— Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка,— вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная,— он оживает, мой Эдвин оживает. Простите,— продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами,— я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.

Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца.

Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы, хотел поцелуем призвать в нее жизнь, и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице.

Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее:

— Он богат, прекрасен, командор и храбр; это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку.

Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

---

[1] Écarteler — геральдическое выражение. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского).*

— Куда едешь, любезный Доннербац? — спросил Буртнек.

— На турнир,— отвечал тот, протирая глаза.

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу,— с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу,— неужели с фрейлейн Минною?.. Не сон ли это?

— Дай бог не просыпаться от такого счастливого сна!

Шумно промчался поезд мимо,— и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.

ИЗМЕННИК

ПОВЕСТЬ

...Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.

Shakespeare [1]

I

«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»

Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотою природы, чувствами давно забытыми и новыми.

---

[1] ...Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромозди еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятью, чем это. *Шекспир (англ.).*

Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремленьем тысячи ручьев, низбегающих в озеро.

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее,— и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:

— Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег [1]. Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар! [2]

Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы и сердечное *добро пожаловать* ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами под крылом родимого неба, и сон росою упал на утомленные члены путника — сон, какого давно не знала кипучая душа его.

II

Лениво подымалися утренние туманы с тихого Трубежа [3], и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, гля-

---

[1] Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

[2] Жители Переславля, большею частию рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера.

[3] На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

дел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.

— Это бревно никуда не годится,— сказал он плотнику,— в нем сгнила сердцевина.

— Так-то и с нашею Русью, Петрович,— ответствовал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец,— Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господа неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было.

— Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело, дай только дождаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.

— Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.

— Зато много грабленого золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.

— Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.

— Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице [1].

— Кто же здесь останется воеводой?

— Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого... Ему, кажись, на роду написано повелевать,— что твой орел, когда взглянет!

— Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью — всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.

— Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота.

— Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром

[1] Воевода переславский Иван Васильевич Волынский был с своею дружиною для помоги Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр.-Серг. лавры, стр. 221. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у погибели от самозваных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?

— Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?

— Да он-то пришел ли ей по нраву! Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михайлом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михайла оставили у нас засадным воеводою!

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло под ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.

Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкою.

III

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блестках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо все и мертвенно, будто природа в тоске перед грозою.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушенье на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниею колдун, когда он с помощию ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса, на посиделках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе оконницы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.

И вот уже проник он до поляны, венчающей холм; уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всенощной. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему со-

вестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи... Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... Но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя — и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильней прежнего.

— Нет, не мне ворочаться! — вскричал Владимир, ступая на поляну.— Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?

При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

— Пора,— сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призвание злого духа.— Явись мне, искуситель рода человеческого,— восклицал он,— стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой;[1] я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!

Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; но ветер палил его лицо, словно

---

[1] Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей... Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; но вот двоится огонь — и щелкание зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.

— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!

В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

IV

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и, при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.

— Безумец ты, Владимир,— говорил он ему сквозь смех,— неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь,— ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?

— Так, Хворостинин,— я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим

адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.

— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и беземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели.

— Кто противостанет мне? Что меня остановит?

— Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороху — и ты прах.

— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня...

— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись,— и когда я выходил из Переславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?

— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша [1] перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом...

— Нет, я хочу умереть здесь...

— Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю?

Владимир не слышал его.

— Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться

---

[1] Так называют в просторечии одержимых бесом. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

в некоторое времечко, и это время теперь: отчины твои промотаны, твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нажил. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? Каких еще обид доискиваться? Ситцкий, я тянул с тобой одну лямку и чарку; я знаю, я ценю тебя; я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хваленое беспристрастие! Да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла, презрела тебя,— чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в пятидесяти верстах, под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первоучинка дружиться с panami dobrodziejami [1], и Лисовский примет тебя — чуб до земли... и через два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь — и песни красных девушек. Князь, решайся!

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи.

— Злодей! — наконец вскричал он,— ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!

— Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы, не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? А ведь на людях и смерть красна.

— Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!

— Потомки если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами; а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? Одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: «За матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

— Нет, нет!

— Нет?.. Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя,— я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится

[1] Паны-добродетели *(польск.)*.

измены; который все хочет и ничего не смеет!.. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать подержать твое стремя; грызи украдкою, как мышь, каблуки презирающих тебя врагов; ступай на вести к своему меньшому брату, жди подачки с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай молодых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями; считай чужие поцелуи, нянчи будущих детей братниных...

— Этого я не стерплю никогда!..

— Ты не стерпишь? И, брат Владимир,— терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий, спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячьи сердца в грудях орлиных...

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. Взошло солнце, и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облег уже Переславль, уже отбил вылазку Михайла Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли; но облако дыма и пыли неслось еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих; но как они не слишком боялись недальнострельных орудий города, то очень близко притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседлывают коней, иные вываживают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие отирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Треща, разгораются огоньки и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели; вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселятся после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам, для добычи и славы, привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панами на разбой и на убой, бесстрашно сидят или спят вкруг огней. Наконец изменники русские; иные из привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно виделись в стане. Инде ходил часовой с заржавленным бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом скакуне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копье, завешивает из бурки сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который нежится на медвежьей полости, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинуто на грязной соломе. Все это было странно и дико, но все кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним двое изменников, Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое, загорелое лицо показывали в Лисовском обстрелянного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова Хворостинин уже спал беспробудно, утомленный сечею и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

— Пей, товарищ, пей,— говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы.— Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благовонною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ! пей, оно и твою утолит!

— Нет, Лисовский, нет. Злодейка тоска всплывает наверх, и вино подливает пламень в кровь, и без того кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Димитрия. Я видел вблизи их обоих,— и верь: оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом и... есть не-

излечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!

Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души.

Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; соучастие отозвалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле; они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенны; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами,— и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят, и с ревом, неодоленные оба, сливают волны свои, и несутся одною дорогой.

Молча подал Лисовской руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

— Лисовский,— сказал тогда Владимир,— вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих,— я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбию! Наружность винит меня более, чем обвинит признанье, и ты можешь понять меня! Слушай!

Здесь повила меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, и гром, и кровь, и пламя кругом меня. Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев [1] и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих

---

[1] Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. См. «Ист. гос. Росс.», том IX, стр. 315. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненый, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неутолимые страсти. Отца я не помню,— он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшого брата. Как буря по степи пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки; моею забавою было то, что и самых юношей пугало: бешеные кони, звериная ловля, и мрак ночей, и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями, и мое первое презренье было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды к двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела передо мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня,— но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозренье, зеркальные лица и ничем не подвижные сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба [1], которые не могут жить без низостей, ни к чему не нужных! С каждым днем опостывал мне двор... Я вырывался из душных палат кремлевских, чтоб подышать отзывным мне ветром и бурею, чтобы выместить на зверях свою ненависть к людям. Однако ж, по какой-то пагубной привычке, я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному,— и, наконец, труба мятежа пробудила ее. Как ворон, встрепенулся я, послышав кровь, и радостно полетел к Новугороду-Северскому [2]. С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мне целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал тою жизнию, что отнимал

---

[1] Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

[2] Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, покуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604, в ноябре). *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

у других,— но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы.

Ты знаешь, это длилось недолго; наши московские сидни признали Димитрия, и я со вздохом опустил меч и, увлеченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нянчить царских соколов, чтобы заполевать, при случае, воеводство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него возвыситься. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесток на платье, венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее; я уже был накануне исполнения моих желаний,— но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой,— но как? Подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновенье и наводит на него громовую стрелу!

Въезжая сюда, я как будто вновь народился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятежное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь все было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой и... признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой; неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало как переполненная сладким напитком чаша, любовь к ней проливалась на все меня окружающее. Я узнал тогда радость доброты и потребность дружества; весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои! Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг за ласки! Три года протекли как одно майское утро; она росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву и славу и поляков и русских. Димитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... И это было настоящее изображение его царствования: гром

и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь... Но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарованный ею, и как прелестна тогда была она! Как искренна была со мною!.. С какою нежною заботливостию спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостию веселилась, когда я был весел. Лисовский! трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... Да... я не знаю средины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие, но она снедает ржавчиною булат моей сабли,— и, как эта персидская сабля, долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновенье настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он таился, но уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце,— да и какое женское сердце не выбирает друга по себе?.. Оно бессильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и не понятной душе! Только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть, счастие жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волынский удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волынский воспротивился. Все было готово... Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая, и ей в приданое — воеводство... И в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютый зверь, тогда вспрыгалось мое сердце; не знаю, как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Лю-

ди, ад, все изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду... У меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любови. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого: Елена, живая или мертвая, будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия; смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... Слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое! «Источу из тебя кровь,— отвечал я ему,— чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут; пеплом пожара посыплю главу Переславля, который меня отвергнул,— и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!..»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспаленная гневом... Волнение уходилось, и предрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест шагов; кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!..» — и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремит изумленные взоры на пришельца; перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимает он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» Это — Елена!

— Не дивись, Владимир,— говорила она,— что, откинув девичью робость и стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей нежданною переменой; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на все, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души. Так, Владимир!.. Я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя,— но будь же достоин моей любви и уважения всех — покинь это гнездо отступников; твой пример повлечет за собою тысячи русских изменников, твоя храбрость спасет Переславль, твое раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающемуся грешнику, и благословение на земле и спасение в небе — ждут тебя. Брат отдает тебе все, что ты хочешь;

я — все, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжалься над моими слезами... умились моими молениями!

— Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир,— я не продаю ни добрых, ни злых дел моих; ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня,— идем!..

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загремел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его.

— Пора, Ситцкий, пора! — говорил он.— Заря занимается, и все готово: ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... Огонь в стены — и город наш!

— Неужели это был сон?! — вскричал, озираясь, обманутый мечтою Владимир.— Сон, злобный сон! Так-то все доброе, все прекрасное в свете — один рассказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! Горе осажденным!

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя; но роковое *пали!* с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою, небо вспыхнуло, и град смерти, свистя, запрыгал между рядами. «Скорей, скорей,— раздалось отовсюду,— сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по наброcанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали, ядра пронизывали ряды наступающих, и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась.

— Вперед, за мной! — воскликнул Владимир и, надвинув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех, с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице... Отряхая с себя камни и стрелы, уже схватясь за зубец, ступил он на стену.

— Стой! — загремело ему в слух. Пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся он грудь к груди,— и что ж? Над ним сверкала сабля Михаилова. Ужасное мгновение! Бледным от ярости, мелькнули им взоры друг друга, и смеркло все... Невольный трепет проник обоих. *«Он изменник»* — была первая мысль; но *«он твой брат»* — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. *«Это враг мой»*,— мелькнуло в голове Владимира,— и писто-

летный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

«Измена! Победа!» — раздалось от Трубежа, и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорогую испанскую кольчугу. Между тем целый день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Исхлынувшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей,— говорила она,— ты пожертвовал всем своей прихоти,— и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? Это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не сгибнет память предателя, заклейменная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче,— и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и прекратились... Тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

— Это он,— сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего,— это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? Он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его.

— Уважал! Можно ли уважать изменника! Если почитать людей за одну отвагу, так поэтому все равно умирать на виселице с разбойником! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!

— Стащим с него долой контуш,— он позорит польское платье!

— Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью.

— О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... А тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она или ее утопили — это неизвестно; но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... Да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело.

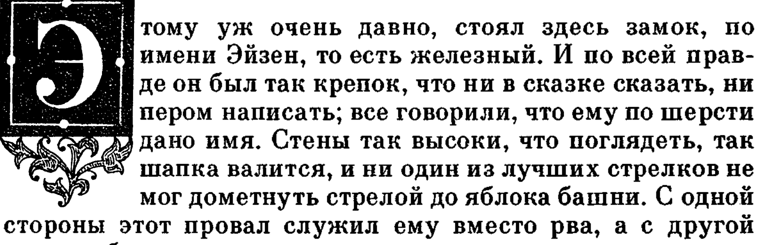
Завидна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!

Как голос трубы Страшного суда, пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью,— и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... С этим взором выкатился свет из очей изменника.

ЗАМОК ЭЙЗЕН

В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице увидел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и, наконец, над оврагом ручья, развалины замка. Все это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам все, что узнал, как следует ниже.

А. Бестужев



Этому уж очень давно, стоял здесь замок, по имени Эйзен, то есть железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дометнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны этот провал служил ему вместо рва, а с другой тысячи бедных эстонцев целые воспожинки рыли копань кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили замок, что к нему ни с какой стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах: дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода; тридевять задвижек с замками запирали их, а уж сколько усачей сторожило там — и толковать нечего. На всяком зубце по железной тычинке, и даже в желобках решетки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттудова. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире?.. Правду сказать, тогдашний мир хуже нынешней войны бывал. Одной рукой в руку, а другой в щеку,— да и пошла потеха. А там и прав тот,

кому удалося. Однако и рыцари были не промахи. Как строили чужими руками замки, так говорили: это для обороны от чужих; а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то побытом, владел этим замком барон Бруно фон Эйзен. Был он не из смирных между своей братьи, даром что и те удальством слыли даже за морем. Бывало, как гаркнет: «На коней, на коней», то все его молодцы взмечутся как угорелые, и беда тому, кто выедет последним. Коли подпоясал он свой палаш, а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора весил, то уж не спрашивай: куда? Знай скачи за ним следом очертя голову. Латы он носил всегда вороненые, как осенняя ночь, и в них заклепан был от каблуков до самого гребня; глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, и сказывают, взгляд его был так свиреп и пронзителен, что убивал на лету ласточек, а коли заслышит проезжий его свист на дороге, так за версту сворачивай в сторону, будь хоть епископ, хоть брат магистру. Врагов тогда бывало, не искать стать; выезжай только за ворота, соседов много, а причин задрать их в ссору еще более. Притом же Нарва в тридцати верстах, а за ней и русское поле... Как не взманит оно сердце молодецкое добычей? Ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою, так и кинется он к границам русским. Ему не нужно ни мосту, ни броду. Прискакал к утесу, а река рвет и ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? «За мной, ребята!» — и бух в воду первый. Кто выплыл — хорошо, потонул — туда и дорога! Скажет только, бывало, отряхаясь: «Скотина»,— и помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться. Конь служил под ним заморский, мастью вороной — что твоя смоль. В скачке с него зайцев захлопывали. В погоне река — не река, забор — не забор, а в деле словно сам черт под седлом: и ржет и пышет, зубами ест и подковами бьет. Зато барон любил и холил этого коня: счетным зерном из полы кормил, из своего кубка медом потчевал, и коли надо, случалось, коню сослужить службу трудную, так отскачет полдороги — да фляжку вина ему в глотку. Прочхнется тот, встрепенется и опять летит, инда искры с подков сыплют. Ну вот, и заедет он далеко в Русь... врасплох. Завидел деревню — подавай огня. Вспыхнуло — кидай туда все, что увезти нельзя. Кто противится — резать, кто кричит — того в пламя. Позабывшись, и даром, правду сказать, порубливали встречного и поперечного, ну да это чтоб не разучиться или поучиться, говорил он. Натешась, разгро-

мив, навьючив коней добычею, насажав на седла красавиц и сосворив к стремени пленников, выходили они околицами восвояси... и тут-то уж по дележе начиналась гульба и пированье. Хоть в пятницу — праздник, и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море, и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку; да он огрызался себе, как волк, и цел и невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблиз к его латам и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были; оно и статочное дело: барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господень гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны, между тем как удары палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона, разгульная жизнь и охота к добыче как магнитом тянули бродяг к нему в службу. Обокрал ли, прогневил какой слуга или оруженосец соседа рыцаря — сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее; зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды! Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся: каждый — сорвиголова. В огонь и в воду готовы на голос Бруно... Так и смотрят в глаза ему; лишь мигнул, и все вверх дном полетело. В буянстве — самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкою, и двенадцать киевских ведьм вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз набекрень, разгуливали они по хижинам эстонцев, поколачивали их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем бог послал.

Теперь стали экономничать лифляндские помещики, запирать счетный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину, сами вы знаете, то ли было! Круглый год масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду, и без Heilige Nacht [1] телята и бараны на четырех ногах ходили по столу и умильно подставляли охотникам свои котлеты. Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе, а травкой-

[1] Рождество Христово. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что основательных напитков тогда не жалели, а как пили они, так вы, право, подумали бы, что у них муравленая утроба! Ведро пива на ухо — и ни в глазе. Вот подопьет, бывало, барон с соседами, да и расходится индюком... «Я ли не я ль?» По плечу себе никого не приберет, он-то всех храбрее, он-то всех благороднее! А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору и в брань, а там долго ли до железа? Кончится, бывало, тем, что гость приедет верхом, а вынесут его на носилках, еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало: разгневался на соседа — на конь с своей дворней и псарней, и пошел топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси боже повстречать его в такой черный час! Завидел эстонца — и скачет к нему с поднятым тесачищем.

«Читай «Верую во единого», бездельник!»

А тот и обомлеет на коленах, ведь по-немецки ни слова.

«Эймойста!» [1]

«Читай, говорю!»

«Эймойста...»

«А! так ты упрям в своем язычестве, животное!.. Я же тебя окрещу!»

Бац — и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, и барон с хохотом скакал далее, проговоря: «absolvo te!», то есть: «разрешаю тебя» — затем что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасать душу. Таково было чужим,— каково же своим-то было? Понравился конь у крестьянина:

«Пергала! меняй свою лошадь на мою кривую собачку!»

«Батюшка барин! мое ли дело охотиться, а без коня куда я гожусь?»

«На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью»...

Зальется бедняга горючими, да и пойдет в холодную избу за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать не велят. Коротко сказать, Бруно в угнетенье не отставал от своих сотоварищей, за исключением только члена: «не пожелай осла ближнего твоего» — затем что полезных этих животных тогда в Эстляндии не водилось. Однако ж и на него находили часы, не скажу божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди —

---

[1] Не понимаю! *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*

весьма неутешно; как ни любил он шум и разбой, а все-таки скука садилась с ним в седло и на стул незваная, и, как бес в рукомойнике, выглядывала с донышка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям.

Вот уже стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду — черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с стопой своей и допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женись, барон, авось это порассеет тебя; притом же наследники... ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет... да, кстати, чем далеко искать — лучше взять готовую невесту моего племянника; она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может, она меня не залюбит, да кто об этом беспокоится. Какое мне дело, любят ли меня рыбы или нет, да я люблю их есть. А племянник — не велика птица в перьях, пускай порастет до свадьбы! Надобно вам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом... кажись, не умом, потому что поручил сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно расправлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регинальда помыкал вовсе не по-родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали как на ладони все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был статный и красивый; ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай бог памяти,— кажется, Луиза... Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу, даром что не мылась биркезом и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины... Сердце сердцу весть подает... они слюбились. Партия была хоть куды... и Бруно не прочь, и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела...

Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить. Через три дни пути Регинальд с двумя трубачами стоял уже у подъемного моста, у замка рыцаря Бока, и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей. В замке все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету; матушка насурмила вместо бровей губы, и я за верное

слышал, что сама Луиза, как ни хотела казаться равнодушною, однако встретила гостя в разных чеботах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик,— она испугала бы их менее... Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маю-кону — и что сравнение мое некстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха; матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде; Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори, а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жалуют больно другое... Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом-разумом. Шутить с Бруно плохо... Хотя-нехотя ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось, да зачем, вправду, их баловать? Какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю отчего, только вино это показалось свату настояно перцем, матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть.

Через две недели была и свадьба. Гостей съехалось тьма-тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни, так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну, ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить; хлеб, соль не купленные. Особенно у барона лавливались в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавль, и покрякивал очень гордо; зато бедная Луиза, бледная как фламское полотно, была ни жива ни мертва и сказала *да* так невнятно, так невольно, что оно девяноста шести *нет* стоило. Между тем кой-кто из гостей, особенно дамы в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах, из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею.

«Муж не бобер,— сказала одна баронесса своей соседке,— проседь только меху цены придает».

«Морщины — такие борозды, на которых всходят плохие растения»,— прибавил какой-то забавник.

«Поглядим,— рассуждали иные,— голубка ли выклюнет глаза этому старому ворону, или он ощиплет ей перушки!»

Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости пропировали до бела утра. Мороженки, рябиновки, настойки из полыни, зари и прочих невинных трав лились, а заморских вин — пей не хочу.

Утро застало пировавших или за столом, или под столом, и, к крайнему сожалению любителей прежних обычаев, пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбно. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они, в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса, в первый раз без отца, без матери, сидела прижавшись в уголке, как сироточка, и сердце щемило у ней,— а ведь это не к добру!.. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа, и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком, посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари, бывало, плачет бедняжка тихомолком, так что изголовье хоть выжми,— и не один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине... Куды! Упаси боже! Как затопает да закричит: «Твоя родина — спальня! Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значат слезы, которыми ты, как блестками, унизываешь шитье свое? Почему, лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось на племянника моего ты очень умильно глазеешь! Черт меня возьми, тут что-то недаром... Я уверен, что вы вспомнили прошлое. Но помни и то, Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку с венгерским, чтобы не испортилась!»

Не нами выдумано, что неправое подозренье вечно вводит в искушенье. Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром, сем-ка я заслужу это,— ведь терять-то уж нечего». Притом же утешно и отомстить за обиду.

Вот так или почти так случилось с Луизой, так и с пле-

мянником барона. Им стало досадно сперва за напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. Притом же она не любила мужа, он не уважал дядю,— стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, оттого только, что вместе; чуть только можно, он сидит при ней, говорит сладкие речи и глядит в глаза так нежно, что, будь каменное сердце, расступится. То рассыпается мелким бесом в услугах, то веселит ее рассказами... а сам изныл, истаял от грусти, как свеча. Мудрено ли ж, что с каждым днем Регинальд становился Луизе милее, с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она виноватее. Надоело и барону нянчиться с женою. Бывало, ни свет ни заря отправляется он на грабеж, или в набег, или в отъезжее поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами. Какое ж сравненье с Регинальдом! с добрым, с благородным Регинальдом! Впрочем, сохрани меня боже заступаться за них: во всяком случае их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде — грех великий. Конечно, страсти — дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей Регинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному: чтобы не отослал его дядя прочь, принужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани перекопать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел.

Минул год. Случились у барона гости. После обеда все навеселе — вышли пострелять из лука в зверинец. Правду истинну сказать, это важное имя дано было загородке из одного баронского хвастовства. Им бы лишь было имя, а как — того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая потому только разве могла назваться дикою, что пастушьих собак дичилась, да лошадь, состоящую за старостию на подножном пансионе, в свободное время от водовозни, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы, а что ни самый огромный подали барону. Он его любимый был... Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же, как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними подсмеивается. Дошла очередь и до Регинальда. Он уперся в стальной лук пятою да как потянул тетиву кверху, так только слышно динь, динь... все ахнули, и тетива на крючке, словно взводил он детскую

игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которою он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более.

«Это одна сноровка,— сказал он презрительно.— А вот, господин дамский угодник, если ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками, так будь молодец: попади в мельника, который работает на плотине ручья».

«Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю,— отвечал с негодованием племянник.— Но я не палач, чтобы убивать своих!»

«Гм! своих! По низким твоим чувствам я, право, скоро поверю, что ты *свой* этим животным... Убить мельника... ха, ха, ха! экая важность; не прикажешь ли потереть виски?.. Тебе, кажется, дурно от этой мысли становится? Тебе бы не кровь, а все розовое масло! У тебя одно любимое знамя — женская косынка!»

«Барон Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости, то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле и, к стыду моему, не проливал ли невинную кровь русскую в набегах?»

«Не отставал... велика заслуга! Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут. Подай сюда самострел мой да сиди за печкой с веретеном... Погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердца *подлых людей»*.

Он с остервенением вырвал лук из рук Регинальда, приложился, и несчастный мельник рухнул в воду.

«Славно, славно попал!» — закричали рыцари, хлопая в ладоши; но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости.

«Я бы застрелил тебя, наглый хвастун, проклятый душегубец,— сказал он барону,— если б это предвидел, но ты не избежишь казни!»

«Молчи, мальчишка... или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот... Прочь, или я, как последнего конюха, высеку тебя путлищами».

Регинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую держал он, если б его не схватили и не связали.

«Киньте его в подвал!.. — зарычал Бруно, беснуясь.— Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам, да посадить его на пищу святого Антония!»

Несчастного потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него претерпела, но что

сталось с ним, не ведал никто, и скоро все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковину.

Вот, судари мои, не через долгое после того время будучи Бруно на охоте получает весточку от своих головорезов, которые, словно таксы трюфелей, так они искали добычу, что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золото для купли. Взманило это старого грешника.

«Готовьте ладьи,— наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров...— закричал он.— Я сейчас буду».

Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз ссорился с патером в Везенштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, отчего и спать ночью без свету не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит по подполью, а ему все кажется, что кто-то гремит латами... вскочит спросонья и вопит на тень свою: кто там, кто тут? У кого совесть накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо искать утешенья не в молитве, а в гаданье. С этим намерением пришпорил Бруно вороного и по заглохшей траве помчался в лес дремучий. Густел лес... Вечер темнел... Ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец очутился он перед избушкой, как говорится на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. Стук, стук! «Отопри-ка, бабушка!» Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадальщица. Кошачий взгляд, волоса всклоченные и по пояс. На полосатом платье навешанные побрякушки, бляхи и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно бывало разобрать ее голос от скрыпа двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, сбирала змей на перекличку, знала всю подноготную, что с кем сбудется, а прошлое было у ней как в кармане. Рассерди-ка ее кто!.. так запоешь курицей, по-петушьему, или набегаешься полосатой чушкой.

«Кого занес ко мне буйный ветер?» — сказала она, продирая глаза, задымленные лучиною.

«Не ветер, а конь завез меня»,— отвечал барон, влезая сгорбившись в хижину, каких и теперь для образчика осталось не менее прежнего. Солнечные лучи встречались в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копчеными. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу складена была без смазки ка-

менка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец, вместо всех мебелей, в углу лежала рогожка, а у печки лопата: может быть, воздушный ее экипаж — в звании труболетной ведьмы.

«Погадай мне, старая карга! — закричал барон старухе.— Брысь, брысь!»

К нему в это время прыг на шею черная кошка, да и царап лапою за усы. Барон вздрогнул нехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затрещали искры, так что по руке у него мурашки забегали.

«Знаю, о чем хочешь ты ворожить...— сказала с злобной усмешкой колдунья.— Ты получил весть о добыче, когда гнал по лисе, теперь хочешь сам сыграть лисицу на море! Ведаю, что было, угадаю, что будет... но в последний раз, в последний раз, Бруно!»

Барона кинуло в пот и в холод, когда он услышал эти подробности... «В ней сам черт сидит»,— подумал он. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго нашептывала, уставив на воду страшные свои очи; вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла, и вещунья слово за слово, вся дрожа, будто не своим голосом говорила:

«Рыцарь Бруно, твой поход будет успешен, спеши, не медли... Ты приложишь новые добычи, новые грехи к прежним... Светел твой нагрудник... гладок он...»

«Я думаю, что гладок...— ворчал про себя Бруно,— на нем кованая муха не удержится».

«Я вижу на нем кровь...» — продолжала старуха.

«Не бойся, он не промокнет».

«Нет... он проржавеет...»

«А на что ж у меня оруженосец? Пусть-ка он не вычистит моих лат, так я ему вылощу спину. Скажи-ка мне лучше, бабушка, ворочусь ли я домой?»

«Домой?.. Да, ты возвратишься туда, откуда отправишься... и потом ляжешь спать под крестом, в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол? Это похороны. Это свадьба... Слышишь ли, поют: «Со святыми упокой» и «Ликуй!»

Мороз подрал по коже рыцаря... Он робко оглянулся, прислушался, но ничего не слыхал, кроме мяуканья черной кошки.

«Вот тебе шиллинг»,— сказал он, бросаясь вон; но колдунья оттолкнула его рукою...

«Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься... Ступай: конь и судьба ждут тебя за порогом».

Бруно поскакал, не оглядываясь. «Она рехнулась...—

думал он.— Впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духову дню, так и подавно в головах будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Тьфу пропасть! Мало ли у меня знакомых!»

Наутро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье.

Долго ли, коротко ли, далеко или близко воевал барон, не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к замку в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот я и воротился удачно...— говорил Бруно своему оруженосцу.— Роберт, снеси же эти десять шиллингов старой колдунье и скажи, что в ее вздорном предвещанье было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру-поздорову, весел как именинник».

Очень видно, однако ж, было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщин, у того поневоле забьется ретивое, подходя к порогу... Каких вестей, каких гостей там не найдешь!! Так и у барона защемило сердце недаром: не успел он пройти по берегу десяти шагов — глядь...

Признаюсь, господа, что́ тут он увидел, так вскипятило бы кровь у самого хладнокровного мужа... Барон видит: жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Обуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим... Как! тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть, теперь перед ним в полном вооружении? Этот смиренник целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы при мужчинах... Кровь и ад!.. Нет, это не сон, не дьявольское наважденье!

Затопал он ногами, заревел, и если б не бряканье лат его, то, верно бы, любовники кончили жизнь на этом поцелуе. Да нет! Регинальд успел вскочить и принял меч на свой меч, схватились рубиться, искры запрыгали... Удар в голову — и оглушенный Бруно как сноп свалился на траву.

«Теперь ты в моих руках, злодей!..— говорил Регинальд, привязывая его к дереву.— Пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я хочу напиться твоею из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня именья и воли, помыкал родного как служку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довел до того, что я сгу-

бил свой покой и чистоту совести?.. Ты уничтожил злодейски все, что для души дорого на земле и лестно на небе... Ты бросил меня на голодную смерть... Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд божий поединком мне воспрещен был с дядею. Но бог велик! Ты пал, ты погибнешь!»

Надо было видеть тогда барона: ниже травы, тише воды сделался; откуда взялись слезы, откуда молитвам выучился!.. Зачал небось причитать Лазаря. Оно, правду сказать, смерть не свой брат; особенно коли застанет врасплох черную душонку.

«Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние! Отдам все, что ты хочешь, сделаю все, что велишь: стану держать твое стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволенье жениться на Луизе. Пресвятая Бригитта! я отдам в ревельский храм твой пол первой добычи, выстрою в твое имя монастырь с зимней и летней церковью! Пойду сам в монахи, надену власяницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленое. Луиза! у тебя доброе сердце, я испытал это, я винен перед тобой... Уговори, упроси, умоли Регинальда, пусть он даст мне пожить, хоть еще годок, хоть месяц, хоть час!»

«Ни пяти минут!..— отвечал племянник, взводя лук.— Имя бога, злодей, которого ты призывал всегда всуе, чтобы угнетать бедных или увертываться от сильных, теперь не спасет тебя... Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит!»

Но в это время жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку...

«Не убивай...— закричала она пронзительно.— Он злодей, но он мой муж, но он твой кровный!»

«Ты не знаешь, чего просишь, Луиза,— отвечал на эти речи Регинальд ласково.— Коли он жив, то нам не жить,— это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми? Он разорвал родство... Какой же присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь видеть меня на колесе, умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть живая на малом огне... то скажи слово, и он жив!..»

Такая картина ужаснула Луизу... Женский ум слаб,— он видит только то, что перед глазами... Она отвернулась, махнула рукой... Лук взвыл... Стрела угодила в сердце, тут и дух вон... только кровь его брызнула на жену и племянника.

Бруно погиб — и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? Регинальд был малый благородный, добрый, зачем же он ходил с дядей на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно; да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно? И в самосуде — одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни! Какая ж в том заслуга? Есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... Да и кровь родного, право, не шутка!

Скоро спроведали в замке, что Бруно убили, а кто, за что?.. Бог весть. Долго не верилось этому... Наконец увидели, и радость пошла ходить по околице. Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о святой. Вот стали поговаривать об убийце, хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, кто сплавил его на тот свет. Все подозренья, впрочем, упали на Роберта, оруженосца баронова, который вышел с ним из ладьи глаз на глаз и потом исчез — ни слуху ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Регинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, потчевал всех очень усердно, то скоро все и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он, поставили каменный крест, и в замке, до назначения магистра, остался хозяином Регинальд.

Коротка память у женского сердца, и слезы — роса: так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва Луиза то и знай что рыдала; потом стала она молиться... потом рассеивать себя да разгуливать; под конец ласки и уверенья Регинальда, кстати и свои рассуждения, усыпили совсем ее совесть. Глядишь, не прошло полугода, она уже нарядилась в цветное платье, да и сама расцвела розаном. Погодя немного захлопотали о свадьбе; разрешенье от папы, благодаря золотые поминки, прислано; чего ж медлить? Назвали гостей. Гости съехались, пожимая плечами, но расправляя рты. Вот повезли жениха и невесту в церковь, что стояла невдалеке от Эйзена. «Славная парочка»,— говорили гости; только славная парочка стояла под венцом как обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили только, что Луиза все что-то с руки стирала, а жених озирался кругом при каждом

скрыпе оконниц, которые ходили ходенем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружных. У всех вытянулись лица... Все смолкли, только голос одного патера раздавался и перевторивался под острыми сводами. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилось по полу; две свечи погасли, задутые ветром. Все вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память. Опять тихо, опять, гудя, смолкли органы... И вдруг почудилось, будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу, уж по крыльцу. «Отвори, отвори!» — загремело за дверью и отдалось в куполе... Все обмерли: никто ни с места... Взглянули вверх: там неслось только облачко с кадильницы. «Отвори!» — повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами. И вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петлей и рухнули на пол... Воин в вороненых латах, на вороном коне, в белой с крестом мантии, блистая огромным мечом, ринулся к налою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто... глаза неподвижны... И что ж? В нем все узнали покойника Бруно.

Завопил народ от ужаса и расхлынул; кто упал ниц, кто ударился в бег; а он в три скачка очутился подле новобрачных. «Кровь за кровь, убийцы!» — прогремел он, и вмиг растоптанный Регинальд захрипел под ногами коня, и вмиг, наклонившись, подхватил мертвец полумертвую Луизу, перекинул ее через луку, поворотил коня, взглянул на всех как уголь яркими очами и стрелой выскакал вон из церкви, лишь огонь струями брызгал из-под копыт по следу. Только и видели. Страх всем запечатал уста. Крестясь, разбежались гости.

Я сказал, что это было октябрьскою ночью. Ветер выл волком в бору, море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя, и мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она, что лежит в лесу на мокрой траве... Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство... Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника, ахнула, и снова без памяти...

Опять очнулась несчастная... открыла очи, но уже ничего не могла видеть: она лежала ничком со связанными руками; она чувствовала, что ее засыпают холодной землею... У ней замерло дыхание... нет голосу крикнуть... В отчаянии едва-едва могла прошептать она: «Да воскреснет бог и расточатся врази его!» И вот остановилась ужасная работа. Громкий, адский смех раздался над нею.

«Смерть за смерть, изменница!» — сказал кто-то, и кровь ее застыла. Еще стон, еще усилие, еще глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, схоронена живая.

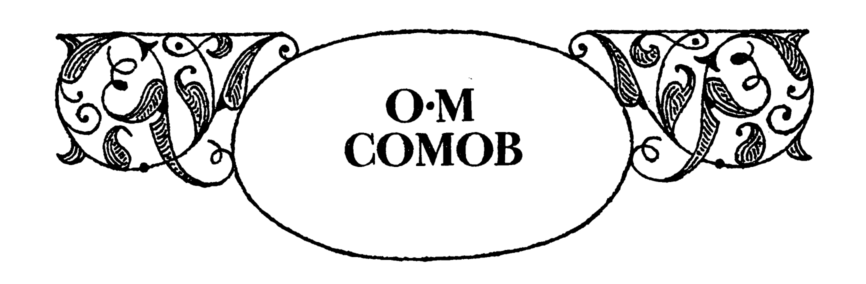
Ужасно! И теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако бог знает, что делает. Кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине, почитай, всегда хуже каиновой печати. Луиза казнена жестоко; зато этот пример долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает из зла.

Наутро явился в замке черный латник-мститель. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине, в свите какого-то немецкого князька, и ворочался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица, и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемником всех угодьев и служб покойного; однако его зверство не осталось без наказанья. Через десять лет русские ворвались в Эстонию, осадили замок и, наконец, спекли черного рыцаря Бруно. Сожженный дотла замок Эйзен срыли они до основания, и борона прошла там, где были стены. Долго, долго после того, и давно перед этим, люди набожные собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу бога. Это ее глава мелькает между деревьями.

Господа! я начал за здравие, а свел за упокой; но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные [1].

---

[1] Нравы и случаи сей повести извлечены из ливонских хроник. *(Примеч. А. А. Бестужева-Марлинского.)*



ГАЙДАМАК

МАЛОРОССИЙСКАЯ БЫЛЬ

ГЛАВА I

> Так, вічной памяті, бувало
> У нас в Гетьманщині колись...
>
> *Котляревский*

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностью тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В *ятках* [1] на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумаковать, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и *крамарей* [2], жиды с цимбалами и скрыпками; цыгане с своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украйну, лежа

рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посереди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за всё вдесятеро. Все: купцы, жиды, цыгане, бандуристы и нищие обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составился около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой *завзятый* чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!» — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с *видлогою* [3] стоял, опершись на *батог* [4], и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный *оселедец* [5] спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорило о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы побороздили уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. «Здорово, Лесько»,— сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!»— «Ну, как поживаешь?» — «Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю».— «А волы?» — «Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар — остался налицо вот этот батог».— «Хорошо же ты отцу

припрочиваешь на старость!» — «А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку».— «Дело вздумал! то есть: и в том и в другом случае ты будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся вкруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович,— сказал он после короткого молчания своему знакомцу,— каково чумакуешь? человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!» — «Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит Святое писание».— «Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?» — «Я оставил свой *табор* по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись».— «Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... *Гей, цоб!»* — прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. «Я добрых людей не чураюсь,— отвечал Кирьяк,— хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а там и к табору».— «Спасибо, что так сговорчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье».— Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты: все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

ГЛАВА II

> То пан Хмельницький добре учинив,
> Польщу засмутив,
> Волощину побідив,
> Гетьманщину взвеселив.
>
> *Старинная малороссийская песня*

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности.

Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал донышки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими каменьями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но, вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирал дверь,— горе и страх! я видел его...

— Кого? — торопливо спросил Абрам.

— *Его*, гайдамака, Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом.— Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! долго ли до беды.

— Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собой молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоялого двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай: нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать: добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился,— и после спокойно переплавливай в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не позабудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вкруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам он был высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале,— сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, *свиное ушко*! — отвечал цыганенок.

— Как поживаешь, Жале? — продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты каково поживаешь? все ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему,— отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись.— Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупщик, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твое дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима.

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие пейсики и за полы платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не даром прошу тебя...

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшой изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

— Стой! я закричу *гвальт*, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

— Что тебе надобно, еврей? — сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные свои поклоны.

— Ваша ясновельможность! я имею вам донести о важной тайне,— отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною,— сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любопытству, а может быть, по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навыкшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел

удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправе от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук все лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?» — сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не тратя ни минуты,— на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлется за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему острогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги! — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора. Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши,— теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке,— говорил отставной сотник Ченович,— слух о нем было призамолк, с тех пор как он за Лубанами ограбил богатого и скупого пана Нехворощу и наделил одного бедного казака [6]...

— Извините,— перервал речь его войсковой писарь Потяга,— давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украйне обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и

вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь,— отвечал ему Ченович,— носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклял бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменил строй: пальцы его медленно и торжественно перебегали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни [7].

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел или, лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Дніпра тихий вітер віє, повіває;
Вийсько козацьке в похід виступає:
Тільки бог святий знає,
Що Хмельницький думає, гадає.
О тім не знали ні сотники,
Ні атамани курінніі, ні поковники;
    Тільки бог святий знає,
    Що Хмельницький думає, гадає!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины: [8]

В той час була честь, слава,
    Військовая справа!
Сама себе на сміх не давала,
Неприятеля під ноги топтала.

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взросшие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным*!

ГЛАВА III

...Усі звізди потьмарило,
Половину ясності місяця заступило;
З чорноі хмари
Буиніі вітри вставали.

Старинная малороссийская песня

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядами. В это время жид Гершко шел одинок по дороге; он часто останавливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над

оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли б они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью,— сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланялся, сложа руки на груди и бросая недоверчивые взгляды.

Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест [9] Лемет,— я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы! — вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса.— Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь,— то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи,— сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие,— приговаривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего,— подхватил Лемет,— поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя всё для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился,— сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне,— перебил цыган Паливода,— я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался во всей шайке: бедный Гершко был ни жив ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли,— подал свой голос гайдамак Товпега,— кончить с ним без затей: Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу [10].

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатили за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнию.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П *** ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

— Стой! — закричали разбойники,— руку на нож!

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы! — заключил он речь свою.— Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судиями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз и, опустя руки, стояли в нерешимости.

Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином,— говорил он с плачем,— отдам на ваш монастырь все... все, что имею, очень немного: несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой,— сказал тогда суровый Несувид.— Мы знаем, на что решились, знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружней за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жида, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

ГЛАВА IV

На конях їхали чинненько,
З люльок тютюн тягли смачненько,
А кто на конику куняв.

Котляревский

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружавшими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой,— а все не унывает!» — «Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!» Так разгова-

ривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали?» — продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдали, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В ***на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и *сагами* [11], мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые ввели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устали, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повода.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремя глаза на крутые горы противоположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую? — спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды?

Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневается, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. Никто не знал, какою смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и все, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подымется пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что *старый пан* (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном *рыдване* [12], шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами,— словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за конем, впрыгнул в стремена, перескочил расстояние, отделявшее паром от пристани, и стрелою полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня,

махнул шапкою своим сторожам и, воскликнув: «Спасибо, земляки, за ласку!» — исчез за склоном горы.

— Человек это — или бес? — рассуждали провожатые, опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного побега.— Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЯ *

[1] Шалаши, где производится на ярманках в Малороссии продажа хлебного вина.

[2] Купцы, продающие враздроб красный товар.

[3] *Свита* — род армяка из домашнего сукна, обыкновенное платье простого народа в Малороссии; *видлога* — мешок с вырезкой из того ж сукна, пришиваемый к спине и накидывающийся на голову в дождь или дурную погоду.

[4] Особый бич, или плеть, на длинной палке, чем малороссийские чумаки погоняют волов своих.

[5] Чумаки, отправляясь в дорогу, бреют себе голову, чтобы пыль не набивалась в волосы. Иногда оставляют они, подобно казакам старой Сечи, узкий и длинный клочок волос на теме и завивают его за ухо. Этот клочок называется *оселéдцем*.

[6] Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей.

[7] Музыка старинных, так называемых бандурных малороссийских песен идет аккомпанементом, самые песни поются речитативом. Их начинают прелюдией, или интродукцией, на бандуре.

[8] Малороссия, управлявшаяся тогда гетманами, называлась от жителей Гетманщиною.

[9] Имя, которое в Украйне дают крестившимся евреям.

[10] Народное поверье в Малороссии, что утопленники выходят в лунные ночи из воды и греются на лучах луны. От сего луна в Малороссии называется у суеверных поселян — *солнцем утопленников*.

[11] *Сага* — малороссийское слово, означающее залив реки.

[12] Так малороссияне называют карету, или старинный берлин.

* Примеч. О. М. Сомова.



ПАДЕНИЕ ВЕНДЕНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

(Действие в XVI веке)

Посвящено М. А. Лон—вой.

Грозен был вид высоких башен и стен Вендена для покоренных туземцев Ливонии. Подобно исполину, возвышался замок над городом и над холмистыми окрестностями, ограждая власть Гермейстеров Ордена Меченосцев. Уже сокрушилось могущество Ордена, Ливония переменила властелинов; но унылый потомок вольного некогда племени в уничижении еще дивился силе, воздвигнувшей сии громады сросшихся от времени камней, которые презирали и буйство стихий, и вражду человеческую. Неприступная, древняя твердыня, поросшая мохом, возбуждала к себе уважение, подобно сединам старца, свидетелям исчезнувших поколений. Теперь, в раздоре трех держав за обладание Ливонией, укрывался здесь беспоместный король ливонский, Магнус, от гнева русского царя, от страшного гнева Иоанна Грозного!

Ночь была мрачная: осенние облака закрывали луну. Печально отсвечивались серые стены замка при блеске огней русского стана. Огненная полоса, взвиваясь змеею по берегам реки Аа, по холмам и долинам опоясывала город и замок, указывая во мраке места, занимаемые бесчисленным русским воинством. Глухой гул от смешанных голосов, подобно шелесту листьев в бурю, раздавался вдали. Но в замке и в городе царствовала могильная тишина. В безмолвном ужасе смотрели стражи с башен на несметную рать русскую, которая уже протекла половину Ливонии,

заливая пожары кровью жителей. Иоанна почитали в Ливонии исполнителем божеского правосудия, предвестником Страшного суда.

В грустной думе сидел Магнус перед камином в уединенной комнате замка. Надежда отлетела от сердца, и страх обуревал слабую его душу. Внезапный треск пылающего дерева прервал его размышления, заставляя содрогаться, и собственная тень устрашала больное его воображение. С нетерпением поглядывал он на двери и прислушивался. Все было тихо. Наконец послышался шум в коридоре; он встал, закутался в свой красный плащ, надвинул на глаза круглую шляпу, украшенную белым страусовым пером, и оборотился к входу. Дверь отворилась, и вошел рыцарь в черном полукафтане, с белым чрез плечо шарфом, на котором висел меч. Короткая черная мантия с белым крестом на левой стороне небрежно закинута была на спину. Рыцарь ввел за руку человека небольшого роста и немолодых лет, на которого Магнус обратил все свое внимание. Рыжие, всклоченные волосы как пламя светились, ниспадая по плечам. Небольшая и редковолосая борода не закрывала бледных щек, а серые глаза ярко сверкали в полумраке. Он был в буром кафтане, преопоясанном кожаным кушаком с медными дощечками. Невыделанная кожа составляла его обувь, по обычаю эстонских поселян. Чрез плечо на ремне висела сума из волчьей шкуры, шерстью вверх. При входе в комнату он снял рысью шапку и низко поклонился Магнусу. «Фон Дольст,— сказал Магнус рыцарю,— знает ли он по-немецки?» — «Знает».— «Итак, мы с тобою будем говорить по-латыни». Рыцарь склонил голову в знак повиновения. Магнус воротился к камину, сел на прежнее место, облокотился на маленький столик и подозвал к себе рыцаря и незнакомца. «Благодарю тебя,— сказал Магнус,— за доставление мне письма от друга моего, герцога курляндского; но я хочу переговорить с тобою о другом. Меня уверили, что ты читаешь в сердце человеческом, знаешь все тайные помышления и предсказываешь будущее. Правда ли?» — «Испытай, государь,— отвечал незнакомец,— и тогда узнаешь, должно ли мне верить».— «Что ты думаешь, фон Дольст?» — спросил Магнус у рыцаря. «Государь! — отвечал рыцарь,— мне известно, что он пользуется большим уважением в Эстляндии, что не только поселяне, но даже рыцари и духовные прибегают к нему в трудных обстоятельствах жизни и что все его страшатся и почитают; более я ничего не знаю».— «Как же ты узнаешь будущее: посредством

духов или по течению звезд?» — спросил Магнус у вещуна. «Знай,— примолвил он вполголоса,— что я не верю духам». В это время ветер потряс окно, и Магнус вздрогнул. Вещун коварно улыбнулся, и эта улыбка не укрылась от внимания рыцаря. «Осмелюсь повторить тебе, государь,— сказал вещун,— испытай и тогда узнаешь меня. О моих средствах я не могу и не должен говорить».— «Фон Дольст! — сказал Магнус,— не обманщик ли он?» Рыцарь пожал плечами. «Оставь нас одних, любезный Дольст,— примолвил Магнус,— и подожди в круглой зале». Рыцарь вышел, и Магнус, помолчав несколько времени, сказал: «Не для испытания, но из любопытства хотел бы я слышать, знаешь ли ты мое настоящее положение, мои намерения и тайные думы?» — «Государь,— отвечал вещун,— не зная прошедшего и настоящего, нельзя узнать будущего. Чтобы видеть то, что находится за горою, надобно прежде взлезть на гору и знать стезю, по которой должно взбираться. Если угодно, я тебе в немногих словах расскажу твою историю, с тем, однако ж, чтобы ты, государь, не прерывал меня и слушал терпеливо, без гнева, ибо в нашем ремесле должно говорить правду без прикрас».— «Говори».— «Прошу позволения присесть,— сказал вещун,— ноги мои подгибаются от старости и трудов». Он, не ожидая ответа, придвинул стул к столику, сел, вынул из своей сумы двенадцать деревянных жезлов, исчерченных знаками Зодиака и странными фигурами, выбрал один жезл и, повертывая его перед своими глазами, начал говорить: «Государь, судьба даровала брату твоему, Фридерику, престол Датский, а тебе бедный остров Эзель, знаменитый одною храбростью своих жителей. Неравенство долей ты думал вознаградить предложенною тебе от московского царя короною нового Ливонского царства и решился не только поклониться грозному владыке, но жениться на его племяннице».— «Все это так,— прервал Магнус, нахмурив брови,— но ты пропустил, что цель моя в сем деле состояла в том, чтобы утвердить благо христианства союзом с Россиею и привлечь Иоанна в общую войну, замышляемую всеми государями противу мусульман».— «Знаю, государь, что это был явный предлог; но я не касаюсь дел всем известных, а, говоря с тобою наедине, упоминаю только о тайных помышлениях». Вещун, сказав сие, снова начал повертывать жезл в руках своих и продолжал: «Оставив тихий свой Эзель, ты взамен нашел у московского царя громкие обещания и малые корысти. Он женил тебя на молодой своей племяннице, обещал царство, войско и пять

бочек золота в приданое».— «И ничего не дал, кроме жены, за которою я должен ухаживать как за ребенком»,— возразил Магнус вспыльчиво. «Нет, государь, он дал тебе войско, и точно для завоевания Ливонии, но только для себя, а не для тебя».— «Совершенная правда!» — воскликнул Магнус. Вещун продолжал: «Ливонцы радовались прекращению вечных браней с Россиею и принимали твое войско в свои города. Но крутой нрав твоего покровителя, его медленность в исполнении обещаний и опасение лишиться плода толиких трудов и пожертвований внушили тебе мысль, государь...» В это время Магнус, слушавший вещуна с поникшею головою, быстро взглянул на него; вещун продолжал: «...внушили тебе мысль отложиться от Грозного царя и прибегнуть к покровительству польского короля». Магнус вскочил с кресел. «Ужасный человек! — воскликнул он,— ужели ты... но нет, ты не можешь знать тайных мыслей!» — «Государь,— сказал вещун, не трогаясь с места,— не было бы для тебя опасности, если б я один знал твою тайну: но ее знает царь московский...» — «Неужели?.. Но какие он имеет доказательства?» — сказал Магнус торопливо. «У Грозного царя подозревать, значит уличить в преступлении. Он уже наказал бесчестно твоих посланных, осыпал милостями врага твоего, польского пана Полубинского, и кипит гневом, что ты не явился к нему с повинною головой». Магнус отворотился, потом встал и прошел несколько раз по комнате — в задумчивости. Он снова сел на прежнее место и сказал: «Можешь ли ты предсказать, чем все это кончится?» — «Попытаюсь»,— отвечал вещун; вынул из сумы другую связку исчерченных жезлов и дал Магнусу выбрать один из них. Трепещущею рукою прикоснулся он к волшебным знакам и поспешил отдать вещуну его орудие. Он повертывал палочку пред глазами, смотрел и молчал. «Можно ли поправить это дело?» — спросил Магнус. «Смирением или, лучше сказать, уничижением пред царем московским».— «Но неужели ты думаешь, что он решится умертвить меня, сына царского, владетельного князя Эзельского, супруга своей племянницы?» — «Государь! повторяю, одна покорность может спасти тебя».— «Но что станется с несчастным царством Ливонским?» Магнус при сем вопросе закрыл плащом лицо свое, чтобы скрыть невольное смущение. Вещун молчал. Магнус обратил на него взоры и увидел, что магическая палочка пылала в его руках синим огнем; вдруг огонь погас, и она задымилась. «Суета сует,— сказал вещун,— так проходит слава земная, так исчезают великие

намерения!» Он уложил в свою суму магические орудия, встал со стула и низко поклонился Магнусу, примолвив: «Государь, более я не могу открыть тебе на один раз: если хочешь спасти жизнь свою, явись в стане московском и пади к ногам Иоанна. Теперь прошу тебя, вели меня выпустить из ворот замка: меня ожидают в другом месте».— «Не знаю тебя, но удивляюсь тебе,— сказал Магнус,— вижу, что ты знаешь прошедшее и настоящее, и потому хочу следовать твоим советам. Язык твой и высокий ум свидетельствуют, что ты не рожден в сословии поселян эстонских, хотя носишь их одежду. Скажи мне, кто ты таков? Быть может, я могу оказать тебе помощь и услугу со временем, если богу угодно будет сохранить голову мою для венца».— «Благодарю тебя, государь, за участие,— сказал вещун,— но сила человеческая не в состоянии помочь мне и свалить камень с сердца; что же касается до моего происхождения, то оно знаменито одними бедствиями. Одежда моя знаменует мое происхождение».— «Чем же я награжу тебя за твой теперешний труд?» — «Золотом»,— сказал вещун, улыбаясь. «Неужели золото имеет цену в глазах человека, читающего в прошедшем и будущем?» — возразил Магнус. «Именно знание будущего указало мне нужду в золоте и привело за ним к тебе».— «Не понимаю тебя, необыкновенный человек»,— сказал Магнус, вручил ему кошелек с деньгами и позвал Дольста, который нетерпеливо дожидался окончания этого свидания. «Дольст, вели выпустить этого человека из замка: я узнал все, что мне знать нужно, если только по справедливости сказанного им о прошедшем и настоящем должно заключать о истине в будущем. Вели всем моим ротмистрам собраться завтра, на рассвете, в жилище моего верного друга, пастора Шраффера, для общего совета. Прости, любезный Дольст, добрая ночь: прощай, предсказатель!» Призвав верного своего слугу, Магнус велел запереть двери и лег в постелю. Сон оковал усталые члены его, но страшные мечты волновали его кровь.

Не один Магнус томился мрачными думами и совещался до глубокой полуночи; не одни стражи бодрствовали в замке. Прелестная Элеонора, дочь пастора Шраффера, любимица Магнусова, боязливыми шагами пробиралась возле стены по узкой тропинке к северной башне, часто оступаясь во мраке. Одна только верная служанка сопровождала ее. Пришед к башне, Элеонора устремила взоры свои на высокое окно, окованное железною решеткою, и вполголоса сказала: «Владимир, Владимир, здесь ли ты еще?»

В тесной темнице заключен был боярский сын, Владимир Славский, доблестный воин, краса московских юношей. Он послан был от русского воеводы Богдана Бельского к Магнусу с известием о взятии Вольмара силами царя русского и с требованием сдачи Вендена. Магнус, в отчаянии и в гневе за беззаконное убийство своего ротмистра Вильке, начальствовавшего в Вольмаре, удержал Владимира заложником за других своих слуг и по обычаю тогдашнего времени запер его в башне.

Элеонора воспитывалась в Москве у дяди своего, богатого купца, и Владимир, будучи в юных летах владельцем многих поместий, полюбил прекрасную иноплеменницу. Любовь победила суеверие и предрассудки. Элеонора клятвенно обещала или умереть в девическом состоянии, или быть женою Владимира. Обстоятельства смутили их счастье, но не погасили надежды. Отец Элеоноры, прибыв в Москву с Магнусом, увез дочь свою в Ливонию, назначенную в удел его благодетелю. Владимир в то время посылан был царем в украинские города. Возвратившись в Москву, он не застал уже своей возлюбленной и весьма обрадовался, когда его послали к воинству, назначенному для покорения Ливонии. Он надеялся свидеться с Элеонорою, подвигами своими приобресть уважение Иоанна и Магнуса и получить руку дочери любимца короля ливонского в награду за свою службу. Судьба определила иначе: он прославился храбростью, но ко вреду Магнусова счастья и в тяжкой неволе, сквозь решетки темницы, увидел подругу своего сердца. Уже целую неделю томился он в хладных стенах Венденской башни, и каждую ночь Элеонора приходила услаждать его горе, разговаривать с ним чрез окно, уверять в неизменной своей любви и оживлять надежду. Владимир забывал целый мир в эти сладостные минуты и почитал себя счастливым.

Сон не смыкал глаз его; он с нетерпением ожидал милой своей гостьи, и привет ее любви раздался в его сердце, как голос спасения в минуту гибели. «Я здесь, Элеонора,— отвечал он, приблизившись к решетке,— и думаю только о тебе и об отечестве. Но скажи мне, что значит этот отблеск света на противолежащих стенах замка? Не пожар ли опустошает окрестные леса или села?» — «Это огни твоих земляков,— отвечала Элеонора,— Иоанн с воинством пришел вчера к стенам Вендена».— «Благодарю бога за успех русского оружия!» — воскликнул Владимир. «Но ты знаешь Грозного,— возразила Элеонора,— нам угрожает смерть или плен; жалость не доступна его душе, и если

Венден должен пасть, то и все его жители погибнут. Я пришла проститься с тобою, мой возлюбленный! не знаю, что завтра будет; но хорошего не предвижу. Я не переживу постыдного плена, не стану дожидаться, чтоб меня продали лютым татарам, как жителей Зесвегена. Если мне должно умереть, то я разрешаю тебя от данной мне клятвы и умоляю выкупить родных моих из плена и отослать их в страну дальнюю, где бы они не слыхали о бедствиях своего отечества. Это мое завещание».— «Тебе умереть! — воскликнул Владимир.— Нет, в целом воинстве русском не найдется изверга, который бы дерзнул поднять убийственный меч на ангела красоты и невинности. В русском войске ты найдешь людей жалостных и великодушных, которые будут сострадать об участи прекрасной пленницы. Успокойся, Элеонора, не предавайся отчаянию. Совесть воспретит Магнусу умертвить меня, безвинного заложника, и если я буду свободен, тогда...» — «Но отец мой! — воскликнула Элеонора,— Иоанн кипит гневом противу него, и если родитель мой погибнет от русских, никогда брачный венец не украсит бесприютной головы; никогда рука моя не будет принадлежать русскому. Гроб будет женихом моим. Я люблю тебя, Владимир, более моей жизни; но для любви я никогда не изменю ни моему долгу, ни моей чести». Слезы оросили лицо прелестной девицы: горесть Владимира заглушала в нем все другие чувствования. Он не мог проливать слез, не мог произнесть утешительных слов, будучи сам терзаем отчаянием. В безмолвии он бросал блуждающие взоры то на небо, то на Элеонору и к умножению горя не мог видеть лица ее; в белой одежде она казалась ему таинственною гостьей из-за пределов гроба. В его воображении уже свершилась ужасная месть Иоаннова; он уже мечтал о своем одиночестве и жаждал смерти, как исцеления от тяжкого недуга. «Прости, Владимир!» — сказала Элеонора с тяжким вздохом. Эти слова вывели его из его умственного оцепенения. «Элеонора! — воскликнул он,— какою ужасною вестью ты смутила мою душу! Зачем я дожил до этой горькой минуты! Зачем вражеская пуля не пресекла моей жизни, светлой надеждою на любовь твою и будущее счастье! Что я могу начать в неволе, как пособить тебе?» — «Поручим богу нашу участь»,— сказала Элеонора. «Господь не оставит без возмездия ни твоей добродетели, ни твоей твердости,— сказал Владимир.— Если ж нам не суждено быть счастливыми на земле, Элеонора, мы свидимся с тобою там, где ни воля Иоаннова, ни суеверные предрассудки не сильны разлучить нас. Прости!»

Элеонора удалилась поспешно: она думала смягчить горесть Владимира своим отсутствием. Несколько раз она озиралась на башню и устремляла взоры на окно, которое чернелось на серой стене, как могильная яма. Она не промолвила ни одного слова с верною своею спутницею, и, пришед в уединенную свою комнату, бросилась на колена, и облегчила сердце теплою молитвою. Любовники, разделенные непроницаемыми стенами, душою были вместе: они мечтали друг о друге.

Вещун, вышед за ворота замка, свернул с дороги, ведущей в город, и пошел полем к русскому стану. Подходя к холму, возвышавшемуся на берегу реки и поросшему кустарниками, он был остановлен окликом стражи: «Кто идет!» — «Приятель»,— отвечал вещун. «Русский или иноплеменник?» — спросил страж. «Слуга царский»,— сказал вещун и смело пошел к толпе воинов, которые сидели на земле в кругу, без огня. «Кто ты таков?» — спросил его начальник стражи. «Я сказал уже, что я слуга царский; ведите меня к государю». С любопытством осматривали воины вещуна, его чудской наряд и удивлялись, что он говорит по-русски. «Не земляк ли ты наш, заблудший в иноземщине?» — спросил один из воинов. «Все мы дети одной матери, сырой земли,— отвечал вещун,— но время дорого, отправьте меня к царю».— «Теперь не пора: царь почивает,— сказал начальник стражи,— подожди с нами до утра».— «Невозможно: слово и дело; я хочу говорить с государем!» — «Слово и дело! — повторил начальник стражи, понизив голос.— Ребята! свяжите его поясами, отведите в сторожевой полк и отдайте на руки воеводе Салтыкову». Вещуну связали руки за спину, и три воина с обнаженными мечами повели его в стан.

В сторожевом полку только половина воинов покоилась в шалашах: прочие бодрствовали вокруг огней, сокращая время рассказами о битвах и об отечестве. С любопытством поглядывали они на связанного вещуна, думая, что это пойманный лазутчик. Шутки и угрозы сыпались со всех сторон, нимало не смущая мнимого пленника. Провожатые остановились у ставки воеводы Салтыкова, который немедленно вышел к ним, узнав, что пленник желает объявить государю слово и дело. С вещуном никто не смел говорить, и воевода, велев его связать наново, отправил его под стражею в Большой полк, сказав десятнику: «Отведи этого человека к боярину Бельскому».

Одно это имя, свойственника губителя Малюты Скуратова, приводило в ужас неустрашимейших воинов. Стражи,

не зная пленника и не смея его расспрашивать, почитали его или жертвою, или орудием какого-нибудь злодейства. Он бодро шел посреди их, храня молчание. В Большом полку господствовали спокойствие и безопасность. Воины лежали вокруг огней и в шалашах, погруженные в глубоком сне; только одни стражи бодрствовали, оберегая сложенные перед каждою сотнею ружья, копья и бердыши. Конница расположена была позади пешей рати, в некотором отдалении; там, при свете огней, видно было более движения. Воины, заботясь о своих конях, привязанных к кольям по десяткам, прерывали собственное спокойствие для надзора за верными своими спутниками в битвах и опасностях. На самой средине Большого полка, в тылу за пешею ратью, возвышался насыпной курган. На нем блестела разноцветная палатка царская с золотыми главами, огороженная частоколом. Противу каждого угла палатки стояло по одной огромной пушке; вокруг кургана в тесных рядах расположены были воины, в одинаких одеждах, вооруженные мушкетами. В некотором отдалении от сей живой стены раскинуто было несколько палаток, также окруженных стражею: здесь находились царедворцы, любимцы царские и его прислуга. Глубокая тишина наблюдаема была вокруг на далекое расстояние. Недремлющая стража наложила б вечное молчание на дерзновенного, который осмелился бы нарушить покой Грозного царя.

Бельскому дали знать о приходе иноплеменника, желающего говорить с царем. Ближний боярин, переговорив с ним, велел подождать до утра. Вещуна развязали; он лег на сырой земле у ног воинов и спокойно заснул.

Мрак начал редеть, и солнце показалось из черного облака. В безмолвии воины убирали коней и сменялись на страже. Толпы придворных слуг с нетерпением ожидали начатия своей службы. Думные дьяки с бумагами сидели уже в приказной палатке и перешептывались между собой о важных делах государственных. Царь еще покоился.

Вдруг раздались в палатке царской звуки ударов в ладоши. Это был призывный знак: боярин Давид Бельский и первый дворецкий и оруженосец царский, Борис Годунов, поспешили опрометью в палатку. Остановясь у входа, они поклонились в пояс и сказали: «Здравия и многолетия желаем великому государю, царю нашему, владыке милосердому!» Иоанн лежал на одре, покрытом медвежьими шкурами. Он был в шелковом халате с золотыми узорами, опушенном соболями. «Здравствуйте, верные мои слуги! — промолвил государь.— Борис, подними рать». Годунов

вышел и дал знак пушкарям, дожидавшимся повеления с зажженными фитилями. Раздался звук вестовой пушки, и во всех тысячах и ополчениях ударили в бубны. В одно время настал шум и говор в стане, подобно жужжанию пчел вокруг улья. «Государь! — сказал Бельский,— сегодня ночью явился в стан тот самый человек из Чуди, который сослужил тебе верную службу, быв в прошлую войну проводником нашего войска от Нарвы до Колывани. Он мудр и многоязычен, от него было много пользы. Теперь он хочет говорить с тобою одним, государь, и прошел чрез стражу, объявляя «слово и дело!».— «Помню; это вещун Марко,— сказал государь,— позови его». Бельский обыскал вещуна и, уверившись, что при нем нет никакого оружия, повел к Иоанну. Вошед в двери палатки, вещун упал на колена и воскликнул: «Слава господу на небеси, а великому государю на земле!» — «Здорово, старый знакомец! — сказал Иоанн,— с чем пожаловал: с добром или худом? говори смело».— «Государь! — отвечал Марко,— всякое благо подобает тебе. Я, нижайший раб твой, пришел известить тебя, что твой слуга Магнус, король ливонский, готов пасть к ногам твоим великого государя и с повинною головою принесть ключи от замка и города».— «Достойный посланник изменника! — сказал Иоанн, громко захохотав.— Надобно бы начать расправу с тебя и повесить перед городскими стенами».— «Государь милостивый! — сказал Марко,— Магнус не посылал меня к тебе; но я сам пришел с вестью из одного усердия, выведав тайну его сердца».— «Так, стало быть, Магнус сделал худо, что не повесил выведывателя своих тайных дум. Как же ты узнал это?» — «Государь! ты знаешь мое ремесло».— «Твое ремесло — измена и плутовство»,— сказал Иоанн, смеясь. «Я не изменял тебе, великому государю, но служил верно и скрытыми путями вел твое войско чрез лесную и болотную землю Чудскую».— «Правда! за это я заплатил тебе золотом, и мы ничего не должны друг другу. Но помни, что кровь избиенных дворян немецких лежит на твоей голове: я умываю руки. Ты наводил удальцов моих на дворы господские, когда немцы, не зная о нашем приходе, праздновали святки в пирах и веселье, ты указывал в лесах сокрытые их сокровища и стада. Марко, ты привел меня к Виттештейну, взятому на копье, где положил голову верный друг мой, Малюта Скуратов». При сих словах Иоанн нахмурил брови и закусил нижнюю свою губу: это был знак его гнева; холодный пот выступил на челе вещуна: он невольно затрепетал. Но вдруг Иоанн засмеялся. «Марко! не на своих ли

палочках вычитал ты намерения Магнуса?» — «Государь могучий и милосердый! ты сам изволил приказывать мне читать перед собою на магических жезлах моих и был доволен мною!» — «Когда ж хотел быть ко мне мой сахарный зятек?» — спросил Иоанн, развеселившись. «Он рад бы лететь к тебе, да, верно, немцы его не пускают. Погрози им, государь, и они падут все перед тобою». Вдруг кто-то заглянул в двери. «А, это ты, Васька Грязной! — сказал царь.— По шерсти кличка. Поди сюда. Ты шут, а товарищем тебе будет плут. Возьми этого колдуна в свою палатку, корми, пой досыта и береги, как змею, за пазухой. Ты отвечаешь за него своею головою».— «Государь! — отвечал шутник,— если он уйдет, то я отвечать буду языком. Вот если б ты мне дал на сбереженье пироги да романею, то бы голова моя шатка была на плечах; а с чухною что мне делать; разве повесить до твоего спроса, как окорок до разговенья».— «Ты храбр при мне, Васька,— сказал царь,— а за глаза струсишь колдуна. Умилостиви его и возвеличь; он пришел к нам посланником; поклонись ему по-немецки». Грязной расшаркался перед вещуном и, чванно подняв голову и раздув щеки, подошел к нему, обнял и, вместо поцелуя, стукнул лбом в его голову. Иоанн смеялся: «Васька, ступай и не отходи от него ни на шаг, вам не будет скучно. До свидания, Марко!» — «Борис! — сказал Иоанн Годунову,— пошли к Салтыкову в Передовой полк приказ, чтоб он выстроил дружины свои в боевой порядок. Рынду моего, Квашнина, пошли с десятком рейтаров и трубачами к воротам замка, чтоб он велел голдовнику моему, Магнусу, явиться ко мне немедленно, сдать мне город и замок. В противном случае *кара Вендена* превзойдет все, что поныне слышали и видели в Ливонии!» Лицо Иоанна приняло грозный вид. «Вели сказать,— примолвил он,— что для ослушников у меня нет пощады. Ты, Бельский, будь готов с Большим полком, а между тем призови ко мне моих думных дьяков с бумагами. Я головою здесь, а душою на Руси православной: дела моего государства не должны останавливаться ни в мире, ни в войне. Изменники Сильвестр, Адашев и Курбский с клеветниками хотели ослабить душу мою, но бог укрепил меня, и рука моя высока над моими врагами!»

С восхождением солнца ротмистры по повелению Магнуса собрались в жилище пастора Шреффера. Не было согласия в Совете. «Государь! — сказал неустрашимый и великодушный рыцарь Генрих Бойсман, комендант замка,— ты получил королевское звание от Иоанна, ты

можешь повиноваться ему по своему произволу. Но мы добровольно признали тебя королем Ливонии в надежде, что наше отечество безопасно будет от нашествия сильных врагов наших, москвитян, и что ты доблестию своею исцелишь язвы Ливонии. Что же вышло? Иоанн только словом отдал тебе Ливонию, чтобы именем короля и надеждою самостоятельности народа вовлечь его в сети. Царь жестоко наказывает тех, которые верят искренности его обещаний, и предает смерти жителей и воинов, покоряющихся и покоряющих земли и города твоему имени. В Вольмаре и других местах казнили рыцарей за то, что они служат тебе верно. Чего же нам ожидать? Если мы так несчастны, что ныне не можем сами собою отразить врага, некогда смиряемого войском меченосного Ордена, нам подают руку помощи Польша и Швеция: будем лучше шведскими или польскими подданными, но не рабами Иоанна. Нам памятна участь Новагорода, истребленного вконец за мнимую вину своего пастыря. Придет это и на Ливонию. Государь! если тебе угодно идти к Иоанну, мы объявляем себя независимыми и признаем того нашим властелином, кто защитит нас от Иоанна. Не почитай нас изменниками, государь! Не мы тебя оставляем, ты хочешь нас покинуть». — «Благородные воины, и ты, мой верный Бойсман! — отвечал Магнус, — нет, никогда я не назову вас изменниками, ибо тысячу раз был свидетелем и вашего мужества и вашего прямодушия. Не требую от вас, чтоб вы шли вместе со мною и покорились Иоанну. Я нахожусь в другом положении: я зять его, вассал по данной мною присяге, и должен быть покорным ему, не имея силы поддержать прав своих на корону ливонскую. Но можете ли вы, в числе трехсот человек, защищаться противу 80 000 воинов мужественных и послушных своему царю? Бойсман! обдумай хорошенько. Эти крепкие стены не защитят вас: они рассыплются от грома русских пушек — и тогда что станется с вами?» — «Тогда умрем!» — воскликнули рыцари. «Бесполезною смертию, — возразил Магнус. — Жизнь ваша нужна для славы и блага вашего отечества; она драгоценна мне, умеющему ценить ваши доблести. Послушайте моего совета: отдайте город и замок Иоанну, с тем условием, чтоб он позволил вам удалиться свободно в Ригу. Если ж там вы не найдете убежища: мой Эзель — ваш удел. Брат мой, Фридерик, не оставит вас; вот вам от меня грамота к нему, а у Иоанна я буду вашим ходатаем». — «Мы благодарим тебя, государь, за добрый твой совет и за добрые твои желания, — сказал Бойсман, — но не слишком ли рано сдавать крепчайший замок Ливонии? Пока мужество и сила

русских будут сокрушаться о твердые наши стены, польский король может подоспеть к нам на помощь. Вчера вещун Марко вручил мне окружную грамоту ко всем ливонцам, подписанную князем Курбским. Вот она!» Бойсман вынул письмо и прочел: «Храбрые ливонцы! Верьте мне, воину поседелому в бранях, истощившему здравие на службе царя московского и испытавшему всю его неблагодарность за мою верность и преданность. Никогда Иоанн не восстановит вашей народной независимости, никогда герцог Магнус не будет королем ливонским! Вас ждет участь царства Казанского, участь Новагорода! Вы будете его подданными и будете разделять с другими бедствия от буйных порывов его гнева. Мужайтесь и держитесь крепко в ваших замках: Стефан Баторий, король польский, сжалился над вашею участью и уже собрал силы, чтобы освободить вас от притеснителя. Он предоставит вам на волю или служить Магнусу, которого он чтит, или на старинных своих правах соединиться с Польшею. Как русский, я желал бы, чтоб вы принадлежали России, но, как человек, не желаю, чтоб это было во время Иоанна. Я слишком хорошо знаю его. *Князь Курбский, воевода польских королевских войск»*. Все молчали, и наконец Магнус сказал: «Еще Баторий собирает войско, а Иоанн уже под стенами замка. Для вас и для себя я решился идти к нему...» Вдруг раздались звуки труб за воротами замка. С поспешностью вошел в Совет воин и сказал: «Посланный царя московского, желает говорить с королем и дожидается у подъемного моста».— «Мы пойдем к нему навстречу,— сказал Магнус.— Господа, пожалуйте за мною». Ротмистры последовали за Магнусом, вышли за ворота и остановились на берегу рва. Русский посланец сказал: «Иоанн-царь, самодержец Российский и всех северных стран повелитель, государь законный Ливонии, подвластный единому богу, повелевает голдовнику своему, Магнусу, немедленно явиться в стан русский со всеми своими воинами и сдать крепость и город. Милость и прощение покорным, кара ослушникам!» Магнус хотел говорить, но русский воин не дожидался ответа, повернул лошадь и поскакал в стан.

Тихими шагами, в задумчивости возвратился Магнус в замок. Оседланные кони уже стояли среди двора, и голштинская дружина его, состоявшая из двадцати пяти немецких дворян, под начальством Дольста, в блестящем вооружении ожидала приказаний своего повелителя. Голштинцы решились сопутствовать брату своего короля

и разделить с ним его участь. «Бойсман,— сказал Магнус,— и вы, благородные рыцари, скажите мне, на что вы решились: сдать замок или защищаться в нем, полагаясь на слова Курбского?» — «Не верю словам изменника»,— сказал престарелый рыцарь Горн. Бойсман и другие рыцари молчали, и наконец комендант сказал: «Отдадим замок. если Иоанн отпустит нас свободно, с оружием, не повелевая являться в своем стане». — «Итак, простите, верные мои друзья,— сказал Магнус и обнял по очереди всех ротмистров.— Никогда не забуду вашего усердия к моей службе». Слезы текли из глаз Магнуса. «А ты, друг и духовный отец мой,— примолвил он, обращаясь к пастору Шрафферу,— верь, что я употреблю все мои старания, чтоб примирить тебя с Иоанном. Бойсман, не отпустите ли со мною русского заложника?» — «Нет, государь,— отвечал комендант,— пусть он останется у нас; судьба его должна зависеть от поступков его государя с тобою: мы еще не пленники». — «Итак, простите!» — сказал Магнус со вздохом, сел на коня и выехал за ворота. Рыцари печально провожали его до подъемного моста и, проливая слезы, простились с бывшим своим королем.

Лишь только в русском лагере завидели пыль со стороны замка, все войско пришло в движение: полки выстроились на своих местах. Явился пред войском Иоанн в златой одежде, в златоверхой остроконечной шапке, унизанной драгоценными камнями; на груди его висела алмазная цепь с двуглавным орлом, искусно вылитым из золота, с знамением водворителя христианства в России, первозванного апостола Андрея. Царь в правой руке держал скипетр России, левою управлял вороным конем, который гордо сгибал выю и бил сильно копытами в землю. Конский прибор и чепрак унизаны были жемчугом и яхонтами; седло оковано червонным золотом и изукрашено изумрудами. За ним следовала толпа оруженосцев, рынд, бояр и царедворцев в блестящих доспехах и в златотканых одеждах; сто конных стрельцов следовали за ним в тесных рядах. Царь в блеске величия казался каким-то высшим существом; тысячи с раболепством взирали на него и ожидали одного его мановения, чтоб принесть ему в жертву жизнь свою. С появлением царя раздались радостные клики в войске, заиграли на трубах, ударили в бубны. Иоанн проехал по рядам Большого полка, приветствовал воинство и остановился посредине: все войско стояло в боевом порядке; на необъятном пространстве кругом города расположены были конные и пешие дружины; между лесом

копий и бердышей блестели на солнце доспехи начальников; приставы скакали на конях, передавая полкам повеления. Жители города и защитники замка в безмолвии стояли на стенах, взирая с ужасом на сие величественное зрелище и ожидая разрешения своей участи.

Медленно ехал Магнус, и верные его рыцари следовали за ним печально, опустив копья, как на погребальном шествии. Увидев Иоанна, Магнус сошел с коня, велел дружине своей спешиться; приблизился к царю с потупленною головою и пал перед ним на колена. «Государь могущественный, отец мой милостивый! — воскликнул Магнус, простерши руки к Иоанну.— Внемли твоему вассалу и помилуй сына царского! Без вины виноват перед тобою. Ты мне дал королевство, и я думал, что исполняю волю твою, забирая города и земли на мое королевское имя. Слуги мои не везде меня понимали, часто ослушивались и противились твоим воеводам. Но вот я сам у ног твоих и склоняю в прах повинную голову. Город и замок готовы отдаться тебе: только немецкие дворяне просят твоей милости, чтоб ты отпустил их с оружием на волю». Вельможи с любопытством смотрели на Иоанна. Он не нахмурил бровей, не гневался и, взглянув с презрением на Магнуса, сказал: «Глупец! ты мечтал похитить королевство происками и обманом, забыв об отце своем и благодетеле. Ты пришел ко мне нищий: я принял тебя в мое семейство, одел, обул, женил на моей племяннице, наделил казною и городами, а ты за мое добро изменил мне. Все открылось: ты хотел быть слугою польским; но господь милосердый сохранил меня и предает тебя в мои руки. Да совершится над тобою суд божий и наше царское правосудие. Я возьму свое, а тебя оставлю пресмыкаться в ничтожестве. С твоими немцами не имею нужды входить в условия: они должны пасть к ногам моим и ожидать — что мне заблагорассудится сделать с ними. Теперь скажи, знаешь ли ты этого человека?» Магнус поднял глаза, и вещун Марко стоял перед ним. «Я только сегодня ночью узнал его,— отвечал Магнус,— он явился в замок с письмами ко мне от герцога курляндского, а к рыцарям принес окружную грамоту от изменника твоего, князя Курбского, который обещал им польскую помощь и увещевал защищаться противу тебя. Что я был противного мнения, доказывается тем, что я не с мечом противу тебя, а с просьбою у ног твоих!» — «Люблю правду»,— сказал царь. «Ты, Марко,— примолвил он,— ты нашел, чего искал; здесь будет конец твоим козням! Борис, отведи его к моей палатке, я сам допрошу его».

Когда сие происходило в поле, Клавдиус фон Юргенсбург, начальник города, знаменитый родом и воинскими доблестями, стоял на стене, окруженный отличнейшим дворянством. Зрелище уничижения бывшего короля ливонского и торжество врага Ливонии, царя русского, воспламенили гордую душу его гневом и местью. В порыве буйства он выхватил зажженный фитиль из рук пушкаря, приложил голову к дулу орудия и, увидев, что оно направлено на самое место унизительного явления, приложил огонь к затравке и выстрелил, воскликнув: «Гибните!» Ядро упало в нескольких шагах от царя и засыпало его землею. «Измена! — сказал Иоанн гневно, но без изъявления боязни.— Бельский, обезоружь предателя и его клевретов и содержи их под крепкою стражею. Они не стоят моего гнева. Салтыков, ты с Передовым полком ступай в город, возьми его на копье и накажи примерно цареубийц. Голицын, ты скажи немцам в замке, что я освобождаю их от казни, ожидающей город, если они без всяких условий предадутся мне и отдадут крепость невредимою; если же нет, горе им!» Царь с царедворцами возвратился в свою палатку и спокойно ожидал исполнения своих приказаний.

Подобно океану, прервавшему преграду, устремилось русское войско в город. Мужественно защищали вход жители и малое число воинов; но в одно мгновение ворота были выломлены, пушки взяты, защитники изрублены. Тесно было на улицах от русских дружин. Немцев преследовали повсюду и, догнав, истребляли до единого. Не было пощады ни полу, ни летам: воины русские ворвались в домы и умерщвляли всех без помилования. Не трогали их ни мольбы старца, ни вопли слабых жен, ни пронзительные крики младенцев. Русские карали в жителях Вендена цареубийц, и голос человечества замолк в сердцах. Крик, стоны, звук оружия и выстрелы потрясали воздух. Кровью обрызганы были стены домов; по улицам с трудом можно было пробираться по трупам. Часть жителей успела, однако ж, спастись чрез другие ворота в замок. Клавдиус фон Юргенсбург, несчастная причина сего мщения, погиб, защищая слабых жен и детей, искавших спасения в ратуше. Голову его водрузили на копье и выставили на крыльце.

В одно время прискакали к Иоанну приставы из Передового полка и от князя Голицына. Первый известил, что *кара Вендена* исполнилась и что Салтыков ранен. Второй объявил, что немцы отвергнули предложение к сдаче замка и *сели в нем насмерть.* «Поздравь Салтыкова с моею милостью»,— сказал Иоанн приставу Передового полка.

Посланному Голицына царь сказал: «Вели, чтоб князь подвел все пороха, размозжил замок до основания и карал упорных». Иоанн велел между тем привесть к себе Марко. «Уличенный изменник, ты одним чистосердечным раскаянием можешь смягчить заслуженную казнь,— сказал царь,— отвечай по истине, как перед богом». Марко положил руку на сердце, низко поклонился и молчал. «Из какого ты рода и племени? — спросил Иоанн,— по какому случаю научился многим языкам и принялся за ремесло вещуна? Я хочу знать это».— «Я происхожу от первосвященника древнего чудского бога Юмалы,— сказал Марко.— Когда немцы покорили страну нашу и ввели веру христианскую, предки мои, подобно всем княжеским родам нашего племени, сделались рабами пришельцев вместе с простолюдинами. В нашем роде сохранилась тайна жрецов — читать письмена рунические и по течению звезд предсказывать будущее. Все мои предки до меня слыли волхвами в народе, и я, последний и беспотомный в нашем роде, следовал их примеру. Селение близ Колывани, в котором я родился, принадлежало барону Штейнгерцу. Тяжела была рука его над подданными. Выезжая на охоту, он заставлял нас, вместо собак, сгонять дичь с утра до ночи; в будни и праздники тяготил работою и обходился с нами как с презренными животными. Я более других испытал его жестокость. В исступлении гнева он проколол копьем отца моего; хворую мать мою выгнал из селения по миру, как неспособную к работе, а у меня отнял невесту и закабалил меня на работу иноземным кораблестроителям в Колывани. Я бежал в Гамбург, служил честно у купца 20 лет и был его приказчиком в Москве; научился немецкому и русскому языку как своему природному, жил в довольстве, но не был счастлив. Несчастье моего рода и отечества тяготило мою душу. По смерти купца, моего благодетеля, я возвратился на родину, где забыли обо мне, поселился на городской земле и объявил себя вещуном, чтобы иметь повсюду вход и доверенность. Цель моей жизни и все мои дела и намерения — мщение. Собирая золото, я расточал его, чтобы возбуждать мятежи противу притеснителей моей родины и служил всем, кто только вступал в Ливонию вооруженною рукой. Я привел войско твое в землю Чудскую на погибель рыцарей; я внушил Магнусу чрез обманутого мною Шреффера, его любимца, мысль воспротивиться тебе, зная, что сим подвергну целую страну твоему мщению, я возбудил Курбского ободрить рыцарей в дерзком их намерении. Теперь я доволен: я довольно жил для мщения

и не боюсь смерти: не имею нужды лгать перед тобою, ибо знаю, что ложью не спасу себя». — «Марко, — сказал Иоанн, — ты адский дух, а не человек; но ты обманщик, а не предсказатель будущего. Ты думаешь, что жизнь твоя должна кончиться от праведного моего гнева за измену твою, но ты ошибся. Живи: ты еще нужен мне, как ад и железо для исцеления недугов. Наложите на него цепи и отведите его с глаз моих».

Страшно загремели орудия, устремленные на древние стены Венденского замка. От каждого выстрела рассыпались камни и сокрушались башни. Защитники замка сильны были мужеством, но слабы средствами: едва несколько орудий ответствовали с бойниц на ужасный рев с поля, потрясавший воздух и землю. Участь жителей города погасила в сердцах рыцарей надежду на пощаду. Бойсман велел внесть бочки с порохом в сени, собрал в большую залу всех рыцарей и всех жителей Вендена, укрывшихся в замке, и сказал: «Все свершилось! нам ничего не остается, кроме выбора смерти. Стены наши сокрушились, воинство русское немедленно вломится в замок. Должно или умереть от мечей русских, или славною смертию оставить по себе память. Я решился дожидаться здесь приступа, подорвать порохом эту часть замка и погибнуть, нанеся гибель врагам нашим. Кто хочет умереть со мною, тот оставайся здесь; кто надеется спастись, не удерживаю!» — «Мы все умрем с тобою!» — воскликнули со всех сторон. Отцы и матери благословляли своих детей, держа их в своих объятиях; друзья и знакомые умилительно прощались. Вдруг явился слуга церкви, пастырь, украшенный сединами, в полном облачении, со знамением Спасителя. Все присутствовавшие упали на колена; пастырь прочел громогласно молитву и начал говорить проповедь о ничтожестве жизни земной, о непреложности будущей. Слушатели внимали ему с умилением. В это время раздались воинские клики и уже русские воины были на проломе. Быстро устремились они чрез двор к главному зданию, где видели людей в окнах, и в это ужасное мгновение Бойсман взял горящий светильник, приблизился твердыми шагами к окну и зажег фитиль, проведенный к нижнему жилью, где сложен был порох. Благочестивый пастырь прочитал молитву по усопшим и едва успел промолвить: «Отче, в руце Твои отдаю дух мой!» — вдруг здание потряслось, земля расступилась, стены лопнули, и обломки с ужасным громом и треском взлетели на воздух в дыме и прахе, с грудами изувеченных тел. Полки

русские остановились; выстрелы умолкли, вопли прекратились.

Элеонора слышала речь Бойсмана и поспешила к отцу своему, который, запершись в своей комнате, собирал важные бумаги Магнусовы. Она не сказала ему об ужасном решении отчаянного коменданта; но, бросаясь на колена, просила освободить русского узника. В недоумении о своей участи Владимир слышал стрельбу, внимал вопли победителей и погибающих и ждал конца, помышляя единственно о своей возлюбленной и о славе России. Вдруг дверь его темницы отворилась, и Элеонора бросилась в его объятия. «Отец мой,— сказала она,— вот мой возлюбленный, тот, которому я отдала мое сердце. Я молчала перед тобою, ибо не знала — увижусь ли с ним; теперь судьба соединила нас на краю гроба».— «Русский,— сказал Шреффер,— ты дорог мне любовью моей дочери и своим постоянством. Возьми этот меч и ступай к своим; они уже приближаются к стенам. Оставь нас, мы обречены на смерть».— «Нет, я не оставлю вас,— сказал Владимир,— и если не защищу, то умру вместе с вами». В это мгновение башня потряслась на основании, воздух помрачился, и страшный гром оглушил Владимира и отца Элеоноры. Она упала на колена и пламенно молилась. С удивлением и ужасом услышал Владимир и несчастный старец рассказ Элеоноры о подвиге Бойсмана, и Владимир вместе с ними почтил память героев слезами сострадания. «Потомство, всегда благодарное и правосудное,— сказал Владимир,— вознаградит славою великое дело и почтит память храбрых благословением».

Между тем русские воины, ворвавшиеся в замок, пришли в себя от первого впечатления, произведенного взрывом и геройством осажденных. Князь Голицын велел щадить оставшихся; но разъяренные воины умерщвляли упорных, которые скрылись в подземельях и мужественно защищались. Толпа свирепых татар, бывших в войске Иоанна, вломилась в башню, где находился Владимир: дикари неистово бросились в двери, увидев прекрасную девицу. Голос Владимира остановил их, а меч удержал от дерзких покушений. Он велел проводить себя к князю Голицыну.

Смерть пощадила Бойсмана: изможденный, он лежал на мураве и с отчаянием в душе взирал на развалины, которые отринули его из своего лона — во власть врагам. Голицын с уважением велел поднять героя и на носилках из копий отправил к Иоанну вместе с другими пленниками, поручив Владимиру начальство над стражею.

Иоанн видел с возвышения грозное явление, но не знал причины. Думая, что Марко участвовал в тайнах защитников замка, он велел его привести к себе. Но он уже перестал жить. Скоропостижная смерть разлучила его со светом. Лекарь объявил, что на лице умершего заметил признаки сильного яда. Несчастный сам наказал себя за свои злодеяния. Иоанн велел бросить в реку безобразное его тело.

Царь любил Владимира как храброго воина и родственника любимца своего, Бориса Годунова; он обрадовался его избавлению из плена. Владимир рассказал царю о геройском подвиге защитников замка, указал на Бойсмана, их начальника, и, упав к ногам царским, молил его о помиловании Шреффера и его дочери. «Да будет так,— сказал Иоанн тихим голосом,— в сей день довольно пролито крови, а дерзкие враги мои с ужасом услышат о каре Вендена». Царь хотел видеть Бойсмана; воины принесли его окровавленного и положили у ног Иоанна. Долго смотрел он на обезображенные черты героя и наконец сказал: «Дорого бы я дал, чтобы иметь более таких слуг; но ты безумно поступил, Бойсман, предпочитая смерть покорности царю русскому. Не на себя вы держали замок, и чем пресмыкаться у ног шведов или поляков, лучше бы вам просить у меня восстановления прав своих. Не вы мне, а я вам нужен».— «Я служил верно королю ливонскому,— сказал Бойсман слабым голосом,— но ни пред кем не пресмыкался: я рыцарь и только израненный, лишенный сил могу валяться в ногах чужеплеменного государя. Великодушие твое в Вендене мы видели с башен замка и решились смертью избавиться стыда и мщения. Суди меня и карай, но помни, что есть Высший Судия, который наблюдает и дела сильного, и страдания слабого».— «Отнесите его к другим пленникам!» — сказал Иоанн. Печаль омрачила лицо его. Бойсман умер на руках русских воинов. Последние слова его были: «Бог!.. Ливония!»

Царь возненавидел пребывание в Вендене: кровопролитие утомило его грозную душу. Угостив великолепным пиршеством воевод русских и знатных литовских пленников, он отпустил их домой, поручил войско воеводам: князю Тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и Василью Сицкому и с торжеством отправился в Юрьев, окруженный боярами, царедворцами и телохранителями. Магнуса везли за царскими обозами как пленника, а знатных его дворян гнали как стадо. В числе пленных была Элеонора с отцом своим; о них имел попечение Владимир, сопровождавший царя в звании второго оруженосца. Никто не мог проник-

нуть тайной думы Иоанна, и многие мыслили, что он казнит Магнуса за измену и ослушание. В Юрьеве решилась его участь. Иоанн, в присутствии всех знатных ливонцев, покорных русской власти, велел призвать к себе Магнуса, который явился к нему как жертва. «Забываю все,— сказал Иоанн, к удивлению всех присутствовавших,— дарую тебе и твоим людям жизнь и свободу: тебе назначаю Оберпален с городами в удел, пока оружие решит спор наш с шведами и поляками о обладании Ливонии. Но помни, Магнус, что дело мастера боится и что я могу так же легко сокрушить, как и сотворить. Сиди смирно и не слушай никого: мои приказания да будут твоими советниками. Иди с миром!» Магнус преклонил колена и со слезами благодарил Иоанна, который, будучи всегда грозным, умел иногда быть и великодушным. «Я вижу твою тоску, юноша,— сказал Иоанн Владимиру.— Царское слово излечит недуг сердца: за верную твою службу награждаю тебя прекрасною женою и властью моею разрешаю брак с иноверкою. Отец ее провинился предо мною, но сей день есть день милости и прощения. Он не будет более при Магнусе, чтобы не смущал слабой души его советами ложными. В Москве я устрою судьбу его: он будет полезен мне в делах с чужеземцами. Ступай в Москву с новою твоею семьей: так я хочу!»



СИМЕОН КИРДЯПА

РУССКАЯ БЫЛЬ XIV ВЕКА

Благочестивые жители Нижнего Новагорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа, на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью ко храму: все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок, на площади собрались нижегородские купцы: сложа руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца, в тесноте народа, негде было яблоку упасть. Богато убранные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади, сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов, у навеса лавок, сидел на складном стуле седой старик, важно опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной костыльком, закрыты были его длинною бородою. Красный кушак по синему кафтану показывал его достаток. Он смотрел то на дворец, то на народ, важно покачивал головою, поднимал ее и опять спускал на руки. Другой старик, сухой и щедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к этому уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко: «Бог на помочь!»

— Будь здрав, гость московский! — отвечал нижегородец.— Подобру ли поздорову?

— Слава те господи. Вот получил из Москвы грамотки: жена, дети здоровы; товар мой доплелся до Москвы...

Слова: *из Москвы,* казалось, оживили старика. Сдвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:

— Из Москвы?

— Да, но вот что ты будешь делать! Невзгодье Москве нашей, да и только: опять была немилость божия, пожарный случай...

— Что ты! Опять?

— Да, весь, почитай, посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина...

— Хм! Часто горит у вас на Москве.

— Да Москва-то не сгорает! — примолвил москвич с коварною улыбкою.— А вот у вас в Нижнем, так раз выгорело, да ловко...

— Его воля! — вздыхая отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле.— Да, попущением божиим, о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки бусурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш батюшка-городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: *За Пьяною люди пьяны.*

— Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава зеленáя растет там, где прежде дивно высились терема и хоромы. Сколько одной божьей благодати сгорело и осталось в запустенье.

— Друг ты мой, не говорит ли нам Святое писание, как тяжек меч-мститель? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и меч вражий, он молил бога выбрать легчайшее, и бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, тяжчее враг-воин, гибель живая: не уснет, не сотворя зла.

— Но ведь на нашу Москву и враг-то какой же налетал! Долго стоять земле Русской, а не видать такого врага, каков злодей Тохтамыш. Ни в устах милости, ни в сердце жалости! Огнем палит, чего не возьмет; ни храма божия, ни княжеского чертога не остается за его следом: идет и метет!

— Все равно, что силен, что бессилен, лишь бы умел железную баню вытопить, да в бане выпарить, а уж этот злой, ненавистный род таков, что родясь умеет. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты эту бусурманскую проклятую гадину в их житье-бытье?

— Оборони меня, господи, нет! До сих пор господь миловал!

— Истома Захаров любит только греть руки издали,

а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривающих.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец Замятня; москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

— Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдоострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь; рыкаешь, как лев на краеградии!

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня, смеясь.— Кто с ним торгуется, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар; люди другое поговаривают.

Истома покраснел и побледнел.

— Добрая слава лежит, а худая слава бежит,— пробормотал он.— Мало ли чего говорят и про князей и про бояр.

— Так будто все и неправду говорят? Глас народа — глас божий! Будто боярин и все хорошо делает? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат? — сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат бодро поднял голову.

— Слушай, Замятня,— сказал он,— язык твой не доведет тебя до добра, к чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам в бочонке.

— Я ведь не браню их, да что поговорю, так и только того. Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: *батюшка наш милостивый князь;* а как придет к разделке, так в милостивого князя первый камнем бросает. Бывалое ведь дело рассказывают...

— Не всякому слуху верь.

— Вот и об Истоме мало ли что говорят. Сказывают, что он в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька, в Тохтамышево нашествие.

— Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила нашла на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Где же грелся я у татарского огня?

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня, смеясь,— и попался в табор татарский неволею, а не волею. Что же делать с татарами: сабля и прямую душу кривит. Народ поганый, народ окаянный, а времена тяжелые.

— Ох! Тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как

будто стараясь отвлечь от себя неприятный разговор.— Пришествие языка чуждого от стран неведомых — явное знамение пришествия кончины мира.

— Почему же языка неведомого? Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему.

— Нет, друг! Я говорю о происхождении сынов агариных. Кто ведает, откуда этот рой бусурманов налетает на православную Русь?

— Как откуда? Разве ты не слыхивал?

— Нет, слыхал и читал во «Временнике»,— отвечал Некомат,— где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский именно пишет, что Александр Македонский ходил из Индии богатой к полунощному Лукоморью и встретил там народов поганых, которые не соблюдали ни постов, ни молитвы, ели гадину, и он загнал их за синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял сунклитом: а его меч не берет и огонь не жжет. Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли.

— Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если б мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные каменья, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем же железом, которое от христиан выменяли.

Некомат увидел, что его поймали на его знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:

— То-то, дружище, если б в христианском мире побольше правды было, так и дела бы шли иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши нечисты и сердца омрачены, о том не подумаем. Вот уж двести лет с лишком, как мы кряхтим под татарской палкой и ждем преставления света, а приготовились ли к тому? Грех сказать земле русской, что господь не дает ей владык добрых, да народ-то наш со грехом пополам живет; так, добрые князья, что семя на камне: процветет и погибнет.

— Правда твоя,— отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни.— Вот и нашу мать-Москву выдают со всех сторон — стоит она, как сирота на могиле отца и матери: нет ни помощи, ни приюта от других княжений.

— Хороша и Москва ваша! — закричал сердито Замятня.— Придет беда, так она и поет: *помилуй*, а отхлыну-

ло, так зá ворот берет того, кто ей помог. Ты, москвич, нашего брата волжанина не тронь. В наши сердца глядись словно в матушку-Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь, кто отказался? А там как стал он гнуть других, так и выдали его Тохтамышу.

— Не нуждается Москва в вашей помощи. Если бы хоть зла-то вы не делали да не рыли ямы, и то бы спасибо. Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял без толку, когда была у нас потеха и на стрелах и на мечах и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое слово: кто уговорил его, кто *правил* на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи: Василий да Симеон Кирдяпа! На них пала кровь Москвы и пепел святых храмов ее!

— Кто тебе сказывал? Там их и не было.

— Нет, были они и Москву погубили. Ты ведь знаешь все дела Кирдяпы, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана. Некомат! Скажи, правду ли говорю, что этот злодей всему виною?

— Почти что правду,— отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя, и наклонив голову: он, казалось, читал события прошедшего в темной своей думе.

— Старик, старик,— отвечал Замятня голосом упрека,— ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Кирдяпа изменил Руси? Продал свою веру? Разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махамедом, что он не тронет в Москве ни синя пороха? И когда безбожный хан нарушил свою клятву, когда московитяне безумно поверили бусурману, Кирдяпу обвиняешь ты во всей беде, во всем несчастии!

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу:

— Сердца людей грудью закрыты, и кто же узнает тайные их помышления? Но последствия всегда оправдают праведного и обвинят грешника. Если бы Кирдяпа был муж праведен, то, по глаголу, должно б ему быть счастливым и благоденственным и роду его возвеличиться; писано, что память праведного с похвалами и род его яко древо насажденно при исходище вод. Где же Кирдяпа? Погиб. Род его? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и мирит злобу кротостью. Он праведен, а Кирдяпа злой и зле погиб.

— И отец его был такой же вероломный и пагубный,— прибавил Истома торжественным голосом.

— Пощадите кости дряхлого князя, вы, Некомат и Истома, вы, которым счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником. Нет! Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не попущу злому слову на память его. Где пятно на его памяти? Вспомни ты, горделивый москвич: не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжение и отказался от Московского престола, довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Кирдяпу на престол Нижегородский? И теперь,— продолжал Замятня, понизив голос,— теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеял хана большой податью, вы славите его величие, а Кирдяпа у вас злодей и отступник...

— Да что судить нам о делах княжеских,— отвечал Некомат,— судит им бог! Мир весь клонится ко злу: брат восстает на брата и отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и в Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху: стреляет живым огнем!

— О! Да какая ж была страсть божья! — подхватил Истома.— Как выстрелили в первый раз из этой адовой потехи, так души у всех и замерли: огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставление. Ох, да что уж нынче: и мертвым костям покоя не стало. Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города: и гробы размешали, и косточки родительские повыкидали... прости господи наше согрешенье.

Тут шум и крик народа прервал беседу. Все оборотились ко двору и увидели, что князь Борис выезжает из ворот, окруженный вельможами и боярами; золото блистало на сбруях коней и одежде бояр. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую на встречу князя.

— Вот и заступники твои, князь Симеон! — проговорил тихонько Замятня, смотря вслед за Некоматом.— Вот люди, которых ты осыпал благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, первая полтина перевешивает все добро...

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают,— сказал кто-то.

Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

— Эх, товарищ! Плох стал народ,— отвечал Замятня вполголоса.

— Когда же он был лучше?

— Нет у него ни совести, ни правды.

— Правды ищет у торгаша Истомы? Кто ищет клада на кладбище, приятель?

— А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он об нем и об роде его!

— Что говорить ему? Язык его как добрый жернов вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да счастье.

Они пошли к церкви и тихо говорили дорогой.

— Наболтали мне эти старики, и бог знает чего,— сказал Замятня,— залегло у меня на сердце одно; послушай — откроешь ли мне всю свою душу?

— Для тебя ничего нет скрытого, спрашивай.

— Правду ль говорил мне Истома, что Кирдяпа изменил вере отцов своих, что он отступился от христианского закона? Уверен в князе, но человек в невзгоде так хил, так плох... с чего бы взять ему, окаянному?

— Нет! Это клевета: он лжет. Симеон не изменил ни слову своему, ни вере. Храбр как меч, тверд как адамант-камень.

— Но горяч, как раскаленное железо: мир с своей славой и почестями так светится, как звезда полуночная, стол княжеский так слепит глаза...

— Нет, говорю тебе! Кирдяпа горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского: он не изменит кресту и вечному блаженству за временные блага.

— Слава богу! Ты успокоил меня. Царство темное, ты не поработило доныне ни одной души княжеской!

— Но послушай, Замятня, ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку. Будь осторожнее, будь умнее, ей, береги слова...

— Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой враг мой... а уж этому Истоме я напишу на иссохшей его роже правду.

— Тише, тише... отойди от меня.

В это время князь Борис проехал мимо их. Все сняли

шапки; говор в народе уподоблялся жужжанию пчел. «Какой он дородный! — говорил народ.— То-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»

— Помнишь ли ты,— шепнул опять нищий Замятне,— помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович подъезжал к этой самой церкви с князем Симеоном: не тот ли самый народ смотрел на Димитрия, как на орла быстропарного, а на Симеона, как на сокола золотокрылого, и не нарадовался красоте двух братьев. А теперь что Симеон!

— Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на вороном коне своем; вглядись лучше: этого коня подарил тогда князь Димитрий Симеону.

— А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном.

— Это что за толстяк пыхтит подле князя? — спросил смеясь Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он вчера приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин Александр Поле — он живет здесь уже недели с три.

— А зачем бы?

— Как зачем! Уверяет в дружбе.

— Разве князь Борис сомневается в ней?

— Бог знает. Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Но что там за куча народа остановила коня княжеского? Смотри, они падают на колени; пойдем ближе!

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня; первый боярин его Румянец подскакал к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил: что им надобно?

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу,— сказал седой почтенный старик.

— Все равно: говорите мне! — поспешно отвечал Румянец.

— Между князем и его народом, когда я стою пред лицом его, не надобно посредника, как между богом и человеком нет посредника в молитве.

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им:

— Прочь с дороги!

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему: «Что это за люди, боярин?»

— Князь благоверный! — отвечал Румянец, преклонив в знак покорности голову.— Это бродяги вятчане. Они пришли сюда сбирать милостыню и рассказывать сказки.

— Нет! Государь князь Нижегородский! — отвечало

несколько голосов.— Мы не нищие, не милостыни просим, но княжеской милости!

— Помилуй, государь! — воскликнул старший из вятчан.— Будь нашим спасителем, смилуйся над нами.

— Но зачем же вы здесь встречаете меня, зачем не пришли в мой терем?

— Высоко крыльцо твоего терема, и бояре твои стоят настороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего княжеского двора.

— Боярин, что это они говорят? — небрежно спросил князь у Румянца.

— Милость твоя, государь, была занята, и то ли время, чтобы слушать их жалобы. Они то и дело рагозятся.

— Всегда время князю пособить и везде место спасти,— сказал старший вятчанин.— Государь, помилуй!

— Ну да теперь уж не время, и здесь не место суда; после,— сказал князь и хотел ехать.— Допустите их ко мне после,— примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

— Нет, князь! Мы не сойдем с этого места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут; защити и спаси нас.

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг его.

— Говорите же: чего вы от меня хотите? — сказал он, нахмурив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал:

— Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло это время. С тех пор, как на Волге появились суда татарские, не стало нашего покоя. Их воинства уже несколько раз приближались к пределам хлыновским. Мы откупали свободу деньгами, отражали их силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно сбирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут идет повоевать Вятку. Государь, спаси нас!

— Я не могу ни спасать, ни оборонять вас,— отвечал князь,— вы не мои!

— Мы люди и християне! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитить нас.

— Не могу защищать вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил.

— Они сами разгневали великого хана,— закричал

Румянец,— сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани.

— Платили, боярин, платили, но нет у нас более чем платить. Князь и бояре! Перемените гнев на милость. Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь християнская не даст покоя вашей совести.

— Старик! Не тебе учить меня: иди с богом! Я не могу пособить вам.

— Заклинаю тебя святым храмом божиим, куда едешь ты, князь Нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским государям защищать родные области и взыщет на тебе попущение.

— Видишь ли, государь,— сказал Румянец,— буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!

— Кровь наша говорит, боярин. Князь! Если ты отринешь нас, тебя отринет бог от престола своего. Спаси християн!

— Замолчи, старый буян,— вскричал князь и повернул коня в сторону.

— Итак, нет нам надежды ни от Нижнего, ни от Великого Новагорода: один отталкивает, другой не принимает. Князь! Предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам: не заставь нас пожалеть, что венец Симеона Кирдяпы возложен на твою голову.

— Выгоните их вон из Нижнего! — вскричал с досадою князь.— Они буяны, нахалы, крамольники, не повинуются власти хана! — И он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги; блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось, алая заря горела только на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный, подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни, играли. Молодые мужчины в праздничных кафтанах ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее,

тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не приметил, заглядевшись, как подошел к нему Некомат.

— Куда бредешь ты, божий человек? — спросил Некомат ласково, остановясь подле нищего.

— Куда ноги несут,— отвечал нищий.

— Я видаю тебя часто,— сказал Некомат,— и часто смотрю, как бродишь ты мимо моего дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню.

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово.

— От слов сыт не будешь, пойдем ко мне: я велю накормить тебя и дам на дорогу и хлебца, и деньжонок.

— Я доволен божиею милостию и не требую ее от людей.— Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.

— Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сего дня похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры.

— Щедра рука каждого дающего, и всякое даяние приемлю я во благо.— Они поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка.

Некомат остановился и сказал ласково:

— Это ведь мой дом: зайди ко мне и отдохни.

— Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

— Не знаю, отчего благообразное лицо твое мне нравится; ты, я чаю, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчугу перекатного — зайди ко мне и помолись моим иконам.

— Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно, я подарю тебя благословением и на улице.

— Не мечи бисера — размечешься — и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою.

— О чем же говорить с нищим? Я ничего не знаю.

— А я знаю все. *«Высоко сокол летает, да цаплю выбирает»*.

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат, коли ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются...

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла перед ними. В темноте взобрались они на высокое крыльцо, в сени и в комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу.

Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий, худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:

— Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий,— воскликнул он,— ты ли скрываешься от меня?

Нищий молчал и стоял неподвижно.

— Боярин Димитрий,— продолжал Некомат,— ты не хочешь сказать мне ни одного слова?

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменил голос и мужественно, твердо отвечал Некомату:

— Так! Ты узнал меня, и я не буду скрываться, да и к чему бы скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису: выдавай, но я прежде умру, но не скажу ни тебе, ни ему ни слова!

Слезы брызнули из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

— Неужли я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моею дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от князя, что прошло года два, как мы не чокались чаркой, так я и забуду тебя?

— Полно, Некомат,— отвечал Димитрий.— Я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно, и ты друг Румянца и князя Бориса.

— Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же, когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис неправедно сел на столе Нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжение у своих племянников,— боярин Димитрий, я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали. Но постой! Я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: вот любимый боярин Кирдяпы — возьми его, князь!

— Некомат! Я не могу оскорбить тебя укорою за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слыхал я, чтобы злое дело легло на твою душу.

— И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего

друга, сына.— Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей.— Узнай меня лучше, вглядись в меня пристальнее! — Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодеяния Кирдяпы,— сказал он,— но чего же ты хочешь?

— А, ты открыл неприступную душу свою, теперь узнаешь, чего хочу я, теперь возвеселится душа моя! — Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику; явился приказчик его.— Поди и позови гостей моих,— сказал ему Некомат,— а ты, Димитрий, пойдем со мною.

Не говоря ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь, они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна прелестная дочь Некомата, с нянею своею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

— Няня! Поди и принеси нам хорошего меду! — сказал Некомат.— Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию.

Няня вышла; несколько минут все молчали; Некомат как будто ожидал, чтобы няня сошла с терема.

— Дочь моя ненаглядная,— сказал тогда Некомат,— помнишь ли ты жениха своего?

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах, родитель...— прошептала она, запинаясь.

— Жениха твоего боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатились по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:

— Батюшка! Все забыто, кажется, все... и давно...

— Нет, я не забыл...

— И где теперь мой жених? В какой стороне скитается он...

— Он здесь, Ксения, посмотри: вот он, твой суженый!

— Ах! — вскричала Ксения, и ноги ее подломились, она как полотно побледнела.

— Боярин Димитрий, разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменщик, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю, что мне всего дороже...

— Некомат! — вскричал Димитрий.— Вижу и обнимаю тебя как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат,— сказал печально Димитрий,— не понимаю, что ты делаешь со мною, чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, старался забыть!

Некомат улыбнулся.

— Поцелуй свою невесту, свою суженую, и потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Кирдяпы.

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел горячий поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня,— говорил он.— Ты видела меня в наряде боярина, молодого, теперь я нищий, теперь поддельная борода и рубища мои представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя, узнай меня опять!

— Вещее сердце не забывало тебя! — шептала Ксения.

— Но вот идет няня,— сказал торопливо Некомат,— она не ведает тайны нашей. Пойдем, Димитрий, пойдем.— Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудою, и когда два человека, сидевшие на передней лавке, встали, узнавши в них Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий,— говорил Поле, обнимая Димитрия.— Юный годами, ты равен мне саном и подвигами. Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Эдак теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь, да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

— Чара меду развяжет уста его,— сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана.— Да здравствует князь Василий Московский, племянник и друг князя Симеона! — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре. Димитрий взял стопу, все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены.

«Куда он запропастился, где девался? Вот уж загорается заря на востоке; не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, господи!» — так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и с беспокойством глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: *«Высоко сокол летает»*. Подходивший повторил так же: *«Себе цаплю выбирает»*.

— Ты ли это, Димитрий? — спросил первый.

— Я,— ответил подходивший,— ты давно ждешь меня, Замятня?

— Давно? Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь словно грань поверстная, а теперь скоро светает.

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив его в руку.— Терпи: скоро и на нашей улице праздник будет.

— Да ты и то как будто с праздника. Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда некстати.

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

— Димитрий! Что тебе вздумалось?

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точный колокол. Сто́ит раскачать язык твой, ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да! Некомат знал уже, что ты сбираешь верных слуг Кирдяпы, знал, где скрыто у вас оружие, где вы собирались. Третий день, как я в Нижнем, а вчера Некомат заметил уже меня, и все по твоей милости.

— Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, каков Некомат. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведал, все узнал...

— Ах, сгинь он, окаянный! Да я сверну ему шею завтра же, вот и концы в воду...

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был один из любимых слуг князя Димитрия Константиновича, что Кирдяпа вырос при нем и что в былое время, когда глазки его Ксении зажгли мое ретивое, у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Кирдяпа бежал и я следовал за князем. У Некомата золотой сундук его на сердце

повешен. Но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

— О! Кабы это была правда!

— Слушай далее. Князь Московский послушался благого совета своей матери: он теперь в Орде, и когда подле Симонова монастыря взглянул он впоследние на Москву и на расставанье горько заплакал, княгиня Евдокия молвила ему золотое слово: «Сын милый! Не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим, так и отец твой думал». Князь тут же дал ей слово отдать Нижний Кирдяпе и Суздаль Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобру из Орды. Тогда же приехал в Нижний московский боярин Поле...

— Но он приехал к Борису.

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делают через неправду: таков обычай повелся. Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Кирдяпы. Наших ребят никто не знал; Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой мы все кончили.

— Кончили? Чем?

— Быть Кирдяпе князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского и по благословению сестры его княгини Евдокии; князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать в Городец! Завтра, послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем — придем к князю Борису и ласково скажем ему: не на своем столе сел князь Городецкий...

— И тогда-то запируем, товарищ? Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон Кирдяпа!

— Тише, тише! Вон народ уже зашевелился — ползут на белой свет суеты и заботы — пойдем скорее...

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился и не утерпел, чтобы промолвить: «Свет моя невеста нареченная! Почивай с богом да просыпайся на радость. Взойдет и для нас красное солнышко...»

В это мгновение ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине ночи зловещий голос его раздался как вестник горя и несчастия, и собака жалобно завыла на ближнем дворе. Димитрий испугался, сердце у него замерло...

Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова

дома застучали железным кольцом. Глухой стук его в медную бляху раздался по улице, и через минуту полусонный дворник Некомата откликнулся, не отворяя ворот:

— Кто там?

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода.— Отворяй.

— Да кого тебе надобно? — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее: разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в лисьем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторять свои вопросы, но, видно, гость не расположен был отвечать ему, грубо оттолкнул старика и вошел на двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

— Сам уйми, московский барин! — отвечал дворник с сердцем.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

— Кто тут шумит? — вскричал сердито Некомат, но, увидев незнакомца, он переменил голос и ласково прибавил: — А! Добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!

— Вели проводить меня, Некомат, дворник твой с товарищами загрызли меня.

— Тотчас, тотчас.— Волоковое окошко задернулось; через минуту Некомат, в засаленном полукафтанье и с огромною связкою ключей на поясе, явился на крыльцо. Гость взошел к нему.

— Милости просим, боярин Белевут! — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что богатеешь и деньги бережешь.

— И, боярин! Какие у нашего брата деньги: уж так у нас заведено, ведь мы не вам под стать и полоротыми ворота не оставляем. Есть и недобрый народ — как же не бояться...

— А особливо, когда вот этакое добро водится в доме! — сказал усмехаясь Белевут и указывая на множество соболей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку.

— Извини, боярин, что прибраться не успел я. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил, и кто ж думал, что так рано пожалует такой дорогой гость. Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках.

— Нет! Этого я не скажу: у вашего князя уже давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

— Что и говорить, боярин! На охоту так люди рано встают, а дело так просыпают.

— Да и Нижний-то едва ли не проспали.

— Кажись, так,— отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат. Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Димитрий молодец хоть куда,— прибавил он, собирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

— Добрый человек, боярин,— отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну и не бедный, прибавь к этому.

— Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет.

— Ведь он старого роду, как же не быть у него и старинке отцовской.

— Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде приклонить. Да и отец его был такая беспутица, бестолковица: бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному: пиры да гульба, бражничанье да беседы. Дом у него был как полная чаша, и теперь еще есть остатки: правда, не в руках; да если по милости вас, бояр, и князя вашего, Василия Димитриевича, Димитрий с лихвою получит все то, чем из добра его завладел Румянец с собратией, так дочери моей не придется самой варить щи.

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда бы и денег лишних у него не было.

— Оно так: да чем жить-то им, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть: ест и пьет.

— Что тут говорить, Некомат, честь чего-нибудь стоит.

— Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но все деньги при этом не лишнее.

— Полно притворяться, гость Некомат! На твою долю станет, и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть: земля говорит...

— Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но господь помог мне скопить, чем под старость дней моих пропитаться.

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на этом все вертится. Чин да почесть не столь надежны ныне, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно, а звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то что ныне не продается.

Некомат слушал с изумлением, губы его дрожали, слова замирали на устах: он хотел, казалось, угадать, что скрывал Белевут под своими обиняками, но лицо Белевута было неподвижно. Играя своим богатым кушаком, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я взаймы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой, а что бы не поглядеть через него далее, ну, хоть и в Москву...

— Как же нам забывать Москву, боярин? От нее и смерть и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости.

— От вашего? Говори вернее: от *нашего*.

— Как, боярин?

— Так же, гость Некомат. Ужли тебе это в голову не приходило? Когда рука Московского князя может и посадить и ссадить князя Нижегородского, тут думать много ли надобно?

— Боярин, что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...

Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, казалось, искал слов для того, что хотел сказать.

— Видишь что,— промолвил он наконец,— милости нашего князя неистощимы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен, кто его ослушается. В Москве, право, и безопаснее, и привольнее вашего житье... кто поручится, что будет вперед... Ну! Я почитал тебя догадливее, гость Некомат! — вскричал нетерпеливо Белевут и взялся за свою богатую шапку.

— Боярин, господин честно́й и почтенный,— сказал Некомат, кланяясь,— не гневайся: и мы посадские смекнуть умеем. Ты загонул загадку, а отгадка, видно, сказана будет после.

— Умный угадает ее и теперь, гость Некомат,— отвечал Белевут, смеясь.— Я не ручаюсь за вашего Кирдяпу:

будет ли он послушен нашему князю, а не будет... так знаешь: старший брат волен меньшому и покрепче приказать; нашему брату что мешаться в княжие дела? Было бы тепло, а у какой печки греться, тебе что до того? Но вот к воротам подвели моего коня; князь Борис звал меня с собою. Некомат, понял ли ты меня? Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себя. И в Москве есть женихи для дочерей богатых гостей нижегородских.

Он вынул лист бумаги, на котором написано было множество имен.

— Видишь! — сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле которых поставлены были киноварью крестики.— А вот и Некоматово имя.— Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, когда Белевут спокойно прибавил:

— А вот этого молодца я и забыл,— и ногтем провел черту подле имени брата Некомата Феодора, горячего приверженца Кирдяпы.

— Господи, вразуми меня! — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъявлял он, ласково и почтительно пожимал толстую Белевутову руку и провожал его с крыльца. Белевут еще остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат! — сказал он.— Во всем власть божия да княжая, а дружба Белевута не изменит тебе и надежнее дружбы боярина без боярства.

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе: «Что же они думают, поддеть меня аль сберечь? Что говорил он вчера, а что теперь? Боже, господи, милостив буди мне грешному! — Он жадно озирался кругом, на груды соболей и черно-бурых лисиц.— Вот,— вскричал он,— к чему и стяжание? Пособит ли оно тебе в час гнева божия? Ты смотришь на злато и сребро, а между тем боярин ставит красный крестик подле твоего имени и — дни твои изочтены суть! — В раздумье ходил он по светлице.— Однако,— вскричал он, остановясь,— не сули журавля в поле, а дай синицу да в руки, мне что же? Да! Безумный я был в то время, когда с медом проглатывал посулы московские! Ждать бы мне, да и только: нелегкая меня дернула...» И поспешно стал Некомат складывать

в сундук дорогие товары свои. Потом схватил шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестию, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал к дворцу, и из ворот дворцовых высыпало навстречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, и за всеми выехал сам князь Борис. Дорогóй сокол сидел на руке его; конь шел гордо и величаво.

— Здравия боярину московскому! — сказал Борис весело.— Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош — и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь Нижегородский,— отвечал Белевут.— Я ждал ответа боярина Румянца.

— Все готово, боярин,— сказал Румянец, смеясь.

— Так поедем же скорее. Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года,— говорил мне когда-то немчура лекарь.

— Сам сухой, как спичка: как не поверить ему? — подхватил Румянец. Все засмеялись, и весь поезд отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

— Что, московский колдун, сколдовал ли? — спросил Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу: они близко,— отвечал Белевут.

— Так пускай же князь тешится охотою,— шепнул Румянец.— Мы потешим его ладнее.— Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис со свитою. Тихо простоял он тут, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался навстречу боярин Поле.

— Что? — вскричал Поле.— Убаюкан ли твой сынок?

— Они распотешились охотою,— отвечал Румянец.— Далеко ли ваши?

— Не замешкают, скачи во дворец и прибери все к рукам, да не положи охулы на руку.

— Вот еще о чем тревога!

Князь Борис и свита его между тем выехали из города. День был прекрасный, осенний. Перед ними открылся вдали густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу и княжеский сокол спущен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля стерегла уже его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнул — крик, хохот и шум охотников раздались по лесу.

Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, чтобы перебить ветер у своей добычи; увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшного преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скакало во весь опор. Князь и свита его не могли понять, кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится.

— Чего смотрят ваши сторожевые? — спросил гневно князь Борис.— Смотри: какая сволочь там шевелится? Долой их, схватить, в город, в тюрьму!

— Князь! — отвечал один из бояр.— Это скачут какие-то всадники прямо на нас! Эй! Сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг свита княжеская. Всадники приближились; их было до десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ими отличался один, и одеждою, и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

— Господи помилуй! — вскричал князь Борис, перекрестившись.— Что это, ошибаюсь ли я? Это Симеон Кирдяпа! Измена! Вы меня хотите ему выдать?

— Нет, князь! — вскричало несколько голосов. Мечи были обнажены, бердыши выправлены.

— Остановитесь, остановитесь! — издали кричал воин, ехавший впереди других.— Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник: или ты не узнаешь меня? Я Симеон!

— Как не узнать тебя, нежданный гость,— вскричал Борис.— Откуда птица вылетела? Зачем залетела на святую Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приближился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник! — закричал с гневом Борис.— Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

— Родимый дядя хорошо привечает племянника! — сказал Симеон, горестно улыбаясь.— Боже, творец небесный, диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро дядино — и вот как встречается родня через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович! Хоть не бранись пожалуй, когда я не начинаю. Прежде Симеон не дал бы тебе в этом переду, но время переходчиво. Что делать! Дай мне свою руку, и помиримся...

— Мне с тобой мириться, выродок князей суздальских? Преклони колена и жди суда дяди твоего и князя. Возьми его, дружина!

Вдруг бросилось несколько человек на Симеона. Он быстро осадил коня своего и ухватил меч рукою.

— Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом.— Со мной нет денег: и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!

Дружина Симеонова с криком прискакала к нему, видя его опасность. Симеон еще раз остановил ее.

— Князь Борис! Дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай.

— Отдай оружие! — вскричал князь Борис.

— На, возьми его! — отвечал Симеон и с гневом кинул к ногам его меч и копье свое.— Безумный князь! Гибель над твоей главой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон не ходил по-твоему челобитничать чужого наследства у хана, а отнимал у тебя честным мечом свое наследие. Я пришел к тебе мириться, мириться в час погибели! Не требую твоего привета и ласки: не гордись и знай, что ты и я, мы погибли оба!

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга!

— Господи, пошли мне духа кротости! — вскричал Симеон, сложа руки и обратив взоры к небу.— Князь Борис, хорошо: я отдаюсь тебе; вели удалиться твоей дружине, я расскажу тебе все: три дня без отдыха скакал я в Нижний и уже сутки во рту у меня не было макова зерна. Я не врагом пришел к тебе, не ссориться с тобою. Ты знаешь Кирдяпу и поверишь, что, если бы не последняя мера суда божия на обоих нас... ты не видел бы меня здесь безоружного.

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон,— сказал Борис, успокоенный поступками Кирдяпы.— Теперь здравствуй!

— Здравствуй, *раб князя Московского!* — отвечал Симеон с презрительною усмешкою.

— Как! Ты смеешь мне сказать?

— Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских: они теперь, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана.

Борис побледнел, оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец? — вскричал он.— Где Белевут? — и затрепетал, не видя их. Общее смущение видно было на

всех лицах.— Симеон! Ради бога скажи: что ты говорил мне, какие послы, какие подарки?

— Ох! Князь, князь! Ты хочешь княжить в такое время! И не знает, что у него делается! Вот, теперь познаешь ты, кто тебе враг настоящий и чего беречься! Поедем скорее в Нижний, я все расскажу дорогою.

Он повернул коня, безмолвно последовал за ним Борис и все охотники, с которыми смешалась свита Симеонова.

— Объясни мне, князь Симеон,— сказал наконец Борис.— Что ты говоришь?

— Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать, ты уже не князь Нижнего Новагорода; ты захватил мое наследие и не умел удержать его. Мне обещал отдать его хан Тохтамыш, тебе отдал, а теперь подарил князю Московскому.

— Князю Московскому?

— Подарил, и с придачею Мещеры, Торусы, Городца и Мурома. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?

— Я? Нет! Никогда!

— Давай же руку, князь Борис: я с тобой! Подкрепи бог твою храбрость, а не то дай мне управиться и с Москвою, и с ханом.

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Кирдяпы.

— Жива ли княгиня моя? — спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

— А дети мои?

— Здоровы.

— А брат Василий?

— Также.

— Где же они, в тюрьме? — спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет! — отвечал Борис, скрывая свое смущение.— Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георгиевском тереме, а князь Василий в Городце... под стражею...

— Бог с тобой, дядя, сколько зла наделал ты нам из твоей окаянной жадности! — Симеон утер кулаком слезу.— Но что было, то кончено! — примолвил он задумчиво.

— Князь Симеон, я тебе отдам Городец и Суздаль!

— Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на Городец твой.

— Вместе души, вместе руки и — бог станет за правых!

— Правых, князь Борис? Ты сам себя осуждаешь! Но слышишь ли ты, что там такое делается?

— Кажется, бьют набат на Спасской колокольне! О господи, защити нас!

Быстрее поскакали они в город.

— Я не думал, чтобы так скоро отозвался здесь голос хана,— сказал Кирдяпа.— Видно, и москвичи медлили не долее моего. Поспешим!

Они взъехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было большое смятение в городе: уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара; народ бегал по улицам; воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что сделалось: никто не знал, все были испуганы набатом и бежали на площадь.

Туда кучи народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то с жаром говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новегороде не оставался спокоен. Русский народ любит бежать на всякий шум, теперь еще более взволновались все, видя, что в городе сделалось что-то необыкновенное. Набат, воины, собранные рядами у дворца,— все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу, что Кирдяпа пришел к Нижнему с войском; все кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов и с нетерпением встречного и поперечного преследовали вопросами: «Что там, родимый, сделалось?» И у Некоматова дома высыпала куча челядинцев, стариков, старух, детей. Они, разинув рты, смотрели на волнение, когда вдруг подскакал к ним воин, на борзом коне и в светлом шеломе.

— Дома ли гость Некомат? — вскричал он. Изумленные зрители не знали, что сказать ему.— Верно, дома! — сказал воин, перескочил через подворотню на коне своем, спрыгнул у крыльца и побежал в светлицу.

— Это боярин Кирдяпы, Димитрий! — говорили между собою свидетели неожиданного явления.— Откуда он взялся, зачем здесь?

Димитрий толкнул в двери светлицы: они были заперты. С лестницы терема тащилась старая няня Ксении.

— Где гость Некомат, старушка? — спросил Димитрий.

— В саду, батюшка,— отвечала няня,— прикажешь позвать его?..

Но Димитрий не дослушал слов старухи, почти скакнул по задней лестнице и бросился в сад. Там, в углу между деревьями, увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, засыпал Некомат пожелтевшими листьями дерев место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился испуганный и не знал, что сказать ему.

— Готов ли ты на дело, гость Некомат! — вскричал Димитрий.

— Готово сердце мое, готово! — отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

— Что говорит мне твое смущение, твой встревоженный вид? Зачем ты здесь, в саду?

— И... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

— Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали свое дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твое не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его.

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото и что вы доспрашиваетесь его у меня!

— Некомат! Не схоронил ли ты с золотом твоим бодрости и усердия к правому делу. Готов ли ты?

— Куда же, боярин? На что мне быть готову? Бога не боишься ты, что среди бела дня приезжаешь ко мне... если увидят...

— Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли все было вчера? Теперь скрываться нечего: власть князя Бориса скоро разлетится как дым. Все готово... поспешим на Спасскую площадь. Мои молодцы все в сборе.

— Боярин, зачем же я туда пойду? Я человек старый, не ратник, не воин... дело, может, дойдет до мечей... Боярин Димитрий! И ты себя побереги ради меня, ради Ксении моей... твоей Ксении...

Димитрий в изумлении остановился и смотрел на Некомата, бледного, трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Вдруг резкий звук трубы раздался вдалеке, другой звук отвечал ему с другой стороны.

— Слышишь ли, Некомат! Вот съехались и удальцы мои: они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?

— Ради Христа, боярин Димитрий! Голова моя кружится... позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... благословляю тебя отцовским благословением... береги себя.

— Если мне судил бог положить душу за моего князя, я умру с радостию... но я точно ошибся, Некомат: ты не годишься в наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня или мертвого, или с торжеством! Прощай!

Тут громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружия показались вдали.

— О, ради бога, пойдем к ним! — вскричал Некомат.— Пойдем к ним, тебя ищут, не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников; ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дрекольем. Только что показался Димитрий с Некоматом, как брат Некомата Феодор с смехом закричал им навстречу:

— Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отсиделся?

— Феодор! Я всегда был душою за Кирдяпу.

— Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин, пора, пора: мои все здесь! Только Замятня бог весть где девался!

— Что вам до него, он свое дело знает.

— Коли так, то мешкать нечего: с богом! Белевут только что проехал здесь: он звал нас к Спасу и сам велел бить набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол.

— С богом! — Димитрий вскочил на коня.— Прощай, гость Некомат, молись за нас усерднее!

— Как молись? Разве он не с нами?

— У него голова болит и кружится, оставьте его.

— Нет, нет! — вскричало множество голосов.— Он хитрит: не пускать его!

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела, начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята, товарищи! — вскричал он.— Мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княжеских теремов; приверженцы Бориса поднялись. К делу, скорее: там наших бьют!

Страшный крик раздался в толпе: *«За Кирдяпу, за Кирдяпу!»* — все бросились в беспорядке на улицу; но Некомата не оставили. Его ухватили за́ ворот. «Спасите меня!» — кричал он дрожащим голосом. Димитрий уже был далеко и скакал по улице, в тесноте народа. «Кричи

с нами, иди с нами!» — шумели вокруг Некомата. «Дайте мне хоть шапку взять!» — «Уйдет, не пускать!» — «Нá мою!» — вскричал один из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко: «Да здравствует Кирдяпа!» — и его увлекли в толпе...

Как тихо, как спокойно светило солнце на суеты земные! Ни одного облачка не было на небе, ветерок веял освежительным холодом. Неизменяема была природа, волновались только люди. Все страсти разыгрались на просторе буйного своеволия.

По условию с Белевутом, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Кирдяпы, жившие скрытно в Нижнем, все явились в условленное время. Безумцы, они не знали, что коварство готовило только сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, с шумом бежало к Спасской церкви, где сильно раздавался набат.

Димитрий скакал впереди. Но только что хотел он повернуть в другую улицу, как навстречу ему прибежал воин.

— Боярин, будь осторожен: дело наше худо! — вскричал он.

— Что ты говоришь?

— Послы московские уже там. С ними посол хана, но знаешь ли, кто послом от него? Царевич Улан!

— Избави бог! Зачем послал хан Тохтамыш его, а не другого.

И Димитрий бросился опрометью, за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от него. Вот с боковой улицы бежит другая и кричит громко: *«За Бориса, за князя Бориса!»*

— За князя Симеона! — отвечали в ярости приверженцы Кирдяпы.

— Прочь Симеона!

— Прочь Бориса!

Тут с бешенством бросились обе толпы друг на друга, но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Кирдяпы. Молодой боярин Бориса ринулся в самую средину их скопища, с мечом в руках; Некомат успел вырваться и броситься к нему.

— Ты зачем здесь, гость Некомат? — вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса!

— Доброй человек, но как же попался ты к ним?

— Неволею, боярин, меня прибили, уволокли.

— Я твой защитник, пойдем с нами! — И Некомат, махая шапкою, пошел с боярином и его дружиной, при кликах: *«За Бориса, за Бориса!»*

Так стремились со всех сторон буйные толпы народа. В смятении никто почти не знал, что делает и куда бежит. Этого ждали Белевут и сообщники Москвы.

Близ церкви Спаса, в тесноте народной, видны были блестящие ряды московской многочисленной дружины. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил их. Несколько татарских воинов и посол ханский, царевич Улан, на вороном арабском коне, горделиво стояли там, опершись на копья. Рядом с царевичем стоял другой знаменитый татарин, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред послом грозного хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий! — сказал он.— Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно.

— Все ли ты сладил, боярин?

— Все, все, вам остается только взять Нижний. Дураки думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Кирдяпе; они взворошились, а мы в мутной воде рыбы наловили.

— Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута не всякий бы захотел здесь быть рыбаком.

— Ты молод, князь Димитрий, и не знаешь, что с твоей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Я умел облелеять князя Бориса, нашел друзей, но этого еще было не довольно. Нижний начинен приверженцами Кирдяпы. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступиться за него; да что — были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною, замечены все их маковки. Довольно было попировать с ними десятка два раз и уверить, что князь Московский идет защитить Кирдяпу, они и выложили сердца на ладони. От крепкого меду их еще болит у меня голова, зато они вереничкой придут сюда, и мы возьмем их руками.

— Что же делать с ними?

— А что бог даст! В Волгу, так в Волгу, а нет, так в Москву их, или передать татарам, а лишнее у них обобрать.

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него.

Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы: «Молодой зверок, а как нос задирает, но мы с тобой переведаемся в Москве!»

В это время приближился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они окружили Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса.

— Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский отдал Московскому свое княжение. Приведите его ко мне.

— Мы ждем его сюда, знаменитый человек,— отвечал князь Димитрий.

— Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могущего хана, повелителя Руси, не повторяет своего приказа.

Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание. «Проклятые гордецы!» — проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор свой от ненавистных татар.

Сюда-то, в когти врагов, спешили безрассудные приверженцы Кирдяпы. Хитрая уловка московских бояр одним ударом подсекала все опоры Нижнего Новагорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала в их руки беспечного князя Бориса, без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь Московский Василий Димитриевич, возвращаясь из Орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего к нему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия почти неожиданного. Сильное Суздальское княжество подпадало власти Москвы, с областями даже и не принадлежавшими к Суздалю и Нижнему Новугороду. Думали, однако ж, что Нижний не поддастся без защиты Москве; многие полагали даже поход на Нижний делом непременным. Между тем другие известия, привезенные князем из Орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного. Тимур, гроза азийских царей, победитель Пер-

сии, Вавилона, Татарии и Грузии, приближался с бесчисленным войском. Здесь должна была решиться пря, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасения Тохтамыша видели из его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область союзного князя, только что за год перед тем получившего ее в обладание от самого Тохтамыша.

Кто мог узнать, чем кончится гибельная битва Тохтамыша с Тимуром? И если богу угодно было решить участь битвы в пользу Тимура, русской земле, может быть, грозило нашествие нового Батыя: Москва могла пожалеть тогда даже о падении цепей, Тохтамышем на нее наложенных. Тимур носился над Русью, как носится тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как страшит гроза, чернеющая вдали на краю обзора, земледельца, у которого молния попалила уже поле и сожгла хижину.

В сих обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отвсюду. Надобно было уважить общую опасность, соединявшую всех под знамена Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя Московского, не хотели соблазнять Руси междоусобием, в то время когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия. Каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась на западе. Не хотели упускать случая присоединить к Москве области богатые, многолюдные, сильные, но не могли решиться на рать с Нижним Новым-городом. Всего более страшил Москву Симеон Кирдяпа, смелый, отважный сын бывшего князя Нижегородского.

Бояре помнили дела Кирдяпы. Наследство княжения Суздальского было давним предметом споров между Димитрием Константиновичем и братом его, Борисом. Димитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Азиса. Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался, Димитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний. Но Борис, брат его, князь Городецкий, захватил престол Нижегородский. Димитрий прибегнул к помощи Москвы: увидели зрелище невиданное. Из Москвы явилось не воинство, не рать, явился смиренный пустынножитель Сергий, муж святой еще при жизни: он судил двух братьев и осудил Бориса. Неповиновение страшно наказано было святым человеком: Сергий затворил храмы божии в Нижнем Новегороде и грозил проклятием. Нижегородцы со слезами

молили простить их. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя возвело Димитрия на престол. Смерть Димитрия чрез несколько лет возродила новые распри. Кирдяпа от смертного одра послан был отцом в Орду, требовать Нижнего, как своего наследия. Туда явился и Борис: золото покорило ему сердца вельмож ханских, но Кирдяпа не смирился, бежал из Орды в Москву, и Димитрий Иоаннович, тогда еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжении своем, уступил Нижний Кирдяпе, снова явился в Орде, полгода кланялся хану, обещал дани и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Кирдяпа спешил в Орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою, княгиню Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского: его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол Нижегородский. Двор ханов ордынских представлял позорище смятений и неустройств: все покупалось золотом; веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Димитрия Донского, явился в Орде; Тохтамыш, беспокоемый слухом о Тимуре, хотел уладить с Москвою, уже довольно сильною. Бояре юного князя, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского: они просили Нижнего и Суздаля; Тохтамыш разодрал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Кирдяпы в Орде, но у Кирдяпы были друзья: он сгиб и пропал из Орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели уже, как успел Белевут усыпить князя Бориса, найти изменников в окружающих его вельможах и в то же время узнать тайных сообщников Кирдяпы. Сношения Белевута с Москвою были беспрерывны. И когда московские бояре думали в Коломне и не знали на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость успела уже сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он возбудил между тем сообщников Кирдяпы возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко было управиться ему со всеми.

Но если бы князь Борис был деятельнее, если бы

Кирдяпа успел приехать в Нижний днем ранее, ничто не помогло бы Белевуту. Теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Кирдяпы, не слушал никаких убеждений его. Он наложил цепи на Кирдяпу, велел Румянцу с дружиною разогнать сообщников Кирдяпы и отправился принимать ханских послов к Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, как посол ханский объявил его княжение областью Москвы и бросил пред ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжение. Подле той темницы, в которую, по его велению, кинут был Кирдяпа, посадили и его, обремененного оковами; бояр его развезли по разным областям московским. Буйные сообщники Кирдяпы встречены были пищальным огнем московской дружины. Невиданное зрелище сего губительного оружия ужаснуло их: все разбежались, и на другой день в Нижнем Новегороде все было спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана и татар в княжеском дворце: они забыли закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их к себе за пазуху на память угощения. Белевут проводил их за город, низко кланялся им и поехал в Москву поздравить юного князя своего князем Нижегородским и Суздальским. С ним поехали избранные люди нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были в это время Димитрий, пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Некомат, сребролюбивый, бездушный хитрец? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, был в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетуни и около в лесу рассеяны были хижины села Голенищева, принадлежавшего московскому митрополиту; среди их белелась церковь Трех Святителей; подле нее был дом митрополита. Старец Киприян, испытанный бедствиями жизни, часто удалялся сюда, в место «безмятежно, безмолвно и покойно от всякого смущения». Здесь долго вечером светилась лампадка в его келии, и старец, умерший настоящему, жил в прошедшем. Окруженный *ветшаными* книгами, он вникал в сокровенный смысл писаний святых отец, разбирал премудрость эллинов и по следам «вещателей веков прошедших» описывал деяния князей русских, жития святых и мучеников или прелагал

эллинские книги на язык русский, который сделался ему родным в продолжение долговременного пастырства его в Москве и Киеве.

Еще не подавали огня и вечерняя заря тускло светила в окна келии. Киприян сидел за большим столом, вокруг его лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против его сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи. Жар, оживлявший инока, еще горел в очах его, устремленных на святителя: подобно яркой лампадке, теплящейся над гробом, сияли взоры его, хотя бледное лицо показывало отречение и умертвие его всему земному. Долго в безмолвии внимал ему Киприян и потом сказал тихо:

— Благ подвиг твой, инок Димитрий, и усладительна беседа твоя. Изучая премудрость премудрых, ты не скрываешь светильника под спудом, ставишь его на свещнице, да светит всем сущим в храмине. Ты передаешь нам вещания велемудрого Георгия Писидийского и, напутствуя души христиан к созерцанию дел бога, будешь благословен благодарностию услажденных трудом твоим.

— Владыко! — смиренно отвечал инок.— Если труд мой будет награжден хвалою мира, я отнесу хвалу сию на алтарь смирения моего воле божией, внушившей мне мысль передать на родном языке книги премудрого Георгия. Рано отрекся я от мира и ничего не требую от сильных земли. Созерцая с святым Георгием творения бога, хваля его устами смиренными, я награжден уже и за бдения мои, и за труд малый, но усердный.

— Так! Мир не для того, кто вкусил сладость беседы мудрых мужей, умерших телом и живых духом в творениях бессмертных, не для того, кто познал суету и тщету мира и на праге земли, мыслию в небесах. Тяжка земля праху человека неправедного, тяжек мир человеку, бегущему мира! Димитрий, ты блажен, что мир не преследует тебя и в тихой келии твоей, что суеты его не врываются к тебе сквозь монастырские затворы! Сколько раз воспоминал я о келии Хиландарской, где тихо протекла моя юность, где молитва и труд готовили жертву богу, еще не оскверненную суетами, и где в тишине дух мой возносился к вездесущему или беседовал с мудрыми и святыми мужами.

— Но, владыко, судьба вела тебя с берегов Дуная быть пастырем стада великого.

— Не ропщу на волю его и благословляю перст божий, указавший мне путь к полунощи, но сколько страданий претерпел я среди трудов о пастве, скольких бедствий был

свидетелем, сколько раз падал я, искушаемый наваждением сует! И ныне, верь мне, только здесь нахожу я покой, сюда только удаленный, я внемлю гласу души моей, как елень на источники водные, стремящейся к небесной отчизне своей. Там — в Москве — суета поядает дни мои; время бытия моего гибнет в смущении, и вечность отдвигается миром малым и суетным. Блеск и почести — я бегу от них: они гонятся за мной и влекут меня с собою. Вчера, возвратясь в уединение мое, после беседы князей и бояр, где уныние и грусть о судьбе Руси терзали меня скорбию, смотри, что написал я...

Киприян выдвинул лист бумаги из других, лежавших на столе, и прочитал:

— «Все человеческое множество, общее естество человека оплачем, злосчастно богатеющее. Земля смешение наше, земля покрывает нас, и земля восстание наше. О дивство! Все шествуем мы от тьмы во свет, от света во тьму, от чрева матери с плачем в мир, и от мира сего с плачем во гроб: начало и конец жизни — плач. Сон, тень, мечтание — красота житейская! Многоплетенное житие как цвет увядает, как тень преходит».

В это время кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!»

— Аминь! — отвечал Киприян; дверь отворилась.

Князь Василий Димитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Димитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного, угрюмого вида. Морщины видны уже были на челе его и показывали в нем характер твердый, мнительный и неуступчивый. Богатый бархатный *терлик* и шитый шелками *охобень* были на него надеты; сабля его блистала дорогими каменьями. За ним шел старец, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами: это был князь Владимир Андреевич *Храбрый*. Бояре следовали за ним, между ими был и толстый Белевут. Инок Димитрий низко преклонился пред всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки, потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашеные скамейки показывали, что митрополит здесь сидел иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Димитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окре-

стные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вдалеке полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела твоя, господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли спросить его в совет князей, инок шел робко; подходя к келии митрополита, он слышит многие голоса: там заметно говорят с жаром. Димитрий вошел в келию. На столе горели уже две свечи; князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприяна; бояре все стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князь! — сказал Киприян.— Инок сей мудр и благочестен. Ты можешь вверить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

Это было письмо грека, издавна жившего при дворе ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще к хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех последовавших затем ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей. Трепещущим голосом Димитрий начал читать и переводить:

— «Как единоверного государя, как благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена: Тимур-хан победил; Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князь Витовтовых областях... Но горе нам! горе твоей Руси и благоверной Византии! Меч и огнь сравняли ханские теремы с землею: уже нет ханского Сарая; погибло великое, погибло и малое: и мое убогое стяжание расхищено — не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника. Пишу к тебе, государю, среди развалин, рек крови и смердящих трупов. Тьмы тем татар тимур-хановых саранчей хлынули на берега Волги; ни возраст, ни пол, ни род, ни сан, ничто не избегло гибели, посрамления, неволи. Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из тех бичей, посылаемых на человечество гневом божиим, пред коими исчезает и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством попа Иоанна и Скифиею великою, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от ста-

рейшины, сей Тимур, свирепый, лютый и кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загремел зимою. Он был разбойник; сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими бит. Они изломали ему ногу; он же перековал ногу железом, оттого и наречен *Темир-Аксак*, иначе же Тамерлан, то есть *Темир-хромец*. И, завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синие Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари, и князи, и военачальники, богу гордым на время попускающу. Тимур хочет перейти пучины океана и победить весь свет, и Индию, и Амазоны, и Макарийские блаженные острова, и уже приял он Асирию и Вавилонское царство, и Севастию, и Армению, и все тамошние Орды попленил, и вот имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орначь, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бактаты и ныне Сарай великий, и Чегадай, и Тавризы, и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтое и приял Шамахию и Китай, и Крым; шел на Орду безвестными степями, шесть месяцев не видел ничего, кроме неба над головою и песка под ногами: за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается — страшно изречь! — человеческим телом! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом велиим и печалию одержимы пребывают. Грозится Тимур достигнуть и вторего Рима, велелепные Византии, и обтечь всю землю, и слышу, что царь наш Мануил Великий, не забывший и прежние богопопустные скорби, печалуется единому богу и на него единого возлагает упование...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия; бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! Что нам предприять? — спросил Василий, не изменяя своего важного вида.— Мы ждали битвы Тохтамыша: она решила гибель его... Теперь настала чреда Руси: Темир-Аксак идет сюда.

— Князь, на бога возложи печаль твою и молись! Кто източил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иессеева поразил Голиафа, тот не попустит тебе и православию погибнуть.

— Но я хочу стать в поле против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против врага.

— Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старейшего летами,— сказал князь Влади-

мир.— Так некогда и мы думали с отцом твоим бороться против безбожного Мамая. Какая година чести была для Руси, когда мы пели победную песнь на костях врагов! Богу угодно было в моей руке заключить удар, от которого пал Мамай и рассыпалось его воинство, но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Нейди сам на беду, жди, пока не прийдет она.

— Должно ли мне сказать полкам, отвсюду ко мне идущим: «Идите вспять: я не смею вести вас на битву!» Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир-Аксаку и преклонить пред ним колена?

— Нет, будь на коне, но не ратуй; стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие, где мстящий перст божий ведет грозу и погибель!

— Так, князь,— сказал Киприян,— бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей, защита вернее воинства.

— Владыко! Ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с детьми, старцев, отчаянных на краю гроба: я пойду отсюда, пока плач жен и детей не погубил моей силы. Прошу тебя, кн. Владимир, быть в Москве, защищать ее, когда мы падем в битве: твои лета, твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставлю тебе.

— Князь! — отвечал Владимир.— Усмири же прежде совесть твою, не отринь совета старца: отдай Кирдяпе Нижний!

— Нет, я не могу этого сделать.

— Князь, вспомни о бедствии России, вспомни, что в день суда божия горе человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Кирдяпе наследие его.

— Не говорите мне, ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир: я не отдам Нижнего.

— Будь по-твоему, но страшись и блюдись, чтобы не постигло тебя бедствие, которое ты готовишь другим.

— Нет! Не на того падет бедствие, кто хочет собрать воедино рассыпанное, совокупить разделенное. Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Кирдяпа и Борис противятся мне: они противники власти, а не законные наследники, и меч правосудия блестит над главою их! Так я думаю, так *должны* все думать.

— Молод, а умен,— сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая боярский ферез свой,— молод и умен князь наш. Никто не уговорит его выпустить из рук, что ему однажды попалось. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля,— прибавил он, обращаясь к Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему подле дверей.

— Садись,— сказал Белевут,— сюда,— отдвигая дубовый стол от лавки,— садись, и поговорим о деле.— Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай. Князь наш одобрил все, что я ни сделал. Завтра объявит торжественно присоединение Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю, как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

— Печорских аль сибирских соболей, боярин? — спросил Некомат, усмехаясь. Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Кирдяпу! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

— Слепота, батюшка-боярин, слепота пришла на меня! Тут недобро было: демонское наваждение влекло меня, прости господи! — Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то, старая голова, надо слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и с почестью.

— И Замятню, боярин?

— Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал, где лежало оружие, серебро и золото Кирдяпы, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

— Боюсь я за его верность, боярин: если уж он передался вам без кривды, то сам бог предаст в руки князя Василия сердца врагов его.

— А я так очень понимаю Замятню, и знаешь ли, что этакой душе всего скорее вверяйся: глуп или, что называется, добр. Ты да я летим, куда ветер повеет, а его ветер просто туда уносит; к тому ж Замятня богат, как Арид!

— Ну, бог знает, боярин, животы смерть окажет,— сказал Некомат с усмешкою.

— Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него — гм! на княжеские расходы — чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет на Москве, да и только. Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! Я верю

Замятне; да это в сторону, поговорим о нашем деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен же ты, что ль?

— Боярин! Хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодчик, а моя Ксения девка на возрасте.

— Отлагаю все до приезда князя Василья в Нижний. Видите: завтра вас примут, дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте да готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить волжской вашей водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь у нас теперь завороха, что и господи упаси: тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще зловещий ворон налетает на Русь, и бог весть откуда. Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, ползут сюда; бабы да старики воют, еще ничего не видя.

— А что же, боярин, ты думаешь?

— Что думать! Живи не как хочется, а как бог велит; разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка смотри как ладит с ними. И то, правду сказать, голова умная.

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Участь Нижнего Новагорода была решена. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприяна — ничто не могло склонить князя Василия Димитриевича на милость к Кирдяпе и роду его. Собственная участь князей Нижегородских оставалась еще нерешенною. Князь Борис томился в темницах суздальских; Кирдяпа и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города; участь многих осталась неизвестною.

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Димитриевич был в Москве, которая кипела воинскою деятельностию. Спешили оканчивать ров и валы около Белого города, сбирали деньги, ожидали ужасного. Слухи из Орды замолкли, но это была страшная тишина, тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом перед последним томлением смерти: она не покоит его, хладный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят ему о разрушении, он жив, но на него веет уже могилой, он предчувствует то близкое мгнове-

ние, которого содрогается все живущее! Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались в Россию. Но так и за сто шестьдесят лет, когда при Калке погибла надежда России, три года прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненною рекою. Церкви московские наполнялись народом, день и ночь слышалось унылое пение молящихся...

Между тем страсти не умолкали и на краю бездны. Сердце человека, пучина, закрытая радужными отливами небесной отчизны, в тебе изрыты такие ямы, которых не должна открывать рука человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в сердце человеческое без покрывала: он побежит от самых обольстительных надежд своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гробовой саван, закрывающий подругу души его и внезапно взброшенный ветром с ее лица, обезображенного тлением и смертию.

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Димитрий Александрович Всеволож, с дружиною московскою, выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно; жители были в хлопотах: готовили праздничные платья, мыли домы, даже снаружи. Белевут беспрестанно окружен был просителями, искателями милостей, приезжими из городов воеводами. Бояре, гости, старшины нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры, и часто старики забывали идти к заутрене после бессонной до белого света ночи, проведенной у Белевута или какого-нибудь богатого гостя. Никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня: золото, серебро блистало на столах его, две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать!

В таком разгулье прошло две недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и богатейших гостей. Никогда не бывало у него так весело: столы трещали под кушаньями, мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей с скамеек очутились уже под скамейками, в одном углу пели псалмы, в другом закатывались в заливных песнях. Настал вечер; дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем: когда туманная темная ночь

облегла город и все окрестности и в домах погасли последние огоньки, все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом Замятни. Одни из них пили, что велено было им подавать, иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояра, пока другие зрители, подмостившись, не сталкивали их; третьи любовались конями гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдете в старых памятниках русских пиров *чаши-свистуны*. У них не было поддона, так что нельзя было поставить их, а надобно было положить боком, и ими подносили гостям, когда хотели *положить* своих гостей. Вместо поддона на конце чаши приделан был свисток: гость обязан был сперва выпить, потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение гостей.

Такого-то *свистуна* поднес Замятня Белевуту. Белевута нельзя было споить, но и у него бывало сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три, четыре и когда уже время бывало около полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна.— Чокнемся и обнимемся еще раз!

— Будет, гость Замятня, у меня и так скоро станет двоиться в глазах,— отвечал Белевут, смеясь и протягивая пальцы к свече, чтобы увериться, правду ли говорит он.

— Э! Была не была! Что за счет между русскими. Слушай: здоровье того, кто любит кого! Разом!

— Давай! Коли за нами череда, чего мешкать?

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня. Кравчий повиновался.— Эх ты, боярин! Люблю тебя за то, что молодец: и дело делать, и выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня гуляка, соломенная башка! Врут дураки: я в тебя, боярин, вот что, посмотрю — точно братья родные...

— Диво малой! — вскричал Белевут, обнимая Замятню.

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня не любил? Ведь я все тот же?

— Нет! Не тот же, а теперь чудо не человек: прежде ты глядел не туда.

— А ты повернул мне голову?

— Сама повернулась.

— То-то же *сама*, видишь, не туда ветер дул. И что ты льнешь к таким, кто исподлобья смотрит? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот посмотри-ка, здесь кого-то недостает...

— Кого? — сказал Белевут, смеясь.— Ведь не тринадцать их осталось: чего бояться, если кто уплелся.

— А Некомат где? Вон там сидел он и морщился?

— Так не лежит ли он где-нибудь...

— Нет! Я думаю, он бодро ходит на ногах: не тот человек, чтобы свалился. О! Не люблю я этих людей...

— Знаешь ли, Замятня, что и мне он не любится что-то? Я спас его от погибели; он не то что ты: у него все проказы Кирдяпины были скрыты. Он и на Спасскую площадь сам шел, а я все умел его выгородить.

— А он спустил тебя на посулах?

— Не то, не такого олуха нашел он, да что-то не ладится с ним никак: словно козьи рога в мех не идут.

— Скоро ли у вас свадьба?

— Скоро ли свадьба? Я приехал сюда и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь: дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться; ведь богат, как немногие бояре московские...

— Полно, от того ли, боярин? Право, я что-то куда сомневаюсь... Ну, вот я: был грех... стоял — за Кирдяпу,— тихонько прибавил Замятня,— а как пошло не туда, так я и твой! Тогда кричал, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! А этот кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме?

— Я знаю,— сказал Белевут горделиво.

— Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, что вон там стоит на полке?

— Полно шутить, Замятня, теперь уж все кончено...

— Как не так! Что, думаешь, все уж молодцы у вас в руках?

— Все! Хочешь, покажу тебе роспись, кто и где теперь?

— Убирайся с росписью: я всех их прежде тебя знал, и что ни лучшего у вас нет... где боярин Димитрий?

— Где? У беса в когтях! Только его и недостает.

— Этак он ошутил: *только его!* Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

— Ну, где ж его взять? Пропал, как в камский мох.

— Его нигде не сыскали?

— Уж все мышьи норки перерыли.

— А Некомат тянет ваше сватовство?

— Ну, что же?

Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
В ту ли реку, во Смородину...—

так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

— Что ж ты хотел сказать? — спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин, пусть они запоют погромче: я нарочно затянул, чтобы нас не слыхали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовой, стучит и воет и кричит в полночь?

— Бабьи сказки.

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я видел домового...

— Ты?

— Да, я! Кто ж это, ты думаешь? Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть, что там за чудеса и правда ли это; пошел, подкараулил: вот идет Некомат, идет дочь его, и домовой идет... месяц светит ярко... провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Георгиевский терем, где сидит княгиня Кирдяпина, и тюрьма, где... Кирдяпа!

— Если ты лжешь, Замятня...— вскричал Белевут с сверкающими глазами и взялся за саблю.

— Вот: лжешь! Послушай: теперь полночь, хочешь ли, пойдем потихоньку; нас не заметят — авось мы встретим домового?

Недоверчивость, суеверный страх, гнев сменялись на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками,— сказал Замятня,— на домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-то худое?

— Нет! Не верю... верю... пойдем!

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная, мгла наполняла воздух, все вокруг было тихо, лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею, они перешли через заднюю улицу, в переулок: ни одна душа человеческая не встретилась им; только собаки лаяли сквозь подворотни. Они пришли кзади Некоматова двора. Маленькая калитка отворена, они входят

в обширный сад Некомата, тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь... они не ошибаются: идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь, он и Белевут прячутся за деревья... человек с фонарем подходит: это Некомат!

Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается... «Господи помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... он, верно, в заговоре, проклятый пьяница... если и там узнали! горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

— Ничего,— отвечал Белевут, улыбаясь принужденно.— Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, что Некомат бродит ночью?

— Пойдем далее, а позволь-ка тебя спросить: куда же и зачем бы, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять осторожно прошли они мимо сторожа, пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня, в чаще вишневых дерев.

Низкое строение это стояло уединенно и было покрыто дерном; одно только окошечко было в нем, вровень с землею... огонек светил из окошечка!

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — заговорил Белевут, крестясь.

— Вот и струсил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе.

Едва подвигался Белевут; страх отнимал у него силы... они подходят к окошечку, ложатся на землю... внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет, подле нее человек в каком-то странном наряде; свет падает ему на лицо — Замятня не ошибся: это Димитрий, боярин Кирдяпы!

Как бешеный вскочил Белевут. Замятня удерживает его... напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня! Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас, дверь растворяется, Димитрий поспешно выходит, несет на руках Ксению, бесчувственную...

— Она умерла! Она умерла! Господи боже мой! — говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле. Они с Замятней вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют запором.

— Пусть кричит там! — сказал Замятня, оправляя платье.— Димитрий, брат, друг!

Они крепко обнялись.

— Доволен ли ты мною? — спросил Замятня.

— Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...

— Что, болтун я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей недостанет отмолить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на душу: и как легко плутовать! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!

— Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей; он и не стоит того: награда твоя не здесь!

— Да и чем бы наградили меня здесь, за все, что я делал для правого дела? Деньги: я бросал их горстями за окошко! Почести: какие почести тому, кто о жизни своей думает, как об изношенной шапке. Димитрий, дай бог тебе час! Ступай прямо к Кирдяпе, там все уже готово, а я побегу к гостям моим; у меня все собраны, я не выпущу их до света...

— Замятня, увидимся ли мы еще в этом свете?

— Бог знает, друг Димитрий... Ну! Все равно — прощай!

— Прощай!..— Крепко обнялись они еще раз, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно окаменелый, он отшатнулся от Замятни и как будто в эту минуту только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней, взял холодную ее руку. — Умерла? — сказал он.— Прости! И я не жилец на земле. Тебе не радостна была жизнь, я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива, ради бога пособи мне...

— Чем же, брат? — отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках своих ее руки.— Если бог даст Кирдяпе возвратиться со славой и на счастье, будете еще жить и довольно и весело...

— Димитрий, супруг мой, милый друг! — вскричала

Ксения, быстро поднявшись с земли и обхватив Димитрия обеими руками.— Ты идешь... надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда. Иди домой, успокойся...

— Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы и не видать тебя...

— Димитрий! Время дорого,— сказал Замятня.

— Иду! Еще на часок...

— Вспомни, что от тебя зависит участь Кирдяпы...

— Да, да, я забыл было,— и он исчез.

В это время крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту, слушал; все умолкло, холодный ветер шевелил листы дерев, невольный какой-то трепет объял его, он спешил идти.

Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить: ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни. Тайный брак соединил их в отсутствие Некомата. Золото обольстило няню Ксении, в зимнюю ночь, когда все спало в доме, Димитрий увез Ксению: они были обвенчаны в отдаленной церкви; счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Кирдяпа, стояла подле кремля; это был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал его. Стража стояла подле ворот и вокруг дома, двое бояр жили в самом доме, рядом с сим двором был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро прибежал к воротам темничного двора; несколько человек показалось из-за углов: это были сообщники его. У ворот не было ни души; стукнули в ворота, изнутри отодвинуты им засовы, все вошли в маленькую калитку. Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, главный пристав, не участвовавший в заговоре, спал в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставни окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся, раздалось еще

несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях — они уступили усилиям, дверные запоры упали... Вдруг померещилось Димитрию, что вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь.

Он один, весь обращен в слух: тихо, опять шорох — так! кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогущий, если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрыпит замок от напряжения лома... Димитрий прячется, таит дыхание.

Кто-то подходит ближе — вынимает из-под полы маленький фонарь, светит; мерцающий свет отражается на лице незнакомца: Димитрий узнает Некомата!..

— Недаром чуяло у меня сердце,— шепчет старик,— здесь не добро. Мое все цело, а здесь... посмотрим... калитка отворена, сторожей нет... Как, и дверь разломана... и здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!

Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче — о ужас! Димитрий не заметил прежде новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей протянута веревка, проведенная на набатную кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение — и кремлевская стража пробудится...

Дыхание сперлось в груди Димитрия, в глазах его потемнело, кровь застыла и опять, как огонь, полилась по жилам; он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата, фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен, он выбивается, бросается снова к веревке; Димитрий опять нападает на него; рука Некомата ловит и почти хватает веревку: все заключено в одном движении; старик громко кричит; нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, поражает Димитрия; Димитрий слышит, что теплая кровь течет по руке его, но он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату — еще удушаемый крик, еще усилие последнее, отчаянное — хрипение умирающего...

— Убийца! — вскричал Димитрий, и голос его глухо раздался во мраке: ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот спешат из тюрьмы, слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим: это Кирдяпа.

«О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго, а ныне усобица князей на поганые погибла; рекли князья: это мое и то мое же! И сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю Русскую; тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по весям и градам. О! стонать тебе, Русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, но вещие слова твои роковым пророчеством носятся по земле Русской.

Что там расстилается, как туман на синéм море? Это стелется дым от огня, пожирающего жилища православных! Что там белеется, как снега во чистóм поле? Это шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь: Тимур перешел Волгу и двигался на полночь по берегу Дона. Там пустынями шло его воинство, не встречало ни града, ни села, если и *были там древле грады красны и нарочиты видением, места их единые только оставались; пусто же все и не населенно: нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество.* При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто этот русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Этот седой вождь татарский был в Нижнем Новегороде, он безмолвно смотрел, как совлекали венец княжеский с главы Бориса, как бросили в темницу Кирдяпу.

— Наконец и ты здесь, русский князь, поедем же в ставку великого Тимура,— говорит татарин.

— Поедем! — отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

— Пусть останется.

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, кинжал, положил копье и меч. Подводят коней; они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны, Дона и неправильно простиралось в лес; последние отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Взъехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы при впадении сей реки в Дон, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура: ни в которую сторону не видно было конца бесчисленного множества шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец; оружие, какого до того времени не видано в России; воины, разнообразно одетые: богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские; женщины и дети пленные; телеги, нагруженные снарядами и добычами; оружие, наваленное кучами и расставленное рядами; огни, вокруг которых сидели воины; балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла торговля, как на торжище; рев животных; звук бубнов, труб; клики, песни, плач, игры, уныние бедствия и неистовство счастия, бешеная радость и вопль отчаяния — все это раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица; полы шатра из драгоценных индийских тканей были опущены; вокруг постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Цепь воинов, скрестивши копья, спрашивала подходящих; при ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи и тянулись в обе стороны богатые шатры вельмож и жен Тимуровых. Бессмертная дружина Тимурова окружала его ставку; совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и сопутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых тканях, другие глубоко погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек, с свертком в руке, молча, но выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Человек, с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то, странного вида, математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин

и русской князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колена. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра; вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром; в груде лежало множество золотых чаш; в стороне брошен был овчинный тулуп; шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей; вокруг стен положены были подушки бархатные и парчовые; подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, наклонив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин глиняный, на золотом огромнейшем подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на огромной подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках, он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка: это было чтение Алкорана.

«Он дал свет солнцу и блеск месяцу; он уставил изменения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Он создал воистину всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе — суть блистательные свидетельства боящимся господа. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, и презирающий мои вещания за деяния свои получит возмездием огнь адский».

Здесь Тимур махнул рукой, чтение прекратилось, все поднялись и сели на подушках, около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более пятидесяти лет: таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и богатый кинжал за поясом — все это не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура: глаза его сверкали, как глаза тигра, лицо не выражало ни одной страсти: это было смешение, ничего не высказывавшее отдельно, но каждое движение резких черт его показывало пучину страстей,

подобную той пучине моря-океана, где неугасающая смола горит и кипит, и топит камни, и леденит воду в одно время.

— Вот истинная премудрость, Джеладдин-Абу-Гиафар,— сказал Тимур, указав на Алкоран жилистою рукою, показывавшею необыкновенную его силу,— вот где язык человека должен замкнуться в храм безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в дверь небесной мудрости! Что мы? Муравьи, тлен, век наш — тень былия на горе Ливана.

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему.

— Разве я сказал хорошо? — промолвил он.— Правду сказал я!

— Правду небесную,— отвечал писец.

— На что же записывать ее? Она в сердце твоем и моем и всех людей. Люди все одинаковы.

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел безумцем за его кривлянья.

— Тебе могу поверить,— сказал тихо Тимур.— Бог рек: «Мы даровали премудрость Локману и вещали ему: даждь славу богу!» Ты поэт, вдохновенный небом, говори! — И поэт проговорил быстро:

— Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес бога, создавшего Тимура, *Саиб-Керема* вселенной. В едином человеке создал бог все человечество. Он изрек: *кун* (да будет!) — и явился *человек*; он изрек: *желаледдин* (восстань!) — и восстал *Тимур*; цари — рабы его; веяние крыл ангела смерти — гнев его; от взоров его колеблются столпы Византии и трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его; на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужаса враги его. Древо блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени мирных законов от полудня до полуночи. Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, прейдет века, и воссияет над гробницею последнего смертного.

— Благословен Алла, создавший Тимура! — воскликнули присутствующие.

— Абу-Халеб! возьми себе вот этот горшок,— сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный, вровень с краями, золотом,— и помни, что Тимур прервал сон

наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эйтяк,— сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем,— говори: этот ли человек просит помощи? Что ему надобно: не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка восставить мир и правду?

— Нет, великий Сагеб-Керем, он князь в полуночной части земли Русь.

— В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

— Так угодно было судьбам вышнего! Зачем противится он воле бога? Зачем не отдает он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностию хранить ее: в ней схоронен прах его предков.

— Не Москва ли было наследие его? Я слыхал об этом городе.

— Нет! Москва отняла у него наследие.

— Итак, Москва даже могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась пред подножием ног людей, избранных пророком, пред ордою Тохтамыша?

Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.

— Где посол Баязета? — спросил он.

— С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ своего шатра.

— Кто он?

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

— Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит погибель его на скале гордости и что корабль его плывет чрез пучины безумия; напиши, что воины мои покрывают полмира и что я скоро приду к нему в Анатолийские леса и там богу правосудия предам мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, Москва обидела тебя: поди с моим именем, поди один и пешком в Москву и — возьми ее себе.

— Он не посмеет взять не своего,— отвечал угрюмо Эйтяк.

— Эта Русь мне нравится,— сказал Тимур, улыба-

ясь.— Здесь были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса: они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в диком, вырубленном лесу. Тут был лес, он был некогда вырублен, жили люди, и их нет, и на городах их выросли леса вновь. Это веселит человека, как веселит его память юности. Люди здесь на Руси точно дети. Они сжались в городках и также называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землицу. Для чего желаешь ты, князь Руси, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько (Тимур показал руками меру могилы); сегодня ты гордишься, а завтра тебя и не вспомнит никто. Стоит ли труда земля твоя и век твой! Я был на месте, где стоял Вавилон, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинным рядом обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать. Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?

— Раб твой,— отвечал один из присутствовавших,— осмеливается думать, что воля провидения неисповедима: оно создало кедр Ливанона, розу Иемена и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведает не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады великого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как бог изрек миру: *будь*! и он был; волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.

Глаза Тимура блеснули как молнии.

— Взгляни на звезды небесные! — сказал он.— И знай, что есть и в мире такие звезды. Пыль подъемлется ветром и падает опять на землю, а *глаза Алиевы* вечны, и бог избирает здесь на земле тленного и дает ему *нетленные глаза.* Собирается воинство, идет на край света. Для чего движутся их сонмы, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой, но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать *губительному ветру истребления* силы великие и царства многие. Дух божий ведет меня — и будто я знаю куда? Он теперь отвращает меня от пути на полночь: он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те

горы, где сказал какой-то бессильный: *не далее*; придем сюда с запада и через Железные Врата Каспия пронесем завет пророка в Самарканду. А, Мустафа! исполнил ли ты повеленное тебе?

— Голова Корийчака и головы его советников складены столпом подле шатра твоего.

— Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и Дона, до самого Крыма.

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

— Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я не заметил тебя. Воздай хвалу не мне, а богу; будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни.

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим,— отвечал Темир-Кутлуй.

— Восемь? — спросил изумясь Тимур.— Девять дверей рая, девять молитв пророка, и число девять благословляет человека на земле.

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим; девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул несколько капель воды, принесенных ему усердием, и отверг злато.

— *Восток и Запад область божия! Куда ни обрати взоры, везде узришь образ бога. Он наполнил вселенную своею бесконечностию.* Не так ли рек пророк его?

— Но мы не видим его, и только дух премудрости его явлен человеку в образах видимых, и где более явлен он, если не в том, кто переживет тысящелетия и будет на земле *нетленными очами человечества!*

— Поди же, я даю тебе средство начать добром: отдай князю русскому, что у него отняли.

По данному знаку, Темир-Кутлуй, Эйтяк и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные зрители оставались неподвижны, и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось неподвижно, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимурова, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую склали в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней ханом Золотой Орды; кровь из нее капала и падала на песок, по обезображенным головам вельмож Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась навсегда в молве народной. Летописи русские повествуют, как благодать божия спасла Москву от гибели, как чудотворный образ богоматери принесен был из Владимира в Москву, как зверовидный Тимур устрашен был чудным видением — в трепете, ночью, вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратил вспять от берегов Сосны полки свои и бежал *никем же гоним*.

Когда вы вступите в древний кремлевский храм Успения богоматери, ваши взоры с благоговением встретят на левой стороне от царских дверей древний, унизанный жемчугом и драгоценными каменьями образ, пред коим денно и нощно горит елей, приносимый православными: сей святой образ перенесен был из Владимира, когда Тимур грозою двигался по берегам Дона к Москве; пред ним молились предки наши; пред ним падали тогда в прах князи и бояре; пред ним лились горячие слезы русских, когда князь Василий Димитриевич и воинство его обрекали себя верной погибели на берегах Оки и лечь хотели костьми за Москву и православную Русь.

Красным летом, когда зацветают окрестности московские и толпы пешеходов идут поклониться мощам святого Сергия, с благоговением останавливаются сии странники у древнего Сретенского монастыря, совершают три земных поклона, и в душе их пробуждается память о том времени, когда на этом самом месте сердца предков их усладила *первая* надежда спасения, когда сонмы народа преклонились пред чудотворным образом богоматери — и Тимура поразил страх и трепет.

Поколения прешли по лицу земли, и пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем-Новегороде, взойдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей нижегородских, разберите старинные письмена на гробницах: вы найдете гробницу Симеона Кирдяпы; подле него гробница князя Бориса — гроб примирил их...

Вы хотите знать судьбу Кирдяпы? Вы видели его в шатре Тимура, видели, как могущим словом Тимур отдавал ему Москву, не только наследие его. Разогните древние летописи и читайте:

«Лета 1402. Князь Великий Василий Дмитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду, да Федора

Глебовича, а с ними рать свою искать князь Семена Дмитриевича Суздальского, и самого его обрести, или княгиню его, или дети его, или бояр, крыятесь бо в татарских местех. И идоша на мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в мордовской земле, на месте нарицаемом Цыбирца, у святого у Николы; поставил же тут церковь Бесерменин Хазибаба, и изымаша тамо княгиню Семенову Александру, и ограбиша ея, и приведоша в Москву и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изыскана, и посла к Великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение и во многое умиление и смирение, прося *опасу*; был же тогда князь Семен в ордынских местах, бегаше от Великого князя, от Василия Дмитриевича. Князь же Великий Василий Дмитриевич даде ему *опас*; он же прииде из Орды на Москву и взяша мир с Великим князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцов, и в больший недуг впаде, и преставися месяца декемврия в 21 день. И сей князь Семен Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добиваясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четырем царям: первому — Тохтамышу; второму — Темир-Аксаку; третьему — Темир-Кутлую; четвертому — Шадибегу, а все то поднимая рать на Великого князя, на Василия Дмитриевича, как бы ему найдти свою отчину, княжение Новогорода Нижнего, и Суздаль, и Городец, и того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногама своима, и не успе ничтоже, но яко всуе труждаясь; суетно бо есть человеческо спасение, понеже от бога вся суть возможна, от человек ничтоже...»

Память обновляет жизнь на ветхих гробах, и в тумане веков мелькают тени прешедших по лицу земли, их страсти, их горести,

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...



ТАТЬЯНА БОЛТОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Кто из русских не слыхал об очаровательных окрестностях Москвы? Кто из москвичей не заходил поклониться праху усопших, покоящихся в ограде Данилова монастыря, не любовался извилинами реки, омывающей Симонову обитель, где лежат тела богатырей Ослабы и Пересвета; кто не гулял в Марьиной роще или не бывал 1-го Мая в Сокольниках на немецком празднике? [1] В то время, когда наши государи жили постоянно в Кремле, сии места часто покрывались народом: теперь они пусты. Коломенский дворец, где Петр I провел младенческие годы, в развалинах, и только остался в саду вяз, под сень которого он приходил твердить свои уроки; дворец в Царицыне, где Екатерина, в виду всей Москвы, торжественно изъявляла свою признательность герою *Задунайскому* за его победы и мир с турками, не существует более, и плуг земледельца давно взорал луга Преображенского, на коих Петр обучал первые наши регулярные войска.

К числу подмосковных, обращающих на себя внимание охотников до старины, принадлежит, без сомнения, село

---

[1] Иностранцы, находившиеся в Москве при наших царях, имели обыкновение каждый год, 1-го Мая, праздновать за городом наступление весны. Когда их перевели при Алексее Михайловиче в Немецкую слободу, они избрали для сего рощу в Сокольниках, так названную потому, что тут обучали царских соколов. Русские, приходившие сперва из любопытства смотреть на *потехи* немцев, со временем сами начали принимать в них участие, и гулянье 1-го Мая сделалось народным. Старики до сих пор называют сей праздник *немецким. (Примеч. А. О. Корниловича.)*

Измайлово, любимая отчина царя Алексея Михайловича. Оно лежит по Ярославской дороге и отстоит теперь версты на четыре от города; но за сто двадцать лет почти соединялось с ним стрелецкими слободами, кои тянулись от Троицкой заставы вверх по Яузе. Измайлово принадлежало тогда вдовствующей супруге Иоанна, царице Прасковье Феодоровне, которая проживала тут зиму и лето с тремя дочерьми: Анною, Екатериною и Прасковьею, еще только что выходившими тогда из малолетства.

Шагах в полутрасте от дворца и в шестидесяти от деревни, немного в сторону от большой дороги, на краю сосновой рощи, принадлежавшей к царскому зверинцу, стоял отдельно небольшой домик об одном жилье. С первого взгляда он походил на обыкновенную деревенскую избу, но тесовая крыша кирпичного цвета с дорожинами и низкою, неоштукатуренною трубою; косящетые окна из слюды с резными рамами и пестро расписанными ставнями, большие ворота под навесом с рубленным в городки подзором и, наконец, дощатый забор, из-за коего видны были на обширном дворе овины, амбары и другие хозяйственные строения,— все сие показывало, что владелец сего дома был не простой крестьянин. Внутренность его соответствовала наружности. Из сеней, которые, проходя насквозь, делили избу на две половины, вправо был вход в большой покой, служивший в одно время кухнею, приемною и столовою. Сосновые лавки кругом, большой стол такого же дерева в правом углу, в том же углу сверху образ старинного письма с горевшею перед ним лампадою, и на полках по стенам столовая и кухонная посуда — составляли всю мебель сей комнаты. Она сообщалась посредством сколоченной из досок двери с другою комнатою поменьше: кровать, закрытая пестрыми занавесами; сундук с разостланным на нем ковром и поставец за стеклами с чайным прибором означали, что тут была спальня. За нею находилась третья горенка или, лучше сказать, нишь: можно было догадываться по уединенному ее положению, по стоявшей в углу на покрытом столе иконе Казанской богоматери в серебряном окладе и по висевшим кругом ее ликам святых угодников, что сие место было исключительно посвящено молитве. Другая половина дома, где расположение комнат было такое же, назначалась для проезжающих.

День склонялся к концу. Иван Тимофеевич Болтов вышел уже из образной, где каждый вечер, перед тем как ложиться, проводил по часу перед заветными иконами, перекрестил сына и готовился идти в опочивальню, как

вдруг слышит на улице шум. Ночь была лунная, он поднял нижнюю часть окна и видит, что к воротам подъехала телега тройкою. Полагая, что то были странники, искавшие ночлега, Болтов приказал сыну взвести повозку на двор, а сам взял свечу, чтобы встретить приезжих на другой половине дома в сенях, у гостиной светлицы, но не успел ступить двух шагов, как дверь растворилась и вошел в комнату мужчина, державший за руку ребенка лет пяти. Незнакомец был росту высокого и, судя по усам и бороде, только что выступавшим, имел от роду не более двадцати пяти лет. Синяя клетчатая рубаха, сверху серый изношенный армяк нараспашку, пожелтевшая от времени поярковая шляпа и арапник в руке являли в нем ямщика, однако ж можно было, присмотревшись к нему, заметить по мужественной осанке, по стремительным взорам, которые приезжий бросал во все стороны, и по важной его поступи, что он не всегда носил это звание.

— Откуда, брат Медведев,— сказал ему хозяин, после того, как гость, осенив себя три раза крестом перед стоявшею в углу иконою, обратился к нему с поклоном,— откуда в эдакую пору и в таком наряде?

— Теперь не до ответов,— торопливо проговорил приезжий,— Иван Тимофеевич, ты не раз говаривал, что много обязан покойному батюшке: пришло время отблагодарить сыну за службу отца. Вот тебе Татьяна. Будь ей вместо меня!

— Что с тобою, любезный? Ты-то куда же?

— Разве ты не между людьми живешь, что ничего не слыхал! Стрельцов разбили: Колотов схвачен, и полки Гордона уже окружили наши слободы.

— Да тебе что до этого? Царь тебя жалует; с Колотовым у вас всегда было неладно.

— Царь далеко, а князю-кесарю некогда разбирать, кто прав, кто виноват. Стрельцы бунтуют, я стрелецкий голова, этого довольно!

— Эй, опомнись, голубчик! Пожалуй, будь умнее! Дождись терпеливо конца.

— Чтоб завтра положить голову на плаху. Ромодановского не знаешь, что ли?..

С сим словом Медведев, обратившись к углу, где стоял лик Спаса, положил перед ним три земных поклона, обнял хозяина, с судорожным движением поцеловал в голову Татьяну и, быстро проговорив: «Прощайте!», бросился вон из комнаты. Болтов, изумленный столь нечаянным появлением, как бы невольно подошел к окну, обращенному на

большую дорогу, следуя взором за понесшеюся телегою, пока она не скрылась в прилегающей роще. Это случилось в 1698 году.

Болтов, имея двадцать лет от роду, пришел сиротою в Москву и старанием сокольника Медведева, отца того, о котором упомянуто выше, определился служителем в царские конюшни. Расторопность и рачительность в короткое время обратили на юношу внимание царя Феодора, который, как известно, был большой охотник до лошадей. Когда же Петр для сокращения дворцовых расходов уменьшил царские конюшни, царица Прасковья, заметив усердие Болтова, определила его старостою отчины своей, Измайлова. Петр, забавляясь летом на лугах Преображенского и Семеновского военными потехами, заходил иногда к сему старому слуге, который сажал его на лошадь, когда он был ребенком, и проваживал верхом по двору. Хозяин, как водится, угощал высокого гостя домашним сыром, ветчиною, соленым гусем или уткой и кружкою заморского вина, нарочно сберегаемого в погребу для таковых посещений. Государь сажал Болтова с собою, а сын его, двенадцатилетний Борис, занимал место слуги. Ловкость и смелые ответы сего мальчика понравились царю.

— Обучаешь ли ты его грамоте? — спросил он однажды у Болтова.

— Вестимо, государь! Мы знаем, что тебе это любо. Не далее как о рождестве придется отправить за его учение к отцу Григорию третий четверик пшеничной муки.

— Да мальчик, я чаю, у тебя ленится!

— Благодаря бога,— продолжал Болтов,— разбирает книги церковные и по-новому, как ты указать изволил, пишет уставом и скорописью, знает цифирь. Борис,— примолвил он, оборотясь к сыну,— покажи-тко его милости, что намедни чертил здесь.

— Дело, старик,— сказал Петр, рассмотрев поднесенную ему тетрадь,— года через два я у тебя его возьму.

— Воля господня и твоя над отцом и сыном,— отвечал хозяин, кланяясь ему в пояс,— мы все рабы твои, рады живот свой положить за тебя.

— Тебя мне не надо,— возразил царь,— ты уже отслужил свой век, а Бориса, когда ему минет четырнадцать лет, пришли ко мне: будет хорош, я его не оставлю...

С сей минуты отец с трепетом, а сын с нетерпением,

свойственным двенадцатилетнему мальчику, ждали положенного срока. Наконец настал 1700 год, и наступило время разлуки. Болтов со слезами благословил сына, и Борис чрез два дня явился к нему солдатом бомбандирской роты Преображенского полка.

Вскоре началась война со шведами. Борис отправился в поход. Ретивое заиграло в нем при первом громе пушек. Слова, произнесенные Петром: «Будет хорош, я его не оставлю», поминутно отзывались в ушах юноши. Как не оправдать ожидания отца, не сделаться достойным царской милости — в пятнадцать лет, когда вся душа занята мыслию о славе и отличиях, не заботится о сохранении жизни! Случалось ли вызывать охотников для атаки неприятельских батарей, для приступа, Борис был всегда в их числе; первый в натиске, последний во время отступления, он вскоре обратил на себя внимание начальников. Под Лесным Петр на поле сражения пожаловал его сержантом.

Можно судить, как радостны были сии вести для старика отца. Живучи постоянно в Измайлове, он делил время между хозяйством и воспитанием дочери, которую господь так неожиданно ниспослал к нему. Татьяна с каждым днем делалась ему милее. Сохраняя темное воспоминание об отце, она не знала, что понудило его вдруг удалиться, ей только было известно, что она сирота. Болтов заботился об ее детстве, он отдавал ее на воспитание к швеям, работавшим во дворце, он приставил к ней старушку, чтоб приучить ее к хозяйским занятиям. Вся забота, все старания молодой девушки обращены были на то, чтобы чем-нибудь изъявить признательность своему благодетелю. Она всякий раз с новым вниманием слушала старосту, когда он рассказывал ей за полдником, каким образом ему однажды удалось, находясь в числе охотников царя Алексея, своеручно, в виду государя, убить вепря, или как в другое время он остановил лошадь, которая понесла было царя Феодора, за что и получил кафтан голубого сукна с золотыми снурками. Случалось ли ему иметь огорчения, Татьяна невинными ласками старалась успокоить его или заводила речь о Борисе, и старик забывал грусть, хваля сына и предаваясь всей силе отеческой любви.

Десять лет прошли в сей однообразной жизни. Наконец турецкий поход кончился, войска начали возвращаться в Россию, и Борис, в сержантском мундире, с шлиссельбургскою и полтавскою медалями на груди, очутился в хижине, где провел лета детства, в объятиях отца. С тою же стремительностию бросился он к Татьяне, чтоб прижать

к сердцу сестру — взглянул на нее и словно остолбенел... Пораженный неожиданным удивлением, смотрит — и не верит глазам своим: пред ним красавица-невеста! Татьяна была ребенок, когда он ее оставил, теперь ей минуло семнадцать лет. Алая бархатная повязка, из-за коей вились два шелковых локона, спущенных небрежно за уши, голубые как небо глаза, в коих так живо изображалась радость свидания, румянец на щеках, свежий, как роза, едва распустившаяся, шея, не уступавшая белизною кисее, прикрывавшей девическую грудь, сарафан, чуть державшийся на плечах и так хорошо обнимавший стройный стан,— все это невольно остановило бы каждого. Мог ли Борис в двадцать пять лет остаться равнодушным? Оправившись несколько от своего смущения, «здравствуй, сестрица!» — сказал он робким голосом, обнимая ее. Говорят, что Татьяна разделяла отчасти это смущение, что щеки ее разгорелись, и возвратный поцелуй был пламеннее тех, коими она обыкновенно приветствовала посторонних. И мудрено ли? Борис был молодец видный: загоревшее лицо, быстрые черные глаза, небольшие усы, а к тому зеленый мундир с откладным красным воротником и лацканами и с золотым позументом по краям, короткое нижнее платье красного же цвета, плотно обтянутые синие чулки и башмаки с медными пряжками придавали ему воинственный вид, который, как толкуют, не противен женщинам. Притом Татьяна не забыла, что Борис забавлял ее, когда она явилась в доме Болтова, что он первый обучал ее грамоте. К воспоминанию о прошедшем присоединилось новое, неизвестное ей ощущение, одним словом, они скоро поняли друг друга.

В простом звании приличие не налагает цепей на изъявление сердечных чувств. Несколько дней спустя после своего приезда Борис, застав Татьяну одну в светлице, сказал ей: «Я люблю тебя, хочешь ли быть моею?» — «Спросись у батюшки»,— застенчиво отвечала девушка, между тем как опущенные в землю глаза и зарумянившиеся от удовольствия щеки показывали, что с ее стороны не будет большого затруднения. Того же вечера, взявшись за руки, они вошли в спальню к отцу, и, поклонившись ему в пояс: «Мы любим друг друга! — сказал Борис.— Не мешай нашему счастию, благослови!» — «Исполать вам,— отвечал старик.— Да ниспошлет господь на вас свою благодать! Видно,— продолжал он, обращаясь к Татьяне,— богу не угодно, чтоб отец твой делил с нами это счастие, мы не знаем даже, жив ли он, но он мне передал на тебя свои права!» Сказав это, Болтов снял со стены заветный образ,

молодые любовники положили перед ним по три земных поклона и взаимным поцелуем сделали начало обету, который должен был соединить их навеки.

Наступил счастливый день свадьбы. Сельские девушки, подруги Татьяны, готовили уже ей приданое; уже несколько вечеров сряду сбирались они к невесте, чтоб в простосердечных песнях изъявить свои желания юной чете, как вдруг неожиданное происшествие уничтожило надежды любовников.

Одним утром Татьяна сидела с будущим тестем своим за самоваром — Борис ушел в Москву осведомиться, не пришло ли из Петербурга разрешение касательно его женитьбы,— как вошел к старосте незнакомый крестьянин средних лет. Походка его была скорая, одежда в беспорядке. Дикий взгляд, глубокие морщины на челе и на впалых, бледных щеках, смуглый цвет лица, в противуположности с белизною шеи, и, наконец, седые волосы, проявлявшиеся на голове и в длинной, всклокоченной бороде, несообразные с бодрою его осанкою, заставляли и самого недальновидного, взглянув на сего пришельца, догадываться, что он немало перенес горя на своем веку и что преждевременная старость его происходила не столько от телесных трудов, сколько от душевных болезней. Ни на что не обращая внимания, он пробыл несколько минут неподвижен посреди комнаты, устремив взор на Татьяну, задрожал и, вознесши к небу руки и глаза, полные слез, произнес гробовым голосом: «Господи! Благодарю тебя, что ты позволил мне еще раз увидеть ее в жизни!»

— Батюшка! Батюшка! — вскричала Татьяна, бросаясь к нему на шею.— Как я счастлива! Мы вчерась еще тебя поминали. Тебя только недоставало, чтоб благословить нас и утвердить наше благополучие. Как рад будет Борис!

— Благословить?.. Борис?..— сказал Медведев, между тем как лицо его сделалось еще мрачнее.— Неужели есть несчастный, который захочет взять тебя, сироту безродную, дочь преступника?

— Полно, любезный! — прервал Болтов.— Забудем прошлое. Борис мой тотчас будет. Зачем мешать их счастию? Мы так долго были в разлуке. Посвятим радости первые минуты свидания!

— Радости? — отвечал пришлец с глубоким вздохом.— Ах, как я давно не знал радости!.. Так это Борис твой за нее сватается? — продолжал он после некоторого молчания.— И ты, Таня, могла согласиться на то, чтоб опозорить семью,

которая тебя вскормила, покрыть стыдом седины старика, твоего благодетеля, и запятнать собою своего супруга?

— Нет, нет! — вскричала Татьяна, заливаясь слезами.— Сохрани меня боже!

— Да перестань морочить ее, бедную,— прервал хозяин.— Скажи лучше, где был все это время? Как твое дело кончилось?

— Кончилось? — возразил Медведев.— Нет! Оно еще не кончилось, а скоро кончится,— продолжал он с спокойным видом.— Я чаю, недели через полторы.

— Я все-таки тебя, любезный, не понимаю.

— Да, скоро кончится,— тихо повторил пришлец.— Тринадцать лет я был в изгнании. Как первый человекоубийца, проклятый господом, я стенал и трясся на земле. Мне казалось, что подобно ему я носил на себе знамение, по которому всякий узнал бы меня при первом взгляде. Шорох листьев в дубраве, любопытные взоры, встречаемые повсюду, куда я ни приходил, шепот в беседах — все приводило меня в трепет. Я и во сне и наяву видел погоню, виселицу, плаху. Лицо мое испало, бродя как тень, я убегал себя и людей. Скоро тоска, злодейка, начала меня мучить. Утром, когда скрывался месяц, я терзался мыслию, что он идет к вам на запад. Я терзался вечером, когда садилось солнце. Каждый день умирал новою смертию по том уголке, где лежат кости праотцов, где я похоронил свою Варвару, где сиротствовала Татьяна; хотел было забыться, убить горе трудом: с утра до ночи работал, но день ото дня грусть, как камень, глубилась в сердце. Наконец стало невмочь — решился раз положить всему конец, принести повинную голову, только бы вас еще увидеть на своем веку! Господь,— прибавил он, крестясь,— услышал мою молитву... Спасибо тебе, добрый Иван Тимофеевич,— продолжал он, несколько помолчав,— береги ее и вперед. *Тот, кто воздает напоившему жаждущего чашею студеной воды*, один может вознаградить тебя.— Сказав это, Медведев сильно прижал к сердцу полумертвую дочь, стиснул руку у старого друга, отер рукавом выкатившиеся из глаз две слезы и, как бы опасаясь дальнейшим пребыванием в этом месте изменить своей твердости, опрометью выбежал из дому.

Случалось ли вам в жизни, среди дружеского разговора с человеком, полным совершенного здоровья, в ту минуту, когда веселье оживляет вашу беседу, вдруг увидеть его перед собою, пожатого косою смерти? В немом ужасе, прикованные к своему месту, вы не верите своим глазам, видя бездушный труп, ждете ответа с посинелых уст и,

устремив на него пораженный взор, не видите, не слышите, что кругом вас происходит. В таком положении были Болтов и Татьяна, неподвижные, не сводя очей с двери, в которую вышел Медведев. Наконец старик, подняв глаза к небу, произнес тихо: «*Да святится имя твое, да будет воля твоя!* Не унывай, милая,— промолвил он сквозь слезы, обращаясь к Татьяне и взявшись между тем за шляпу.— Надежда еще не пропала. Обратись к тому, кто не оставляет в нужде уповающего на него: он услышит твою молитву».

Одна посреди комнаты, бледная как смерть, Татьяна не слыхала сказанного ей, не приметила вышедшего старосты. Чувства ее онемели. Слезы, навернувшиеся на глазах при мысли о потере жениха, остановились, когда она узнала, что, сверх того, лишается отца. Долго была она в том состоянии бесчувствия, которое обыкновенно сопровождает сильную горесть. Все происшедшее казалось ей сном: она только помнила, что все мечты о ее счастии исчезли, что ей нет утешения в настоящем, нет надежды на будущее. Блуждая взором окрест комнаты, она вдруг невольно остановила его на иконе Спасителя, стоявшей в углу. Тускло горевшая перед нею лампада освещала бледный лик распятого, который божественным примером своим как бы хотел показать нам, что страдания — удел наш в сей земной жизни. «Он,— вскричала Татьяна,— покровитель сирых и беспомощных, он один может обратить печаль мою в радость!» И с сим словом поверглась пред изображением искупителя. Уста ее не двигались, полная чувства, она не могла произнести ни слова, но вся душа ее молилась, и, когда она привстала, слабый румянец, мгновенно покрывший помертвелые щеки, и слезы, блеснувшие в тусклых очах, ознаменовали, что господь услышал теплую молитву невинной девы, и луч божественного упования оживил иссушенное горестию сердце, как после знойного дня небесная роса освежает поблекшие цветы!

Спустя несколько времени вошел Борис, неся в руках известие о согласии царя на его женитьбу. Но как изумился он, взглянув на невесту!.. За два часа она была как роза в цвету, лицо горело от удовольствия, в глазах так живо изображалось ожидание радостного события, долженствовавшего увенчать все ея желания, но в сию минуту Борис почел бы ее привидением, пришедшим из царства теней посетить сей подлунный мир, если бы слабо биющаяся грудь и слезы, тихо катившиеся по лицу, не означали в ней примет жизни.

— Что с тобою, Таня? — быстро спросил он ее голосом, в котором выражались все чувства, терзавшие его в ту минуту.

— Ах, спасите батюшку,— вскричала Татьяна,— или дайте мне умереть с ним вместе!.. Борис! ты был мне друг, благодетель,— продолжала она, бросившись пред ним на колена,— придумай способ отвратить грозящее ему несчастие или, если нельзя миновать того, испроси мне позволение разделить с ним его судьбу!

— Успокойся, моя милая! — отвечал юноша, приподнимая ее.— И прежде всего объясни мне, в чем дело?

Трепещущим голосом, часто прерывая себя слезами, Татьяна в нескольких словах описала ему свидание с отцом и принятое им намерение отдать себя в руки правительства.

— Дело не так еще худо,— сказал Борис, после того как несчастная кончила свой рассказ.— Оно отправится в Петербург, и пройдет еще несколько времени, пока выйдет решение. Покамест авось можно будет помочь горю.

— Но царь у нас, говорят, такой строгой,— робко возразила дева.

— Он строг к закоренелым преступникам,— прервал Борис,— но снисходит к слабостям людей и знает цену раскаяния. Впрочем, что бы ни случилось, милая, ты имеешь во мне подпору, друга и защитника. Ведь ты моя невеста.

— Нет, Борис! — отвечала Татьяна, между тем как слезы на глазах, легкий румянец, ожививший бледные щеки, и волнение груди показывали, чего ей стоило высказать свою мысль.— Теперь, без имени в свете, без приюта, если мне нельзя будет утешать батюшку в его горе, я могу быть невестою одного только бога. Вы скрывали от меня, что отец мой преступник, но господь нарочно послал его сюда, чтоб не допустить меня до греха заплатить вам злом за все ваше добро. Бог свидетель, Борис, что мне легче умереть, чем жить розно с тобою: но мы должны расстаться!.. Суди сам, можно ли мне принести стыд в семью беспорочную и опозорить тебя, которого люблю более всего в мире? — Твердость, которою Татьяна вооружилась, делая сей ответ, изменила ей при последних словах, она произнесла их так тихо, что один только тонкий слух любовника мог их различить.

— Что! — быстро прервал юноша.— Ты моя, ты не можешь уже располагать собою. Если отец твой в самом деле преступник, причастна ли ты к его вине? Ты боишься упреков? Но кто может их нам делать? Ты росла у нас

сиротою, и, кроме батюшки и меня, кто знает о твоем рождении?

— Есть, Борис, свидетель, о котором ты забыл. Он никогда не засыпает, и его упреки тяжеле поговорок и толков людских. Этот свидетель здесь,— продолжала она, указывая на сердце.— Нет! Я решилась и не переменю своего намерения, не видать мне счастия на свете, не бывать мне твоей женою! — И с сим словом, чтоб в продолжении разговора с милым сердцу не увлечься его убеждениями и не обнаружить собственной слабости, Татьяна, украдкой обтирая слезы, поспешно ушла в свою светелку.

Часа через два вошел к ней Борис. Он был одет по-походному, в каске, в шинели, имея за плечами ранец, в котором находилась обыкновенная солдатская ноша: мундир и несколько белья. К черной портупее с вензелевым именем государя, надетой с правого плеча, привешена была шпага, на эфесе которой висела пара башмаков. Татьяна ужаснулась, взглянув на бывшего жениха своего. Свойственная ему пылкость исчезла, взор его был мрачен, но на лице, носившем еще свежие следы сильной борьбы чувств, изображалось спокойствие, признак принятого вдруг намерения. Тихо подошедши к Татьяне, он сказал ей, стараясь придать голосу своему всю возможную твердость: «Чтоб спасти твоего отца, мне надобно отправиться в Петербург, я зашел к тебе проститься».

— Не напрасен ли твой труд, голубчик? — вздохнув, отвечала Татьяна.— Ведь, я чаю, судят-то его бара большие, нашей братье к ним и не приступиться.

— Есть у нас,— возразил Борис,— покровитель, который допускает к себе всякого и познатнее всех этих бар. Выслушай меня: года четыре назад имели мы с шведом баталию в Польше под Лесным. Семеновцев окружили. Государь приказал нашему полку сесть на лошадей и поскакать к ним на выручку. Мы завидели неприятеля у опушки леса, спешились и ударили в штыки. Наш взвод был в авангарде. По несчастию, с первым залпом перебили или переранили у нас офицеров. Солдаты начали было мяться. В эту минуту я как-то отворотился и вижу в двух стах шагах на холму государя с двумя денщиками, на рыжей своей лошадке. Как тут бежать в его виду? «Ребята, царь на нас смотрит!» — крикнул я своим и бросился вперед, прочие за мною. Швед не выдержал — и в лес, мы вслед. Тут удалось мне заметить их фендрика, который, чтоб проворнее уйти, сорвал знамя с древка и спрятал его за пазуху, а древко бросил в сторону. Я гнать его и скоро

полонил с добычею. Наконец, когда дело кончилось, царь, поднесши всем нам по чарке водки и сказав «спасибо!», подошел ко мне и промолвил: «Борис, я тобою доволен, жалую тебя сержантом и впредь не оставлю». А надобно тебе знать, когда Петр что скажет, то это так верно, словно в книге напечатано.

Рассказ сей немного успокоил Татьяну. Луч надежды проник в ее сердце. В порыве чувства бросилась к жениху на шею.

— Дай господи тебе,— сказала она,— благополучный успех! Я буду здесь, голубчик, о тебе молиться, но только, бога ради, береги себя, ты знаешь, как ты мне дорог!

Неделю спустя после этого Борис, совершив часть пути пешком, а другую на подводах, кои в то время изо всех концов России тянулись с разными припасами к Петербургу, прибыл наконец на место.

Новая столица Севера только что начинала тогда выстраиваться. Земляная крепость, которую начинали обводить камнем, с ветряными мельницами на валу, и лежащие на правом берегу Невы Петербургская и Выборгская стороны составляли главную часть города. Частных строений было еще мало. Только знатные бояре, находившиеся при особе государевой в походах, сенаторы и начальники переведенных сюда казенных заведений имели свои дома, и те состояли из фашиннику и глины, с высокими мезонинами на голландский образец. Прочие здания принадлежали казне — простые избы, занимаемые канцелярскими чиновниками, солдатами полков, составлявших с.-петербургский гарнизон, и, наконец, крестьянами, приходившими сюда ежегодно из внутренних губерний для работы. Левый берег Невы был почти весь застроен от Смольного двора (нынешнего Смольного монастыря) до Новой Голландии. Мазанки князя Меншикова (где теперь Сенат), деревянный собор св. Исаакия, мазанковое Адмиралтейство с деревянным шпицем и позади его Морские слободы (они простирались до Мойки и заключали в себе Большую и Малую Морские) и канатный двор (ныне дом Вольного экономического общества и часть Главного штаба), рядом с Адмиралтейством Кикины палаты, где была Навигаторская школа (там, где теперь дворцовой бульвар; школа переименована Морскою академиею, а после Морским корпусом); потом дом адмирала *Апраксина* и деревянный Зимний дворец (где ныне Эрмитаж) покрывали Адмиралтейский остров. Далее, следуя тем же берегом Невы, можно было заметить еще не доконченный каменный Лет-

ний дворец с новоразведенным садом, против него на другом берегу Фонтанки Партикулярную верфь, потом Литейный двор, похожий видом на нынешний, и, наконец, дворцы царевича Алексея и царевны Натальи (где ныне Шлифовальная дворцовая фабрика), отличавшиеся в то время изяществом своей архитектуры. Пространство от Мойки до Фонтанки и далее покрыто было болотами и лесом, от Полицейского моста тянулась по направлению Невского проспекта дорога в Шлиссельбург, другая дорога вела из Галерной верфи в Калинкину деревню, находившуюся подле нынешнего моста того же имени. Васильевский остров был также покрыт лесом, кроме деревянных палат князя Меншикова (на том месте поставлены были после каменные, кои составляют ныне часть кадетского корпуса), и французские слободы, так названные потому, что тут жили иностранные ремесленники, большею частию французские протестанты, выгнанные из своего отечества по случаю уничтожения нантского постановления. Сверх того, от места, где ныне корпусные ворота и где в то время поставлена была каланча, прорублен был во всю длину острова до Галерной гавани проспект, в конце которого стояла другая такая же каланча. Там стоял бессменно часовой, чтоб сигналами давать знать о приходящих к устью Невы кораблях. На Петровском острову, в Екатерин- и Петергофе и в Стрелинской мызе заложены были царские загородные дома, но работа их приостановилась за другими строениями [1].

В мае 1712 года, с восходом солнца, Борис в полном мундире очутился у деревянного домика, в котором жил Петр при построении Петербурга. Услышав благовест в соборе св. Троицы, он пошел в церковь, отслушал с благочинием заутреню, положил три земных поклона перед местным образом и с слезами умиления в глазах, полный упования на божественного заступника беззащитных, вышел на паперть ждать государя, когда он пойдет в Сенат. Шагах в ста двадцати от церкви, почти на берегу Невы, стояла царская аустерия, чистенький домик в четыре окна с галереею кругом. Петр обыкновенно тут завтракал, но

[1] В плане Петербурга в 1714 г. означено гораздо более строений, но надобно вспомнить, что в то время было в Петербурге ежегодно казенных работников 40 т. крестьян и до 10 т. солдат и пленных шведов. Кроме того, множество частных людей, переехав сюда с двором в конце 1713 и в начале 1714 г., должны были ставить себе дома; при образе тогдашней постройки и при такой деятельности число зданий в Петербурге в два с половиною года могло удвоиться. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

всем служащим офицерского чину было вольно заходить сюда, а содержателю приказано на царский счет подносить каждому по рюмке водки с кренделем. Борис, прошедши несколько раз по берегу реки взад и вперед, остановился у аустерии и, опершись на одну из ее колонн, обратил внимательный взор на Летний дворец, тогдашнее местопребывание царя. Наконец ударило на адмиралтейской башне семь часов. Лодка, покрытая зеленой краскою, отделилась от противоположного берега, и юноша по ловкости и быстроте, с какою она рассекала волны, узнал в высоком гребце того, от которого в сию минуту зависела его участь. Вскоре он мог различить его черный кожаный картуз, его французский кафтан серого сукна с тафтяным камзолом коричневого цвета, замшевое исподнее платье, стянутое у колен большими медными пряжками, и серые полосатые чулки. Вся твердость молодого воина исчезла, когда он увидел Петра, вышедшего из лодки и привязывающего ее к воткнутому на берегу колышку, но он вспомнил, что царь не любит, кто при нем робеет, оправился и бодро пошел к нему навстречу.

— Здорово, Болтов,— сказал Петр, увидев его,— давно ли ты здесь? Я чаял, что ты теперь пируешь свадьбу.

— Нет, государь! Не радость, а горе посетило нашу семью: невеста моя — дочь Медведева.

Глаза государя засверкали, сошедшиеся густые брови и небольшое движение головы, обыкновенный признак его гнева, показывали, сколь неприятно ему сие известие.

— Медведева? — возразил он.— Чего же тебе надо?

— Он тринадцать лет был в изгнании,— отвечал Борис со вздохом,— и сам принес тебе повинную голову. Господь милует кающихся,— промолвил он, бросаясь на колена,— а ты наш земной бог...

— Ты не ведаешь, чего просишь,— прервал Петр.— Встань! Знаешь, я этого не люблю. Не я осудил Медведева, а закон. К чему писать законы, когда их не выполняешь? Я сам слуга законов.

— Я знаю, государь, что закон требует жертвы,— возразил юноша,— но Медведеву не перенести этого. Он так уже изнурен горем, что ему и в покое не прожить десяти лет. Я прошу только твоей милости, чтоб меня назначили вместо его. Я еще молод, здоров, силен, да притом ведь тебе же буду служить, хоть и в каторжной работе. Только служба тяжеле, да чести нет.

Петр поглядел ему в глаза, как бы желая проникнуть, от искреннего ли сердца говорил юноша, но у Бориса душа была на языке.

— Тебя назначить вместо его? — спросил наконец государь.— А отец твой, а невеста?

— Ведь и без того мне с ними розно жить, пока я на твоей государевой службе,— вздохнув, сказал Борис.— Татьяна была и будет ему дочерью. Вестимо,— продолжал он, отирая рукавом показавшиеся слезы,— тяжело отцу будет, да он утешится, что я не за свою вину терплю. А свадьба моя с Татьяною не уйдет. Мы никогда не перестанем любить друг друга! Теперь она не хочет быть моею, чтоб не порочить семьи нашей, но если господь позволит прожить нам еще с надеждой на него, то десять лет кое-как пройдут.

— Это другое дело,— возразил государь,— но ты знаешь, что я сам собою не сужу без Сената. Молился ли ты сегодня? — спросил он, несколько помолчав.

— Был у заутрени, государь, и пел на клиросе, когда дьякон на эктении поминал твою милость.

— Иди, еще помолись! Молитва у бога никогда не пропадает, а я за тебя замолвлю слово, но за успех не ручаюсь.

Первоначальная канцелярия Сената находилась в крепости, на том месте, где ныне остаточное казначейство, и принадлежала тогда к числу красивейших зданий в Петербурге. Это был обширный мазанковый дом об одном жилье, с тесовой крышею красного цвета, поддерживаемою десятью пиластрами. Большая растворчатая дверь вела с улицы в сени, разделявшие оный на две половины. Пять окон по левой стороне заняты были канцеляриею и архивом. На правой стороне сеней было двое дверей. Через первую входили прямо в Присутственную палату, где представлялись взору: посередине большой четвероугольный стол, покрытый зеленым сукном, и на нем несколько экземпляров Уложения, восемь кресел по длинным краям стола и девятое на президентском месте прямо против двери, с грубо вырезанным на спинке деревянным двоеглавым орлом; в левом углу — другой стол поменьше, за коим, вероятно, сидел обер-секретарь, в правом — образ Пресвятые Троицы, а на стенах приклеенные указы, чтоб Сенату *честно и чисто, неленостно, но паче ревностно исполнять правду и правый суд.* Комната сия сообщалась посредством потаенной двери с другою поменьше, об одном окне, замазанном глиною и огороженном железною решеткою. Тут

хранились орудия пытки, которая в начале XVIII столетия считалась во всех почти европейских государствах необходимою принадлежностию уголовного судопроизводства. К сей комнате примыкал коридор, сообщавшийся с Канцеляриею тайных дел и другим концом выходивший в задние сенные двери, о которых сказано выше. Несколько дверей в этом коридоре вели каждая в небольшую горенку наподобие кельи с решетчатым круглым окном, обращенным на двор: тут преступники, назначенные к допросу, дожидались, когда их поведут в присутствие.

В означенный нами день семь особ заседали с шести часов утра в этом верховном судилище. На первом месте, по правую сторону от президента, находился дородный мужчина в суконном коричневом чекмене. Остриженные в кружок черные волосы, серебряные брови и ресницы, из-под коих сверкали черные, пламенные глаза, полные румяные щеки, в коих исчезал почти небольшой сплюснутый нос, и подернутые будто снегом усы, закрывавшие верхнюю губу, составляли нечто грозное, поселявшее с первого взгляда уважение, смешанное, однако, с ужасом. То был знаменитый князь Ф. Ю. Ромодановский, незадолго приехавший из Москвы, который по званию князя-кесаря имел право заседания во всех присутственных местах государства. Никто из русских, может быть, не оказал Петру столько важнейших услуг, и никто не пользовался бо́льшим его уважением. Неразлучный с государем от вступления его на престол, он руководил его в смутные времена стрелецких возмущений, сообщил ему свою твердость, когда непредвиденные неудачи грозили бедствием царю и царству, указывал средства обращать их в свою пользу и не раз даже помогал ему своею казною. Чистый, здравый смысл и обширный ум, быстрый в соображениях, неистощимый в средствах выйти с успехом из самых запутанных дел, заменяли в нем образование. Без корысти, без личных видов, всем жертвуя своему долгу, он имел все добродетели близкого слуги царева, кроме одной, главнейшей, может быть, в человеке государственном: он не знал сострадания, и несчастные, подпавшие гневу Петра, считали себя погибшими, если находили Ромодановского в числе своих судей. Лета, ослабив в нем телесные силы, не умалили непомерной его строгости, основанной на правиле, почти общем в то время, что страхом всего удобнее удержать умы в беспрекословном повиновении.

Подле него сидел Тихон Иванович Стрешнев. Длинные, седые волосы, спущенные по плечам, тихий, ясный взор, дышащий кротостию, продолговатое лицо, на котором, невзирая на усилия времени, играл еще слабый румянец, и непритворное благоволение, оживлявшее поблекшие его черты, влекли к нему сердца всех. Он был как изящный памятник искусства минувших времен, которого красоте удивляемся и к древности коего храним невольное почтение. Сошедшись с ним, казалось, видишь перед собою патриарха, *исполненного дней*, который, пережив свое поколение, взирает на род людской с участием, озаряющим иногда наши лица, когда мы смотрим на играющих детей. Стрешнев был христианин в душе, и, полагая, что большая часть наших преступлений суть мгновенные заблуждения страстей, что убеждениями и кротостию можно в самом закоренелом злодее пробудить усыпленную совесть, он принадлежал к числу немногих, кои, ненавидя порок, сожалеют об его последователях, и во всяком случае, в противность князю-кесарю, принимал сторону человечества. Родство его с Петром (он был ему дядя по бабке), изведанная верность в течение пятидесятилетней службы, приобретшая ему всеобщее уважение, и сила речей, проистекавшая от избытка сердца и от теплоты чувств, доставляли ему часто утешение облегчать участь несчастных, на судьбу которых он мог действовать.

Против Ромодановского сидел в алонжевом парике и в тафтяном кафтане темного цвета первый сенатор по старшинству граф Ив. Л. Мусин-Пушкин, потом — князь Мих. Влад. Долгорукий и бывший дьяк Михайло Самарин. Почти все заседали в Боярской думе еще при Алексее Михайловиче. На другом конце стола находились присутствовавшие в Сенате на то время, по особенному повелению Петра, Ф. М. Апраксин в адмиральском, золотом шитом мундире, а напротив — с двумя звездами на груди и малтийским орденом на шее — генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев, к которому всего приличнее было отнести сказанное о французе Боярде: «Он был рыцарь без страха и упрека!»

Присутствие давно началось [1]. Сенаторы уже решили два дела, обер-секретарь читал третье, как явился Петр. Чтоб не помешать вниманию слушавших, он пришел, не кланяясь никому, на свое место и начал перелистывать

---

[1] Сенаторов было восемь, но четыре оставались еще в Москве. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

лежавший перед ним настольный журнал. Лицо его было важнее обыкновенного, и те, кои от частого с ним обращения привыкли по наружности разбирать происходившее в его душе, угадывали, что он занят какою-то важною мыслию. Наконец, спустя несколько времени, произнесли имя Медведева. Государь, отложив журнал в сторону, поднял глаза, приветствовал присутствовавших взором и легким наклонением головы, облокотившись на стол, подал знак, чтоб читали дело.

Стрелецкий голова Медведев узнал о намерении полковника Колотова произвести возмущение в Москве, чтоб выручить стрельцов, разбитых генералом Гордоном у Воскресенского монастыря, но не донес о том. Когда, спустя два дня после того, замыслы Колотова сделались известны и он был схвачен,— Медведев, опасаясь наказания, ушел в Пермь, где, по справкам, вел себя честно и работал под чужим именем тринадцать лет на железных заводах купца Строганова, но тогда же приговорен был Канцеляриею тайных дел к десятилетней каторжной работе и потом на поселение в Сибирь. Ныне, движимый раскаянием, он воротился в Москву и, явившись у тамошнего губернатора, добровольно отдал себя во власть правительства. Правительствующий Сенат, приняв в уважение наказание, самовольно им на себя наложенное и оказанное им раскаяние, указал уменьшить число работных лет шестью годами и после трехгодичной каторжной работы сослать его на поселение в дальние сибирские города.

— Господа Сенат! — сказал Петр после того, как обер-секретарь поднес ему дело для подписания.— Преступник, о котором идет речь, чувствуя, вероятно, свою вину, осудил себя на наказание прежде, нежели последовал об нем приговор Канцелярии тайных дел, и, кажется, исполнил меру раскаяния, принесши нам повинную голову. Прошу сказать мне по совести и без лицеприятия, можно ли мне без вреда государству и без нарушения закона пощадить его?

— Власть твоя, государь! — отвечал Ромодановский.— Ты выше закона, и действия твои не могут его нарушить. Но подсудимый принадлежал к числу стрельцов, и я не верю его раскаянию. Кто ручается, что не надежда на прощение побудила его предаться властям. *Князь не всуе меч носит*, говорит апостол. Мало ли было тебе хлопот от возмущений этих янычар? Они все на один покрой. *Мал квас все смешение квасит*. Чтоб спасти больного гангреной, отрезывают зараженный член. Так точно и здесь: *измите злого от вас*, как сказано в послании.

— Наказания налагаются для исправления порочных,— прервал Стрешнев, обратясь к Петру,— и ежели есть доказательства, что исправление последовало, не должно ли, по примеру бога, которого ты, государь, образ на земле, вместо того чтоб строгостью доводить кающихся до отчаяния, радоваться, что погибшая овца обретена, что возвращен тебе полезный подданный? Князь-кесарь не верит искренности раскаяния, доказанного подсудимым; отвечаю, что одному богу предстоит ведать сердца, нам же должно судить о деревьях по плодам. Кто велел бы Медведеву, имея все способы жить на воле, работать тринадцать лет, если б он не чувствовал своей вины? Но этого ему показалось мало, он еще пришел требовать у нас наказания — неужели мы презрим его побуждением? Государь! — продолжал он, возвыся голос.— Следуй смело великодушному влечению своего сердца, карай преступников, но не отвергай кающихся — *побеждай благим злое*, как говорит апостол, вспомни, что должник, ему же оставишь *пятьсот динарий, паче возлюбит тя, нежели другой, ему же отпустишь пятьдесят*, и верь, что слуга, движимый личною благодарностию, усерднее действующего по одним видам обязанности.

Почтенный вид старца и жар, с каким он произнес свое мнение, увлекли все умы. Чело Петра прояснилось, прочие молча изъявили взорами свое одобрение. Один князь-кесарь, для того ли, чтоб не отступиться от сказанного однажды, или в самом деле по убеждению, остался при прежнем.

— Потакайте преступникам,— сказал он с презрительной улыбкой,— но я все-таки не переменю своего мнения: законы пишутся на то, чтоб их исполняли.

— Милость есть удел царей,— возразил Пушкин,— и облегчение судьбы кающегося виновника не есть нарушение закона.

— Но чтоб сохранить всю силу закона,— прибавил Петр,— вправе ли я, пощадив Медведева, обратить присужденное ему наказание на невинного?

Все невольно устремили взоры на государя, как бы сомневаясь, из его ли уст вышел вопрос такого рода? Наконец, после некоторого молчания, фельдмаршал Шереметев, приметив, что лицо Петра покойно и что он, по-видимому, ждет ответа, вскричал:

— Вы спрашиваете, имеете ли право сделать неправду? Вашему величеству все вольно, но сделанное вами неправедно останется неправдою.

— Следовательно, я не вправе,— отвечал Петр,— ибо царь не должен творить неправды.— Сказав это, он оторвал лоскуток бумаги, написал несколько слов, свернул и, запечатав, велел призванному экзекутору отнести в собор св. Троицы сержанту Болтову.

Вот содержание этой записки:

«Сенат приговорил, и государь указал, что царь может пощадить виновного, но не вправе наказать невинного. Медведева прощаю, а касательно твоей просьбы, чтоб тебе заменить его, исполнить не могу; да, я чаю, ты не будешь гневаться за отказ.

Петр».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Живучи в Москве, мне как-то случилось однажды утром в феврале поехать в Лефортовский дворец. Накануне растаяло, но в тот день порядочно примерзло. Я одет был налегке и, отчасти чтоб движением привести в обращение застылую кровь свою, частию для облегчения лошади, которая, бедняжка, беспрестанно спотыкалась на голом льду, решился на возвратном пути, вышед из саней, пройтись несколько пешком. Это было в Немецкой слободе. Вскоре небольшой, опрятный домик старинной архитектуры, с палисадником, обратил на себя мое внимание. Я любовался высоким мезонином, намалеванными на ставнях рощами и соловьями, которые под тонкими пластинками прозрачного льда лоснились, будто покрытые свежим лаком, небольшими деревянными амурами красного цвета, кои, как дошедшие до нас произведения древних ваятелей, были без носов, без пальцев и пр., но вдруг оступился и упал. Мысль, что я терплю участь, общую всем зевакам, удержала неучтивый порыв моего гнева и языка на несчастное мое любопытство. Я встал с покойным видом, оправился, но, как бы ни было, не мог ехать далее. Что сказали бы люди, увидев меня, почтенного летами и званием, на улице в восемь часов утра, с окровавленным лицом, с синими пятнами под глазами? Дом, бывший причиною моего падения, находился в двух шагах, справедливость требовала, чтоб я в нем искал помощи от приключившегося мне горя. Я вошел в кухню, попросил воды у стряпавшей поварихи и, нагнувшись, с преклоненным к поданной мне миске лицом начал было обмывать пятна запекшейся на нем крови, как слышу позади себя охриплый женский голос:

— Христианское ли это дело, батюшка? К бусурманам зашел, что ли? Разве у нас честные люди только по кухням живут? Не мог взойти прямо, как водится, и спросить всего, что тебе надо.

Слова сии так быстро были проговорены, что я едва успел отворотиться. Стоявшая передо мною особа напомнила мне изображения бабушек, кои случается нам видеть иногда на старинных фамильных портретах. Ростом она была по крайней мере вершков восьми. В овале высокого, некогда белого, но от времени пожелтевшего чепчика я увидел два серебряных локона, как бы прилепленных к исчерченному морщинами челу, двое черных бровей, в коих проявлялись седые волосы, серые, живые глаза, искрасна-синеватые щеки, обтянутый, подавшийся ко рту нос, бледные, впалые губы и несколько поднятый кверху подбородок. Два клочка волос, один на ямочке правой щеки, а другой на левой, под нижнею губою, прикрывали две бородавки, которые придавали много красоты лицу во время оно, когда по требованию моды женщины пестрели его мушками. Одежда сего гренадера в женском платье состояла из пестрой ситцевой кофточки, прикрытой черным платком, полосатой юбки и сафьянных, едва закрывавших ноги башмаков с загнутыми вверх концами на высоких каблуках. Заметив, что дворник, рубивший дрова в углу, опустил одну руку с топором и, сняв другою шапку, стал в почтительное положение, что служанка, которая наливала мне на руки воду и в многословных жалобах изъявляла свое сожаление о случившемся со мною несчастии, вдруг замолкла и приняла важный вид, я заключил, что вижу перед собою хозяйку, и, напуганный ее гневным приступом, сказал ей, заикаясь, что не решался войти, не спросясь, что мне было совестно... «Совестно! — прервала она, не дав мне договорить.— Чего совеститься? Украл, что ли? Беда великая, что об эту пору оступился да упал. Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается».

Сие заключение было весьма справедливо, ибо, если бы лошадь моя не споткнулась перед тем шести раз на расстоянии каких-либо двухсот шагов, я, вероятно, никогда не имел бы удовольствия встретиться с моею новою знакомкою, столь примечательною,— а потому я только отвечал ей в знак согласия склонением головы.

— Но ты не на шутку ушибся, голубчик,— продолжала она, смягчив голос и касаясь пальцами к моему лицу,— да какой он, бедняжка, холодный! Парамон! Проворней самовар! А ты, Лукерья, сбегай живее наверх, в спальню: там за

зеркальцем красная бумажная коробочка с пластырем, принеси сюда. Пойдем, мой родной! Не бойся! Мне не впервые лечить от ушибу.

— К чему вам беспокоиться, сударыня? Мне пора...

— Молчи! — возразила она, закрывая мне рукою рот.— Чтоб я тебя так отпустила, избитого! Слыханное ли это дело! Благо есть чем помочь. Куда спешить! У вас все дела, а на поверку — только что из пустого в порожнее переливаете. Сядь, обогрейся, напейся порядком чайку, как у людей водится, а там с богом!

Я тихо последовал за старушкой, которой деятельное сострадание, хотя выраженное не со всею тонкостию светского приличия, наполнило мою душу истинным к ней уважением. Она не заботилась знать, кто я таков. Ей показалось, что мне нужна помощь, и она поспешила мне предложить ее.

Мебель в комнате, в которую меня ввели, соответствовала древностию летам хозяйки. Покрытое пестрядью канапе на низких, толстых ножках с поручнями шириною в ладонь и с вырезанными на дереве изображениями цветов, птиц и зверей, тяжелые стулья с высокими спинками, зеркало в зеркальных, расписанных узорами рамах, на окнах несколько горшков с гвоздикою, левкоем и колокольчиками и висевший посреди в клетке из прутьев дрозд бросились мне тотчас в глаза. На стенах налеплены были картины: взятие Азова, Полтавская баталия, похороны генерал-адмирала графа Головина, обед князя-папы и другие, изданные во время Петра I, но всего для меня занимательнее был писанный масляными красками портрет сего государя, который, судя по темноте красок и по тоненьким рамам с позолотою, почти совсем стертою, был современный ему.

— Давно ли у вас этот портрет? — спросил я у хозяйки, которая подавала мне в то время налитую чашку, с вопросом, как я употребляю сахар — вприкуску или разведенный в чаю?

— Этот портрет,— отвечала она,— висел здесь, батюшка, еще при дедушке моем, поручике Капорского пехотного полка Борисе Ивановиче Болтове. Он был ранен под Бакой в Персии, кажется, в 1724 г., вышел в отставку, поставил этот дом и поселился здесь. Я все это тебе расскажу как следует.

Тут она ушла в другую комнату, принесла оттуда футляр, вынула из него в позолоченных рамках под стеклом вышеупомянутую записку Петра и, положив ее передо мною с видом самодовольствия, начала повесть, которую вы

читали. Рассказ ее именно дошел до этой записки, как послышался благовест к обедне. Старушка, по ее словам, тридцать лет сряду ходит ежедневно в церковь и всегда поспевала к часам. Судите, как ей неприятно было опоздать в этот день.

— Прости господи! — вскричала она.— Согрешила, заговорившись, с тобой.

Однако ж я не заметил, чтоб она на меня гневалась, и, когда я взялся за шляпу, чтоб проститься с нею и поблагодарить за хлеб-соль, она, целуя меня в лоб, сказала:

— Прощай, мой родной! Дай бог тебе здоровья! Коли захочешь дослушать меня, приезжай, но только после обедни и не откладывай далеко. Мне скоро стукнет восьмой десяток, в наши годы считают жизнь не месяцами и не неделями, а днями и часами.

Три недели я не мог никуда показаться. Наконец первый мой выезд был к почтенной старушке. Вообразите, как я удивился, увидев среди бела дня закрытые во всем доме ставни. Предсказания ее сбылись. В воротах встретила меня знакомая служанка словами: «Пульхерья Ивановна приказала вам долго жить». Я вздохнул от глубины сердца и так был расстроен, что не мог спросить у нее конца рассказанной мне повести, которую она, вероятно, слышала от покойной своей госпожи. Признаюсь, мне самому это весьма досадно, ибо, по мне, полная и обстоятельная развязка так же нужна в повести или в романе, как вино или десерт в хорошем обеде. Если между моими читателями или читательницами найдутся такие, кои одного со мною мнения, я смею торжественно их уверить, что если мне еще удастся быть в Москве, то я употреблю все возможные средства для отыскания означенной служанки Лукерьи и все, что узнаю о обстоятельствах брака Болтова с Татьяною и вообще о примечательном в их жизни, не премину сообщить немедленно.

А. И.

Основание сей повести взято из исторического анекдота времен Петра Великого, все прочее заимствовано также из исторических источников. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ
СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

ГЛАВА I

Была осень. Лес в окрестностях Валдая, верстах в двух от большой дороги из Петербурга в Москву, находился в оцеплении. Охотничьи рога, свист арапников, шум листьев от конских копыт, лай, визг, вой легавых, когда несшихся по опушке, когда уходивших в глубину рощи, по мере того как след зверя гороховел, стыл, терялся, изумляли слух дикой смесью разнородных звуков. Везде деятельность, живость, быстрота. Поднимали зверя на поляну, где, держа на сворах неспокойных от нетерпения гончих, находились верхом на известных расстояниях охотники, окрестные помещики, полевавшие в угодьях окольничего Ивана Семеновича Горбунова-Бердышева. Сам он в середине, окруженный доезжачими, на лихом аргамаке под турецкою сбруей, с неугасшим от лет пламенем в очах, ожидал появления добычи. Но вместо зверя показалась на дороге из лесу телега, в коей сидело двое мужчин. Едва взъехала она на поляну, старший, в некрытом овчинном тулупе, остановил лошадей, соскочил с телеги, снял шапку и, будто занявшись поправкою хомутов, внимательно рассматривал лица охотников. Младший, по-видимому лет двенадцати, окутанный шерстяным платком, обратил взоры на погоню за выскочившими в это самое время из пороши двумя зайцами.

Лов был удачен. Между тем вечерело. Раздался звук рога, возвестивший конец охоте. Ловчие, сомкнув и сосворив гончих, отправились вперед с тороками, тяжелыми от затравленных зайцев, лисиц; за ними в другом поезде владелец села Воздвиженского с деревнями и его соседи. С появлением барина высыпали на двор конюхи для принятия лошадей. Гости разошлись по своим комнатам, дабы, переодевшись, вздохнув, собраться снова и увенчать тревоги дня веселым ужином. Иван Семенович, прежде чем скинул охотничий наряд, подошел, по обычаю, к окну посмотреть, как проводят по двору коней, и видит, что телега, которую заметил еще на охоте, остановилась у ворот. Мужчина в тулупе, привязав вожжи к одному из колец, коими тогда усеяны были заборы наших барских домов, без

шапки, держа за руку спутника, пробирался вдоль боковых строений к господским хоромам. Иван Семенович свистнул.

— Кто приехал? — спросил он у вошедшего на призыв слуги.

— Из Тихвина, от Александра Семеныча, Николай Федоров.

— От братца Александра Семеныча? — повторил с изумлением барин.

— Точно так-с,— отвечал слуга.

— Послать сюда Федорова.

Вошел рослый, плотный, румяный мужчина, коснулся челом земли и, по преимуществу людей дворовых, поцеловав руку господина, подал перевитый шелковинкою свиток с висевшей восковой печатью.

— Что скажешь, Николай Федоров?

— Александр Семеныч приказал долго жить.

— Братец скончался? — прервал Горбунов.— Упокой, господи, его душу! — промолвил, вздохнув и с крестом обратившись к образу. Затем развернул свиток и вполголоса прочел следующее:

«Государь братец, Иван Семенович! Десять лет ложный стыд удерживал меня от сознания, что я оскорбил тебя, и господь тяжко наказал медлившего. Наконец, ложась в могилу, готовый предстать перед судиею праведным, прошу тебя, отпусти мне вину — прости кающемуся! Посылаю тебе своего Андрюшу, одно, что осталось от нашей Веры, потому что она была твоя сердцем, хотя мне принадлежала по закону. Ее именем, по ее последней заповеди, заклинаю тебя, будь отцом и матерью сироте: яви на сыне примирение с тенью родителя».

Горбунов кончал чтение письма, когда Андрюша, вошедший между тем в комнату, облобызал его руку. «Это она, это моя Вера! — вскричал старик, взглянув на племянника и утирая рукавом слезы.— Так! Вы не обманулись в ожидании. Завет ваш святая для меня заповедь. Отныне, Андрюша,— продолжал он, целуя его в голову,— ты мой сын».

Иван Семенович Горбунов служил в молодости в Москве, в дружине одного из знатнейших бояр царя Алексея. Узнал Веру у пожилой родственницы, которая приняла к себе бездомную сироту. Ее беззащитное положение пробуждало участие, красота и душевные качества привязали к ней юношу. Они полюбились всем пламенем первой любви. Между тем наступила война с Польшею. Иван, верный долгу, расстался с Верой, поручив ее надзору брата

Александра. Прелесть лица, сладость речей очаровывали всех, кто ни встречал, ни слушал Веру. Александр находил удовольствие в ее беседе, не замечал закрадывавшейся в сердце страсти, когда же заметил, был уже не в силах ее побороть. Мысль, что Вера достанется другому, терзала ослепленного: он решил добыть ее преступлением. Является к ней с грустным лицом и вестию о кончине брата, плачет с горюющею и, когда миновались первые месяцы печали, предлагает ей вместе с рукою подпору и заступление. Между тем Иван, полный любви и отваги, подвизался на поле ратном. Бился под Смоленском, под Витебском, доходил до Вильны; наконец, по наступлении Андрусовского перемирия, богатый милостию царской и славой, с чином окольничего и почетным прозванием *Бердыш*, которое получил, когда при вылазке врагов из Смоленска своеручно иссек польского военачальника, спешит в Москву с надеждой на отдых от трудов бранных в объятиях Веры. Накануне его приезда Вера обвенчалась с Александром. Иван не хотел видеть брата, но не мог расстаться с Москвой, не упрекнув изменницы. Они свиделись, и не на радость. Вера, вышедшая за Александра не по склонности, оставалась верною обязанностям супруги, но не могла уважать того, кого почитала рушителем счастия собственного и счастия существа, которое любила более себя. Томимая тихой грустию, тем более тяжкою, что скрывала ее от ревнивой подозрительности мужа, чахла несколько лет и наконец истаяла, произведши на свет сына. По ее кончине Александр только и знал напасть. Строптивый нравом, поссорился с начальником и принужден был выйти из приказа, в котором служил; вотчину его подле Тихвина отобрали на государя; наконец, доведенный до нищеты, не смея прибегнуть к брату, которого оскорбил, мучимый прошедшим, настоящим, будущим, слег в могилу, поручив опеке Ивана Андрюшу, с которым мы познакомились выше.

ГЛАВА II

Длинный, по обычаю, стол, уставленный яствами в серебряных судках под крышками, возвещал о наступлении времени ужинного. Впрочем, только умноженное число приборов и бутылок с винами в поставце позволяло догадываться, что собрание собеседников будет значительно. В хлебосольный век, к которому принадлежит наша по-

весть, истинно держались пословицы: *Не красна изба углами, а красна пирогами.* Не щеголяли убранством в домах: стены голые, иногда покрытые цветной бумагой или завешанные коврами, вместо диванов, кресел — лавки, обитые кожею или сукном. Но на столе не было пустого места. Мясо говяжье, свиное, баранье, все домашние птицы, дичь, рыбы жареные или вареные, в похлебках, взварах, студенях, притом пироги, куличи, оладьи, коврижки, медовые варенья — всего вдоволь. Кушай, сколько душе угодно! Правда, не заботились об утонченностях вкуса: лук, чеснок и перец, необходимая принадлежность старинной русской кухни, слышались в каждом почти кушанье, но зато волей-неволей встанешь сыт из-за стола. Случались ли гости, все блюда разносили собеседникам; кушал ли хозяин один или с домашними, яствами более обыкновенными, по примеру древних наших царей, жаловал слуг, которым хотел явить милость.

Гости, проголодавшиеся от воздуха и верховой езды, собрались в гостиной, нетерпеливо ожидая хозяина. Наконец он явился, ведя за руку Андрюшу.

— Извините меня, дорогие соседи, что замешкался,— проговорил он к собранию,— господь послал мне сына. Благослови сироту, отче Григорий! — промолвил, обратясь к священнику.— Ты знал отца и мать.

В то время как Андрюша подходил к руке священника, вошли слуги, неся подносы, уставленные разноцветными плодовыми и травными водками. Когда гости, чтоб не оскорбить хозяина, отведали каждой, раздалось громкое восклицание: «Кушанье поставлено», и все с шумом понеслись в столовую.

Долго слышался лишь стук ложек, ножей, вилок. Когда несколько обнесенных блюд поуспокоили первый позыв к пище, а усердно полнимые слугами медовые и винные кружки пробудили говорливость, хозяин, обратясь к соседу, молвил, глубоко вздохнув:

— Дожили мы до поры, Лука Матвеич! И детям рад не будешь! Волей-неволей посылай мальчика в школу, не то сам попадешь в опальные, да и молодца-то не женят, венечной памяти не дадут. Бывало, и нас учили: узнаешь грамоту, много — цифирь, и дело с концом! И жили, как дай бог всякому! Нет, вишь, хотят, чтоб дети были умнее отцов. Учат, мучат, а что-то будет проку? Не так ли, Лука Матвеич?

Лицо, к которому обращалась сия речь, мужчина полный, тучный, на щеках коего играло здоровье, некогда

пятисотенный в стрелецком войске, был сосед Горбунову по деревне. Он безошибочно распознавал на бегу зайца — русак или беляк, с виду определял достоинство гончей, по вкусу — лета меда, но в делах, кои требовали некоторых усилий рассудка, соглашался со всяким, кто с ним заводил речь: не из угодливости, а потому что не имел своего мнения. Долго находился под властию родителей, потом жены, которые за него рассуждали. Наконец, овдовев в тех летах, когда учиться поздно, недоросль в сорок четыре года, почитал лишним труд, без которого столь долго обходился.

— Точно так-с,— отвечал Лука Матвеич.

— Мало того. Кончит ученье, посылай молодца на службу. Бывало, и мы ходили на войну, и мы бивали врагов,— продолжал Иван Семенович, гордо озираясь на стены, увешанные доспехами,— но то ли дело? В наше время боярин в суде, боярин в думе, боярин на поле ратном — везде боярин. Сядешь на коня, сотни, тысячи глядят в глаза. Куда ни кинь оком, везде твои люди. А нынче? И дворянин, и холоп на одну стать: всем та же напасть! Поставят тебя в строй, дадут в руки ружье, и слушайся, кого же? Добро бы своего брата, православного. Нет! У нас-де, вишь, на Руси нет умных людей! Какого-нибудь, прости господи, выписного, заморского сорванца, нехриста, у которого ни кола ни двора, что двух слов по-человечески промолвить не сумеет. Не правда ли, Лука Матвеич?

— Совершенная правда, Иван Семеныч,— ответствовал сосед.

— Да это ли одно? Ума, право, не приложишь, коли посмотришь кругом себя. Затеяли строить город, где же? На краю земли, в болоте, где и лягушкам нет приволья, селят людей, словно куликов. И имя-то дали городу не християнское, что и вымолвить не сможешь. Губят народ, сорят деньги, а будет ли прок, про то ведает один бог.

Тут Иван Семенович окинул взором собрание, как бы желая прочесть одобрение на лицах собеседников, и, наконец, остановив очи на приходском священнике, спросил:

— Что ты молчишь, отче Григорий?

Отец Григорий, старик седой как лунь, жил уже третье поколение. Природный ум, образованный чтением священных книг, многолетняя опытность и житие неукоризненное окружили его уважением. Бóльшую часть века провел в Москве, наконец, в преклонные годы, по давней приязни к Горбуновым, перешел на отдых в приход села Воздвиженского.

— Мое мнение не ваше,— ответствовал он, оправляя

длинные, развевавшиеся по плечам волосы.— Ученье — свет, неученье — тьма. Царю ниспосланы свыше мудрость, и нам подобает возносить мольбы ко господу, да поможет ему излить ее на свою паству! Иноземцы опередили нас в науке и всяком знании: нет стыда, подавно греха, перенимать хорошее, придет, может быть, время, что они в свою очередь будут от нас заимствоваться. Вы жалуетесь, что бояре несут одну службу с холопами. Послушайте же. Лет двадцать назад случилось мне быть у священника села Коломенского под Москвою. Пора была осенняя, как нынче, на дворе холод, буря, дождь ливнем, непогодь, что на улицу и калачом не заманишь. Против нашего дома, у дворца государыни Натальи Кирилловны, стоял ратник лет шестнадцати, промок, сердечный, продрог, а выстоял под ружьем свое время, пока его не сменили. Кто ж, мыслите, был этот ратник! Государь Великия, Малыя и Белыя России, наместник бога на земли! Что же против царя ваш боярин, будь его имя на всех листах Разрядной книги? Санкт-Питербурх, правда, перевел много православных, но послушайте, что бают в народе: «Коли-де сам государь-батюшка, с топором в своих царских руках, валит лес, по пояс в воде, долбней вбивает сваи, как же нам, рабам его, не терпеть? Сам-то он болеет за нас душою, да, видно, дело-то нужное. Не трудил бы, не мучил бы себя, коли б не видал нашей пользы». И порассудишь, увидишь — народ прав. Государи живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снедят потомки, и внуки наши будут благословлять Великого за построение города, который вы нынче зовете болотным гнездом. Но зачем ходить далеко? Не видите ли кругом себя благотворных последствий трудов его? Слуги ваши ходят в сукне, какое, в мою память, кой-когда появлялось на боярах; в доме вашем убранство, какое только видали в царских палатах. Перейдите к другому. Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву, имена, кои будут жить, пока живет Россия. Чем подобным похвалится ваша старина?

Иван Семенович привык с детства уважать своего духовника и дозволял ему противуречить, но унижение старины, времен его славы, его подвигов почитал личным оскорблением. Не возразить было свыше его сил.

— Чем похвалится наша старина? — прервал он с запальчивостию.— Иной помыслит, батька, лета отшибли у тебя память. Чем похвалится наша старина? Этот бунчук, отче Григорий,— тут он указал на стену,— эта сбруя добыты мною у турского паши в поход Чигиринский, когда мы

карали бусурман за Малую Россию; эта кольчуга принадлежала мурзе татарскому, которого полчища мы иссекли у порогов днепровских; лезвие этого меча рубило поляков под стенами Витебска, и, наконец, этот бердыш, который еще багровеет запекшеюся кровию врагов, по коему блаженныя памяти государь Алексей Михайлович, упокой господи его душу, изволил пожаловать мне, холопу своему, прозвание — этот бердыш есть памятник завоевания Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти городов. Чем подобным похвалится ваше нынешнее, хваленое время?

Отец Григорий, не хотевший дальнейшим разногласием гневить хозяина, которого знал слабую сторону, помолчав немного, спросил вместо ответа:

— Скоро ли чаете отвезти Андрея Александрыча в школу?

— Я? Нет, отче! Я в Новгород не ездок. Туда являйся не иначе как в немецком платье, а мне на старость поздно рядиться скоморохом. Это твое дело, Терентьич!

Терентьич, к которому обращена была речь, мужчина малорослый, перебывавший в трех приказах, исчах над деловыми бумагами. В то время на Руси судов и судей еще не было: отдавали ее, матушку, *на корм* воеводам, кои в областях были как дома: вершили, рядили, никого не спросясь, катались как сыр в масле. Каждый помещик имел у себя в доме подьячего, наторевшего в законах, которого обязанность была отстаивать милостивца у воеводы.

Вотчина Горбунова окружена была поместьями, незадолго перед тем пожалованными любимцу Петра I, князю Меншикову. Князь неоднократно предлагал Ивану Семеновичу продать имение или взамен выбрать любое из его поместий; но Горбунову-Бердышу расставаться с селом Воздвиженским, которое получил в награду за многие верные службы, на коем основывал честь своего рода, казалось более чем преступлением. Отказ произвел неудовольствие и частые между соседями споры. Терентьич вел битву за Ивана Семеновича. И действительно, трудно было в околотке отыскать борца искуснее. Уложение и новоуказные статьи, притом все крючки, все натяжки, какие искони водились между приказными, были ему свои: приискать закон, перетолковать его в пользу или против, проволочить или ускорить дело, задобрить кого словом, кого мздою — никто лучше Терентьича не ведал. Пронырливый, изворотливый, неразборчивый в средствах к достижению цели, умея принять все личины, нередко самого

Горбунова приводил в изумление и страх, чтоб клеврет не сделался противником.

Терентьич, сидевший на конце стола, привстав, ответствовал тоненьким голоском:

— Как ваша милость приказать изволит. Вот настанет зима, и тогда с богом!

Между тем самозвонные часы пробили восемь. Собеседники, усталые от охоты, чтоб к следующему дню собраться с силами для новых подвигов, осушив в заключение по братине меду, разошлись по своим комнатам на покой. Так миновал первый день пребывания Андрюши в селе Воздвиженском.

ГЛАВА III

Несколько месяцев спустя после вышеприведенной беседы от раннего утра все было в движении в доме Горбунова. Перед крыльцом стояла большая крытая кибитка, на дворе несколько саней, тяжело нагруженных чемоданами, сундуками, кульками, кулечками. Старики наши были домоседы, ограничивали путешествия уездным, много областным городом, но и те совершали не иначе как обозом. Дело-де холопское пускаться в дорогу на одной телеге: дворянин, чтоб не уронить звания, вез с собою весь дом. По отслужении напутственного молебна посадили Андрюшу, укутанного, между Терентьичем и дядькою Николаем Федоровым, и обоз потянулся к Новгороду.

В то время заря просвещения едва начинала проявляться на горизонте России. До Петра I воспитание у нас находилось исключительно в руках духовенства. Государь сей, до учреждения гражданских училищ, введши преподавание некоторых светских наук при архиерейских школах, повелел обучать в них детей всякого звания. В Новгородской школе, после Киевской и Московской важнейшей, было всего двое учителей. Дьячок Никандр, незадолго прибывший из Славяно-греко-латинской академии, обучал закону божию, чтению книг по старому и новому письму и церковному пению; воспитанник морского училища, что на Сухаревой башне, преподавал цифирь, географию и начала геометрии. В этом заключалась премудрость, к таинствам которой готовились приобщить нашего Андрюшу.

После четырехдневного пути Терентьич привез к новгородскому архиерею юного питомца с письмом, живою стерлядью и бочонком заморского вина от своего мило-

стивца. Преосвященный, давний знакомец Ивана Семеновича, поручил Андрюшу надзору келаря, приказав ему поместить мальчика в своей келье.

Между школьными товарищами Андрей преимущественно подружился с Желтовым. Оба были одинаковых лет и способностей, дворяне, сироты; различествовали нравом и положением. Андрей, живой, резвый, отличался добрым сердцем и шалостями. Желтов, тихий, важный, прикрывал вялою наружностию редкую в эти лета решимость. Первый, без состояния, нашел дядю, тужившего об нем как о сыне; второй, богатый наследник, попал к опекуну, который старался об удалении племянника, дабы в отсутствие юноши рачительнее править его имением. Дьячок Никандр, надзиратель и главный учитель школы, муж твердый в Священном писании, особенно изучил два изречения: *муж мудр биет дитя неразумно* и другое *иже щадит жезл — ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно*. Дабы явить себя вместе мудрым и чадолюбивым, педагог весьма усердно следовал наставлениям царя израильского. Каждую субботу по окончании классов стены школы оглашались криком и визгом несчастных страдальцев его мудрости и чадолюбия. Андрюше доставалось реже: он жил в доме архиерейском, находился под покровительством преподобного отца келаря; притом Терентьич являлся в Новгород всякие три месяца с фурой разных запасов в поклон начальникам юноши, причем и на часть Никандра перепадали когда кусок байки на сюртук, когда иной, другой рублишка. Но Желтов, без защиты, без покровителей, в конце каждой недели чувствовал тягость руки грозного наставника, когда за вину — чаще для примера. Долго мальчик переносил, крепился, наконец, увидев, что ни прилежание, ни скромность не избавляли от деятельного сердоболия дьячка, вышел из терпения. «Шали не шали, все те же розги, пускай же хоть будет за что». В классе на возвышении находилась кафедра, над коею висело жестяное люстро, которое на лето снимали. Никандр, близорукий, полуглухой, взошед по лесенке на кафедру, имел обычай, наклонившись на лежавшую перед ним тетрадь или книгу, выслушивать уроки подходивших учеников. Желтов, забравшись в класс в часы отдыха, привязал к вделанному в потолок кольцу люстра бечевку, в конце которой прикрепил загнутую крючком булавку, и когда подошел к кафедре для высказания урока, осторожно зацепил крючком косичку строгого ментора. Пробило одиннадцать. Учитель, сложив тетрадь, встает, сходит с лесенки, но едва

ступил на вторую ступень, не тут-то было, хочет оборотиться, не может. Между тем от этого движения лесенка падает, и дьячок Никандр, гроза школы, за два дня до посвящения в дьяконы, повис между потолком и полом, при громком смехе тех, кои дотоле трепетали от одного шума его шагов.

Преступление было велико, и преступник недолго укрывался. Товарищ, которому неосторожный открылся, напуганный, назвал Желтова — и раба божия отвели в исправительную, дабы, продержав там до субботы, нещадно наказать в виду всех учеников и потом позорно выгнать из школы. Исправительною звали в отдаленной части архиерейского дома уголок, огражденный перегородкою в два человеческих роста. Там Желтов, на хлебе и воде, лежа на голом полу, со страхом в сердце, и днем, и в ночных грезах видел перед очами роковой день. Вдруг ночью слышит сквозь сон, кто-то зовет его по имени. На отзыв тот же голос: «Вставай, времени терять некогда, не ждать же завтрашнего дня!» С сим вместе спустилась к нему с перегородки веревочная лестница. Желтов поспешил выбраться из тюрьмы. Встретил его Андрюша: «С помощью Николая Федорова мне удалось обмануть бдительность о. келаря. От тебя теперь зависит избегнуть мстительности Никандра. Вот тебе все, что теперь имею,— промолвил он, подавая Желтову одною рукою несколько серебряных рублей, а другою отпирая окно, выходившее на улицу,— поспеши до свету выбраться за город, чтоб нам обоим не попасть в беду, а там господь тебя не оставит!» И, не дав Желтову высказать благодарности, с братским поцелуем спустил его по веревочной лесенке, поднял ее и, заперши окно, без шума воротился в келью.

Недолго спустя после сего подвига кончился курс учения. Андрюша в четырехлетнее пребывание в школе бегло выучился русской грамоте, вытвердил большую часть Псалтыри, твердо знал цифирь до правила товарищества, умел отличить квадрат от треугольника, параллелограмм от круга, назвать европейские государства с их столицами и, награжденный похвальным листом от преосвященного, со славою многоученого воротился к нетерпеливо ожидавшему его дяде.

ГЛАВА IV

Наступило время отправления героя нашего на службу, но Иван Семенович, привязавшийся к племяннику, как к сыну, со дня на день откладывал. «Он-де еще ребенок,

куда ему мыкать горе, таскаться с ружьем», хотя ребенку, ростом вершков девяти, миновался уже двадцатый год. Андрей между тем полевал с дядей зайцев и лисиц, травил соколами журавлей, стрелял на близлежавшем болоте гусей и уток. Когда ходил с рогатиной и ножом на медведя или гнался за быстрою ланью, когда умучивал диких коней дядина завода. Смелый, не зная ни страха, ни усталости, радовал старика Горбунова, которому подвиги юноши приводили на память собственную удалую молодость.

В одно летнее утро Андрей ехал лесом на борзом коне арабской породы, дотоле мало носившем седоков. Что-то шорохнуло в листьях, испуганный конь взвился дыбом и пустился молнией в сторону по случившейся просеке. Андрей хотел удержать его на поводьях, поводья оборвались. Тогда, схватившись за гриву, предоставил себя на волю ретивого. Сей, несясь через пашни и луга, примчался к пруду, обсаженному деревьями в два ряда. Между березами качались девицы под звук заунывной песни, которой вторила пожилая женщина в телогрее, сидевшая за пряжей подле, на берегу пруда. Поодаль стояло несколько мужчин, по-видимому слуг. Вдруг одна из девушек при виде несомого стрелой всадника вскрикнула. Андрей, дотоле ездок внимательный, оглянулся; между тем конь — в воду и седока на нем не стало.

Пришед в чувство, он увидел себя в постели, укутанный одеялами. Подле сидела женщина преклонных лет, которую по шелковой фрязи и богатому платку на голове принял за боярыню. Перед кроватью стол с огромной шашечницей, шашки с беспорядке и отодвинутые от стола к середине комнаты кресла показывали, что игра была недавно прервана. Стены, обитые цветною бумагой, развешанный по ним охотничий наряд, большая печь с лежанкой, в углу кивот с иконами в серебряных окладах — говорили Андрею, что он в незнакомом месте.

— Где я? — спросил он вполголоса.

— Насилу-то ты очнулся, батюшка,— ответствовала старушка.— Куда ты нас было перепугал! Ивановна! — продолжала она, обратившись к стоявшей в углу женщине.— Попроси скорее Луку Матвеича. Что, каково тебе, мой родной?

— Слава богу! — отвечал Андрей.— Только немного знобит.

— Как не знобить? — прервала незнакомка.— Легкое ли дело? Мало ли ты, голубчик, пробыл в воде? Да беда, что

тебе здесь и пособить нечем. Я человек заезжий, а в доме братца, Луки Матвеича, такая безладица, что ничего не найдешь. Сейчас потороплю их, чтоб подали тебе чаю.

В дверях встретилась она с Лукой Матвеевичем.

— Ну, Андрей Александрыч,— сказал он, придвигая к кровати большое, обшитое черной кожей кресло,— перепугал ты нас порядком. Бог с тобой! Уж мы тебя и раскачивали, и оттирали, да, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, положить тебя в постель. Наказал тебя господь за удальство, не будешь вперед молодечествовать. Да и то сказать, лихого ты коня себе подобрал. Я теперь только смотрел его. Как ни в чем не бывал! Как ты это так оплошал?

— Поводья оборвались, Лука Матвеич.

— Поводья! Уж бы за это конюхов! Иван Семенович такой благодушный, по мне — всех бы до одного передрал.

— За что же всех? — возразил Андрей.

— Виновного за то, что провинился, а прочих в острастку, чтоб знали, каково провинившемуся,— ответствовал хозяин.— Так ведется у меня от дедушки. Ведь счастие, что моя Варвара очутилась на ту пору у Ольгина пруда, не то упаси чего боже, поминай как тебя звали.

Между тем воротилась княгиня со слугою, несшим на подносе кипевший чай. «Покушай, батюшка! Согрейся и усни! Увидишь, как рукой снимет».

Предсказания старушки сбылись. Живительная влага действительно произвела благотворное влияние на оцепенелые члены Андрея, но сон не приходил ему на ум. Почувствовав в себе довольно крепости, встал и оделся, чтоб поблагодарить хозяев за ласковую внимательность, поспешить домой успокоить дядю в долгом отсутствии. Прошед из спальни через несколько комнат, ступил в одну, в которой светлые бумажные обои, дубовая софа, явление в то время редкое, и несколько кресел, обитых кожею, большое зеркало в зеркальных же узорчатых рамах показывали, что то была гостиная.

Но убранство комнат не занимало Андрея. Все его внимание обратилось на окно, у которого за большими пяльцами, в объяринном сарафане с золотыми пуговками, сидела девица, в коей он узнал незнакомку у пруда. Кто из вас, любезные читатели и читательницы, буде таковые найдутся, не испытывал на себе того изумления, той немоты чувств, какую ощущаешь при первой встрече с предметом, к коему что-то невольно влечет тебя? Когда, не понимая, что в тебе происходит, утратив память, мысль, язык,

весь погружаешься в созерцание стоящего перед тобой существа? В таком положении был Андрей, когда Варвара подняла на него голубые очи, когда поразили взор юноши ее высокое чело, осененное светло-русыми кудрями, румянец, вспыхнувший было на белых как снег щеках, полная грудь, пробивавшаяся из-за ревнивой дымки. Варвара была не в меньшем изумлении. Уже при царе Алексее, подавно в правление Софии, женщины начали покидать у нас затворническую жизнь. Варенька, лишившись матери в детстве, от ранней юности привыкла быть хозяйкой в доме, и вид чужого мужчины был для нее не диковинкой. Но при воззрении на юношу взрослого, статного, который пожирал ее пламенными глазами, на черные усики, придавшие мужественную наружность его чистому, белому лицу, боязливая, как серна, румяная, как роза, то поднимала робкие очи, то опускала их в землю. Наконец Андрей, приободрившись, первый прервал молчание.

— Я пришел извиниться перед вами, Варвара Лукинишна,— сказал он, заминаясь,— в испуге, который нехотя причинил вам.

— Благодарение богу,— отвечала она застенчиво,— что он вас сохранил.

— Благодарение богу и вам. Без вашего драгоценного участия я, может быть, доселе лежал бы на дне пруда.

Неблаговременный приход отца не дал Вареньке отвечать.

— Исполать тебе, Андрей Александрыч! — вскричал он, ступив в комнату.— Дело говорит сестра, княгиня Ирина Матвеевна, в двадцать лет нет у людей недуга. Не прошло трех часов, как тонул, ан опять молодец хоть куда, как ни в чем не бывало!

Андрей, повторив извинения и благодарность перед стариком, хотел было раскланяться.

— Нет, Андрей Александрыч,— возразил хозяин,— ты и то у нас редкий гость. Благо заполучили! Видано ль, чтоб я тебя, охотника, отпустил, не похвалившись псарней, не показав тебе конского завода! Он хоть не чета вашему да за себя постоит. О батюшке не беспокойся, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, я давно уже отправил к нему вершника сказать, что ты у меня ночуешь.

Горбунову было в эту минуту не до псов и коней, но он невесть на что бы согласился, чтоб видеть еще Варвару, провести ночь под одним с нею кровом.

— Пойдем же! Времени терять нечего,— сказал Лука

Матвеевич, таща Андрея за рукав,— до обеда успею еще кой-чем тебя потешить.

Вскоре привел он гостя к длинному сараю, у которого ловчие в зеленых куртках с изображением медного рога на груди ждали барского прихода. Внутренность псарни чистотой и порядком едва ли не превосходила жилых покоев. Каждый из множества псов имел свой короб, выложенный войлоком и устланный свежей соломой; в стенах вделаны были на равных расстояниях медные кольца, к которым их привязывали. При входе посетителей псы с радостным визгом бросились к своему милостивцу.

— Прочь, негодные! Прочь, Зарез! Стрела, на место! Эй, привязать их по местам! Вот, любезный Андрей Александрыч,— продолжал Лука Матвеевич с торжествующим видом,— Сокол, который в одну погоню травит двух зайцев; Стрела уж подлинно стрела, никакому коню ее не обскочить! А Вихрь? Весь околоток на него зарится; сосед Бегунов невесть что давал в обмен, да небось Лука Матвеич не даст промаха!

Удержимся от дальнейшего исчисления достоинств и родословной собак, соколов, коней Луки Матвеевича, исчисления, которое, вероятно, столько же надоело бы вам, любезные читатели и милые читательницы, сколько Андрею. Крепя сердце, он нес муку, пока, после доброго часа, не отвела души весть, что кушанье поставлено. За столом Андрей сидел против Варвары. Несносно было слушать или притворяться слушающим рассказы хозяина о подвигах его осенней охоты, отвечать на назойливые вопросы княгини, но, глядя на Вареньку, Андрей забывал скуку. Взоры их встречались редко и, словно по какому-то механизму, тотчас опускались вниз, но в сих мгновенных встречах юноша, еще неопытный и, по слуху, не ведавший любви, успел уже прочесть, что он не противен: так понятен и для начинающих язык очей.

После обеда, когда, по обычаю предков, старики ушли отдохнуть, они опять свиделись наедине. Не было между ними и помину о любви. Говорили — Варвара о поездке в Москву, из которой только что перед тем воротилась с теткой, Андрей — о жизни села Воздвиженского. Но в сих речах, по-видимому обыкновенных, внимание, с каким собеседники друг друга слушали, нескромности, мимо воли у обоих вырывавшиеся, обнаруживали скрываемую каждым из них тайну.

С сего дня Андрей ожил новою жизнию. Опостылели стрельба, скачки, охота. Из коней только и был ему дорог

Араб. К соседу ездил он так часто, как лишь позволяло приличие. Лука Матвеевич приписывал сии посещения удивлению его псарне; княгиня, страстная до шашек,— желанию доставить ей удовольствие игрою; одна Варвара не ошибалась в догадках. Пылкость Андрея, бесстрашие, самая опасность, от коей она некоторым образом его спасла, заронили искру в сердце красавицы. Притом он имел у любезной усердного ходатая.

— Уж куда как мил этот Андрей Александрыч! — говаривала вместо обычных сказок няня Ивановна, раздевая барышню по вечерам.— Лицо — кровь с молоком, голос — словно соловей поет, глядишь — не наглядишься, слушаешь — не наслушаешься, и какой чтивый! Награди его бог! Меня, старуху, подарил объярью на телогрею: «Ты-де, нянюшка, ходила за мной больным». Дал бы мне бог попировать на вашей свадьбе! Чем он тебе не жених, Варвара Лукинишна? Сродясь лучше не видала. И богат, и молод, и уж куда как тебя любит! Во всем околотке не найдешь пригоже.

Такие и подобные речи вела няня, кладя барышню в постелю, и, если верить источникам, откуда мы заимствовали сию повесть, Варвара, слушая их, не засыпала по обычаю.

ГЛАВА V

— Ты сегодня, Андрей, останешься хозяином в доме,— говорил одним утром Иван Семенович племяннику.— Меня звал сосед Лука Матвеич. Сегодня минуло его дочке шестнадцать лет; выводит ее, вишь, в люди.

— Батюшка! — ответствовал Андрей, целуя руку старика.— Я люблю Вареньку, она меня любит, благословите, помогите нам!

— Как? — вскричал с удивлением дядя, глядя племяннику в очи.— Ты любишь Вареньку? То-то, бывало, спрошу — где Андрюша? Все одна песня — уехал-де в село Евсеевское. И Варенька тебя любит? Ай да сокол! Еще не оперился, а уж добыл добычу. Исполать тебе, Андрей! Чего же тебе хочется? Жениться? И меня берешь в сватья? Изволь! Быть делу так! Варенька девка разумная; одна дочь у отца, и приданое хоть куда! Только смотри, молодец, не ударить лицом в грязь! Дай мне потешиться на старости, понянчиться с внуками!

В это время подвезли сани, и Горбунов-Бердыш в собольей шапке, обвязанный шерстяным платком, уку-

танный в медвежью шубу, отправился в село Евсеевское.

Там сараи и обширный двор уже несколько дней набиты были кибитками, санями, конюшни лошадьми. В людской и девичьих теснились толпы прибывших с барами и барынями слуг, девок, карл, дур, дураков. В гостиных покоях, убранных по-праздничному коврами и занавесами, собрались свойственники, родные по отцу и по матери и знакомцы Луки Матвеевича пожилых лет, съехавшиеся из ближних и дальних мест на праздник шестнадцатилетия его дочери. Ныне время первого выезда девицы в свет проходит почти без внимания, догадаешься разве только по локонам, небрежно опущенным за уши и еще не вьющимися трубками кругом чела, что она не оставляла родительского дома. Но в первой четверти XVIII века, когда жизнь общественная начинала у нас проявляться, старики, справедливо полагая, что появление женщины в свет — важнейший шаг в ее жизни, считали обязанностию праздновать день ее совершеннолетия особенным торжеством. Вы, конечно, слышали о постригах, какие в старину совершались над юношами, когда их впервые облекали в оружие. Обряд введения девиц в люди имел с постригами некоторое сходство. Девица до шестнадцатилетнего возраста носила на заплечьях крылышки, видом похожие на бабочкины. Когда наступал ей семнадцатый год, по приезде родственников отправлялись в домашнюю церковь или, за неимением церкви, в одну из комнат поболее, где поставлен был налой. Духовник читал громким голосом сочиненную на сей случай молитву, в которой, благодаря бога за сохранение именинницы, поручал святому его промыслу юную виновницу торжества. За сим все садились кругом, старшие на почетном месте, прочие ближе или далее, по летам. Наставало глубокое молчание. Отец или старший мужчина, с ножницами на серебряном подносе в одной руке, вводил другою дочь или племянницу в круг и после обычных во все стороны поклонов подходил с нею к самой пожилой из родственниц. Внучка кланялась бабке в ноги. Сия, привстав, обращалась к ней с поучением: что доселе, свободная, как бабочка, она беспечно предавалась движениям детской откровенности, но наступило время, когда, скованная приличиями, должна будет отказаться от прежней невинной веселости и подчинить себя тягостным требованиям света. От сего дня каждое ее слово, взор, поступь сделаются предметом толков, замечаний, пересудов; посему будь она чрезвычайно осторожной и всегда помни, что

скромность — лучшее украшение, а доброе имя — самое драгоценное сокровище ее возраста и пола. За сим, взяв с подноса ножницы, при звуке труб, литавр, громких кликах присутствовавших и слезах внучки, обрезывала ей крылышки, сию красноречивую эмблему счастливого детства. Тогда отец представлял собранию дочь как совершеннолетнюю. Между тем являлись слуги с подносами, на коих стояли стопы, полные вина. Именинница подносила каждому из гостей, который, осушив кубок, оканчивал поздравлениями и поцелуем, последним, какой позволялось девицам давать или принимать от чужого мужчины.

По свершении обряда, когда Варвара, обошед всех собеседников, с пылавшим лицом и вздувшимися от поцелуев губами, поднесла последний кубок отцу, сей, выпив до дна, примолвил: «Дал бы господь, Варенька, так же счастливо выдать тебя замуж, как мы вывели тебя в люди!»

— За этим дело не станет! — подхватил Горбунов-Бердыш.— Появись лишь Варвара Лукинишна в свет, а женихи прильнут, что мухи к меду.

— Каков жених, батюшка Иван Семенович! — молвила княгиня Ирина.— Бывало, у нас молодые не видались, не слыхивали друг про друга до свадьбы, а нынче, православным на соблазн, родители ни про что не ведают не гадают: сами слюбляются, сами берутся.

В другое время, в другой вещи Горбунов-Бердыш не преминул бы приобщиться к нареканиям на испорченность века, но, вспомнив, что сам некогда любил и был любим, удовольствовался ответом: «Не то время, княгиня, не те обычаи!»

— Стыда, право, не стало у людей,— продолжала Ирина.— Проезжала я намеднись через Москву. Завели там, вишь, по-немецки какие-то *асамлеи*. Свозят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают, словно о масляной в собачью комедь, встречного-поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да похваливают. Далеко ли, прости господи, до греха?

— Нынче, вишь, народ больно умудрился,— молвил Иван Семенович.— Мы с вами, княгиня, не изменим старине. Что бы вы, например, сказали, если б мне вздумалось явиться к вам сватом?

— Милости просим, батюшка! — ответствовала княгиня Ирина.— Не так ли, братец Лука Матвеич?

— Прошу покорно,— промолвил Лука Матвеевич.

— Есть у меня жених на примете: молодец собой, не без достатка, словом, постоит за себя. Ваша Варвара Лукинишна с сегодняшнего дня невеста, и пара из них вышла бы славная.

— Кто таков-с, позвольте узнать? — с любопытством спросила княгиня Ирина.

— Ни дать ни взять мой Андрюша. Молодцу минует скоро двадцатый год. Хотелось бы на старости понянчить внуков. Мы с тобой, Лука Матвеич, лет тридцать жили добрыми соседями, почему бы не кончить родством?

— По мне,— ответствовала княгиня, вспомнившая о готовности Андрея играть с нею в шашки,— благослови их господь! Андрей Александрыч умен, пригож. Вареньке лучше жениха не найти. Как ты думаешь, Лука Матвеич?

— Вестимо, вестимо, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! Я одних с вами мыслей,— промолвил Лука Матвеевич.

— О чем же дале толковать? По рукам, да и дело с концом! — продолжал Иван Семенович, протянув свою к соседу. Старики скрестили ладони, княгиня разняла, восхищенный Горбунов-Бердыш назвал Варвару, еще более счастливую, дорогою дочкой.

Между тем в столовой ждал гостей богатый пир, заключение торжества. Все прихоти старинной русской и тогдашней полуевропейской кухни, все, что могла придумать затейливая изобретательность века, было тут собрано, начиная от жареных павлинов и фазанов до огромной литого сахару башни, под конец пира распавшейся по трубному звуку и открывшей удивленным зрителям старуху карлицу, которая, провизжав осиплым голосом свадебную песню, поднесла имениннице цветочный венок. Но ни в чем не явил хозяин более тороватости, как в винах. В тот век пир был не в пир, если гости могли встать из-за него без чужой помощи. Ни лета, ни здоровье не избавляли от участия в веселии. Закон беседы для всех один: старики и молодые, крепкие и слабые, осушай до дна круговую чашу. Отговорки, жеманство — оскорбление хозяину, неуважение собеседникам. Или совсем не приходи на пир, или, пришедши, пей, пока вино не отнимет ног, рук, памяти. Вдоль стены на брусьях стояли выкаченные из погреба бочонки с романеей, мальвазией, бордосским, в течение нескольких лет береженные именно для сего торжества; у всякого бочонка — кравчий, цедивший вино в стопы, подставляемые слугами. Каждый из собеседников предла-

гал свой тост; если он нравился, пили, изъявляя одобрение громким кликом, в противном случае молчали, а все-таки пили.

За сею шумною беседой последовало событие, сильно встревожившее собрание. Горбунов-Бердыш, который, почитая праздник собственным, и примером, и побуждениями побуждал пировавших к веселости, сильно занемог. Княгиня Ирина Матвеевна, по обычаю тогдашних женщин занимавшаяся целением недугов, поила больного чаем, ромашкой, мятой и доставила ему облегчение, но ненадолго: Бердыш потребовал священника и пожелал видеть Андрюшу. По приобщении святых тайн, изъявив желание остаться с племянником наедине, обратил к рыдающему следующую речь:

— Я обещал праху твоих родителей, Андрюша, быть тебе отцом и, бог свидетель, держал слово с верой. Ныне господь зовет меня к себе. Оставляя тебе все мое, прошу одного, исполни мою последнюю заповедь. Знаешь, блаженные памяти государь Алексей Михайлович, ниспошли ему господь царство небесное,— промолвил он, крестясь,— пожаловал в род наш мне, холопу своему, за бедную мою службишку, чин окольничего, прозвание Бердыш и село Воздвиженское с деревнями. Есть у нас сосед сильный, который десять лет приступал ко мне, чтоб я продал ему поместье. Я пребыл крепок противу просьб, золота, угроз. Завещаю тебе ту же твердость. Обещай мне ее, не отдавай за корысть жалования царского, достояния родового, не уступай боязни! Ты молод и не сегодня завтра вступишь в царскую службу, да не прельстят тебя обещания, не страшат козни! Облекись в броню правды, стой крепко в вере богу и царю, и *о щит ее притупятся разжженные стрелы лукавого, и силы адовы не одолеют тя.* Господь избавит праведного от руки нечестивых!

Когда Андрей, едва говоря от плача, уверил, что волю его почтет священной, старец продолжал:

— Я выполнил твое желание и хочу, перед тем как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным. Попроси сюда Луку Матвеича, княгиню и Вареньку.

Едва Андрюша воротился с ними, умирающий, взяв со стола поставленный перед кроватью образ, дрожащими руками благословил юную чету. Молодые, положив земные поклоны пред ликом пречистой и запечатлев обет верности первым поцелуем, бросились было лобызать хладеющие руки старца, но его уже не стало, и счастье надолго закатилось звездою для обрученных.

ГЛАВА VI

Есть ли счастие на земле? Обратитесь с сим вопросом к сребролюбцу, копящему сокровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, вам скажут — *нет*. Спросите у любящихся, верно, получите в ответ — *да*. Так! Сие счастие, несказанное, незаменимое, предвкусие блаженства небесного, живет в сердцах, полных любви,— с нею радость — радость двойная, напасть не в напасть! Согласен, оно кратковременно, преходчиво, как все земное,— зарница во мраке ночи, на миг озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее того существует, и любившие изведали его. Горесть Андрея об утрате отца-благодетеля была сносной, потому что с ним вместе горевала, вместе плакала Варвара.

Миновались тягостные, нестерпимые для сердца чувствительного поминки покойника, в которых, по обычаю того времени, осиротевший, деля с другими радость и печаль, долженствовал угощать пиром провожавших тело и за чашей вина желать скончавшемуся царства небесного. Андрей занялся управлением доставшейся ему вотчины и отдыхал от дел хозяйственных в Евсеевском в обществе невесты. Одним утром известили его о приезде Степана Михайловича Белозубова. Белозубов, малорослый, плотный мужчина лет под сорок, был некогда сотником в стрелецком войске. Расторопностию привлек на себя внимание князя Меншикова, который взял его к себе и за верную службу поставил управителем над новогородскими поместьями. Белозубов имел все пороки и одно доброе качество — безусловную преданность к своему милостивцу. Искусный в притворстве, дерзкий, решительный, не разбирал закона от беззакония, когда дело шло о выгодах вельможи, у коего находился в услужении, и в усердии к его пользе, уверенный в безнаказанности, часто без ведома князева, смело пускался на все неправды. Доверенность первого в России сановника стяжала ему большое уважение в околотке, но Андрей никогда не видал его в доме дяди, который, гордясь длинным рядом предков и внутренно ставя себя выше самого князя, оказывал явное презрение к его клеврету.

После обычных приветов первого знакомства:

— Занятия хозяйственные,— сказал Белозубов,— для вас, Андрей Александрыч, новы и человеку ваших лет немного представляют веселого. Почему бы вам не избавить себя от этих хлопот?

— Нельзя же,— ответствовал Горбунов,— имея вотчину, сидеть в ней спустя рукава.

— Вы меня не понимаете,— продолжал Белозубов.— Вам известно, село Воздвиженское словно чересполосное владение в поместьях князя Александра Даниловича. Он не раз предлагал себя в купцы покойному вашему дядюшке, но упрямый старик не хотел расстаться с имением. Не доставите ли вы князю этого удовольствия? Можете сами назначить условия продажи. Князь не постоит за лишнюю тысячу или две рублей.

— Это имение родовое, и я не намерен его продавать,— возразил Андрей.

— Если слово «продажа» вас так пугает,— подхватил Белозубов,— не угодно ли вам выбрать взамен любое из княжих поместий? У него их много в Малороссии, около Москвы, во всех концах России. Уверяю вас именем князя, вы от сей мены не останетесь внакладе.

— Вы напрасно беспокоите себя, Степан Михайлыч,— прервал Горбунов.— Уже один пример дядюшки долженствовал бы служить мне правилом, но скажу более: умирая, он наказал мне оставаться при владении Воздвиженского, а воля покойного для меня — закон. Я не расстанусь с вотчиной.

— Послушайте, Андрей Александрыч! — молвил с важностью Степан Михайлович.— Я для вашей же пользы не хотел бы, чтоб ответ сей был решительным. Извините откровенность, на которую лета и опытность дают мне право. Вы еще молоды, готовитесь вступить в свет. Вспомните, кто таков князь? Ваше согласие доставит вам могущественного покровителя, отказ — сильного врага.

— Врага? — вскричал, вспыхнув, Горбунов.— Хорошее же вы мнение подаете о князе Александре Даниловиче, грозя его враждой тому, кто, в удовлетворение его прихоти, не захочет расстаться с собственностию. Благодарение богу, мы живем в стране законов, рабы царя правосудного, в державе коего невинность найдет защиту от гонений сильного.

— Вы меня не поняли,— возразил Белозубов хладнокровно.— Я не мыслил грозить вам негодованием князя. Но точно ли вы уверены, что село Воздвиженское ваша собственность?

— Кто дерзнет в этом сомневаться? Оно досталось мне по наследству и укреплено за мною духовною записью покойного дядюшки.

— Очень верю,— продолжал Белозубов,— но могут случиться обстоятельства непредвиденные, кои дадут другой вид делу. Впрочем, это одни догадки. Повторяю: для вашей же пользы, Андрей Александрыч, прошу вас, не отпускайте меня с отказом. Не накликайте на себя неприятностей пустым упорством!

— Это упорство,— живо сказал Горбунов, оскорбленный последним выражением,— говорю вам, пустое в очах людских, для меня священная обязанность. Повторяю раз навсегда: усыпай золотом князь Александр Данилович всю дорогу отселе до Новагорода, предложи мне все свои поместья за одно село Воздвиженское, я с ним не расстанусь.

— Итак,— отвечал Белозубов, взяв шляпу и раскланиваясь,— мне остается пожалеть только, что вы не послушались благого совета. Искренно желаю, дабы после не раскаивались в упрямстве.

Едва он уехал, Андрей, встревоженный двусмысленными намеками о правах своих на вотчину, велел позвать Терентьича.

— Вы не очень ему верьте, Андрей Александрыч,— сказал в ответ дядька Николай Федоров.— Он, кажись, замышляет что-то недоброе.

— Как так? — спросил Горбунов.

— Бог его ведает! Вот уже недели две ездит к нему какой-то посадский человек. Запираются вместе, толкуют до поздней ночи. Илья же Иванов, дворецкий, говорит, гость этот в службе у Белозубова. Да и дивное дело: взъедет на двор на пустом возу, а со двора — воз набит, словно фура.

— Ты что-то завираешься, Николай Федоров! — отвечал Андрей.— Однако ж пошли-ка Терентьича!

Но Терентьича не нашли. Занимаемая им изба была пуста, словно нежилая. Сей отъезд, походивший на потаенное бегство, еще более встревожил Андрея. Он открыл письменный стол дяди: жалованная грамота на село Воздвиженское, духовная запись покойного, все бумаги были на месте. «С этими свидетельствами,— сказал он про себя,— не страшны мне угрозы, пускай их делают что хотят!»

Неделю спустя явился в селе Воздвиженском гонец из Новагорода. Андрею подали бумагу следующего содержания: «По указу его царского величества, самодержавца всея России, от воеводы новогородского недорослю из дворян Андрею Горбунову. Бил челом оному воеводе подьячий Прохор Терентьев, что в бытность его в Тихвине мещанка Палагея Тихонова, служившая в доме стольника

Александра Горбунова в мамках, перед кончиной объявила на духу попу церкви Спасова преображенья отцу Петру, будто, быв беременной в одно время с Верой Горбуновой, женой Александра, и знав о желании последнего иметь сына, она подменила своим родившуюся в одно время с ним от Веры дочь, которая вскоре у нее, Тихоновой, и умерла. Сын же ее, прослыв за сына Александра Горбунова, перешел по его смерти под именем Андрея в дом брата Александрова, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша; и сие показание в присутствии его, Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова подтвердила, за неумением грамоты, приложением собственноручного креста. Он, Терентьев, представив воеводе извет Тихоновой в подлиннике, движимый усердием к пользам казны, бьет челом: означенному Андрею название Горбунова воспретить и доставшуюся ему по смерти Ивана Горбунова-Бердыша вотчину, село Воздвиженское с деревнями, как имение выморочное, отобрать на государя. Воевода новогородский, извещая о сем недоросля из дворян Андрея Горбунова, предписывает ему представить немедленно доказательства, что он родился действительно от Александра и Веры Горбуновых; в противном же случае поступить с ним и вотчиной его по законам».

Андрей ожидал неприятных для себя последствий от отказа в продаже имения, но никогда не чаял, чтоб дерзость его противников простерлась так далеко. Изумление, гнев, негодование попеременно волновали его душу при чтении бумаги. «Понимаю! — молвил он наконец.— Не могли принудить меня силой к уступке Воздвиженского, надеются вымолить его у государя как милость. Но я сорву личину лжеусердия, обнаружу коварство». Покамест, однако ж, надлежало удовлетворить требованию воеводы. Приглашает на совет отца Григория и Николая Федорова, кои оба знали его родителей. Извет Терентьича поразил и того и другого столько же, сколько самого Андрея. Особенно Николай Федоров, взросший в доме Горбуновых, всосавший вместе с молоком уважение и привязанность к господам и после бога и царя не знавший никого выше, оцепенел, словно ушибленный громом.

— Господи, прости мое прегрешение,— вскричал он, крестясь,— кто лишь раз видал барыню и взглянет на вас, Андрей Александрыч, скажет, вы ее сын, как две капли воды схожи одна с другой. И Тихоновна! Перед смертию продала душу лукавому! Ела барский хлеб, была одета, пригрета, одарена и пустилась на такое беззаконие, стакалась с вашими врагами!

— *Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела,*— промолвил священник.

— Это явный подлог! — вскричал Андрей.— За неделю поверенный князев предлагал мне невесть что за село Воздвиженское и вслед за тем оспаривает у меня право на владение. Будь иск справедлив, кто велел бы ему сулить мне золотые горы?

— Слова нет, Андрей Александрыч,— возразил отец Григорий,— но если нет других доказательств в законности вашего рождения, этого одного недостаточно. Истец не Белозубов, а Терентьич. Мы оба, знавшие Веру Петровну, готовы подтвердить присягой ваше с нею сходство, но в суде и этим свидетельством не удовольствуются. Природа так играет наружностию человека, что иногда людей, друг другу совершенно чужих, творит похожими. Мой совет съездить вам самим в Тихвин. Исследуйте на месте весь ков. Николай Федоров пускай вам сопутствует. Отыщите отца Петра. Расспросите, что сталось с Тихоновной. Существуй подмен действительно, надлежало б ей иметь помощников. Она была в то время родильницей и сама не могла встать с постели, а в извете упоминают об ней одной. Между тем попросите у воеводы отсрочку, и, если не соизволит, перенесите дело в Сенат. Там, пока дойдет до него очередь, вы, может быть, успеете что разведать.

Горбунов пристал к мнению отца Григория. Велит дядьке приказать приготовить коней, чтоб на другой день отправиться в путь, вознамерившись заехать сперва в Евсеевское успокоить семью Луки Матвеевича. Несчастный! Не знал, что в это время дом нареченного тестя был уже для него заперт.

ГЛАВА VII

Белозубов, радея о выгодах своего милостивца, не пренебрегал собственными. Почитая брак с богатой наследницей верным путем к достижению независимости, давно метил на союз с будущей владычицей Евсеевского, но мыслил: «Окрестные помещики — или старики, для которых прошла пора женитьбы, или люди ничтожные, кои не посмеют простереть видов на дочь Луки Матвеевича, высокого рождения, владельца трехсот дворов. Варенька же еще ребенок, цветок нераспустившийся и добыча верная в глуши, где нет опасных соперников. Будет-де еще время объявить свое притязание». Можно посудить, каково ему

было, когда узнал о помолвке Вареньки за Горбунова. «Ужели суждено,— вскричал с негодованием,— что этот щенок, мальчишка с не обсохшим на губах молоком, был мне во всем помехой?» Едва известился о решении воеводы новогородского на извет Терентьича, спешит в Евсеевское.

— Милости просим! — молвил Лука Матвеевич, когда Белозубов, приказав наперед доложить о себе, вошел в гостиную.— Очень рады. Давно вас не видать, Степан Михайлович!

— Дела не позволяли мне навестить вас в день рождения Варвары Лукинишны,— отвечал гость.— Я провел все это время в Новегороде.

— Что нового слышно в Новегороде?

— Все старое-с, разве одно, о чем, думаю, вы уже сведомы: неприятный случай с нашим новым соседом Горбуновым.

— С Андрей Александрычем, моим нареченным зятем? — прервал с беспокойством хозяин.— Что такое, батюшка Степан Михайлыч?

— Как? Вы сговорили за него Варвару Лукинишну? — спросил с притворным удивлением Белозубов.— Нелегкая же привела меня объявить вам столь печальную новость.

— С нами крестная сила! Уже не уголовное ли дело? — молвил Лука Матвеевич, час от часу в большем страхе.— Скажите, батюшка, что такое?

— Был у них в доме,— продолжал Белозубов,— какой-то подьячий, как бишь, Трифонов, Терентьев, не вспомню?

— Терентьич, батюшка Степан Михайлович! Знаю, он хаживал и по моим делам.

— Этот Терентьич, извольте видеть, бил челом воеводе, что Андрей Александрыч не сын Александра Семеныча Горбунова, а подкидыш: родился-де от мещанки, которая служила у них в доме в мамках, и на сем основании требует, чтоб его вотчину, село Воздвиженское с деревнями, отобрать на государя.

— Горбунов подкидыш! — сказал Лука Матвеевич, заминаясь и будто не смея выговорить.— Андрей Александрыч сын мещанки! Степан Михайлыч, уже не ошиблись ли вы?

— Я и сам бы тому не поверил,— ответствовал Белозубов,— но поверенный мой в Новегороде прислал мне вчерась указ воеводы. Вот он,— продолжал гость, подавая хозяину бумагу.— Оставьте его у себя, если угодно. Впрочем, извет, может быть, ложен, и Андрей Александрыч успеет доказать его несправедливость.

В тогдашнее время в России почти не было дворянства по заслугам. При царях, в существование местничества, примеры людей, вышедших в люди из низкого звания, являлись чрезвычайно редко. Давность рода давала право на уважение; личные достоинства одни ставились ни во что. Имей иной все качества тела, ума, души, хватай звезды с неба — его презирали, если не поддерживал их длинным рядом предков. Посему можно судить, какое влияние имела речь Белозубова на Луку Матвеевича. Едва гость уехал, он с грустным лицом и сердцем побрел на половину сестры.

— Не в добрый час, сестрица княгиня Ирина Матвеевна,— сказал он, вошедши,— сговорили мы Горбунова за Вареньку. Ведь он не из дворян!

— Что такое? — вскричала княгиня Ирина, глядя брату в глаза.— Андрей Александрыч Горбунов, сын стольника Александра Семеныча, племянник окольничего Ивана Семеныча, не из дворян? В своем ли ты уме, батюшка?

— Вот то-то беда, изволишь видеть, сестрица, дело на поверку выходит не так. Андрей наш — сын не Александра Семеныча, а какой-то мещанки. Был у меня Степан Михайлович Белозубов: он лишь только что из Новагорода; слышал об этом у воеводы.

— Не прогневайся, батюшка Лука Матвеич! — ответствовала княгиня Ирина.— А я плохо верю твоему Степану Михайловичу. Про него идет слава, что не больно стоек на правду. Долго ли обнести человека?

— Я и сам было усомнился, да бумаге-то нельзя не верить. Он оставил мне список с указа воеводы.— Тут Лука Матвеевич развернул указ и, прочитав, промолвил: — Послушался я вас, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! А не худо было бы повременить сговором Варвары и Андрея.

— Ах, господи! — вскричала княгиня Ирина.— Кто же его, батюшка, знал? С виду и умен, и красив, чем не похож на дворянина? И кому верить, как не родному дяде?

— Ахти мне! Бедная моя головушка! — продолжал Лука Матвеевич.— Что мне прикажете теперь делать?

— О чем тут спрашивать? Отказ, да и только! Беды великой нет! И из-под венца расходятся. Ведь не быть же Вареньке за холопским сыном.

— Да, изволишь видеть, сестрица, молодец-то ей полюбился. Опечалить мне ее не хочется.

— Разлюбит, коли узнает, что не дворянин,— отвечала княгиня Ирина.

— Я чай, горевать будет, бедненькая!

— Погорюет, поплачет и перестанет. Полюбился один,

полюбится и другой! Что за баловство? Иной подумает, братец, ты не между людьми живешь. Нас выдавали не спросясь, и прожили милостию господней как дай бог всякому! Думать не о чем. Садись и пиши к Горбунову, что свадьбе не бывать!

Покорный велениям сестры, старшей летами, Лука Матвеевич присел за письменный стол: начинал, разрывал листы и наконец составил следующее послание:

«Государь мой, Андрей Александрович! Степан Михайлович Белозубов привез мне из Новагорода весть о неприятном случае, какой вас постиг. Сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, полагает, что после того вам нельзя быть включенным в нашу семью. По ее воле, возвращая при сем подарки, учиненные вами моей дочери, покорно прошу вас считать все обязательства с нашим домом прерванными».

Письмо было кончено, но предстоял подвиг более трудный — надлежало известить Вареньку о происшедшем, истребовать ее согласия на разрыв. Лука Матвеевич любил дочь нежно и, должно отдать ему справедливость, охотно искупил бы лучшей собакой или конем малейшее ее огорчение. Но мысль, что нареченный его зять холопский сын, и боязнь гнева грозной сестрицы, к уважению которой привык с детства, придали ему бодрость. Медленными шагами потянулся в светелку Вареньки.

Женщины, существа, созданные, чтоб составлять с мужчинами одно, как истинно оправдываете вы свое назначение! Кто сравнится с вами в любви? С каким самоотвержением, с каким восторгом жертвуете вы богатством, почестями, всеми благами сего мира для услаждения участи того, с кем вы связаны! Как безропотно делите с ним все напасти! Для вас нет невозможного! От природы робкие, слабые телом и духом, вы, когда гроза висит над предметом вашей любви, одолевая естество, изумляете силою, крепостью, бесстрашием.

Варвара встала в тот день с счастливым расположением духа, какое только встречаем у девиц-невест. В ее передней портнихи, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне. Тихий шепот раз или два в утро, прерванный появлением приехавших из Новагорода купцов с тканями, жемчугом, нарядами для новобрачной. Собственная ее светелка оправдывала сие название господствовавшими повсюду порядком и опрятностью. Вы увидели бы тут и кровать под пологом зеленого штофа, подобранного под тень узорчатых бумажных обоев; и лоснившийся уборный столик дубового

дерева с круглым подвижным зеркалом в дубовых же резных рамах; и в углу кивот с иконами в горевших, как жар, вызолоченных окладах и теплившеюся перед ними лампадою, по сторонам столика большие сундуки, обитые светлой жестью, заключали наряды бабушки и матушки, перешедшие по наследству, дабы составить часть приданого; наконец, несколько увесистых стульев с высокими круглыми спинками дополняли убранство комнаты. Четыре сенных девушки за пяльцами вышивали под надзором няни Ивановны, женщины дородной, румяной, взлелеянной в недрах барского дома, вскормленной на господском столе и по праву пестуна барышни пользовавшейся преимуществами, коих не имели другие слуги. Няня заведовала чаем и серебряной посудой, подавала голос в совещаниях о делах семейных, блюла за порядком, тишиной и нравственностью многолюдной женской челяди, была советником и поверенным барышни. Ивановна, в синем платке с золотыми цветами и штофной телогрее, сидела на низкой скамейке за прялицей у ног Вареньки. Варенька у окна, перед коим вилась дорога в Воздвиженское, нарядная, как невеста, в узком кирасе и широком атласном роброне, с убранными á la Fontanges [1] волосами, горевшим от удовольствия лицом, закрепленным алмазной пряжкой жемчужным ожерельем на шее и запястьями сканого золота, подарком жениха, также за пяльцами выводила серебром цветы по голубому бархату, в котором хотела, чтоб Андрей явился под венцом. Пробило десять — заглядывает в окно. Смотрит в него чаще, чаще. Наконец иголка покинута, работа брошена. Варенька с устремленными на дорогу очами — вся ожиданье. Как радостно билось сердце, когда, бывало, завидит издали черное пятнышко, потом отличает всадника, и Андрей, словно писаный, на вороном Арабе, то плавно несся стройным лебедем, то, дабы выказать ловкость, поднимал коня на дыбы и, прежде чем Варенька успела от страха вскрикнуть, пустившись стрелой, становился будто вкопанный перед возлюбленной. Лицо ее то светлеет надеждой, то вдруг опять подергивается туманом, когда обманывала ожидания пыль, взметенная вешним ветерком или поднятая крестьянином, медленно тянувшимся на барский двор с возом снопов. Пробило одиннадцать.

— Ивановна! Что-то не видать моего Андрюши! Бывало, об эту пору он давно тут.

---

[1] Убор волос, так названный по имени девицы de Fontanges, которая явилась в нем при дворе Лудовика XIV. (*Примеч. А. О. Корниловича.*)

— Эх, дитятко! Что тут за диво? — возразила няня.— Вотчина у него не малая; дел полон короб. А нынче, вишь, он один. Терентьич ведь бежал от них.

Варвара взялась за иголку. Прошло еще полчаса.

— Нянюшка, мне грустно! Сердце что-то вещает недоброе! Уж не занемог ли Андрюша?

— С нами крестная сила! Что тебе привиделось, моя родная? Мало ли что может приключиться? Явись к Андрею Александровичу человек чужой, ведь не выгнать же гостя!

Миновалась пора обеденная, наступал вечер, а жених не показывался. Наконец, когда подали свечи, Варвара услышала в девичьей мужские шаги. Бежит навстречу и, завидев отца:

— Батюшка,— говорит,— что это сделалось с моим Андрюшей? Я вся не своя. Выглядела все очи, а его нет как нет. Был бы занят делами, прислал бы сказать. Верно, занемог!

— Не быть тебе, Варенька, за Горбуновым! — с грустью молвил Лука Матвеевич.— Он не из дворян!

— Что вы говорите? — с изумлением спросила дочь, как бы не веря слышанному.

— Он не из дворян, сын мещанки,— повторил отец.

— Мой Андрюша? Кто взвел на него эту небылицу?

Отец вместо ответа подал ей указ новогородского воеводы.

— Откуда у вас эта бумага? — сказала Варвара, быстро пробежав указ глазами.— Кто ее привез вам? Знаю, здесь был Белозубов. И вы ему верите? Неужели не знаете, что Белозубов искони враг Горбуновым?

— Враг ли он или нет, Варенька, и все-таки Андрей Горбунов не дворянин.

— Стыдитесь, батюшка! Вам бы следовало заставить молчать злые языки, а вы им потакаете, повторяете их нелепости! О мой бедный Андрюша!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, Варенька, что тебе не бывать за холопским сыном. Я отказал ему от дома и пришел взять у тебя его подарки.

— Как? — прервала дочь.— Разве не вы сами благословили нас образом богоматери? Батюшка,— продолжала она с укором,— изменить в слове людям стыдно, изменить богу грешно!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, что даже из-под венца расходятся.

— Батюшка! — медленно молвила Варвара.— Я ваша дочь и должна вас слушаться, однако ж есть предел роди-

тельской власти. Вы можете не выдавать меня за Андрея, но я перед богом была ему обручена и останусь его невестой до смерти.— За сим, обратившись к няне, которая глядела на происходившее, смиренно сложив руки, повелительным голосом, словно давая знать, что не потерпит возражения: — Ивановна! — говорит,— завтра чем свет отправься к Андрею Александрычу, скажи ему, что я не верю клевете и хочу с ним сама проститься у Ольгина пруда.

Няня, изумленная решимостью барышни, не смея ни отказать, ни согласиться в присутствии барина, отвечала:

— Как его милость молвить изволит.

Но изумление его милости было гораздо сильнее. Сам он не имел понятия о любви. Семнадцатилетнего привезли в церковь, поставили рядом с девицей, которой дотоле не видал в глаза, и, обведши три раза кругом налоя, приказали ему любить жену, как душу свою. Он исполнил повеленное по своему разумению: в десятилетний брак и мыслию не изменил верности супружней. Когда же увидел, что Варенька, незадолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, вместо вздохов и слез являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся.

— Делай что тебе приказывают! — сказал няне Лука Матвеевич.

ГЛАВА VIII

На другой день, едва Андрей проснулся, вошел к нему Николай Федоров с извещением о прибытии гонца из Евсеевского. «Этого только недоставало! — вскричал Горбунов, прочитав письмо бывшего нареченного тестя.— Неужели и Варвара мыслит одно с отцом и теткой?» Еще раз взглянул на письмо: о дочери не упоминалось в нем ни полслова. Посмотрел на подарки, которые дядька выложил между тем на стол: лежали тут шелковые ткани, бухарские платки, жемчуг, румяны — не было одного золотого колечка, освященного прикосновением к персту св. великомученицы Варвары, которое Андрей получил в наследство от матери и наложил на палец возлюбленной в день сговора. «Так! — сказал он со вздохом.— Ее принудили к разрыву, но сердцем она мне не изменила!»

Внезапный стук привлек его к окну. Одноколка взъехала на двор, и няня Ивановна с видом торжественным, словно министр, идущий на переговоры, от коих зависит

судьба государства, в шелковом шушуне и богатом платке ступила на крыльцо.

— Ох, нянюшка, нянюшка! — вскричал Андрей, бросившись к ней с распростертыми объятиями.

— Позвольте-с, батюшка Андрей Александрыч! — прервала с важностию няня, не допуская его к себе рукой. Потом, сотворив молитву, продолжала, не переводя духу, как рядовой, когда, сменившись с часов, доносит старшему: — Варвара Лукинишна изволила прислать меня к вашей милости доложить, дескать, что она не верит-с наговорам людским и хочет, дескать, сама проститься с вашей милостью у Ольгина пруда-с.

— Я был уверен,— произнес с восхищением Горбунов,— что Варенька мне не изменит! Здорова ли она?

— И, батюшка Андрей Александрыч! — ответствовала Ивановна, перешед к обычной говорливости.— Не дай бог и ворогу! Пришел вчерась барин, ни слезинки не выронила. Чуть он за дверь, бросилась на постелю и ну плакать! И к ужину не пошла-с, не изволит кушать, моя сердечная, на свет божий не глядит, все горюет. Уж я-то с ней примаялась: и кивот уставила свечками, и перед Спасом клала земные поклоны, и ей-то говорю: «Не губи себя и нас, дитетко! Не греши против бога! Милость господня велика! Все переменится! Не думаешь, не гадаешь, жених твой поведет тебя к венцу». Нет! Ничего не помогло: мечется, родная, из стороны в сторону, только и молвит всего: «О мой бедный Андрюша!» Не погневайся, ваша милость! Наконец, к свету, слава тебе господи, немного уснула.

Андрей, у коего при слушании сего рассказа, в котором каждое слово говорило о любви Варвары, навернулись слезы умиления и участия, молвил:

— Присядь, няня! Ты, чай, натощак. Обогрейся, напьемся вместе чаю!

— Покорно благодарим-с, батюшка Андрей Александрыч! Но мешкать-то мне некогда-с. У девиц сон, изволишь видеть, недолог: барышня, чай, пробудилась и меня дожидается. Прощенья просим, батюшка Андрей Александрыч!

Вскоре после отъезда Ивановны подвели оседланных коней к крыльцу. Многолюдная челядь, старый и малый, столпились перед домом проститься с молодым барином. Андрей в дорожной однорядке с ружьем, прикрепленным к седлу, и парой заряженных пистолетов в чушках, предосторожность, без коей в то время не выезжали из дому, сопутствуемый Николаем Федоровым в широком плаще, по отслушании молебна, иных допустив к руке,

иных приветствовав, кого милостивым словом, кого наклонением головы, при благословении отца Григория и желаниях счастливого пути от дворни, оставил Воздвиженское. Вскоре показались березы, осенявшие Ольгин пруд. Горбунов ускорил бег коня, завидев между березами нечто белеющееся. На сем самом месте он встретился с Варварой впервые, когда с веселой беспечностию красовалась как пава в толпе сверстниц. Накануне еще счастие играло на ее щеках: ласкавшие воображение мечты так были сладостны. Тут же, бледная, с впалыми от бессонной ночи очами, цветок, убитый морозом, представилась ему тенью прежней Варвары.

— Я хотела видеться с тобою, мой милый,— сказала она медленно, когда, соскочив с аргамака и бросив поводья Николаю Федорову, Андрей побежал к ней,— проститься с тобою, прежде чем нам расстаться.

— Злые люди разлучили нас, Варенька! Но ненадолго. Я обнаружу коварство, выведу на свет все козни. Прошу тебя одного: успокойся, крепись и надейся на бога! Враги мои сильны, но господь не попустит восторжествовать неправде.

— Ах, дай бог,— промолвила Варенька со вздохом, набожно сложив руки.— Куда ты это едешь, друг мой?

— Теперь в Тихвин, потом должен буду отправиться в Санкт-Петербург.

— О да сопутствует тебе господь и пресвятая богородица! — вскричала она, бросившись к нему и обливая его слезами.— Друг мой! Бабушка, умирая, благословила меня этим образом Иверской божией матери.— Тут надела она на него оправленный в золоте образок.— Да сохранит он тебя от всякой напасти! Носи его в память своей Варвары, молись ему. И я с тобой буду молиться!

Они слились устами и несколько времени пробыли обнявшись. Наконец Андрей, более твердый, с тяжелым вздохом отторгнулся от любезной. Медленно удалился, долго еще не покидал Варвары взорами. Наконец образ ее становился час от часу меньше, меньше, исчез белым пятнышком в туманной дали, и Горбунов, болея сердцем, понесся по излучистой дороге.

На четвертые сутки, время было пасмурное, при въезде в дремучий бор, Николай Федоров, который, чтоб разогнать грусть барина, не раз уже заводил речь и не получал ответов, молвил будто про себя:

— Слава тебе, господи! Наконец доехали. Авось господь приведет сегодня ночевать в Тихвине.

— Разве мы недалеко от города? — спросил Андрей.

— Этот лес тянется под самый Тихвин,— отвечал дядька.— Здесь, бывало, в старые годы, Андрей Александрыч, не приведи бог, проезда нет ни днем, ни ночью. Только и слыхать о разбоях. Иначе не отправлялись как обозом, и солнце еще высоко, а уж смотрят, как бы добраться до ночлега. Купец ли с товаром, крестьянин ли с запасом приедут в Тихвин — прямо с воза в церковь отслужить молебен пресвятой богородице, что ее заступлением остались здравы и невредимы.

Едва он кончил, раздался выстрел. Николай Федоров повалился с коня. Андрей хочет броситься к дядьке на помощь — другая пуля просвистела мимо его ушей, и аргамак, почуяв опасность, взвился на дыбы и помчался вихрем. Горбунов опомнился, только чтоб услышать за собой погоню. Оглядывается, три всадника, с ног до головы вооруженных, скачут за ним во всю прыть. Мешкать было некогда, сопротивление невозможно. Поворачивает на выходившую из леса тропинку и отдает себя на волю коня. Под ним, свидетели многих поколений, покрытые мхом и сросшиеся с землею пни звенят от копыт, листья хрустят, ветви хлещут, царапают лицо; впереди трущоба все чаще, чаще, темная и в ясное солнце, тогда же еще мрачнее; над головой носятся тяжелым полетом тетерева, испуганные необычайным шумом, и вороны карканием приветствуют наступление сумерок. Но Андрей ничего не слыхал, не чувствовал, мыслил только о сохранении жизни. Наконец лес стал редеть, конь умерил бег, и всадник перевел дух. Тут впервые пришло ему на память случившееся: вспомнил о дядьке и горько всплакался. Николай Федоров учил его ходить, лелеял его детство, ходил за отроком и потом служил ему так усердно, как только мог. Из многолюдной челяди, которая досталась ему в наследство после дяди, Николай Федоров был один предан ему душою, один знанием обстоятельств семейственных мог пособить ему в тогдашнем положении. Тяжело вздохнув, «Да будет воля твоя, боже! — произнес он наконец.— Дай ему царство небесное! Благодарю тя, господи, что меня спас от руки злодеев». Между тем ночь спустилась на землю. Андрей очутился на небольшой поляне и, завидев вдали огонек, чувствуя нужду в отдохновении себе и коню, тихой рысью пустился к одинокой в лесу избе.

Он въехал в околицу, привязал коня к изгороде.

— Нельзя ли у вас, голубка, пообогреться и перекусить чего-нибудь? — спросил у женщины, которая на стук в окно вышла к нему с горящей лучиной.

Незнакомка несколько времени смотрела ему в лицо, как бы удивленная, что видит странника в такой глуши, и наконец отвечала:

— Взойди, кормилец!

Изба, в которую ступил Андрей, ничем, кроме обширности, не отличалась от тех, какие видим ныне в деревнях. Но кровать под холщовым занавесом, заменявшая полати, окна, в которых вместо стекол были кусочки слюды, скрепленные выведенными в узор жестяными пластиками, и несколько медной посуды на полках показывали, что хозяин не простой поселянин. Между тем как странник с любопытством и сомнением осматривал место своего ночлега, хозяйка положила на стол каравай хлеба, поставила с солонкой вынутую из большой печи корчагу щей, горшок гречневой каши и, поклонившись, молвила:

— Милости просим, батюшка! Кушай на здоровье! Чем бог послал!

Утолив первый позыв к пище:

— Неужели ты здесь, молодка, одна? — спросил Андрей у хозяйки, которая, приклонившись к печке и подперши голову рукою, на него глядела.

— Мать со мною, кормилец, живет не живет. Злая немочь мучит сердечную: ноги не поднимет, рукой не пошевелит, языком не перемолвит. Хозяин уехал в Тихвин да замешкался. Чай, сегодня уж не будет.

— И тебе не страшно оставаться одной в таком захолустье? — продолжал Горбунов.— Кругом жилья не видать, а в лесу у вас неспокойно.

— Эх, родимый,— ответствовала хозяйка.— От лихого человека нигде не убережешься! Мы жили в городе, да и там злые люди подожгли избу. Ночью тревога, оборони бог! Все дотла сгорело; сами еле живы остались. Здесь же милует господь. Вот уже полтора года ничего не слыхать!

— А далеко ли отсюда до города?

— А бог весть! Мы сами туда не ездим. Бают, коли до свету отсюда выедешь, приедешь в Тихвин к обеденной поре.

Скромный ужин кончился. Горбунов помолился и, бросив несколько копеек на стол, промолвил:

— Спасибо, голубушка, за хлеб за соль!

— На здоровье, батюшка,— ответила молодица.— Что это? Деньги? Возьми их назад, кормилец! — продолжала она с неудовольствием.— Слава тебе господи! И без твоих копеек есть у нас чем накормить проезжего!

Между тем в люльке, повешенной на длинном, при-

крепленном к печи шесте, запищал младенец. Мать поспешила успокоить его грудью. Андрей, измученный дорогой и треволнениями дня, пустив коня свободно по двору, положил себе в головы, в углу избы, под иконами, седло, протянулся на лавке и, пожелав хозяйке доброй ночи, скоро заснул глубоким сном.

Перед рассветом пробудил его внезапный блеск. Глядит, не верит глазам. Старуха, бледная как мертвец, у коей лета и болезнь избороздили глубокими морщинами лицо, осененное длинными космами седых волос, в беспорядке ниспадавших из-под изорванной кички, в рубище, до половины прикрывавшем иссохшую грудь, держа дряхлою рукою горящую лучину, вперила в него серые, сверкающие очи. Невольный холод обнял Андрея. С ребячества он слышал о ведьмах, колдуньях, леших — всех существах, коими досужее воображение наших предков населяло мир мечтательный. Существованию их тогда верили, и Андрей разделял заблуждения современников. Ободрился, однако ж, заметив, что старуха творит молитву: нечистая-де сила боится креста. Привстал и хотел было приветствовать мнимую колдунью, но она подала знак к молчанию и, схватив его окостеневшими пальцами за руку, вывела на двор.

— Что за нелегкая принесла тебя сюда? — сказала она осиплым голосом, между тем как Андрей седлал коня.

— Еду в Тихвин, бабушка, и сбился с дороги.

— А зачем тебе в Тихвин? — продолжала старуха.

— Долго рассказывать. Не слыхала ли ты про отца Петра?

— А на что тебе отец Петр?

— Послушай, бабушка,— молвил вместо ответа Андрей.— Жил здесь в Тихвине стольник Горбунов...

В это время послышался поблизости конский топот. Старуха, вероятно от испуга, зашаталась и, как показалось Андрею, упала. Он сидел уже на аргамаке и, вообразив, что подъезжают разбойники, накануне за ним гнавшиеся, быстро понесся по тропинке, ведшей в Тихвин.

ГЛАВА IX

На берегах Невы красовалась новая столица России, возникшая по мановению Петра из болот финских и уже в то время, семнадцать лет после основания, обширностью и красотой изумлявшая иноземцев. Весь левый берег реки от Смольного двора, где ныне Смольный монастырь, до

Новой Голландии был застроен. В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-интендантская контора), Литейный двор, не переменивший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство, здание глиняное с деревянным шпицем и двуглавым орлом на вершине, окруженное валом и рвом; каменный Исаакиевский собор, в то время еще не достроенный, и, наконец, на месте нынешнего Сената австерия князя Меншикова. Вообще странная пестрота и разнообразие: домы каменные подле деревянных или мазанок, построенных из фашиннику и глины; крыши железные или муравленой черепицы подле тесовых; здания высокие с мезонинами, бельведерами, четвероугольными и круглыми, всеми затеями тогдашней причудливой архитектуры, обок низких лачужек. Великолепные ныне Малая Миллионная и обе Морские заселены были адмиралтейскими служителями, завалены лесами, канатами, смоляными бочками. Левую сторону Невского проспекта, и в то время уж обсаженного деревьями от мостов Зеленого (Полицейского) до Аничкова, занимали иноземные ремесленники; на правой виднелись Гостиный двор (ныне дом графини Строгановой) и деревянный собор Казанския божия матери. Пространство от Аничкова моста до Александро-Невского монастыря, тогда еще строящегося, занимали слободы Аничкова, заселенные солдатами его полка, и Ямская. Из прочих зданий в сей стороне замечательны были на левом берегу Фонтанки Итальянский дворец, в коем до вступления на престол жила императрица Елисавета, и дом графа Шереметева, еще не доконченный. Впрочем, Адмиралтейская сторона, составляющая ныне главную часть Петербурга, почиталась тогда предместьем: центром города была так называемая Петербургская сторона. Там, кроме крепости, еще деревянной, с множеством ветряных мельниц на валу, и соборов Петропавловского и св. Троицы, красовались, между прочим, каменные палаты графа Головкина, Брюса, Шафирова, князей Долгоруких, Кикина и особенно дом князя-папы, Ивана Ивановича Бутурлина, замечательный по колоссальному Бахусу на бочке, занимавшему в крыше место фронтона. Впрочем, на нем не было ни колонн, ни фронтонов, никаких вообще украшений, которых требует от больших зданий изящная простота нынешней архитектуры.

Но все строения Петербурга превосходил великолепием и обширностью на Васильевском острову дворец владетельного князя Ингрии, Эстонии и Ливонии генерал-фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, составляющий ныне часть стороны 1-го кадетского корпуса, которая обращена на Неву. Сей любимец Петра, самый усердный, самый деятельный его сотрудник в подвиге преобразования России, красавец телом, исполин духом и умом, на поле бранном отважный ратник, прозорливый полководец, в Государственной думе советник проницательный, дальновидный, исполнитель без медления, усталости и отдыха, по уставу природы, которая, дабы явить беспристрастие, не раздает доблестей великих без великих слабостей, имел главным недостатком непомерную, с каждым днем усиливающуюся алчность почестей и корысти. От сего покровитель щедрый, заступник ревностный своих приверженцев, гонитель непримиримый противников стяжал себе в кругу первостепенного русского дворянства многочисленных врагов. Пока жил Петр, пока властвовала Екатерина, высокий, корнистый дуб смеялся бурям, бушевавшим у подошвы и не дерзавшим сягать до вершины, в державу Петра II рухнул, на высоте могущества не столь великий, как в падении, когда на крае земли, во льдах Сибири, некогда нареченный тесть императора, с духом покойным и ясным челом, полудержавными руками срубил церковь, в которой и покоятся останки Великого.

В отдаленной половине князева дома, в небольшой, слабо освещенной комнате сидели у круглого стола за кубками вина двое мужчин; один, развалившись в широких покойных креслах, другой против, на стуле, являя в наружности середину между почтительностию и простым обращением.

— Ну, Терентьич,— сказал первый, полня кубок собеседника,— перестанешь ли наконец трусить? Ведь в Сенате решили и приговорили дело по-нашему.

— Да еще не подписали, Степан Михайлыч! *Не хвалися о утрие, не веси бо что родит находяй день*, гласит премудрый царь Соломон. По моему разумению, дело тогда кончено, когда увижу благодатную подпись *исполнить*. Горбунов здесь и завтра, изволите видеть, хочет подать новую челобитную в Сенат. А ведь он был в Тихвине, и кто ведает, не доискался ли следа?

— Полно тебе прикидываться! — возразил первый, в котором читатели наши, конечно, узнали Белозубова.—

Толкуй другим! Мне ли тебя не знать? Что ты завяжешь, того и сам лукавый не распутает.

— Молодец-то не таков, Степан Михайлыч, чтоб его легко провести,— молвил Терентьич.— С ним держи ухо востро. Но меня более беспокоит Николай Федоров. Наши, как его повалили, до ночи гнались за барином; воротились, ан убитого на дороге нет. Справлялись в околотке, а там и видом не видали, и слыхом не слыхали.

— Вздор, братец! Все пустое мелешь,— прервал Белозубов.— Ну кому придет в голову, что это твое дело? Ты, вишь, виноват, что по дорогам грабят и убивают проезжих?

— У вас все вздор, все пустое,— сказал тоненьким голосом Терентьич,— и не диво, вы за стеной. Придет до расправы: Степан Михайлыч в стороне, а Терентьича, раба божия, потянут на дыбу. Степан Михайлыч ни о чем не знает, не ведает, Терентьич за все про все отвечай!

— Ах ты, негодная приказная строка,— вскричал в гневе Белозубов.— Смотри, пожалуй, он еще недоволен. Много ли ты выслужил в десять лет у Бердыша? Явился ко мне оборванный, в истертом кафтане, гол, как ладонь. Посмотри же теперь на себя. Иной с виду и впрямь подумает, что ты человек порядочный!

— Да я не жалуюсь, Степан Михайлыч,— пропищал подьячий.— Вы есть и были мой милостивец. Оно только так, к слову пришлось.

— Однако ж,— молвил Белозубов,— шутка плохая, если Горбунов успеет до подписи приговора подать свою челобитную. Съезди-ка завтра раненько к обер-секретарю.

— Да, изволишь видеть, Степан Михайлыч, народ-то у вас больно мудрен. У нас в воеводстве, будь лишь в дело замешана казна, она уж непременно выиграет, дари не дари. А здесь говорят тебе: царь-де не хочет неправосудия. Что казенное, то казенное, что обывательское, то обывательское. Намеднись нелегкая понесла меня намекнуть обер-секретарю о благодарности, он взбеленился и так на меня напустил, что я не знал, куда деваться. Жизни не рад, что обмолвился.

— Бестолковая голова,— прервал Белозубов.— Тебе только и таскаться по уездным да воеводским канцеляриям. Вели-ка завтра заложить в одноколку пару моих вятских. Когда будешь у обер-секретаря, постарайся в разговоре притащить его к окну да невзначай заведи речь о лошадях. Он неравно спросит о цене. Я заплатил за них

сто рублей; ты же скажи, они тебе стоят пятьдесят, а с него-де возьмешь половину. Он тебе даст обязательства, может быть, выложит чистые. Улики нет, он-де купил и прав. А о деле уже не поминай и не беспокойся! Он не бит в темя, и не тебе его учить! Сам сумеешь все сладить.

— Век живи, век учись,— отвечал Терентьич, взявшись за шляпу.— Покорно вас благодарю, Степан Михайлыч!

— Выпей последнюю на сон грядущий,— промолвил Белозубов. Они осушили в заключение беседы по кубку вина и разошлись на покой.

ГЛАВА X

На другой день после приведенного нами разговора Андрей явился у сенатского обер-секретаря Приволгина. Немногим пособила ему поездка в Тихвин. Неопытный, утратив в Николае Федорове полезного советника, который помог бы ему в разысканиях, сам ничего почти не узнал. Отец Петр скончался за два месяца. Из дворовых людей его отца одни, поступив с имением в казенное ведомство, были усланы, другие сами разбрелись в разные стороны. О бывшей мамке Палагее Тихоновой не умели также сказать ему ничего верного. Жила в Тихвине, была больна и, как полагали, сгорела во время пожара. Одно показалось ему замечательным: с Тихоновой жила девка, слывшая под именем ее дочери, меж тем как Терентьев в извете показывал, что ее дочь умерла вскоре после рождения, но и сие обстоятельство, одно, основанное на слухах, ни к чему не могло ему послужить. При всем том, однако же, решился обороняться, сколько мог. Изложив все подозрения свои в лживости извета со смелостию, внушенною чувством правоты и грозившей ему крайностию, явился с челобитною, как мы выше сказали, у обер-секретаря.

Приволгин, мужчина лет пятидесяти, важной, строгой наружности, принял Андрея с возможной вежливостию, снисходительно выслушал его объяснения, дал ему несколько полезных советов. Андрей, очарованный сею приветливостию, сообщил ему свою челобитную. Обер-секретарь, прочитав ее, похвалил бесстрашие юноши:

— Государь наш,— продолжал он,— хочет правды, и не сомневаюсь, обратит внимание на ваше прошение. Долг службы воспрещает мне сказать вам, в каком состоянии дело, но, принимая участие в вашем беззащитном положе-

нии, позволю себе присоветовать, повремените несколько дней. Люди не без слабостей, и, чтоб успеть с ними, надобно им несколько потворствовать. У нас же скопилось ныне множество дел. Вашу челобитную примут, потому что не могут в этом отказать, но примут с предубеждением. Впрочем, не принимайте совета за понуждение, я нимало не хочу стеснять ваших поступков, действуйте как заблагорассудите, я сказал только вам свое мнение, основанное на знании лиц, от коих зависит участь дела.

Андрей, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, последовал совету, столь благонамеренному, и чрез несколько дней, пришед в Сенат для узнания об успехе, получил от Приволгина обратно, к великому его сожалению, свою челобитную с надписью, что дело уже решено.

Знакомо ли вам, любезные читатели, состояние души после сильного, непредвиденного удара, когда вся кровь поднимается к сердцу: вас что-то давит, душит, жжет, исчезают мысль, память, все чувства, минувшее, настоящее, будущее сосредоточиваются в гнетущее вас несчастье? Состояние убийственное, которого человеческая природа не могла бы выдержать, если б, по благости провидения, оно не было кратковременным. В таком положении был Андрей, когда вышел из Сената. Ничего не помня, не видя, не слыша, он быстро несся из улицы в улицу, из переулка в переулок, куда, зачем? Сам не ведая. Солнце садилось. Он почувствовал усталость и, увидев перед собою открытое здание с надписью «Австерия его царского величества», вошел туда для отдыха.

Образ жизни наших дедов был не тот, что ныне. В царствование Петра I присутствие в казенных местах начиналось летом в шесть часов, кончалось в двенадцать. Государь вставал в три часа утра, в четыре выходил для обозрения городских работ и возвращался во дворец около полудня; а дабы от девятичасового воздержания не ослабеть, повелел учредить в трех концах города трактиры, куда заходил перекусить: один в своем кабинете редкостей (ныне Музей императорской Академии наук), находившемся в то время у Смольного двора, другой неподалеку от тогдашней Канцелярии Сената, на площади собора св. Троицы (что на Петербургской стороне), а третий поблизости от Адмиралтейства, где ныне здание Сената. Последние два трактира назывались *австериями* — первая царской, вторая австерией князя Меншикова, потому что сей вельможа, переправляясь чрез Неву из своего дворца на Адмиралтейскую сторону, к ней всегда приставал. Обыкновенный завтрак

Петра состоял из рюмки водки и куска ржаного хлеба с солью. Все люди, порядочно одетые, имели право на вход в австерию и на ту же порцию, которая и выдавалась им за счет государя. За прочие требования платили по таксе, подписанной самим царем. Петр поощрял собрания в австериях, полагая оные в числе средств к сближению сословий, дотоле разделенных местничеством.

Андрей вошел в обширную приемную. За решеткою, как в иностранных трактирах, стоял хозяин, толстый, румяный мужчина, впереди множество слуг, готовых к удовлетворению требований гостей. На столах в разных концах залы бутылки с винами, табак, голландские глиняные трубки, шашки и шахматы. Кругом в облаках дыма люди, высокие и низкие чином, военные, статские, шхипера, иностранные ремесленники играют, беседуют, шумят, спорят.

Андрей сел отдельно в углу и, подперши голову руками, погрузился в думу. Тут представился ему весь ужас его положения. Давно ль, вотчинник обширных поместей, он был одним из самых значительных лиц в округе, ныне — безродный, бесприютный сирота: ни кровных, ни друзей, никакой помощи, утешения, нечего терять, не на что надеяться. Одно существо во всем мире его любило, одно принимало в нем участие, и с ним он был разлучен, может быть, на всю жизнь. «Бедная Варенька,— помыслил он,— тебя ласкает теперь надежда, что твой Андрюша разрушит ков злых людей; что станется с тобой, когда узнаешь, что он жертва их ухищрений? Изноешь, сердечная, от тоски!»

Погруженного в сии грустные мысли пробудил раздавшийся позади радостный клик:

— Горбунов, любезный Горбунов! — И с сими словами высокий мужчина в мундире Преображенского полка бросился к нему на шею.

— Здравствуй, Желтов,— молвил Андрей медленно, оправившись от первого изумления,— но не зови меня Горбуновым, а то неравно обнесут тебя как преступившего царский указ.

— Что с тобой, любезный,— вместо ответа спросил с беспокойством воин, глядя собеседнику в очи,— ты не болен ли, мой милый?

— Ах, как бы я хотел, чтоб это был бред горячки,— сказал со вздохом Андрей.— К несчастью, говорю горькую истину: я более не Горбунов!

— Изъяснись, пожалуй! Что такое?

— Тяжко говорить об этом,— ответствовал Андрей.—

На, читай, все узнаешь,— и при сем подал ему из бокового кармана бумагу.

— Друг мой,— сказал Желтов, прочитав и возвращая Андрею челобитную,— дело твое, правда, не в завидном положении, но отчаиваться и грешно, и стыдно. Уверять мне тебя в искренности лишнее. Я еще помню, что ты в Новегороде избавил меня от розог и позора. Послушайся же доброго совета. Рано ли, поздно ли, тебе надобно служить: вступи к нам в полк. Царь, слова нет, доступен для всякого, но, служа в полку, которого он шефом, ты будешь иметь более случаев лично с ним объясниться. Притом он любит людей грамотных. Я, помнишь, был в школе плохой ученик, а теперь поручик оттого только, что поученее моих товарищей. А узнай он дело, так тебе и тужить нечего: он правосуден.

— Правосуден,— отвечал Горбунов, горько улыбнувшись.— Помнишь ли, любезный Желтов, в букваре, по которому учил нас чтению дьячок Никандр, в изречениях греческих мудрецов выражение: «Правосудие — паутина, которая задерживает малых насекомых и рвется от больших»?

— Нет, уж воля твоя, голубчик, а за это я тебе ручаюсь, что никакие козни, никакое лицеприятие на него не действуют. Не спорю, он может погрешить, но от неведения. Расскажи же ему дело, как оно есть, и он, не стыдясь сознания в ошибке, сам переменит свое решение. Право, послушайся меня, запишись к нам в службу!

— Любезный,— молвил Андрей, вполовину убежденный,— и этого мне теперь нельзя сделать. Злодеи принуждают меня отречься от своего отца. Под каким именем явлюсь я к вам в полк?

— За этим дело не станет! Я представлю тебя под именем *Безыменного*. Да где ты здесь живешь?

— На постоялом дворе, который при въезде первый мне попался.

— Этому быть не должно! Я ведь у тебя в долгу, любезный! Ты меня ссудил в час нужды всем, что имел. Переезжай ко мне! Нечего совеститься! — продолжал Желтов, заметив, что Андрей хотел возражать.— Я не тот бедняк, что был в школе: с наступлением совершеннолетия уволил почтенного дядюшку от опеки и теперь, слава богу, не без достатка. Да полно тебе кручиниться! Увидишь, все кончится благополучно! Эй, бутылку иоганисберга! — закричал он слуге.— Обновим, друг мой, приязнь стаканом рейнского!

Нежданная встреча с Желтовым оживила убитого грустью. Согретый дружбой и вином, Андрей поуспокоился и вышел из австерии рука об руку с приятелем, решив облечься на другой день в солдатский мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

ГЛАВА XI

Внутренний быт владельцев села Евсеевского изменился после разрыва с Горбуновым. Княгиня, приехавшая ко дню совершеннолетия племянницы, задержанная ее сговором, воротилась в свою ярославскую вотчину. Лука Матвеевич делил время между псарней и конским заводом. Варвара была уже не Варварой-невестой. Тихая грусть сменила прежнюю живую, беспечную веселость: в гостиной являлась только перед столом, прочие же часы дня проводила или в своей светелке за пяльцами, или у Ольгина пруда, где впервые и впоследние свиделась со своим Андрюшей. Но и тут качели висели в покое или колыхались разве только от ветра, не слышалось песен, какими, бывало, оглашался берег, не было, как прежде, резвой толпы девушек, коих невинные забавы обманывали время, одна или с Ивановной находила облегчение от тоски в воспоминаниях о былой счастливой поре.

Белозубов, по удалении соперника частый гость Евсеевского, быв принужден отправиться по делу Горбунова в столицу, решил во что бы то ни стало убедить Луку Матвеевича к переезду в Петербург. «Пока я здесь,— мыслил,— Варвара моя, уезжай я, кто мне порукой, что не найдется новый Андрей, который похитит у меня и ее, и Евсеевское? К тому же тут все напоминает ей о прежней связи. В столице же, окруженная предметами новыми, среди забав и рассеяния, скорее забудет возлюбленного и охотнее выслушает предложение о новой женитьбе».

Государь Петр I ходил сам в толстом сукне и заплатанных башмаках, предпочитал щи, солонину и ржаной хлеб блюдам утонченной французской кухни, но хотел, чтоб окружающие его лица жили с пышностью, соответственною их звания. Князь Александр Данилович, носивший титул владетельного, в угодность царю и собственному честолюбию устроил дом свой по образцу мелких немецких государей. На его половине пажи, камер-юнкеры, камергеры; на половине княгини — фрейлины, камер-фрейлины, вообще все придворные чины. Белозубов

в награду за отторжение у Горбунова села Воздвиженского с деревнями исходатайствовал у князя для будущей своей супруги звание фрейлины его двора. Отъезд княгини Ирины Матвеевны способствовал его замыслам. Уже издревле знатные бояре имели обычай держать у себя во дворе молодых дворян, мужчин и девиц, под именем знакомцев и подруг, и сие звание нимало не было унизительным. Но Меншиков вышел из низкого звания — пятно неизгладимое в очах коренных русских дворян. Княгиня, числившая между предками немало бояр, вдова одного из знатнейших сановников при дворе царя Алексея, не дозволила бы племяннице, в укор своему роду, служить у вельможи, который обязан был возвышением одному себе. Лука Матвеевич сам был не без спеси, но, покорный внушениям чужим, любя дочь нежно, в надежде, что забавы столичные прогонят ее тоску, не мог противустоять приглашению князя Александра Даниловича. За несколько лет перед тем повелено было дворянам, владельцам известного числа дворов, иметь домы в новостроившемся Петербурге. В одно утро Лука Матвеевич под предлогом обозрения своего дома, сев с дочерью в старинную, веером сделанную колымагу на цепях и низких колесах, со всею челядью, начиная от няни Ивановны до шестидесятилетней дуры, забавлявшей в молодости барыню-бабку и на старости разгонявшей грусть внучки, от толстого дворецкого до карлы, со стаей псов и табуном верховых и цуговых коней, длинным обозом потянулся в Петербург.

Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная Арсеньева, была из самых почтенных жен своего века. Душевно преданная супругу, любила в нем не светлейшего, не генерал-фельдмаршала, а Александра Меншикова. Не ослепленная блеском почестей, ведая, с какими они сопряжены опасностями, проводила дни и ночи в страхе, чтоб чрезмерное его могущество не рушилось на погибель всего семейства. Но, бессильная к обузданию властолюбивой души князя, в угодность ему несла бремя величия с притворным удовольствием. Предчувствия ее сбылись наконец, и, когда чрез несколько лет гроза разразилась над домом Меншиковых, в рыданьях о муже и детях выплакав очи, вскоре за зрением утратила в ссылке и жизнь.

Княгиня, коей нетрудно было отгадать причину тоски новой фрейлины, обходилась с нею весьма ласково. Но сия снисходительность не возвратила Варваре веселости; тайная грусть грызла сердце. Любовь к Андрею, освященная

религией, казалась ей долгом, измена жениху, и жениху, терпящему напасть,— смертным грехом. Посему-то покорная во всем воле родителя, в этом одном дерзнула ему воспротивиться. Частые посещения Белозубова, в коем видела гонителя Андрюши, внушили ей подозрения, кои утвердились при поездке в Петербург и вступлении в дом князей. Лука Матвеевич не смел говорить дочери ясно о новом женихе, но позволил Белозубову искать ее благоволения, и сей, мужаясь заступлением своего милостивца, уже не скрывал притязаний на ее руку. К тому же об Андрее — совершенное неведение или слухи более горькие, чем самая неизвестность. Наконец даже Ивановна, дотоле поверенная в печали, переменила речь:

— Не промаяться же тебе, мое дитятко, весь век сиротой. Андрей Александрыч, нечего сказать, пригож, да если он и впрямь не дворянин, без рода, без дома: ни за ним, ни перед ним? Не таскаться же тебе с ним по миру. И Степан Михайлыч, чем не жених? Еще не стар, в чести у людей, а уж как тебя любит! Так и глядит тебе в глаза. Свыкнешься, влюбишься, моя родная.

Так Варвара, предоставленная самой себе, одному богу открывала свою горесть, мешая в молитвах со своим именем имя Андрея.

Одним утром, когда Варвара сидела за пяльцами в кабинете у княгини Марии Андреевны, явился паж с докладом о приезде царицы. Тотчас вслед за ним взошла и государыня, так что застала еще фрейлину в комнате. По ее удалении, «я никогда еще не встречала у вас этой девицы»,— сказала Екатерина, после того как княгиня облобызала ей руку.

— Она с небольшим неделя, как ко мне поступила, ваше царское величество.

— Кто она такая?

— Дочь соседа князева по имению; тиха, скромна, мастерица шить, и я ею очень довольна.

— Ее наружность меня поразила. Какое у нее бледное, жалкое лицо!

— Она действительно достойна сожаления, государыня! Ее, бедненькую, отторгнули от жениха и, кажется, хотят против воли выдать за другого.

— И вы, княгиня, ужли не употребите своего влияния, чтоб тому воспротивиться?

— Ваше величество,— грустно сказала княгиня, потупив взор,— есть вещи, в которых Мария Меншикова не имеет голоса.

— Признаюсь,— продолжала царица,— ее наружность возбудила во мне большое участие.

— Государыня! Одно ваше слово может возвратить ей покой и радость.

— Пришлите ее завтра ко мне,— молвила Екатерина.

ГЛАВА XII

Рано испытанная превратностями рока, Екатерина, едва умея грамоте, из дома сельского ливонского пастора перешла на престол и явилась на нем достойною супругою русского царя. Величественная осанка, высокий рост, гордая поступь, взор живой, пламенный, всегда сохранявший должную важность, уже означали монархиню сильного народа. Но блестящая наружность исчезала при великих качествах души. С добросердечием неистощимым, с ангельскою кротостию Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Ее одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей и направлять ко всему великому, возвышенному. Сим неизменным поведением Екатерина приобрела над Петром влияние, которое удержала почти до самой его кончины. Властитель России, изумлявший мир железною волей и нравом непреклонным, становился агнцем перед слабой женщиной. И никогда не употребляла она во зло своего влияния! Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей. В приемных ее комнат непрестанно толпились матери, жены, дочери опальных: прибегали к заступнице несчастных, к матушке Екатерине Алексеевне. Она не всегда могла исполнить их просьбы, но всех отпускала с милостивым словом, иногда со слезою участия, проливавшего утешение в души страдалиц.

С 1711 года Екатерина редко разлучалась с супругом. Весь турецкий поход проводила дни на коне, в мужском платье, впереди войск, ночи же под шатром или, не раздеваясь, на голой земле, под открытым небом; в сражениях находилась обок государя. В минуты тягостные, когда Петр, усталый от борьбы с препятствиями, какие отовсюду предстояли его великим предначертаниям, искал в ее беседе отдыха, увещеваниями, поощрениями, упреком подкрепляла изнемогавшего, пробуждала мгновенно засыпав-

шую в нем твердость. Екатерина на берегах Прута спасла русское войско, сохранила Петра для России. Целя душу супруга, целила и тело. Известно, государь Петр I от отравы, данной ему в молодости, подвержен был припадкам исступления. В беседах, на пирах волосы его вдруг становились дыбом, глаза наливались кровью, изменившееся лицо подергивало в разные стороны, пена у рта, скрежет зубов, крики, подобные звериному реву, наводившие ужас на самых бесстрашных. В эти грозные минуты, когда никто не дерзал предстать перед больным, Екатерина, подошедши, склоняла его голову к себе на грудь и усыпляла исступленного, тихо водя по ней рукою. Сей род магнетического сна, длившегося не более четверти часа, возвращал государю здоровье и веселость. Но всего в ней удивительнее ничем не рушимый, ни в каких обстоятельствах не падавший дух. Однажды, незадолго до кончины, Петр, сильно разгневанный, влечет ее к окну и, ударив в окончину, в то время как окно с треском рухнуло, говорит, указывая на разбитые стекла:

«Видишь ли,— это презренное вещество, облагороженное искусством человека? Оно потускло, и мне стоило только поднять руку для его сокрушения. Я, правда, окровавил руку, но его обратил в ничтожество». Сие мгновение было решительным. Екатерина знала, что стоит на краю погибели, и с ясным челом, с обычною на устах улыбкою ответствует: «Не гораздо ли достойнее вашего величества пощадить слабого и не являть могущества перед ничтожным?» Обезоруженный сим спокойствием, Петр обтер слезы и, обняв ее, сказал: «Бог тебе, Катя, судья, а не я. Тяжко мне на сердце, но... забудем прошлое».

Впрочем, кроме сего неприятного случая, нарушившего на время спокойствие высоких супругов в 1724 году, жизнь их представляла умилительную картину согласия, и Петр на престоле вкусил сладость счастья семейственного, редкий удел государей. Разведшись в молодых летах с Евдокией, искал развлечения от дел правительственных в обращении с женщинами. Случай свел его с Екатериной; ее качества привязали непостоянного. Это была первая, единственная его любовь. Тут он впервые стал скрываться перед приближенными. Екатерина жила в Москве, в небольшом домике подле Лефортова дворца. С наступлением вечера государь, улучив время, когда полагал, что никого не встретит, тайком выходил от себя и на другой день, еще с рассветом, возвращался во дворец, дабы являвшиеся по делам не подозревали его отсутствия. Потом, спустя уже долгое

время, принимал у Екатерины немногих близких особ: Меншикова, Шереметева, Шафирова. Когда сия взаимная привязанность освятилась узами брака и плоды оного утешили счастливых родителей, внутренность государева семейства являла патриархальную простоту. В 1714 году Петр, ограничив удельные имения и распределив оные между членами царского дома, назначил для собственных издержек доходы с девятисот душ в Новогородской губернии, что, судя по тогдашней ценности имений, едва составляло девять тысяч рублей. Екатерина вела им расход, и с бережливостью, какую редко встретить в частном быту. Окорока, солонина, пиво закуплены в свое время, дрова на отопку дворца в зиму запасены летом, везде порядок, во всем самая строгая отчетливость. В разговоре, в письмах к супруге Петр не иначе называл ее, как *друг мой Катя!* Сии письма, полные чувства, дышат любовью, которая не ослаблялась годами, а, напротив, с каждым днем становилась более пламенною, более романтическою. Некоторые начинаются или оканчиваются словами: *Катя! Мне грустно. Тебя нет со мною!*

Государь всегда почти кушал в семействе. В четыре часа утра, когда уходил, Екатерина с великими княжнами Анной и Елисаветой отправлялись в Царицын сад, потом известный под именем Малого Летнего и ныне принадлежащий к Александровскому дворцу. В сем саду был деревянный павильон, разделенный сквозными сенями на две половины, каждая в две комнаты. На половине великих княжон одна комната была их учебной. Сюда приходили давать им уроки: Феофан — закона божия и русской словесности, Остерман — языков немецкого и итальянского, истории и географии; для французского языка и приятных искусств выписаны были мадам и учители из Парижа. Смежная с учебною комната заключала в себе птичник великой княжны Анны Петровны: канареек, попугаев, всех птиц стран южных, живых или в чучелах.

Вторую половину павильона занимала сама государыня. В то время вышивание было единственным занятием женщин высшего и среднего сословий. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лавок же модных еще не было, все приготовлялось дома. Посему во дворце, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пяльцами; за ними просиживали по целым дням и царица, и самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на заплечьях крылышки. За пяльцами в широкой соломенной шляпке с заброшен-

ным на тулью зеленым флером, в белой кисейной кофточке и широкой юбке зеленого атласа застала Екатерину представшая ее очам Варвара.

— Здравствуй, милая! — молвила государыня, стараясь ласковой улыбкой ободрить робкую.— На лице твоем написано страдание, и я хотела тебя видеть, чтоб узнать, не могу ли тебе помочь?

— Велика милость вашего царского величества,— отвечала Варвара, кланяясь в пояс.

— Тебя хотят выдать за человека, как я слышала, достойного. Для чего ты не хочешь идти за него?

— Матушка-государыня! Я перед богом была уже обручена; могу ли без греха изменить жениху?

— Суженый твой в милости у князя Александра Даниловича; можешь надеяться на чины, почести.

— Сердцу не прикажешь, ваше царское величество! Будь он знатен и в чести, все-таки он мне не милее моего Андрюши!

— Но если выходит, что твой Андрюша — что ли? — как ты его зовешь, не из дворян?

— Он мне жених.

— Слова нет! Но нельзя же быть тебе его женой. Ты сама не захочешь поступить противу воли родительской.

— Матушка-государыня! Знаю, что мне не бывать за Андреем, и несу безропотно свою участь. Молю об одном,— промолвила Варвара, бросившись на колени и залившись слезами,— не разлучайте меня с моим горем, оставьте при мне мое вдовство!

— Встань, милая,— молвила Екатерина, приподнимая лежавшую у ее ног.— Успокойся! Оботри слезы! Мне душевно тебя жаль! Я постараюсь сделать, что могу, хотя не ручаюсь за успех. Впрочем, господь милостив, молись ему! Он тебя не оставит.

ГЛАВА XIII

Кто из вас, петербургские мои читательницы, чтоб людей посмотреть и себя показать, с наступлением весны не кружил около полудни по тенистым дорожкам Летнего сада? Кто из вас, провинциальные мои читатели, не знает Летнего сада по слуху? Но ныне Летний сад не то, что бывал в старину. На месте настоящей, великолепной решетки на Неву возвышались три деревянных галереи, к которым приставали приезжавшие в сад, а правом сим

пользовались люди всех званий, порядочно одетые. Мостов на Неве в царствование Петра не существовало. Хозяевам домов повелено было, по достатку, иметь известное число лодок. Привязав суда к кольям, коими усажен был берег, посетители сада пробирались по деревянному намосту в галереи, где в дни гуляний встречали их рюмка водки, подносимая с поклоном государыней или великими княжнами, как хозяйками сада, и стол с закусками. Из галерей были выходы в аллеи, прорезывающие сад в длину. На площадках средней, главной аллеи, и в то время украшенной теми же статуями и бюстами, что ныне, с разницею, что они тогда еще сохраняли в целости носы, пальцы у рук, ног и пр., шумели фонтаны. Площадки сии, по званиям лиц, кои собирались на них в праздники, назывались *дамской, архиерейской и шхиперской;* боковые аллеи уставлены были изображениями окрашенной жести из Эзоповых и Федровых басен: ворон, заслушавшись лису, выпускал изо рта сыр; волк пил из одного ручья с ягненком; цапля вынимала кость из пасти волчьей; а под изображениями, в науку добрым людям, заключались в четырех или шести стихах содержание и нравоучение басни. Пруд Летнего сада отдан был во владение царского карлы, который разъезжал по нему на раззолоченном челноке в четыре фута длиной. Посреди пруда находился островок, занятый беседкой, в коей за столом умещалось шесть человек. О воскресных днях, когда в саду собрания бывали, отправлялись туда самые отважные весельчаки по плавучему мосту, который вслед за тем снимался. Когда, по осушении покрывавших стол бутылок, в беседке становилось тесно, пирующие — заметьте, по большей части люди высокого сана, первые государственные чиновники — в забаву себе и взиравшей на то публике выталкивали один другого в воду. Вправо от пруда находился грот, выложенный разного рода поростами, мхами и раковинами, с подробным описанием, где и как они добываются. Сей-то сад служил Петру I местом прогулок, забав и отдыха; здесь, отложив величие царского сана, отцом среди многолюдного семейства, гражданином среди сограждан, собеседником между пирующих, государь вместе с ликовавшим народом праздновал победы сынов России, им пересозданной, им вознесенной.

Между высокими качествами Петра особенно замечательна необычайная деятельность: ум его не ведал отдыха. Проникнутый святостию великой своей обязанности, царь днем и ночью, в трудах и забавах, в дороге и на месте, в беседах, на пирах изобретал, сочинял, обдумывал способы

к возвеличению России. Когда ложился, дежурные денщики клали на стол у изголовья аспидную доску с грифелем; когда выезжал, брали с собой десть бумаги и чернильницу; в токарной, в кабинете редкостей, где ежедневно проводил по нескольку часов, приготовлены были очиненные перья и бумага; даже не раз в прогулки по Петербургу останавливал прохожих и писал, опершись на их спины. Так дорожил он минутами вдохновения, гениальными мыслями своего творческого ума. Неподалеку от Летнего дворца, под дубом, который посадил сам государь, находился стол с аспидною доской и чернильницей, на сей же предмет вделанными в крышке, и ящиком внутри с бумагой; подле кресла и особенный часовой для отклонения нескромного любопытства. Одним утром, недолго спустя по издании указа об учреждении двенадцати коллегий, Петр, уходивший из Сената в одиннадцать часов и проводивший дообеденное время в прогулке по саду, сидя за столом, излагал на бумагу предначертания об образовании областных судов. Когда кончил, восторженный мыслью о пользе сего нового постановления, полный благоговения ко всевышнему за видимую благодать его предприятиям, положил перо и, вознесши к небу признательные очи, громким голосом произнес следующую молитву:

— Благодарю тя, господи, что сподобил меня пожать плоды моих усилий! Сердцеведец! Ты зрел чистоту моих помыслов и благословил мои начинания. Свет наук начинает озарять тобою вверенное мне царство. Трудолюбие и довольство проявляются в хижине земледельца. Суд и расправа заменяют произвол. Боже, сыплющий щедрою рукою блага по земли, осени мя твоею мудростию на предлежащем мне пути, укрепи мышцы мои на труд, мне предназначенный, вознеси, возвеличь Россию! Да спеет народ мой на стезе просвещения, во славу пресвятого имени твоего! Да восторжествует истина, воссядет правда на суде!..

— *Молвишь о правде, а сам не творишь правды,*— раздалось в ушах государя [1].

Гром, разразившийся над головою, не столько изумил бы Петра. Озирается, никого не видит, только часовой стоит неподвижно у ружья. Не веря своим ушам, спрашивает:

— Что такое?

---

[1] Обстоятельство о молитве и слова, вложенные в уста ратника, не вымышлены; любопытные могут в том удостовериться в «Анекдотах о Петре I» Голикова. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

— Молвишь о правде, а сам правды не творишь,— повторил часовой.

Изумление государя возросло еще более:

— В своем ли ты уме? Помыслил ли о своей голове? На часах под ружьем, а говоришь дерзости неслыханные, и кому — мне, своему государю?

— Пугай тех, кому есть чего бояться! — отвечал ратник.— Ты отнял у меня достояние, честь, имя, все, что привлекает в жизни... Что мне после того твои угрозы?

— Кто ты таков? Как тебя зовут? — спросил царь, весь пылая гневом.

— Звали меня Андрей Горбунов, ныне я Андрей Безыменный.

— Горбунов? Знаю. Твое дело недавно решено в Сенате. В чем же ты винишь меня? Осудил тебя не я, а закон.

— Закон,— с горькою улыбкою сказал Безыменный,— узда для слабых, а для сильных поощрение к беззаконию! Держись ты закона — приговор мой не был бы подписан.

— Послушай, Горбунов! — молвил царь после некоторого молчания.— Мне жаль тебя! Ты малый не глупый и, как я слышал, обучен наукам, а мне таких людей надобно. Доселе никто не слыхал твоих дерзостей, кроме меня. Верю, что тебе горько, но не потерплю, чтоб ты продолжал поносить меня и господ Сенат, облеченных моею доверенностью. Говорю тебе, я рассматривал твое дело, и оно решено справедливо. По закону ты уже заслужил смертную казнь, но перестань презорствовать, а я забуду слышанное.

— Велика милость твоя, государь, но я был бы ее недостоин, если б тебя послушался. Мне перестать жаловаться? Отказаться от собственной крови, отречься от рода, опозорить предков, согласившись, чтоб их потомок прослыл холопским сыном? Робкая голубица боронит гнездо от насилия и бьет крыльями, которые господь дал ей для бегания от людей, а ты хочешь, чтоб молчал человек? Нет, государь! Урежь мне язык, поставь на дыбу, мучь, рви, терзай, а я до последнего издыхания не перестану твердить, что, осудив меня, ты сотворил неправду.

— Но чем же ты докажешь истину своих слов? — вскричал вспыхнувший снова Петр.

— Доказать не могу, потому что враг сильный отнял у меня все способы, но я указал тебе, государь, путь к истине, а ты им пренебрег, возвратил мне челобитную с надписью, что дело решено.

— Какую челобитную? Я ни о какой челобитной не ведаю.

— Вот она! — ответствовал Безыменный, вынув ее из бокового кармана.

Петр внимательно прочел поданную бумагу раз, другой и, обратившись к часовому, молвил:

— Есть тут обстоятельства, которых я не знал, но все одни догадки, ничего положительного. Ты винишь государственного сановника, мужа мне близкого, в злодейском умысле, и, не подтвердись твое обвинение, подвергаешься за это одно смертной казни. Впрочем, я еще раз рассмотрю дело с господами Сенатом, и если твой извет несправедлив, не прогневайся! Я тебя предостерег. Миша! — закричал он карле, который в это время находился у своего пруда.— Пошли мне караульного офицера.

— Г-н поручик,— продолжал государь, когда офицер предстал перед него,— этого часового сменить и содержать на гауптвахте до моего повеления! А завтра, при суточном рапорте, напомните мне о деле Горбунова и накажите то же самое офицеру, которому сдадите караул.

При сих словах Петр отправился во дворец, а нашего Андрея отвели под стражу.

ГЛАВА XIV

— Орлов! — молвил государь на другой день одевавшему его денщику.— После моего ухода отправься к князю Александру Даниловичу. Скажи ему от меня, чтоб он не ездил нынче в Сенат, а занялся делами в Адмиралтейств-коллегии. Сам же я туда сегодня не буду.— За сим Петр, сев на ялик, пустился грести к Смольному двору. Пробыв несколько времени в своем анатомическом кабинете, на обратном пути въехал в Фонтанку для обозрения воздвигавшихся на берегах ее зданий, осмотрел строившиеся в Новой Голландии суда, посетил крепостные работы и наконец пристал в виду Царской австерии, почти у нынешнего Троицкого моста. Подкрепив себя, по обычаю, рюмкой водки и куском ржаного хлеба с солью, отправился в канцелярию Сената.

Тогдашняя канцелярия Сената, каменное здание в два жилья, находилась между домиком государевым, что на Петербургской стороне, и собором св. Троицы. Нижнее жилье занимали служители и мелкие чиновники, в верхнем находились архив, арестантская, куда приводили преступников до выслушания приговора, три небольших покоя для канцелярской и, наконец, судейская. Тут голые стены,

всего убранства — портрет государев во весь рост, в раме простого дерева под стеклом статья из высочайшего указа, что сенаторам, в силу данной присяги, «творить суд и расправу честно, без лицеприятия, совестью и правдой», наконец, длинный, под красным сукном стол, за коим сидели сотрудники Петра в деле правления. На первом месте, в шитом французском кафтане и длинном напудренном парике, старший сенатор, восьмидесятилетний граф И. С. Пушкин, живая летопись трех царств, сороковой год бессменный в Верховной Государственной думе; против, в чекмене зеленого сукна, князь Ив. Фед. Ромодановский, наследовавший от отца титул кесаря, прямодушие, суровость и любовь к старине; подле них в генерал-кригскомиссарском мундире, уже тогда маститый старец, князь Як. Фед. Долгорукий, прямой слуга и советник царский, коего имя соделалось у потомков знамением бесстрашия и правоты, и вице-канцлер барон П. П. Шафиров, обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух; далее появлялись граф Б. П. Шереметев и граф Ф. М. Апраксин, сподвижники царя на поле ратном и по миновании войны служившие ему советом, граф П. А. Толстой, славный посольством в Константинополь, умный и честолюбивый князь Д. М. Голицын и, наконец, обер-прокурор П. Я. Ягужинский, которому Петр дал почетное имя друга правды.

Едва пробило девять часов, вошел государь и, чтоб не развлечь внимания присутствовавших, тихо вдоль стены пробравшись к президентским креслам, занялся рассматриванием лежавшего перед ним протокола. Когда прочтенное обер-секретарем дело было выслушано и по произнесении приговора готовились перейти к другому:

— Господа Сенат! — сказал Петр.— Недели за три перед сем, по указу нашему, основываясь на извете подьячего Терентьева, при коем он представил показание, учиненное перед смертию мещанкой Палагеей Тихоновой тихвинскому попу отцу Петру, в присутствии его, подьячего Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова, вы решили и приговорили недоросля, называвшего себя Андреем Горбуновым, признать сыном ее, мещанки Тихоновой, а оставшееся после мнимого дяди его, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша, имение, село Воздвиженское с деревнями, отобрать у него, как вымороченное, в нашу государеву казну. Ныне Андрей Горбунов бьет мне челом, что поверенный князя Меншикова, Белозубов, за два дня до подания извета предлагал ему продать означенное имение,

на каковую продажу Горбунов не изъявил согласия, и что в извете участвует посадский человек Ефим Фролов, который-де клеврет Белозубова, из чего он, Горбунов, и выводит следствие о подлоге извета. Я рассматривал внимательно все обстоятельства дела и, признаюсь, нахожусь в большом затруднении. Отца Петра, перед коим Тихонова учинила сознание, нет в живых; сама она скончалась вскоре после показания; Николай Федоров, дядька Андрея Горбунова, на которого сей ссылался в челобитной к воеводе, убит на пути.

Вдруг прервал слова государевы необыкновенный стук и визг в канцелярской.

— Пустите, пустите, я хочу их видеть; сам господь прислал меня к ним, я должна их видеть.

Распахнулись двери судейской: предстала пред очи изумленных сенаторов старуха, бледная как привидение, покрытая рубищем и морщинами, едва влачившая ноги, опираясь на толстого мужчину, больного лицом, по-видимому едва оправившегося от недуга.

— Что это за люди? — вскричал Петр в негодовании на дерзость. Старуха с усилием произнесла: «Мещанка Палагея Тихонова»,— и повалилась на землю. Подбежавшие подняли безжизненный труп.

Еще при жизни Бердыша, за два года перед сим, Терентьич продал себя его противникам. Ведая желание князя Александра Даниловича иметь в своем владении село Воздвиженское с деревнями и убежденный, что Горбуновы не соизволят на продажу имения, внушил Белозубову мысль о подлоге и предложил употребить для сего мамку Андрея. Белозубов подослал к Палагее Тихоновой клеврета своего Ефима Фролова, который под именем посадского вкрался к ней в дом и, женившись на дочери, обещанием большой награды и возвышением дочери в дворянки, преклонил тещу к лжесвидетельству. Тихонова, притворившись больной, в присутствии Терентьича и Ефима Фролова показала священнику церкви Спасова Преображенья, отцу Петру, что она мать Андрею. Но цель заговора еще не была достигнута: надлежало скрыть существование дочери и отклонить последствия от возможного раскаяния матери. Для сего Фролов, заранее приняв меры к спасению имущества, поджег в одну ночь ее дом и перевез старуху с женой за тридцать верст от Тихвина, в захолустье, где мы их видели. Тихонова, грызомая совестью, приписывая самый пожар каре господней, впала в болезнь, лишилась употребления рук, ног, языка, но сохранила память, слух и сознание

в преступлении. Между тем Бердыш скончался. Белозубов, после тщетных усилий склонить Андрея обещаниями и угрозой к продаже имения, решил пустить в ход дело. Но, по сродному злодеям беспокойству, опасаясь, что, невзирая на все предосторожности, Андрей с помощью Николая Федорова, знавшего семейственные обстоятельства, успеет доискаться истины, поручил Фролову, подобрав двух негодяев, напасть на них в тихвинском лесу. Тихонова слышала, как Терентьич и ее зять, которого не беспокоило присутствие расслабленной, переговаривались о погибели Андрея, и когда он прибыл в следующую ночь в избу, влекомая каким-то любопытством, которого сама себе объяснить не умела, сделала усилие и, к удивлению своему, впервые почувствовала возможность встать и двигать языком. Сходство Андрея с матерью, коей образ она увидела в юноше, и немногие произнесенные им слова открыли, что то был ее вскормленник. Тогда решилась во что бы то ни стало обнаружить свое преступление. «Господь дал мне почувствовать раскаяние, дает силы явить его и на деле». С сей верой, воспользовавшись несколькодневным отсутствием зятя, вышла из дома и, слышав, что дело Горбунова производится в Петербурге, потянулась пешком в столицу. Прибыв туда, встретила на постоялом дворе больного Николая Федорова, которого подняли замертво ехавшие в Петербург с припасами крестьяне и, по его желанию, повезли с собою. Николай Федоров, зная, что Горбунов перенес дело в Сенат, привел туда Тихонову.

ГЛАВА XV

Государь Петр I в предположении пересоздать Россию, связав нас с народами Западной Европы просвещением, торговлей, мыслил, что не вполне достигнет цели, если совершенно не изменит существовавших между двумя полами отношений. До царя Алексея женщины вели у нас затворническую жизнь. При нем и особенно в правление Софии они получили более свободы, но сия свобода была еще весьма ограниченна. Стоило девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб навсегда потерять доброе имя. Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра. Узрев в посещения заграничных купцов в Москве, какую прелесть уважение к прекрасному полу разливает на всю жизнь, как много оно способствует к очищению нравов, царь примером,

увещаниями, угрозой старался доставить женщинам право гражданства в наших обществах. Наконец, для большего развития светской жизни и вместе для сближения сословий, с переездом двора в Петербург, когда низложение врага сильного позволило ему вполне предаться занятиям мира, особенным указом (1714) постановил еженедельные собрания мужчин и женщин, известные под именем *ассамблей*, и для поддержания сего нововведения сам принимал в них деятельное участие. Двадцати четырем государственным сановникам предписано было иметь у себя раз в зиму ассамблею, то есть осветить и отопить, по крайней мере, три комнаты, накормить и напоить гостей, иметь музыку для танцев и отдельный покой для слуг. Ассамблеи начинались с наступлением осени, оканчивались великим постом. Посещали их дворяне обоего пола по указу, купцы и ремесленники по произволу, под одним условием — быть порядочно одетыми; духовенство появлялось в ассамблеях в качестве зрителей, с правом не участвовать в забавах.

В один из первых дней сентября возвещено было жителям Петербурга барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями, что будет ассамблея у генерал-фельдмаршала князя Меншикова, которого собраниями начинались и оканчивались зимние увеселения столицы. Безыменный, освобожденный из-под ареста, получил от государя, вместе с правом восприять снова имя Горбунова, повеление явиться того вечера у князя. В шесть часов сел на ялик с Желтовым, оба без шпаг (для предупреждения дурных последствий от прилежного осушения бутылок строго было запрещено являться в ассамблеи при шпагах), и пустился ко дворцу Петрова любимца. Великолепно освещенная пристань, горевшие у крыльца смоляные бочки и яркие огни в окнах уже издали возвещали, что у князя собрание. Пажи у пристани, камер-юнкеры у крыльца, скороходы на ступеньках лестницы, камергеры наверху, в синих ливреях, улитых серебром, стояли для встречи царицы. У дверей находились два гайдука, великаны вершков в тринадцать, которым приказано было принимать всех и никого не выпускать прежде девяти часов. В приемной приехавшие друзья поспешили объявить имена свои полицейскому офицеру для избежания пени, коей подвергались пропускавшие ассамблею, если не оправдывали отсутствия достаточными причинами.

При входе в гостиные комнаты изумила Горбунова пышность, какой еще не встречал. Государь и весь двор жили чрезвычайно просто. Дворяне русские щеголяли

столом, винами, лошадьми, псами. Князь же Александр Данилович стоял на том, чтоб во всем образе жизни сравняться с владетельными особами. Восемь больших покоев открыты были для посетителей. Везде штучные полы, гобеленовые или штофные обои, хрустальные люстры, бронза, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, мебель, выписанная из-за границы. Комнаты были набиты людьми, но ни князь, ни княгиня не появлялись. Хозяева не заботились о гостях, гости о хозяевах. И те и другие заняты были своим делом. Хозяин угощал, потому что ему было повелено, и расточал великолепие в угодность государю и собственному тщеславию. Гости же, которым также приказано было веселиться, исполняли приказ с верноподданническим усердием и уж точно веселились от души. Основной закон ассамблеи — совершенная непринужденность. У каждой двери повешено было напоминание посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же под крышкой находился на мраморном пьедестале.

Горбунов изъявил желание обойти комнаты. Рука об руку два друга вошли в покой, назначенный для разговоров. Тут заметили Стефана Яворского, председателя Синода, первую духовную особу в России, являвшего в частной жизни строгое воздержание инока, фельдмаршалов Шереметева и Голицына, равно высоких доблестями воинскими и гражданскими, кои одни в этот пьющий век, когда не только у нас, но и при всех европейских дворах излишество в вине считалось если не добродетелью, по крайней мере не пороком, когда, по свидетельству современников [1], в Берлине, Лондоне, Париже, Варшаве королевские обеды не раз кончались вытаскиванием собеседников из-под столов,— одни, говорю, из обыкновенных посетителей бесед имели право отказываться от участия в попойках и освобождены были от наказания Большого Орла, которому подвергались сам царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с тою разницею, что женский кубок был втрое менее против мужского: так справедливо, что истинное достоинство везде и всегда приобретает уважение! Далее являлись братья Долгорукие, князь Яков и Григорий, изумлявший парижан любезностью и образованием, Толстой и Шафиров, славные переговорами с Оттоманскою Портою, и, наконец, соперник

---

[1] См.: журнал Берхгольца, Mémoires de la P-sse Sophie de Prusse, Mémoires sur la Régence и пр. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

последнего, засыпанный табаком, Анд. Ив. Остерман, обессмертивший себя договорами Нейштатским и Белградским, тогда еще мелкий чиновник, но уже уваженный за тонкий ум и многостороннее образование. Все, за исключением последнего, были предметом ненависти для хозяина, который ни в чем не терпел соперников, но ненависти тайной, потому что явная не смела обнаружиться при Петре. Перед ними стояли группами молодые люди, с благоговением слушая, с жадностью ловя из уст сих мужей доблестных уроки мудрости, которой живые примеры видели в их жизни,— обстоятельство, достойное замечания при малообразованности тогдашнего поколения.

Перешед в следующую комнату, друзья очутились будто в другом мире: шум, говор, крик, чоканье стаканов, где обнимаются, целуются, где спорят и мирятся за кубками. Совершенное равенство. Иные, кои до вступления в залы ассамблеи не смели взглянуть на соседей, тут словно свои; в рясах, в мундирах, в кафтанах, без различия чинов, званий, лет, без порядка, кто сидя выше, кто ниже, как кровные, как братья, с румяными от вина и веселости лицами — все пьют из одной круговой чаши. Полная свобода! Пир горой! Вино льется! Одно преступление — отставать от соседей. Тут Желтов указал Горбунову товарищей Петра в совете и веселии: знаменитого архиепископа новогородского Феофана, красноречивого оратора, глубокомысленного политика, историка и столь же усердного собеседника, затем Ягужинского, равно бесстрашного в Сенате и за чашей, далее князя-кесаря Ромодановского, в одном изменявшего старине, что предпочитал медам заморские вина, адмирала Апраксина, который со слезами радости осушал кубки, Ив. Ив. Бутурлина, получившего титул князя-папы за подвиги на пирах, и разгульных членов его общества.

Разительную противоположность представляла третья комната. На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники также пьют, но молча и отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым.

— Здесь, брат,— сказал Желтов Горбунову,— муха пролетит, услышишь, а если кто и обмолвится, то, верно, не по-нашему.

Действительно, пировавшие тут были исключительно иностранцы: офицеры, служившие в нашей армии и флоте, шхипера, оставшиеся на зиму в Петербурге, иноземные купцы. Андрей заметил между ними герцога Голштейн-

Готторского, перешептывавшегося с вице-адмиралом Крюйсом и не уступавшего в беседах ни одному из самых отчаянных наших весельчаков, так что, по словам его камер-юнкера Берхгольца, никогда не выходил из беседы своими ногами.

Обозрев четвертую комнату, где в разных концах посетители то стучали шашками, то двигали безмолвно шахматами, и заметив тут особенный стол и поставленные подле с раззолоченным на спинке орлом кресла для государя, обыкновенно игравшего в шахматы с графиней Пушкиной, Горбунов перешел на половину дамскую. Вдоль по стене сидели длинным рядом матушки, напудренные, в кирасах и широких робронах, глядя на дочек и повторяя про себя последние два стиха молитвы господней: *и не введи их во искушение, но избави от лукавого*; впереди дочки стояли строем, расчесанные, разряженные, перетянутые; против — молодые мужчины, также в строю. О разговорах с женщинами, этом обмене ума и любезности, который ныне составляет главное наслаждение в обращении с прекрасным полом, в то время не было и помину. Да и говорить было не о чем. «Грамота не женское дело»,— твердили старики. Иные девицы не только не читали, да и совсем не видали книг, разве в церкви, когда дьякон выносил из алтаря Евангелие. Пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство шить — лучшей похвалой. Притом умы находились тогда в каком-то ребячестве, которому ныне с трудом поверят. Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царевна Екатерина Ивановна, сестра императрицы Анны, жившая в России после развода с мужем, женщина лет тридцати, нрава веселого, в пребывание двора в Москве в 1722 г. принимала у себя, в селе Измайлове, раз в неделю дам и девиц. Чем же, думаете, они весь вечер занимались? Ни дать ни взять, играли с кошками. И это чрезвычайно их забавляло. «Не поверишь, мой свет,— писала царевна к графине Авд. Ив. Чернышевой,— как нам вчерась было весело; кошки смешили нас до упаду». А потому и в ассамблеях, до начатия танцев, только и дело было что глазели: мужчины глядели во все глаза на девиц, девицы украдкой на мужчин, и если встречались взорами, опускали, краснея, очи или закрывали платками лицо.

Горбунов и Желтов присоединились к толпе зрителей на сии живые картины, как вдруг внезапный блеск привлек их к окну. Великолепное представилось зрелище. Нева горела от разноцветных огней, коими освещены были буера, яхты, ялики, в стройном порядке двигавшиеся от

противоположного берега к пристани: подъезжал царский двор. Вскоре раздались трубные звуки, и вошел в покои Петр, ведя под руку Екатерину, а за ними блистательный, многолюдный послед мужчин и женщин. Горбунов с удивлением взирал на величественную красоту русской царицы, ее высокий рост, казавшийся еще выше от длинных темно-русых волос, зачесанных по тогдашнему обычаю вверх, ее широкое чело, большие темно-голубые глаза, лицо чистое, покрытое румянцем стран полуденных, стройный стан и гордую поступь. Подле находились великие княжны: Елисавета, незадолго покинувшая крылышки [1], поразила его с первого взгляда: ее мягкие как шелк, спускавшиеся до плеч локоны, большие голубые глаза, дышавшие негой, ослепительная белизна шеи и рук, полная грудь — останавливали самого равнодушного зрителя. Наружность Анны не имела ничего блестящего, отличного, но в чертах, во взорах, во всех движениях сияла душа чистая, нежная, исполненная любви ко всему окружающему. Желтов указал между прочим другу княжон Марию Александровну Меншикову и Катерину Алексеевну Долгорукую, кои потом обе, жертвы отцовского властолюбия, отторженные от женихов, чтоб одна за другой быть обрученными одному императору, кончили дни невестами-вдовами в заточении, графиню Нат. Бор. Шереметеву, последовавшую за женихом в ледяные дебри Сибири, гр. Матвееву, тогда невесту А. И. Румянцева, отца знаменитого фельдмаршала, и славных в то время любезностью графинь Головкиных и княжну Черкасскую.

Появление великих княжон оживило немую картину, какую являли покои, занимаемые прекрасным полом. Их снисходительное, милостивое обращение со всеми, без различия званий, и свобода с мужчинами служили образцом для фрейлин. Сии последние имели уже своих угодников: в числе роившихся кругом молодых людей проявлялись известные заслугами и саном в последующее время — Ив. Ив. Неплюев, славный посольством в Турцию и особенно управлением Оренбургского края, С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков и, тогда из первых красавцев, А. Б. Бутурлин, предводительствовавшие в Семилетнюю войну нашими армиями; наконец, знаменитый Миних, в то время

---

[1] Автор позволил себе несколько подвинуть эпоху совершеннолетия в. к. Елисаветы, государь Петр I обрезал ей крылышки в день торжества о заключении Нейштатского мира, 21 ноября 1721 г. *(Примеч. А. О. Корниловича.)*

еще генерал-майор, который со всею германскою неловкостью был самым страстным воздыхателем женского пола и сохранил сию слабость до преклонной старости, так что по возвращении из Сибири, утружденный летами и недугом, писал еще любовные письма к молодым графиням С. и В., составлявшим украшение двора императрицы Екатерины II. Впрочем, и сия угодливость была совсем не то, что ныне. В движениях самый церемонный этикет, в словах все изысканные выражения осмеянных Мольером умников de l' hôtel Rambouillet, не подходили без многократных поклонов, в танцах едва прикасались к пальцам дамы: какая непринужденность между мужчинами, такое жеманство в обращении с женщинами.

Обыкновенно по прибытии государыни начинались танцы, но тут медлили, потому что не было души собрания, того, по мановению коего оно двигалось. Петр, имевший обычай со вступлением в ассамблею тотчас обойти всех посетителей, прошел прямо в кабинет, повелев следовать за собою хозяину, который, привыкнув читать на лице государевом происходившее в его душе, с трепетом ожидал последствий свидания.

— Данилыч! Долго ли ты будешь играть моим терпением? — строго спросил царь, садясь в кресла.— Что у тебя за дело с Горбуновым?

— Никакого, государь! — ответствовал князь.— Я хотел купить у его дяди имение, но старик отказался от продажи. По его смерти обратился к наследнику, и этот молокосос, невзирая на мои выгодные условия...

— И потому,— прервал Петр,— что этот молокосос, как ты его зовешь, не хотел удовлетворить твоей прихоти, ты решил злодейским умыслом лишить его собственности?

— Злодейским умыслом? — с изумлением возразил князь.

— Данилыч! — продолжал царь, не замечая восклицания.— Пока ты довольствовался похищением государственной казны, я, памятуя твои заслуги и, может быть, по слабости к тебе, чтоб не срамить тебя, разделывался с тобой по-домашнему и довольствовался наказанием тебя денежной пени, иногда же пополнял ущерб из своих доходов. Но если, издеваясь моим снисхождением, ты употребляешь свое могущество на угнетение беззащитных, если для достижения своих замыслов прибегаешь к подлогам, поджогам, убийству и прикрываешь сии преступные козни предлогом государственного интереса, Данилыч,— промолвил Петр, возвысив голос,— я, божий слуга, отмститель

в гнев творящему злое, поставлен на то, чтоб карать преступление. Слезы невинно терпящих вопят на меня к богу, и тяжко мне придется отвечать за них, если не исполню долга. А ты лучше другого ведаешь, что я умею его выполнить.

— Государь! — отвечал князь,— ваше величество изволите упоминать о подлоге, зажигательствах, убийстве, о коих я не имею понятия. Поверенный мой, Белозубов, писал ко мне, что бежавший из дома Горбуновых подьячий Терентьев открыл ему, будто наследник Бердыша подкидыш, а следовательно, владеет имением незаконно, и просил моего согласия повести о том дело у новгородского воеводы. Я соизволил, но что тут были злоумышление, козни — того не ведал и не ведаю.

Петр не спускал с князя очей.

— Верю словам твоим, еще более лицу,— сказал он наконец,— но не менее стыда тебе иметь клевретов, способных на такие злодеяния. Не погневайся! Я повелел Белозубова, Терентьева и Фролова предать суду. И горе тебе, если окажется, что ты тут сколько-нибудь замешан.— Потом, встав, промолвил уходя: — Я приказал Горбунову быть сегодня здесь, хочу, чтоб ты перед ним извинился.

Едва лишь государь воротился в собрание, подали знак к танцам. В ассамблеях перед начатием бала хозяин подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни господство принадлежит женщинам. Дама, принимавшая затем название *царицы бала*, подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух пальцев к его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом. В сей вечер князь Меншиков подошел к Екатерине и на коленях поднес ей знаки власти над собранием. Когда хотел встать, государыня, остановив его, молвила:

— Позвольте, князь! Я намерена избрать вас в маршалы и по праву господства моего над вами хочу, чтоб вы исполнили требование, которого, верно, не ожидаете.

— Ваше величество! — возразил князь.— Для сего не нужно мне маршальского жезла. Я раб ваш, и ваша воля была и будет мне всегда непреложным законом.

— К вам недавно поступила фрейлина, не помню, как ее зовут, спросите о том у княгини Марии Андреевны.

Я принимаю ее под свое покровительство. Употребите свое влияние, дабы ее не выдавали замуж против желания.

— Государыня! — ответствовал князь.— В угодность вам я сделаю более: и, если ваше величество повелите, я постараюсь соединить ее с предметом ее любви. Дворянство бывшего ее жениха доказано, и ничто не мешает их союзу.

— Вы мне доставите этим удовольствие,— сказала царица.

Между тем как судьба таким образом без ведома Андрея готовилась вдруг вознаградить его за все напасти, сам он с любопытством смотрел на мелькавших перед ним танцовщиков. Восхитила его прелесть, с какою двигалась в менуэте великая княжна Елисавета, ловкость в контрдансе графинь Головкиных, первых танцовщиц после великой княжны, умилило снисхождение царя, который то участвовал в пляске, то, положив одну ногу на другую, с трубкою в зубах беседовал за одним столом с архиереями о богословии или с иноземными мореходами об опасностях их плавания, то, наконец, вместе с пировавшими пил из круговой чаши. Но всего более поразил его танец, изобретенный Петром, трогательное доказательство благодушия царева и его желания видеть на всех лицах веселость. Это был род нашего гросфатера. При игрании похоронного марша от шестидесяти до ста пар двигались погребальным шествием; вдруг, по движению маршальского жезла, музыка переходит в веселую, дамы покидают своих кавалеров и берут новых между нетанцующими, кавалеры ловят дам или ищут других, от этого кутерьма ужасная, толкотня, беготня, молодые танцовщицы хватают стариков, молодые мужчины тащат старух, те отказываются, отбиваются, шум, крик, все собрание, тысяча или полторы тысячи человек, поднято, словно играют в жмурки. И заметьте, Петр, Екатерина, вся царская фамилия тут же: за ними бегают, гонятся, сами они ловят, безо всякого от других отличия, словно в своем семействе. Наконец новое движение жезла: все приходит опять в прежний порядок, и те, кои остаются без дам или кавалеров, осушают кубки *Большого* или *Малого Орла*, единственное наказание за все проступки в ассамблее.

Андрей едва оправился от суматохи, в которой волей-неволей принужден был принять участие, увидел перед собою того, кого почитал главным себе врагом.

— Господин Горбунов! — молвил князь Александр Данилович.— Мне весьма больно было узнать о неприятном

деле, какое навязали вам, и еще более, что при этом употребили во зло мое имя. Уверяю вас честью, что все против вас злоухитрения и козни, на какие дерзнул поверенный мой Белозубов, чинились без моего ведома и воли. Чтоб доказать, что не питаю к вам неприязни, предлагаю вам свою дружбу (тут князь протянул руку) и постараюсь явить ее на деле. Не угодно ли вам перейти со мною в боковую комнату?

Андрей в изумлении последовал за князем. Вдруг раздалось: «Андрюша! Мой Андрюша!» — и Варвара очутилась в его объятиях.

ПРИПИСКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ

Два месяца спустя после сей нежданной и счастливой встречи обрученных, в два часа пополудни, несколько дрог четвернями, нагруженных сундуками, заказною в Петербурге мебелью орехового дерева, всем, что новобрачная приносит в дом супруга, покрытых богатыми персидскими коврами, медленно потянулись из села Евсеевского в село Воздвиженское. Впереди в карете веером, расписанной золотыми и серебряными городками в виде шахматной доски, покидавшей сарай только при торжественных случаях, гордая как пава, пышная как маков цвет, Ивановна в высоком чепчике, который принуждена была надеть со вступлением в дом князя Александра Даниловича и потом уже не снимала, и богатой штофной телогрее, открывала шествие цугом убранных перьями коней. Рослые слуги позади и вершники по сторонам умножали пышность поезда. Едва он показался в виду ярко освещенного дома Горбуновых, Андрей, испросивший дозволение уехать из Петербурга для женитьбы вместе с Желтовым, который также взял отпуск, чтоб быть шафером у своего приятеля, вышли на крыльцо встретить дорогую гостью. После первых приветствий, когда няня Ивановна заняла половину дома, назначенную для будущей владычицы села Воздвиженского с деревнями, и жених вместе с другом отправились к нареченному тестю благодарить за приданое, Николай Федоров, род первого министра у молодого барина, дворецкий Илья Иванов, малорослый, дородный, плешивый мужчина, и ключница Анна Васильевна, которую в силу сего звания и потому, что, по догадкам, пользовалась особенным благоволением покойного Бердыша, прочие слуги честили Анной Васильевной, как некогда наших бояр —

с «вичем»,— все, с детства кормившиеся от подачек господского стола и составлявшие высшую аристократию в многолюдной дворне Горбуновых, следуя приказу барина, угостили роскошным ужином нового товарища. Когда блюда одно за другим были разнесены между собеседниками и сладкое вино развязало языки:

— Слава тебе, господи! — воскликнула Ивановна.— Наконец привел бог дождаться. Прошел бы завтрашний день благополучно, а там и дело с концом.

— Уж тут далеко ли? — молвила Анна Васильевна.— Жаль только, что отец Григорий изнемогает. Уж куда как ему хотелось обвести молодых кругом налоя. Да больно стар, сердечный! С постели, вишь, подняться не может.

— Я чай, Маланья Ивановна, Варвара-то Лукинишна рада,— промолвил дворецкий.

— И, батюшка! — отвечала няня.— От радости света божьего невзвидит. И здоровье, и веселье, все мигом прикатило! Глядит как наливное яблочко! А то, бывало, не дай бог и ворогу, только и ведала, что горе, особенно в Санкт-Петербурхе, словно свечка истаяла, иссохла как лучинка. И день и ночь то и дело что тоскует. Слез нет, а только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи господь! Уж я, ах ты, владыка небесный, и молитвы над ней творила, и сама плакать, и ей-то говорю: «Полно тебе, свет мой, кручиниться, господь милостив, не оставит тебя горемычной, не убивай себя и нас». Нет! Что прикажешь делать? Все грустит. А пуще всего, коли заговоришь о Белозубове. Да и он, душегубец, прикинулся влюбленным и ну свататься! А ей это пуще, чем нож в сердце.

— Мало того,— подхватила Анна Васильевна,— Андрей Александрыч чуть со двора, а он на двор. Прикатил сюда в Воздвиженское да и распоряжается, словно своим добром.

— Далеко кулику до петрова дня,— прервал дворецкий.— Каково-то им всем теперь распоряжаться на каторге в Рогвихе, что ли?

— Да и поделом их! — молвил Николай Федоров.— Слыханное ли дело, пуститься на такое беззаконие!

— Мне жаль дочки Тихоновой,— сказала тут няня.— Она, бают, ни про что не ведала. Ан теперь без мужа, чай, горемычная, по миру пойдет.

— Не тревожьтесь, Маланья Ивановна! — отвечал дядька.— У нашего барина душа христианская: приказал отвести ей двор и пожаловал месячную дачу.

— Куда какой добрый! — промолвила няня.— Дай бог ему много лет здравствовать!

Тут Илья Иванов велел подать из поставца большую заздравную чашу, наполнил ее и, громко произнесши: «Здравие и многолетие нашему барину и барыне! Пошли им, господи, много чад и домочадцев! Да здравствуют на многие лета!» — осушил ее до дна.

Собеседники почли долгом, повторив тост, последовать примеру. Между тем пробило восемь часов. Николай Федоров, не без основания почитавший себя старшим и в постоянную бытность при господах получивший понятия о светскости, подал руку няне, для которой после дневных трудов и веселого ужина сия подпора не была лишней, и, в сопровождении собеседников, доведши новую гостью до вверенной ее надзору половины, пожелал ей доброй ночи.

— Покорно благодарим-с! — отвечала Ивановна.— Прощенья просим-с, Николай Федорыч, Илья Иваныч, Анна Васильевна.

Прощенья просим г. г. читатели!



Н·В ГОГОЛЬ

ТАРАС БУЛЬБА

РЕДАКЦИЯ „МИРГОРОДА“

I

А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевский бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Постойте, постойте, дети,—продолжал он, поворачивая их,— какие же длинные на вас свитки![1] Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было! А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Фу-ты, какой пышный! а отчего ж бы не смеяться?

— Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

---

[1] Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же ты хочень со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава.

И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга.

— Вот это сдурел, старый! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих.— Ей-богу, сдурел! Дети приехали домой, больше году не видели их, а он задумал бог знает что: биться на кулачки.

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись.—Ей-богу, хорошо!.. так-таки,—продолжал он, немного оправляясь,— хоть бы и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном начали целоваться.— Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему.— Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще выдумал что! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего.— И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба.— Не слушай, сынку, матери: она — баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба. А видите вот эту саблю — вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и философия,— все это *ка зна що*, я плевать на все это! — Бульба присовокупил еще одно слово, которого, однако же, цензора не пропускают в печать, и хорошо делают.— Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму!

— И только всего одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать.— И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее да неси нам все, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно, а прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных монистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому.

Все в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах,— все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время,— приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

— Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурманов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши пи-

сал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажется?

«Вишь, какой батька! — подумал про себя старший сын, Остап,— все, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит,— продолжал Бульба,— не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему? а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки, драли вас и по середам, и по четвергам?

— Нечего, батько, вспоминать,— говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом,— что было, то уже прошло.

— Теперь мы можем расписать всякого,— говорил Андрий,— саблями да списами. Вот пусть только попадется татарва.

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропала! Чтоб я для ней оставался дома? Я козак. Я не хочу! Так что же что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился и наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою.— Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука,— и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций — все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа

отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и козацкими войсками, была разделена между ими не поровну и польские войска получили более преимущества. Он, в собрании всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы».

Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» — обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж прежде всего он строго разбирал обстоятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшин и говорили перед ними в шапках, или посмеивались над православною верою,— в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу божию, христианства и козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия, особливо когда он решался защищать что-нибудь.

Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны, представит своим сотоварищам и поглядит, как

при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостию заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать приказания своему асаулу, которого называл Товкачом, потому что тот действительно похож был на какую-то хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, размахивая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня, которого он обыкновенно называл Чертом.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их,— и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо.

В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в пер-

вую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине,— все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готови-

ла все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились вместо прежних запачканных сапогов сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабли брякали по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба.— Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба.— Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую [1], чтобы стояли всегда за веру Христову; а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... Божья матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...— Далее она не могла продолжать.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака

---

[1] Рыцарскую. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев,— дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо летевшую чрез него с помощию своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем, с привязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла.—Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли

страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше,— все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками свои пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы, по их приказанию, пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем;

другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги,

но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне, и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница, с престрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело по-

дошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи.

Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож схватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его.

После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо.

Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это мы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости,— как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынеш-

нюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд, из десяти козаков, слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера.

Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним и они становились темнозелеными; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали

степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье,— все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающею в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами,

брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу-ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечу, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков, с навесами, на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дю-

жих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем далее, росла; к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими запорожцами. Это имело в себе что-то разительно-увлекательное. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным изобретателям, носит название козачка. Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде. Он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где только коснулся жизни. Он — раб, но он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность.

Тарас Бульба крякнул от нетерпения и досадуя, что конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с какою они работали ногами. Чресчур дряхлые, прислонившись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привязывали преступника, топали и переминали ногами. Крики

и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно.

Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград.

Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но бóльшая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товари-

ществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы

кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в Троицу святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу.

— А ну перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо,— отвечал кошевой,— ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что, как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Такова была та Сеча, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни.

Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.

— Что, кошевой,— сказал он один раз, пришедши к атаману,— может быть, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять,— отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

— Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву,— отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да он ведь бусурман: и бог и Священное писание велит бить бусурманов.

— Не имеем права. Если б мы не клялись нашею верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было.

— Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди,— им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

— Что ж делать? — отвечал кошевой с таким же хладнокровием,— нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули,— и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшие к нему навстречу старшины.— Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов.

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли господарство ваше речь держать?

— Говори, говори! — зашумели запорожцы.

— Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство,— да вы, может быть, и сами лучше это знаете,— что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь

и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмана?

— Вишь, он хорошо говорит,— сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай, угодник божий, сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара-великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти всё еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись, по закону нашему.

— Вишь, проклятый! что это он путает такое? — сказал Бульба писарю.

— Да, как видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа.— За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.

— Позвольте, панове, речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы,— лучшего не скажешь.

— Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговаривать-

ся, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых.

Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гульливым рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противуположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из козаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.

— Бог в помощь вам, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори!

И толпа усеяла и обступила весь берег.

— Слышали ли вы, что делается на гетманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.

— Какие же дела?

— Что и говорить! И родились и крестились, еще не

видали такого,— отвечал приземистый козак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной.

— Ну, ну, рассказывай, что такое! — кричала в один голос толпа.

— А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же это? Что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом уши ваши?

— Рассказывай! полно толковать! — сказали несколько старшин, стоявших впереди.

— Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки, на аренды?

— Нет.

— Так вы не слышали и про то, что уже христианину и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксендзы ездят из села в село в таратайках, в которых запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования.— Стой! и я скажу слово! А что ж вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! — отвечал приземистый козак,— а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.

— А гетман ваш, а полковники что делали?

— Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь гетман и полковники?

— Где?

— Полковников головы и руки развозят по ярмаркам, а гетман, зажаренный в медном быке, и до сих пор лежит еще в Варшаве.

Содрогание пробежало по всей толпе; молчание, какое

обыкновенно предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые дотоле в душе силою дюжего характера, брызнули целым потоком речей.

— Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными христианами, чтобы так замучить наших, да еще кого? полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели все это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Как, чтобы жидовство над нами пановало?! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! Чтобы и духу ее не было! — произнес кто-то из толпы.

Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье, с сильным желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом.— Ясновельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид.— Таких панов еще никогда не видывано,— ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете...— Голос его умирал и дрожал от страха.— Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! ей-богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль, в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще,— продолжал высокий жид,— не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не

хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами — как братья родные...

— Как? чтоб запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы.— Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! Я знал и брата вашего покойного Дороша. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал: великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу.— Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его.— Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти.

Вся Сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу.

И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и

гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест.

Когда все запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.

— Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово.— Пусть же тебя хранит бог от всякого несчастия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

— Дурень, что ты здесь сидишь? — сказал он ему,— разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

— Молчите,— отвечал жид.— Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу, так! вот увидите.

Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.

IV

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха; везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли. Арендаторы-жиды были вешаны кучами, вместе с католическим духовенством. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустые пространства. Нигде не смел остановить их отряд польских войск: они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие и что они явно нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем и народные права.

— Скажи епископу от лица всех запорожцев,— сказал кошевой,— чтобы он ничего не боялся; это козаки еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили многолюдные

города и деревни, почти оставленные на произвол неприятеля.

Один только город Дубно не сдавался. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе с своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город, играли в чет и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпения.

Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои, Остап и Андрий, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на сторо́же. Ночь, июньская прекрасная ночь, с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище: вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах.

Деревья шипели и покрывались дымом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота; даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет; и среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок, в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом,— все это всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее; вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди:

— Откуда? как? где твоя панна? как ты явилась здесь? что это значит? Говори, не мучь меня!

— Тише, ради бога, тише! — говорила татарка и закуталась в козацкий кобеняк, который было сбросила с себя.— Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе.

— Милосердный Иисус! она здесь? что ты говоришь? она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что ж она? говори, говори! Что ж ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ела.

— Как!

— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.

— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?

— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят

ваши обозы, и если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.

— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне не умереть только до того часу!

Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать панне, что он скоро будет сам; он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее привести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье. «Спаситель, она открыта! все пропало». Он со страхом и мертвою, убитою душою повел глазами вокруг: боже, какое счастие! даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, полезла под телегу; небольшой четвероугольник дерну приподнялся — и она ушла в землю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно.

— Андрий! — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба,— какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Эй, смотри, сын! ей-богу, отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, и признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его свел интригу,— как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердце его

млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним и снова за ним захлопнулось.

Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец ступени прекратились, под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

— Теперь идите прямо,— говорил ему голос: это была татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался такою же лестницею вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные как смерть; это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами видеть ту, за счастие которой он готов был отдать всю жизнь. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату. Везде была тишина: все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез молнию мига он ее увидит!

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. Что это было за создание! И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища каза-

лось малою жертвою,— это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде, как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода.

Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим: в нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид... О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице.

— Царица! — сказал он,— что для тебя сделать? чего ты хочешь!

Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями.

— Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты, моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отец? ты должен идти к ним,— говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.

— Что ты говоришь! — произнес Андрий со всею силою и крепостью воли.— Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле,— все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой! чего еще хочешь?

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически пламенная щека ее коснулась его щеки, и лобзание — у, какое лобзание! — слило уста их, прикипевшие друг к другу.

V

— Пане! — сказал жид Янкель, высунув свой яломок в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти и который теперь маркитан-

ствовал и шпионничал при запорожском войске.— Пане, знаете ли, что делается?

— А что?

— Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут.

— Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! — отвечал Бульба.

— А знаете ли, еще что делается?

— А что?

— Ваш сын Андрий — ой, вей мир, что это за славный рыцарь!..

— Ну?

— Он теперь держит сторону Польши.

— Как? — подхватил Бульба, вскочивши,— чтобы дитя мое... чтобы мой сын... да я тебя убью, проклятый жид! врешь ты, чертово племя!

— Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.

— Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?

— Далибуг, ей-же-богу, так!

— Чтобы он продал Христову веру и отчизну?

— Далибуг, так. Я его видел сам собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных стоят одни латы, богатые латы: все в золоте. А если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами!

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.

— Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид... Нет, не может он так сделать! Ей-богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как его не видал; он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке,— и глаза его сверкнули. Ярость, ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лице. «Вишь, чертова детина, ты таки свое взяла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней. Между тем кошевой раздавал повеления от себя быть всем в готовности и не позволять никаким образом осажденным соединиться с приближавшимися польскими войсками. Неприятельских войск было, однако же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин решили на том, чтобы усилить более ту линию, которая обращена к неприятелю. Через это цепь с противуположной стороны города

ослабела. И хотя польские войска были отбиты с первого раза, и притом с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, решился воспользоваться малочисленностью прикрытия и действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь и успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба рвал на себе волосы с досады, что уже невозможно было уморить их всех голодом. Запорожцы сдвинулись в густую непроломную стену — маневр, всегда доставлявший им существенную выгоду, потому что тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию. Неприятель, несмотря на то что был вдвое сильнее, не был в силах удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и три коронные полка, не в состоянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам, с небольшим числом, бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны: с ним было только восемнадцать человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху; бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских; дорогóй акшамет был на нем разорван; он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его, уже готовы были бежать, он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите! — кричал он, отчаянно простирая руки,— куда бежите вы? глядите: он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными козаками.

Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи.

Андрий был безответен.

— Что, сынку? — повторил Тарас.— Помогли тебе твои ляхи?

Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у господа бога отпущения: за такое дело не прощают на том свете!

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился... выстрел грянул...

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле.

В это время подъехал Остап.

— Батько! — сказал он.

Тарас не слышал.

— Батько, это ты убил его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам.

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело,

похороним! — сказал Тарас, который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас,— и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с бо́льшим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк, под начальством Товкача, доставил ему значительный перевес. Он наконец узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил во что бы ни стало взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он бы протек как смерть по его улицам. Он бы вытащил ее своею железною рукою, ее, обворожительную, нежную, блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

VI

В запорожское войско пришло известие, что Сеча взята, разорена татарами и бо́льшая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно и пленные козаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отмстили за измену полякам и смерть гетманов и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему

чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал:

— Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман! Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену?

— Я посылал просить размена — не соглашаются.

— Так мы, стало быть, их и оставим так?

— Что ж делать.

— Как! чтобы они опять замучили их?

— А что ж делать! — отвечал кошевой,— ведь помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

— Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.

— А мне кажется, атаман, так не бывать этому.

— А отчего ж бы не бывать?

— Да так: я уже знаю.

— Ова, как важно! — сказал кошевой, прижавши пальцем золу в своей люльке.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать? — сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам.— Он хочет, чтобы мы теперь же отправились на Сечу, а товарищей, тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаем мы кошевого! — сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт? — закричал он грозно.

— Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь! — кричала толпа.

— Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!

— Какую он может иметь власть? — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам.— Мы — вольные козаки!

— А что ж? мы вольные козаки! — говорили запорожцы.

— Дам я вам вольных! Вы где вольные? — на Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня, и убить, и все, что хотите; а тут вы ни слова.

Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт? — сказал он, обращаясь к Бульбе.

— Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианский! — хладнокровно отвечал Тарас.— Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь.

— Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! — сказал кошевой, несколько смягчивший речь.— За что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на Сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?

— То татарва, а то ляхи — другое дело,— отвечал Бульба.— Еще у бусурмена есть совесть и страх божий, а у католичества и не было и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковородах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать,— из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи,— что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли некоторые.— Сказали бы: вы помои, а не запорожцы! — Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их.

— Стойте, хлопьята, и я скажу! — кричал атаман.— Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!

— Пропадать так пропадать! — сказал Бульба.

— Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей погибели! А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу!

— Вы делайте свое, а мы будем делать свое! — сказал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг

против друга никакой неприязни. Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила Сечь, все мы братья родные... Спрашиваем каждого: не имеет ли против нас какого неудовольствия?

— Никакого! всегда были довольны! — закричали все в один голос.

— Ну, так пусть же на расставанье,— что будет впредь, то бог один знает: может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку,— так поцелуемся все.

И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, боже, чтобы все было так, как богу угодно! Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украйна, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословение божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши:

— Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ, запороги,— сказал он, положивши палец на свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хриплый, пискнул дискантом,— этот народ, запороги, хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!

— Ну, панове молодцы! — сказал Бульба по удалении войска,— теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурменов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь, перед великим часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякий человек.

Пятьдесят козаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. Две тысячи козаков подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане-браты,— сказал Бульба, поднявши вверх свою рукавицу,— долг велит выпить за веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами. Да за одним уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове-браты, чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Нуте, разом за веру!

— За веру! — повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы.

— За веру! — подхватили дальние.

— За Сечь! — сказал Бульба, подняв снова рукавицу.

— За Сечь! — грянули ближние.

— За Сечь! — отозвалось в дальних.

— За славу и за всех христиан, какие живут на божьем свете!

— За славу и христиан! — повторили ближние.

— За славу и христиан! — повторили дальние.

— Теперь на коней, хлопьята!

Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучею. Все дышали силою, свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею оттого, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их с стремительным упорством, начали отступать, пораженные робостию и думая, не сверхъесте-

ственная ли какая сила начала помогать козакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась както вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили так же страшно, в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь, и если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивши об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день козаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрыпели; бо́льшую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду; из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около пяти верст и наконец пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, верно, встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную

дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сеча увидела бы вновь своих славных защитников.

Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они видели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование.

Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а чрез несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного, с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали»,— сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием.

Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он, с обыкновенным своим хладнокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя чрез это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их.

В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалее от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать

помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большею частию запорожцев от обоза и ударил в средину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых: все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками.

VII

— Долго же я спал! — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и избитый.— Спал ли я это или наяву видел?

— Да, чуть было ты навеки не заснул! — отвечал сидевший возле него Товкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие.

— Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню...

— Об этом нечего толковать, как спасся; хорошо, что спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства.

— А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.

— Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню:

я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики,— и я не высвободил тебя, сын мой! Остап мой! изменила наконец сила! — Морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись: еще нам больше ста верст нужно проехать.

— Зачем?

— Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут две тысячи червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.

— Сын мой, Остап мой! — говорил он,— я не высвободил тебя!

И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы, но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было шестьдесят лет; через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и двух месяцев не прошло,— то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил,— и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчис-

ленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свои свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые его челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на берегу, шевеля губами и произнося: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами,— когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели.— Я спас твою жизнь, теперь ты сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву!

— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Янкель; брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Как можно такое говорить? — говорил жид, расста-

вив пальцы обеих рук своих.— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе двенадцать дам. Вот тебе две тысячи сейчас,— при этом Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных,— а остальные, как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Славная монета! — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А как же, вы думаете, мне спрятать пана?

— Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или там во что-нибудь другое.

— Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!

— Ну, что ж? То и хорошо.

— Как хорошо? Ах, боже мой! как можно эдакое говорить! Разве пан не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там всё такие ласуны, что боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь».

— Ну, так положи меня в воз с рыбою.

— Ох, вей мир! не можно; ей-богу, не можно! Там везде по дороге люди голодные, как собаки; раскрадут, как ни береги, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Стойте, стойте! Теперь возят по дорогам много кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под яломка, по мере того как он подпрыгивал на лошади.

VIII

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную, узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что было только у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное.— Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных,— я прибавляю еще двенадцать. Все какие у меня есть дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан! не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других.— Может быть, бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель.— Нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон, и когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Нако-

нец в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А! Мардохай! Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на сторо́же, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность,— но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

— Когда мы да бог захочет сделать, то уже будет так, как нужно.

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан! — сказал Янкель,— теперь совсем не можно! ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир, что это за корыстный народ! и между нами таких нет. Пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу, на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку,— и никто бы из самых

близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении.— Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель.— Ей-богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который, по всем приметам, казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стра-

жей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой,— отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид,— это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас. Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм... а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!..— При этом жид покрутил головою и расставил пальцы.— Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник! совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид.— Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... так от них блестит, как от солнца; а цурки, где только увидят военных... ай, ай!

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид.— Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно, они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность,— говорил он,—

зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба.— Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретичную веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук.— А я знаю, приятель, кто ты: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради бога! — закричал Янкель.— Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы.— А как не дашь сто червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать.— Пан! пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук,— сказал Бульба,— деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно! — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир,

какое счастие посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О боже мой! боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись,— пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать; народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но бо́льшая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу.

На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершен-

но все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся,— говорил он,— весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты,— то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством.

Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном контуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут!.. козаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены; они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Должно, однако ж, сказать, что король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козачьей нации. Но король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили сейм в сатиру на правление.

Остап выносил терзания, как исполин, с невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,— ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленною головою и с поднятыми, однако же, глазами и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Наконец сила его, казалось, начала подаваться. Когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы, губы его начали шевелиться.

— Батько! — произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки.— Батько, где ты? слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

IX

След Тарасов отыскался. Тридцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов и за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ. Верховным начальником войска был гетман Остраница, еще молодой, кипевший желанием скорее сбросить утеснительный деспотизм, наложенный самоуправием государственных магнатов, и очистить Украйну от жидовства, унии и постороннего сброда. Возле него был виден престарелый и опытный товарищ и советник его Гуня. Сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. Восемь полков, из которых половина конных и половина пеших, в суконных алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. Восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете; но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу.

Не буду описывать тех битв, где отличились козаки, ни постепенного хода всей великой кампании: это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы, как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ; но козаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры

знатных пани и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивши трактат, обеспечивший бы во всем козаков.

Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкою и хлеснувши ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукою и сказал:

— Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня! — И голос его имел в себе что-то пророческое.— Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет сего! Сдерут с твоей головы, гетман, кожу! набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов!

— А вы, хлопцы, хотите умирать? — продолжал он, обращаясь к своему полку,— умирать так, как умирают честные козаки? А может быть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать там, покамест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака,— или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою все! — отвечали передние в полку.— Веди! ей-богу, веди!

— Добре, паны молодцы! — сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули.— Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие козаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродете-

лию, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться.

Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их,— по крайней мере они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками.

Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его: он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые козаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя,— он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами, ночью, скакал он с своими козаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения: он преследовал его с удивительною неутомимостью и наконец

настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость.

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а козаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленною смертью. С рекою невозможно было иметь сообщения; одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина.

Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы! уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двинул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и это, вместе с выражением сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались козаки. Ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы,— кричал он,— занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него:

— Хлопцы, к берегу! к берегу! Под кручею, где крепость, стоят челны, а за вами в двадцати шагах спуск к берегу! Да забирайте все челны, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений.

Козаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть; но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в четыре шириною: одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах; из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо; но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Козаки только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распласталиcь в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался с своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия), без дальнего размышления решился повторить и себе то же и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим; но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими козаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на козаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов.

— Прощайте, паны-браты, товарищи! — говорил он им сверху.— Вспоминайте иной час обо мне! Об участи же моей не заботьтесь! я знаю свою участь: я знаю, что меня

заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле,— да то уже мое дело... Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько!..— удар обухом по голове пресек его речи.

Черт побери! да есть ли что на свете, чего бы побоялся козак? Не малая река Днестр; а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Козаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана.



К. П. МАСАЛЬСКИЙ

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В 1723-м году, на Санкт-петербургском острове (нынешней Петербургской стороне, которая в то время была главная часть города), на Троицкой площади, стоял в ряду других строений дом купца Ильи Фомича Воробьева, не каменный и не деревянный, а такой, какого не сыщешь ныне во всем Петербурге. Он был, как называли тогда, *мазанка*, и не простая мазанка, а *образцовая*, потому что строился по примерному чертежу, утвержденному Петром Великим. На лицевой стороне дома, посредине, находилась дверь с крыльцом в три ступени и по три окна с правой и с левой стороны двери. Вот все, что можно сказать о наружности здания. Внутренность его описывать не станем и потому, что ее можно увидеть и ныне, войдя в любой дом мещанина, держащегося старины, и потому, что не многие смотрят на внутреннюю красоту: была бы хороша только наружность.

Илья Фомич, возвратясь летним вечером из гостиного двора и надев халат, отдыхал после дневных хлопот в креслах, стоявших у окошка. Кстати заметить, что гостиный двор находился тогда посредине Троицкой площади и состоял из мазанкового четвероугольного в два яруса здания. В нижнем ярусе устроены были лавки, а в верхнем амбары. На дворе, посредине сего четвероугольника, стояла деревянная изба, где помещалась ратуша. С Большой Невы и с Малой, с двух сторон предположено было прорыть к гостиному двору каналы для привоза товаров на судах, но сие предположение не успели исполнить.

Против Ильи Фомича сидела в других креслах молодая девушка и вязала чулок. Не станем описывать ее красоты. Скажем только, что эта девушка была прелестна, и предоставим читателю рисовать в воображении образ ее по своему идеалу. Предвидим, что столько же будет создано различных, несходных между собою, мысленных портретов этой девушки, сколько эта повесть будет иметь читателей; и если какими-нибудь судьбами переведут ее на китайский язык, то прелестная Мария в воображении какого-нибудь мандарина-читателя превратится в дородную девушку небольшого роста, с утиною походкою, прищуренными глазами, пухлыми щеками и широким, приплюснутым носом. Разумеется, что Мария была вовсе не похожа на этот китайский идеал красоты.

Весьма близкое подобие сего идеала нельзя сказать вошло, нельзя сказать и вошла, а вошел неожиданно в комнату Ильи Фомича, ибо сие подобие был калужский купеческий сын Карп Силыч Шубин, на двадцать пятом году своей жизни приехавший в первый раз в столицу. Отец его, за несколько недель пред тем умерший, принадлежал к числу приятелей Ильи Фомича, хотя они в мнениях и правилах жизни совершенно различествовали один от другого. Илья Фомич брил бороду, носил немецкое платье и выучился грамоте, а отец Шубина до самой кончины не переменял покроя кафтана и хранил бороду как зеницу ока, потому что был раскольник. Он воспитал в своих правилах и сына, который до смерти отца постоянно жил в каком-то ските и с роду не видал ни одного человека, одетого по-немецки и с бритою бородою.

Илья Фомич весьма удивился, увидев перед собою вечером такого красивого молодца, каков был Карп Силыч. Он видал его в Калуге еще ребенком, но с тех пор китайский идеал красоты вырос и достиг такого совершенства, что Воробьев вовсе его не узнал, тем более что Карп Силыч, по примеру отца держась раскола, носил платье, предписанное указом для раскольников. На нем надет был длиннополый суконный кафтан, весьма низко подпоясанный, с четвероугольником из красного сукна, нашитым на спине. В руках держал он с желтым козырьком картуз, который было предписано носить задом наперед.

— Ты, верно, меня не узнал, Илья Фомич? — сказал Шубин после нескольких поклонов перед иконами. — Я привез тебе грамотку от моего дяди.

Он подал Воробьеву письмо, и, между тем как тот разбирал оное, глаза Шубина, произведя общий обзор всем

предметам, находившимся в комнате, остановились на Марии, и так пристально, что девушка несколько смутилась, покраснела и ушла в свою комнату.

— Господи, твоя воля! — воскликнул Илья Фомич, прочитав письмо и бросясь обнимать гостя.—Давно ли к нам ты в Питер приехал, Карп Силыч?

— И получаса не будет.

— Милости просим, милости просим! Мы с твоим покойным батюшкой были искренние приятели. Как ты, Карп Силыч, вырос и похорошел! Я совсем не узнал тебя!

— Слышал ты, Илья Фомич, что батюшка мой приказал тебе долго жить?

— Слышал, царство ему небесное! Тебя он наследником-то назначил?

— Вестимо, что меня. Я слышал, что в Питере выгодно торгуют. Хочу здесь лавку завести. Как посоветуешь?

— Барышей больших нет от здешней торговли, однако ж и убытку нет, коли приняться за дело умеючи. Много ли наличных-то у тебя?

— Довольно-таки есть! С меня будет. Никак, и ты остался батюшке должен?

— Отдам, Карп Силыч, отдам! Да не пора ли нам поужинать? Эй! Маша! Ужин проворнее!

— Сейчас, батюшка! — отвечала девушка из другой комнаты.

— Это дочь твоя, Илья Фомич? — спросил Шубин, повертывая свой картуз обеими руками.

— Нет, это сирота без роду и племени. Я с малых лет воспитал ее.

— А кто же был ее батюшка-то?

— Да бог весть! Какой-то шведский дворянин.

— Так поэтому ей нельзя за нашего брата, русского, замуж выйти?

— Почему ж нельзя! Разве ты не читал царского указа? По этому указу можно и на иноземке жениться.

— Видишь ты что! А давно ли эта сирота живет у тебя?

— Одиннадцатый уж год. Ей было от роду десять лет, как я взял ее к себе. Она жила прежде на дворе у моего соседа с каким-то стариком, пленным офицером шведским, по прозванию Нолькен. Этот офицер долго жил в Питере, научился кой-как говорить по-нашему и был со мной знаком. В свою сторону он боялся воротиться — я расскажу тебе почему — и жил здесь словно нищий; все хирел да хирел и наконец слег в постель. Раз призвал он меня к себе, рассказал, как ему досталась эта девушка, и со слезами

просил не оставить ее после его смерти. Я сам расплакался и дал ему слово. Он через неделю после того умер.

— Что ж он тебе рассказывал?

— Вот видишь ли, прежде вся эта сторона, где ныне Питер стоит, принадлежала шведам. Река Нева называлась у них Ниен, а там, где в нее впадает речка Охта, при истоке сей речки, на левом берегу, стояла крепость шведская Ниеншанц. Где теперь Питер, там были лес да болота непроходимые. Только близ того места, где Почтовый двор [1], стоял дом какого-то помещика, шведского дворянина. Сказывал мне Нолькен его прозвание, да я забыл. Около дома находилась его деревня. Еще была близ взморья деревушка Калинкина. На другом берегу Невы, почти напротив дома шведского дворянина, стояла рыбачья избушка. Царь Петр Алексеич, взяв в 1702-м году 11 октября крепость Орешек, по-шведски Нётебург, назвал ее Шлюссельбургом и в апреле 1703-го года подступил с войском к Ниеншанцу. Царь был тогда капитаном бомбардирской роты Преображенского полка. 30 апреля начали стрелять по крепости из двадцати пушек да бросать бомбы из двенадцати мортир. Пальба во всю ночь продолжалась. 1 мая, в пятом часу утра, неприятель ударил *шамад*, выслал переговорщиков, и крепость сдалась. На другой день к вечеру наши караульщики донесли, что на взморье появились шведские корабли. 6 мая вечером царь и Александр Данилыч Меншиков, который был тогда поручиком, с солдатами Преображенского да Семеновского полков на тридцати лодках поплыли к устью Невы и скрылись за островом, что лежит к морю против Калинкиной деревни, а 7-го числа пред рассветом напали на шведские суда и взяли из них два. После этой победы собрался Военный совет и решил, чтобы вместо Ниеншанца, который стоял далеко от моря и на неудобном месте, искать нового места для заложения крепости. Царь изволил осмотреть все невские острова и выбрал из них один, который назывался веселым островом [2]. На нем 16 мая, в троицын день, заложена была царем крепость и названа Санкт-Петербург, а поблизости из рыбачьей избушки царь изволил устроить для себя дворец. Завтра тебе покажу этот дворец, Карп Силыч. Ты, верно, ахнешь! Он втрое меньше моего дома. Нечего сказать: совсем не царское жилище! Около крепости и дворца начали расти, как грибы, другие

---

[1] Ныне на сем месте Мраморный дворец. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

[2] Ljusteilande. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

домы. Я был из первых здешних обывателей. Торговал прежде всякой всячиной, а ныне... о чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ах, да! Вспомнил! Шведский помещик, изволишь видеть, был вдовец. У него было только и семьи, что маленькая дочь Маша. Как наши подступили к Ниеншанцу, он отправил все свое добро за море и хотел бежать. Нолькен, который служил в гарнизоне Ниеншанца, часто ездил к нему в гости. Он рассказывал мне, что этот дворянин знался с нечистыми духами, часто целые ночи в светлице над его домом виден был свет, то красный, то синий, то голубой, то зеленый. В то время, как брали Ниеншанц, разъезжал по окрестным местам окольничий Петр Апраксин с несколькими сотнями новогородских дворян и смотрел, чтобы шведы откуда-нибудь нечаянно не подошли на выручку. Нолькен за день до того, как наши окружили Ниеншанц, поехал в гости к шведскому дворянину, долго прогостил у него и не успел возвратиться в крепость. Он очень испугался и начал опасаться, чтобы его не расстреляли за то, что он не вовремя от должности отлучился. Дворянин присоветовал ему бежать вместе с ним за море. Взяв на руки дочь, которой тогда только что год минул, дворянин велел Нолькену следовать за ним и дал ему нести небольшой ящик из черного дерева. Через Васильевский остров добрались они уже до взморья, где ожидала их лодка, но, когда они к ней подходили, человек пять новгородских дворян, объезжавших берег дозором, закричали издали: стой! Дворянин и Нолькен бросились к лодке, но один из объезжих выстрелил из ружья и ранил дворянина. Он упал и, видя, что объезжие скачут к нему, отдал свою малютку Нолькену. «Я умираю! Спасайся! — сказал он ему слабым голосом.— Замени ей отца. Береги этот ящик, что у тебя в руках. Пусть она раскроет его наедине, и не прежде, как через двадцать лет, 1 октября 1723-го года, в полночь. Горе тому, кто этот ящик прежде раскроет!» Он хотел что-то еще сказать, но объезжие подскакали, схватили Нолькена и увели его к начальнику их, окольничему Апраксину. Его отправили с Машею в Шлюссельбург, где он и прожил более шести лет. Потом дозволили ему переселиться в Питер. До самой смерти своей Нолькен не мог узнать, что сталось с отцом Маши. О чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ну, после вспомню, а теперь милости просим за ужин.

Хозяин ввел гостя в другую комнату. На круглом столике, накрытом белою как снег скатертью, стояло блюдо с пирогом. Легкий пар поднимался от него и наполнял

комнату ароматом, который более нравится, чем запах амбры, всякому, у кого тонкое обоняние и пустой желудок. Илья Фомич сел рядом с гостем, а Мария против них. В начале ужина Карп Силыч исподтишка поглядывал на нее от времени до времени, а к концу ужина, когда он выпил, по настоятельному убеждению хозяина, шестую чарку гданской водки, начал он смотреть на девушку во все глаза. По окончании ужина Мария ушла в свою комнату, а Карп Силыч, посмотря ей вслед и вздохнув, сказал хозяину с замешательством:

— Если б я... если б ты, Илья Фомич... если б... дело-то, знаешь, щекотливое! Стыд меня разбирает!

— Что такое, Карп Силыч?

— У меня наличных столько, что я могу здесь дюжину лавок купить. Я уж давно сбираюсь жениться. Не сыщешь ли ты, Илья Фомич, для меня невесты? Приданого мне не надобно. Была бы девушка нравом добрая, лицом красивая, ума-разума не глупого. Ты здесь давно живешь, у тебя, чай, знакомых много.

— Да в тебе, как я вижу, молодецкая кровь горячая — что твой кипяток! Я сам смолоду похож был на тебя. В субботу сосватался, а в воскресенье женился! Покойница жена моя и одуматься не успела.

— Посватай, в самом деле, за меня хорошую невесту! Я бы тебе спасибо сказал.

— За этим дело не станет! Только, скажу тебе правду, в этом кафтане вряд ли ты девушке из порядочного дома приглянешься.

— А почему ж нет?

— Девушки, изволишь видеть, не столько смотрят на ум и богатство, сколько на красивое лицо... тьфу, пропасть, не то сказал!.. сколько на красивое платье. Ты, вот изволишь видеть, носишь бороду да кафтан, а здесь в Питере все одеваются по-немецки.

— Да как это по-немецки? Этак, что ли, как ты, Илья Фомич? Я, пожалуй, завтра ж себе такой же шелковый балахон, как у тебя, куплю.

— На мне надет теперь халат, а немецкое платье совсем особого покроя. Вот завтра на мне увидишь. Оденься-ка и ты, Карп Силыч, по-немецки. Дело сделаешь! Здесь кафтаны и бороды стали очень уж редки. И я носил прежде русское платье, но делать было нечего, как начали говорить про меня: все люди в шапках, один бес в колпаке! Поневоле обрился и перерядился.

— Чуть ли и мне не хвatиться за ум. Ведь я теперь сам

себе господин! Дядя, конечно, заворчит, да наплевать мне на него! Ведь не отец же родной, в самом деле! Да ты, я вижу, зеваешь, Илья Фомич, сон тебя склоняет. Разве уж поздно?

— Оно хоть и не поздно, однако ж и не рано! Чу! На Троицкой колокольне часы бьют. Раз... два... три... четыре... пять... шесть... семь... восемь. Эти часы царь Петр Алексеич велел привезти сюда из Москвы: с Сухаревой башни. Через час караульщики с трещотками по улицам пойдут, и шлагбомы по концам улиц опустят. О чем бишь я заговорил?

— Прощай, Илья Фомич! Утро вечера мудренее. Завтра успеем дело решить.

Шубин с Троицкой площади вошел в Большую Дворянскую улицу и вскоре прибыл к дому, где он с приказчиком своим по приезде в Петербург остановился. На другой день рано утром отправился он в гостиный двор за разными покупками и лишь только поравнялся с большим деревянным домом князя Бутурлина, отличавшимся куполом и статуею Бахуса наверху, как толпа мальчишек окружила Шубина. Прыгая и указывая на четвероугольник из красного сукна, который был нашит у него на кафтане, они хохотали и кричали: «У! У! Туз бубновый идет! Туз бубновый!»

— Отстаньте, бесенята! — проворчал сердито Карп Силыч.

Мальчишки пуще захохотали.

— Молчи, желтый картуз! — закричал один из них, который был постарше.— Смотрите-ка, ребята! На картузе у него желтый козырь. Туз-то, видно, козырный. Вишь, он каким козырем идет!

Карп Силыч вышел из терпения и, схватив с земли попавшуюся ему палку, побежал за насмешником. Вся толпа вмиг рассыпалась в разные стороны, однако ж издали продолжала воспевать хором: «Туз бубновый! Туз козырный! Что, взял!»

Шубин не выдержал нападения и решился возвратиться домой.

— Беги тотчас же на рынок! — сказал он своему приказчику, войдя в комнату и бросив с досадой картуз на пол.—Купи немецкое платье, самое лучшее! Что глаза-то вытаращил! Не для тебя небось, а для меня! Ты мужик, ходишь и в кафтане, а я купец! Да бородобрея позови!

— Неужто, Карп Силыч, твоя милость...

— Молчи и делай, что велят! — закричал Шубин, топнув.

Изумленный приказчик, ворча что-то про себя и качая головой, вышел. Вскоре после его ухода явился полковой брадобрей, остриг волосы Шубину, причесал его, обрил бороду и, получив за работу рублевик, ушел. И стал молодец хотя и не книжен, да хорошо острижен.

Через несколько времени приказчик принес в узле купленное им платье и шляпу.

— Одевай же меня скорее! — сказал Шубин.

— Да я не умею! — отвечал приказчик, развязывая узел.

— Что ж ты купца не расспросил? Он должен знать, как это платье надевается! Этакой олух! Да не заметил ли ты вчера, как мы в город въезжали, немецкого платья на прохожих?

— Помилуйте, батюшка! Мы въехали в город вечером. Притом было туманно!

— У тебя часто с похмелья в глазах туманно! Давай все платье сюда! Я сам оденусь! Ну, вот чулки! Натягивай! Тише, дубина: разорвешь! А это что такое?

— Это, никак, штаны!.. Карп Силыч! Побойтесь господа! Что дядюшка скажет, как услышит...

— Не твое дело, козлиная борода! Помоги надеть штаны!

— Охота надевать такую дрянь! В песне недаром поется: «На дружке-то штаны после деда сатаны». Сатана это немецкое платье выдумал!

— Послушай, Прошка! Я тебе плюху дам, если не замолчишь.

От незнанья ли, с намерением ли, только приказчик напялил на своего хозяина штаны задом наперед и с усилием начал застегивать их сзади.

— Да так ли ты надел, Прошка? Что у меня напереди за мешок? Можно сюда всыпать четверик гороху, а поясницу так жмет, что сил нет!

— Что ж делать! Видно уж, покрой таков. То ли дело русское платье! Просторно, хорошо, славно!

— Ну, ну! Застегивай! Полно толковать-то. А это что?

— Это *жалеть*. Купец, помнится, называл вот эту ветошку с двумя окошками жалетем, а вот это кафтаном *как солнце* [1]. И названья-то какие дурацкие! Жалеть! Видно, кто это платье носит, тот будет жалеть.

---

[1] Саксонский. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

— Замолчишь ли ты! Да не так, пустая голова! Уж коли штаны сзади застегиваются, то, верно, и жалеть, и как солнце так же. Русской кафтан спереди застегивают, а немецкий сзади.

— Так-с!.. Вот еще какая-то ветошка! — сказал приказчик, подавая галстух.

— Это носовой платок! Разве не видишь, дурачина! Давай сюда. Ба! Да он о трех углах, а не о четырех. Бережливы эти немцы! На обухе рожь молотят, зерна не уронят! А вот здесь напереди у кафтана и карман есть, куда платок можно спрятать. Славно придумано. Ну, подавай шляпу!

Посмотревшись в зеркало, одетый по-немецки, идеал китайской красоты улыбнулся от удовольствия, сдвинул немного шляпу набок и, выставив конец галстуха из кармана, вышел бодро на улицу. Самодовольствие и воротник его кафтана, подпиравший ему подбородок, поднимали лицо его вверх и принуждали смотреть на небо, через шляпы прохожих, которые останавливались и глядели ему вслед с удивлением. Шубин относил это к богатству и щеголеватости своего наряда и не слышал земли под собой от восторга. Наконец один попавшийся ему навстречу прохожий, одетый по-немецки, разрушил его очарование. Бедный Карп Силыч, с ужасом заметив, что одет был вовсе не так, как следовало, от сильного стыда покраснел по уши, а по рукам и ногам заползали у него мурашки. Сначала он хотел было бежать назад домой, но, оглянувшись и увидев вдали собравшуюся толпу извозчиков, которые смеялись и на него указывали, решился, скрепив сердце, искать убежища в доме Воробьева, ибо до этого дома оставалось гораздо менее пространства, чем до его квартиры. С чувством, подобным тому, с каким в жестокую бурю мореплаватель, заметивший в корабле сильную течь, спешит к пристани, летел Шубин на всех парусах к дому Воробьева, надвинув шляпу на лицо. Подбежав к крыльцу, отворил он тихонько дверь и, войдя в сени, начал снимать с себя кафтан, чтобы надеть его, как должно. Воробьев, бывший тогда дома, услышав в сенях шорох, послал свою воспитанницу посмотреть, кто пришел. Мария, отворив дверь из комнаты и увидев мужчину без кафтана, ахнула и захлопнула двери. Карп Силыч чуть не сгорел со стыда и в отчаянии присел на пол, закрывшись кафтаном.

— Что с тобой сделалось, Маша? — спросил удивленный Воробьев.— Чего ты испугалась?

— В сенях какой-то мужчина!

— Ну так что ж? Давно ли ты стала так мужчин бояться!

— Я, батюшка, не испугалась, а только... да посмотри сам в сени!

Воробьев отворил дверь и увидел Карпа Силыча, все еще сидевшего на корточках и закрывавшегося кафтаном. Он подошел к нему и, взяв его за руку, поднял на ноги.

— Ба!.. Карп Силыч!.. Да я тебя насилу узнал! Ворожил, что ли, ты на полу? А кафтан-то зачем ты снял?

— Я... мне...— отвечал Шубин в замешательстве,— мне очень жарко стало, вишь, я слишком скоро к тебе шел, а здесь в сенях такой приятной ветерок продувает.

— Вот проказник! Вздумал у меня в сенях прохлаждаться! Да что это на тебе как штаны и камзол надеты! Никак задом наперед!

— Нет, это я теперь их так повернул!

— Помилуй, Карп Силыч! Да это невозможное дело! Как это тебя угораздило? Надень, по крайней мере, камзол и кафтан как следует. Постой, постой! Не так! Дай, я тебе помогу. Вот этак! Ну, теперь пойдем в горницу, милости просим!

Он ввел его в комнату. Мария, поклонясь Шубину, едва удержалась от смеха, вспомнив его испуг и положение в сенях.

Так как день был праздничный, то Шубин пробыл у Воробьева до самого вечера. Разговор их переходил от предмета к предмету и наконец остановился на сумме, которую Илья Фомич должен был отцу Карпа Силыча.

— Поверь богу,— сказал Воробьев,— что деньги эти за мной не пропадут, только теперь нет у меня ни копейки в наличности. Не рассудишь ли разве, Карп Силыч, у меня этот дом купить? Тогда бы в долге сочлись.

— Нельзя ли дом осмотреть? Я подумаю.

— Маша! Посвети-ка нам.

Мария встала с своего места и взяла со стола свечу.

Воробьев повел за нею гостя из комнаты в комнату. Когда они вошли в спальню Марии, то Шубин, приметив черный, небольшой ящик, стоявший на столике под образом, спросил:

— Не тот ли это ящичек, про который ты мне говорил, Илья Фомич?

— Тот самый.

При сих словах Мария вздохнула, и пламя свечи, которую она держала в руке, затрепетало от ее вздоха.

— Что бы в нем такое быть могло? — продолжал

Шубин, подойдя к столику и осматривая ящик с любопытством.— Уж не каменья ли драгоценные?

— Быть не может! Ящичек легок, как перо! — отвечал Воробьев.— А вот Маша осенью его раскроет. Срок, который родитель ее назначил, скоро уж наступит. Авось и нам она тогда скажет, если можно будет, что такое хранится в этом ящичке.

Осмотрев все прочие комнаты, Шубин возвратился с хозяином в ту, где сей последний принимал обыкновенно гостей, а Мария, по его приказанию, пошла в поварню хлопотать об ужине.

— Ну что? — сказал Воробьев.—Как тебе домик мой нравится?

— Старенек, однако ж похаять нельзя. Дай мне пораздумать недельки две, авось дело у нас сладится. Поговорим еще на досуге об этом, а теперь скажи мне, пожалуйста: неужто ты не знаешь, что лежит в ящике? Я бы на твоем месте тайком раскрыл его да посмотрел.

— Как это можно, Карп Силыч! Сам я передал Маше волю ее родителя, да сам же ее и нарушу! У Маши только и родни осталось на свете, что этот ящик. Бедненькая его так любит и бережет, что и сказать нельзя! Она все надеется найти в ящичке какое-нибудь письмо, по которому она отыщет отца своего.

— А что ж, и то быть может.

— Нет, я не думаю этого. Зачем бы было ее отцу завещать, чтобы она раскрыла ящик не прежде, как через двадцать лет, притом наедине и в полночь. Он даже и день назначил, а именно первое октября. Тут что-нибудь да есть особенное! Чем ближе подходит срок раскрывать ящик, тем больше страх меня разбирает.

— Уж не сила ли нечистая в ящике-то сидит! Лучше бы ты его в огонь бросил.

— Оборони господи! Если и в самом деле лукавые в ящике заперты, то они, пожалуй, как бросишь их в печь, весь дом разнесут... Поговорим о чем-нибудь другом, Карп Силыч! Смерть не люблю я говорить о чем-нибудь страшном, на ночь глядя.

— Крепко ли ящик-то заперт, Илья Фомич?

— Ни щелочки на ящике не видно, а ключ Маша носит на шее.

Простясь с Воробьевым, Шубин ушел и во всю дорогу ломал голову: если не сила нечистая, то что бы такое могло быть в ящике?

Прошло недель шесть после приезда его в Петербург,

и он почти каждый день посещал Воробьева. Необыкновенная красота Марии с самого первого свидания с нею произвела на него сильное впечатление, и он вскоре влюбился в девушку по уши. Замечая, однако ж, с ее стороны совершенную холодность и невнимательность к нему, Шубин внутренне на это досадовал и все придумывал средство, как бы довести Воробьева до того, чтобы он решился выдать за него замуж свою воспитанницу против ее воли. «Как будет моею женою,— размышлял он,— так поневоле меня полюбит; лишь сначала надо задать ей хорошую острастку, а потом приласкать, так небось будет шелковая. Недаром говорят: люби жену как душу, а бей как шубу».

Через несколько времени Шубин, за обедом у одного из знакомых ему купцов, услышал, что торговые дела Воробьева весьма запутались и что ему не миновать за долги острога. Он очень обрадовался этой новости и на другой же день пошел к Воробьеву. После обыкновенных приветствий Шубин завел разговор о женитьбе и объявил, что он имеет желание жениться на Марии. Воробьева нисколько не удивило это предложение, ибо он давно заметил страсть Шубина. Поблагодарив за предложение, он продолжал:

— Жаль мне, очень жаль, что ты, Карп Силыч, ранее не посватался. Маша бы зажила с тобою припеваючи! Только изволишь видеть, у нее уже есть жених.

— Как? Кто такой? — воскликнул Шубин, изменясь в лице.

— Перед тобой таиться я не стану и как искреннему приятелю все расскажу в подробности. На дворе у меня несколько лет сряду нанимал небольшую горенку молодой иконописец из разночинцев, Павел Павлыч Никитин. Славной детина! Сметливый, честный, работящий! Два года жил он вместе с каким-то пленным шведом и так выучился от него по-шведски, что говорил на этом языке, как на своем природном, и даже мог читать шведские книги. С малых лет остался он сиротою после отца и матери, воспитан был в школе, которую завел преосвященный Феофан в Новегороде, приехал потом в Питер и начал доставать себе хлеб писанием святых икон. Мастерству этому выучился он самоучкой. Бывало, целый день сидит, сердечный, за работой. Кроме икон, писал он и другие картины. Вот посмотри, Карп Силыч, на этой стене Полтавское сражение. Это он подарил мне в светлое воскресенье вместо красного яичка. Ведь славно написано! Знакомый капрал мне рассказывал, что шведы совсем было одолели наших, и если б не... О чем бишь я заговорил? Ах, да, об Никитине. Я его вскоре полю-

бил как родного. Одна была беда, что мастерство его немного ему выгоды приносило: с трудом доставал он хлеб насущный. Однажды царь Петр Алексеич в доме князя Бутурлина увидел картину и спросил, кто ее писал? Ему сказали, что Никитин. Его царское величество велел тотчас его представить себе, обласкал его и дал указ отправить его на два года за море, в Тальянское государство, чтобы он там еще лучше картины писать научился. Прибежал Никитин ко мне без памяти от радости. Я в то время сидел с Машей за обедом. Лишь только услышала она, что Никитин уезжает на два года за море, как вдруг переменилась в лице, встала поспешно из-за стола и ушла в свою комнату, сказав, что ей очень нездоровится. Я как раз смекнул делом и сам себе думаю: авось Никитин не догадается. Только что же? У моего молодца навернулись слезы, побледнел он, как белый платок, бросился мне в ноги и начал целовать мою руку. «Что с тобой сделалось, Павел Павлыч? — спросил я.— Господь с тобой!» А он молчит себе, целует только мою руку да плачет. «Если я вернусь из-за моря,— сказал он наконец,— и успею что-нибудь нажить моим мастерством, то дашь ли ты нам свое благословение? Белый свет не мил мне без нее. Ты заменил Маше отца! Будь и мне, сироте, отцом». Мы обнялись с ним, и я дал ему слово выдать за него Машу, когда он из-за моря воротится. Посмотрел бы ты, Карп Силыч, как мое обещание его обрадовало, как он благодарил меня! Не охотник я плакать, а признаюсь, глядя на его радость, я расплакался. На другой день он уехал из Питера, а я Машу в допрос. Ведь до сих пор не признается, плутовка, что ей Никитин полюбился: начнет уверять, оправдываться. Что с ней станешь делать! Впрочем, ведь и все почти девушки похожи на Машу. Не скоро скажут, что у них в сердчишке таится. Однако ж я знаю наверное, что она ни за кого другого, кроме Никитина, замуж не пойдет.

— Почему ж ты так думаешь? Что ей за охота обвенчаться на нищем да голод и холод целый век терпеть! Скажи-ка ей про меня. Авось она передумает.

— Нет, Карп Силыч! Грешно мне будет не сдержать моего слова.

— Послушай, Илья Фомич, ты мне должен, и должен немало! Срок платить давно уж наступил. Выдашь за меня Машу: буду ждать хоть десять лет уплаты; не выдашь: плати завтра же деньги! Завтра же подаю на тебя челобитную!

— Карп Силыч! Деньги твои за мною не пропадут. Твой

покойный батюшка давно дело со мной имел и не разу на меня не жаловался. Напрасно ты так горячишься. Сам рассуди: честно ли я поступлю, если нарушу мое слово, которое дал Никитину. На сих днях он должен возвратиться из-за моря! Притом я не хочу ни за что принудить Машу выйти за тебя замуж против воли. Я наперед знаю, что она не согласится.

— Поговори с нею. Беды от этого не будет.

— Пожалуй. Я все сделаю в твою угоду. Только не пеняй на меня, Карп Силыч, и не ссорься со мною, если не успею уговорить ее. Вспомни и то, что если бы и захотел я ее принуждать, так по царскому указу нельзя будет выдать ее замуж насильно.

— Прощай! Не отдаешь невесты, так долг отдай. Завтра увидимся.

Хлопнув дверью, Шубин вышел. Мария, сидевшая в своей комнате за работой, ничего не слыхала из сего разговора. Добрый Воробьев, уверенный в ее любви к Никитину, целый вечер был задумчив и не имел духа сообщить ей предложение Шубина. Зная доброе сердце своей воспитанницы, он не решался открыть ей положения дел своих и опасался, чтоб она не пожертвовала собою и не погубила себя для его спасения; он коротко узнал Шубина и был уверен, что выдать ее за него замуж значило погубить ее.

На другой день явился к Воробьеву, вместе с Шубиным, купец Спиридон Степанович Гусев, староста Троицкой площади [1]. На нем был саксонский кафтан из темно-синего сукна, бархатный голубой камзол и плисовые черные штаны. Лоб его украшался несколькими морщинами, рыжими бровями и довольно обширною лысиной. Маленькие, прищуренные глаза с первого взгляда показывали в нем человека хитрого и корыстолюбивого. Нос его имел сходство с яблоком порядочной величины, тем более что на конце вместо стебелька чернелась бородавка, а сжатые жеманно губы постоянно сохраняли насмешливое выражение. К чести наших предков надобно сказать, что старосты вообще выбирались из людей честных и бескорыстных, но

---

[1] В 1718 году с каждого двора в Петербурге назначен был *караульщик*. Они обязаны были прекращать на улицах драки, ловить воров, гасить пожары, ходить ночью по улицам с трещотками и вообще наблюдать за порядком. Над десятью караульщиками начальствовал *десятник*, а при каждой слободе, площади или улице определялся *староста*, который заведовал десятниками и доносил обо всем генерал-полицеймейстеру. Караульщики, десятники и старосты избирались из городских обывателей. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

Спиридон Степанович, добившись хитростью и происками звания старосты, начал тихомолком набивать свой карман, брать от челобитчиков добровольные приношения и вполне оправдал пословицу: в семье не без урода.

— Здравия желаю! — сказал Гусев тонким и высоким голосом, составлявшим резкую противоположность с его толстым брюхом и низким ростом. Толщину его можно было сравнить с гиперболою, голос с иронией, а всего Гусева с олицетворенною, самою смелою антитезою.— Давно уж мы не видались! Жаль мне только, что мой приход не так тебе будет приятен,— продолжал он, вынимая из кармана бумагу и подавая Воробьеву.

Прочитав ее, сей последний изменился в лице. Это был указ ратуши о немедленной уплате долга Шубину — в противном случае предписано было Воробьева посадить тотчас же в острог.

— Я подам апелляцию,— сказал Воробьев, отдавая Гусеву указ дрожащею рукою.— Кажется, меня нельзя посадить в острог прежде, чем имение мое будет продано.

— Да ведь ты, Илья Фомич, уж представил в ратушу опись всему твоему движимому и недвижимому имению, кроме наличных денег. Ратуша рассчитала, что как бы выгодно ни продалось твое имение, нельзя будет уплатить и половины долгов, не считая долга Карпу Силычу. Чем же ты ему-то заплатишь, если у тебя нет наличных?

— Спиридон Степаныч! Тебе известно, что у меня четыре барки с товаром на Неве льдом разбило. С тех пор, как я ни старался, не мог поправиться. Не я виноват!

— Да и не я, Илья Фомич! Так у тебя нет наличных?

— Все мои должники согласились ждать уплаты, пока я не поправлюсь.

— Нет, я не согласен! — проворчал Шубин.— Я и так долго ждал.

— Что же мне делать, Илья Фомич? — продолжал Гусев.— Если у тебя нет наличных, то я принужден буду исполнить указ.

— Возьми мои последние пять рублевиков! — вскричал Воробьев, вскочив со стула, вынув деньги из кармана и бросив их перед Шубиным.— Делайте со мной что хотите! У меня нет больше ни копейки.

— Не горячись напрасно, Илья Фомич! — заметил хладнокровно Гусев.— Умел брать взаймы, умей и от-

дать. Эй! Войдите сюда! — закричал он, отворив дверь в сени.

Вошли два караульщика с десятским.

— Отведите его в острог!

Шубин, приблизясь к Воробьеву, сказал ему вполголоса:

— Согласись на мое предложение, и я соглашусь ждать долга вместе с прочими заимодавцами!

— Умру в остроге, но не погублю сироты!

Марии в это время не было дома. Воробьева караульщики связали и, предводительствуемые десятником, повели в острог, а староста и Шубин пошли в австерию, которая находилась близ моста, ведущего с Троицкой площади в крепость. Если бы какой-нибудь волшебник восстановил этот давно истлевший домик, то австерия очутилась бы при самом въезде на нынешний Троицкий мост, и тогда, без сомнения, большая часть расчетливых немцев-ремесленников, спешащих летом в воскресные и праздничные дни на Крестовский остров, перестали бы нанимать извозчиков у Троицкого моста, входили бы в австерию, закуривали бы цигарки, выпивали бы бутылку пива и стакан пуншу и, взвешивая удобство австерии с привлекательностию трактира на Крестовском, повторяли бы надпись, которая украшала беседку одного из петербургских любителей садов и гласила: *Незачем далеко, и здесь хорошо!*

Австерия снаружи представляла небольшое четвероугольное здание. На главном ее фасаде находилась посредине дверь, два окошка с левой стороны двери и столько же с правой. Шесть тонких колонн, соединенных низенькими резными перилами, поддерживали приделанный к дому деревянный навес и составляли таким образом открытую галерею, которая предназначена была для того, чтобы изяществом своим привлекать прохожих во внутренность австерии, подобно замысловатому предисловию, служащему для привлечения читателей к прочтению книги. В австерии продавались от казны дорогие водки, иностранные вина, вообще напитки разного рода и закуски. Продажею заведовал бургомистр и несколько купцов, нарочно для сего избиравшихся. Петр Великий в праздники, отслушав обедню в Троицкой церкви, а в будни после присутствия в Сенате, заходил в австерию с своими приближенными на чарку водки. Сначала пред сим домиком, по случаю побед или других радостных событий, отправлялись разные торжества и сожигаемы были фейерверки, до построения в 1714-м году на Троицкой площади Коллегий, которые

заменили австерию для собраний двора во время торжеств [1].

К этому-то домику поспешал Шубин с покровителем своим, старостою, в намерении угостить его заморскими винами и водками. Гусев хотя и носил немецкое платье, не мог, однако ж, изменить одному почтенному по древности обычаю, который и доныне еще на Руси существует и состоит в том, чтобы взятки всегда были сопровождаемы угощением на счет челобитчика.

Приближаясь к австерии, Гусев заранее наслаждался мысленно запахом и вкусом напитков, до которых он был большой охотник. Сердце его сильно билось от удовольствия, как будто бы хотело перепрыгнуть в левый карман камзола и поздороваться со спрятанными там десятью серебряными рублевиками, которые накануне находились в кармане Шубина и каким-то образом перешли оттуда в камзол старосты. Не дойдя, однако ж, шагов на сто до австерии, Гусев остановился.

— Мне что-то австерия эта не нравится! — сказал он Шубину.— Пойдем лучше в другую.

— Да разве есть другая?

— Как же! На этом же острове, в Большой Никольской улице. Точь-в-точь, как эта, только не деревянная, а мазанковая, и столбов да перил напереди нет. Впрочем, не красна изба углами, красна пирогами! Там все то же продается, что и здесь.

— Да почему ж нам в эту нейти?

— Ну, так! Пойдем, пожалуйста!

Этой причины: *ну, так!* Шубин вовсе не понял. Летописцы разным образом ее толковали, но один из них, кажется, более всего приблизился к истине. Он пишет, что Гусев, вероятно, не пошел в первую австерию по следующим причинам. Вид этого дома напомнил ему царя, который иногда выпивал там чарку водки; в камзоле Гусева

---

[1] Коллегии.сии состояли из шести двухэтажных мазанок, с кровлями, которые почти равнялись вышиною самому зданию. В верхнем этаже каждой мазанки было четыре окна, в нижнем также четыре, но гораздо меньшего размера, и дверь посредине. В сем здании открыто в 1718 году заседание учрежденных Петром Великим Коллегий. В то же время туда переведен был Правительствующий Сенат, который с 1711 года помещался в деревянном, одноэтажном здании (о десяти окнах, с колоннами), находившемся в С.-Петербургской крепости. Каменные Коллегии, до сих пор сохранившиеся на Васильевском острове, заложены были при Петре Великом в 1722 году, но заседание в оных открыто не прежде 1732 года, в царствование Анны Иоанновны. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

лежали десять рублевиков, взятка, конечно, не из больших, однако ж он знал, что царь терпеть не мог и маленьких. Старосте казалось, что эти рублевики в том месте, где царь бывает, закричат, пожалуй: «Воры! Караул! Держите его!» А хоть бы и этого не случилось, так все как-то страшно было принимать угощения от челобитчика в австерии, где государь бывает. Царь есть солнце, рассуждает летописец, а совесть взяточника уподобляется филину, который боится света солнечного и всегда прячется от него подальше. Зело жаль, восклицает он далее, что солнце едино есть, филинов же окаянных многое множество в дубравах и вертепах скрывается. *Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там!* — сказал Дмитриев, и мы скажем: как ни рассуждай, а Гусев с Шубиным уже пируют в австерии, между тем как бедный Воробьев, уничиженный, связанный, приближается к острогу. Видно, и в то время, хотя оно было ближе нынешнего к давноминувшему золотому веку, иногда плуты или глупцы наслаждались благами жизни, а люди честные, умные терпели от них гонения и страдали.

В той же самой улице, называвшейся Большою Никольскою, где находилась другая австерия, стояла губернская канцелярия, одноэтажное деревянное здание, походившее на большую избу, и близ нее острог. Представьте себе огромный, окованный железом сундук, только без крышки: вот лучшее подобие тогдашнего острога. Он был устроен таким образом: довольно обширная четвероугольная площадка огорожена была в три сажени вышиною частоколом из бревен, плотно скрепленных железом и заостренных сверху. Дабы отнять возможность подрыться под частокол, настланы были, вместо пола, три ряда самых толстых досок, также скрепленных железом. В этот сундук можно было попасть только через одну узенькую дверь, проделанную в частоколе и украшенную со стороны улицы двумя круглыми будками, которые в свою очередь украшались остроконечными крышками, похожими на сахарную голову или на стоящий прямо спальный колпак с бубенчиком, ибо на верху крышек приделано было также для украшения по деревянному шарику. Один наружный вид этого жилища несчастия (ибо и преступление, сказал Карамзин, есть несчастье) наводил уныние; каково же было тому, кто из светлого, теплого домика своего попадал во внутренность острога? Только потолок печального здания мог несколько развеселять его обитателей, ибо так был великолепен, что и в богатейшем дворце не найти подобного. Цвет сего потолка был светло-голубой, по временам он переменялся

в темно-голубой или синий, иногда же в темный, неопределенный цвет, но тогда по всему потолку начинали блистать разной величины алмазы белыми, алыми, голубыми, фиолетовыми и другими лучами. Иногда потолок украшался занавесами. Иные из них были посеребрены по краям столь ярко, что и ночью сияли; другие были столь легки и полупрозрачны, что от малейшего ветерка двигались; третьи уподоблялись белизною снегу и отличались такою разнообразною бахромою, какой никогда не выдумать ни одной модной торговке. Случалось, что потолок покрывался серыми или красноватыми занавесами, и тогда золотые стрелы придавали им необыкновенную красоту; иногда появлялась на нем сырость, так, что с него капала вода, однако ж эта сырость ничуть не портила алмазных его украшений. Случалось также,.что с потолка падали круглые, то разным образом ограненные алмазы или белый пух. Потолок этот был так высоко поднят от полу, что если бы в него при Петре Великом кто-нибудь пустил из острога ядро и если б оно могло лететь вверх, не останавливаясь, то и ныне бы все летело, и даже не только ныне, но и чрез тысячу тысяч лет все бы до потолка не достало.

Один ревностный защитник старины объяснил, почему потолок в остроге был заменен небесным сводом. Он утверждал, что это сделали с тем намерением, чтобы преступников, забывших небо и соблазненных земными призраками, отделить трехсаженным частоколом от последних и принудить беспрестанно устремлять взоры на одно первое. Предоставляем читателям решить: имел ли архитектор, строивший острог, эту человеколюбивую мысль. Мы сами решить это не беремся. Дело прошлое! Мудрено нам, потомкам, судить предков! Надобно вспомнить, что и мы будем предками—так же, как они, присмиреем, исчезнем со всеми нашими замыслами, надеждами, страстями и делами и будем жить на земле в одних темных воспоминаниях, в одних книгах, в истории, романах и повестях; от каждого писателя зависеть будет вызвать нас из праха и заставить действовать по-своему. Чего не взведет иной сочинитель на нашу голову! Обличить его будет некому. Горькая участь наша!.. Утешимся, однако ж. Чего бояться потомства? Теперь оно еще не существует, оно ничто. Придет время, оно явится, зашумит, заволнуется, подобно нам, и для чего же? Для того только, чтобы обратиться снова в ничто и уступить место новым поколениям. Невольно после этого скажешь с Фамусовым: *Пофилософствуй! Ум вскружится!*

Ум наш точно бы вскружился, если б небесная, утеши-

тельная мысль о вечной, неземной жизни не объясняла нам цели исчезающих с лица земли одно за другим поколений.

— О чем бишь я заговорил? — молвил бы теперь Воробьев, если б он сам рассказывал про себя повесть и если б караульщики не подвели уж его к описанному выше острогу. Дверь, заскрыпев на железных петлях, отворилась, и тюремный сторож, выглянув из острога, принял Воробьева с рук на руки от караульщиков. Дверь захлопнулась.

Бедняк, вздохнув, невольно посмотрел на высокий потолок острога и, прислонясь к частоколу, закрыл лицо руками.

Между тем Мария, купив в Гостином дворе припасы для обеда, отослала их домой с работницей, которая ее сопровождала, и пошла сама к Троицкой церкви [1]. Мария хотя и родилась от шведа, но по убеждению своего воспитателя перекрестилась на тринадцатом году возраста в грекороссийскую веру. Она вошла в храм, усердно помолилась и, выходя на площадь, приметила подле себя вышедшего вместе с нею из церкви молодого человека. Он следовал за нею. Мария, потупив глаза в землю, поспешала к дому, но молодой человек от нее не отставал.

— Ты, верно, Марья Павловна, меня не узнала,— сказал он наконец.

Она невольно вздрогнула, быстро подняла глаза и увидела перед собою Никитина. Взоры ее блеснули радостью, сердце затрепетало, как крыло бабочки, играющей на солнце, щеки покрылись ярким румянцем, и полуоткрытые, прелестные уста искали слов для ответа и не находили.

---

[1] Соборную церковь св. Троицы построил Петр Великий в 1710 году, в память заложения Санкт-Петербурга, ибо городу сему положено было основание в праздник св. Троицы. Храм сей был очень необширен; стена его со стороны Невы представляла только пять окон и одну дверь. Столько же окон было и в противоположной стене. Над церковью возвышались четвероугольная колокольня в два яруса и другой небольшой шпиц. В 1714 году пристроили к храму большую трапезу и с обеих сторон по приделу, отчего здание получило крестообразный вид. На колокольне находились часы, привезенные по приказанию Петра Великого из Москвы, с Сухаревой башни, и висел примечательный колокол, взятый в Або у шведов. Петр Великий принес в дар сему храму сделанные им самим из кости паникадило и образ св. апостола Андрея. В царствование императрицы Елисаветы Петровны церковь сия за ветхостью была сломана и построена вновь в 1746 году в ее первобытном виде, но в 1750 году она сгорела, и на том же месте воздвигнута была церковь, перенесенная из Летнего сада, та самая, которая доныне сохранилась. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

— Сегодня только приехал я в Петербург, поспешил прежде всего в церковь излить пред богом благодарность за благополучное возвращение на родину и потом думал идти к твоему батюшке. Здоров ли он?

— Слава богу, здоров,— отвечала торопливо Мария, несколько оправясь от смущения, произведенного в ней столь неожиданною и радостною встречею с женихом.

Мог ли сей последний не заметить этого смущения? Оно доказало ему, что долговременное отсутствие не изгладило его из памяти Марии; оно уверило его, что он любим попрежнему. Сердце его наполнилось ощущениями, которые словами выразить невозможно. Счастливцы и не приметили, как подошли к дому.

— Я привез из Италии несколько списков с лучших картин,— сказал Никитин.— Завтра я тебе покажу их, мой ангел! Увидишь, что я пишу не по-прежнему. Ныне искусство мое, при помощи божией, может доставить мне хлеб. Я не желаю многого! Лишь бы ты не терпела ни в чем нужды и была счастлива! Ты, верно, знаешь, милая, по какому праву я говорю с тобою так откровенно? Твой батюшка при отъезде моем дал мне слово, и я уверен, что оно дано не против твоего согласия. Не правда ли?

Мария молчала и потупила снова глаза в землю. Две слезы, подобные алмазам, навернулись на длинных ее ресницах. Иногда и молчание красноречиво и быстро выражает более чувствований и мыслей, нежели речи, которые Гомер называл крылатыми. Но одни ли речи можно назвать крылатыми? Почему не сравнить радостей, счастия с крылатыми райскими птичками, изредка прилетающими к человеку? Как часто эти редкие на земле птички вдруг поднимают крылышки и скрываются навсегда, навсегда! Это испытали Мария и жених ее.

В то самое время, когда сердца их утопали в радости, вдруг вошел в комнату приказчик Воробьева с заплаканными глазами.

— Где батюшка? — спросила его Мария.

— Ах, матушка Марья Павловна! Дожили мы до горя до беды! Бедный хозяин мой, отец наш родной, Илья Фомич!

— Что такое сделалось? — спросила, побледнев, Мария.

— В острог его посадили, матушка, в острог! — приказчик, утирая слезы, рассказал все в подробности Марии. Он как-то узнал и об условии, на котором Шубин соглашался ждать уплаты долга.

Райская птичка подняла крылышки, взвилась высоко и скрылась из глаз Марии.

Когда приказчик вышел из комнаты, Мария едва слышным голосом, прерываемым рыданиями, сказала Никитину:

— Я любила тебя, искренно любила!.. Теперь не стыжусь признаться в этом!.. Мы, верно, были бы счастливы!.. Но, видно, мне суждено быть за другим!.. Простимся навсегда! Не возражай мне. Я должна на это решиться. Он воспитал меня, он заменил мне отца! И он в остроге! Пусть умру я, но я должна спасти его!

Мария, выбежав из комнаты и увидев приказчика, сказала ему твердым голосом: «Веди меня к Шубину!» Приказчик, проводив своего хозяина до самого острога и возвращавшись домой, увидел Шубина и старосту, сидевших у окна в австерии, которая была в той же улице, где находился и острог. Он повел Марию. Несчастный Никитин издали следовал за нею. Легче было бы ему следовать за гробом невесты.

— Выкушай еще чарочку! — говорил Шубин, кланяясь в пояс старосте.

— Не много ли будет, хе, хе, хе! Недаром говорится: первая чарка колом, другая соколом, а последние мелкими пташками летят. Я уж и счет этим пташкам потерял!

— Неужто ты пьешь по счету, Спиридон Степаныч? Беды не будет, если чарочку-другую и просчитаешь. Гей, молодец! Дай-ка еще фляжку заморского! На моей свадьбе я еще не так тебя угощу, благодетель мой! Это еще что! Цветки, а там будут ягодки!

— Ба! Что это за женская персона вошла сюда? — воскликнул Гусев.— Тьфу, пропасть! Как она озирается! Уж не юродивая ли какая?

— Ты здесь? — сказала Мария, взглянув на Шубина. Кровь кипела в ее жилах, но бедная девушка усиливалась скрыть свое волнение и старалась казаться спокойною.— Ради бога, освободи батюшку из острога!.. Я согласна идти к венцу с тобой! Но только освободи его, теперь же, сейчас!

Шубин вытаращил на нее глаза. Бессмысленное лицо его ясно показывало, что он, подносив Гусеву, не забывал и себя.

— Хе, хе, хе! Дело идет, кажется, на лад! — заметил староста.— Счастливец ты, Карп Силыч! Другие за невестами ухаживают, кланяются им, а к тебе сама невеста пришла с поклоном. Хе, хе, хе! Что ж ты ей ничего не отве-

чаешь? Разве раздумал жениться? Обними свою нареченную!

У Шубина появилась на лице такая же приятная улыбка, какая бы украсила физиономию осла, если б он мог улыбаться. Он встал со стула, пошатнулся немного в сторону и протянул руки к Марии, чтобы обнять ее, но она его оттолкнула.

— Прежде освободи батюшку!

— Видишь еще, спесь какая! — сказал староста.— Освободи ей, изволишь видеть, батюшку! Пожалуй! За этим дело не станет! Ты соглашаешься, Карп Силыч, ждать уплаты долга вместе с прочими заимодавцами?

— Какого долга? Я ей, кажись, ничего не должен! Будет женою, так сочтемся!

— Хе, хе, хе! Не ты говоришь, я вижу, а хмель говорит. Грешные люди! Выпили мы с тобою немножко сегодня! Я знаю, впрочем, что ты ждать долга согласен.

— Что такое? Чего ждать долго? Нет, Спиридон Степаныч! Я не согласен. Коли жениться, так завтра же к венцу!

— Ну, ну, ладно. Пойдем-ка к острогу.

— Пойдем. Не испугаешь острогом! Куда хочешь веди! Хоть к чертям в гости, лишь бы эта кралечка от меня не отстала!

— Она с нами пойдет. Э! брат! Да ты и дверей уж не видишь, а хочешь выйти на улицу в окошко! Хе, хе, хе! Сядь-ка лучше да подожди меня здесь. Лучше я схожу один и приведу сюда ее батюшку.

Староста вышел. Мария хотела идти за ним вслед, но Шубин, сидевший близ двери, встал, шатаясь, и загородил ей дорогу.

— Куда, моя распрекрасная? Куда ты от жениха своего бежишь? Я не пущу. Жить не могу без тебя! Тошно! Да что ж ты толкаешься! Ведь коли честью не останешься, так силой удержу. Нет, матушка! Стой! Не выпущу! Сам черт меня не сдвинет и от дверей не оттащит!

Он схватился за ручку замка. Бедная Мария, заплакав, отошла от двери и села на скамейку, стоявшую в темном углу горницы.

Между тем староста, войдя в острог, сказал Воробьеву, что Шубин хочет с ним поговорить.

— Пойдем-ка, Илья Фомич! — продолжал он.— Полно сердиться! Я тебя помирю с Шубиным. Что тебе за охота сидеть в остроге!

— Если он хочет опять предложить мне прежнее условие, то не о чем мне и говорить с ним. Для своего спасе-

ния я ни за что на свете не решусь погубить сироты безродной!

— Не о том дело, Илья Фомич! Никого губить тут не требуется. Пойдем-ка. Увидишь, что я вас помирю! Что ж ты нейдешь? Если острог тебе так понравился, так можно ведь будет сюда воротиться. Тьфу, какой упрямый!

Взяв за руку Воробьева, староста почти насильно вывел его из острога и сказал на ухо тюремному сторожу, чтобы он послал вслед за ними к австерии двух караульщиков и велел им дожидаться его на улице.

Едва успел Воробьев войти с старостою в австерию, как Мария, вскочив со скамьи, бросилась своему воспитателю на шею.

— Батюшка! — повторяла она, рыдая и целуя его руки.

Воробьев прижимал ее к сердцу и плакал. В это время Никитин, с отчаянием в душе, давно ходивший взад и вперед по улице мимо австерии, решился войти в нее, почти не понимая сам, что он делает.

— Вот, изволишь видеть, Илья Фомич! — сказал староста, не приметив вошедшего Никитина.— Грешно бы было, конечно, да и по царскому указу нельзя принудить Марью Павловну выйти замуж за Шубина, но она сама этого желает. По тому же царскому указу ты отказать ей в этом не можешь. Ударь-ка по рукам с Карпом Силычем, так и дело будет в шляпе. Он бы долгу своего подождал, ты бы дела свои поправил и поживал бы себе в своем домике. Ведь в остроге-то куда жить не хорошо! Хе, хе, хе!

— Да, любезный батюшка! Благослови меня! Я согласна выйти замуж за Карпа Силыча. Он так богат! Я буду с ним счастлива! Боже мой! — воскликнула она, увидев Никитина, и закрыла лицо руками. Он стоял неподвижно у двери. На лице его выражалось неизобразимое душевное страдание.

Глубоко тронутый Воробьев, оглянувшись, протянул руки и, подойдя к Никитину, крепко обнял его. Потом, подведя его к Марии, сказал ей:

— Вот жених твой, Маша! Я дал ему слово. Знаю, что ты любишь его. Господь благословит вас! Живите счастливо! А обо мне не беспокойтесь. Я довольно пожил на свете. И в остроге с чистою совестию доживу я свой век спокойно!..

Никитин, пораженный его великодушием, напрасно искал слов, чтобы выразить кипевшие в груди его чувствования: то смотрел он на Марию, то на ее воспитателя, и слезы текли из глаз его.

Воробьев хотел соединить их руки, но Мария, тихо оттолкнув руку Никитина, воскликнула:

— Нет, нет! Никогда! Ни за что на свете!

— Для чего же ее принуждать? — заметил староста, подводя к Воробьеву Шубина, с трудом державшегося на ногах.— Вот жених ее! Этот ей нравится. Не упрямься, Илья Фомич! Видишь, она как тебя просит, колена твои обнимает! Какой несговорчивый! Благослови ее за Карпа Силыча. Право, он детина знатной!

— Нет, Машенька! — сказал Воробьев.— Я не изменю своему слову! Не дам тебе благословения! Пока я жив, не пойдешь ты к венцу с этим богачом. Не губи себя для меня! Вот жених твой! Он беден, он такой же, как ты, сирота, но бог милосердный отец всех сирот! Да благословит он вас! Прощайте! Живите счастливо, и когда я умру, вы, верно, дети, придете на моей могилке поплакать и добром меня помянете. Прощайте, мои милые! Веди меня в острог! — продолжал он твердым голосом, обратясь к старосте, и пошел к двери.

— Батюшка! Ради бога! — восклицала рыдавшая Мария и бросилась вслед за ее воспитателем, но староста остановил ее. В изнеможении опустила она руки и голову и закрыла глаза. Передав ее в объятия Шубина, староста вышел вслед за Воробьевым на улицу и велел двум караульщикам, ожидавшим там его приказаний, связать старика и вести за ним в острог.

Мария, опамятовавшись и открыв глаза, с ужасом вырвалась из объятий Шубина. Потеряв равновесие, он закачался, как лодка, бросаемая волнами, и упал подле двери, ворча сердито:

— Я тебя, злодейку! Научу я тебя толкать своего мужа!

Купец, продававший напитки в австерии, во все время описанной сцены стоял в молчании за прилавком.

— Подними меня! — закричал ему Шубин.

— Сам встанешь! — ответил купец.

— Подними! Не то убью! — заревел Шубин, стуча кулаками в пол.

— Как бы староста не был твой приятель, я бы тебя, нахала, умел проводить отсюда!

— Не плачь, милый друг, не плачь! — говорил между тем Никитин Марии, взяв ее за руку и сажая на скамейку.— Я буду день и ночь работать. Бог поможет мне! Я заплачу долг Шубину за твоего батюшку, он освободится из острога, как тогда мы будем счастливы!

— Подними меня, разбойник!

— Ах, боже мой! Я вспомнил про твой ящичек, милый друг. Ты еще не раскрыла его?

— Нет, срок еще не пришел,— отвечала Мария.

— Может быть, в нем найдешь ты золото или какую-нибудь драгоценность. Ах, дай бог! Тогда бы ты выкупила батюшку.

Утопающий крепко хватается и за плывущую ветку, не рассчитывая, что она удержать его не может поверх глубины, всасывающей свою жертву. Так и Мария в предположении, очень еще сомнительном, жениха своего увидела луч надежды и радостно предалась этому чувству. Сопровождаемая Никитиным, она немедленно пошла к дому своего воспитателя.

Староста, оставив Воробьева в остроге, поспешил возвратиться в австерию и, торопливо входя туда, запнулся за Шубина, который после ухода Марии с Никитиным подвинулся еще ближе к двери и растянулся подле самого порога. Он успел схватить Спиридона Степановича за ногу и чуть не уронил его.

— Что за дьявол лег тут у дверей! — воскликнул сердито староста.

— Ага! Попался, голубчик! — сказал Шубин, вообразив, что он держит за ногу купца, который отказался поднять его.— Вот я тебя! Теперь я тебе пересчитаю ребра! Нет, не вырвешься! Погоди!

С сими словами дал он пинка своему благодетелю. Это и не с пьяными случается, только с тою разницею, что пинки даются людьми, стоящими или поставленными на ноги, благодетелям, которые уже упали или уронены.

— С ума ты сошел! — закричал староста, повалясь на пол подле Шубина.— Бить меня! Да как ты осмелился!

— Ах, Спиридон Степаныч! Я думал, что это не ты. Прости меня великодушно!

После униженных извинений с одной стороны и строгого выговора с другой приятели, лежа, помирились, при помощи продавца напитков встали и удалились из австерии.

Через несколько дней настало 1 октября. Можно легко вообразить, с каким нетерпением ожидала Мария этого дня. Прежнее ожидание, открыть в таинственном ящике какое-нибудь известие об отце ее, возбужденная недавно надежда найти там драгоценность, которая бы могла доставить ей средство помочь ее воспитателю, томившемуся в остроге, страх открыть ящик одной и в полночь — все это сильно волновало Марию. Никитин, поздно вечером оставив кисть

и закрыв свой ящик с красками, пришел к своей невесте, чтобы разговорами несколько развлечь ее и успокоить. Они сели ужинать и, продолжая разговаривать, смотрели от времени до времени на стенные часы. Пробило одиннадцать. Однообразный звук маятника напоминал им, что минута, столь долго ожиданная, скоро наступит. Чем ближе подвигалась стрелка к цифре XII, тем сильнее бились сердца Марии и жениха ее.

— Не пора ли, мой друг, тебе идти? — сказал Никитин, вдруг прервав начатый им рассказ про Италию и указав на часы. До полуночи осталась одна минута.

Мария невольно вздрогнула, взяла в молчании свечу со стола и с сильным трепетом сердца пошла в свою комнату. Затворив за собою дверь, подошла она к столику, на котором стоял ящик ее, перекрестилась, взглянув на образ, висевший на стене над столиком, и сняла с шеи черную ленту, на которой носила она ключ от ящика.

Часы начали бить полночь. Мария трепещущей рукою открыла ящик. Внутренность его обита была черным бархатом. В ящике увидела Мария бумагу, писанную на неизвестном ей языке, и пергаментный свиток, связанный черною лентою. Более ничего в нем не было. В недоумении взяла она бумагу и свиток и решилась показать их знавшему шведский язык Никитину, предполагая, что бумага была написана на сем языке. С этим намерением вышла она в другую комнату.

— Что, моя милая? — спросил ее торопливо Никитин, глядя на нее пристально.

— Вот что нашла я,— отвечала Мария, подавая ему бумагу и свиток.

Никитин, прочитав первую, побледнел. Взяв потом пергаментный свиток, осмотрел он его внимательно, хотел развязать ленту, которою свиток был связан, но вдруг, как бы испугавшись, положил его на стол и задумался. Потом начал он еще раз внимательно читать бумагу.

Мария, устремя на него испытующий взор, старалась угадать волновавшие его мысли. На лице Никитина ясно изображались изумление, радость, страх и нерешимость.

Когда Никитин прочитал во второй раз бумагу, Мария спросила его:

— Нет ли надежды узнать что-нибудь о моем родителе?

— Никакой.

— Что же в себе содержит бумага?

— Это его завещание.

Мария, схватив бумагу, покрыла ее поцелуями и оросила слезами.

— Что батюшка пишет? — спросила она прерывающимся от сильного душевного волнения голосом.

— Не спрашивай меня, милая! Лучше тебе не знать содержания этого завещания.

— Что это значит?

— Если все то справедливо, что сказано в бумаге, то мы с тобою можем приобресть несметное богатство. Все зависит от этого пергаментного свитка, но прочитать его я не решаюсь. Это ужасно!

— Ты меня удивляешь! Объяснись, ради бога!

— Нет, милая! Не принуждай меня, для собственного твоего спокойствия!

Убежденный неотступными просьбами Марии, желавшей непременно знать последнюю волю отца своего, Никитин наконец решился сообщить ей содержание завещания. Мария, изменясь в лице, почти с ужасом его слушала.

— Как ты думаешь, друг мой? — спросил Никитин.— Решиться ли мне прочитать этот свиток?

— Нет, нет! — воскликнула Мария.— Если меня любишь, не делай этого!

— Мы бы могли тотчас же помочь бедному твоему воспитателю и освободить его из острога.

— Но подумай, что ты можешь погубить себя невозвратно!

— Совесть моя ни в чем меня не укоряет, друг мой. Душа моя чиста. Кажется, я могу на это решиться. Может быть, я и заблуждаюсь. Тогда, конечно, гибель моя несомненна!

— Нет, нет! Решаться на такой опыт слишком ужасно! Прежде должно испытать все другие средства к освобождению моего бедного батюшки.

Мария взяла завещание отца и пергаментный свиток и снова заперла их в ящик. Никитин, простясь с нею, пошел домой, погруженный в размышления. Мария не могла сомкнуть глаз целую ночь.

На другой день, 2 октября, Никитин пришел опять вечером к своей невесте, несмотря на сильную бурю, которая поднялась еще с самого утра. Разговор их снова начался об открытии, сделанном ими накануне. Неожиданно вошел в комнату Шубин. Он низко поклонился Марии и сказал:

— Прости меня великодушно, Марья Павловна, что я пришел к тебе так поздно. Я узнал, что в ящике, который

тебе родитель оставил, ты не нашла ничего, кроме каких-то грамоток.

— Ты уж узнал об этом! — сказала Мария, вспыхнув от гнева.

— Как не узнать! Слухом земля полнится.

— За сколько рублей купил ты мою тайну у нашей работницы? Кроме ее, никто не мог знать до сих пор, что я нашла в ящике.

— Нет, Марья Павловна. Я не говорил ни слова с твоей работницей. Да дело не в том. Я пришел спросить тебя: согласна ли ты идти к венцу со мною? Дай мне верное слово, и батюшку твоего завтра же выпустят из острога. Это от меня одного зависит. Никто, кроме меня, тебе помочь не может.

— Неправда! — возразила вспыльчиво Мария.— Иногда лоскуток написанной бумаги лучше наличных денег. Я могу обойтись без твоей помощи! Твой долг будет тебе чрез несколько дней уплачен.

Никитин, заметив, что Мария, увлеченная негодованием, высказала Шубину более, нежели сколько требовала осторожность, сделал ей знак головою. Мария, почувствовав свою неосмотрительность, замолчала, но Шубин по ее ответу начал догадываться, что в ящике найдена ею какая-нибудь важная бумага. Может быть, думал он, отец ее завещал ей богатое наследство в Швеции. Ответ Марии сильно смутил его, уничтожив надежду на придуманное им средство принудить ее выйти за него замуж.

Староста, по советам которого Шубин действовал, ходил между тем взад и вперед по Троицкой площади и ждал окончания переговоров своего приятеля, поглядывая изредка на дом Воробьева. Войти в дом не решился он и для того, чтобы не показать явного пристрастия в деле Шубина, и для того, что находил свое присутствие лишним при объяснениях Карпа Силыча с Мариею. Все небо покрыто было тучами, вечерняя темнота все более и более сгущалась, и порывистый ветер со стороны моря дул с необыкновенною силою.

Шубин несколько времени простоял неподвижно, глядя на Марию и сбираясь с мыслями, и решился наконец идти к своему благодетелю на площадь за советами. Поклонясь Марии и посмотрев злобно на Никитина, он вышел из комнаты, но вскоре вбежал опять и закричал:

— Мне нельзя уйти отсюда! Двери на крыльце и ворота крепко-накрепко заперты. Сквозь все щели забора бежит с площади вода!

Никитин подошел к окну, отворил фортку и, несмотря на вой ветра, услышал шипение волн, которые, разбегаясь с площади, достигали до самого дома и разлетались брызгами и пеной.

— Наводнение! — воскликнул он.

— Боже мой! — сказала вполголоса испуганная Мария.

Староста, прогнанный водою с площади, подбежал к дому Воробьева, но, увидя, что дверь на крыльце и ворота заперты, взлез на забор и сел на него верхом.

Никитин, продолжая смотреть в окно, несколько раз отирал платком с лица водяные брызги. В то самое время, когда рев порывистого ветра стих на несколько мгновений, с ужасом услышал Никитин вдали жалобный крик: «Тону! Тону! Батюшки, помогите!» Первая мысль, в нем мелькнувшая, была спасти утопавшего во что бы то ни стало. «Но каким средством спасти несчастного! Это невозможно!» — была вторая мысль, наполнившая сердце Никитина горестию и состраданием. Через несколько времени опять раздался тот же крик: «Тону! Тону!» — и вскоре голос умолкнул.

Буря все более и более свирепела, и вода быстро прибывала. Густой мрак покрывал всю Троицкую площадь. Никитин, взяв со стола две свечи, приставил их к стеклу окна и снова начал смотреть в фортку, стараясь увидеть, по крайней мере, высоту воды, которой она уже достигла. Сияние свеч разлилось на небольшое пространство пред домом Воробьева и, споря с мраком, слабело по мере отдаления; наконец, побежденное врагом своим, оно умирало, не имея силы пробиться далее в черный, непроницаемый океан тьмы. Из этого океана являлись, как привидения в развевающихся белых саванах, кипящие пеною волны и, шумя, бежали к дому. От ударов их стена начала дрожать. Никитин, как живописец, на несколько времени забылся и смотрел на эту картину с ужасом, смешанным с наслаждением. Вдруг вспомнив возрастающую с каждою минутою опасность, он начал наблюдать: прибывает ли вода или нет? Когда ветер стихал, являлись из мрака ровные, широкие волны, когда опять ударял порыв вихря, волны возрастали и на вершине их крутилась пена. Вдруг появился вал, подобный великану, который на седой главе своей нес труп человека. Никитин, содрогнувшись, отскочил от окна и закрыл фортку.

— Не нужно ли будет, — сказал он, — из осторожности

переносить отсюда вещи на чердак? Вода, кажется, все прибывает.

Мария побледнела. Шубин заохал от страха. Все начали носить на чердак, что попадалось первое под руку. Шубин усердно помогал Марии и Никитину. Вскоре присоединились к ним приказчик и работница Воробьева. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, носили вещи малостоящие и забывали дорогие. Мария, однако ж, не забыла своего ящика, который был ей всего на свете драгоценнее, как единственная вещь, оставшаяся после отца. Шубин, разогнав несколько страх свой мыслию, что вода не дойдет до чердака, обратил внимание свое на ящик. Он считал его препятствием к браку своему с Мариею, ибо думал, что в этом ящике хранится средство, о котором она говорила, уплатить ему долг и освободить ее воспитателя из острога. Выждав время, когда он один остался на чердаке, бессовестный схватил ящик, спрятал в глубокой карман своего саксонского кафтана и пошел вниз помогать в перенесении на чердак остальных вещей.

В это время набежавшая сильная волна ударила в окна той комнаты, где находились Мария и жених ее. Рамы задребезжали, и одно расшибленное стекло зазвенело.

— Пойдем, милая, вверх скорее! — сказал Никитин, взяв Марию за руку.— Мы не успеем всего переносить. Скоро вода вольется в комнаты.

Они пошли вверх. Мария, вдруг как бы проснувшись от страшного сна, вспомнила про своего воспитателя, заключенного в остроге. Представив опасность, которой он там подвергался, она вскрикнула от ужаса.

— Что с тобой, друг мой? — спросил Никитин, ведя ее по лестнице.

— Бедный мой батюшка! Он утонет!

Никитин старался ее успокоить, говоря, что, без сомнения, примут меры для спасения находящихся в остроге.

Мария, взойдя на чердак, бросилась в кресла и в отчаянии ломала руки. Никитин, приметив слабый красноватый свет, проникавший с площади в слуховое окно, подошел и выглянул в оное. Над Выборгскою стороной увидел он расстилавшееся зарево. Кровавое его сияние рассеяло несколько мрак этой страшной ночи.

Троицкая площадь в то время была гораздо обширнее нынешней и продолжалась до самого берега Невы. Одна Троицкая церковь и австерия стояли на берегу. Никитин подумал, что видит перед собою море. Вся площадь Троицкая, широкая Нева и обширный луг, находившийся на

другом берегу Невы между Летним садом и Почтовым двором, составили необозримую водную поверхность, покрытую волнами. Против течения реки доски, бревна, лодки, суда быстро неслись по воде, гонимые ветром. Казалось, весь Финский залив, поднявшись, стремился на Петербург. Зрелище было поразительно.

Когда Никитин отошел от окна, Шубин стал на его место. Представившаяся ему картина разрушения в такой привела его страх, что он начал дрожать как осиновый лист. Во время пребывания его в ските много раз слышал он поучения, в которых описывалась кончина мира. Невольно вспомнил он эти описания, глядя на мрачное небо, на зарево, которое как будто бы происходило от загорающейся земли, на выступившие из берегов воды, которые все стремились разрушить. Притом ужасной рев ветра, треск падающих заборов, крик людей, просящих помощи,— все это приводило душу в содрогание. «Уж не кончина ли мира настала?» — подумал Шубин, вспомнив, что в ските многие из тамошних проповедников предсказывали близкое наступление последнего дня.

Погруженный в сии размышления, вдруг услышал он сильный треск и вслед за оным раздавшийся над головой его голос: «Преставление света!»

Оледенев от ужаса, Шубин отскочил от слухового окна и бросился в ноги прежде Марии, а потом Никитину.

— Преставление света! — воскликнул он.— Я слышал голос с неба! Простите меня, многогрешного! Я обижал вас, хотел вам зла. Теперь ничего не нужно человеку! Блажен, кто зла не творил и делал дела благие! Простите меня, многогрешного!

— Помилуй, что с тобой сделалось? — спросил удивленный Никитин, поднимая лежавшего перед ним кающегося грешника.

— Я слышал голос, своими ушами слышал! Простите меня, окаянного!

Никитин подошел снова к слуховому окну и увидел прежнюю картину наводнения. Он начал вслушиваться и ничего не мог различить, кроме воя ветра и шума волн. Наконец он в самом деле слышит над собою голос: «Батюшки светы. Весь Питер, видно, потонет!»

— Кто там? — закричал живописец, высунувшись по пояс из окошка.

— Я! — отвечал староста Гусев, перелезший с забора на кровлю дома. Толстяк стоял подле трубы, схватясь за нее обеими руками.— Нельзя ли мне как попасть на

чердак? Я того и смотрю, что меня отсюда ветром сшибет.

Никитин отыскал на чердаке длинный шест, которым Воробьев иногда гонял голубей, сохранив с молодых лет страсть к сей забаве. Протянув сей шест к старосте, Никитин советовал ему, чтобы он, держась за шест, осторожно спустился к окошку. Гусев последовал совету и сполз на чердак.

— Ты, Спиридон Степаныч, закричал, когда я смотрел в окно: «преставление света»? — спросил Шубин.

— Я. С ближнего дома ветер сорвал крышу, и с таким треском, что у меня душа в пятки ушла.

— Ты меня до смерти перепугал!

— Да уж что говорить! Не мы одни с тобой теперь трусим!

Вода между тем все возвышалась более и более и влилась в комнаты. Зарево, происшедшее от загоревшейся близ Петербурга деревни, начало гаснуть, и блеск его слился с зарею, появившеюся на прояснившемся востоке. Ветер стал постепенно слабеть и к полудню утих совершенно. Вода начала быстро сбывать.

— Не поспешить ли нам домой? — сказал Гусев, глядя в слуховое окно.— По площади народ уж ходит. Сколько на ней бревен, дров, лодок и разного хламу! Надо взглянуть, что у нас дома вода напроказила.

Поклонясь Марии, староста и Шубин, с похищенным ящиком в кармане, вышли.

Никитин, по просьбе Марии, немедленно повел ее к острогу, чтобы узнать об участи ее воспитателя. Там сторож губернской канцелярии сказал им, что все заключенные были переведены на чердак дома, где помещалась сия канцелярия, и что ни один из них не утонул. С облегченным сердцем возвратилась Мария с женихом домой и начала отыскивать своего ящика на чердаке между расставленными в беспорядке разными вещами. Нигде не находя его, бедная девушка заплакала. Никитин осмотрел все углы, но напрасно. Сначала подумал он, что ящик забыт был внизу и что его унесло водою, но Мария твердо помнила, что она прежде всех других вещей перенесла свой ящик на чердак.

— Верно, Шубин или староста унес его! — сказала Мария в слезах.

Никитин, которому сие подозрение показалось очень вероятным, дал слово Марии во что бы то ни стало открыть похитителя.

Староста, сопровождаемый Шубиным, шел между тем скорым шагом к дому своему, который находился в конце Дворянской улицы, на берегу Малой Невы. Он похвалил своего приятеля за сметливость и расторопность, когда тот сообщил ему о приобретении ящика, и горел нетерпением скорее узнать содержание бумаг, найденных Мариею. При входе в дом свой он порадовался, заметив, что вода не влилась в его комнаты, а затопила одни подвалы.

— То ли дело,— воскликнул он,— как дом-то повыше построишь! Теперь многие охают, а мне хоть трава не расти. Все и сухо и цело! Давай же сюда ящик-то! — продолжал он, запирая дверь комнаты, в которую они вошли.

— Вот он, Спиридон Степаныч,— сказал Шубин, вынимая ящик из кармана.— Только он заперт. Ключ остался у моей невесты. Она его на шее носит.

Гусев взял большую связку ключей разной величины, почти все перепробовал и наконец кое-как отпер ящик. Взяв бумагу и пергаментный свиток, он развязал ленту, которою сей последний был связан, надел на нос очки, взглянул сначала на свиток, потом на бумагу и пробормотал:

— Это какая-то тарабарская грамота! Я ни слова разобрать не могу!

Вспомнив, что отец Марии был швед, он продолжал:

— Верно, это по-шведски написано! Этакая досада! Ах да! Мой брат Александр знает по-шведски. Он долго жил в Стекольном [1] по торговым моим делам. Не позвать ли его? Как ты думаешь, Карп Силыч?

— Чтоб он не рассказал кому-нибудь и не ввел меня в беду!

— Как это можно! На него я полагаюсь, как на самого себя. Он не введет нас болтовством в хлопоты. Я от него никогда ничего не таил. Притом я содержу его, даю ему стол и помещение. С ума разве он сойдет! Постой-ка, я схожу за ним.

— Да не говори же ему, однако ж, Спиридон Степаныч, откуда достались нам эти грамотки.

— Смешон ты, Карп Силыч! Не тебе учить меня осторожности. Я прожил поболее твоего на свете. Да, впрочем, не беспокойся! Я скажу ему, что нашел этот ящик на улице. После наводнения мало ли что теперь по улицам валяется. Свалим всю беду на воду, так и концы в воду.

---

[1] Стокгольм. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

Чрез несколько минут староста возвратился в комнату с меньшим своим братом, который весьма походил лицом на старшего, только сей последний был его гораздо потолще и вместе потоньше. Младший мастер был писать бумаги тогдашним приказным слогом и исправлял должность письмоводителя старосты.

— Переведи-ка, братец, эти бумаги. Кажется, они писаны по-шведски,— сказал староста,— я шел вот с этим приятелем моим и поднял их по дороге.

Брат Гусева взял сначала бумагу, прочитал ее про себя и воскликнул:

— Это чудеса, если это все правда! — Потом взял он пергаментный свиток, прочитал его с возраставшим приметно вниманием и опять начал снова читать. Глаза его блистали радостью, руки дрожали, однако ж он усиливался скрывать свое волнение.

— Переведи же скорее, что тут написано,— сказал Гусев.

— Да что переводить! — отвечал его брат.— Все вздор! Написано наставление, как жить должно на свете.

— Только-то! — проворчал Гусев.

— Ну, так возьми себе, Карп Силыч, эту находку. Мы хоть и вместе с тобой ее нашли, однако ж я тебе свою долю уступаю. В каком еще богатом ящике спрятана была такая дрянь!

Положив бумагу и свиток в ящик, он подал его Шубину. Александр Степанович между тем мигал и старался знаками остановить брата, но, увидев, что он знаков его не заметил и что Шубин положил уже ящик в карман, брат Гусева с приметною досадой взял его за руку и вывел в другую комнату.

— Я тебе мигал, мигал — ничего не видишь! — сказал он вполголоса.— Возьми ящик назад!

— А что?

— Возьми, говорят! Не знаешь ты, какое сокровище отдал! После я тебе все расскажу. Чудеса, да и только! Смотри ж, брат! Чур, со мной все пополам. Не то и переводить не стану.

— Что такое пополам? Растолкуй, пожалуйста! Я ничего не понимаю!

— После поговорим: прежде возьми ящик.

— Пожалуй, за этим дело не станет.

Они вошли опять в комнату, где был Шубин. Староста, поговорив о наводнении, о погоде, о хлопотах по своей должности и о разных других предметах, сказал наконец

Шубину, когда тот начал с ним прощаться в намерении идти домой:

— Не лучше ли тебе ящик-то у меня оставить? С этакой дрянью в беду попадешь, пожалуй. Я бы отыскал хозяина и отдал бы ему его добро. Находка-то, право, незавидная!

Шубину показалось подозрительно, что староста с братом выходил о чем-то советоваться в другую комнату. Опасаясь, чтоб хитрый старик как-нибудь не вздумал изменить ему, его запутать и сорвать с него взятку, решился Шубин удержать ящик у себя.

— Зачем тебе хлопотать, Спиридон Степаныч! — отвечал он.— У тебя и без того хлопот полон рот. Я скорее тебя отыщу хозяина и скажу ему, что нашел этот ящик на улице. Он мне еще спасибо скажет. Хозяина найти нетрудно!

Поцеловавшись с Гусевым и поклонясь его брату, пошел он к дверям. Староста, заметив недоверчивость Шубина, решился было насильно взять у него ящик, но его остановила мысль, что Шубин, поссорясь с ним, может везде кричать о сделанных уже ему и обещанных подарках за содействие к женитьбе на Марии и таким образом ввести его в беду. Провожая Шубина, он потирал себе лоб и сбирался с мыслями.

Александр Степанович, видя, что Шубин уходит, вскочил со стула и остановил его.

— Постой, подожди немножко! — сказал он.— Надобно поговорить с тобой.

— В другое время поговорим. Теперь мне домой пора,— отвечал Шубин, стараясь скорее уйти, но Александр Степанович подбежал к двери и ее запер.

Шубин рассердился и вместе струсил.

— Что ж это такое! — закричал он.— Разве можно так с гостями поступать!

— Послушай, братец! — шепнул на ухо старосте брат его.— Делать нечего! Возьмем и этого лешего в часть. И трое разделим добычу, так все-таки будет с нас.

— Ничего я не понимаю! — отвечал Гусев с досадою.— Что такое нам делить? Ну, трое так трое! Я согласен. Присядь-ка, Карп Силыч; полно гневаться. Мы тебе добра хотим.

Шубин, успокоенный этими словами, сел. Александр Степанович, посмотрев в замочную скважину, дабы удостовериться, не подслушивает ли их кто у дверей, начал говорить вполголоса:

— Находка ваша лучше всякого клада! Можно вдруг

разбогатеть пуще Александра Данилыча. Дай-ка ящик сюда; я переведу вам бумаги, так вы оба ахнете.

— Да отдай же ящик, Карп Силыч! — воскликнул Гусев, приметив нерешимость Шубина.— Все, что ни достанем, разделим поровну. Никому обидно не будет!

— Поклянись прежде! Оба поклянитесь! — отвечал Шубин.— Я ведь не знаю, что у вас на уме.

Староста и брат его начали с жаром божиться, и Шубин подал им ящик.

Вынув сначала бумагу, Александр Степанович начал читать ее, нередко останавливаясь и многое искажая своим переводом. Она содержала в себе следующее:

«Неизвестен час, в который смерть постигнет человека. Помышляя об этом, решился я написать сии строки. Родни у меня никого нет, кроме младенца Марии, единственной дочери и наследницы моего небольшого поместья и дома, где я ныне живу. Дом сей построен на берегу реки Ниен моим покойным дедом против острова Льюстейланде. Он получил в подарок от его величества короля Густава Адольфа означенное поместье вскоре после заключения мира с русскими в Столбове, в 1616 году. Подлинный акт о сем пожаловании хранится в Архиве королевской канцелярии, в Стокгольме, под нумером 2729 книги актов 1616 года, а в моих бумагах есть формальный список с сего акта, дошедший ко мне от деда. Пишу сие, дабы не предъявил кто по смерти моей несправедливого спора, и дочь моя не лишилась законного небольшого наследства. Если я умру в такое время, когда она не придет еще в совершенный возраст, то заклинаю святым Олафом того, кому первому попадет в руки сие мое завещание (будет ли он чиновник правительства или кто другой), исполнить в точности волю мою и хранить в тайне все то, что я здесь сообщаю. Это необходимо как для блага моей дочери, так и для собственной его пользы. В этом ящике положен вместе с сим завещанием пергаментный свиток, писанный предком моим в Стокгольме, в 1323 году. Свиток сей сохранялся в нашем семействе в течение четырех почти веков и переходил от отца к сыну. В оном описано средство лечить всякие болезни, поддерживать жизнь и здоровье человека, отдалять старость и превращать ртуть и свинец в чистое золото. Средство сие ранее не получит силы и действия, как в полночь 1 октября будущего 1723 года. Если кто-нибудь ранее покусится отыскивать это средство, тот навсегда уничтожит его силу и погубит самого себя. Найти же его после назначенного срока, не подвергаясь никакой опасности, может только тот, кто

совершенно чист в совести, кто в душе хранил всегда добродетель и кто чужд корыстолюбия, зависти и всех других страстей и пороков. Посему заклинаю всякого прежде испытать себя строго, ибо если кто-либо недостойный прочтет пергаментный свиток и решится им воспользоваться, тот может умереть скоропостижно или на всю жизнь лишиться рассудка. Кто усомнится в сем, того опыт удостоверит в истине слов моих. Во всяком случае попадет он навек во власть духов земли, без помощи которых нельзя отыскать означенного выше средства. Человеку добродетельному и чистому сердцем опасаться, однако ж, нечего: ибо духи его страшатся и ему повинуются. Отысканное средство должно хранить в тайне и втайне употреблять его. Кто не надеется на свою добродетель, тот может передать пергаментный свиток другому, достойнейшему. Кто бы он ни был, я заклинаю его святым Олафом прежде прочтения пергаментного свитка произнести клятву, отдавать половину золота, которое он приобретать будет, моей дочери Марии. Не исполнивший сей моей просьбы докажет свое корыстолюбие и бессовестность, и духи земли накажут виновного. Ее же прошу, если она первая прочитает это завещание, не читать пергаментного свитка и передать тому, кого она по добродетели признает достойным, ибо, по моему убеждению, никакая женщина не может иметь той силы души, которая необходима для безопасного отыскания означенного средства. Писано в поместье Ниенбонинг, февраля в 9 день 1703 года, и подписано моею рукою: Павел Сван, шведский дворянин».

Спиридон Степанович и Шубин не проронили ни одного слова из прочитанного.

— Духи земли? Гм! — сказал староста, гладя лоб рукою.— Это дело, как я вижу, не без чернокнижества! Прослушать ли нам другую-то бумагу, Карп Силыч? Как ты думаешь? — спросил он Шубина и, обратясь к брату, продолжал: — Повтори-ка, что сказано про то, когда недостойный прочтет пергаментный свиток и пожелает им воспользоваться?

— Сказано, что тот попадет во власть духов земли.

— Гм! Шутка плохая!.. Ты прочитал, брат, свиток-то?

— Прочитал, да ведь я еще не решился им воспользоваться. Нас здесь трое. Смешно было бы счесть себя всех достойнее.

— И я не так самолюбив, не считаю себя лучше других! Прочти, однако ж, этот свиток. Мы с Карпом Силычем послушаем и подумаем.

В пергаментном свитке содержалось следующее:

«Стокгольм, октября в 5 день 1323 года. Всякого приступающего к прочтению сего пергамента, кто бы он ни был, заклинаю седмикратно спросить самого себя так: добродетелен ли я и совершенно ли чист душою? Кому совесть ответит: да! — тот может смело прочесть пергамент, кому же скажет: нет! — тот погубит себя, если дерзнет далее читать здесь написанное и пожелает употребить оное в свою пользу. Да знает читающий, что он в назначенный срок получит силу повелевать духами земли, если он добродетелен, в противном случае духи сии ныне же им овладеют, и тогда уже никто ему не поможет. Достигнув столетней старости и предчувствуя близкий конец свой, не хочу я унести с собою во гроб плода трудов и неутомимых изысканий, коим посвятил я долговременную жизнь. С молодых лет постоянно стремился я к открытию таинств природы. В молодости моей, в 1275 году, был я в Лондоне и познакомился там с знаменитым мудрецом, коему подобного не бывало на земле и не будет. Я говорю о знаменитом Раймунде Лулле. Вскоре после прибытия его в Лондон был он представлен королю Эдуарду I. В благодарность за то, что монарх сей достойно почтил мудрость пред лицом всего блестящего двора своего, Лулл, оставшись наедине с королем, потребовал несколько фунтов ртути и в присутствии его величества превратил ее в золото. Можно представить себе изумление короля! Он просил Лулла поселиться навсегда в Лондоне, но сие светило мудрости освещало берега Темзы не более полугода. Лулл возвратился в Германию, оставив Эдуарду на память 50 000 фунтов ртути, превращенной в золото, из которого вычеканены были первые монеты, называвшиеся рознобли. Это известно целой Англии. Я употребил все силы заслужить внимание и благосклонность знаменитого Лулла и удостоился счастия приобресть не только его знакомство, но даже дружбу. Вместе с ним поехал я из Лондона в Германию, где дожил до седых волос. Близ Лейпцига купил я замок и, поселясь в нем вместе с Луллом, посвятил жизнь свою изучению таинств природы под руководством сего светила мудрости. Невозможно поместить здесь все то, что я узнал от него. Упомяну о главном. Он объяснил мне цель славного Египетского лабиринта. Сия цель до знаменитого Лулла никому из древних и новых мудрецов не была известна. Лабиринт сей, в древнейшие времена построенный близ Меридова озера, неподалеку от города Крокодилополиса, состоял из трех тысяч великолепных зал, окру-

женных высокою стеною и рядом столпов. Половина сего огромного здания находилась под землею. Чужеземцу не позволялось входить во внутренность лабиринта, да если бы и вошел кто, то тщетно стал бы искать выхода, ибо он был так устроен, что вошедший непременно должен был заблудиться. В этом здании, как открыл мне Лулл, жили втайне египетские златоделатели, превращавшие простые металлы в золото. По покорении Египта римлянами лабиринт опустел, но искусство живших в нем златоделателей было описано в некоторых рукописях, которые хранились в Александрийской библиотеке. Обыкновенно утверждают, что драгоценная сия библиотека, хранившая в себе всю мудрость древних, сожжена была в 642 году по приказанию калифа Омара, но Лулл неопровержимо доказал мне, что сие мнение несправедливо. В части города Александрии, называвшейся Брухион, находились близ гавани чертоги повелителей Египта и великолепное здание библиотеки, где помещалось более четырехсот тысяч рукописей. Оно сгорело во время осады Александрии Юлием Кесарем, но осталось отделение сей библиотеки, состоявшее из трехсот тысяч рукописей и помещавшееся в храме Юпитера Сераписа. Когда император Феодосий Великий в 392 году повелел разрушить языческие храмы во всей Римской империи, то архиепископ Феодосий, с помощию монахов и воинов, опустошив храм Юпитера Сераписа, велел все рукописи из библиотеки раздать по общественным баням, где ими и пользовались в течение полугода вместо дров. В конце 4-го века историк Орозий, посетив библиотеку, увидел в ней одни пустые шкафы. Сие опустошение драгоценного книгохранилища случилось за два с половиною века прежде того времени, в которое приписывается сожжение оного Омару [1]. Однако ж, для блага человечества, многие рукописи, обреченные огню, были похищены из общественных бань и, переходя из рук в руки, как драгоценность, уцелели до наших времен. Из этих рукописей Лулл почерпнул свою глубокую мудрость. Из них узнал он и постиг то, что неведомо и непостижимо ни одному из смертных, ныне на земле живущих. Он многое открыл мне, но многое обещал еще открыть, когда я буду достоин услышать великие и недоступные истины и таинства. Я ждал сего времени с таким же нетерпением, с каким жаждет взглянуть на дневный свет человек, заключенный на целую

---

[1] Это доказано новейшими германскими писателями. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

жизнь в глубокий, мрачный рудник. Но я ждал напрасно! В 1315 году смерть, как грозное облако, затмила неожиданное великое светило мудрости. Пораженный сею невозвратимою потерею, я продал замок и возвратился в отечество. Поселясь в Стокгольме, я продолжал изучать природу и открывать все в ней сокровенное. Все сообщенное мне великим Луллом и самим мною открытое помещено в книге, которую я намерен сжечь пред смертию, если не встречу никого достойного, кому бы мог я передать накопленные мною сокровища мудрости. Так как на приобретение сих сокровищ пожертвовал я почти всем наследственным имением, дошедшим ко мне от предков, то для вознаграждения потомков моих открываю им средство сохранять жизнь, здоровье и счастие и доставать золото, для которого почти все делается на свете и которое почти все может делать. Прошу моего любезного племянника, единственного наследника моего, сохранить сей свиток и передать кому-либо достойному из рода Сванов, да сохранится сей свиток в сем роде до тех пор, пока не придет срок сим свитком воспользоваться. Срок сей наступит через четыреста лет. К тебе обращаюсь, счастливый потомок мой! Кости мои истлеют, память обо мне исчезнет, а ты воспользуешься плодом жизни моей, моих трудов и изысканий. Между нами чернеет бездна четырех веков, но ты услышишь голос мой. Внимай ему с уважением.

Современник историка Орозия, мудрец Юлий Фирмикус, живший в 4-м столетии после р⟨ождества⟩ Х⟨ристова⟩, пишет: «Если какой-либо дом находится под влиянием планеты Меркурия, то она всякому новорожденному в сем доме дает познание астрономии; Венера посылает веселую жизнь; Марс — воинское и оружейное искусство; Юпитер — познание богословия и законов; Сатурн — познание алхимии; Солнце — познание четвероногих».

Я родился под влиянием планет Сатурна и Венеры, как открыл мне великий Лулл. Я бы сравнился с сим мудрецом в познании алхимии, но влияние Венеры мне мешало, и веселая жизнь, сею планетою внушаемая, нередко отвлекала меня от трудов и изысканий. Однако ж в старости успел я превозмочь влияние сей последней планеты, и никто из соотечественников моих не мог сравниться со мною в алхимическом искусстве, в коем первые наставления преподал мне Лулл. Умирая, он подарил мне рукопись, находившуюся в книгохранилище храма Юпитера Сераписа. Руководствуясь ею, я сделал следующее.

В полночь пошел я на кладбище, вызвал духа земли

и наполнил два глиняные сосуда землею, которую он указал мне. В один сосуд зарыл я луч месяца, а в другой, когда взошло солнце, луч сего светила и произнес заклинание. Сосуды сии хранятся у меня на окне, в моей спальне. Когда протекут три века, должно будет в каком-либо необитаемом месте вырыть семиугольную яму, глубиною в три фута, и, осторожно выложив землю из сосудов на дно ямы, наполнить ее обыкновенною землею. Сие должно быть сделано в полночь. Когда после того пройдут еще сто лет, то в полночь же должно прийти на то место и произнести: «Демон тес гес! Гелиос, хрюсос, селене, лифос». Когда дух земли повторит сии слова, то должно будет разрыть яму.

Там из зарытого луча солнца образуется длинная полоса золота, а из луча месяца небольшой, синеватый камень. Золото будет самое чистое, какого нигде найти нельзя, а камень будет состоять из отверделой коренной стихии, которая во всех вещах содержится и составляет их начало. Обратив самую малую часть сего камня в порошок и взяв крупинку золота, положи в плавильный горшок вместе с двадцатью фунтами свинца, олова или ртути и поставь на огонь. Вскоре металл сильно закипит, подобно воде, появятся на поверхности пузыри багряного цвета. Тогда взяв какой-нибудь чистый сосуд, вылей в него металл, и когда сей последний остынет, то пожелтеет, и таким образом получится слиток самого чистого золота, который будет шестою частию тяжеле употребленного в дело свинца, олова или ртути. Сверх того, довольно принять в воде две или три порошинки означенного синеватого камня, чтобы излечить себя от какой бы то ни было болезни. Таким образом можно сохранять сим средством жизнь и здоровье до глубокой старости. Предваряю, однако ж, тебя, счастливый потомок мой, что ты сообщаемым тебе таинством тогда только успеешь воспользоваться, когда тобою не будут владеть никакие пороки и страсти. Тогда дух земли тебе покорится и тебе послужит, в противном же случае он тобою овладеет, и ты навеки погибнешь. Если не надеешься на себя, передай сей свиток другому. Кто бы ни был владелец свитка, он должен хранить его в тайне, и все действия, относящиеся к свитку, производить не иначе, как с полночи до рассвета. Нарушение сего лишит свиток всякой силы и действия.

Адепт [1] Карл Сван».

---

[1] Алхимисты называли адептами тех, которые, по мнению их, нашли философский камень (Lapis Philosophorum). Камень сей также назывался у них Menstruum universale. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

Хотя Александр Степанович с большим трудом перевел свиток и многое в нем исказил своим переводом, однако ж главное хорошо поняли старший брат его и Шубин.

— Ну, нечего сказать! — заметил староста.— От этакой грамоты немудрено с ума сойти. Я теперь словно шальной. Почти ни о чем порядком рассудить не могу.

— А вот здесь внизу на свитке есть еще приписка, только уж другою рукою,— сказал Александр Степанович и начал приписанное переводить.

«Переселясь из Стокгольма в Ингерманландию, в пожалованное мне королем поместье Ниенбонинг, привез я с собою оба глиняные сосуда и в срок, назначенный предком, зарыл землю, в сосудах хранившуюся, сего октября 1-го числа 1623 года. Место, где я совершил сие, находится на необитаемом острове, который лежит близ моего поместья. Должно переехать реку Ниен и потом идти все прямо на север. Встретится небольшая речка. Переправясь через нее и продолжая все идти на север, дойдешь до рукава реки Ниен и увидишь на другой стороне тот необитаемый остров. Он весь покрыт лесом, а по берегам его множество лежит каменьев. Близ берега, в рукаве реки Ниен, виден большой камень, около которого вода сильно шумит и струится. Против самого сего камня должно пристать к острову. Пройдя тридцать шагов от берега, увидишь в лесу другой камень, почти в рост человека. На нем я выскреб концом моей шпаги: till vänster (влево). Отступя от этого камня в левую сторону восемь шагов, найдешь место, где зарыта земля из двух сосудов».

— Где ж бы это было? — сказал староста.

— Должно быть, на острове, который принадлежит канцлеру графу Гаврилу Ивановичу Головкину и называется Каменным,— отвечал Александр Степанович.— Близ берега этого острова лежит в Малой Неве большой камень. В здешних местах больше нигде я таких камней не видал.

— Правда! — продолжал староста.— Место-то найдем, за этим дело не станет. Да искать ли его, вот о чем прежде надобно подумать.

— Помилуй, брат! Неужто нам упустить из рук такое сокровище!

— Не о том я говорю. Нас трое. Мы уж условились делить все, что ни достанем, поровну. Только дело в том, кто ж из нас пойдет разрывать яму. Ведь надобно идти в полночь?

— Да, в полночь. Что ж за беда! Если совесть у кого чиста, тому бояться нечего. Притом неизвестно, что это за

такой дух земли. Неужто дьявол в самом деле — наше место свято!

— А кто же другой-то?

— Мне сдается, что этот швед нарочно написал это, чтобы только напугать того, кому в руки этот свиток попадется.

— И то быть может.

— Кто ж из нас отыскивать клад пойдет? Я бы советовал тебе, любезный брат. У тебя душа предобрая! Вот ты меня кормишь и поишь. Чего тебе бояться! Как бы у меня совесть была так же чиста, как твоя, то я бы ни на минутку не призадумался.

— Нет, братец! Я хоть и очень подозреваю, что швед хотел только пугать православных, однако ж... Да сходи ты за кладом! Ну кому ты зло сделал? У тебя такой нрав, что и курицы не обидишь. Или ты сходи, Карп Силыч.

— Ни за что на свете! — воскликнул Шубин.— Да я умру со страху.

— Какой же ты трус! — продолжал староста.— Вот тебе так уж бояться совершенно нечего! До двадцати пяти лет вырос ты под надзором родителя, все жил среди благочестивых людей. Этаких, как ты, со свечой поискать! Ну скажи, что у тебя есть на совести? Ничего нет, да и быть не может.

— Ну нет, Спиридон Степаныч, есть кое-что! Без того нельзя. Ведь и я человек.

— А я скажу, Карп Силыч, что ты вовсе не похож на человека, а настоящий ангел. Я лучше знаю тебя, чем ты сам себя. В тебе душа истинно ангельская! Разумен, целомудрен, степенен, честен, великодушен...

— Благодарю покорно за доброе слово, Спиридон Степаныч! Однако ж мне кажется, что ты мне ни в чем не уступишь. Надобно, во-первых, сказать, что ты меня разумнее, во-вторых...

— Кто? Я тебя разумнее? Помилуй! Ты себя обижаешь!

— Да неужто ты меня глупее?

— Глупее, гораздо глупее! А о брате и говорить нечего. Он перед тобой совершенный осел.

— Именно осел! — подтвердил Александр Степанович.— У меня ума нет ни крошки!

— И у меня также! — сказал староста.— Надобно правду сказать.

— Воля ваша! Пусть вы оба не хитры, только уж и я вас ни на волос не умнее! Стало быть, мы все трое поровну глупы,— возразил Шубин.

— Нет, Карп Силыч! Не обижай себя. У тебя ума — палата! — сказал Александр Степанович.

— Помилуйте! Вы оба люди грамотные, я же аза в глаза не знаю!

— Грамотные! — воскликнул староста.— Неужто ты думаешь, что все грамотные уж и умные люди? Не всякой умен, кто учен. Вон есть у меня знакомой немец: все науки знает, а как заговорит, так уши вянут.

Долго еще длился сей необыкновенный спор, в котором двое старались всеми силами себя унизить и приписать себе сколько можно более недостатков и худых качеств, дабы возвысить третьего. Наконец согласились решить дело жребием. Положили в колпак три пятака, из которых на одном провели слегка черту иголкою, и условились, чтобы тот шел отыскивать клад, кто вынет пятак с чертою. Разом сунули они в колпак правые руки. Роковой пятак попался Шубину.

— Нет, нет! — закричал он, побледнев.— Не пойду, хоть зарежьте!

— Как? От слова ты отступаешься? — воскликнули в один голос староста и брат его.

— Отступаюсь!

— Да мы тебя принудим!

— Я раскрою все твое плутовство! — продолжал староста.— Я донесу генерал-полицеймейстеру, откуда ты этот ящик достал. Ты, я вижу, плут!

— А кто говорил сейчас, что я настоящий ангел и что ты меня по всему хуже? Коли я плут, так ты уж кто?

Начался другой спор, совершенно противоположный первому, и весьма обыкновенный, в котором двое нападали на третьего, унижали, стращали и бранили его. Шубин отбранивался, повторяя: «Давеча вы не то говорили!» По долгом прении заключили мир на том условии, чтобы всем троим отправиться ночью за кладом, положив в карманы по кусочку ладана, для защиты от нечистой силы.

Смеркалось. По мере того как сияние зари слабело на западе, в сердцах искателей клада усиливался страх. Каждый из них, однако ж, по наружности храбрился, стараясь придать духу товарищам. Пробило на Троицкой колокольне десять часов вечера.

— Не пора ли нам идти в поход? — сказал староста.— Не увидим, как и полночь наступит.

— Пора, пора! — отвечал брат его.— Мешкать нечего. Я возьму с собой на всякой случай мое охотничье ружье, а ты, Карп Силыч, возьми заступ. Тьфу, пропасть! Какой

же ты трус! Ничего не видя, уж ты дрожишь, как осиновый лист. Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. На других только тоску наводишь!

— Да кто тебе сказал, что я трушу? Лучше взгляни сам на себя. Лицо-то у тебя ни дать ни взять снятое молоко.

— Ах вы трусы, трусы! — сказал староста, качая головою и с усилием скрывая пронимавшую его дрожь.— Вы на меня посмотрите. Чего тут бояться? Ведь у нас есть ладан в карманах, так что нам сделается! Притом взгляните, как месяц сияет. Светло точно днем!

Надев сверх кафтанов длиннополые сюртуки и взяв с собою черный ящик, ружье и заступ, вышли они из дома. Пройдя всю Дворянскую улицу, поворотили они направо и вскоре вошли в лес, который покрывал почти половину Санкт-петербургского острова. Начиная от того места, где ныне стоит Второй кадетский корпус, по всему берегу против Петровского и Крестовского островов не было ни одного дома. Ни Большого проспекта, ни Каменноостровского не существовало. По левую сторону сего последнего строение оканчивалось тою улицею, где ныне стоит церковь св. апостола Матвея. В этой улице находились только избы, построенные для солдат Санкт-петербургского гарнизона. Означенная церковь была гораздо менее нынешней и деревянная. С левой стороны Каменноостровского проспекта строения простирались не далее того места, где стоит церковь св. Николая Чудотворца, называемая в Трунилове. Сей церкви еще тогда не было [1]. Берега Карповки, усеянные ныне дачами, покрыты были соснами, елями и изредка березами.

На Аптекарском острове находились только четыре деревянные домика, где жили смотритель и садовники Ботанического сада, доныне зеленеющего на том же месте. Сверх того, на берегу Малой Невы подле этого сада находилось Немецкое кладбище и хижина, где жили рыбаки. Вся остальная часть острова покрыта была лесом. На другом берегу Карповки стояло уединенное Новогородское подворье, устроенное архиепископом Феофаном, который купил землю после умершего санкт-петербургского оберкоменданта Романа Вилимовича Брюса. Острова Крестов-

---

[1] Она первоначально устроена была в 1738 году, во время царствования Анны Иоанновны, в деревянном доме комиссара Крепостной конторы Ивана Трунилова; нынешнюю же заложили при императрице Елисавете Петровне, в 1760 году. Вот от чего произошло сохранившееся до сих пор название: *в Трунилове. (Примеч. К. П. Масальского.)*

ский, Елагин и Каменный также были все покрыты лесом. На сих трех островах было одно только строение: деревянный двухэтажный дворец (в пять окошек по лицу, с балконом), построенный для сестры Петра Великого, царевны Наталии Алексеевны, на принадлежащем ей Крестовском острове. Дворец сей стоял на месте нынешней дачи княгини Белосельской. Елагин остров назывался тогда Шафировым потому, что принадлежал вице-канцлеру Шафирову. Его называли также Мишиным с тех пор, как появился на нем медведь необыкновенной величины, которого боялись самые отважные охотники. Наконец двое из них убили незваного гостя и представили огромную шкуру Шафирову. Там, где ныне сады Строганова и Головина, Новая деревня и модные летние жилища петербургских жителей на Черной речке, была совершенная глушь.

Через лес пробравшись на берег Карповки, искатели клада поворотили направо, прошли мимо Новогородского подворья и вскоре приблизились к тому месту, где устроен был небольшой паром для переезда с Петербургского острова на Аптекарский, к Ботаническому саду. Переправясь на другую сторону, они мимо сего сада прошли через Немецкое кладбище и приблизились к рыбачьей хижине. Сказав, что они отправляются стрелять волков, которых водилось тогда множество в окрестностях Петербурга, и наняв у рыбаков лодку, спустились они по Малой Неве и вышли на лесистый берег Каменного острова, увидев возвышавшийся неподалеку от берега большой камень, около которого вода струилась и журчала. От сего камня произошло название острова.

— Теперь надобно отсчитать от берега тридцать шагов,— сказал Александр Степанович.

Все трое, прижимаясь один к другому, начали углубляться в лес и считать шаги. Лучи месяца, пробиваясь между ветвями елей и сосен, яркими полосами разрезывали мрак леса.

— Посмотрите-ка, посмотрите! — воскликнул староста, указывая вперед.— Кажется, уж виден камень, которого мы ищем.

— Где, где? — закричали брат старосты и Шубин, остановясь как вкопанные. Рассмотрев освещенный месяцем камень, выглядывавший, как привидение, из-за низкого кустарника, Шубин бросился бежать к лодке, которая осталась у берега. За ним пустились также бегом староста и брат его. Всем троим казалось, что кто-то за ними гонится.

Добежав до берега и переведя дух, дородный Спиридон Степанович несколько раз охнул и спросил:

— Что тебе померещилось, Карп Силыч?

— Ничего! Я увидел только камень, и такой на меня страх напал, что в глазах зарябело.

— Тьфу, пропасть! Как ты меня перепугал!

Собравшись с духом, пошли они опять в лес и приблизились на цыпочках к испугавшему их камню. Казалось, что они подходили к спящему медведю.

— Смотрите-ка, смотрите! — прошептал брат старосты, указывая на слово, начертанное на камне, которое с трудом разобрать было можно.— Написано: till vänster. Теперь надобно нам отступить влево на восемь шагов и потом... что бишь сказано в свитке? Вынь-ка его из ящика, Карп Силыч!

Шубин подал свиток брату старосты.

— Здесь сказано, что сначала надобно над ямой проговорить в полночь какие-то неизвестные слова. Я думаю, скоро уж и полночь наступит?

— А вот услышим, как часы будут бить на Троицкой колокольне. Часовой колокол такой звонкой, что версты за три слышен. Теперь же все тихо, как на кладбище.

— Потом, когда слова эти повторит, знаете, он-то, тогда яму надобно разрыть — и дело с концом.

— А кто же из нас слова-то скажет? — спросил Шубин.— Воля ваша! Я один говорить их не стану. Скажем их все вместе, в один голос.

— Ну, ну, хорошо! — сказал брат старосты.— Я буду читать эти слова по свитку, а вы оба за мною повторяйте.

— Чу! Кажется, бьет полночь! — воскликнул староста, прислушиваясь к отдаленному звону колокола.— Точно!

Брат старосты, глядя в свиток, начал дрожащим голосом подсказывать слова, которые произнести было должно.

— Говорите же за мной: демон шес гес!

— «Демон шес гес!» — пробормотал шепотом староста и чуть-чуть не перекрестился, а у Шубина окаменел язык от ужаса.

Начали прислушиваться, но слова не повторялись духом земли. Легкий ветер просвистел лишь над ними в ветвях сосны, и снова все замолчало.

Немного ободрясь сею тишиною, все трое произнесли погромче: «демон шес гес», и вдруг, к неизобразимому их ужасу, чей-то голос повторил сии слова так громко, что отголосок в лесу откликнулся.

Каждый опустил руку в карман и схватил кусочек

ладана. Все трое дрожали, как в лихорадке. Когда остальные неизвестные слова, ими произнесенные, были повторены тем же голосом, брат старосты схватил заступ и начал рыть на том месте, где надобно было искать клада. Пот лил с него градом и от усилий, и от страха. Уж он вырыл яму около трех футов глубиною, но ни золото, ни синеватый камень не показывались. Наконец заступ ударился о что-то твердое, и все трое увидели, когда земля была разгребена на том месте, небольшой, продолговатый камень.

— Возьми же, Карп Силыч! — сказал староста Шубину.— Ведь ты пятак-то с зарубкой вынул.

Шубин стоял неподвижно, как верстовой столб, и поглядывал на камень. Скорее решился бы он взять в руку скорпиона. Брат старосты, подняв находку, подал Шубину, который против воли взял ее и положил в карман.

— Ну, теперь и до золота скоро доберемся! — продолжал староста.— Дай-ка, брат, я примусь рыть. Ты уж устал.

— Оставьте все и бегите отсюда! Вот я вас! — закричал вблизи их прежний голос.

Брат старосты выскочил из ямы, как испуганный петух, подле которого невзначай выстрелили из ружья, и все побежали к лодке с такою быстротою, что и хороший рысак едва ли бы обогнал их. Ящик с бумагами, ружье и заступ остались у ямы. Староста зацепил за нагнувшуюся ветвь шляпою, и она слетела на землю. В ужасе он этого и не приметил, да если б и приметил, то, конечно бы, не остановился. До шляпы ли тут! Лишь бы голову на плечах унести в целости.

Какое перо опишет ужас, овладевший искателями клада, когда они, прибежав к берегу, увидели, что лодка их исчезла. Невзвидев земли под собою, пустились они бегом вдоль берега. Без отдыха пробежали они в несколько минут около версты, по направлению к Крестовскому острову, от того места, где близ берега лежал в воде камень и где ныне перегибается через Малую Неву прекрасный Каменноостровский мост. Наконец толстяк староста, выбившись из сил, прислонился к дереву и, задыхаясь, воскликнул отчаянным голосом:

— И бежать — смерть, и не бежать — смерть!

Вскоре и брат его и Шубин в изнеможении повалились ниц лицом на мокрую траву берега. Долго лежали они в сем положении, не смея поднять глаз, ибо думали, что злой дух бежит к ним с распущенными когтями. Наконец брат ста-

росты, не слыша никакой погони, осмелился приподнять голову и осмотреться. Увидев близ него лежавшего неподвижно Шубина, он спросил:

— Жив ли, Карп Силыч?

— Чур меня! — загорланил Шубин, прижимаясь к земле и хватаясь за траву.— Сгинь, сгинь, нечистая сила! У меня ладан!

— Это я с тобой говорю, Карп Силыч! Я тебя спросил: жив ли ты?

— И сам не знаю! У меня всю память отшибло! Головы на плечах не слышу!

Собравшись с силами, они осмелились встать и начали робко озираться во все стороны. Староста тихонько прибрел к ним, почти на каждом шагу охая и потирая руками колена.

— Что нам делать, любезные друзья? — сказал он плачевным голосом.— Лодка наша пропала! Как нам теперь быть?

— Скоро уж рассветает,— отвечал брат его,— авось кто-нибудь проплывет по реке. Ба! Да вон, кажется, наша лодка!

Все взглянули, куда он указал, и увидели в самом деле нанятую ими у рыбаков лодку, которую несло течением вниз по реке.

— Мы мало ее втащили на берег,— сказал староста.— Вода, видно, прибыла. Досада какая! Клада не достали, а прогуляли лодку, ружье, заступ да шляпу. Голова у меня так зябнет, что сил нет!

Сказав это, он повязал лысую голову платком.

— Полно, Спиридон Степаныч! — заметил Шубин.— Ты еще о таких пустяках тужишь!

— Рыбак-то меня знает. Надобно ведь будет за лодку ему заплатить. Лукавый нас понес отыскивать этого проклятого клада! Один только убыток!

— Полно, Спиридон Степаныч, полно! — повторил Шубин, озираясь.— Ведь он близко от нас. Неравно услышит да рассердится! Ты всех нас погубишь!.. Ты думаешь, что лодка-то пустая плывет? — продолжал он вполголоса, значительно взглянув на старосту.

— Я в ней никого не вижу.

— Ведь не во всякое же время он тебе покажется! Видимое дело, что он у нас и лодку, и ящик, и ружье, и заступ отнял и поехал, куда надобно, да и шляпа твоя ему же попалась. Вон он, никак, на Крестовский в лодке пробирается. Хорошо, что он нам-то ничего не сделал! Ах, ба-

тюшки! Как вспомню про давешнее, так и теперь меня мороз по коже подирает.

Все трое сели на траву. Можно, наверное, сказать, что никто из жителей Петербурга никогда не ждал рассвета с таким нетерпением, как наши искатели клада. Наконец восток заалел. На петербургских колокольнях заблаговестили к заутрени.

— Ну, теперь уж бояться нечего! — сказал староста, перекрестясь.— Пойдем вдоль берега, авось кто-нибудь проплывет.

Встав с земли, пошли они опять к тому месту, где ночью вышли на берег. Брат старосты, несмотря на предостережения Шубина, решился посмотреть разрытую яму. С чувством, подобным тому, с каким входит в присутственное место опоздавший канцелярист, предполагающий, что взыскательный начальник его давно уж там,— приблизился Александр Степанович к яме. Оставленные заступ, ружье и ящик исчезли. Александру Степановичу сделалось страшно, и он скорым шагом возвратился к двум его спутникам, которые между тем, увидев кого-то плывшего в лодке, махали ему и кричали, чтобы он перевез их на Аптекарский остров.

— Тьфу, пропасть! — воскликнул староста.— Оглох, что ли, он? Как мы ни кричим, ничего не слышит! Даже и не оглянется!

— Полно, человек ли это! — заметил Шубин.— Кликать ли нам его? Это, кажется, тот же Савка, на тех же санках. Видно, он, окаянный, уж на Крестовском вдоволь нашатался и поплыл в другое место. Вишь, какие затеи! Давеча был невидимкой, а теперь уж принял человеческий образ.

Лодка скрылась из вида. Через несколько времени появился в челноке рыбак, плывший мимо Каменного острова. На крик искателей клада он подплыл к берегу, посадил их в челнок и перевез на Аптекарский остров.

— А где ж моя лодка, Спиридон Степаныч? — спросил он, высаживая на берег старосту.

— Куда-то уплыла. Мы, братец, тебе за нее заплатим.

— Дай тебе господи здоровья! Ты, вестимо, меня, бедняка, не обидишь, отец наш.

— Приди ко мне завтра за деньгами,— проворчал староста.

Выйдя на берег, искатели клада прошли чрез Немецкое кладбище, переправились на другую сторону Карповки и пошли по берегу Малой Невы к Дворянской улице. Берег

был застроен низенькими избами, где жили большею частью финны. Начиная же от нынешнего Самсониевского моста, тянулся далее по берегу Малой Невы и загибался на Большую Неву ряд строений каменных, мазанковых и деревянных. Это были домы сенаторов и других важных чиновников. Ныне на сем месте городские амбары. На противоположном берегу Выборгской стороны видны были каменное здание, где помещались лазареты сухопутный и морской, деревянные провиантские магазины и водочный двор. На сем же берегу, ближе к церкви св. Самсония, находилось несколько деревянных изб, где помещался Синявин баталион; означенная же церковь была совсем не в том виде, в каком ныне находится. Нынешнюю начали строить в 1728 году и освятили в 1740-м, в царствование императрицы Анны Иоанновны, на том же месте, где Петр Великий в 1710 году соорудил деревянную церковь в память Полтавской победы. Она была гораздо менее нынешней, деревянная, с квадратными окнами и с одною главою, над которою возвышался шпиц с крестом. Невысокая колокольня, построенная из сложенных накрест бревен, стояла отдельно, а вокруг церкви огорожено было деревянным забором обширное кладбище. Около церкви не было вовсе жилищ, и она, окруженная лесом, находилась в то время за городом.

— В доме твоем, батюшка Спиридон Степаныч, неблагополучно! — сказал дворник старосты, отворяя калитку, в которую сей последний постучался.

— Что такое? — спросил староста, испугавшись. Брат его и Шубин с беспокойным ожиданием устремили глаза на дворника.

— Да как рассветало, батюшка Спиридон Степаныч, начал я двор мести. И был я на дворе один-одинехонек, и ворота были заперты, и калитка также. Вот я мету себе и вдруг слышу: подле меня что-то упало. Оглянулся я и вижу: лежит заступ. Не успел я его поднять, летит еще сверху ружье. Словно с неба свалились! Я не знал, что и подумать. Смекнул я, что разве кто-нибудь через забор перебросил. И для чего бы, кажись? Побежал я к воротам, выглянул на улицу: ни бешеной собаки нет! Истинно, никого не было, батюшка Спиридон Степаныч, а ружье и заступ упали. Я поставил их вон туда, в уголок.

Староста ничего не отвечал на донесение дворника. На лице его изображались изумление и испуг.

— Видно, ему, окаянному, не понравились ружье и заступ,— заметил Шубин.— Стало быть, он только ящик,

лодчонку да шляпу твою, Спиридон Степаныч, у себя оставил. Видно, носить ее станет. Шляпа-то у тебя была новая?

— Нет! Я уж ее года три таскал!

— Ну, так и жалеть нечего! Пусть он в твоей старой шляпе щеголяет! По Сеньке и шапка! Как он ее только на рога-то напялит?

Все трое вошли в ту же комнату, где они совещались, спорили и кидали жребий, затворили дверь и, пожелав друг другу спокойного дня (ибо ночь уже прошла, и очень для них беспокойная), легли на постланных перинах, дабы подкрепить истощенные силы сном.

— Вот, Марья Павловна, твой ящик! — сказал Никитин, неожиданно войдя в комнату своей невесты.

Мария сидела в задумчивости у окна и глядела на улицу.

— Я тебе вечно за это буду благодарна! — сказала с живостию удивленная и обрадованная Мария.— Где ты нашел его?

Никитин объяснил все невесте. Он целый день исподтишка наблюдал за поступками Шубина и заметил, что сей последний очень долго пробыл в доме старосты. Ходя около дома до позднего вечера, увидел наконец Никитин, что староста с братом и Шубин вышли на улицу и что один из них нес заступ. Догадавшись об их намерении тем легче, что ему отчасти известно было содержание бумаг, хранившихся в ящике, последовал он неприметно за искателями клада на Каменный остров, скрылся близ них в кустарнике и, подслушав их разговор, начал наблюдать за их действиями. Когда дух земли не повторил неизвестных слов, ими произнесенных, то Никитин, удостоверясь, что написанное в пергаментном свитке заключало в себе одни мечты, вздумал напугать похитителей ящика, дабы наказать бессовестных. Читателям известно уже, как привел он в ужас суеверов, как они подумали, что в лодке их, унесенной поднявшеюся в реке водою, поплыл на Крестовский нечистый дух, а потом как они сочли плывшего в лодке Никитина за того же духа. После бегства старосты и его спутников от ямы Никитин разрыл ее еще глубже, но никакого золота не нашел. Взяв оставленные ими заступ и ружье, он мимоходом перебросил их через забор на двор Гусева и пошел с ящиком к Марии. Она поставила его на прежнее место. Хотя ящик и не мог уже, как прежде, возбуждать в ней мечтаний о перемене судьбы ее, но он ей был

по-прежнему дорог, как единственная вещь, оставшаяся после отца ее.

Между тем староста, брат его и Шубин проснулись и встали. Сей последний, почувствовав, что у него в кармане что-то тяжелое, опустил туда руку и с ужасом вынул продолговатый камень, ими найденный, про который он совершенно забыл, без памяти кинувшись от ямы. По общем совещании, приказали они дворнику принести ружье и заступ, брошенные на двор нечистою силою, вышли из дома на берег Малой Невы и кинули в воду и камень, и ружье, и заступ на том месте, где теперь стоит Самсониевский мост.

Если и в нынешнем веке найдутся люди, верующие в таинства алхимий и ищущие философского камня, то мы считаем долгом уведомить их о сем обстоятельстве, дабы они, не тратя понапрасну времени и трудов на изыскания, поспешили прямо на Петербургскую сторону, наняли водолаза и велели ему, нырнув под Самсониевский мост, отыскать на дне реки брошенный глупым Шубиным камень, которого в течение нескольких столетий безуспешно искали сотни мудрецов и ученых, снискавших европейскую известность. Конечно, будет трудно найти эту драгоценность, ибо недаром говорится: один дурак бросит в воду камень, а семеро умных не вытащат.

Через несколько дней после сего происшествия Никитин, взяв с собою лучшую картину своей работы, список с знаменитой Корреджиевой ночи в уменьшенном размере, целое утро носил ее по домам вельмож и других жителей Петербурга, славившихся богатством. Иной предлагал ему за произведение его кисти рублевик, другой два, третий говорил, что его предки и без картин счастливо прожили на свете. Художник увидел с горестию, что соотечественники его весьма еще были далеки от той степени образованности, на которой рождается любовь к изящным искусствам, и что сам Корреджио или даже Рафаэль умер бы в России нищим, никем не оцененный, если б вместо гениальных творений не решился писать плохих подражаний неискусным греческим иконописцам. Он удостоверился, что труд его едва доставит ему самому пропитание и что приобресть живописью сумму, нужную на выкуп из острога воспитателя Марии, столь же было невозможно, как и добыть посредством алхимии философский камень или кусок золота из свинца. Возвратясь домой, поставил он свою картину в темный чулан, убрал туда же и прочие свои работы и почти с отчаянием в душе начал ходить взад и вперед по комнате.

«Нет, милая Мария! — размышлял он.— Видно, не суждено нам быть счастливыми! Богатый Шубин, эта ничтожная тварь, назовет тебя своею женою!.. Безумец я! Я посвятил жизнь свою живописи, которой здесь никто не ценит! Лучше было бы мне, по примеру Шубина и других ему подобных, учиться не живописи, а плутовству в торговле и бессовестности! Выгоднее было бы сделаться ростовщиком или приказным, бездушным взяточником! Тогда бы не боялся я умереть с голоду! Тогда бы Мария могла быть моею! О боже мой! что будет со мною?»

С сердцем, растерзанным горестию, пошел он к Марии. Глядя на нее и внутренне прощаясь с нею навсегда, он долго старался казаться спокойным и веселым. Тяжело ему было решиться разрушить откровенным признанием все светлые мечты, которые он передавал Марии в каждое свидание с нею и которые наполняли ее сердце сладостною надеждою и верою в будущее счастие. Часто говорили они, с какою радостию обнимет их старик Воробьев, освобожденный из острога, и назовет их милыми детьми; с каким восторгом пойдут они все трое во храм благодарить всевышнего за ниспосланное благополучие. Наконец Никитин, не имея сил скрывать долее неизобразимого мучения души своей, сказал все Марии. Не станем описывать их прощания, ибо есть положения, есть чувства, которых словами изобразить невозможно.

Бедная девушка опасно занемогла.

Когда ее здоровье, при пособии лекаря, чрез полтора месяца восстановилось, она пригласила к себе Шубина и умоляла его освободить из острога ее воспитателя.

— Это от тебя зависит, Мария Павловна! — отвечал Шубин.— Не я виноват! Давно бы тебе вступить в законный брак со мною. Зачем медлила? Дотянули мы с тобой дело до филипова поста. Теперь венчаться нельзя. Впрочем, до рождества недолго. Сыграем свадьбу, и в тот же день Илью Фомича выпустят на волю. Вот тебе рука моя!

— Как? Неужели он должен будет до тех пор томиться в остроге? — воскликнула горестно Мария.

— Да как же иначе? Если его теперь на волю выпустить, то он тебе выйти за меня замуж не позволит, я не соглашусь ждать своего долга, и опять все дело спутается.

Как ни уверяла Мария, что она выпросит у своего воспитателя согласие на брак ее с Шубиным, сей последний остался непреклонным в своем намерении освободить его не прежде, как в день свадьбы по совершении венчания.

Шубин начал с того времени почти каждый день

посещать свою невесту. Бедная девушка, твердо решась на пожертвование собою для спасения ее второго отца, скрывала снедавшую ее грусть в глубине сердца, ласками отвечала на ласки, возбуждавшие в ней отвращение, благодарила за подарки и все думала о Никитине. Одна только мысль несколько утоляла ее страдания, мысль, что она не перенесет их и скоро избавится от мучительной жизни.

Никитин, забросив кисть свою, совершенно охладел ко всему в жизни. Она казалась ему тягостным бременем. Без цели бродил он днем по пустынным окрестностям Петербурга и большую часть ночи проводил в воспоминаниях о Марии, тем сильнее его терзавших, чем были они сладостнее. Сердце наше не может чувствовать вполне блага, которым обладает, и ценит его в тысячу раз более, когда его лишается невозвратно. Часто Никитин вскакивал с постели, изнемогая от страданий, и в его душе мелькала ужасная мысль: лишить себя жизни. Голос веры начинал тогда говорить, и страдалец, смирясь перед ним, утихал, плакал, как ребенок, и наконец погружался в самозабвение. Тогда появлялась пред ним толпа неясных образов, не производивших на сердце его никакого впечатления. Жизнь, смерть, природа, люди, самая Мария представлялись ему чем-то чужим, не имеющим к нему никакого отношения.

Наступил праздник рождества Христова. Никитин, преданный одной своей горести, не считал ни дней, ни числ. И что ему было считать! Страдания его казались ему вечными мучениями ада.

Благовест пред заутреней раздавался на всех петербургских колокольнях, но он не слыхал его. Сидя у окна, следил он взором, без всякой мысли, мимолетные облака, осребрявшиеся полным месяцем, и чувствовал только, что сердцу его от чего-то тяжко, очень тяжко.

Когда рассвело, вдруг отворилась дверь его комнаты, и вошел мужчина высокого роста.

— Не ты ли, брат, живописец Никитин? — спросил вошедший.

— Что тебе надобно? — сказал живописец, продолжая смотреть в окно.

— Ты, видно, не узнал меня! Я давно уже слышал, что ты возвратился из Италии, и каждый почти день сбирался к тебе, да все было недосуг. Поздравляю, брат, с праздником! Поцелуемся!

— Ваше величество! — воскликнул Никитин, бросясь к ногам Петра Великого.

Царь поднял его и продолжал:

— Покажи-ка, брат, твою работу. Любопытно посмотреть, как ты ныне пишешь.

Никитин вынес из чулана несколько картин и поставил одну на стол, прислонив к стене. Это был список с Корреджиевой ночи. Несмотря на то, что размер картины был уменьшен и что Никитин далеко не приблизился к подлиннику, картина его имела неоспоримые достоинства. Рисунок был верен и правилен. Неподражаемое сияние, разливающееся от младенца — Иисуса, изображено было очень удачно. Монарх долго стоял в безмолвии, рассматривая картину.

— Вот где родился спаситель мира, царь царствующих! — сказал он вполголоса про себя, преданный размышлениям.— Не в золотых палатах, воздвигаемых суетностию и гордостию человеческою, а в хлеве, посреди пастырей смиренных! Не блещет вкруг него земное величие, а сам он сияет величием небесным. Одни пастыри и мудрецы пришли поклониться ему. Не раздаются поздравления льстецов, притворно радующихся, а уста ангелов возвещают его славу небу, мир земле и благоволение человекам.

Монарх замолчал и снова погрузился в размышления.

— Прекрасно! — сказал он, обратясь к Никитину и потрепав его по плечу.— Спасибо, брат, тебе! Я вижу, что ты недаром съездил в Италию.

Осмотрев все прочие картины, царь спросил:

— Ну, что ж ты еще писать будешь? Не начал ли чего-нибудь?

— Не буду ничего писать, ваше величество! — отвечал печально Никитин.

— Как не будешь? Почему? — спросил удивленный царь.

Никитин бросился к ногам его и с откровенностию сына, жалующегося отцу на свои бедствия и горести, высказал монарху все, что тяготило его душу и убивало его дарование.

Царь, выслушав его внимательно, нахмурил брови и продолжал:

— Так тебе не более двух рублевиков давали за эту картину?

— Точно так, ваше величество!

— А много ли нужно денег на выкуп из острога воспитателя твоей невесты?

— Четыре тысячи рублей.

— Да отчего он так много задолжал? Видно, захотел

вдруг разбогатеть и разорился, как обыкновенно бывает?

— Нет, ваше величество. У него несколько барок с товаром на Неве разбило; от этого все дела его расстроились.

Царь подошел к окну и посмотрел несколько времени на улицу. Приметно было, что он о чем-то размышляет.

— Послушай, Никитин! — сказал он, отойдя от окна. — Приди сегодня на ассамблею, в дом Меншикова, и принеси с собою лучшие из твоих картин. Прощай!

Никитин проводил царя до ворот и долго смотрел вслед за его санями, быстро удалявшимися.

В четвертом часу вечера живописец, отобрав десять лучших картин своих, завязал их в большой холст, нанял сани и отправился на Васильевский остров.

Дом князя Меншикова, после многократных перестроек до сих пор сохранившийся и составляющий часть Первого кадетского корпуса, занимал в то время по Невской набережной в длину пятьдесят семь саженей. В царствование императрицы Анны Иоанновны, когда дом сей отдан был для Кадетского корпуса, его перестроили и увеличили, уничтожив множество пилястр и других архитектурных украшений, которыми загромождена была лицевая сторона здания. Позади оного зеленел обширный сад, украшенный аллеями, оранжереею и беседкою. С правой и с левой стороны сада тянулись два длинные деревянные в два яруса флигеля, которые при императрице Анне Иоанновне за ветхостию были сломаны. С Невы проведен был к сим домам канал. Подле дома Меншикова с правой стороны, на берегу Невы, стоял небольшой каменный дом его дворецкого, Соловьева. С левой стороны подле сада находилась мазанковая церковь, построенная Меншиковым, во имя воскресения Христова, со шпицом и небольшим куполом, обитыми жестью. Внутри шпица были устроены куранты, и на каждой из четырех сторон оного находилось по круглой мраморной доске с одной стрелкою, показывавшею часы. Церковь сию сломали в 1730 году. Место, где ныне находятся Коллегии, огорожено было деревянным забором. Их только что начинали тогда строить.

Дом Меншикова, превосходивший великолепием все тогдашние здания Петербурга, предназначен был для приема посланников, которые со свитами помещались в двух флигелях, описанных выше. До построения всех сих зданий Посольский дом, принадлежавший также Меншикову,

находился на Санкт-петербургском острове, близ домика Петра Великого. Дом сей сломали в 1710 году. Он был мазанковый, одноэтажный, в восемнадцать окошек по лицу. Каждое окно отделялось от другого деревянною колонною такого ордера, какого не сыщешь ныне ни в одном курсе архитектуры. Посредине здания был уступ в шесть окошек, и между ними в центре дверь с крыльцом, украшенным затейливыми резными перилами.

Никитин, взъехав на берег Васильевского острова, приблизился к дому Меншикова и увидел во всех окнах пышное освещение, а над крыльцом прозрачную картину, на которой сияла надпись: *Ассамблея.* Свет из окошек длинными полосами ложился на берег и на белое, ледяное покрывало Невы, на другом берегу которой тянулся ряд домиков адмиралтейских мастеровых (нынешняя Английская набережная). Он взошел на лестницу, объявил в передней слугам, что он художник, оставил на сохранение их свои картины и впущен был в комнаты. В первой гвардейские и морские офицеры и несколько приказнослужителей шаркали и важно раскланивались с дамами, которые умильно приседали под звук полковой музыки, гремевшей с хоров, и тем ниже, чем выше поднимались аккорды менуэта. Государственный канцлер граф Головкин и адмирал Апраксин сидели рядом у окна и смотрели на танцовавших. У других окошек и вдоль стен сидели и стояли многие другие вельможи, художники, мастеровые, корабельные плотники, гражданские чиновники, купцы, таможенные смотрители. Никитин перешел в другую комнату и увидел и там ту же смесь

Одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний.

В этой комнате за расставленными столами пестрели карты и стучали шашки. Здесь толстый купец играл в дурачки с сухощавым коллежским советником (который в те времена по важности своего звания был не то, что ныне); там секретарь, подняв нос, не с высокомерием, однако ж, а с покорностию, проигранное им в носки число ударов принимал счетом от челобитчика, и в досаде, что сей последний без пощады бьет полколодою, произносил внутренне обещание, кроме ударов принять еще кое-что счетом же и провести своего противника за нос. На третьем столе играли таможенные смотрители в зеваки; на четвертом три немца, схватясь с одним русским, лезли в горку; на пятом один немец учил трех русских гран-пасьянсу.

В следующей комнате увидел Никитин дым, который пускали в глаза иностранные мастеровые и художники из табачных трубок, молчаливо беседуя с русским медом и пивом, пенившимся в больших кружках. Выйдя, или лучше сказать, спустясь с этого облака в танцевальную залу, живописец пошел к двери, у которой теснилась толпа и смотрела на что-то происходившее за порогом. Не без труда пробравшись к этому непереступному порогу, увидел Никитин собрание девиц и дам. Первые (в особенности пожилые) гадали разным образом о женихах; вторые, составив кружок, занимались игрою: кошка и мышка. Мышкою был десятилетний мальчик, единственный представитель мужской половины рода человеческого в этой дамской комнате. Какая-то пригожая молодая вдова, потрясая своими фижмами, как Амур крыльями, ловила мальчика. Бедняжка совсем почти задохся, а привлекательная противница все-таки продолжала неутомимо преследовать свою жертву, представителя сословия мужчин, забыв пословицу: кошке игрушки, а мышке слезки.

Раздавшийся по зале всеобщий шепот, который оттого сделался громче иного крику, отвлек Никитина от двери. Все повторяли: «Государь, государь!» — и живописец увидел царя, вошедшего без свиты, под руку с хозяином дома, князем Меншиковым.

Когда кавалеры вдоволь накланялись, а дамы до усталости наприседались, менуэт кончился. Посредине залы явился человек в старинном боярском кафтане, в высокой шапке из заячьего меха и с зеленою бородою, достававшею ему почти до пояса. Если б эта борода была не шелковая и цветом синяя, то можно было бы подумать, что женоубийца Рауль Синяя борода вздумал повеселиться в ассамблее. Это был придворный шут Балакирев. Взоры всех устремились на него.

Балакирев, обратясь лицом к царю, снял шапку и повалился на пол по старинному обычаю, отмененному Петром Великим, который, заметив, что и на грязных улицах сей обычай свято соблюдался, велел народу при проезде царя только кланяться, прибавив: «Я хочу народ мой поставить на ноги, а не заставить его при мне валяться в грязи!»

— Великий государь! — сказал шут.— Бьет челом твой нижайший и подлейший раб, боярский сын Доримедошка, по прозванию Пустая голова!

— Не по форме просишь! — заметил, смеясь, Апраксин.

— Не в форме сила! Сила не коровай: и без формы хороша. Матушка-сила меня с ног без формы сбила!

Громкий смех раздался в зале. Шут, встав между тем с пола, проговорил форменное начало просьбы и продолжал:

— Пункт первый. Укажи, великий государь, песню спеть. Пункт второй. И спел бы, да голосу нет. Пункт третий. Был у меня голос, да сплыл. Князь Александр Данилыч оттягал, оттого голос у него гораздо моего сильнее стал. Как закричит — все его слушаются, а я закричу — так только один дурак Балакирев меня слушается, одному ему страшно. Никто не хлопочет, а всяк надо мной же хохочет.

— Ну, спой песню и без голоса,— сказал советник Коллегии, у которого было на голове волосов не менее, как звезд на небе в полдень.

— Горло без голоса то же, что голова без волоса. Я полтораста таких голов набрал и привел ко дворцу. Царь, я чаю, помнишь? Да не в том дело. Есть у меня, признаться, голос, только не свой, а краденый. У меня борода длинна, да и у козла не короче. Свел я с ним дружбу и сослужил ему службу. У меня князь Данилыч мой голос оттягал, а я у козла голосок украл. Запою, заслушаешься! Что твой петух! Случается, что и курица петухом поет, почему ж мне не спеть по-козлиному? А и то бывает, что иной по речам — человек, по рогам — козел, а по уму — осел. Ну, слушайте ж, добрые люди, козлиную песню:

В государевой конторе
Молодец сидит в уборе,
На затылке-то коса
До шелкова пояса.

Перед ним горой бумага,
Сбоку спичка, словно шпага,
На столе чернил ведро,
Под столом лежит перо.

За ухом торчит другое.
Вот к нему приходят двое;
Поклонились до земли.
«Мы судиться-де пришли!

Этот у меня детина
В долг три выпросил алтына,
Росту столько ж обещал;
Я ему взаймы и дал.

И пошли мы на кружало.
Денег у меня не стало.
Что тут делать! За бока
Взял я разом должника.

Рост взыскал я. Дело право!
Рассуди ж теперь ты здраво:
Сколько должен мне земляк?
Ничего-де. Как не так!

Поверши ты нашу ссору».
— Дело требует разбору,—
Молвил дьяк на то истцам.
— Я вам суд по форме дам.

Обещал ты сколько роста? —
«Я не должен ничего-ста!
Дал мне три алтына сват
И тотчас же взял назад».

— Взял он только рост условный.
Коль не хочешь в уголовный,
Весь свой долг да штраф сейчас
Подавай сюда, в Приказ.

Ты ж за то, что без решенья,
Не по силе Уложенья,
Рост взыскал, любезный мой,
Заплати-ка штраф двойной.

Что ж вы, как шальные стали?
Иль хотите, чтоб связали
И в острог стащили вас?
Исполняйте же указ!

«Как? Весь иск-то в три алтына!» —
Молвил тут один детина.
«Сват, не лучше ль нам с тобой
Кончить дело мировой?»

Дьяк вскочил, да так прикрикнул,
Что никто из них не пикнул.
Только б ноги унести,
Заплатили по шести.

Пропев песню, шут важно поклонился на все четыре стороны.

— А про какое время ты пел? — спросил Меншиков.— Ныне уж, кажется, таких судей не водится.

— Почему мне, дураку, это знать! Мое дело спеть, а про нынешнее ли время, про старинное ли козел песню сложил, не мое дело! Тот пускай это смекнет, кто всех умнее, а я, окаянный, всех глупее. Эй вы, православные! — закричал шут, обратясь к толпе приказнослужителей.— Кто из вас всех разумнее, тот выступи вперед да ответ дай князю Александру Данилычу. Никто не выступает! Сиятельный князь! Меня не слушаются! Прикажи умнейшему умнику вперед выступить. Зачем он притаился?

— Затем, что только самый глупый человек может почитать себя всех умнее.

— Ой ли! А я почитаю себя всех глупее, стало быть, я всех умнее.

— Именно,— сказал Апраксин, смеясь.— Потому ты и должен ответить на вопрос князя Александра Данилыча. Скажи-ка, водятся ли ныне такие дьяки, про какого ты пел?

— Дьяков давно уж нет, а ныне все секретари, асессоры, Коллегий советники, рекетмейстеры, прокуроры и другие приказные люди, которых и назвать не умею. Поэтому я разумею, что козел сложил песню про старину и что этот дьяк жил-был при князе Шемяке. Вернее было бы спросить об этом самого козла, да где теперь найдешь его! Впрочем, я и без него знаю, что ныне таким дьякам не житье, пока жив посошок. Он ростом не великонек, вершками двумя меня пониже и такой худенькой, гораздо потоньше вот этого голландца. Только куда какой охотник гулять по долам, по горам, а подчас и по горбам! И по моему верблюжьему загорбку он гуливал, мой батюшка! С тех пор мы с ним познакомились. Всего больше не любит он взяток. Возьми хоть маленькую, а посошок и пожалует в гости, и готов переломать кости, если кто на него не угодит. Видишь, он очень сердит. Пусть бы он колотил взяточников, а за что ж он дураков-то, примером сказать меня, иногда задевает? В сказке сказывается, что Дурень-бабень рассердил чернеца, а чернец сломал об него свой костыль, и

Не жаль ему дурака-то,
А жаль костыля-то.

И посошку, моему любезному дружку, следовало бы себя пожалеть и со мной, глупым, не ссориться.

— Ты разве забыл, что ты всех умнее? — заметил Апраксин.

— Забыл! У меня память что старое решето. Положи хоть арбузов горсть, так и те просеются. Это решето не то что карман иного кафтана. Кладут в него всякую всячину; весь разлезется и продырится пуще решета, а небось ничего не просеешь. Все в нем остается! И золотая песчинка не проскочит!

— У кого же такой карман? — спросил царь, посмотрев на многих из вельмож, над которыми Особая комиссия производила следствие по обвинению их в противозаконных поборах и доходах.

— Не знаю! Не перечтешь и шитых кафтанов, не только карманов. Притом в чужой карман грешно заглядывать! Темно там, ничего не видно, хоть глаз уколи. Я не охотник глаза колоть. Иного и в бровь уколешь, так напляшешься.

— Ты сегодня много говоришь лишнего. Надобно тебя наказать за нарушение порядка в ассамблее. Подайте-ка Большого Орла.

Принесли огромный бокал, наполненный вином.

— Великий государь, помилуй! — закричал Балакирев.— В чем провинился я пред тобою?

— Пей! — сказал царь.

С лицом, выражавшим горесть и отчаяние, шут опорожнил бокал и, упав перед царем, сказал:

— Заслужил я гнев твой и чувствую все мое тяжкое преступление. По милосердию твоему, государь, я еще мало, окаянный, наказан. Совесть угрызает меня. Вели еще наказать. Не страшно мне наказание, а страшен гнев твой! Подайте мне еще Орла. Да нет ли побольше этого?

— Смотри, чтоб орел не прилетел с посошком, про который ты говорил.

— С посошком! — воскликнул шут, проворно вскочив с пола и теснясь сквозь толпу в другую комнату.— Убраться было скорее отсюда!

— Принес ли ты свои картины? — спросил Петр Великий, подойдя к Никитину.

— Принес, ваше величество.

— Расставь их вдоль этой стены.

Когда живописец исполнил приказание, царь велел позвать Балакирева и сказал ему:

— Продай все эти картины с аукциона.

Шут, слыхавший кое-что при дворе о картинах Рафаэля, понял слова государя по-своему и закричал:

— Господа честные! Продаются картины знаменитого и славного живописца Рафаэля, он же и Санцио. Товар лицом продаю, без обмана, без изъяна. Картины знатные! Продам без барыша, за свою цену. А уж какой живописец-то, этот пострел Санцио! Даже самому господину супер-интенданту, первому иконописцу Ивану Ивановичу [1], он в мастерстве не уступит!

— Все ты не дело говоришь! — сказал Петр и, обратясь

---

[1] В 1707 году определен был Иван Иванович Заруднев, лучший из тогдашних иконописцев, супер-интендантом, для надзора за своими собратиями. В 1722 году подтверждено было указом Синода и Сената, чтобы Заруднев надзирал за правильным писанием икон. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

к Меншикову, продолжал: — Объясни ему, Данилыч, что значит продажа с аукциона. Ведь он в самом деле не бывал за границей.

Когда Меншиков растолковал Балакиреву порядок аукционной продажи, то шут, передвинув из угла к картинам небольшой круглый столик, взял стоявшую в том же углу трость Петра Великого и закричал:

— Нужен бы мне был молоток, да за него дело сделает вот этот посошок, знакомец мой и приятель.

Стукнув по столику, Балакирев объявил условия продажи и, указав на первую картину, сказал:

— Оценка рубль.

— Два рубля! — сказал один из купцов.

— Итого три рубля. Первый раз — три рубля, второй раз — три рубля, никто больше? Третий раз...

— Десять рублей! — сказал Апраксин.

— Итого тринадцать. Никто больше? Третий...

— Полтина! — сказал купец.

— Не много ли прибавил? — заметил Балакирев.— Не разорись.— Затянув решительное: «третий раз!» — он поднял трость.

Апраксин надбавил полтора рубля, и Балакирев, как ни растягивал свое: «третий раз»! — принужден был стукнуть тростью.

Уж продано было восемь картин, и остались только две. Иная пошла за десять рублей, иная за пять, иная еще за меньшую цену. Шут-аукционер при всех стараниях выручил только сорок девять рублей. Бедный Никитин вздохнул.

Дошла очередь до списка с Корреджиевой ночи. Высшую цену, двадцать рублей, предложил невысокого роста, плечистый и довольно дородный посадский, в немецком кафтане тонкого коричневого сукна и с седыми на голове волосами. Это был славившийся богатством подрядчик Семен Степанович Крюков, поселившийся в Петербурге вскоре после основания оного. Он много раз брал на себя разные казенные подряды и работы и был лично известен царю. Доныне сохранился в Петербурге, как объяснится ниже, памятник этого малорослого подрядчика, превосходящий величиною монумент самого Петра Великого. Впрочем, он был человек почти без всякого образования. Когда Никитин приходил к нему в дом со списком с Корреджиевой ночи, то Крюков сказал: «Предки и отцы наши жили и без картин, и я, грешный, проживу благополучно без них на свете».

— Итак, двадцать рублей,— сказал Балакирев, поднимая трость.— Третий раз...

Чем более шут тянул это слово и поднимал выше трость, тем ниже упадал духом Никитин. Двадцать рублей за полугодовой беспрерывный труд! Плохое поощрение для художника! Никитин стоял в толпе, уподобляясь преступнику, которому объявили смертный приговор. Он пришел в ассамблею с неясною, но тем не менее утешительною надеждою, которую возбудило в его сердце приказание государя: принести в дом Меншикова картины. Надежда сия уступила место прежней горести и отчаянию, когда живописец увидел, что вырученными за его работы деньгами невозможно уплатить и пятидесятой части долга Шубину.

Балакирев готов уж был стукнуть тростью, как вдруг раздались слова: «Триста рублей!»

Триста рублей были в то время важная сумма. Все оглянулись с удивлением в ту сторону, откуда раздался голос, и увидели Никитина, обнимавшего колена Петра Великого.

— Встань, брат, встань! — говорил государь, поднимая Никитина.— Не благодари меня! Я лишнего ничего не дал за твою картину. Боюсь, не обидел ли я тебя? Может быть, ты дороже ценишь труд свой?

У Никитина катились градом слезы. Он не имел силы выразить словами благодарность свою монарху и в молчании, с жаром прижимал державную руку его к устам своим.

Все были тронуты. Даже вечно смеявшийся Балакирев, поглядывая исподлобья то на Никитина, то на государя, украдкой хотел отереть рукавом слезу, не шутя покатившуюся по щеке его, но не успел, и слеза капнула на его зеленую бороду.

Началась продажа последней картины.

— Кто купит эту картину,— сказал Петр Великий,— тот докажет мне, что он меня из всех моих подданных более любит.

Вся зала заволновалась, и цена вмиг возросла до девятисот рублей. Аукционер едва успевал выговаривать свои первые, вторые и третьи разы и, сбившись наконец от торопливости в счете денег, закричал:

— Эй ты, Балакирев! Неужто ты любишь менее других своего царя? Сколько ты, пустая голова, даешь за картину?

— Полторы тысячи! — отвечал он сам себе, изменив свой басистый голос в самый тонкий.— Докажу, что и ду-

рак любит искренно царя не меньше всякого умника! Третий раз...

Он хотел стукнуть тростью, но Меншиков остановил его, сказав: «Две тысячи!»

— Третий раз...

— Три тысячи! — воскликнул Апраксин.

— Третий раз...

— Четыре тысячи! — закричал Головкин.

— А я даю пять! — прибавил подрядчик Крюков.— Никому на свете не уступлю!

Балакирев, подняв трость, затянул: «третий раз»! Меншиков и все другие вельможи готовились надбавить цену, но государь, приметив сие, дал знак рукою аукционеру, и трость с такою силою стукнула по столику, что он зашатался.

— Данилыч! — сказал монарх на ухо Меншикову, взяв его за руку.— Я уверен, что ты и все твои сослуживцы меня любите. Однако ж ты, я чаю, не забыл, что на тебе и на многих других есть казенный начет. Чем платить несколько тысяч за картину, лучше внести эти деньги в казну. От этого для народа будет польза. Вы этим всего лучше любовь свою ко мне докажете. Скажи-ка это всем прочим, кому надобно.

— Будет исполнено, государь! — отвечал Меншиков, поклонясь.

Между тем богач Крюков, с торжественным лицом, гордо поглядывал на толпившихся около него людей разного звания и принимал поздравления с лестною покупкою. А Никитин, Никитин! Что он тогда чувствовал? Всякий легко вообразит это, поставив себя на его место.

— Подойди-ка, брат Семен, ко мне! — сказал монарх подрядчику.— Спасибо! Из любви ко мне ты сделал то, что в иностранных, просвещенных государствах делается из любви к изящным художествам. При помощи божией и в моем царстве будет со временем то же. Все-таки спасибо тебе! Я тебя не забуду!

Царь поцеловал Крюкова в лоб и потрепал по плечу. Подрядчик чувствовал себя на седьмом небе от восторга.

— В награду за твой поступок я прикажу назвать канал, который ты вырыл здесь в Петербурге, твоим именем [1]. Доволен ли ты?

— Я и так осыпан милостями вашего величества. Не за

---

[1] *Крюков канал*, доныне сохранивший сие название, окончен был в 1717 году означенным подрядчиком. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

что награждать меня! Что мне пять тысяч! То же, что иному пятак!

— Ну что, Никитин? — продолжал царь, обратясь к живописцу.— Оставишь ты свое искусство или будешь и вперед писать?

Никитин снова бросился к ногам государя. Благодарность и любовь к нему, достигнув беспредельности, не могли вмещаться в одном сердце. В лице, в глазах, во всех движениях видно было стремление сих чувств наружу. Он весь был любовь и благодарность.

Монарх, выйдя из залы, спустился с лестницы, сел в небольшие сани и поехал по невскому льду к своему любимому дворцу — маленькой хижине, до сих пор стоящей на берегу и напоминающей славу великого человека потомству красноречивее всякого мавзолея.

На другой день, рано утром, Никитин, внеся в ратушу весь долг Воробьева Шубину, исходатайствовал указ об освобождении его из острога и побежал к старосте Гусеву. Прочитав поданную Никитиным бумагу, Гусев встал со стула от удивления и с приметною досадой спросил:

— Кто ж это заплатил за него деньги?

— Я дал слово этого не сказывать,— отвечал Никитин.— Этот человек желает остаться неизвестным. Внес деньги в ратушу я, по его поручению.

— Видно, у него много лишних денег!

— Сделай милость, пойдем же скорее, Спиридон Степанович, к острогу.

— Мне еще недосуг теперь. Оставь указ у меня. Я его исполню, как следует, в свое время.

— И тебе не грешно медлить, когда от тебя зависит теперь же обрадовать несчастного, который так давно томится в остроге!

— Молоденек еще ты меня учить! Я знаю, что делаю!

— Я учить никого не намерен, а скажу только, что если ты не пойдешь сейчас же со мною, то я с указом побегу прямо к Антону Мануиловичу [1], а в случае нужды к самому царю.

Испуганный сею угрозою староста, ворча что-то сквозь зубы, схватил с досадою шляпу, надел шубу и пошел с Никитиным к острогу. Вскоре приблизились они к губернской канцелярии, отыскали смотрителя острога, и староста, приказав ему освободить Воробьева, не взял, а вырвал из

---

[1] Девиер, первый Санкт-петербургский генерал-полицеймейстер, зять князя Меншикова. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

рук Никитина указ, спрятал в карман и пошел поспешно домой. Если бы все роптания и разнообразные ругательства, которые он на возвратном пути произнес вполголоса, каким-нибудь волшебством превращались в цветы, то вся дорога от губернской канцелярии до жилища старосты была бы усеяна самыми пестрыми цветами, особенно же увядшими колокольчиками, которые изобразили бы исчезнувшую надежду на звонкие монеты, обещанные Шубиным старосте за свадьбу с Мариею. Эта исчезнувшая надежда служила средоточием всех морщин на гневном и лысом челе старосты и уподоблялась драгоценности, уроненной в воду и произведшей на ее поверхности множество расходящихся во все стороны кругов, которые бывают весьма похожи на морщины, происходящие от гнева и досады.

Не таковы морщины, производимые долговременными горестями и страданиями. Не скоро они исчезают! Они не переменились на бледном лице Воробьева, когда он, выйдя из острога, радостно бросился в объятия Никитина. Долго обнимались они, не говоря ни слова.

— Неужто я на воле? — воскликнул наконец старик.— Разве долг мой уплачен?

— Весь уплачен!

— Кем? Скажи, ради бога!

— Не знаю. Деньги были присланы ко мне от неизвестного.

Старик поднял руки к небу, и слезы, бежавшие из глаз его, свидетельствовали, что он молился за своего благотворителя.

Вскоре подошли они к дому, которого так уже давно не видал его хозяин. Воробьев снова заплакал, увидя свое жилище, как будто при неожиданном свидании с искренним другом, навсегда разлучившимся. Несмотря на слабость старика, происходившую и от лет и от страданий в заточении, он взбежал на крыльцо, как юноша, чем-нибудь восхищенный, и вместе с Никитиным вошел в комнаты.

Раздалось восклицание: «Батюшка! Любезный батюшка!» — и Мария, вне себя от восторга, была уже в объятиях своего воспитателя, целовала его руки и отирала поцелуями слезы умиления, катившиеся по бледным щекам старика. Он крепко прижимал ее к своему сердцу.

Жених Марии, Шубин, бывший также в комнате, едва верил глазам своим. Вскочив со стула, при входе Воробьева в комнату, он с трудом удержался на ногах и, схватясь одною рукою за спинку стула, другою стиснул свой подбо-

родок, как будто для того, чтобы удержать голову и недопустить ее совсем спрятаться между поднявшихся от испуга и удивления плеч. Довольно долго пробыл он в сем положении, не зная, что ему делать и что говорить.

— Ты можешь, Карп Силыч,— сказал ему Никитин,— теперь же идти в ратушу и получить свои деньги.

— Сам их возьми! — проворчал Шубин, посмотрев на живописца, как голодная собака, у которой отняли кость.

— Здравствуй, Карп Силыч! — сказал Воробьев, увидев Шубина, которого прежде и не заметил.— Много от тебя я горя перенес! Впрочем, не виню тебя. Ты взыскивал свои деньги. Покойный батюшка твой так бы не поступил, однако ж. Добрый был человек! Он, верно бы, дал мне время поправиться.

— И я без крайней нужды не стал бы с тебя долга взыскивать. Прости меня великодушно, Илья Фомич.

— Бог тебя простит! Да скажи, пожалуй, какими судьбами ты в моем доме очутился?

— Я... я нареченный жених Марьи Павловны. В будущую среду назначена свадьба. Мы уж кольцами поменялись. Я не принуждал ее. Присягну в этом. Спроси ее, если не веришь.

— Как, Машенька? Неужели ты против моей воли...

— Да, батюшка! — прервала Мария.— Для твоего спасения я решилась собой пожертвовать.

Тронутый старик снова прижал ее к сердцу и продолжал:

— Ты, верно, не захочешь идти к венцу без моего благословения? Вот жених твой, которого ты любишь, с которым будешь счастлива. Я вас благословил и теперь снова благословляю. Сюда, Павел Павлыч, сюда! Дай прижать тебя к сердцу. Вот тебе рука моей Машеньки!

— Не позволю этого, не допущу! — закричал Шубин, побледнев от досады.— На что это похоже! Она мне слово дала! Ее не обвенчают! Я не допущу!

— Не сердись, Карп Силыч! — сказал спокойно Воробьев.— Не велико было б счастье твое и Маши, когда бы ее обвенчали с тобой против ее склонности! Притом, если б ты или я, например... о чем бишь я заговорил?

— Да уж не бывать ей ни за кем другим! — кричал Шубин, выбегая из комнаты.— Я подам прошение, буду жаловаться! Уж поставлю на своем! Десяти тысяч не пожалею!

Он вбежал к старосте Гусеву в таком расстроенном виде, как будто бы спасался от гнавшегося за ним по пятам бешеного волка.

— Что с тобой сделалось? — вскричал староста, поднявшись со стула и сняв с головы колпак.

— Помоги, Спиридон Степаныч! Две тысячи, три дам, только помоги!

— Да в чем дело?

Карп Силыч объяснился, и началось между ними совещание, как помешать браку Никитина.

Часто посещая Марию и по праву жениха бродя по всем горницам, Шубин с удивлением увидел однажды стоявший на прежнем месте черный ящик, отнятый у них, по его убеждению, злым духом.

Во время совещания он сообщил старосте свое открытие, которое до того времени хранил в тайне.

— Точно ли ты уверен, что это тот самый ящик? — спросил Гусев.

— Тот самый. Я его осматривал.

— Теперь я понимаю,— продолжал староста,— откуда Никитин взял деньги на уплату тебе долга. Он закабалил себя лукавому и достал золото, которого мы искали. Пусть его себя губит! Таковской!

— Да как же он мог достать золото без ящика? Я расспрашивал работницу Марьи Павловны и узнал, что ящик давно уж у нее стоял на столике, а кто ей принес — неизвестно. Никитин ни разу у нее не бывал с тех пор, как я сосватался, и она ни разу с ним не видалась. Работница за нею подглядывала денно и нощно. Я ей за это двадцать рублей заплатил.

— Что ж! Может быть, ящик пустой, а бумаги у Никитина. Послушай, Карп Силыч! Точно ли дашь три тысячи, если я улажу твою свадьбу?

— Помоги только! В долгу не останусь.

— По рукам! Я знатно придумал.

Позвав брата своего, Спиридон Степанович поручил ему написать донесение генерал-полицеймейстеру Девиеру. Когда тот кончил бумагу, староста прочитал ее вслух. Она содержала в себе следующее:

«Господину
Санкт-петербургскому генералу-полицеймейстеру
Троицкой площади, что на Санкт-петербургском острове,
старосты Спиридона Степанова сына Гусева

ДОНОШЕНИЕ.

Понеже надлежит мне, старосте, о всяких делах, в коих касательство есть до важных интересов, так о всяких куриозных необыкновенностях аккуратно репортовать Ваше Высокоблагоурожденное Генеральство, того для со всяким поспешением доношение учинить имею без всякого нападка, страсти, лжи и затевания о нижеследующем. Ведомо мне учинилось, что у здешнего рядового купца[1] Илии Воробьева проживает свейского дворянина дочь Марья, у которой в секретном хранении пребывал некакий ящик черного дерева и невеликой фигуры. По зрелой рефлексии возымев подозрение в чернокнижестве, имел я неослабное надзирание и чрез агента моего тот ящик достал для обследования. В оном объявились две бумаги с чернокнижественною инструкциею, как золото доставать и некакий чудный камень, силу медикамента против всякого недуга имеющий, получить. В силу сей инструкции следовало идти в нощное время на Каменный остров, что в даче господина канцлера Графа Головкина, отыскать камень с надписанием свейского слова, такожде яму с чернокнижественным золотом и таковым же камнем. Надлежало для спооможения к таковому делу некоего духа призвать. Не щадя живота своего в толико интересном обстоятельстве, упросил я брата моего Александра да купецкого сына Карпа Шубина идти вместе на такой кондиции, чтобы обследование учинить при них двух свидетелях, как регламенты повелевают. Пришед к яме, разрыли оную; нечистая же сила помешательство учинила, отняв у нас ящик и прогнав нас зело ужасным устрашением от ямы так, что живота едва не лишены были. Ныне же известно учинилось, что реченный ящик доставлен обратно нечистою силою той же свейской дворянской дочери Марье, а полюбовник оной, живописного дела мастер Павел Никитин, в сильном подозрении обретается в делании воровских денег из чернокнижественного золота, и в том при расспросе легко уличен быть может. Во всем оном, как я, староста, так вышеобъявленные два свидетеля под присягою неложное показание, как надлежит, учинить весьма обязуемся. И о том о всем репортуя сим доношением, прошу у Вашего Высокоблагоурожденного Генеральства резолюции о взятье в Синявин

---

[1] Купцы, торговавшие в Гостином дворе, назывались *рядовыми*. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

баталион [1], или хотя в острог той свейской дворянской дочери и с полюбовником, для обследования, дабы по суду возможно было указ учинить, кто чему будет достоин».

Староста подписал бумагу.

— Теперь они все запляшут по нашей дудке! — сказал он, потирая руки.— Я пугну этим доношением Воробьева и принужу его выдать за тебя его воспитанницу. Ты ведь согласишься, брат, и ты, Карп Силыч, присягнуть, в случае нужды, в том, что ящик отняла у нас нечистая сила?

— В правде почему не присягнуть! — отвечал брат.

— Присягну и я,— сказал Шубин,— только боюсь погубить мою невесту. В бумаге-то много и на ее голову написано!

— Положись уж на меня. Она легко оправдается. Обследование буду производить я, если дойдет до того. Одного Никитина спутаем. Он уж не отвертится. Тогда я легко уговорю его принять всю вину на одного себя и очистить на суде Марью Павловну. Ее освободят, а его казнят. А впрочем, Воробьев, верно, согласится без всяких хлопот на твою свадьбу.

Шубин бросился целовать старосту, и сей последний к вечеру того же дня пошел к Воробьеву. Прочитанное донесение сильно испугало его и смутило, но когда староста объявил условие, на котором он соглашался замять все это дело, то Воробьев решительно сказал, что он во всем этом видит одни новые козни, полагается на царское правосудие и слышать ни о чем не хочет.

В первом пылу досады, происшедшей от обманутого ожидания, Гусев пошел прямо к генерал-полицеймейстеру и подал ему свое донесение.

Девиер, родом португалец, был мужчина высокого роста и приятной наружности. Хотя проницательные черные глаза, того же цвета волосы и смуглый цвет лица обличали в нем уроженца страны южной, но, давно живя в России, он совершенно обрусел и по языку, и по характеру.

— Что за странность! — воскликнул он, прочитав донесение старосты.— Неужели ты и два свидетеля утвердите присягою то, что здесь написано?

— Хоть в Троицком соборе, с колокольным звоном!

---

[1] *Синявиным баталионом* назывались несколько изб на Выборгской стороне, против нынешних Петровских казарм. В сих избах помещался баталион Санкт-петербургского гарнизона, состоявший при Петре Великом в ведении обер-комиссара и директора над городскими строениями, Синявина. В одной избе содержались государственные и другие важные преступники. *(Примеч.К. П. Масальского.)*

— Надобно это дело хорошенько исследовать. Или вас обманули, или вы обманываетесь, или меня обманывают.

— Помилуйте, ваше генеральство! Я, кажется, никогда не подавал милости вашей необстоятельных доношений. Прикажите произвесть обследование, так все выйдет наружу.

— Хорошо, я согласен! Отбери допросы и завтра мне обо всем донеси. Только смотри, чтобы все было сделано согласно с законом и совестью.

Сказав это, Девиер, торопившийся куда-то ехать, вышел.

— Ладно! — ворчал староста, выйдя на улицу и поспешая к своему дому.— Согласно с законом и совестью! Гм! Благо велел начать обследование, а уж все будет сделано как следует. Все слажу так, что ни закону, ни совести не к чему будет придраться!

На другой день утром, взяв с собой четырех десятников, вооруженных дубинами, пошел он к дому Воробьева. Мария принуждена была отдать ему свой ящик, хотя со слезами просила не отнимать у нее единственной вещи, оставшейся после отца.

Гусев вышел уже на крыльцо, в намерении отправиться к Никитину, чтобы взять его под стражу, и встретил живописца, который спешил к своей невесте.

— Стой, любезный! — воскликнул староста.— Схватите-ка его, ребята, и ведите за мной! Хе, хе, хе! Шел к невесте, а очутишься в другом месте!

Мария из окна увидела, как десятники связали жениха ее и потащили вслед за старостою. Старик Воробьев еще накануне рассказал ей о замыслах Гусева. Кровь бросилась ей в лицо от негодования.

— Куда ты, куда, Машенька? — закричал Воробьев, видя, что она бежит из горницы.

— Сейчас возвращусь, батюшка! — отвечала Мария и скрылась.

Зная, что царь, после заседания в Сенате (помещавшемся в здании Коллегий на Троицкой площади), почти каждый день заходил с приближенными вельможами в австерию, она пошла прямо к сему домику и в ожидании государя села на деревянную скамью, под высокую сосну, которая росла на лугу неподалеку от австерии, подле кронверка крепости. На Веселом острове и на берегу острова Санкт-петербургского, при заложении города, весь лес был вырублен, за исключением трех сосен, которые Петр Вели-

кий велел оставить для будущих жителей Петербурга в память того, что там, где видят они город, был прежде лес. Одна из этих сосен стояла у Соборной церкви, в крепости, другая на лугу против нынешнего Сытного рынка, а третья, как сказано выше, близ кронверка.

Взор Марии устремлялся то на Коллегии, то на австерию. Каждый прохожий высокого роста, появлявшийся на Троицкой площади, возбуждал ее внимание. С сильным биением сердца ожидала она появления государя. Наконец, увидев вдали царя, шедшего по площади к австерии с князем Меншиковым, адмиралом Апраксиным и некоторыми другими вельможами, Мария быстро пошла ему навстречу.

— Защити, государь, спаси нас! — воскликнула она, бросясь перед Петром на колена.

— Здесь не место просить меня, душенька! — сказал государь, взяв за руки Марию и подняв ее с земли.— Поди к моему старому дворцу и там меня дожидайся. Я сейчас туда буду и расспрошу тебя о твоем деле.

Сказав это, монарх вошел в австерию с вельможами, а Мария тихими шагами приблизилась к домику Петра Великого. Через несколько времени явился и царь в сопровождении одного денщика, отпер низкую дверь своего дворца и, нагнувшись, вошел в домик, дав знак рукою Марии за ним последовать. Из прихожей вошел он направо в большую комнату, которая сначала была залою, а потом обращена была в кабинет, когда постоянным жилищем царя сделался дворец, в Летнем саду находящийся. Для не бывавших в домике Петра Великого не излишне заметить, что эта зала не отличается обширностию, хотя она и превосходит величиною обе остальные комнаты этого единственного в мире дворца. Ширина ее — семь шагов, длина — столько же. И это небольшое пространство стеснялось еще голландскою печью, нагревавшею весь дворец. У кого в доме есть зала хотя на один шаг длиннее этой и на один грош где-нибудь позолочена, тот может смело похвалиться, что дом его великолепнее царских чертогов. В зале всего три окна; одно обращено на юг, другое на запад, третье на север: они закрывались на ночь ставнями. Каждое из них занимает гораздо более пространства в ширину, нежели в вышину. У южного окна стоял стол с разложенными на нем бумагами, планами, чертежами и математическими инструментами. Стеклянная чернильница, представлявшая корабль, блестела посредине стола, только вместо парусов белелось на ней несколько перьев. В одном углу висел

небольшой образ св. апостолов Петра и Павла, в другом помещался токарный станок. К окну, обращенному на запад, придвинут был узкий и длинный столик, на котором были расставлены сделанные из дерева модели кораблей, галер, фрегатов и других судов.

Войдя в сей кабинет, царь снял с себя шубу, повесил ее на гвоздь, прибитый в углу, и передвинул от стены к столу деревянный стул с резною высокою спинкой с подушкою из черной кожи. Сев перед столом, подозвал он к себе Марию, которая свою теплую епанчу положила на пол в прихожей, ибо денщик сел на скамейку, там стоявшую, и на ней для епанчи нисколько не осталось места. Ласково расспросив Марию об ее деле, царь продолжал:

— Я вижу, что отец твой верил алхимии и занимался ею. Винить его за это нельзя, ибо в Швеции, как мне известно, до сих пор многие занимаются этою наукою. Они нисколько не хотят обманывать других, а сами себя обманывают. Было время, что в самых просвещенных государствах умнейшие люди ревностно трудились над алхимическими опытами. Итак, будь спокойна. За то, что отец твой заблуждался, ты отвечать не будешь. Но скажи, почему замешался в это дело Никитин?

Этот вопрос привел Марию в сильное смущение. Потупив прекрасные глаза, она перебирала рукою свой тафтяный передник и не говорила ни слова. Щеки ее, раскрасневшиеся от мороза и едва успевшие во время разговора с царем принять их обыкновенный цвет, снова раскраснелись пуще прежнего, а так как философы утверждают, что одно и то же действие производится одною и тою же причиною, то должно согласиться, что мороз и стыд — одно и то же. Посему, отброся все старые определения стыда, следует его признать внутренним морозом, умеряющим жар любви и других сильных страстей.

— Что ж ты ничего не отвечаешь? — сказал царь, пристально посмотрев на Марию.

— Ваше величество! Он... жених мой! — отвечала девушка таким голосом, как будто бы просила помилования в важном преступлении.

— Жених? Вот что! — продолжал монарх, улыбнувшись.— Поздравляю тебя! Ай да Никитин! Недаром он живописи учился. В картинах и не в картинах умеет оценить красоту. Ступай теперь с богом домой и, повторяю, будь спокойна. Я поговорю с Девиером о твоем деле и просьбы твоей не забуду.

Мария удалилась, а царь, вынув из кармана книжку,

написал: *О девице* [1]. Петр Великий всегда носил с собою небольшую книжку и записывал в ней дела, обращавшие на себя особенное его внимание, или означал краткими намеками предначертания, представлявшиеся ему при беспрерывных думах о благе подданных.

Прошло несколько дней. Никитин не возвращался из острога. С каждым часом усиливалось беспокойство Марии и старика Воробьева.

— Его царское величество забыл твою просьбу, Машенька! — говорил последний со вздохом.— Не одно наше дело у него на уме: всего ему, отцу нашему, не упомнить! Или не наговорили ль ему лиходеи на нас невесть что! Погубят нас, бессовестные!

— Не беспокойся, любезный батюшка! Невинным нечего бояться! — возразила Мария, хотя внутренне еще более своего воспитателя опасалась хитрого старосты.

— Быть худу! Сердце мое чувствует! — продолжал старик.— За себя-то я не боюсь, за тебя мне страшно, Машенька! Если староста подал начальству доношение, которое он мне читал,— тебя засудят! Как оправдаешься? Два свидетеля готовы присягнуть. Павел Павлыч, конечно, станет говорить, что напугал дураков-то он и ящик тебе достал, да ему не поверят. Скажут, что из любви он тебя защищает. Притом его и самого обвиняют в чернокнижестве. Беда, со всех сторон беда! Ох, этот ящик твой! Недаром мне всегда на него глядеть было страшно! Я бы никак, если бы знать да ведать... о чем бишь я заговорил?.. Чу! Кто-то подъехал к крыльцу. Взгляни-ка в окно. Ох мои батюшки!

Мария не успела еще отдернуть тафтяную занавеску, висевшую на окне, когда Девиер вошел в комнату.

— Ты ли купец Воробьев? — спросил он.

— Точно так, батюшка! — отвечал старик, низко поклонясь.

— А эта девушка, верно, твоя воспитанница?

— Точно так, батюшка! — повторил Воробьев дрожащим голосом.

Девиер, посмотрев пристально на Марию, вынул из кармана ящик ее и поставил на стол. Молчание и суровый вид генерал-полицеймейстера смутили девушку. Она переменилась в лице.

---

[1] Сии слова и ныне можно видеть в одной из тринадцати сохранившихся записных книжек Петра Великого. *(Примеч. К. П. Масальского.)*

— Мне некого послать за старостою. Я приехал сюда один,— продолжал Девиер, обратясь к Воробьеву.— Он недалеко живет отсюда. Пошли кого-нибудь за ним и вели сказать, чтоб он пришел сюда.

— Слушаю, батюшка!

С сердцем, нывшим от беспокойства, побежал Воробьев в поварню и отправил свою работницу за старостою, у которого сидел в это время Шубин.

— Что это значит? — воскликнул Спиридон Степанович, когда явилась к нему работница Воробьева.— Кто послал тебя?

— Сам хозяин послал.

— Что ему надобно?

— Не ведаю, кормилец! Выбежал в поварню, словно угорелый, и промолвил только: беги скорей за Спиридоном Степанычем!

— Хорошо! Скажи, что буду.

Когда работница ушла, то Гусев продолжал:

— Ага! Знать, одумался! Верно, хочет согласиться на твою свадьбу. Пойдем-ка к нему вместе, Карп Силыч! Трусость, видно, на него напала. Надобно этим часом пользоваться. Кстати ты у меня случился. Пойдем скорее, ударим с ним по рукам, и дело в шляпе!

Вскоре подошли они к дому Воробьева. При входе в комнату староста изумился, увидев Девиера.

— По твоему донесению его величество повелел мне самому произвесть исследование,— сказал сей последний.— Подтверждаешь ли ты и теперь, что написал?

— Подтверждаю! Какую угодно присягу приму, и не я один, а еще два свидетеля. Вот один из них здесь, налицо. Это купеческий сын Шубин.

— Присягнешь ты? — спросил Девиер.

— Хоть десять раз сряду. Все буду стоять в одном и том же.

— В чем же?

— А в том, что нечистый дух — наше место свято! — отнял у нас вот этот ящик и что мы трое со страху чуть живы остались.

— Хорошо! — сказал Девиер.— Я сейчас возвращусь.

Через несколько минут ввел он в комнату Никитина.

— Расскажи, как ты напугал старосту на Каменном острове.

Никитин начал подробный рассказ о том, что уже известно читателям.

— Что вы на это скажете? — продолжал Девиер.

— Он все это выдумал, ваше генеральство! — сказал староста.— Притом свидетелем в собственном деле быть нельзя. Закон это воспрещает.

— Справедливо, но три свидетеля докажут, что Никитин точно на Каменном острове был, когда вы искали клада. Не отнял ли еще чего-нибудь у вас нечистый дух, кроме ящика?

Староста, упомянув в донесении об одном ящике, приведен был в смущение сим вопросом, а Шубин, видя, что он молчит, начал говорить:

— Нечистый отнял у нас еще лодку, ружье, заступ да старую шляпу Спиридона Степаныча. Ружье и заступ подкинул он на двор, и мы бросили их в воду, а лодка и шляпа остались у него.

— Представь, Никитин, свидетеля.

Живописец, выйдя в сени, принес старую шляпу старосты, потерянную им во время бегства от ямы.

— А другой свидетель,— продолжал Девиер,— лодка, которую вы наняли у рыбака. Он случайно отыскал ее у берега Крестовского острова. Эти два свидетеля подтверждают, что нечистый дух во всем этом деле принимал столько же участия, сколько вон этот чистенький чухонец, который везет теперь мимо дома воз угольев.

— Нет, ваше генеральство! — возразил Шубин.— Коли нечистая сила отдала ящик Никитину, так вестимо, что и шляпу, и лодку она же ему доставила.

— Положим так, но что ты скажешь против третьего свидетеля, рыбака? Он показывает, что Никитин вслед за вами также нанял у него лодку и поехал на Каменный остров.

Шубин, не зная, что отвечать, поглядывал на старосту.

— Итак, исследование кончено. Впрочем, и нужды в нем не было. Я для того только допрашивал, чтоб вы уверились, что не сила нечистая, а Никитин напугал вас, и поделом. Без того вы стали бы разглашать в народе небылицу и утверждать его в суеверии. Теперь, надеюсь, вы будете умнее. Его величество решил ваше дело,— продолжал он, обратясь к Никитину и Марии.— Вот что он изволил написать на моем донесении: «Старосте с двумя свидетелями сказать дурака и их вразумить, чтоб они впредь умнее были и особенно в народе небылиц не разглашали, а если был у них какой злой умысел, то оштрафовать. Старосту, яко неспособного, отставить и выбрать на его место другого благонадежного человека. Никитина немедля из острога освободить, а его невесте отдать ящик».

Староста и Шубин, повеся голову, вышли. Носились два слуха: один, что они разошлись в разные стороны по выходе из дома Воробьева, а другой, что они в досаде разбранились на улице и, для утешения себя, поколотили друг друга, желая над кем-нибудь выместить свое горе и неудачу.

— Это еще не все! — продолжал Девиер.— Открой, невеста, свой ящик.

Мария исполнила приказанное и увидела, кроме завещания отца и пергаментного свитка, еще что-то завернутое в бумаге. Она развернула ее по приказанию Девиера, и серебряные рубли посыпались на пол.

— Это царь пожаловал тебе на приданое,— продолжал Девиер.

— Когда я донес ему, что вы оба сироты, то он сказал, что будет вашим посаженым отцом и сам приедет к вам на свадьбу. Желаю вам счастия! Прощайте!

Девиер удалился. Старик Воробьев, бросясь на колена перед образом, начал со слезами молиться. За кого он молился — не знаем. Никитин прижал Марию к сердцу. Оба плакали, упоенные счастием.

Ящик, напоминавший прежде Марии раннюю потерю отца, стал с тех пор напоминать ей, что добрый и великодушный царь заменил ее потерю. С тех пор Никитин каждый раз, принимаясь за кисть, благословлял в душе державного покровителя искусств и просвещения. Он дожил до учреждения Академии художеств в славное царствование императрицы Екатерины II, тщательно возвращавшей в отечестве нашем все посеянное ее великим предшественником. Новые художники далеко опередили Никитина и почти вытеснили с поприща искусства. Кисть его вместе с ним устарела, но он не покидал ее, исполняя завет царя и чтя его священную память. В глубокой старости жил он с Мариею на Выборгской стороне, в небольшом домике, с двумя сыновьями, которые, посвятя себя медицине, содержали престарелых родителей. Напрасно убеждали они отца их оставить кисть, замечая, что труды его даром пропадают, а зрение с каждым днем все более и более слабеет.

— Нет, любезные дети! — говорил старик.— Я обещал благодетелю моему царю Петру Алексеевичу не покидать живописи. Без него не прожил бы я с моею старухою до сих пор счастливо; давно бы, давно лежали мы оба в земле сырой, а вас бы и на свете не было, любезные дети!

За несколько дней до смерти он все еще занимался живописью и дрожащею кистью усиливался изобразить черты Петра Великого. С улыбкой, выражавшею сострадание и умиление, смотрели сыновья на тщетные усилия старца.

— Полно тебе, Павлыч, себя понапрасну мучить! — сказала Мария, почтенная и седая старушка.— Портрет твой более похож на меня, чем на царя Петра Алексеевича.

Старик глубоко вздохнул.

— Да, устарел я уж, Маша! Ничего почти не вижу. Однако ж как-нибудь кончу этот портрет. Пусть дети наши сохранят его. Ящик твой будет им напоминать, что мы были с тобой сироты и что царь Петр Алексеевич сделался отцом и благодетелем нашим, а этот портрет пусть им напоминает, что до последних дней мы сохранили благодарность к нашему благодетелю.

И старик снова принялся за работу.



А·Ф ВЕЛЬТМАН

РАЙНА, КОРОЛЕВНА БОЛГАРСКАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Перенесемся за тысячу верст, за тысячу лет.

Вы слыхали о *великом Преславе,* стольном граде Дунайской Болгарии, где знаменовались подвиги нашего удалого богатыря, добросанного князя Святослава? Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским.

Славный и страшный для Греческой империи двадцатый болгарский король Симеон, не возлюбив первой жены своей, женился на названой сестре одного греческого деспота, из армян, по имени Георгия Сурсувула. По общей наклонности каждого грека к филархии Георгий нашел случай очаровать Симеона красотой сестры и таким образом, по праву зятя королевского и по обычаю времени, воссел у самого подножия престола в звании великого комиса, или, по-нашему, великого конюшего и вместе с этим дядьки и кормильца наследников царства. Хоть краль Симеон имел уже наследника Вояна; но мачеха не родная мать; пасынок должен был уступить свое место у сердца отца кровным ее детям. Вояна воспитывали в монастыре и по наклонности его к чтению церковных и мирских книг, по страсти к наукам, искусствам и художествам и ко всему не свойственному чести королевского детища решили посвятить его келейной жизни и постричь в монахи. Но Воян бежал; все пришли в ужас, потому что он унес с собою какую-то заклятую черную книгу. Книга эта с неза-

памятных времен заперта была в одной из башен, и никто не смел до нее коснуться. По этому или по другому случаю, только в народе пронеслись слухи, что Воян продал душу бесу, и не быть добру. В самом деле, вскоре королю Симеону приключилась смерть чудным образом.

Однажды Роман Лекапен, василевс Восточного Римского Царства, возвратившись с облавы на азиатской стороне Босфора, покоился от трудов во дворце Феофилии, построенном по образцу дворца халифов багдадских, где стены горели золотом, где разливались прохлады от цветущих платанов и водометов. Вдруг великий логофет донес ему, что на Таврической площади совершилось великое чудо: статуя, представляющая Беллерофона на коне, превратилась в образ болгарского короля Симеона.

Роман содрогнулся. В это время Греция опасалась болгар и воинственного духа Симеона. За четыре года перед тем он едва не взял Царьграда. А так как на мраморном подножии статуи была высечена таинственная надпись, заключавшая в себе, по словам толкователей, судьбу Царьграда и завоевание его *некоим* великим героем, то очень естественно, что это событие возмутило весь Царьград, как предвещание падения Греческой империи,— тем более что известие о новом восстании Симеона на Грецию было причиной падения духа не только в народе, но и в войске. Император желал лично увериться в истине события. Возложив на себя багряницу и диадему, сделанную по образцу тахта царей персидских и подобную горе Эльборджу, блистающею алмазами и лаллами, с двумя истоками перлов, падающих на плеча, Роман воссел с помощью протостратора на коня и, сопровождаемый деспотами, севастократорами, панхиперсевастами, доместиками и телохранителями, выехал на Таврическую площадь, где теснился народ в страхе и унынии около статуи Беллерофона, превратившейся в короля Симеона.

— Кто избавит меня от этого проклятого Симеона? — вскричал Роман, взглянув на статую.

— Я! — отвечал, выступая из безмолвной толпы, безобразный человек в странной одежде.

— Кто ты? — спросил Роман.

— А вот кто: видите это изображение под стопами коня? Это я.

В самом деле, неизвестный был совершенное подобие химеры в человеческом виде, изображенной под стопами Беллерофона.

— Читайте надпись,— продолжал неизвестный,— в

ней сказано: «Всадник придет покорить Царьград; но до этого не допустит человек, изображенный под стопами всадника». Дайте мне меч, я снесу голову Симеона с чужих плеч.

— Ты безумный,— сказал один из вельмож Романа,— мраморной шеи не перерубишь!

— Если не снесу эту мраморную голову и она не сгорит на огне, раскладывайте костер, сожгите меня,— отвечал неизвестный.

— Исполните его желание! — сказал Роман и, поворотив коня, медленно поехал ко дворцу.

— Вот тебе острый меч,— сказал один из телохранителей царских.

— Не сдержишь сло́ва, сожжем! — крикнула толпа.

— Раскладывай огонь! — сказал неизвестный и, взяв меч из рук воина, вскочил сперва на мраморное подножие статуи, потом на круп коня, схватился за шишак всадника, взмахнул мечом, и голова Симеона отделилась от туловища Беллерофона.

— Видели? — вскричал неизвестный, показывая голову изумленному народу.

Соскочив с коня и с подножия, он бросил голову на пылавший костер. Ее обхватило пламенем, огонь затрещал, искры посыпались водометом.

Испуганный народ разметался во все стороны.

— Видели? — раздалось снова в толпе, обданной густым дымом.

Дым пронесло ветром.

— Где же он? — спрашивали с ужасом все друг у друга, смотря то на истлевший костер, то на обезглавленного Беллерофона, то озираясь кругом и не видя нигде чудного человека.

Это событие, исторически верное, излечило народ от панического страху при одном имени Симеона; и если бы Симеон перешагнул уже городские стены, то все спокойно были бы уверены, что Царьград непобедим. Но страннее всего было то, что Симеон умер в тот день и час, в который превратившемуся в его образ Беллерофону снесли голову.

По смерти Симеона вступил на болгарский престол сын его Петр. При нем Болгарию стали одолевать беды. Турки, хорваты и сербы, узнав о смерти грозного Симеона, поднялись на нее войною; тучи саранчи с еврейскими таинственными *писаньями* на крыльях носились над полями и опустошали нивы. Брат Петра, Иоанн, по тайным внушениям, стал питать зависть и строить ковы; Петр постриг его

в монахи, заключив в темницу; но он бежал. В монашествующем Михаиле, третьем сыне Симеона, загорелась также жажда к власти, и он, сбросив рясу, явился в голове недовольных.

Во всех этих бедах комис Георгий, с старшим своим сыном Самуилом, так искусно умели проявить себя в глазах Петра и народа хранителями царства, что без них, судя по громкой молве, погибнуть бы Болгарии. Страшные неурожаи вынудили Петра обратиться к помощи Греции и искать дружественных отношений. Отправленный послом клеврет комиса Георгия Сурсувула, уроженец Херсониса, Георгий калокир, из собственной филархии, вопреки выгодам друга своего, подал благой совет василевсу Роману запустить, как говорится, лапу в Болгарию посредством родства с Петром. Роман для такого благого дела не пожалел внуки своей Марии, дочери кесаря Христофора. Калокир возвратился в Преслав с патрицием Никитой, торжественно объявил об успехе своего посольства и тайно возмутил душу Петру неописанной красотою кесаревны, сообщив ему образ ее как живой, писанный на *дске* и облеченный в наряд царственный, шитый золотом и осыпанный драгоценными камнями. Очарованный Петр принял предложение василевса приехать в Царьград, тогда как комис Георгий готовил для него невест на выбор. От комиса скрыто было намерение короля, и потому он не противился поездке его в Царьград. Сочетание Петра и Марии совершено было в присутствии всего сигклита в церкви «Святой Богородицы при кладязе», и Роман повелел устроить славное и пребогатое угощение. Комис был поражен как громом, узнав об этом событии. Влияние его на Петра кончилось с прибытием Марии в Преслав.

От Марии Петр имел двух сыновей: Бориса и Романа — и дочь Райну, мирским именем Бериславу. Марией держался мир Болгарии с Грецией. Сыновья ее воспитывались в Царьграде при дворце отца, и все отношения были дружественны и выгоды обоюдны. Но едва умерла Мария, влияние хитрого комиса на ум Петра возникло с новою силою. Комис приобретал всеми средствами общую любовь; это был коварный народоласкатель; потворствуя страстям, он уловил всех вельмож и бояр, которые имели голос и вес. Все доброе шло от него, все злое от Петра; вся гроза от короля, вся милость от комиса. По образцу эллинской и римской премудрости, его окружали «люди шопотники, на языке службу носящии». Старшему и любимому своему сыну Самуилу передал он власть военачальника; прочие

его сыновья: Давыд, Моисей и Аарон — творили волю отца в областях.

Боясь присутствия при короле взросших уже и образованных сыновей его Бориса и Романа, комис умел устроить так, что при вступлении на престол константинопольский Никифора они остались заложниками условий возобновленного мира. Едва мир был утвержден, как он уже изыскивал средства нарушить его. По условию, болгары обязаны были не пропускать торков, или угров паннонийских, через Дунай и свои земли, делать набеги на греческие области; но угры свободно проходили на разбой. Никифор напоминал об условиях; наконец стал грозить:

— Вот, краль Петр,— сказал комис,— до чего мы дожили! нам велят стоять на страже по границам греческим; да беречь их!

— Кто велит? — спросил горделиво Петр, которого самолюбие легко затрогивалось.

— Кир Никифор велит; что ж делать, придется выгнать весь народ на Дунай, на сторóжу, чтоб не пробралась где шайка угров да не прошла в Грецию и не ограбила какую-нибудь деревню: за всякую собаку, которая перебежит через нашу землю и укусит грека, мы обязаны отвечать киру Никифору...

— Я? Буду ему отвечать? — вскричал Петр.

— Будешь, если обязался.

— Старик Георгий, на голову твою выпал снег и, верно, кровь остыла в жилах!

— Нет, не остыла; если б моя воля, давно бы очистил я Загорье от греков, не стал бы с ними ни родниться, ни брататься; знаю я их: дождь по капле падает, да хуже моря топит.

— В первый раз говоришь ты мне такие речи,— сказал Петр.

— Нрав твой склонен к миру, и воля твоя клонилась к миру; а воле твоей королевской противиться я не мог.

— Союз с греками служил нам в пользу.

— Да, угладили они нам путь к гибели. По воле своей ты сроднился с кесарями; по воле покойной королевы дети твои в Царьграде...

— Так что ж? — перервал сердито Петр.

— Ничего еще, они жили у родных; при Романе им было хорошо; а при правителе стратиоте Никифоре и наследникам Романовым стало плохо. Да не о том дело: стратиот Никифор теперь муж Феофании, вдовствующей

василиссы, правит царством и требует от нас покорности воле своей...

— Этого никогда не будет! — вскричал Петр.

— Вижу теперь сына Симеонова: на угрозы отвечает грозою! — сказал хитрый комис и, пользуясь необдуманным гневом Петра, немедленно отправил посла греческого с отказом наотрез: «Болгария не область греческая, стережет свои границы, а чужих стеречь не будет».

— Эти варвары глупы, не знают собственных выгод, с ними дружбы не сведешь,— сказал Никифор известному уже нам калокиру, который по соглашению с комисом служил при дворе цареградском, употреблялся при сношениях с Болгарией и двоил душу как слуга императора и друг комиса.

— О, деспотос,— сказал он Никифору,— вместе с ответом Петра на твои требования пришли и ко мне вести из Болгарии: недобрые вести. Благо мое в твоих руках, и я не изменю пользам твоим.

— Говори мне эти вести,— сказал Никифор.

— Я истинно знаю,— продолжал калокир,— что король Петр заключил дружбу с уварами наннонийскими и с сербами, чтоб внезапно напасть на Грецию. Думаю, что это делается по чьему-нибудь внушению...

— Ты смутил душу мою,— сказал Никифор, задумавшись.— Подозрения твои справедливы, у меня есть враги... Ну, пусть перейдет Петр горы, я выйду к нему навстречу; а вместо знамен сариссофоры понесут перед моими полками на копьях Бориса и Романа! Пусть посмотрит он, как хламиды их будут развеваться в воздухе!

— О, деспотос! — сказал калокир, усмехаясь.— Этого-то и добивается дядя короля Петра и мой друг. Кому же наследовать престол, как не ему или не его сыну, когда королевский род прекратится.

— Для меня все демоны равны; а во всяком случае надо покуда оградить границы от болгар не хартиями, а оружием. Теперь все силы мои в Азии, нанять некого, фаранги служат у пап да в войске императора Западного.

— А руссы? с руссами предстоит тебе союз славный. Дозволь мне ехать в Русь, отвезти дары к великому жупану Киовии и вызвать его воевать Булгарию.

— Сан патриция, если исполнишь это удачно и мне по́ сердцу; земли в Херсонисе Таврическом во владение.

Калокир поцеловал полу порфиры Никифора и вскоре отправился в Русь.

А между тем в Преславе комис строил новые ковы.

Старший сын его, Самуил, страстно был влюблен в королевну Райну. Он как будто угадал желание отца своего, который давно обдумывал этот союз, как надежное звено для своих замыслов.

После смерти королевы Марии по его избранию приставлена была к Райне в мамы старая Туллá. Посредством ее думал он действовать на душу королевны и поджечь юное сердце, в котором не загоралась еще заря любви.

Когда комис назначил приступить решительнее к делу, Туллá, как морская черепаха, поднялась на задние лапы, вытулила из костей сухощавую голову, вытаращила глаза и, вооружась костылем, стала ухаживать за Райной, обаять ее всеми таинственными наговорами любви и распалять воображение девушки, чтоб заманить ее голубиную душу в сети и сдать с рук на руки Самуилу. Она ворожила и гадала ей про суженого, описывала Самуила с головы до ног.

— Черновлас, велеок, полнома очима, чернома зеницама, взнесенома бровма, луконос, смагл, надрумян, телом на четверти, коротоший, посмедающь усом, доброрек, борз и храбр... Вот каков твой суженый, королевна.

— Какой нелепый, точно как Самуил,— отвечала со смехом Райна.

— Дитя, дитя! что выходит на долю твою, то сбудется; смотри, если не сбудется, от предреченья не уйдешь. Теперь кажется тебе, что не нравится, а как само сердце загадает, душа запросит любви, и будет тебе сниться все он да он.

— Кто он?

— Суженый, что вышел на долю твою.

— Луконосый армянин? — произнесла Райна с презрением.

Старуха видела, что без чар не обойдешься. Велось некогда доброе поверье: «будет у тебя голубиное сердце, будешь любим всеми». Заветный смысл этого поверья исчез посреди невежества и обмана; потому что легче было вынуть сердце из голубя и велеть носить его за пазухой, нежели научить, что, уподобляясь нежностью и добротою души белому голубю, можно приобрести взаимную любовь. И вот умному поверью дали толк безумный, на зло истине и на гибель белым голубям.

Туллá добыла голубя и голубку, вынула из них сердца, нашептала что-то над ними, высушила в печи, зашила в ладонку и велела Самуилу надеть на себя.

Доверчиво исполнил он наставления старухи; для него

было все равно, чем бы ни приобрести согласие Райны отвечать на его любовь: взаимным ли сочувствием любви или соблазном и чарами старух.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Посереди общего расстройства дел дух короля Петра также был расстроен.

По смерти королевы Марии он сложил все заботы на комиса, который издавна приучил его тяготиться ими и любить только блеск и свои преимущества. Торжественность празднований, охота, травля и ловля были главными его занятиями, а все остальное время — негой отдохновения. Ничто не доходило до слуха его иначе как через уста комиса. Однажды что-то разбудило его; он очнулся и видит перед собой старца, совершенное подобие отца своего.

— Петр, Петр,— произнесло видение,— вверился ты в комиса, погубит он и тебя, и детей твоих, и царство твое; пришел я предупредить тебя...

Петр вскрикнул от ужасу.

Видение скрылось. Наяву было это или во сне; но он не мог уже сомкнуть глаз до утра и встал мрачен и задумчив. Воспитанный в суеверии дядькой и кормильцем своим, он верил в предвещания: явление и слова отца совершенно возмутили его душу; комис вдруг стал ему страшен, и он думал, как бы удалить его от себя.

Петр никогда не любил комиса; но уважение к воспитателю своему и убеждение в его верности и преданности, привычка зависеть от его советов сделали комиса правой рукой Петра, которую страшно было отнять от плеча.

Когда комис вошел, Петр содрогнулся.

— Ты что-то не в добром духе, король,— сказал он ему.

— Да, задумался о детях... они живут при Никифоре как заложники мира, а мы нарушаем мир.

— Не бойся, король, мы их выручим из рук Никифора,— отвечал комис,— он не смеет ничего сделать королевским твоим детям, или мы снесем весь Царьград в море!

— Послушай, Георгий...— произнес Петр нерешительно.

— Что повелишь, государь?

— Проси у меня милости... я готов для тебя все сделать... вознаградить твою верную службу.

— Государь, отец твой и ты осыпали меня своими милостями,— отвечал комис,— какой же милости остается

мне желать?.. Я возвеличен уже до родства с царской кровью, ношу имя твоего дяди, хотя покойная королева, мать твоя, и не была родной мне сестрою, но если воля твоя...

— Проси, проси! — сказал Петр.

— Как к родному лежало мое сердце к тебе... и если оно чувствовало, что предстоит мне высокая почесть...

— Какая же? — спросил Петр, скрывая гнев и догадку свою.— Говори, я воздам тебе почесть...

— Дозволь мне умолчать теперь, король,— сказал комис, целуя руку Петра,— милости твои неизглаголанны, и если ты изречешь и эту милость, то старость моя не перенесет счастья...

— Догадываюсь я,— сказал Петр с притворным спокойствием,— да знаешь ли ты, Георгий, сердце моей дочери?

— О, если дозволишь сказать тебе истину: знаю,— отвечал комис, радостно целуя руку Петра,— с малолетства отличила она сына моего Самуила милостями своими.

— И я знаю сердце своей дочери и говорю за нее, что за моего раба она не пойдет замуж,— произнес горделиво Петр.

Комис побледнел.

— Скажи же свату,— продолжал Петр грозно, указывая на дверь,— чтоб он съезжал со двора!.. Когда я возвращусь, чтоб его ноги здесь не было!..

Глаза комиса запылали зверским мщением; он вышел; а взволнованный Петр, казалось, сам испугался гнева своего и последствий и немедленно поехал в Малый Преслав, где был красный дворец королевский и зверинец.

Прошел день, другой, король Петр не возвращается. Райну, привыкшую видеть отца ежедневно, начинает беспокоить его отсутствие. Вдруг на третий день рано утром раздался соборный звон.

— Неда, Неда! — вскричала Райна к подруге своей.— Слышишь? Что это значит? Звон набатный!

— Ах, не сбор ли на войну против греков! — отвечала Неда.

— Что ты это говоришь, Неда! братья в Цареграде.

— Так слышала я, королевна, давеча побоялась я спросить при Тулле́, зачем это вооружается дружина королевская и строится на дворе.

— Это недаром,— проговорила печально Райна,— а отца нет!.. Не дядя ли Ио́кица сделал опять набег?

— Королевна, Ио́кица, говорят, давно умер.

— Умер! все говорят, что умер; а комис Георгий говорит, что не умер, что его и мертвого надо бояться.

— Против шайки *тати* и *гусаров* будут ли собор собирать?

— Что ж это такое, Неда? — спросила опять Райна.

— Ой, война, война, кровавая постеля! — проговорила печально Неда.

— Ой, Неда, Неда,

Не хладный камень —
Сердце опало! —

проговорила Райна со вздохом слова одной песни.

— Чу, по всем монастырям звонят... точно как плачевный звон по покойной королеве.

— Ой, Неда, Неда,

Не из-под камня
Бьет ключ горючий! —

продолжала Райна; и на очах ее копились слезы.

— Ни отца, ни братьев со мной! и головы приклонить не к кому!.. Майя моя! были мне радости, покуда ты была жива, а умерла, горький мне плач и огненные слезы!

— Чу, бубны и трубы! Шум какой! — вскричала Неда.

— Пойдем на вышку, призови Туллу́! да узнай, не приехал ли король!

Неда выбежала; а Райна боязливо смотрела в окно, из которого видны были сквозь деревья только скалы над монастырем и виноградники маторские.

Красота юной Райны уже славилась в народе. «Добросанна, добра и благородна королевна наша,— говорили все, кто видел ее,— красен и чуден ее образ, ясны очи, черны зеницы, румяный лик приосенен долгою владью; нет ей двойнички на белом свете!»

— Да, верно, недобрая весть пришла! — кричала Тулла́, входя в горницу королевны.

— Какая же весть? скажи, Тулла́! О боже, пронеси мимо нас печали!.. Что ж ты молчишь, Тулла́?

— Не знаю, не знаю сама, что такое! — отвечала старуха.— Да чему ж худому быть? Ведь над нами бог.

— Отчего ж измерла душа моя!.. Пойдемте на вышку.

И Райна, схватив старуху за руку, повлекла ее за собой. Они прошли сени и переходы, вышли на стену и потом взобрались на башню летнего дворца королевского, возвышавшегося на одном из холмов посереди саду.

С вышки открылся весь Преслав. Он лежал в ущелье хребта, отделявшегося от Гема; с юга и севера его ограждали скалистые крутизны, а со стороны восточной каменная стена, за которою взор блуждал по цветущей, роскошной природе, по горам, одетым лесом, по скатам, устланным бархатными цветными коврами лугов, по мрачным ущельям, по холмам и скалам.

Вышеград, или главный королевский двор, венчал зубчатой оградой холм, над ручьем, извивающимся от «святаго кладезя» в горах, с западной стороны города. На луговой стороне были палаты митрополичьи, при соборном храме святого Георгия; вокруг стен гостиный двор с лавками греков и армян. Домы жителей были разбросаны по скатам между виноградниками и по холмам посереди фруктовых садов.

Соборный храм святого Георгия был одинакового зодчества со всеми храмами, которые мы привыкли называть храмами греческой архитектуры, но которые свойственнее называть зодчеством восточной церкви; оно существовало в Галии еще при Меровингах. Это было четвероугольное здание с мрачными сводами на четырех столпах, с главой и кровлей, крытой медными и вызолоченными листами. Внутренние стены покрыты были священной живописью, мозаикой, позолотой и резьбой; перед алтарем иконостас. Вокруг храма крытая паперть, украшенная также рядами изображений святых Старого и Нового завета, ликами патриархов, пророков и великомучеников. С восточной стороны паперти была крытая площадка, выдающаяся на площадь; здесь у стен было место королевское, и отсюда повещали народу решения собора.

Весна только что водворилась посереди очаровательной природы, которая, как щедрая, богатая мать, устилала детскую колыбель шелковыми узорчатыми тканями и дышала так благотворно, убирая вязями цветов майское дерево к наступающему семейному празднику. На яблонях, черешнях и абрикосах распустились опалы; капли росы то искрились, как алмаз, то, подернувшись инеем, осыпáли листья мелким перловым бисером. Тут все богатство было живое, вся роскошь одушевленная, весь блеск неискусственный; тут была не безобразная пустыня, куда изгнанник и отшельник от бытия райского сносили камни и металлы с кладбищ природы и посереди труда, уныния души и вечного недостатка в жизни становились живыми мертвецами.

— Неда, Неда,— вскричала Райна с смущенным чув-

ством, когда перед ней открылся весь Преслав,— посмотри, народ стекается со всех сторон, звон по всем монастырям!.. Дружина выступает со двора на площадь!..

— Да, да,— сказала Тулла́, всматриваясь,— это комитопул Самуил ведет ее.

— Ах, Неда, Неда, мне что-то страшно! — проговорила Райна.

— Чего же нам страшиться! — сказала Тулла́ очень спокойно.— Под защитой сына комиса Георгия нам нечего страшиться, королевна: дерзый, храбрый юнак, сам стрелец!.. Посмотри-ка, ду́шица моя, кажется, это под ним выступает гордо конь?.. Да под кем же и гордиться коню, как не под ним... Посмотри-ка, ведь это он солнцем блестит: шитая златом *гунь* сверх брони, шлем, кованный из злата, челенка серебряная, меч в руке... Что, он?

— Ах, не говори мне об нем, Тулла́! — сердито отвечала Райна.

— Не говори! я не тебе и говорю... я сама себе говорю, что краше и храбрее его нет во всем царстве... Я старуха, да любуюсь, глядя на него... а девице не диво и заглядеться.

— Тулла́!..— вскричала невольно Райна.

— Господица ты, да еще не госпожа моя, что так изволишь окликать! — произнесла старуха, озлобясь.— Не в послушницы к тебе я приставлена!

— Оставь меня! — сказала Райна, отходя от старухи.

— Не знаю, кого слушать, тебя ли, кралицу незрелую, или короля, родителя твоего; он приказал мне тебя, его и слушаю; родной матери нет, так какая есть!..

— Раба! Король, отец мой, не дал тебе материнской власти надо мною!

— Напрасно величаешь меня болгарыней, я не болгарыня, не подвластная! я все-таки не ослушаюсь приказа королевского. Да, впрочем, бог его знает, где теперь король; комису поручил он власть и двор свой,— пойду к нему, скажу, что ты изволишь изгонять меня!.. Не ждать же суда королевского... дождешься его или нет!

— Горькая армянка! — вскричала Райна, взглянув с ужасом на озлобленную старуху.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кому неизвестен русский великий князь Святослав, отец того Владимира, которому волжские болгары бохмичи предлагали семьдесят гурий на том свете, с тем чтоб на этом

свете «свинины не ясти, вина не пити», и который отвечал им: «Руси есть веселие пити, не может без того быти!»

Святослав был последний представитель быта владетельного рода руссов — поколения древних земных богов.

Воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца, Святослав шел по стопам великих предков-воителей, жил на коне, спал на седле, не под шатром, а по́д богом, острая сабля по́д боком; «тако ж и прочии вои его бяху вси».

Ус его был злат, как у Перуна, борода бритая — для воина, которому вечно должно быть молоду, борода бы изменила. Так велось исстари и в царстве индейском, где также раджи не носили бороды́ и свято исполняли закон, которым воспрещено было каждому *раджану*, воину, употреблять против неприятеля бесчестное оружие, как, например, палку, заключающую в себе остроконечный клинок, зубчатые стрелы, стрелы, напитанные ядом, и стрелы огнеметные. Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбью, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца.

Таков был и Святослав, «тако ж и прочии вои его бяху вси». Терпеть не могли немецкого оружия, клинков, а любили полосы. Сызмала Святослав рос богатырем, сызмала не любил просто ходить, а любил ездить, хоть на палочке, да верхом скакал он по палатам и за малейшую несправедливость объявлял войну и сражался то с мамой, то с няней, то с кормильцем своим Свенальдом.

Будучи еще *детском*, лет десяти, он подал знак к сражению, как говорит летопись, и *«суну копьем на Деревляны»*. Хоть копье недалеко улетело: «лете сквозь уши коневи и удари в ногу коневи; бе бо детск». Но князь почал, а дружина кончила дело победой. В 964 году Ольга передала державу сыну своему. Это был год его возмужания. По обычаю, бояре, старшины всех областей и народ собрались на вече. Дружина Святославова, во всеоружии, окружила посад. Старый жрец совершил богам молитву и возгласил, что следовало по обряду. Как водится, море народа, безмолвно внимавшее словам вещуна, вдруг заколебалось, загрохотало во здравие великому князю. Четыре могучих воина выступили вперед из рядов, взяли большой щит княжеский. Святослав воссел на щит, воины подняли его на плеча и понесли вокруг посада, сопровождаемые вельможами двора, при шумных кликах народа и ударов дружины мечами в кованые щиты. Совершив три раза круг, Святослава взнесли на посад, препоясали мечом, облекли

в багряницу и в весь «чин великокняжеский». Потом он извлек меч из ножен, а все боярство и дружина его сложили щиты, обнаженные мечи, обручи и все оружие на землю. Потом изрек он со всем боярством своим и дружиною верную клятву, клялся оружием и Перуном ходить по вере и закону, хранить любовь правую ко всем «иже суть под рукою его, светлого князя, необлазно и непреложно, покуда солнце сияет и весь мир стоит, и быть щитом и оградою русским людям, и, да сохраним, *аз и иже со мною и подо мною, да имеем клятву от бога, и в него же веруем, да будем золоти яко золото, и своим оружием да изсечени будем»*.

По окончании обета поднесли Святославу заздравную чашу *браги*, певцы загремели здравие, он поклонился на все четыре стороны, выпил и, хваля и славя бога, сел «на столе дедни и отни».

Только что наступила весна. Святослав начал собирать рать. Полки словен, чуди, кривичей, мери, древлян, радимичей, полян, север, хорват, дулебов и тиверцев под общим именем Руси сошлись на берегах Днепра. С ними решил Святослав положить конец хазарскому владычеству. Прежде всего покорил он вятичей, подвластных хазарам. Их старейшины — *тиуны* и жрецы — *веданы* встречали по берегам Оки и Волги победителей с хлебом и солью. Святослав принимал от них дары и клятвы в кирметах, а хазарам, правителям и обладателям их, говорил: «Вы до́сыта пили и яли, а ныне идите уже прочь!» — и велел им идти к своему кагану, чтоб выставлял на всех градах хазарских знамя войны — *«бо хощю на вы ити»*. На другое лето Святослав сдержал свое слово. По летописям восточным, в 358 году Эгиры, то есть в 968 году, пришел он по Волге на пятистах судах, покорил города болгар, Хазеран, Итиль и Семендер, изгнал отвсюду и хазар — правителей и их ученых — халдеев, и с этого времени об хазарах ни слуху ни духу.

Святослав, как «войник», не мог пробыть без ратного дела, особенно в то время года, когда благие духи, а за ними вслед священная египетская птица аист, и птицы певчие тысячегласные, и ласточки благовестные, и скворанцы прилетают из райских стран погостить в скифские земли, одушевить собою красное лето посереди пустынь, оживить человека и научить его петь песни.

Возвращаясь из походов к началу руйной осени и сотворив требу богам с людьми своими и пир на весь мир, Святослав, как легкий пард, *тружаяся ловы деять,* и таким образом время его проходило на зною и на зиме, на войне

и на ловле, ночь и день, не ведая покоя, не блюдя живота, не щадя головы.

Рано женила Ольга прекрасного и воинственного сына своего, желая смирить в нем «дерзый» нрав. От своей княгини имел он двух сыновей, Ярополка и Олега, но когда порасцвело сердце Святослава, он полюбил хорошенькую Милянку, ключницу и ларечницу Ольги. Она была дочь боярина Малоша, из Любеча, что на Днепре, близ Чернигова. Брат ее Добрень, или Добрыня Малкович, рос вместе с Святославом и был им любим за силу и удальство. От Ольги не скрылось, что сын ее преступает заповеди, в гневе своем сослала она Миляну в село Будотино на покаянье.

Святослав не любил своей княгини, Святослав полюбил Миляну так, из дружбы к ее брату; Святослав не знал страсти, он знал еще только любовь к удальству, и его душа порывалась на бой. Испеченная на углях *конина* или *верина* посреди ратного поля нравились ему более лакомого обеда, который готовил Торчин, старейшина поваров княжеских. Ему люб был только отдых на поле побед, когда, *стоя на костях неприятельских под черным знаменем,* по совершении тризны по убитым, прилегал он на седло и смотрел, как воины его радостно делили богатую добычу, коней и оружие неприятельское.

После рушения хазарской власти Святослав собрал снова великую рать, чтоб идти за Волгу, но послы от заволжских племен явились с покорностию, и Святослав не знал, где искать ему врагов: со всех сторон приходили к нему с дарами и предложениями дружбы и мира. С запада от германского императора, с юга от греческого василевса; с севером он был в родстве и в ладу.

Что было делать воинственной душе Святослава посреди всеобщего мира? Святослав не любил пировать и столовать, как впоследствии пировал сын его, по обычаям заморским. Его столы были не браные, яства не сахарные, питья не медвяные. Не любил он и сидеть на золотом стуле, на рытом бархате, на червчатой камке, суды рассуживать, ряды разряживать, грозно костылем махать. Не было у него ни себе, ни людям неги и роскоши, жило все по старине и обычаю. Ни сам он, ни бояре теремов высоких не строили, красных девиц не неволили. Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает.

Вокруг него нет невольников, все охотники; нет жен зазорных ни в Предславине, ни в Вышгороде, ни в Белгороде, ни в Берестовом. Не метали при нем старцы и бояре

жеребья на отроков и девиц, чтобы резать их в жертву богам, не оскверняласъ еще *кровми земля русская и холм той,* где стоял двор теремный, да не стоял еще идол. Все эти заморские обычаи выведены были сыном его из заморья.

Что было делать Святославу: в мире мир наступил; а разбоем идти на чужие земли он не хотел, по обычаю моряков северных, и охота ему надоела. Он уже думал распустить собранную рать.

В это-то время, на счастье или на беду его, прибыл в Киев посол от греческого кира Никифора, известный уже нам Георгий калокир.

Подъезжая к городу и увидя шатры великой рати по берегам Днепра и людей на Днепре, посол спросил, что это значит, кого воевать собирается русский князь? «А идем воевать греков, брать с них золото да менять старые полотняные паруса на поволочитые!» — отвечали ему.

Калокир, поверив, торопился предстать перед великого князя, умилостивить и уластить его дарами. Когда доложили Святославу о прибытии греческого посла, он велел, по обычаю, созвать старцев градских, бояр и *нарочитых людей.* Калокир явился посреди сонма со всем запасом даров, низко поклонился трижды князю, положил перед ним *злато и паволоки* и приветствовал от имени Никифора как от данника, приславшего оклады на грады русские, на Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любеч и на все прочие грады, где сидят великие князи, подвластные Святославу. Объявил, что царь Никифор здравия желает брату своему, великому князю русскому, и что для дружной Руси все врата Греции отперты, и, ежели приедет Русь с куплею, да покупает сколько душе угодно паволок, и не запретит царь словом своим всем приходящим из Руси, и дает брашно, и якори, и ужи, и парусы сколько потребно; а гости получат месячину на полгода, и хлебы, и вины, и мясо, и рыбу и различные овощи.

Потом поднес он Святославу драгоценный меч и просил да обнажит его на непокорных и насилующих Грецию болгар, да покорит их королевство, и держит его во власти своей, и, храня дружбу с царем, да поделит с ним дани.

Лицо Святослава просияло, милостиво велел он идти послу в посольскую избу, ждать решения, и сказал старцам и боярам своим:

— Царь греческий шлет ко мне посла своего и дары многие. Не любы мне паволоки, золотники, и серебряники, и каменье драгое, и хламиды багряные, и вины, и овощи многоразличные, а люб мне этот меч.

— Добро и честь великая тебе, княже,— отвечали старцы и бояре,— повелишь угостить послов и гостей всяким брашном и медом — угостим; повелишь отдарить скорою, воском и челядью — отдарим. С греками любо нам мир держать, от них нам дары, злато, серебро и паволоки.

— Болгары, данники греков, крамолы ведут на Царьград,— продолжал Святослав,— насильникам уграм путь кажут через горы. Царь греческий зовет нас воевать землю болгарскую и держать во власти своей.

— О, богата земля болгарская, княже,— сказал сторожевой воевода дружины великокняжеской Претич.— В годину войны с греками был я там с отцом твоим светлым князем Игорем. Там земля садом, цветом и дубравами украшена, горами опоясана. Велики в той земле горы под облаками, так велики, что солнце катится по вершинам. Хороши и города. В Загорье железняк, там родится железо, и куют там мечи и сабли с золотой насечкой и копья и стрелы калят. А скаты гор усеяны розовым цветом, из него же чинят благовонный елей. Багр и синету красят там на диво. А свежая овощь, красная всякая ягода — вертоград земной!.. В дубнице кони верховые. В то время греки дары вынесли нам, а болгары дани не хотели давать, и послал меня отец твой, княже, с наемными печенегами воевать землю. Тут-то собрали мы добычу оружьем богатым, борзыми конями, шелковыми уздечками с бахромой да с золотыми бляхами. А печенеги — волки в стаде! Придет в дом — напьется, насытит утробу, а потом требует с хозяина платы за то, что ломал зубы свои об его хлеб.

— И поделом ходящим в нечистотах! Та же Бохмитова вражья сила! — сказал великий жрец.

— Нет, отец, они кресту поклоняются, и народ добрый, храбрый, говорят людским языком, не то что наши наймицы варяги. Увидишь сам, господине мой, княже, там тебе бы краситься и славиться.

— Дело решенное! — сказал Святослав.— Отпустить посла с честью и дарами. Рать готова, корабли снаряжены, пусть скажет царю, что иду.

— Так богу угодно,— сказал жрец великий,— да возвеличится в тебе, княже, сила сильных и слава славных!

Калокир был отпущен по слову князя; а вскоре Святослав, оставив воеводу Претича охранять Киев, прощался с матерью и с детьми, садился на свой великокняжеский корабль с шелковыми снастями, с парусами паволочитыми. У корабля великокняжеского, как у птицы, вместо очей были яхонты, вместо бровей черные соболи, вместо клюва

два ножа булатные, крылья паволочитые, чертог муравленый, на чертоге беседа слоновий клык, подернута рытым бархатом.

Стали уже поднимать якори, как вдруг прискакали от печенежского князя Куря гонцы. На лихих конях примчались они к берегу, соскочили, сбросили епанчи и предстали перед князем в шелковых с закидными рукавами бешметах, перепоясанных кушаками, в желтых четвероугольных шапках с бобровыми околышами и с красными кистями; в сапогах с высокими каблуками; за плечами лук и колчаны; за поясом ножи. Без особых приветствий сказали они, что приехали от своего князя Куря; а узнав Куря, что белый царь поднимается на войну и сам идет с своей ордой служить по найму у белого царя.

— Скажите своему князю, что у меня много своего войска, наемного мне не нужно,— отвечал Святослав.

— Не ладно! — сказал один, тряхнув головой и взглянув на прочих.— Даром мы вымеряли поле!

— Найми, белый царь, эй, найми! — сказал другой.— Мы лишними не будем, а чужого добра и с тебя и с нас станет. Мы на десятую долю пойдем.

— Не нужно,— отвечали им.

— Воля ваша, а мы все-таки пойдем следом за вами, крохи подбирать, а случай будет, может, и понадобимся.

— Не велит светлый князь,— отвечали им.

— Что ж не велит, ведь мы не с вами будем делиться, а с черной птицей! уж запретите и ей летать за собой! — отвечали они сердито.

— Хоть в проводники возьмите сотню,— сказал один, мигнув своим товарищам и прибавив тихо по-сво́ему: — Пусть возьмут сотню, в сотне будет место и целой орде.

— Не нужно,— отвечали им.

— Не нужно так не нужно, мы не навязываемся, пожалеете после,— отвечали печенеги, накидывая епанчи и садясь на коней.

За великокняжеским крытым кораблем выгребали из пристани насады попарно, при звуках рогов и песен.

Старая княгиня Ольга провожала сына со слезами. Ей было более осьмидесяти лет. Народ стоял толпами по берегу и по горам. «Дай вам, боже, путь-дорогу и доброе здравье!» — раздавалось повсюду.

Воины совершили молитву, поцеловали родную землю, обняли родных и милых и вступили в насады.

Как дружная стая лебедей, потянулись насады вниз по Днепру. Запасные ладьи в середине, с хлебом и солью, с живой птицей и с клетками вестовых голубей. Кони пошли берегом. Громко заливалась обычная песня:

То не ясен сокол вылетал из гнезда,
То не белый орел вон выпархивал:
Выезжал князь великий из Киева,
Светлый князь Святослав из престольного.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На площади Преславской, между королевским двором и владычним, стекался народ толпами; кнези сельские с *кметами* и *момцами* мчались к раду преславскому, желая скорее узнать причину соборного звону. Игуменство из ближайших монастырей и старейшины из своих пригородков ехали также верхами к собору, сопровождаемые служками и приспешниками.

Посереди говора, шуму и побрякивания оружием раздавались взаимные вопросы и догадки о причине сбору. Но причина известна была только великому комису да одному старцу гусляру, который ходил между народом по площади и, водя смычком по гусле, напевал печально:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Не стало орла, не стало Петра;
А Орловичи-Петровичи у грачей в полону!

Кто вслушается в слово гусляра, идет за ним, что он за песню такую напевает? Гусляр не останавливается, а толпа за ним, больше и больше.

— Что ты поешь, гусляр? — спрашивают его, а он, как глухой, продолжает песню, не обращая ни на кого внимания:

Ой, горе, горе, великая тужба!
Чем ту тужбу сбыть,
Куда схоронить!

В это время из королевского двора выехал великий комис, а за ним дружина королевская, под предводительством сына его, Самуила, во всем наряде, в золотом панцире на полукафтанье зеленом с золотыми источниками; сверх всего малиновый бархатный плащ, на голове шлем нарядный. Серый конь его в яблоках, согнул шею крутым

кольцом и кланялся, побрякивая бранной уздечкой с кистями и подвесками.

Ой, филин, филин, ночная птица!

Запел гусляр, идя вслед за поездом комиса.

Комис вступил в собор; Самуил с дружиной стал у крыльца, народ тесно обступил ограды собора, а темные слухи о смерти Петра переносились уже из уст в уста.

— Слышите, король умер!

— Как умер? Где умер?

А гусляр напевал:

Ой, подскочил к нему льстивый враг,
Поразил в широкие перси тяжкий млат!
Зашумел, застонал жалобой темный лес:
«Ой, вышиб он ему душу-душеньку,
Вылетала она чрез гортань, вылетала
Из гортани, красными устами отходила!
Ой, хлынула волной его теплая кровь;
За подружкой-душкой струею течет!»
Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд,
На белое тело сели, кричат:
«Ой, погубил орла хитрый, льстивый враг
Не хоронит никто орла-короля,
Похороним его в утробе своей!»

— Ой, убили короля Петра! — громко пронеслось по народу.

— Кто мутит? — вскричал комитопул, подскакав к толпе. Дружина двинулась за ним в толпу.

— Кто мутит? подавайте его! — крикнул снова Самуил грозным голосом, но бледный и смущенный.

Народ, отступая от коней, смолк, озирается кругом, ищет гусляра; а гусляра нет нигде.

Мгновенная тишина изумления была прервана выходом владыки, комиса, бояр и старейшин на крыльцо. Общее внимание обратилось на них; но в это самое время послышался шум трубы с сторожевой башни, и на вершине ее захлопал красный стяг. Воины, бояре и народ содрогнулись от неожиданной вести, и посереди всеобщего онемения гонец от русского князя Святослава явился перед собором с красным значком на копье.

— От русского великого и светлого князя Святослава! — сказал он, подъезжая к крыльцу.

— С какой вестию? — спросил дрожащим голосом комис.

— Русский князь велел сказать королю царства Бол-

гарского, его боярам и всем людям его, что идет он полком на вас, стройтесь противу!

Ой, горе, горе, тужба великая,
Не стало орла, короля Петра,
Не стало людей в царстве его! —

раздалось в толпе.

— Что скажешь ты еще от своего русского князя? — спросил смущенный и бледный комис.

— Ничего,— отвечал гонец.

— Так скажи своему князю,— продолжал комис,— что за двадцать шесть лет храбрые болгары лозою изгнали из своей земли насильников русь и печенегов: то же будет и теперь.

— Гой, любо! — вскричал народ.— Лозой изгоним!

Лицо комиса просветлело.

— Одарите и угостите гонца, пусть едет сытый! — сказал он.

— Государским жалованьем всего у меня много, ничем не скуден, сыт и своим хлебом, чужого не нужно, а готовьтесь угощать гостей нашего края с дружиной! — отвечал гонец горделиво. Конь его взнесся на дыбы, перекинулся, и народ отхлынул от лихого всадника, который, гарцуя по площади, наконец скрылся за городской стеной.

— Братья! — возгласил комис к народу.— Честный собор, преосвященный владыко и все духовные строители церковные, князи и властители царства Болгарского! В плачевны ризы облечься бы нам по блаженном светлом короле Петре, погибшем от руки брата своего Иована, изгнанного из царства за смуты... да злое время злую игру сыграло; не в плачевные ризы облечемся, а в ратные. След бы нам в Византию идти да звать на престол королевича Бориса, да он в залоге и в неволе у греческого царя; греческий царь не равного себе хочет на престоле болгарском, а слугу себе, данника безмолвного... Честный собор, король Петр заложил детей, да не заложил воли нашей!..

— Воли своей никому не дадим! — произнес один боярин.

— Не дадим, не дадим! — повторила толпа.

— Выбирайте же правителя себе и военачальника, покуда бог дела устроит,— произнес комис, поклонясь владыке и окинув смиренным взором всех.

— Избранного богом да изберем,— произнес владыко.

— Да здравствует король Георгий! — крикнули приверженцы комиса.

Владыко побледнел, его слова́ не поняли и воспользовались ими.

В войске и в народе повторилось имя комиса; но это был не громовой голос всего народа, вызванный любовью и желанием общим: это был голос подобострастия некоторых и привычка носить оковы комиса.

Посреди необдуманного возглашения раздавались и порывистые крики:

— Короля Бориса! пойдем за ним с огнем и мечом на греков.

— Благодарю владыку, боляр и всех людей,— произнес комис, возвыся голос,— кланяюсь за честь великую, возданную мне за службу царю и царству, но этой чести не принимаю я...

Все умолкли, притворное великодушие комиса поразило всех.

— Не принимаю,— повторил он,— теперь ущитим Болгарию от врагов, свободим нашу Загорию от греков!

Комис знал дух народа; несколькими словами он увлек его и вызвал общее довольствие и согласие громкими восклицаниями. Никто не почувствовал, как накинул он на всех свои бразды и направил волю честного собора на путь своих желаний.

— Соединимся же миром и любовью, будем готовиться на брань с Русью и Греками. Идите, вооружайтесь, братья! станем за себя!

Народ громогласно повторил: «Станем за себя!» — и, повинуясь властному голосу, стал расходиться; но тихо, как будто шел в неволю.

Ой, дали Филину над собою волю,
Заведет вас Филин в темну ночь! —

пел явившийся снова гусляр. Приостановятся, прислушаются к песне: что поет гусляр? — а на душе грустно, что-то не так.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Между тем сердце Райны предчувствовало ожидавшее горе. Оскудела в ней душа, взалкала крепости и не обретала; слезы катились потоком, тушили зарю. Нет ей утешения от любящих; гонит от нее старая Тулла́ подруг ее Неду и Ве́лику и сама утешает ее ласками холодными, словами бездушными.

Вдруг пожаловал в ее горницу нежданный гость, комис.

— О чем она плачет? ты сказала ей? — спросил он по-армянски Туллу́.

— Нет, нет, и не думала,— отвечала Тулла́.

Райна вздрогнула, увидя комиса: в первый раз посторонний осмелился войти к ней.

— Кто дозволил тебе вход в мои горницы, комис? — спросила она, вспыхнув.

— Отец твой, королевна,— отвечал комис тихо.

— Король, отец мой? где ж он сам? — проговорила беспокойно Райна.

— О чем плакала ты, королевна? — продолжал комис, не отвечая на вопрос Райны.— Недобрый сон видела или какие-нибудь предчувствия?

— О боже мой!.. Что ты на меня так смотришь? — вскричала Райна с каким-то невольным ужасом, взглянув на комиса, который устремил на нее черный глаз, возмущающий душу.

— Участие, королевна,— продолжал комис,— горе искупается слезами...

Взор Райны блуждал; она, казалось, искала выхода, чтоб бежать от этих страшных глаз и речей, не предвещающих добра.

— Я и сам плачу! — прибавил комис, отирая сухие глаза свои, и не продолжал более.

Как кровожадный во́рон смотрел он Райне в глаза и каркал про беду. Все чувства ее онемели.

— Тулла́,— произнес он шепотом, удаляясь,— успокой королевну!

Старуха призвала на помощь себе Неду и Ве́лику и повторила им приказание комиса. Обе они сами плакали, стараясь привести Райну в чувство. Когда Райна вздохнула, они торопливо отерли слезы свои.

Райна стала приходить в себя, взглянула на них; сначала в этом взоре проявилась живость, на устах улыбка; но вдруг Райна схватилась за голову и, как будто припомнив что-то, содрогнулась и побледнела.

— Неда,— произнесла она,— приходил комис... говорил что-то... я ничего не помню... голова кружится... призовите его.

— Призову,— отвечала Тулла́, бросив строгий взор на Неду и Ве́лику.

Неда и Ве́лика стояли подле Райны молча и с трудом воздерживались от слез.

— Что вы такие скучные? — спросила Райна.— Неда, и у тебя как будто заплаканы глаза!

Неда припала к плечу королевны и, целуя его, чтоб скрыть выступившие на глаза слезы, отвечала:

— Ничего, королевна.

— Неда, мне никто еще не сказал, для чего был собор в отсутствии отца моего?.. Да где же он сам?..

— Говорят, что Русь идет на нас войною,— отвечала Неда.

— Да где ж король? — спросила она опять сквозь слезы.— Верно, какое-нибудь несчастье! От меня скрывают, да говори же, Неда!

— Что ж говорить, королевна,— отвечала Неда,— я не знаю...

— Комиса нет в городе, комис куда-то уехал,— сказала Тулла́, входя в горницу.

— Уехал! не навстречу ли королю? пойдемте на вышку, отец мой должен же возвратиться, я хочу встретить его... он еще будет далеко, а я буду уже радоваться его возвращению...

Сопровождаемая мамой и своими подругами, Райна взошла в башню, села на скамью и безмолвно смотрела вдаль. Едва что-нибудь покажется на дороге, обоз или верховые, она вскрикнет: «Неда, это, кажется, король!» — и с нетерпением ждет приближения. Но все мечты ожидания разрушаются.

— Нет, не он! — говорит она со вздохом и шлет узнать, не возвратился ли комис.

Несколько дней прошли для Райны в тоскливых и тщетных ожиданиях. Она истомилась, изнемогла; на третий день Тулла́ сказала, что идет комис.

Райна бросилась к дверям.

— Где король? — спросила она и с новым трепетом и отвращением отступила от комиса.

— Он приказал...— произнес комис медленно и остановился...— Сядем, королевна... Он приказал сказать тебе, чтоб ты порадовала его душу и исполнила волю его...

— Какую волю? Говори скорее!

— Святую волю короля и отца,— произнес комис протяжно, как будто наслаждаясь истязанием чувств Райны.

— Какую же волю?

— Конечную его волю!

Райна вскрикнула; Тулла́ подскочила к ней и поддержала ей голову, опавшую как цветок на сломленном стебле. Глаза без слез, уста без рыданий; но каждая жилка трепета-

ла в Райне. А комис с притворным чувством горести томил ее рассказами о смерти его.

— Несчастное событие! — говорил он.— Король, возвращаясь из зверинца, заболел и не мог продолжать пути, прислал за мной; я нашел его при последнем издыхании... В это-то время напал на нас злодей Иован... Бог спас меня как будто для того, чтоб передать тебе конечную волю отца.

Безмолвная на все бездушные утешения старухи, Райна, казалось, наконец вслушалась в них; сбросила с головы драгоценную повязку, сорвала кованой золотой пояс, сдернула с плеч саян, тканный из пурпура и золота, бросила кольца и поручни и залилась горькими слезами.

— Где комис?.. Говори мне последнюю волю отца, я ее исполню и умру,— произнесла она.

— Успокойся сперва, королевна,— отвечал комис.

— Теперь, теперь же, говори! я хочу знать!

— Мой король поручил мне заменить тебе отца,— начал комис.

— Заменить отца? так же, как она заменяет мне мать,— сказала Райна, показывая на старуху.

— Отеческими попечениями о тебе я заслужу твою дочернюю любовь.

— Не трудись же: я принадлежу теперь одному богу, он мой отец; а обитель моя у гроба матери.

— Нет, королевна,— сказал комис,— последняя воля твоего родителя изрекла союз твой с сыном моим Самуилом.

— Этого не будет! — вскричала Райна дрожащим голосом.

— Передаю тебе слова отца, его волю.

— Веди меня на могилу отца, я умолю его: «Родитель мой, отец мой! не отдавай меня людям, отдай богу!» Он смилуется.

— Кто знает, где могила его! — сказал комис.

— Не возмути неповиновением души родительской,— сказала Тулла́,— будет она носиться над могилой и изнывать в жалобах на тебя, и изноет, и не свидеться тебе с отцом и матерью на том свете!

Райна зарыдала. Комис посмотрел на нее с улыбкою довольствия, потрепал старую Туллу́ по плечу и вышел.

— Ох, королевна, королевна,— начала Тулла́, когда истощились слезы Райны,— сердилась ты на меня; а не я ли правду тебе говорила: не избежать того, что сулила судьба! Видела я сама, что сердце твое не знает еще иной любви, кроме дочерней, да не навек родители. Бог указал

любить после них суженого, а уж кто суженый, как не тот, кого указала воля родительская, а воля родительская идет от божьей воли.

— Я не противлюсь родительской воле,— отвечала Райна,— а исполню ли ее — бог ведает! душа моя не лежит к Самуилу. Божьей ли и родительской воле насиловать душу мою!.. Она не обвенчается с Самуилом, в храме вылетит из тела: пусть берет он за себя бездушный труп!

— Кто ж будет изневоливать тебя, королевна! А сказать правду, и меня отдали замуж не по́ сердцу... плакала я, плакала, а после самой слюбилось.

Тулла́ торопилась утешить, уластить Райну, в которой от избытка горя измирали все чувства; именем отца требовали, чтоб она, не отлагая времени, принесла себя на жертву.

— Дайте мне время хоть выплакать слезы мои на могиле матери, помолиться за упокой души родителей! — отвечала она на все утешения и слова Туллы́. Ей дозволили выход к заутрене в храм монастырский, где погребена была королева Мария. Туда сопровождали ее Тулла́ и Неда. В плачевной одежде стояла она заутреню на коленях перед гробом матери. Здесь только обильно текли ее слезы и облегчали душу.

Никого из прихожан не было в первый день во время мольбы ее в церкви. Но на другое утро пробрался туда один блаженный — бледный, с длинными волосами, распадающимися на плечи, в черной кошулье, препоясанной веревкою тоболец пастырский за плечами и с костылем в руках.

Уважение к этому роду людей было в старину так велико, что им никто не осмеливался затворить двери храма.

Припав на колена и сотворив молитву, старец посмотрел на Райну и отер слезу; посмотрел на ее мамку Туллу́ и нахмурился. Потом подошел к Неде, встал за нею и начал молиться почти вслух:

— Господи, владыко, Царь небесный! Грешник молит тебя, не остави его посещением своим, да исхитить присущую агницу из челюстей волчьих!

Неда, стоявшая задумчиво и не заметившая появления блаженного, с испугом оглянулась.

— Молись, девушка, молись, не оглядывайся,— продолжал он.— Знаю я, о чем ты молишься: ты любишь королевну, и я ее люблю — бог нам в помощь!.. Господи, владыко, Царь небесный, да будут разум мой и рука моя

орудиями благости твоей! Молись, девушка, молись, не оглядывайся!.. Есть в палатах царских слуги царские, печалующиеся о царе и роде его. Господи, помоги их печалованию! Есть между ними избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним, девушка, перемолви... Помолимся господу сил, да кто правосудства и премудрого промысла дело добре смысля мнит — будет, убо, будет восстание; правдив бог, и терпящим его мздодатец будет!..

Неда вслушивалась в слова блаженного, и он казался ей явлением свыше. Возвратясь с Райной во двор, она пересказала ей чудо и все, что слышала. Слова блаженного проливали в душу сирой Райны какое-то утешение и надежды; но она задумалась и сказала:

— Тебе это чудилось!

— Нет, не чудилось! — отвечала Неда.— Я как теперь слышу: между царскими слугами есть избранный, аки Петр, ключарь царствия небесного... Перемолви с ним. Эти слова намекают на Обреня; я еще больше уверилась, когда он встретился нам на крыльце.

— Обрень, добрый старик, любил родителя, да чем он поможет мне? — отвечала Райна.

— А бог ведает,— сказала Неда.— Покуда нет Туллы́, я выйду на крыльцо.

Неда выбежала в сени и увидела, что ключарь Обрень сидит под навесом крыльца на лавке, задумавшись. Боязливо вышла Неда на крыльцо и поклонилась ему.

— Здравствуй, Неда,— сказал он,— что́ скажешь доброго?

— Какие тучи ходят по небу,— проговорила Неда, не зная, что сказать.

— Тучи мимо идут, как и печали наши... Что́ королевна?.. ты, думаю, знаешь, что в палатах царских есть верные слуги царские, которые печалуются о царе и роде его?..

Боязнь Неды исчезла.

— Обрень, Обрень,— сказала она,— наша королевна теперь сирота! Она умрет! ее принуждают идти замуж за сына комиса!..

— Принуждают! — произнес старик гневно.

— Комис говорит, что это конечная воля короля; она не воспротивится воле отцовской и умрет!

— Злодеи! Ложь и обман! — проговорил Обрень.— Бог только слышал конечную волю короля; не убийцам, посланным от комиса, говорил он ее.

Неда содрогнулась.

— Да, Неда! но королевна после все узнает; а теперь одно ей спасение: бежать из этого царского двора, обратившегося в вертеп разбойников и предателей! Пусть королевна молится богу и положится на верных рабов божиих и царских. Ступай, покуда чье-нибудь коварное ухо не подслушало, чей-нибудь предательский глаз не проник в нашу думу.

Обрень отошел от Неды, Неда побежала в горницу королевны.

— О, верю, верю! Они, злодеи, они убийцы отца моего! — вскричала Райна, выслушав рассказ Неды.— Боже, боже, что ж я теперь буду делать?

— Одно спасение, сказал мне Обрень: бежать, королевна, бежим от злодеев!

— Нет, я не бегу! пусть убьют меня! — произнесла Райна решительно. В каком-то исступлении чувств лицо ее разгорелось, дыхание было тяжко, но светлый взор устремила она на кивот образов и пала перед ними на колени.

— Королевна! — проговорила Неда.

— Оставь, Неда,— сказала она,— я хочу молиться.

Неда смотрела на одушевившееся лицо Райны, и ей стало страшно.

В это время послышался стук клюки, Неда выбежала в другой покой, чтоб скрыть от старухи расстроенные свои чувства.

— Не отмолишься! — прошептала Тулла́, входя.

Райна встала.

— Опять поплакала?

— Нет, что-то веселее на душе,— отвечала Райна.

— Ну и слава богу,— проговорила старуха, посматривая с недоверчивостью,— не век плакать, что пользы изнурять себя слезами, на то ли дана нам молодость?

— Да,— отвечала Райна,— я на все решилась, что будет, то будет!

— Вот видишь, бог послал и решимость: на родительскую волю всегда достанет доброй воли.

Тулла́ не знала, как нарадоваться перемене, которая произошла в Райне. Она считала это успехом своих чарующих речей и убеждений и даже влиянием голубиного сердца.

«Простенькая! — подумала она.— И не тебя бы мы переделали по-своему!»

Пользуясь добрым духом Райны, она заговорила было о свидании с женихом, но Райна резко отвечала:

— Нет! в плачевной одежде он меня не увидит.

— На такой час и принарядиться в светлые одежды не грех,— лукаво заметила Тулла́.

— Нет! — отвечала Райна.— До вечера я черница.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Днепр лелеет насады Святослава; плывут они рядами, как лебеди, стая за стаей, с крутыми шеями, с распахнутыми крыльями. Гребцы в лад, под звонкие песни, вспенивают воду. На каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у бо́рта. Кони идут берегом, под знаменами своих городов, щиты за левым плечом, копья у правого, колчаны и стрелы за спиной. Тут же идет и охота великокняжеская, ловчие с сворами гончих и борзых, сокольники с челегами и соколами.

Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские. Мирно прошел Святослав между ними, выплыл на простор Русского моря. Мирно и Русское море лелеяло его корабли, близко уже был Дунай. Ветер попутный вздувал паруса, гребцы сложили весла, и насады, управляемые только кормчими, плавно шли в виду берегов. Сторожевая стая кораблей вступила уже в священное устье Дуная. Засмотревшись на отдаленные выси гор Болгарских и на холмы, покрытые яркою зеленью, никто не заметил, как завязалась на склоне ясного неба громовая туча невидимым узелком и вдруг накатилась клубом, разрослась в черную ночь, разразилась над кораблями Святослава, разметала их, часть прибила к берегу, посадила на мель, другую умчала в открытое море. Между тем сторожевой отряд кораблей прошел уже гирло, стал переправлять с левого берега Дуная на правый передовую конницу; под бурею кончил он свое дело и расположился на берегу Дуная, под горою, в ожидании главных сил. Не заботясь о предосторожностях, все думали только о том, чтоб надежнее укрыться от ливня и грозы.

Огнемир, воевода сторожевого отряда, благодарил богов, что они послали середи белого дня мрак ночи, который способствовал ему без битвы переправить конницу через Дунай и стать твердой ногой на земле неприятельской.

Но болгары были уже готовы к встрече руси; они видели переправу сторожевого отряда и выжидали удобной минуты, чтобы напасть на него внезапно.

Во время самого развала бури накрыли они его всеми

своими силами. Кто успел взяться за меч, кого не обхватила целая толпа, тот защищался и пал со славой. Все прочие и даже сам воевода были перевязаны и приведены перед главаря рати болгарской, Самуила-комитопула. Само счастье, казалось, служило ему; но он, узнав, что корабли русские разбиты бурей, не воспользовался бедой их; довольный первым успехом, он возвратился в Преслав и был торжественно встречен как спаситель царства от нашествия руссов.

— Гай! гай! поднимай на щит! — раздавалось в толпах народа, бегущего с возгласом радости за комитопулом, пленными и добычей.

— Гай! гай! — повторилось снова, и Самуила, как царя, возводимого на царство, подняли на щите и понесли к собору.

Лицо комиса рдело от радости.

Народу выкатили бочки вина и меду; народ блаженствовал и убил бы того, кто осмелился бы произнести посреди его радости: «Ой, горе, горе, великая тужба».

Празднество готовилось к другому дню; во всю ночь горели по улицам зажженные смоляные бочки.

Когда Райна узнала обо всем случившемся, душа ее обмерла, решительность и какое-то насильственное спокойствие, полное воли и замысла, вдруг исчезли; она сидела безмолвно, как будто углубясь в бездну ожидавших ее несчастий; по временам вздрагивала и бесчувственно обводила все окружающее ее потухшими взорами.

Тулла́ нахвалилась, наславилась геройством Самуила. Туллу́ стал уже клонить сон; несколько раз уже напоминала она Райне, что пора на покой; но Райна качала головой и тихо произносила: «Не хочу!»

Тулла́ долго крепилась в сердцах, но наконец задремала.

Неда сидела подле королевны, бледная; с беспокойством смотрела она на старуху, и, когда голова Туллы́ отяжелела и повисла, Неда тихо вышла вон. Еще тише возвратилась она, подошла к забывшейся от утомления Райне и взяла ее за руку. Райна вздрогнула.

— Ах, это ты, Неда? — произнесла она.— А мне показалось...

И Неда чувствовала трепет ее.

— Королевна,— прошептала Неда,— нас ждут, все готово... пойдем!

— Что́ готово? — спросила Райна.

— Пойдем, королевна! — повторила шепотом Неда.

— Куда? — спросила опять Райна.

— Бежим от злодеев, кони готовы, Обрень ждет...

Райна по первому движению, казалось, готова была встать и идти за Недой, но вдруг задумалась и громко произнесла:

— Нет! пусть ведут меня в храм божий!

— Что́, что́ такое? — спросила, вдруг очнувшись, Тулла́.

— Ничего,— отвечала Неда дрожащим голосом.

Мутные глаза старухи снова закрылись, и голова повисла на плечо.

Неда стала на колена перед Райной, схватила ее руки и только взорами, полными слез, умоляла ее идти за собой.

— Нет! — повторила Райна решительно.

Неда закрыла лицо руками и, заглушив в себе рыдания, вышла из покоя Райны, воротилась снова, снова стала умолять ее; но Райна, не отвечая ни слова, качала головою; а между тем ночь озарилась пробрезгом светлого дня.

— Все пропало! — проговорила Неда, взглянув в окно.

Рано на другой день явился к изнуренной Райне комис, взял ее за руку и сказал бездушно-нежным, отеческим голосом, что в день торжества великой победы, когда все царство в радости, и она должна снять плачевную одежду и облечься в светлую, венчальную.

— Я готова,— отвечала Райна. Смертная бледность покрыла ее лицо, рука ее дрожала в руке комиса, но она твердым голосом произнесла: — Я исполню волю родителя!

Ясное утро заволокло облаками, день был пасмурный, на небе копились тучи, но дождь не падал на землю. Так и юное чело Райны затмилось горем, на очах копились слезы, но ни одна слезинка не упала на грудь.

День был начат торжественным обрядом и пиром народным. К вечеру весь город осветился, собор и палаты королевские горели огнями. Между собором и палатами на площади народ уже ликовал около выставленных бочек вина.

В это время Райна облачилась в златотканые новые одежды. Подруги расплели девичью косу ее и заплели снова в две косы, прицепили к ним струи золотой канители. На грудь ее возложили луницу гривенную, вокруг шеи жемчужное ожерелье, убрали всю драгоценными серьгами, перстнями, обручами.

Райна ни слова. Неда держала уже червленицу, чтоб

накинуть ее на плеча королевны, и качала головою с горестным чувством, но не смела плакать. Туллá стояла с покрывалом, заключающим наряд невесты, как *Морана,* готовая накинуть верву на шею девы, которую идольники обрекали по жребью зарезать богам.

Комис отпустил сына в церковь в сопровождении братьев и вельмож, а сам отправился в освещенные королевские палаты, где должна была праздноваться свадьба королевны с его сыном.

Самуил уже в храме соборном, в блестящей одежде, в багряной мантии. Нетерпеливо ждет он невесты. Облик его некрасив, но черные глаза ярки. Владыко в облачении, собор полон боляр и вельмож. У входа королевская стража.

Вот посереди общего молчания загремел клирос. Самуил встречает невесту свою. Райна под покрывалом вступает в храм в сопровождении болярынь и подруг, приостанавливается с содроганием, колеблется, чувства ей изменяют, но взор ее обращается к небу, и она идет вперед. Хор умолк, общее молчание, глаза всех обращены на жениха и невесту. Владыко идет навстречу им. Самуил хочет взять руку Райны.

— Прочь, злодей! — вскрикивает она и, откинув покрывало, вбегает на амвон...— Боже! и вы, братья! дети отца моего! — произносит она прерывающимся голосом.— Избавьте меня и царство от его убийц!.. Нет здесь кровных моих, Бориса и Романа, которые бы отмстили хищнику власти за пролитую кровь короля, но есть здесь верные ему, и я, дочь его, сирота, перед богом и вами вызываю на суд тень отца моего и его убийц.

— Обезумела! помогите, помогите! — вскричал громогласно побледневший как смерть Самуил, бросаясь к Райне.

— Прочь, убийца! — вскричала Райна. Хотела говорить, но голос ее был беззвучен посреди восклицаний Самуила; она заколебалась и упала на руки подбежавших женщин.

Ее понесли из храма.

— Постойте, дайте я донесу ее! — раздался чей-то голос в темноте под сводом выхода на паперть, и кто-то выхватил Райну из рук Неды и болярынь, своротил в боковую дверь и исчез.

Подруги ее и Туллá торопятся протесниться сквозь толпу вслед за нею, но у входа в храм раздается народный крик:

— Идут, идут!

Толпа нахлынула к паперти навстречу выходящим,

оглашая своды восклицаниями своего восторга. Едва показался в дверях Самуил, кидая мутные вокруг себя взоры...

— Гей, гей! — крикнула толпа, и его схватили на руки и понесли к палатам королевским.

Комис ожидал молодых в трапезной перед престольною палатою, где была великолепная сто́лица королевская под парчовым шатром. Тут должны были восседать молодые и принимать поздравления.

Окруженный сановниками королевскими, комис восседал, как преобладатель царства. На нем была пурпуровая царственная мантия, недоставало только, вместо драгоценной капы, венца королевского и, вместо властного костыля, державы; но посереди королевских оруженосцев и сановников он величался как король.

Нетерпеливо ожидая конца обряда, он был мрачен, но взор его просветлел, когда послышались клики народа.

— Идут! — сказал он, вставая.

Шум близко, в сенях встречные певцы запели славленье, идут рядами, становятся у дверей трапезной. Комис готовится принять молодых в объятия. И вот с безумным криком народ несет сына его на руках.

Самуил страшен, мечет исступленные взоры, хочет вырваться, но толпа проносит его прямо в престольную палату. Тут только раздается: «Стой, братья!» — и Самуила чинно становят перед отцом на землю, снимают шапки и здравствуют.

— Где ж владыко? Где молодая? — спрашивает комис сына; а он смотрит неподвижными глазами на шатер королевский, дрожит всем телом, схватил отца за руку.

— Король! король! — раздалось по всей палате.

Комис оглянулся — на престоле сидит король Петр и подле него Райна.

Как вкопанный смотрит комис на видение, а взор уже помутился, лицо помертвело, члены онемели, но казалось, силы духа превозмогли ужас; он бросился вслед за другими вон из палаты и грянулся в трапезной, как пласт о землю.

А на улицах огни, крик, шум, песни, пляски, народ гуляет, все на́веселе. И между тем посереди говора носятся страшные слухи, что король Петр ожил и разогнал всю свадьбу. Но редко на кого действует уже страх: народ любит догулять.

— Пей, брате, допивай королевское вино!

Гей, ладо, ладо-ле!
Гей, лельо, лельо-ле!

Гудцы гудят плясовую, а плясуны припевают:

Гей, дивно игралище,
Гей, дивно певалище!

И, схватив друг друга сзади за пояса, крутят, выкидывают ногами, притопывают, порывисто и дружно выпадают вперед, дружно отскакивают.

Гей, лельо, льельо-ле!

Вдруг перед самым рассветом пронеслись по воздуху с восточной стороны огненные змейки и послышался за стенами города иной шум и гай.

Народ онемел от страху.

На стражнице вспыхнуло пламя, но уже поздно подало оно весть о предстоящей беде.

Ударил соборный колокол, но и он опоздал.

С воплями бегут жители от стен на площадь, а за ними конники на конях и сила многая Руси.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В двенадцати часах езды от Преславля, при стоке реки Малой Камы, и поныне видно еще городище *Котел* — развалины древнего болгарского города. На вершине горы, из подножия которой бьет кипучим ключом вода, есть *нырище,* вроде провала под землю. Спустившись на несколько сажень глубины, вы очутитесь под обширными сводами. В какие времена человеческая рука образовала в этом подземелье две палаты — неизвестно, но стены украшены резцом и непонятными чертами. С правой стороны от входа бьет из стены фонтан, алмазная струя его падает в бездонный провал, находящийся под ним. Это подземный ключ Малой Камы.

В описываемое нами время подземелье, казалось, было обителью благочестивого отшельника. В калугерской одежде сидел он на ковре у самого нырища, сквозь которое проникал дневной свет. Перед ним стоял низенький стол — треножник, на столе лежала развернутая книга, тут же листы белого как полотно пергамента, медная чернильница с напитанным чернилами шелком, перья, кисти и бруски красок. То призадумывался он и про себя шептал: «Ой, долго их нет!» То, перекрестясь, принимался тщательно писать или, накладывая листы на золото, выводить кистью

узоры. В передней палате заметны были все жилые удобства, но вторая, освещенная лампадой перед образом, отличалась некоторою роскошью и более похожа была на рабочую мудреца и вместе художника-ваятеля, нежели на приют отшельника. Тут на пóлках было множество книг, несколько восковых бюстов и все принадлежности церопластики, или воскования. Стены были увешаны оружием и разной одеждой.

— Ага! Идут! — сказал отшельник, послышав звук рóга, и, прибрав предметы своих занятий, принялся за хозяйство: разостлал на стол шерстяную полость, положил обернутый в полотенце хлеб, поставил на блюдах копченую рыбу и свежий сыр.

— Гей, брате, Радован! лестницу! — раздался голос из провала под фонтаном.

— Ой пора, пора! заждался я вас! думал, что и возврату вам не будет! — отвечал он, опуская доску с набивными ступенями в провал и утвердив ее в углублении, на каменный уступ.

— Не бойся, королевна, держись крепко за меня!

И с этими словами сильный, статный мужчина, по наружности средних лет, с черными, пылкими очами и с черными локонами, распавшимися по плечам из-под капы на саян болярский, выбежал по лестнице из пропасти. На руках его была Райна в венчальной своей одежде.

За ним следом вышли из провала два человека в черных хитонах и скуфьях, но под хитонами видны были мечи и буздованы.

— Здесь, светлая наша королевна Райна, ты безопасна от преследований врагов твоих,— сказал неизвестный, опуская Райну на лавку, крытую мягким ковром.

С содроганием Райна окинула взором освещенную лампадой палату.

— Скажите мне, кто вы, добрые люди или злые? Где я?

— Успокойся, Райна, нечего тебе нас страшиться, мы враги только твоих врагов, мы не тати и не мирские люди, не царствует уже грех в мертвенном теле нашем, мы отшельники от мира. Брате Радован, угощай светлую королевну, гостью нашу, чем бог послал, а мы сбросим с себя чужие перья.

Неизвестный вышел в другую палату, а старец Радован поставил подле Райны, на лавке, маленький круглый столик, накрыл белой скатертью, принес соты, молока, разных плодов, хлеба и сыру и радушно просил вкусить чего-нибудь.

Добрая наружность старца, а более лик Божьей Матери, перед которым горела лампада, успокоили Райну, но она отказалась от пищи. Ей представлялось все каким-то непостижимым сном. И невольно содрогнулась она, видя себя посереди неизвестных ей людей, бог ведает где.

— Ты меня не узнаешь теперь, Райна,— произнес знакомый уже ей голос, но вместо черноволосого, смуглого болярина явился перед ней старец в калугерской одежде.— Ты не узнаешь меня, Райна, а я тот же человек, который извлек тебя из волчьих челюстей и принес сюда на своих руках. Не удивляйся, королевна, все просто под небом, и нет чудес, кроме божиих. Неволя принудила меня быть не тем, что я есть. Все в жизни неволя, и нет воли, кроме божией.

— Ты принимаешь участие во мне, благочестивый старец, но скажи же мне, кто ты? где я?

— Ты воззвала к богу и людям, да избавят тебя и царство от злодеев и убийц. Меня послал бог в орудие избавления твоего, а кого пошлет на избавление от них царства — не знаю. Здесь, в обители моей, Всевышний положил прибежище твое, Райна, у меня, светлая моя Райна, дитя мое! и я не нарадуюсь, что мне бог помог спасти тебя, близкую сердцу моему!..

— Кто ты? — произнесла Райна, всматриваясь в черты старца, который стоял перед Райной, сложив руки и умиленно смотря на нее прослезившимися очами.

— Не всматривайся, не признать тебе меня, ты меня никогда не видала, а я тебя видел еще на руках матери твоей и любовался так же, как теперь любуюсь! Посмотри сюда, вот младенец Райна на лоне королевы Марии... Узнаешь ли ты себя?..

Старец откинул дверцы ставня, висящего на стене.

— Боже великий! Это мать моя! — вскрикнула Райна и упала перед выпуклым восковым изображением королевы, держащей на руках прекрасного младенца — дочь.

— Дитя мое, доброе дитя! — вскричал радостно старец.— Ты узнала мать свою!.. верно, похож образ ее!.. О, отрекся я от родных и кровных, хотел умереть заживо для всех и для всего, кроме молитвы и созерцания бога в природе и в душе моей, да не мог, не сладил с сердцем, Райна! Оно возмутило дух, вопило неумолкаемо: поди посмотри на сродников, счастливы ли они, не пригодится ли для них, кроме молитв о божией помощи, и твоя человеческая помощь. Добрая моя, прелестная Райна! Сердце вещун, а бог подал мне способ избавить тебя от общих наших злодеев!..

— Скажи же мне, кто ты, добрый старец! Голос твой внушает веру в слова твои, благодарить тебя за участие твое могу только слезами!

— Кто я? Райна, я дал обет утаи́ть от людей и существование свое, и имя. Зачем им знать и видеть того, кто уродился лишним на свет... для которого нет заготовленного угла на земле и места в сердце... Но от тебя, Райна, не утаю, перед тобою огонь сердца пожег облачение мое!.. Сродница моя! Племянни́ца моя! Обними Вояна, брата отца твоего!

— Вояна! — произнесла Райна с невольным содроганием.

— Вижу, испугалась ты этого имени,— сказал старец с горестным чувством,— и до тебя, верно, дошла недобрая молва, что Воян, сын Симеонов, извык в художестве волшебства, вызывает мертвых из гроба, обаяет живых волхованиями... Да! может быть, люди и правы, наука без веры родила суеверие: грешен я! Обида и во мне возрастала злом!.. И я питал месть!.. Не смею обнять тебя, чистую, непорочную сродницу мою!

И крупные слезы покатились из глаз Вояна, он не поднимал рук, чтоб принять в объятия Райну, которая бросилась к нему на шею.

— Да простит тебя бог в твоих прегрешениях, а я не судья брату отца моего,— сказала она.

— Племянни́ца моя! — произнес Воян, глубоко вздохнув.— Скажу тебе трудную повесть мою; да теперь не время: прими пищу, отдохни с миром. Покуда враги наши властвуют, покуда братья твои не воссядут на престоле отца, поживи в моем убежище, здесь ничто́ не нарушит ни скорби сердца твоего, ни молитвы к богу.

Воян вышел, задернув занавесом дверь. Говор в передней палате утих, и Райна, оставшись одна посереди тишины подземелья, погрузилась в тяжкую думу и не сводила очей с изображения матери.

— Это я! — повторяла она, заливаясь слезами и как будто завидуя счастию младенца, который, отвечая на нежный взор матери, радостно смотрел ей в глаза и, кажется, тянулся поцеловать ее.

И в памяти Райны оживало прошедшее, со всеми светлыми днями юности,— но все оживающее, все милые сердцу образы быстро проносились и как будто вызывали ее душу лететь за ними.

Она забылась, но тихий сон ее был прерван каким-то странным звуком, какими-то страшными голосами. Райна

очнулась с содроганием. А перед ней стоит Неда и в полном чувстве радости целует ее руки.

— Теперь ты будешь спокойнее, Райна,— сказал Воян,— ты здесь не одна, посереди старцев отшельников: подруга твоя, Неда, с тобою.

— О, королевна, если б ты видела, что теперь делается в Преславе! Русь обложила город и, может быть, уже взяла,— сказала Неда.

— Боже, боже, умилосердись над нами! — произнесла Райна.

— Чему бог помог, то сделано, а чему быть впереди — бог поможет,— сказал Воян.— Покуда прощай, Райна, я еду в Преслав, там совершаются судьбы господни.

— Королевна, это тот блаженный, которого я видела в храме! — сказала Неда, когда вышел Воян.

— Неда, это мой дядя, Воян,— отвечала Райна.

И она рассказала удивленной Неде, как он спас ее.

— О, если б ты знала, королевна, в каком ужасе была я, когда прибежала домой: нет тебя нигде! Ах, думаю, унес волк-комитопул агницу мою, королевну!.. вдруг слышу голос его, я и спряталась в сенях. «Где ж она?» — кричал он. «Не знаю, не знаю!» — отвечала Тулла́. Тут только услышала я, как она застонала, а бешеный Самуил бросился вон. Слава богу, думала я, по крайней мере, королевна не в руках у этого злодея, и побежала к Обреню, и ожила. Он обрадовал меня вестью о твоем спасении и тотчас же отправил меня к тебе, королевна. Мне одно счастье: быть с тобой.

Райна обняла Неду.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Святослав каким-то чудом явился нежданно под стенами столицы болгарской. Военные хитрости были известны и древним героям не менее, чем новым, а быстрота движений и внезапность составляли их отличительные свойства. Святослав же обозов с собой *не возяше, ни котла, ни мяс не варя.*

Комитопул Самуил, разбив сторожевой отряд Руси, отправился торжествовать победу в Преслав. Войско болгарское хотя и осталось на Дунае, но мало уже заботилось о неприятеле, а между тем Святослав не медлил. Узнав наутро, что стража его погибла, он вспыхнул местью и приказал старейшему своему воеводе Свенальду, не ожидая севших на мель кораблей, идти в Дунай, конницу перепра-

вить на болгарский берег и пустить малыми отрядами *по неготовым дорогам*, через горы и леса, к Преславу. Сам же, посадив на сто больших кораблей по осьмидесяти человек воинов пеших и по четыре лошади, пустился на парусах вслед за ветрами, тесной стаей и в отдалении от берегов, по пути к Царьграду. Не доезжая до приморского города Варны, во время ночи пристали корабли русские к берегу, высадили войско, и прежде нежели узнали в Преславе о появлении неприятеля со стороны моря, Святослав, путеводимый греческими проводниками, пробрался тайно к стенам столицы царства Болгарского. Он предвидел, что главные силы болгарские на Дунае, остальное войско сторожит ущелья гор на границах греческих и Преслав без защиты. Только одно мщение за нападение на сторожевой отряд и желание выручить из плену любимца своего Огнемира побудили Святослава столь неожиданно напасть на Преслав.

Калеными стрелами повестил он городу о прибытии своем. Никто не успел еще опомниться ни от упоений празднества, ни от ужасу, внушенного рассказами о событиях в храме и во дворе королевском; а Русь вступила уже в город без сопротивления и крови.

— Полагайте оружие, сносите его под знамена Святославли, и будете здравы и невредимы! — раздавался русский клич по городу.

Владыко с боярами и старейшинами городскими встретил Святослава хлебом и солью на площади и молил помиловать город. Королевская дружина сложила оружие, а за нею явились и пленные руссы, приведенные Самуилом в столицу для торжества победы.

— А король ваш где? — спросил Святослав владыку и боляр.

— Почил волею божию король Петр,— отвечал владыко.

— А воевода ваш где?

— Не ведаем! — отвечали ему.

— И он почил? Тяжко тебе, телу, без головы! — сказал Святослав.

Сопровождаемый чином и вельможами болгарскими, он вступил на королевский двор; охранная княжеская дружина рядами шла вперед и занимала все входы.

В воротах встретил Святослава ключник королевского двора Обрень.

Святослав поднялся на крыльцо, вступил в сени, в трапезную.

— О, да я помешал пиру великому! — сказал он, смотря на горящие повсюду светильники и браные столы вокруг стен.— А этот один за всех упился! — продолжал он, показав на комиса, простертого на земле.

Боляре с ужасом обступили комиса, а Святослав, сопровождаемый своими оруженосцами, продолжал идти далее к кованым золотым дверям престольной палаты. Обрень откинул червчатый занавес.

— Это что такое? — спросил Святослав.— Мертвый или живой король сидит на престоле с своей королевой?

— Это изваяние короля Петра и его дочери,— отвечал Обрень.

— Дочери? — повторил Святослав, подходя к восковым изображениям Петра и Райны во всем великолепии облачения царского.

Долго смотрел он безмолвно на лик Райны и, казалось, выжидал, чтоб она подняла на него поникшие взоры, приосененные густыми ресницами.

— О, велик художник,— сказал он наконец,— сотворивший чудный лик, которому нет подобного в творении богов!.. Дал он красоту, да не вдохнул жизни!

— Не уподобится вовеки творение земного художника творению небесного, который облек нашу светлую королевну Райну нерукотворную, неизобразимою красотою! — сказал Обрень.

— Сердце твое и хитрый ваятель сольстили образу королевны, как греческий художник сольстил образу матери моей и старость ее претворил в юность.

— Не видал ты, князь великий, королевны Райны! — отвечал Обрень с улыбкою затронутого самолюбия.— Не ведаешь красоты женской, как я не ведал величия и красоты мужа, покуда очи мои не удостоились видеть светлого твоего лица.

— Где же королевна? — спросил Святослав.— Здесь она или в Царьграде с братьями?

— Была здесь,— отвечал, смутясь, Обрень,— но теперь не знаю.

— Если была здесь, то и должна быть здесь,— сказал Святослав,— таиться ей от меня не для чего.

И он велел Огнемиру идти к королевне, кланяться ей от русского князя и просил, чтобы дозволили ему быть гостем своим.

Огнемир возвратился и сказал, что королевны нет ни в палатах, ни в городе.

— Дочь короля Петра здесь, но утаилась от меня,—

сказал Святослав болярам болгарским.— Из города выйти она не могла: вам должно быть известно ее убежище; скажите ей, что не тать и не кровавые мужи со мною, не с слабыми изведывать силы пришел я и не с женами сладости, не убогих привел исхитить ваше богатство, не голодных кормить на вашей земле, не бесприютных жить под вашим кровом. Пришел я решить вашу распрю с греками. Скажите королевне, чтоб она возвратилась к престолу отца своего.

— Бог свидетель правоты слов наших, да замкнет навеки уста наши, если изглаголем ложь! Не ведаем, где королевна,— отвечал владыко.

Боляре повторили слова его.

— Идите же и ищите свою королевну,— произнес грозно Святослав,— или дружина моя найдет ее и приведет как продажную пленницу.

Боляре вышли с поникшими головами, а Святослав, утомленный от трудов ратных, сложил с себя бранные доспехи. Добрыня как друг его был с ним неразлучен, ему поверял Святослав все свои помыслы, но теперь он желал никого не видеть, никого не слышать, не знать ничьих дум и свои таить от всех: ему хотелось быть самому с собою.

Добрыню он отправил с отрядом навстречу коннице, идущей к Преславу от Дуная.

Мрачно ходил Святослав по палатам, смотрел в окна на Преслав, на цветущую, веселую природу, его окружающую, и как будто завидовал, что не здесь провел он юность, терял время на безумном разгуле по степям, на бойне людской и, остря меч, тупил душу свою. Проникнутый какой-то скукой, смотрел он на все украшения дворца, входил и в престольную палату, смотрел в образ Райны и уходил мрачен, как будто пробуждаясь от сна, в котором чудились ему невоплощаемые призраки.

Примчался гонец с известием, что великая сила болгар идет к Преславу.

— Пусть идут и сложат головы у стен столицы моей! — отвечал Святослав.

Поиски королевны были напрасны. Убежденный, что она скрывается в Преславе, Святослав, казалось, готов был на последнее средство — срыть город до основания, чтоб найти ее, но гнев превозмог в нем все прочие чувства.

— Хотят обаять меня! — вдруг вскричал он и, схватив меч, исступленно бросился в престольную палату. Перед ним живая Райна: очаровала, вызвала на мщение за равнодушие свое, а не поднимет очей, не вздрогнет от ужасу, не

просит о пощаде. И король Петр, устремив неподвижные глаза на исступленного князя, безмолвно смотрит. А Святослав стоит как изваянный убийца над трупом своей жертвы и, кажется, думает: это что за бездыханный враг передо мною? ни дух, ни существо, а воплотилась в чужой душе и живет в ней как живая!..

Окинув взорами вокруг себя, как будто боясь присутствия живого человека, Святослав вышел из престольной палаты, потребовал коня, велел Огнемиру стеречь Преслав, а сам пустился с дружиной в чистое поле искать боя; разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю, одождил калеными стрелами и камнями города. Душа его снова удовлетворилась бы победой и славой: но победы его были так легки, что он чувствовал от них только утомление. Приказав Свенальду сосредоточить и устроить морские силы в Доростоле, он возвратился в Преслав, чтоб отсюда начать покорение нагорной части Болгарии.

— Где ж королевна ваша? — спросил он равнодушно у боляр.— Скажите же ей, что меч мой поест, а гроза спалит царство ее отца.

В тот же день донесли Святославу, что какой-то чернец-богомолец просит дозволения поклониться великому князю от неизреченно-светлого лица.

«От матери моей»,— подумал Святослав и велел допустить к себе старца.

В черном хитоне вошел седой старец и низко поклонился князю.

— Великий князь Святослав,— сказал он, окинув очами людей княжеских,— я не с злым умыслом пришел к тебе, а с добрым поклоном, с миром и любовью. И я и слово мое безопасны для тебя.

Святослав окинул взором добрую наружность старца и велел выйти людям своим.

— Князь Святослав,— продолжал старец,— я к тебе послом от нашей королевны Райны, дочери блаженной памяти короля Петра...

— Не от изваянного ли ее образа? — спросил Святослав с грозной улыбкой.

— Велела королевна кланяться тебе,— продолжал старец,— и спросить, что сделала тебе, русскому князю, Болгария? за что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знамением на стреляние? За что насытил горестию и напоил желчью? Не в меру ли было ей борьбы с державой Римской за независимость свою?

а ты, княже, во чье имя воюешь, за какие вины отверз уста и хочешь поглотить царство наше?

— Так говорит Райна, королевна болгарская? Умна ваша королевна,— сказал Святослав с усмешкой,— а который ей год от роду?

— Во цвете она первой юности, а оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! Нет у ней матери, светлого отца ее извел хищный зверь, воскормленный у престола, братьев ее Никифор держит в плену и хочет за выкуп взять нашу волю и вложить узду в челюсти наши!..

— Где ж королевна? — спросил Святослав, тронутый словами старца.

— Скрывается от врагов своих в пустынной обители,— отвечал он.

— Пусть возвратится в отчую обитель, я не враг женам.

— Не от тебя, князь великий, оставила она отеческую кровлю, не от тебя и таится, но от злодеев роду своего.

— Теперь безбоязненно может она вступить в дом родительский.

— Чужд он стал ей, она дева, и только под кров братий может возвратиться.

— Лукавое извергают уста твои! — сказал Святослав, вспыхнув снова гневом.

— Да хранит тебя бог на правом пути твоем, князь великий,— отвечал старец,— да изженет верою безверие твое! Воля твоя стать за правое дело или за лукавое: отдать наследие короля Петра сыну его старейшему или врагам нашим, грекам; владей лучше сам.

— Не алчет душа моя чужого престола, а рука не отнимет,— отвечал Святослав.— Сын Петра сядет на отчем златом столе, а Болгария какую носила дань грекам, такую и будет носить по старине, а мне дани вашей не нужно.

— Не было у нас, князь великий, такой невольной старины и постыдного обычая, не платила Болгария дани грекам и даров не носила, а принимали дани и дары от них. Все Загорье до Железняка было наше. Греки искали родства с нами, дочь кесаря Христофора была за королем Петром, да, верно, наступило последнее наше время, изнурил нас голод, прузи посевы наши истощили, а греки-грачи хотели исклевать наши тела, да еще не мертвы мы были. Знали они, что мы изгоним за море хищную стаю их, и призвали тебя, князь великий, воевать нашу землю. Потемнело наше золото, изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым,

домы к иноплеменникам, отпала красота с ланит дев, как овны без пажити, идем мы перед лицом гонящих нас!

— Старец! — сказал умиленный Святослав.— Дай мне время на думу и на веру. Правде слов твоих воздам правдою дел. Когда сын Петра приедет в Преслав, тогда предстань перед лицо королевича с поклоном от сестры его.

— И помыслы, и дела твои благи, князь великий! — отвечал старец и, радостный, вышел от него. Смиренным чернецом пробрался он за город; в лесу, за стражницею, ожидал его спутник — калугер с заводным конем. Они пустились по дороге к городищу Котлу. К вечеру приехали они к вершине Стрый-реки, своротили в гору лесом, спустились в крутой овраг, пробрались сквозь чащу, под навес скалы, и скрылись во мраке пещеры, из которой катилась и журчала по каменистому лону алмазная струя источника.

Кони, верно, знали путь под сводами подземелья, бодро шли они, углубляясь в преисподний мрак. Наконец вдали показался слабый свет, и путники выехали в настоящий котел среди гор; стенами этого котла были обрывистые скалы, осененные лесом.

Путники пробрались сквозь одно из ущелий в скале и поднялись на лужайку. Тихо заржали кони. Им отозвались товарищи под глухим навесом вековых дерев. Путники привязали своих к прочим и возвратились в ущелье. Здесь также струйка пробиралась между камнями из пещеры. Они вошли в пещеру, и вскоре под землей послышался глухой звук рога.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Теперь мы должны обратиться к Райне. Вы помните то время, когда Воян привез ее в подземелье и снова уехал в Преслав, проведать, что там делается. Подъезжая к городу, он заплакал плачем Иеремии о Сионе. От друга своего Обреня узнал он подробности о взятии города и о смерти комиса.

— О, недаром же изваял я лик Петра, чтоб убийца смотрел на него и казнился им! — сказал Воян.

Но когда Обрень рассказал ему, что князю русскому полюбился лик королевны Райны и что он велит искать ее повсюду, Воян содрогнулся за участь Райны. Он знал нравы и обычаи северных героев и разгульную их жизнь.

— Боже, боже,— вскричал он,— из одного корня воз-

растает добро и зло! Да нет, не достанется племенни́ца моя в руки насильнику и женолюбцу. Брат Обрень, едем со мною, боюсь я, он не поверит, чтоб кто-нибудь из боляр дворовых не знал, где королевна, и будет пытать.

— Что ж, друг, кто пытает, тот и убивает: свою жизнь отдам я на муки и смерть, а ничьей чужой на поругание насильникам не выдам.

— Э, брате, за что упрекнул ты меня! — сказал Воян.— Усумнился ли я в тебе, я ли не верю, что твоей благочестивой душе лучше быть у бога, чем в теле, да, может быть, пригодится она еще добрым людям, а мне дорога́, без тебя оскудеют и мои силы!

Обрень убедился чувствами дружбы Вояна и решился ехать с ним. Но из города выезд был уже воспрещен.

— Есть выход! — сказал Обрень.— Не прочны, верно, убежища и ограды людей, что они кроме торжественных ворот заготовляют на случай собачью лазейку!

Когда настал вечер, он провел Вояна в одну из башен дворовых; они спустились по лестнице в испод башни. Один из диких камней основания был устроен на оси, при небольшом усилии Обрень повернул его и открыл подземный ход. Темно уже было, когда Воян и Обрень добрались до выхода в скалистом утесе горы вне города и выбрались на дорогу к Котлу.

Райна с чувством радостным встретила Обреня, верного друга и слугу отца своего. Старик прослезился, безмолвно целуя руку королевны, и Райна прослезилась. Уста немы, а душа высказывает свои печали. В продолжение двух недель Воян боялся выйти на белый свет и никого из братий не выпускал из подземелья. Время проходило однообразно.

— Здесь, светлая моя Райна, ты мне радостней света, покуда покажет бог надежный исход из беды, здесь изноет сердце мое, если ты углубишься в думы об этом свете. Здесь, в тихой обители, есть тихое прибежище и мыслям, питай их святой пищей, чтоб не разлетелись как птенцы от души-матери своей искать пропитания на воле и не измерли от голоду и жажды.

По совету Вояна Райна внимательно слушала Святое писание, которое читал вслух Обрень, и душа ее спокоилась. Сам Воян, также слушая чтение, занимался любимым своим занятием — священной живописью.

— Райна,— сказал он однажды,— теперь горе поутихло в тебе, выслушай трудную повесть мою.

Исповедь облегчает душу от горьких воспоминаний. Райна села подле него, и он начал:

— Первая жена краля Симеона была пленница, говорят, будто мадьярка, дочь одного вельможи угорского,— наверное не знаю, а знаю только, что она была язычница и как ни любила короля, но креститься не хотела. Когда родился сын у краля Симеона — а этот сын я,— он умолял мать мою принять святое крещение; да она стояла на своем. «Знай же, что ты не венчаешься со мною на царство и сын язычницы не будет моим наследником»,— сказал Симеон в гневе своем и сдержал слово. Вскоре мать мою вместе со мною заключили в монастырь, а король женился на мнимой сестре одного греческого выходца — Георгия Сурсувула, из армян. Когда от нее родился сын Петр, твой отец, Райна, король на радости пожаловал Георгия в сан комиса... Возмущается душа моя при воспоминании всех зол, которые причинил этот честолюбец всему роду царскому и всей Болгарии! Уловив в сети свои душу короля, хитро ловил он и души людей, окружавших его, и сеял семя раздора между отцом твоим и его братьями.

До семи лет рос я при матери, в монастыре; с молоком всасывал желчь злобы ее против Симеона, с колыбели слышал одну песню: «Расти, расти, материнские слезы на злодее вымести!» Когда наступил отроческий возраст мой, меня разлучили с матерью: король указал отдать меня в науку в другой монастырь. Тут только проникло в мою душу отчаяние матери, и из ее горьких слов понял я, кто ее злодей. Она не перенесла разлуки со мною и вскоре умерла, а я жил с иноком, моим учителем, и возлюбил науку, как мать свою. Учитель мой был художеством иконописец и ваятель. Скоро перенял я его художество и превзошел учителя. У другого изучался я музыке и пению. Тут подружился я с Обренем, племянником настоятеля. Святое писание смирило бы душу мою, и сердце мое предоставило бы богу вымещать Симеону обиду матери и отвержение меня от наследия, но, на гибель души моей, в книгохранилище учителя моего была плевела посереди пшеницы, писания отреченные, книги мудрствований, отводящих от бога: *Чаровник, Коледник, Путник*, научающий ковам еретическим, и *Дванадесять звезд*, на пагубу безумным, верующим в волхования, призывающим бесов на помощь и ищущим дни рождения своего, санов получения, урока житию и различных напастей и смертей. Из этих книг почерпнул я много таинств природы, но наука, не управляемая верою в создавшего все во благое, есть демонское орудие, нож в руках злодея, сила в мышцах насильника.

Стали меня готовить к искусу на пострижение, но не

монашество лежало у меня на сердце. Я бежал и стал обаять и мутить народ недобрыми предвещаниями. Разгневанный Симеон велел поймать меня и заключить в темницу; я принужден был оставить Болгарию и удалиться в Царьград, который давно хотелось мне видеть. Можно ли было найти в целом мире лучше этого поприща для игры необузданных страстей! Вот он, царь земных городов, думал я, пробираясь сквозь толпы народа, который, казалось мне, сошелся со всех пределов мира на годичное торжество. «Что за праздник сегодня, почему открыты все ворота и храмы и народ так безумно гуляет по стогнам?» — спросил я у одного проходящего. «Э, ты, верно, новый человек здесь,— отвечал он, посмотрев на меня,— сегодня большой праздник! пойдем, пойдем в мой приход!» И, взяв за руку, он повел меня на лестницу одного великолепного здания. С трудом пробрались мы сквозь толпу входящего и выходящего народа. В обширных покоях шумно пировали гости вокруг столов. «Малец! пищи и питья!» — вскричал он, усадив меня у стола. Нам тотчас подали вина и разных вкусных блюд. Покуда я смотрел с удивлением на все окружающее меня, товарищ мой ел и хвалил вино и брашна. «Какой же праздник сегодня?» — спросил я его наконец. «Как какой? Протасиев день».— «Так что ж такое?» — «Как что, помилуй! приходский праздник! Ведь мы в приходе всех святых! Ну, с праздником! — сказал он, допивая вино и вставая с места.— Так расплатись же, господин, с хозяином, здесь уж такой обычай, все вскладку: я даю праздник, а ты деньги».

И он оставил меня расплачиваться с содержателем гостиницы.

Этому опыту достаточно было для меня, чтоб понять жизнь цареградскую, но молодость увлекла меня, я понял только, что есть условия жизни, кроме тех, к которым я привык на родине, что можно жить на счет других, что умный обман и умная подлость пользуются иногда всеми преимуществами жизни добродетельной.

Преданный страстно искусству, я не оставил его, видел все лучшие произведения искусств, скоро сам приобрел известность, но все это так слилось с развратом души, что не знаю, выкупил ли я чистоту ее сорокалетним покаянием.

Я свел знакомство с разгульной молодежью *эвномии* цареградской. Тут мог бы я видеть, как подают пример попирать законы те, которые должны освящать их своим поведением, но в пылу разгула я часто тешился вместе

с ними в промышленную игру, каким образом, законным порядком, правого обвинять, виновного оправдать.

Надо тебе сказать, что года за четыре до моего прибытия в Царьград дед твой Симеон, предав огню и мечу Македонию и Фракию, стал уже станом близ Влахерны. Патриарх и вельможи вышли с дарами просить о мире и пощаде города. Но он требовал, чтоб сам император явился к нему как к победителю и сам просил его о мире. Роман должен был покориться необходимости. Можешь судить, до какого унижения дошел новый Рим под великолепием одежд своих. Весь двор и дружина императорская в торжественном облачении сопровождали Романа в стан Симеонов, и народ смотрел с оград цареградских, как поклонялись перед варваром знамена греческие и как легионы, ударяя в золотые, серебряные и медные щиты, возглашали его царем. Не было уже людей, которые бы чувствовали и понимали это унижение. В Царьграде были промышленники, облеченные в сан вельмож, промышленники, облеченные в блестящее оружие, но не было ни истинных вельмож, ни воинов. Торговцам ли было думать о чести и славе общей, а не о собственной выгоде? Им ли было вымерять пальмой и взвешивать на весах ум и душу человеческую?

Когда узнали, что Симеон снова поднимается войной на Царьград, злоумышленники возмутили народ, распустив слухи, что таинственные надписи на подножии мраморного всадника, стоящего на площади Таврической, предвещают последние времена греческого царства и что придет великан и в прах разорит Царьград.

Эта статуя, привезенная из Антиохии, просто было изображение Беллерофона, поражающего химеру, по подобию человека, в образе зверином, поборника древнего змия. Но невежественный народ верит скорее недобрым слухам. Толпы стекались на Таврическую площадь смотреть с ужасом на статую. Напрасно явились новые толкователи и уверяли всех, что хотя по словам, начертанным на подножии, и придет какой-то великан разорять греческое царство, но по другой надписи, находящейся на копыте коня, до этого не допустит лежащий под стопами коня человек в странной одежде.

Симеон в самом деле вступил уже в Загорье и разбил сторожевое войско союзников греческих, сербов.

Народ впал в совершенное уныние.

Посереди этих смут пришел ко мне Домн Мартин, один из приятелей моих эвномитов.

«У тебя,— говорит,— есть образ болгарского короля Симеона: изваяй его в большом размере».

«Зачем?»

«Нужно, после скажу, возьми что хочешь».

Мне нужны были деньги, и я изваял в колоссальном размере лик отца моего...

«Смотри же,— сказал он, взяв от меня изваяние,— это тайна, никому ни слова, а то будет плохо».

Тут Воян остановился и вздохнул.

— Ты слышала, Райна,— продолжал он,— про событие, случившееся в Царьграде, перед смертью короля Симеона.

— Ах, слышала про это чудо! — отвечала Райна.

— Ну, слушай же дальше, как делаются такие чудеса. Когда до меня дошли слухи, что Беллерофон обратился в образ Симеона, я не понял, с какою целью это было сделано, но, прибежав на площадь и узнав, как неизвестный человек сотворил чудо, срубил мнимую мраморную голову и сжег ее на костре, я понял, в чем дело. Невольно содрогнулся я, вспомнив чары чернокнижия, каким образом извести врага своего, заочно отпев и истерзав на части изваянный из воску его лик.

Ввечеру Домн Мартин пришел ко мне, чтоб вместе идти в Ксенозохию.

«Знаешь теперь,— спросил он, улыбаясь,— какое употребление сделал я с головой Симеона?»

«Знаю,— отвечал я,— недурен отвод».

«Что ж делать: надо как-нибудь восстановлять спокойствие и дух народа. Панический страх обаял весь город, надо было чем-нибудь помогать. Посмотри теперь, все ожили: откуда взялась в войске храбрость, заходили молодцами, каждый готов вызывать Симеона на рукопашный бой! Вот что значит, любезный друг, сердце человеческое!»

Безумно гуляли мы на счет сердца человеческого, когда дошла до меня весть, что Симеон умер именно в тот день и час, когда голова его, изваянная мною из воску, растаяла на костре посереди площади Таврической... О, Райна, Райна! страшно подействовал на совесть мою этот случай. Почернело белое лицо мое, развились и побелели черные кудри мои, опали с меня листья юности моей! Я был союзником демонов, убивших отца моего!.. Совесть стала пытать душу, я бежал из Царьграда и искал уединенного приюта в темных ущельях гор моей родины. В народе носилось давнее поверье, что эта пещера челюсти смерти, и все со страхом обходили ее. Я решился войти и нашел

верный приют отшельничества от света. Издавна тут жила уже братия благочестивых втайне от людей и принимала в сожительство только тех, которых и стены монашеские не могли скрыть от гонения и злобы людской. Я упрекал тень матери, что она напела мне месть родному отцу; волею или неволею я был орудием мести и в сорок лет пустынной жизни не умолил еще бога, чтоб омыл меня от греха и убелил душу мою! Не слова, а дела выкупают душу: в молитве о себе я забыл всех ближних моих, не помыслил о том, что, может быть, совет мой нужен им во благо, а рука в защиту, что еще в силах был бы я стоять на страже у брата Петра, против сетей комиса, врага всему нашему роду. Злодейство свое сложил он на покойного брата Иована, да послал же меня бог принять истину из уст раскаявшегося грешника, исполнителя злой воли комиса.

Ввечеру, перед тем как печальный звон огласил Преславу смерть Петра, пришла мне мысль узнать, что делается там с ближними и кровными моими, и навестить Обреня. Хотелось мне и на тебя порадоваться, Райна. В царские праздники ты сама раздавала помощь бедным. Однажды я стоял на паперти храма в ряду нищих и болящих. Рука твоя, Райна, племенница моя, подала и мне милостыню... Припомнишь ли ты старца... всех ты оделила по сребренику, а ему дала два?

— О, добрый сродник мой,— отвечала Райна,— теперь понимаю я, отчего знакомы мне черты твои! Помню смирение твое, мне казалось, грешно сравнять тебя с теми, которые готовы были вместе с милостынею оторвать благотворящую руку.

Воян отер слезу и продолжал:

— Так вот, я оседлал коня, проехал Котел, вдруг слышу стон; смотрю, у самого входа в пещеру лежит человек, прислоня голову к камню; в одной руке закостенел меч, другая была отрублена, и кровь била из нее как из ключа.

«Что с тобой, брате?» — спросил я, соскочив с коня и подходя к нему.

«Кто это? человек?» — произнес он, приподняв на меня мутные свои очи.

«Человек»,— отвечал я и хотел перевязать ему руку.

«Постой! — вскрикнул он, судорожно отдернув отсеченную руку.— Люди обманули меня, сказали, что тут ход в преисподнюю... хотел я сам снести туда душу свою, да вышел опять на свет божий...»

И голос его иссяк, глаза закрылись снова.

«Кто ж тебе отсек руку, брате?» — спросил я.

«Кто?..— отвечал он с усилием.— Отсеки руку, соблазняющую тебя... говорят... а моя рука злое орудие... Я отсек ее!.. О, обманул меня проклятый оружник комиса! Не нанимался я проливать крови короля Петра...»

— О, какая страшная встреча! — произнесла Райна, и слезы брызнули из глаз ее.

— Да, Райна,— продолжал Воян,— не скрылись не только от бога, но и от людей злодеяния комиса. Я хотел спасти жизнь убийцы, чтоб уличить злодея, но он истек кровью. Я торопился в Преслав, думал объявить народу на соборе о злодеяниях комиса, но дьявол хитрее человека, по его слову народ побил бы меня камнями, и погибли бы втуне мои печали о тебе. Я молчал и сторожил только над твоею участью, предоставив все прочее на волю божию! О, если б ты видела, как я исстрадался в ту ночь, когда Неда сказала мне, что ты отказалась от бегства и решилась отдать себя в жертву комитопулу. Я стоял в храме как исступленный, и — знаешь ли что? — если б ты подала ему руку свою... Я бы убил его!.. но ты, как голубица, вырвалась из когтей ястреба, воззвала к народу, да тут не было народа: тут, кроме меня, были все рабы комиса... Голос твой отозвался только в моей груди!.. Бог помог мне воспользоваться общей суматохой и спасти тебя... Обними же теперь меня, племенни́ца моя!

Райна бросилась в объятия Вояна.

— Сделай же мне еще милость,— сказала она,— я хочу посвятить себя на службу богу.

— Постой, Райна, не обрекай себя посту и молитве. Ты едва только вступила на путь жизни, а пути божии неисповедимы. У тебя еще есть братья, и не чужда судьба твоя всему царству. Кто знает, кроме бога, не соединена ли она с судьбой Болгарии: и ты не цвет польный и не просто крин благоуханный.

Райна молчала, склонив печально голову.

— Завтра я поеду в Преслав, Райна,— сказал Воян.

— О, что там делается! — проговорила она.

— Что делается? Совершаются судьбы божии,— отвечал Воян тихо.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Поручив Райну заботам Обреня, Воян решился наконец ехать в Преслав. Тут он узнал, что рати, предводимые комитопулами, разбиты на́голову и что все города сдаются на щит грозному, но милостивому Святославу.

Воян хотел видеть Святослава лично. Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его, но и никто не жаловался на насилия и грабежи.

Полагаясь на доблесть души князя, Воян решился предстать ему от имени королевны.

Нам известен уже разговор его с ним. Воян был очарован великодушием и красотою князя. Веря обещанию, что он не лишит наследников Петра их достояния, престола, Воян возвратился в подземелье и скрыл от Райны свидание свое с русским князем. Только Обреню доверил он радостные свои надежды и поручил отправиться в Преслав и ожидать приезда Бориса из Царьграда.

По обычаю, принялся он за работу, но не за кисть, а за ваяние.

В продолжение нескольких дней сряду, неутомимо и с какою-то любовию, трудился он над изображением прекрасного, мужественного лица.

Когда черты обозначились уже явственно, Райна обратила невольное внимание на его работу.

— Чей это лик, Воян? — спросила она его.

— Увидишь, Райна,— отвечал он.

Внимательнее стала всматриваться Райна в изображение и часто, оставляя книгу, задумчиво любовалась на прекрасное произведение художника.

— Скажи мне, Воян, это образ живого человека или ты создал его по мысли своей?

— О, это живой человек,— отвечал Воян,— по мысли не создашь подобного.

— Воян, зачем ты это делаешь? — спросила Райна тихим голосом.

Воян так углублен был в работу, что не слыхал вопроса Райны.

— Друг он или враг твой? — спросила она опять.

— Враг, Райна, враг! — отвечал Воян отрывисто и невнимательно.

Райна содрогнулась: ей пришла на мысль исповедь Вояна, цареградское событие и смерть короля Симеона.

И Райна с жалостию смотрела на образ неизвестного; Райне казалось, что Воян похищает чью-то живую душу.

Вот на плечах изображенного героя явилась багряница, под багряницей броня; кисть накинула на все черты цвет жизни, в голубых очах отразился свет, уста разрумянились.

— О боже, боже, кого он изобразил! На этом лике нет вражды и коварства, на челе величие, в очах светлая душа!

И сон Райны был тревожен: изваянный лик превратился в живого человека; она трепещет за жизнь его, хочет сказать ему, чтоб он опасался Вояна и острого его резца, но тут Воян: Райна не смеет произнести слова, старается объяснить витязю знаками, что его убьют, чтоб он шел за нею, что ей известен выход из подземелья, но витязь как будто повторяет собственные ее слова: «Нет, я не бегу, пусть убьют меня!» Вот Воян уже заносит резец — Райна вздрагивает и пробуждается.

Настал день, Воян принялся за окончательную работу. Он вглядывается пристально в образ витязя, поверяет сходство с памятью.

— Воян, для чего тебе это изображение? — спрашивает Райна боязливо.

— Погоди, погоди! — прошептал Воян вместо ответа, окинув недовольным взором работу и бросив кисть, порывисто схватил резец.

— Воян! — вскричала Райна, удерживая невольным движением его руку.

— Что с тобой, Райна? — спросил удивленный Воян.

— Не убивай его! — проговорила Райна умоляющим голосом.

— Понятна мне боязнь твоя, Райна,— сказал Воян, горько улыбнувшись.— Суеверие быстро заражает людей! Знаешь ли, чей это лик, Райна? Это лик врага нашего.

— Все равно,— произнесла Райна.

— Не бойся, племенни́ца моя! Хоть это лик врага нашего, однако ж не для того изобразил я это величие и красоту, чтоб в безумном суеверии сокрушить свой труд. Нет, я хотел только сохранить в память себе и людям лик добросанного князя Святослава.

— Святослава! — произнесла с удивлением Райна.

— Может быть, из врага преобразится он в союзника и братья твои поставят этот лик в престольной палате.

— Сбудется ли это? — сказала Райна, смотря задумчиво на изваяние.— Так ли отражается в глазах его великодушие, как ты изобразил? В самом ли деле так чуден образ его?

— Чуден образ его,— отвечал Воян,— в женах нет тебе подобной, а в мужах ему равного.

По ланитам Райны пробежал огонь, на взор опустились густые черные ресницы. Она молчала, едва переводя дыха-

ние, смотрела на образ Святослава. Горячи ее думки, жарки мысли Райны.

А между тем Святослав мирится в душе с Болгарией.

Приехал к нему от греческого императора калокир поздравлять с победой, утвердить любовь между греками и Русью, положить ряд о разделе Болгарии и писать речи на хартию... Никифор назначил калокира правителем той части Болгарии, которая достанется по договору грекам.

— Ступай к царю своему,— отвечал Святослав,— скажи ему, что чужого наследия не поделю с ним. Пусть шлет с честью в Преслав сына Петрова, Бориса, и будет он нам обоим не противник, а друг и союзник.

Никифор не мог противиться требованиям Святослава. Он не имел ни сил, ни средств, ни желания ополчиться на внешнего врага: его внимание было устремлено на личного врага, которого он видел в военачальнике Цимисхии.

Победы Цимисхия в Азии над сарацинами прославлялись народом, имя его гремело в песнях и стало страшно Никифору, который припоминал, что подобная же слава и победы над сарацинами открыли и ему путь к престолу, видел охлаждение к себе народа и что-то недоброе в безмолвной покорности всех окружающих: счастие Никифора было на исходе.

В этом положении дел желание Святослава было исполнено беспрекословно: Борис с братом своим с честью был отпущен из Царьграда. Боляре и народ встретили его на краинах царства, а дружина несла на щите к Преславу, где ожидали его русский князь и все священство.

Пораженный сходством Бориса с изображением сестры его, Райны, Святослав крепко обнял его как брата и как хозяина ввел в палаты королевские.

— Теперь я твой гость, Борис,— начал он, переступая порог престольной палаты, но слова его замерли на устах. Лик королевны Райны снова сидит на пристольце. Вот он ожил и с криком: «Брат мой!» — бежит навстречу Борису и бросается в его объятия.

— Князь великий, Святослав,— кто-то говорит Святославу,— ты сдержал слово свое, и королевна сдержала свое.— Но он ничего не слышит; в первый раз в жизни он счастлив и начинает чувствовать в себе полноту жизни.

— Брат, Борис,— сказал он наконец,— пусть и сестра твоя, королевна, меня не чужим называет.

— Райна, это благодетель наш! — сказал Борис, лобзая его лобзанием сердца.— Как меня, брата твоего, люби его больше всех.

Райна взглянула на Святослава и вся сгорела. Красота ее как будто сбросила вдруг печальные одежды и явилась во всем блеске очарования.

Ни одна победа не празднуется так искренно и радостно, как подвиг великодушия.

Народ со всей Болгарии стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией.

Когда в день коронования Бориса дружина русская села за браные столы, поставленные на оболонье преславском, и грянула мечами в кованые щиты во славу короля Бориса и гостя его, великого князя русского, Святослав, одушевленный благостию мира, возгласил любимое слово своей матери: *Братья! Раскуем мечи на орала, а копья на серпы!* Не на кровавом мы поле, не на костях вражьих пируем, не тризну правим!

— Раскуем! — крикнула дружина, и все сложили с себя оружие, возгласили славу союзникам. Пир общий закипел веселием.

— Скину же и я духовное вооружение мое против радостей мира,— сказал Воян,— скину, покуда гощу у вас, и разделю с вами радости мира.

В цвете лет и мужества взор Святослава горел юношеским огнем посереди семьи королевской.

Рано хотела Ольга обуздать пылкий его нрав брачными узами, но для изневоленного сердца они казались тяжкими оковами; и сердце искало воли посереди удалых забав и мира посереди брани. Княгиня Святославова умерла, он был свободен, но душа его привыкла уже к подвигам, к кочевой военной жизни и к славе побед. Врагов Святослав любил более, нежели друзей, и боевой встрече с ними радовался более, нежели победе. Победа давала мир, а он боялся миру.

В Переславе только почувствовал он мир в самом себе и, как будто боясь, чтоб он не нарушился чем-нибудь, желал иметь верный залог этого мира.

Кто, кроме судьбы, мог бы противиться горячему его желанию?

Едва Святослав задумал о чем-то, посереди торжеств и пиров, вдруг явился к нему гонец из Руси с вестию, что великие силы печенегов грозят Киеву и что великая княгиня Ольга больна, при смерти, и молит сына принять душу

матери и похоронить тело. Вслед за гонцом явились и старейшины киевские.

— Княже,— сказали они,— вступились мы по тебе! Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался! Без щита твоего и матерь твою, и детей твоих пленили было печенеги. Или не пойдешь оборонять нас, или не жаль тебе ни отчины своей, ни близких своих не жаль!

Горьки были Святославу эти вести, горек упрек, горька и разлука с Преславом. Но он не медлил, не задумался — сел на коней с дружиною своею и скоком, летом примчался к Киеву, обнял престарелую мать и детей, собрал войско, загнал печенегов в далекие степи.

— Сын мой возлюбленный,— сказала Ольга,— теперь ты со мною, и не отпущу я тебя от одра моего до конца дней моих. Довольно уже прославился ты путями ратными и победами; теперь взыщи мира и правды, помысли о уставе земском, устрой царство твое крепкое, державное и честное. Не полагайся ни на посадников, ни на бирючей, сотвори сам наряд в дому твоем. Раскуй мечи на орала, а копья на серпы: оружием не проложишь пути к небу. Будь людям твоим в сень от зною и в покров от хлада, утешь и упокой конечные дни мои!

— Мать моя возлюбленная,— отвечал Святослав,— вкусившему сладкое, горькое не по́ сердцу. Видел я красные земли дунайские, похвалю ли русские пустыни? Не мил мне Киев, хочу жить на Дунае. Там будет среда земли моей, где сходятся вся благая. Сына Ярополка посажу я в Киеве, Олега в Древлянах, а сам иду на Дунай!

Ольга знала причины, которые влекли Святослава на Дунай. Добрыня открыл ей тайну. От Добрыни, который до того уверен был, что после смерти Ольги сестра его Милица будет великой княгиней, не скрылись думы Святослава, нарушавшие его надежды. Со вздохом глубоким сказал он Ольге: «Благоверная госпожа моя, изгубили светлого сына твоего, нашего великого князя Святослава, злые ковы и замыслы болгарские: не взяли они его силой, взяли хитростью. Размирят с греками и будут держать вместо щита против врагов своих. Шел он воевать Болгарию, а воротился поборником ее, там покинул он всю дружину свою в ограду чужого царства».

Ольга пришла в ужас, узнав, что сын ее готов нарушить мир с греками. Она хотела узнать, что обольстило Святослава в Болгарии.

— Смею ли тебе открыть, княгиня, госпожа моя, тайну сына твоего! — говорил ей Добрыня.— Распутная сестра

королевича болгарского увилась змеей около сердца Святославова, ослепила ум его и поборола силу, мастит ланиты румянцем, облекается в лепоту риз и в златые *обложения*, хитра, как плетения влас своих, злое оружие хитростей болгарских: беда нам настанет!

Ольга поверила Добрыне, а желание Святослава ехать на Дунай убедило ее в истине всего сказанного.

— Сын мой,— отвечала она на слова Святослава,— больно сердцу моему, что ты не возлюбил родины и чуждаешься дому и кровным. Скажи мне истину, какой бисер многоценный обрел ты на Дунае? Кто посеял там для тебя благо, что торопишься пожать его? К чему приковалось там сердце твое?

— В изволениях разума дам ответ,— сказал Святослав,— но в изволениях сердца неволен. Там мирен я духом.

— Нет, сын мой, есть у тебя иное на сердце, ты не смирился, но пал духом. Кто обаял тебя взором своим? Кто умастил тебя ласками своими и усвоил?

— Вышел я из детского возраста,— отвечал Святослав,— и старость не охолодила еще меня. Сам не неволю ничьей души, и моей никто не изневолит, ни силою, ни обольщением.

— Молод еще ты укорять старость холодом, время дает опыт, а ты испытал только строи да пути ратные! Послушай опыта и совета дяди: прилепись к истинному богу, он отведет тебя от наваждений дьявольских.

— Прилепился я к богу отцов моих, и воля его отвергнуть меня от себя или беречь в путях моих.

— Сын мой,— произнесла Ольга со слезами,— не сноси престола своего на Дунай! На Дунае ищут души твоей! Шел ты за греков воевать Болгарию, враги греков были враги твои, кто ж вражду твою претворил в дружбу, а приязнь в размирье?

— Обман и правда,— отвечал Святослав.

— Сын мой, сын! знаю я все! знаю, какими ветрами злодеи болгары сбили корабль с пути! Знаю, каким золотом прельстили тебя! и за какую плату наняли в свои холопы! Зачем оставил ты рать свою в Болгарии?

— Не оправдаюсь я перед тобою, мать моя,— произнес, вспыхнув, Святослав, напутствуй меня благословением я иду к полкам своим.

— О, Святослав,— произнесла Ольга,— нрав твой упорен! Бог с тобой, твори волю свою, но дай мне умереть прежде. Не оставляй меня на смертном одре, погреби меня и иди куда хочешь!

Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери. Но просил не говорить ему ни слова о Болгарии.

Мраком покрылось лицо его, и над взором, как над утренним солнцем, висели тучи, изнывала душа.

Прошла зима, настала весна; силы Ольги быстро таяли вместе с снегом, а душа ее с радостью готовилась к исходу, как дух весны из земных недр.

Только что проклюнулось яйцо нового птенца природы, и прозябшее семя выбежало на вешнее солнце, и воскресшая жизнь подала голос, в Киев прибыл посол из Царьграда и объявил, что василевс — опекун Никифор умер, державу принял Иоанн Цимисхий.

Первым условием возобновления мира Греции с Русью Цимисхий полагал вывод русских сил из Болгарии.

— По первому слову не умирюсь с царем вашим,— отвечал Святослав,— хочет он построить мир и положить ряд между Русью и Греками по старине, как было при отце моем, пусть шлет оклады на грады русские и хранит любовь ко мне и ко всем, кто под рукою моею.

Посол Цимисхия отправился обратно с посланными от Святослава, которые обязаны были, в случае размирья с греками, явиться к Свенальду, военачальнику русских полков в Болгарии, с указом сосредоточить силы в Преславе, нанять в помощь конницу угорскую и ожидать великого князя.

Вскоре прибыл посол и от Бориса с поклоном и дарами. В Болгарии было все спокойно, но по горделивой осанке послов Цимисхия Святослав предвидел грозу, которую готовит он на Болгарию.

— Мать моя! — сказал он.— Честь зовет меня на путь!

— А любовь к матери не удержит! — сказала Ольга, вздыхая.— Вижу, как душа твоя рвется к Дунаю и тоскует; я помолюсь богу, чтоб он поторопил успение мое!.. Бог с тобой!..

Ольга забылась в молитве.

— Сын мой, сын,— сказала она наконец,— преклони чело свое к устам моим! Бог с тобой, да предохранит он тебя, неомовенного крещением, от пыла души твоей. Сын мой! зачем послушал ты слов моих и не принял божий щит в ограду путей твоих!..

Тихо произнесла Ольга эти слова и закрыла глаза, смоченные слезами.

Предтекущая христианской земли, как денница перед солнцем, как заря перед светом, почила.

И плакались по ней сын ее, внуки и все люди великим плачем.

Первую христианку Руси погребли в Ольмовой церкви во имя Святого Николая, и Святослав не творил тризны или погребального пира на гробе ее.

Первые дни печали его нарушены были известием из Болгарии, что греки взяли Преслав.

Вскипело сердце Святослава. Посадив старшего сына, Ярополка, на великокняжение и назначив в удел сыну Олегу Древлянскую землю, он торопился в Болгарию. Перед самым отъездом явились мужи новгородские и просили себе князя.

— Кого пошлю вам? — спросил Святослав.

— Дай нам Володимера,— отвечали новгородцы по научению Добрыни.

— Вот он вам, юный и с вуем своим Добрынею. Добрыня будет кормильцем ему.

И отправился Володимер с Добрынею в Новгород, а Святослав к Преславу болгарскому.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Святослав предчувствовал, как необходимо присутствие его в Болгарии, но ему нельзя было оторваться с холодным чувством ни от гроба матери, ни от забот о детях, ни от попечений об устройстве земском. По смерти Ольги на него возлегли все тяготы. С нитью жизни ее разорвалось ожерелье обычного порядку. А между тем над Болгарией собирались тучи, никто не предчувствовал грозы, кроме тоскующего сердца Райны.

Воян знал причину уныния племенни́цы, часто навещал он ее, беседовал с нею о том, что занимало ее душу, и, как благотворная роса, окроплял ее сердце, из которого возрастали роскошные цветы: светлый взор, радостная улыбка и живой румянец. Райна ждала Святослава, как обреченная ему душой и сердцем, судом и рядом.

Тогда как Борис принял отчую державу с любовью народной и стал спокойно, обдуманно, без боязни крамол заботиться об устройстве земли своей, измершей от голоду и войны, на престоле цареградском, как на сердце прелестницы, возлегали попеременно искатели ее. Василиса Феофания, по смерти Романа, за малолетством наследников его, Василия и Константина, избирала на престол и ложе, в правители и опекуны людей по́ сердцу. Первый любимец

ее, с которым сочеталась она браком и облекла его в пурпур, был Никифор Фока, грубый, безобразный, но могучий и смелый воин. Духовенство и народ возненавидели его, возненавидела вскоре и Феофания. Выбор ее пал на нового силача и временщика, Иоанна Цимисхия. Этот дебелый армянин невелик был ростом, но как кованный из железа, наездник, боец и поединщик, прославившийся в боях с сарацинами. Сблизившись с ним, Феофания обрекла Никифора смерти, и, тогда как он спал, по своему боевому обычаю, в крепких оградах дворца, на раскинутой на полу медвежьей шкуре, тридцать кинжалов приковали его к полу, а злодей Цимисхий хохотал над вылетавшей душою предместника своего и вскоре избран был правителем восточной империи и опекуном малолетних детей василевса Романа.

Но Феофания ошиблась в Цимисхии. Первым его делом было обвинить ее перед народом в убийстве отца, мужа и любимца Никифора, заключить в монастырь и казнить ее сообщников.

К нему-то явился комитопул Самуил с братьями и сбродом разных людей; объявил себя воеводой сил Болгарии и просил от имени всего народа защиты против насилия Руси и поставленного ими короля Бориса.

— В этом дворце вскормила Греция Бориса,— говорил Самуил,— а он, подкупив Святослава дарами и красотой сестры, заключил с ним союз против Греции.

Войнолюбивый Цимисхий радостно принял сторону комитопулов, во-первых, потому, что они были также армяне родом, а во-вторых, величаясь титулом победителя Востока, он хотел приобрести и титло победителя Севера.

Отправив посла к Святославу с требованием вывести русские войска из Болгарии, он велел перевести победоносную свою рать из Азии в Европу и собрать новые силы в Македонии и Фракии.

Послы греческие, возвратясь из Руси с послами Святослава, нашли Цимисхия уже в Родосто, куда перевозились на кораблях азийские войска и где было назначено сборное место всем прочим.

Узнав от своих послов ответ Святослава, Цимисхий велел сказать послам его, что они отправятся вместе с ним в столицу Болгарии и там примут ответ царя греческого к русскому князю.

Назначив полководца Василия предводителем главных сил и поручив передовой отборный отряд, состоявший из наймичей, стратигу Феодору, сам Цимисхий с десятью тысячами старых сослуживцев своих двинулся быстро

в горы. Его передовую стражу составлял Самуил с несколькими стами сброда сообщников своих. Зная все тайные пути гор, они провели Цимисхия мимо застав болгарских, и он неожиданно явился из-за высот перед Преславом и напал на русский отряд, занимавшийся ратным ученьем на равнине перед городом.

Русский полководец Свенальд был в это время в Доростоле, где стояли русские корабли; в Преславе была только стража королевская и осемь тысяч руси.

Нечаянное появление неприятеля в то время, когда никто не предвидел войны, не готовился к ней и спокойно наслаждался миром, привело всех в ужас.

Не зная, кто неприятель и откуда взялся, но видя бой за городом, русские в беспорядке бросились на помощь к своим. Завязалась битва, а между тем ворота городские заперли и завалили. Окруженные со всех сторон, руссы дрались как львы в продолжение целого дня под самыми стенами: их невозможно было впустить в город без опасения, что с ними ворвется и неприятель. Десять тысяч, пришедших с Цимисхием, должны были отступить, но к вечеру в помощь Цимисхию прибыл стратиг Федор. Наступившая ночь прекратила битву, а к утру Преслав был уже обложен всеми силами греческого войска. Начался приступ. Тщетно Цимисхий требовал сдачи города. Русь и болгары стояли на стенах и осыпали стрелами и калеными камнями греков, которые под прикрытием щитов приставили лестницы и лезли на стены. Стало уже смеркаться. Усилия греков ослабели. Цимисхий потерял надежду взять Преслав, но злодей комитопул предложил употребить хитрость.

— Воспользуемся темнотой,— сказал он ему,— вели отступить от стен; я со стороны лесу поскачу с отрядом своим мимо твоих войск. Ты преследуй меня как неприятеля. В городе подумают, что пришла помощь, примут за своих, отворят мне ворота, и, когда я буду в городе, начни снова приступ. В суматохе руссы и болгары бросятся защищать стены, а я нападу на них с тылу!

Злодейский умысел понравился Цимисхию и удался. Войско Цимисхия отступило от стен. Войска преславские сложили щиты и прилегли на отдых с оружием в руках. Уже смеркалось. На вершинах стражниц городских зажглись костры, весь город и все окрестности озарились заревом. Вдруг за стенами послышался крик, гай и стук оружия. «Наши, наши идут!» — крикнули руссы, видя, что

полки греческие преследуют несущийся во весь опор отряд конницы.

— Отпирай ворота, покуда не налегли на них греки!

Ворота отперли, комитопул со всем своим отрядом проскакал в город, вслед за ним ряды войск греческих надвинулись на стены с лестницами, оглашая воздух криками и ударами в щиты.

Дружина преславская бросилась защищать стены, но слышат крики и тревогу позади себя, видят бой на прясле ограды. Сердца́ дрогнули, руки опустились.

Король Борис, окруженный семьей, священством и вельможами, едва только успокоился, отразив первый приступ греков: он уверен был, что город выдержит осаду до прибытия Свенальда из Доростола и покуда стянут войска из пограничных крепостей Болгарии.

Когда донесли, что отряд руссов, сражаясь с греками, приближается к городу, все терялись в догадках, Свенальд ли это или сам Святослав. Сердце Райны билось в нетерпеливом ожидании.

Вдруг раздались снова военные клики, стук оружия, гул труб и котлов. И в эту минуту общего онемения на двор королевский прискакал отряд всадников.

— Спасайтесь! — кричали они в один голос к страже двора.— Греки ворвались в город! Спасайтесь, братья!

Несколько из них соскочили с коней, бросились на крыльцо, вбежали в палаты королевские.

Борис и все окружающие его, пораженные исступленным криком вбежавших юнаков, онемели от ужасу; только дети Бориса вскрикнули и прижались к матери.

— Спасайтесь! Греки в городе! Кони готовы у крыльца! Ведите короля, несите королеву!

И с этими словами один из вбежавших, в кольчуге и шлеме с опущенным забралом, схватил Райну на руки и бросился вон.

— Моя теперь! узнала ты меня? узнала Самуила? — повторял он, спускаясь с крыльца.

— Коня! Брат! на твоих руках король с семьей! — крикнул злодей и вскочил с ношей своей на седло, обхватив правой рукой беспамятную Райну, взялся за узду, сдавил коня и, сопровождаемый тремя всадниками, помчался во весь опор.

Только что он исчез между зданиями, как полк македонской пехоты, преследуя болгар, вышел на площадь. Отступая к королевскому двору, они вбежали во двор, хотели

затворить ворота; но всадники Самуила бросились на них и открыли путь грекам.

— Борис, ты мой пленник! — сказал один из них королю, которого окружили уже враги его.

— Кто ты, изменник? — вскричал Борис.

— Кто я? Комитопул Аарон, если помнишь.

— Помню, черная душа! еще в детских играх наших ты был изменником! — отвечал Борис.

С королевою, с братом Романом и детьми повели его во всем королевском облачении в стан Цимисхия.

— Здравствуй, король, с королевою и с королевичами! — сказал Цимисхий, усмехаясь.— Не долго ты гостил на родине!

— Здравствуй, хищная птица на чужом гнезде! — отвечал Борис, который знал Цимисхия еще льстивым рабом у подножия Феофании.

— Поезжай же в Константинополь, там еще целы твои игрушки,— сказал Цимисхий, бросив гневный и презрительный взор на Бориса. И немедленно велел отправить Бориса с семьей и брата его Романа в Царьград.

Преслав был занят уже греками; но бой продолжался в одной части города от восхода зари утренней до *восхода звезд*. Несколько тысяч руссов, стесненные в одной из улиц, дрались отчаянно. Как косари двигались они вперед по жниву, устилая землю рядами врагов, смяли их, вытеснили на площадь, и здесь, окруженные со всех сторон, пробили они себе путь к двору королевскому, бросились в отворенные ворота, заперли их за собой, завалили и вырубили всех греков, которые расположились уже во дворе.

Им легко было бы отстоять высокие ограды за́мка; но, на беду, около стен были деревянные королевские службы. Греки стали бросать огонь, подожгли, пожар разлился по всему двору, обнял палаты, и несколько тысяч храбрых, непобедимых руссов погибли в этом адском пламени.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В тихой, отдаленной от Преслава подземной обители и в глубине души своей Воян радовался о наступившем благоденствии Болгарии. Племенники и Райна умоляли его жить с ними, но он не мог расстаться навсегда с уединением. Он привык к тишине подземной. В свете копится богатство вещественное, а в уединении душевное. И то и другое не для одного себя: есть какая-то потребность

делиться с любимыми и добрыми людьми. Каждую неделю являлся Воян в Преслав с богатыми дарами души своей. Борис ждал всегда от него мудрого совета, а Райна утешительной беседы. Несколько уже дней прошло, как он не был в Преславе, никакой недобрый слух не дошел до него. И через кого бы мог дойти? Разве вещун черный ворон сел бы над нырищом и прокричал: «Горе, горе!»

Спокойный, с благими надеждами, выехал Воян из пещеры, сопровождаемый одним из своих собратий. Выбравшись из ущелья гор на дорогу к Преславу, вдруг видит он, что навстречу им едет отряд конницы.

— Что́ за люди? — сказал товарищ Вояна.— По одежде не болгары и не руссы.

— Одежда, кажется, македонская.

— Куда, старцы? — крикнул начальник отряда по-гречески, подскакав к ним.

— В Преслав едем, храбрые воины,— отвечал Воян, удивленный встречею с греческими войсками.

— О, да какие у вас кони! слезайте-ка, поменяемся!

— Возьмите, пожалуй,— сказал Воян,— только чтоб после беды не было, кони с королевской конюшни.

— Неужели? тем лучше! Если ты из Эллинов, отец калугар, так поздравляй и молись богу! Преслав наш! Э нет, стареньки! съели зубы! — продолжал грек, осматривая коней.

— Чей наш? — спросил Воян.

— Вот хорошо, чей! Здесь сам василевс Иоанн; король болгарский со всей семьей в плену.

— О, неисповедимы дела твои, господи! — проговорил Воян, и у него невольно выступили слезы на глазах.

— Что, заплакал от радости?

— Плачу,— ответил Воян,— и не постигаю, что́ вы говорите.

— Да, отец калугар, случилось же так, что в Преславе не успела заняться заря, а мы уже взяли город! Орлами перелетели через горы и стены!

— А руссы где? — спросил Воян.

— Что нам русь — петухи, а болгары мокрые куры; да они же сами просили василевса, чтоб избавил их от насилия Руси.

— Когда сами просили?

— А как же, тайно прислали комитопулов на переговоры.

— Комитопулов! — вскрикнул Воян.

— Чему тут удивляться? Верь мне, что так.

— Не удивляюсь; если комитопулы взялись за дело, так иначе и быть не может! — отвечал Воян.— Прощайте же, боюсь опоздать к вечерни.

— Ну, прощай! а славные кони! Жаль, что стареньки!

Грек поскакал с отрядом; а Воян, склонив уныло голову, продолжал путь в Преслав. То пустится быстрой рысью; то думы так отяготят его, что конь чувствует их и шагом везет свою ношу.

Когда из-за утеса открылся город, стан греческий и легионы войска, которые тянулись по дороге к Дунаю, Воян приостановился, вздохнул глубоко и отер слезу.

— Душан,— сказал он спутнику,— посмотри, столица это Болгарского царства или могила?

— На какую беду ехать нам туда? — отвечал Душан.

— Что ты это говоришь, Душан! — произнес Воян с упреком и быстро пустил коня по дороге, извивающейся к городу, мимо греческого стана, расположенного на возвышении.

Смиренно просил он на заставах пропустить его в город, называя себя иноком метрополии преславской, из греков.

— Ступай, ступай, да не в болгарский Преслав лежит этот путь, а в греческий город Иоаннополь, слышишь, старец? — повторяли ему тщеславные покорители столицы.

— Боже небесный! что́ сталось с Райной? — произнес Воян, подъезжая к королевскому двору, еще дымившемуся после пожару.

Дом ключаря Обреня был подле двора; но все дома на площади и поблизости заняты греческими войсками. Жители стеснились в отдаленных частях города. Туда поехал Воян и по расспросам отыскал Обреня. Старик сидел на завалине одной хижины.

— Все погибло, брат Воян! — сказал он, качая головою.— Сгорело гнездо наше! Злодеи комитопулы продали нас!

— Где король? — спросил Воян.

— В плену.

— Где Райна? — спросил Воян.

— Где? — повторил Обрень и закрыл лицо руками.

— Говори, брате! Умерла?

— О, верно, умерла в руках злодея Самуила!

Белые, волнистые волосы на голове Вояна распустились, повисли куделью, лицо помертвело, но ярко вспыхнули глаза.

— Самуил? — повторил он, слушая рассказ Обреня о событии, которого он был свидетелем.— В палате королевской

Самуил? — повторил он еще грознее...— Пусть накажет меня бог вечными муками! Прощай, Обрень!

— Куда, брате?

— Куда! не оставить ли голубя в когтях ястребиных! Нет, найду я ущелья хищника!

— Ищи, брате, ищи! — повторял Обрень вслед Вояну, который вскочил на коня и помчался обратно к своему ныриду.

— Маврень! — сказал он одному из своих собратий.— Помоги горю! Коршун-комитопул похитил племенни́цу мою, унес в свое гнездо! Негде ему свить его, кроме трущобы шумской, там нанимал он свою шайку. Тебе известны все притоны: ступай, брате, разведай, за какими оградами, за сколькими замка́ми темница королевны!

— Знаю, знаю! — отвечал Маврень.— Где быть, как не в куле главаря урманской вольницы.

И Маврень вооружился с ног до головы, накинул на себя вместо черной ризы суконный красный пласт и отправился в непроходимый лес, который покрывал горы на запад за Преславом.

— Дубравец! — сказал Воян другому старцу.— Ступай, брате, к Доростолу, туда пошел Цимисхий со всеми силами. Разведай, что́ там деется, чем решится бой греков с руссами. Узнай, не прибыл ли сам Святослав из Руси.

Дубравец отправился к Доростолу смиренным иноком, собирающим подаяния. Воян провел три дня, как изнеможенный дряхлый старик, лишившийся уже всех чувств жизни. Как пробужденный от сна, вздохнул он, когда возвратился Маврень.

— Так и есть, в куле у главаря! Я приехал прямо к старому своему побратиму Годомиру. «Откуда, браца?» — «Из сербского плену ушел!» На радости выпили коновку руйного вина. «Ну, как поживаете? где главарь, где момцы гусары? Что нового?» Он и развязал кошель, высыпал все, что за душой было: главарь со всей вольницей на службе у комитопула Самуила, которого царь греческий обещал сделать королем болгарским, и отдал в залог ему королевну. «А где королевна?» — «Здесь, в куле».

С меня и довольно было этих вестей. «Прощай же, браца,— сказал я ему,— еду на войну, что́ мне здесь делать». И уехал.

— Ну, Маврень, спасибо! — сказал Воян, оживая.— Теперь на долю нам трудная работа; надо выкрасть королевну, покуда тать не возвратился в вертеп свой.

— Выкрасть? нет, Воян, из кулы не выкрадешь! Высоки

стены, крепки замки́! Там взаперти живут жены главаря; ни входа, ни выходу ни им, ни к ним. Сторожат их обрезанцы да старые ведьмы. А вокруг стен стража день и ночь. Можно бы взять теперь кулу силой, да где силы взять.

— Где взять? — повторил Воян, задумавшись.— Едем, Маврень, найдем силу!.. Эх, из Доростола нет вестей! Да все равно, нечего медлить! в Святославе русском наша помощь, другой нет, едем к нему, хоть в Русь!

На пути встретил Воян Дубравца, посланного в Доростол.

— Что́ нового? Что́ нового?

— О, битва великая идет на Дунае, Святославу бог помогает!

— Там он? — вскричал радостно Воян и, не ожидая других вестей, помчался во весь опор, как лихой, смелый юнак, гоняющийся за славой.

Между тем как быстро всходили и созревали горькие беды Болгарии от семян, насажденных коварством комиса и комитопула, между тем как народ поливал слезами опавший цвет блага своего, а Райна, измирая в печалях и ужасе, молилась о смерти, стоя на коленях перед светом божиим, проникавшим через окно под потолком в келии ее заключения,— Святослав летел на крыльях к Дунаю и прибыл в Доростол, когда над любимцем его, Огнемиром, совершалась тризна и войско пало духом.

— У кого на душе горе и отчаяние, на лице печаль и боязнь, кому смерть страшна, вон из рядов и из стана русского! — вскричал он к воинам.

— Нет нам страху с тобою! — крикнули воины, и душа встрепетнулась у всех, взоры ожили.

— Братья и дружина,— возгласил он, устроив рать к бою.— Все воротим, кроме мертвых!

И дружина русская, ударяя радостно в щиты, двинулась за ним на горы, возвышающиеся над Доростолом, где был укрепленный стан Цимисхия, облегавший город. Началась сеча. Десять тысяч руссов шли на сто тысяч греков.

— Братья и дружина! — возгласил снова Святослав к утомленным воинам,— собирайте последние силы! Не устыдим земли Русской! победим или сложим головы!

— Где твоя ляжет, там и свои сложим! — возгласили воины, прогремев мечами в щиты.

Цимисхий почувствовал присутствие Святослава; имя русского князя разнеслось по рядам греческим, и, разбитые, разметанные, сто тысяч в беспорядке отступили с поля.

Укрепленный стан достался в добычу руссам; ночь прекратила сражение. Святослав стал под черным знаменем на костях греческих, в шатре Цимисхиевом и послал сказать грекам: «Потяну на вас, до града вашего, и стану на костях ваших посереди града!»

Могучий борец Цимисхий, надеясь на свою личную силу более, нежели на войско, предложил Святославу вызов на поединок: «Кто из нас победит, тот и владеет обоими народами».

— Во чье имя и место царствует Цимисхий в Греции? — спросил Святослав посланного.

— Во имя и место малолетнего сына Романова Василия и брата его Константина,— отвечал он.

— Так пусть же он на кон не ставит чужого добра и наследия; а если ему, военачальнику царскому, наскучила жизнь, так избирай он иной любой путь к смерти.

Цимисхий был тот же человек, который наездничал в Азии перед полками и вызывал арабских витязей на бой; но, сорвав могучей рукой пурпур с плеч Никифора, ему незачем уже было тянуться; осмелиться на решительную борьбу с Святославом значило бы насиловать свое счастье и подвергать опасности приобретенную славу героя. Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну.

Цимисхий решился искусить Святослава золотом, а вместе с тем желал выведать, как велико число его дружины.

— Не сильны мы против тебя стоять, прими дары наши и скажи, сколько вас, и дадим по числу голов,— льстиво сказали греки. *«Суть бо Греци льстивы и до сего дни»* — говорит летопись.

— Злато и паволоки отрокам моим,— сказал Святослав,— а драгоценное оружие принесли вы на голову свою, если военачальник ваш не освободит короля Бориса с семьей и не пойдет с миром в град свой!

Посланные возвратились к Цимисхию с ответом Святослава и сказали:

— Грозен и лют этот муж, презирает золото, а любит острое железо!

— Так мы пойдем, вопреки его нраву, иными путями, будем договариваться о мире, покуда придут корабли мои на Дунай,— сказал Цимисхий.

И снова послы греческие явились в стане Святослава, но к удивлению, их не допустили к нему. Сперва сказали им, что светлый князь велел обождать; потом, что велел спро-

сить, зачем приехали, наконец, объявили им, что если они прибыли с миром и согласием на волю великого князя, то могут заключить договоры в совете бояр его; а если хотят торговаться, то с чем приехали, с тем бы ехали и назад.

Этот ответ довершил сомнение греческих посланных; они заметили смуту и колебания в словах сановников Святославовых. Объявив, что без воли царской не могут решиться на предлагаемое, они возвратились в свой стан.

— Не знаем причины, отчего смутило прибытие наше сановников русских,— сказали они Цимисхию.— Когда мы просили и несколько раз повторяли требование лично видеть князя, они всегда уходили, долго не возвращались и потом выдумывали какое-нибудь затруднение видеть его. Он, верно, болен от раны: недаром Анема критский похвалился, что в битве встретил он самого Святослава, дал ему сильный удар в голову, сбил с коня и, если б не подоспел княжеский оружничий, убил бы его или взял в плен.

— Нет, это только уклонение руссов от мира,— сказал Цимисхий, довольный новостью, сообщенною послами.— Тем лучше! корабли мои прибыли.

И немедленно Цимисхий велел идти кораблям своим к Доростолу и, вступив в бой, осадить город со стороны Дуная. По данному знаку к сражению развернулось царское знамя, и Цимисхий двинулся со всеми силами на нагорный укрепленный стан руссов. Началась жаркая битва. Бодро руссы отражали наступающие полки врагов; но голос Святослава не раздавался перед рядами, не вызывал дружину свою на победу или на гибель. Не будь боя позади ее, на Дунае, она бы отстояла поле; необходимость принудила отступить в стены Доростола и обороняться за оградами.

Флот греческий стеснил русские корабли под самым городом, занял рукав Дуная, облегающий Доростол. Руссы были осаждены со всех сторон; уныла душа их; не слыхать живительного голосу.

— Братья мои и отроки! не умирать нам взаперти, умрем лучше в открытом поле!

Но где же Святослав?

С полком отчаянных всадников мчится он к куле главаря урманского.

Воян явился к нему в стан под Доростолом и с слезами на глазах сказал ему:

— Князь Святослав, спаси королевну, племенни́цу мою, покуда не пришло время конечной ее погибели!

— Воян! — сказал Святослав.— Я добуду ее из плену греческого! Борис воссядет на престол свой!

— О, если б она была с братьями своими в плену у греков, я бы ждал спокойно твоей победы: кто против бога и тебя, Святослав.

— Где же она? — вскричал Святослав.

— Где? Пойдем, выручим ее! Возьми полк дружины с собою, и, бог даст, завтра в ночь рассыплем стены ее темницы, куда заключил ее хищник комитопул.

Не задумался Святослав, не выждал утра; велел вскочить на коней всадникам полка княжеского и, как туча на ветрах, понесся вслед за Вояном и Мавренем в трущобы шумские.

Не слезая с коней, мчались они ночь и день; к вечеру Маврень сказал:

— Стой! Близко. Кони измучились, надо дать им отдых да решать, что́ делать. Здесь одной силой не возьмешь: стены высоки; покуда взберемся на них по высоким елям вместо лестниц да заведем бой, стража урманская не ляжет мертва, не вырезав всех жен главаря; а вместе с ними и Райне будет та же участь. Был такой пример при Симеоне.

Поразила эта новость Святослава; у него и душа и руки жаждали кровавого боя.

— Что́ ж будем мы делать? — вскричал он.— Или подползем гадами под сонных злодеев?

— Э, нет, князь великий,— отвечал Маврень,— мы повестим о приходе своем гулкими бубнами, звонкою песнею! Я научу певцов твоей дружины петь такую песню, что гусары встретят нас как родных. Пойте, братья, за мной:

Гой, гусаре, песню запевахме!
Иди, песня, из уст в уста ладно!
Встречай, Майя, единого сына,
А сестрица — родимого брата,
А девица — заручника-друга!

Ладно пойте, братья!

Гой, спытаем, все ли гласы вкупе,
Нет ли в битве со врагом измолкших?
Слышно ль Майе радостный глас сына?
А сестрице — ласковый глас брата,
А девице — сердечный глас друга?

Ладно! пойте, братья!

Чу, навстречу идут домачицы,
Копят слезы на печаль, на радость,
Отзовется ль радостный глас Майе,
А веселый — милице-сестрице,
А сердечный — душице-девице?

Ладно! Ну, я еду вперед повещать, что идем; спуститесь с горы, я буду уже у оград кулы. Послышите звук рога — запевайте; по второму знаку — рысью выберетесь из лесу на долину; тут ни дороги, ни тропинки нет; а доедете до речки, речкой по воде вправо; ступайте, куда извивается между крутью берегов, приведет под скалу; тут налево выбита по скале дорожка в гору, как раз к воротам кулы. Ну, с богом!

И Мавренъ помчался рысцой вперед; подъехав к воротам оград кулы, он затрубил с треском в медный рог, так что стражи над воротами и на боковых башнях вздрогнули и в один голос подали оклик.

— Спите вы, братья! По первому звуку голоса не подали! а главарь со всем гусарством под горой! — вскричал Мавренъ.— Да, ну! не слышите! откладывай ворота! — И Мавренъ загремел в рог снова.

Дружина Святославова с звонкой песнею вышла из лесу в долину, покрытую непроходимым терном. На противоположном берегу, на обрывистой скале, видны были стены и башни кулы. По камышкам речки, как между двумя гранитными стенами, пробирались они к куле.

Между тем всполошенная стража подала знак старшине и привратнику. И когда по второму звуку рога отвалили ворота, Святослав с дружиной своей скоком взлетел по вырубленной в скале от истока речки дороге, и прежде нежели стража кулы опомнилась, он уже был на дворе за́мка. Стража перевязана, все входы и выходы заняты руссами.

Убитая горем, выплакавшая все слезы скорби и любви, Райна не привыкла еще засыпать под черными сводами своего заключения. Вокруг закоптелых стен широкие лавки устланы были дорогими коврами, обложены подушками, и это составляло все украшение покоя. Пространен, мрачен и пуст он был; слабый свет ночника в стене освещал Райну; Райна сидела, склонив голову на кисть руки, как бездыханная, а в углу спала старуха.

Дни Райны как будто кончились: нет для нее будущего, все чувства жизни погрузились в прошедшее, в страшный мир думы, населенный призраками живого и мертвого. Все тут перед ней: что́ сбылось, что́ виделось и чувствовалось, и близкие душе, и враги, и свет, и мрак, и все смута, которая не дает сердцу ни жить, ни умереть.

Вдруг послышался звук рога; Райна очнулась, затрепетала и упала на колени, обратив очи к разжелезненному окну под самым потолком.

Раздался второй звук рога, послышался шум, голоса все ближе и ближе.

— Боже небесный! вынь душу мою из тела! — вскричала Райна, с ужасом оглянувшись на дубовую дверь, обитую железом, когда раздался стук и загремел голос: «Отворите!»

Вздрогнула и старуха спросонок.

— Кто там? — крикнула она, подбежав к двери.

— Отворяй, Жика! — повторил голос.

— Староста! Зачем это он! — сказала старуха, вынимая запор. Дверь заскрыпела, кто-то откинул ее нетерпеливо.

— Райна! — раздались знакомые голоса.

Райна вскинула руки, хотела вскрикнуть, но голос измер на устах ее.

— Райна! Ду́шица моя! Смотри, вот он, спаситель твой! — повторял Воян, приподнимая ее и целуя в плечо.

— Воян! не место здесь радоваться! — сказал сурово Мавренъ.

— Правда, правда! — отвечал Воян.— Пойдем скорее! Благодарность твоя еще впереди.

Святослав помог Райне спуститься с каменных крутых лестниц. Они сошли на широкий двор, где перевязанная стража кулы окружена была русской дружиной.

— Вы будете свободны,— сказал Святослав,— в городе вашем все цело. Скажите главарю, что мы взяли только свое!

— Спасибо за милости! Да что́ нам в них! — отвечал старшина стражи.— Не вы изрубили нас, оплошных, так изрубит главарь. Были в руках ваших жены его или нет, да порог переступила чужая нога, их пометает главарь со скалы.

— Спаси несчастных, князь Святослав! — сказала Райна.

— Ступайте служить мне; а жен освободим.

— С женами что́ хочешь делай, они не виноваты и вольны; а мы со стражи не пойдем! — отвечал старшина.

— Не пойдем! — повторили все.

— Жаль мне вас, храбрых! — сказал Святослав.— Но делать нечего: правы и честны ваши слова!

По приказу князя отперли терема. Мавренъ объявил женам главаря, что они свободны и чтоб скорее выходили из своего заключения.

— Я здесь не в неволе,— отвечала каждая из них,— от мужа своего не пойду, а убить убейте, воля ваша.

— Уж это таков народ! — сказал Мавренъ.— Ну, бог

с ними, поезжайте, покуда из соседней кулы урманской не пришли на помощь.

Райну посадили на коня. Подле нее с одной стороны ехал Святослав, с другой — Воян.

Дружина выбралась со двора и понеслась вслед за князем: часть ее осталась еще, чтоб прикрывать путь от преследований.

Доро́гой Райна узнала о судьбе братьев своих и Преслава.

— Куда же едем мы? — спросила она.

— Нет тебе теперь иного прибежища в Болгарии, кроме стана Святославова,— отвечал Воян.

Вот спустились уже с гор, едут по течению Зары, вдали открылась туманная даль: это берега Дуная. Стало смеркаться; на возвышении около селения загорелись огни.

— Это войско,— сказал Маврень.

— Должна быть стража, но русь или греки — неизвестно.

Посланные проведать донесли, что это греки в окопе.

Нахмурилось чело Святослава.

— Братья,— сказал он к дружине,— две первые сотни следуйте позади; вам на руки королевна болгарская; а прочие за мной, открывать путь к Доростолу!

И Святослав поскакал прямо на стражу греческую. Греки расположились около огней, ужинали беззаботно; откуда было им ждать неприятеля: руссы в тесной осаде. Внезапный *гай* налетевшей русской дружины всполошил их; они схватились за оружие, бросились к коням; но поздно: руссы смяли их, окружили со всех сторон, обезоружили.

— Отдать им коней: пусть скачут в стан свой и повестят, что следом за нами идет русский князь и дружина русская,— сказал Святослав.

Грекам отдали коней, и они, как вожатые дружины русской, мчались вперед и на плечах своих принесли ее на левое крыло стана греческого.

Святослав сдержал слово, открыл путь к Доростолу. Все левое крыло разметалось от мечей его, бежало на высоты, где была ставка царская. Сумато́ха распространилась по всему стану. Цимисхий содрогнулся, когда ему донесли, что сам Святослав явился с великими силами от вершин Дуная.

А между тем русский великий князь вступил во врата Доростола и встретил в них Райну.

Палаты королевские в Доростоле возвышались над

самым Дунаем. За садами, на островах, стояли ряды насадов русских; а за плавнями, по гирлу, развевались на мачтах греческие флаги; далее взор терялся в равнине степи и туманах, скрывающих Карпатские горы.

«Боже, боже,— подумала Райна, смотря в окно,— населится ли когда-нибудь эта степь жизнью или заглохнет пустынею. Рассеятся ли эти туманы или скопятся в новые тучи над нами?»

— Не задумывайся, Райна,— сказал Воян,— божья защита тебе в Святославе.

— А в ком мое счастье? — произнесла печально Райна.

— В Святославе,— отвечал тихо Воян.

Пылкий румянец оживил лицо Райны.

— Не говори, чего не знаешь, Воян.

— Говорю то, что́ знаю, Райна.

— Нет, не знаешь,— сказала Райна,— мне кажется, горе застлало все небо моей жизни и ясные дни не мне!

— Райна, Райна! не возмущай черной думой будущего! Знаешь ли, добрая моя: ясный светлый взор человека разгоняет хмару жизни! Смотри радостнее и надежнее.

— Не могу,— отвечала Райна.

Положение руссов в Доростоле было отчаянно. Припасы вышли; не дух иссяк в русской дружине, а телесные силы, от недостатка в пище, от беспрестанного труда и боя.

Святослав не предвидел никаких надежд к верной победе; но на его руках была судьба Болгарии и Райны.— Заключи мир, князь, довольно уже пролитой крови на земле нашей,— говорил ему Воян.— Огради только державу Бориса от насилий твоим заступлением.

Святослав склонил на мир и отправил посла к Цимисхию сказать, что он оставит Болгарию, если Цимисхий возвратит престол болгарский королю Борису.

Цимисхий рад был предложению и желал иметь личное свидание с русским великим князем.

Тщеславные греки думали поразить руссов богатством, торжественностью и блеском своим, хотели строить на поле, между войск греческих и русских, для свидания монархов великолепный *феатрон*; но Святослав сказал, что он будет видеться с Цимисхием на берегу Дуная.

Святослав приехал на условленное место в ладье, в обыкновенной полевой одежде, без малейших признаков сана своего; сам греб веслом и причалил к берегу, когда приблизился к нему Цимисхий в окладе великолепия царского, сопровождаемый ликом чинов двора своего и телохранителями в блестящем большом наряде.

Цимисхий сошел с коня, Святослав сидел на скамье ладьи. Это было свидание благородного белого лебедя с напыщенным павлином. Но великолепие померкло перед величием; кичливость и гордыня преклонились перед достоинством; тщеславие поникло перед славой.

Греки дивились дебелому мужеству Святослава, стройному его стану и благообразию. Под густыми бровями взор голубых глаз был сурово-спокоен; нос не походил на клюв римский; на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей.

Мир был заключен.

— Королевна, избирай теперь по воле твоей,— сказал Святослав.— Хочешь ли остаться в Болгарии и положиться на покровительство царя греческого до возвращения брата твоего в Преслав или поручишь себя гостеприимству земли русской, покуда исполнится миром родной край твой?

— Враги комитопулы еще живы, и коварство их не измерло еще,— сказал Воян.— Где ж верное ей прибежище в Болгарии? Волку ли Цимисхию поручить охранять агницу? Здесь один я сродник Райне, не оставлю ее; вместе с нею прошу твоего гостеприимства, князь великий.

— Просьбу дяди повторяю и я, сирота беспокровная,— сказала Райна.

— Не сирота ты, Берислава,— сказал Святослав.— В какой семье ты не будешь родною, в чьем сердце любимою?

Между тем как писцы писали на хартии совещания, дружина Святославова садилась на корабли. Когда приложились золотые печати и Святослав с Цимисхием разменялись грамотами, поднялся златотканый парус и на великокняжеском корабле.

Воян поручил Мавреню сказать собратьям, что, погостив на Руси, к ним приедет умирать.

Стая русских кораблей плыла по Дунаю ключами; громкие бубны и гулкие трубы вторили песни. Греки стояли на горе и смотрели на отъезд замиренных врагов своих.

Вот выплыли корабли Святослава в широкое море; тихо плескало оно перекатными волнами, крутило кудри, ласково осыпало ребра насадов крупным жемчугом, горделиво вздувалось.

И, утробу смиря,
Чем-то чванилося.

Сидит Святослав рядом с Райной, на чертоге мамонтовом, под навесом с золотой бахромой; говорит умильные речи.

А она, как заря,
Разрумянилася.

Не посмотрит печально на исчезающие берега родной Болгарии; склонила очи.

И от сладкого сна
Не пробудится.

Позабыла что́ было, и не думает,

Не гадает она,
Что́ с ней сбудется!

Пробежали корабли Святославовы по Черному морю, вступили в Днепр. Здесь на родных водах вышли руссы на остров в самом устье, под вековым навесистым дубом, обставив его стрелами, принесли они в жертву Перуну и богам-покровителям домашних птиц, поклонились в землю, облобызали ее, испили Днепра, потом, навязав на голубей алые ленты, пустили их на волю, и все молча смотрели, куда они полетят.

— Ты хочешь знать, Райна, для чего это мы делаем? — сказал Святослав.— Эти голуби вывезены из наших городов. Быстро полетят они к дому и принесут на родину радостную весть о нашем счастливом возврате.

Высоко вспорхнули освобожденные голуби; долго кружились по воздуху в какой-то нерешительности: куда лететь? вились, вились и вдруг дружно стали опускаться на мачты.

— Не к добру! — закричали воины.— Что́-то путь застлало! Не понесли добрые вести.

Невольно побледнела Райна; вздохнул Воян; Святослав посмотрел на Райну и задумался; невесело села дружина на корабли. Поплыли вверх по Днепру. Тяжелы что́-то насады, дружная песня не ладится, не придает силы веслам.

Белобережье, русское место и за́мок при переправе через Днепр, по пути из Руси в Корсунь, разорены печенегами. Прошли мимо; подъезжают к порогам, стражи приблизились к лесистому острову близ малого порога... Вдруг зашипели стрелы по воздуху, из лощин по берегам Днепра с криком и гамом нагрянули несметные силы печенегов, заступили берега, сыплют стрелы.

— Возьмите окуп и идите прочь,— так велит им сказать Святослав.

— Возьмем и с головами вашими! — отвечают они.

Только за Райну трепещет Святослав. Велит отступать. Великокняжеский корабль, как и прочие насады, не крытый, чертог под золоченой кровлей и златоткаными завесами не ущитит от стрел. Воины оградили его своими щитами.

Святослав на корме, Воян уговаривает Райну не страшиться.

— Не за себя боюсь я! — отвечает она.

Под тучами стрел отчаливают ладьи. Печенеги следят берегом. Но кони их утомляются; насады быстро мчатся по течению Днепра.

В Белобережье решается Святослав выйти на берег и ждать помощи из Киева.

Но едва успели занять разоренный замок Белобережья, возвышавшийся на крутизне над Днепром, и завалить ворота, печенеги обложили его со всех сторон.

— Здесь не страшны они нам,— говорит Святослав,— недалек отсюда Киев.

Отчаянных посылает он тайно пробраться мимо печенегов и дать знать Ярополку, чтоб торопился со всей дружиной киевской к Белобережью.

Проходят дни, а помощи нет. Припасы выходят.

— Возьмите какой хотите окуп,— велит сказать Святослав печенегам,— возьмите все сокровища мои и идите прочь.

— Ты наше сокровище! — отвечает Куря.— Отдавайся, возьмем тебя и пойдем.

Святослав в нетерпеливом ожидании помощи грозно произносит уже имя Ярополка, сына своего.

Проходит месяц; припасы на исходе; воины едят уже конину, изнемогают, но не ропщут; Святослав терпит одну с ними участь. Только гостей своих угощает он остатками хлеба и припасов.

Воян как будто не горюет; а Райна молчит и качает головою.

Вдруг является гонец из орды, облегающей город.

— Заключим мир, белый царь,— говорит он.

— Что́ требуете в окуп, все дам,— отвечает Святослав.

— Окуп невелик, пустой окуп, да на том стоим теперь. Золота не надо: за золото продали мы твою добычу.

— Добычу всю отдам.

— Спасибо за всю, а ты добыл в царстве болгарском

красную девицу. За ней приехала погоня, наняла нас за дорогую цену выручить ее. Так ты и отдай ее нам и ступай себе с богом.

— Гоните его! — вскричал Святослав.

— Гоните, пожалуй,— говорил печенег, уходя,— да я чем виноват, я не свое говорю. Ты, белый царь, увез любовницу у болгарского воеводы Самуила; а он с войском пришел выручать ее; да и нас нанял. Вольно тебе было прогонять нас, как шел в Болгарию: пригодились бы.

— Сын Ярополк! — грозно проговорил Святослав.— Чтоб ты погиб, как гибнет отец твой!

— Слышишь, Воян,— тихо сказала Райна,— Самуил и здесь меня преследует!

— Не страшны тебе здесь его преследования,— отвечал Воян.

— Если я погибну, никто ничего не потеряет; а если погибнет Святослав, погибнут братья мои и Болгария... Правда, Воян?

— О, сохрани его бог! — отвечал Воян.— Без его заступления или комитопулы, или греки положат конец Болгарии!

— Я готова идти в окуп, другого нет спасения! — проговорила тихо Райна.

— Полно, Райна, печалиться! — сказал Воян.

Райна не отвечала ни слова.

Настала ночь осенняя, ясная ночь; серебряный лик луны, отражаясь в Днепре, дробился на волнах. Вокруг стен раскинут город юрт, повсюду разложены огни, меткие стрелки печенежские дозирают под самыми стенами; только что чья голова покажется на ограде за́мка, тетива запоет, стрела зажужжит черным жуком, а печенег кричит: «Бар!» — есть!

Около полуночи на кровле белой теремной башни, возвышавшейся над самым Днепром, показался кто-то облеченный тенью набежавшего облачка.

«Бар!» — крикнул печенег. Облачко пронеслось, луна осветила башню: на вершине ее как будто легкий призрак под белым покрывалом склонился на перилы.

— Эге, Кардаш! — вскрикнул печенег.— Да это белая голова!

— Да, белая, белая! Смотри, это девица под фатой сидит, пригорюнилась.

— Эй, смотрите, девица или дух какой-нибудь!

— Пугнем!

— Нет, постой, сказать ноину, убьем без спросу, так еще беда будет.

— Сказать так сказать!

— А как уйдет!

— Не уйдет! — сказал печенег, стоявший дозором против башни.

— А ты что́ за порука?

— А мне что́, я сказал так, да и только.

Собрались толпы печенегов, смотрят на диво; идут толки, шум, рассуждают, будить ли своего ноина.

— Вот тебе раз! будить для таких пустяков! что́ он, не видывал, что́ ли, девичьей головы?

— И то дело!

Столпившиеся печенеги встревожили стражу русскую; она подала весть. Дружина изготовилась к защите стен, ожидала приступа.

Вот уже рассвело, настал день. Печенеги продолжают дивиться на вершину башни; неподвижно сидит дева, приклонясь к перилам; ветер играет ее длинным белым покрывалом.

А между тем в за́мке хватились Райны.

— Князь Святослав,— говорит Воян в отчаянии,— вчера не понял я слов ее! Она решилась пожертвовать собою, она, верно, нашла выход из города в стан печенежский и сама предалась в руки врага своего.

— Кони! Со мною! — вскричал Святослав, и со всеми остальными всадниками своими он ринулся из ворот в стан печенежский. Как громовая стрела летит посереди врагов, все крушит и ломит, пробивает к юртам Куря, но он уже один посереди тысяч, стряхивает с себя стрелы, отбрасывает сабельные удары вместе с руками. Но вдруг остановился он, как мета стрелам, ножам и саблям, смотрит на вершину башни, забыл о врагах и пал под ударами их.

Не стало Святослава. Бросился было Свенальд с пешей дружиной на помощь ему; но в орде раздавались уже исступленные клики победы. Свенальд отступил в за́мок. Дружина высыпала на ограды, а Воян на вершине башни стоял уже на коленях перед Райной. Райна сидит на скамье, склонив голову на перила, покоится тихим сном. Ветер играет покрывалом, обвевает ее. Но сон ее вечен. Вонзившаяся стрела облита кровью ее сердца. И Воян уснул подле Райны, склонив голову на ее колена.

Свенальд дождался помощи из Киева и возвратился в Русь; Белобережье заняли печенеги и назвали *Кизикерменом*, или Крепостью Девы.

Исполнил ли Цимисхий договор с русским князем? Нет. Возвратившись в Царьград, он торжествовал победу над руссами. Потом призвал к себе Бориса и с высоты величия своего объявил пленнику, что он подает ему в милостыню — царство Болгарское; но на условии быть покорным велениям его.

Гордо и презрительно усмехнулся Борис.

— Мое наследие возвращает мне князь русский,— отвечал он,— и ты для меня не более как исполнитель условий, заключенных с ним.

Разгневанный Цимисхий не продолжал разговора. Надеясь еще смирить гордость Бориса, он медлил воздать ему честь как королю Болгарии. Но, боясь новой войны с Святославом, он наконец решился смирить собственную гордыню.

Царедворцы явились к Борису с багряницей, золотым королевским венцом и прочей одеждой.

— Царь милостив,— сказали они,— испытал твое достоинство, возвращает твои королевские знамения и просит на свидание.

В это-то время возвратился в Царьград Самуил-комитопул и объявил о смерти Святослава.

Злобная радость заиграла в очах Цимисхия.

— Ведите же короля болгарского с честью на великую площадь, к храму Святой Софии,— сказал он,— там встречу я его и совершу торжество.

И совершилось неслыханное дотоле торжество. С почестями встретил Цимисхий Бориса, как короля болгарского в храме Святой Софии; а патриарх по вновь установленному обряду развенчал его. Сняли с Бориса златой венец, багряницу, *червленые сапоги*, приняли державу и все знамения царства болгарского принесли в дар богу.

Самуил-комитопул с братьями назначены правителями областей Болгарии. Прошло пять лет; Цимисхий умерщвлен; Самуил отложился от Греции. Брат его Давид умер, Моисей погиб при осаде города Серры, брата Аарона велел сам убить и — облекся в королевские одежды.

Но это была последняя вспышка самобытного существования Болгарии посереди крамол и кровопролитных войн с Грециею.

С 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих.



МАКСИМ СОЗОНТОВИЧ БЕРЕЗОВСКИЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

I
АКАДЕМИК

А что за пречудесная сторона!—говорил Опанас, в переводе на русский Афанасий, лежа под плетеной беседкой, затканной широкими листьями и завитками винограда.—Ни дать ни взять—Макиевка, только и разницы, что вместо хмелю вино над головой растет, а у нас яблоки да груши, да черешни; или заберешься в огурцы, не успеешь заснуть, а уж сотню проглотил. Надо правду говорить. Если б борщ, да вареники, да водка, так тут просто того... рай, и на небо не нужно: и после смерти готов тут жить; и солнце наше, и того—девчата, не то что казачки... Куда же им, тальянкам, до казачек? далеко куцому до зайца... правда... что-то у них и в лице такое цыганское, и что ни девка, то с усами, и то правда; чернобровы, так, да уж белолицой ни одной, где там! Параски нашей или Марины, что за Мартына вышла, так таких и промежду господ не найдешь, да того...»

И Опанас зевнул сладостно; храпение Опанаса раздавалось по всему саду виллы Броски, недавно отстроенной и разубранной с царственным великолепием. Неудивительно: Опанас плотно пообедал на кухне, местные слуги разбрелись по должностям, тем поспешнее, что у хозяина были гости. С Опанасом некому было заниматься, да и что за беседа в теплом климате после обеда? Лучший собеседник сон, а под виноградной сеткой так прохладно, ни капля растопленного золота, так обильно разливаемого

южным солнцем в полдень, не могла пробиться сквозь густую зелень. Опанас спал сном сладким, пользуясь расположением природы и сада. Я по крайней мере больше всего дорожу расположением природы. Нет горя, тоски и грустной думы, которых бы не разогнало тихое, ясное, весеннее утро, в хорошую погоду, человек не чувствует бедности, не хлопочет, не печется о суетных плодах труда, ему ничего не нужно, как Опанасу, ему не нужно ума, памяти, не хочет думать, он забывает все, даже обязанности, хотя бы и любимые. Вот и Опанас не сходил посмотреть, что делают ослы, не справился, когда барин поедет назад в Болонью, будут ли тут ночевать или нет, кто этот вельможа, к которому они так давно собирались и боялись ехать... А должен быть человек весьма важный, потому что сам старый Мартын, как ехать на виллу, надел свою длинную французскую свиту, а на шею повесил золотую цепь, а старый Мартын, во-первых, ни к кому сам не ездит, а во-вторых, всех у себя принимает в шелковом желтом халате; а на том халате и розмарин и незабудки, и воробьи зеленые шелками вышиты. Должна быть важная особа хозяин виллы, Опанас это предугадывал, да ленился спросить, так и остался в неизвестности. Впрочем, если бы и спросил, если бы ему и отвечали, он бы не много выиграл, едва ли бы он запамятовал имена хозяина и других связанных с ним лиц; что толку, если б Опанас и узнал, что вилла Броски принадлежит кавалеру Броски, как в уединении своем называл себя Фаринелли, что знаменитый певец излечил неизлечимую болезнь короля и, сделавшись первым министром, мудро управлял Испанией. Опанас не уважал испанского короля, потому что в Неаполе видел тьму нищих и потому еще, что он шпанскую водку считал истинным ядом, а шпанских мух боялся пуще скорпионов. Если бы он знал, что теперь гостит у бывшего испанского министра, кто знает, может быть, он бы не спал так покойно, не храпел так гармонически; но этого нельзя сказать утвердительно... Опанас редко изменял своим привычкам и дома, а уж в гостях... что же бы это было за угощение. Тут же никому до него не было дела, он был не нужен даже своему барину, которого, можно сказать, поглощала затрапезная беседа. В прохладной мраморной галерее, украшенной добропорядочною живописью и цветами, за столом, покрытым серебряной и золотой посудой, сидело небольшое общество болонских гостей Фаринелли; старик-хозяин сидел в глубоких креслах, ноги его покоились на мягких подушках и были покрыты атласным стеганым одеялом, на

голове, совершенно забытой волосами, торчал остроконечный белый колпак с красными каймами и красной кисточкой, бороды также не было, и казалось, что на этом теле никогда не пробивался пух мужественного возраста; отменно нежное и приятное лицо Фаринелли было изморщено и болезненного цвета, хотя дородство, можно сказать, даже тучность выгодно говорила о состоянии его здоровья. По правую руку от хозяина сидел знаменитый Мартини, президент Болонской академии и музыкального общества. По левую Леопольд Моцарт, возле четырнадцатилетний сын его Вольфганг, а возле Мартини Опанасов барин, молодой человек лет двадцати шести, Максим Созонтович Березовский. Последний был в красном кафтане с черными пуговицами, что ясно в те времена свидетельствовало о недавней потере кого-либо из близких родственников. Хотя общий разговор шел своим чередом живо и непрерывно, но глаза всех постоянно были обращены на четырнадцатилетнее чудо, осветившее современный музыкальный мир невиданным блеском. А Вольфганг, приученный с семи лет к любопытству и удивлению всех его окружающих, с семейством своим включительно, нимало не смущался и глядел то на хитрую резьбу столовой утвари, то на отца Мартини, как его называл тогда весь свет.

— Что же, папа! — сказал Фаринелли с лукавой улыбкой, потирая щеку.— Кажется, ваши сомнения теперь рассеялись... Пора бы моему другу получить диплом и звание академика...

Мартини, без малейшей перемены в лице, протянул под столом руку и значительно пожал колено Фаринелли. Министр, угадывавший кабинетные тайны, не мог смекнуть, что замышляет князь музыки, и поглядел на него с видом вопроса.

— Удивительно!—сказал наконец Мартини, принужденный к разговору непонятливостью Фаринелли.— Вы очень хорошо знаете наши уставы и спрашиваете! Честь быть академиком — велика; стыд не выдержать испытания — больше.

— Ах, папа! — с живостью прервал Вольфганг.— Я не боюсь испытания...

— Талант твой велик, но один талант может изменить...

— Есть ли у меня талант или нет, право, не знаю. Но у меня, папа, есть наука, эта не изменит...

Род улыбки или тень улыбки пробежала по лицу Мартини и разморщила высокое чело старца. Он произнес какое-то глухое междометие, несколько обращаясь к Бере-

зовскому. Максим Созонтович отвечал учителю таким же междометием, и разговор кончился.

— Я от вас не отстану, папа! — опять начал Фаринелли.

— И я тоже,— подхватил Вольфганг.— Назначьте день и час моему испытанию...

— Завтра! — сказал сухо Мартини.

— Что завтра? — прервал Вольфганг.— Завтра вы назначите день — или...

— Нет! Завтра быть или не быть тебе академиком.

— Быть! — закричал Вольфганг и ударил о стол с такою силою, что посуда заплясала. Слезы выступили у него на глазах. Он не мог удержать душевного волнения, вскочил с места, побежал к старцу, обнял его нежными, можно сказать женскими руками и повис на шее Мартини.

— Ах, папа, вы не шутите! Согласятся ли ваши цензоры, ваши ужасные профессоры?.. Одного из них я боюсь, он так похож на медведя... И простите, папа, вы не рассердитесь, а? вы не рассердитесь?.. Мне кажется, что он и в музыке — медведь...

— Друг мой,— сказал сухо Мартини,— все члены нашей академии получили свои места при мне...

— О, тогда простите, папа! Вас нельзя ни обмануть, ни обольстить, как публику...

— А публику можно?..

— Можно, папа! Вот вы увидите, как меня будут хвалить за царя Митридата...

— А ты ее обманешь?..

— Обману, что делать, обману... Опера не мой род, я не люблю оперы, пожалуй, я их напишу сколько и каких угодно: маленьких, больших, веселых, плачевных, не моя часть, да что же делать. Надо уметь сочинять все, иначе нельзя написать ничего... Квартет, папа, квартет...

— И для голосов...— заметил Мартини.

— Нет, сначала для инструментов...

— Что в них? Испортишь чувство...

Вольфганг задумался и через минуту сказал:

— Хорошо! Да кто же будет петь мои квартеты?

— Глаза! — отвечал сухо Мартини и оборотился лицом к Фаринелли.— Да, я нашел много вещей, в старой музыке, неисполнимых, но для глаза очаровательных. Massimo, помнишь ли ты наизусть небольшой четырехголосный стих, что ты переписывал для себя в пятницу?..

— Помню...— отвечал Березовский.

— Вот мы после обеда попробуем... Как раз четыре голоса.

— Извольте! — сказал Фаринелли.— Но каков-то у меня голос?..— и стал пробовать свой знаменитый сопрано; сначала тоны были нечисты, но мало-помалу звук прояснивался; после двух-трех гамм Фаринелли запел любимую свою ариетту, все невольно задумались, каждый слушал ее, как отрывок из политической жизни хозяина. Приметив впечатление, Фаринелли засмеялся и остановился на половине последней фразы. Собеседники не выдержали и хором окончили ариетту. Это повело к любопытным рассуждениям о свойствах рифмы и каденции, а между тем западное солнце сбоку заглянуло в галерею и напоминало и гостям и хозяину, что уже не рано. Встали. Березовский, никому не говоря ни слова, забрался в кабинет Фаринелли, написал партии четырехголосного стиха и вынес их в зал, когда Моцарты уже прощались с хозяином. Вид любопытного отрывка удержал всех, и вся дворня, в том числе и Опанас, сошлись слушать пение к стеклянным дверям залы. Все согласились с Мартини, что это превосходно и может быть исполнено глазами, воображением, если не достанет в певцах искусства и знания. «Это вечно!..—заключил Мартини,— а четыре певца, по крайней мере в Болонии, всегда сыщутся... Простите!»

— Я с вами не прощаюсь,— сказал Фаринелли, провожая гостей.— Завтра, папа, приезжайте ко мне откушать с детьми и призовите нового академика, непременно академика!..

— Двух...— робко и едва слышно произнес Березовский и покраснел до ушей. Фаринелли не слышал, что сказал Максим Созонтович, но Мартини посмотрел на него своими блестящими, проницательными глазами, покачал головой и пошел молча к ослам. Дорогой Вольфганг не давал покою своему папа, которого всю жизнь так много любил и уважал. Сухость и важность Мартини не отталкивали от ученого старца, напротив, как-то магически привлекали к нему всякого, сообщая немногим речам его значение аксиом; вопросы и рассуждения лились из уст филармонического кавалера, как тогда называли Моцарта в Италии. Живая история музыки, Мартини удовлетворял любопытству чудесного мальчика с необыкновенною краткостью и ясностью. Как ни занимателен был их сочный разговор, особенно для музыканта, но Березовский отстал от них и ехал особняком, в глубокой думе... Опанас, приметив это, догнал своего барина и несколько времени ехал

возле него молча, собираясь с мыслями или просто ленясь зачать разговор. Уже в улицах Болоньи Опанас решился сказать что-нибудь и, почесавшись в затылке, проговорил сквозь зубы:

— Вот уж города, так такого у нас нет, и Киев и Полтава так себе живут, да против здешних городов — пас.

— Эх, Опанас! Надоели мне эти города, пустая моя Украйна милее для меня и Флоренции и самого Неаполя... Подумай, Опанас, шесть лет, седьмое, мы тут маемся, пока языки наломали, пока к житью-бытью чужому привыкли... Я благодарен отцу Мартини, многому я от него научился... Только он меня и держит тут, люблю его всею душою...

— А что ж? Возьмем с собою на Украйну и пана Мартына. Пускай послушает наших киевских певчих. Пускай Вукол, что в хоре у преосвященного, перед паном Мартыном, по-своему, басом протянут.

— Ой, Опанас, пан Мартини свою сторонку так любит, как и мы свою. И правду сказать, есть за что. Божьими дарами словно церковь убрана, целый край будто хоромы доброго и богатого пана. Ходишь по комнатам, будто живых людей, будто живую прекрасную сторону видишь, выйдешь на воздух, одна другой краше картины стоят...

— А на Украйне?..

— А на Украйне — и земля и люди степь неисходная, пустыня заглохлая...

— Как же вам не стыдно родную сторону так порочить!..

— Не порочу я Украйны... Сердце плачет, да правду говорит. Хоть бы вот и мое ремесло. Где-таки найдешь ты тут такие голоса, как у нас на Украйне. Помнишь, в дожинки как распоются наши красавицы: сто горлышек таких, каких нет ни у одной итальянской актрисы.

— Э, мало ли чего, так то же Украйна! Я сам слышал одну девку под Лубнами, что с соловьем на выпередки заливалась. Что у нее там в горле сидело, не знаю, только как пойдет языком плясать, так будто дудка какая, то загудит как ветер в трубу, то тянет долго-долго, будто нитку какую без конца прядет... Пусть бог милует... Я знаю, где она живет. Мы и ее пану Мартыну покажем, пусть только с нами едет...

— Как раз! Он-то *свое* делает, да мы чужой сор возим. Нам бы должно свою ниву пахать, да ба!

— Да отчего же и ба! Вот вы теперь майстер, так и пан Мартын говорит, вот и поедем до Киева, да и заберем архие-

рейских певчих, да из братнего, да в науку. А тот наш Румянец подможет.

— Теперь и Румянцева там нет, пошел на турок.

— Так что ж что пошел? Долго ли ему турок побить? Воротится. А мы покуда такую школу заложим, как у пана Мартына...

Березовский горько улыбнулся, хотел, но не успел отвечать. Мартини простился с Моцартами у их квартиры и поджидал остальных спутников. Березовский подъехал и, не ожидая вопроса, сказал с приметным смущением:

— Отец наш! Время мое прошло! Я должен оставить вас! Я еду домой! Там я нужнее... Здесь я нуль...

Мартини молча ехал дальше. Через несколько минут Березовский опять начал:

— Я давно готов выдержать строгое академическое испытание. Но мне не хотелось уезжать из Италии. Последняя честь не позволила бы мне уже долее оставаться у вас, и не робость, не трудность, нет, страх лишиться вашего общества удерживал меня от развязки... Опыты моих успехов в музыке известны вам, всей Италии и государыне императрице... Что я собрал здесь, надо посеять в отечестве.

Мартини молчал.

— Прошу последней милости! — продолжал Березовский.— Допустите меня к испытанию завтра же, вместе с Моцартом.

— Завтра, изволь! Но не вместе... Это противу правил, академия не конское ристалище. Не тот хорош, кто лучше, а кто сам собою хорош, по требованиям науки. Завтра в 10 часов утра — ты, в 12 Вольфганг... до свидания!

На другой день рано поутру вся Болонья была взволнована вестью, что молодой Моцарт дерзает насильно ворваться в святилище музыки, откуда со стыдом бежали целые полчища музыкантов с репутацией; композиторов, наводнивших итальянские театры разного рода и достоинствами операми; капельмейстеров, управлявших довольно важными публичными оркестрами. Звание академика не только казалось, но в существе было очарованным, недоступным за́мком, для того, чтобы туда проникнуть, требовалось необыкновенных сведений и силы духа. Болонский академик во всей Европе имел такое же значение, как и в самой Болонии. Слава и достоинства Мартини и его неподкупных советников были известны всему сколько-нибудь образованному миру. Это звание уничтожало все препятствия к получению важного места, где бы то ни

было, но избранный день не был благоприятен для академиков болонских, как вы увидите. Соображая все обстоятельства, остается думать, что всему виною дурно выбранный день. И погода была какая-то необыкновенная, непостоянная, дождь перемежался с северо-западным ветром, было холодно, сыро. Несмотря на погоду, улицы были покрыты любопытным народом. Bambino! мальчишка! шарлатан! отцовская кукла! и тому подобные выражения были слышны в разных местах. Особенную деятельность языка и ног обнаруживали так называемые профессоры музыки; они вовсе не принадлежали к академии, занимались вольной практикой, учили пению и писанию нот или игре на инструментах; нередко профессоры знали меньше своих учеников, этот класс, доныне существующий с некоторыми переменами, тогда был весьма многочисленный, они составляли когорты или партии известных людей и даже академиков, в надежде посредством лести, ласкательств, протекции ворваться в академию; но пока жил Мартини, патроны не могли пропустить в академию ни одного клиента. Хотя на доске, где обыкновенно выставлялись имена допускаемых к испытанию, написано было и имя нашего Березовского, но об нем никто не заботился. Любимый ученик Мартини, он не мог не выдержать экзамена, тем более что он учился в Болонии шесть лет и посетил все города, где жили ученые по его части. Никто не сомневался в успехе. Напротив того, все были уверены, что строгость и проницательность Мартини обнаружат обман, которым отец Моцарт так давно дурачил всю Европу. Ударило девять часов. Двери академии отворились. Оттуда в красных тогах и черных шапочках попарно вышли академики, цензора и наконец Princeps academicus[1] Мартини. Перед ним на бархатных подушках младшие капельмейстеры несли президентский жезл и хартию. Вся академия перешла через улицу в ближайшую церковь, выслушала молебствие, и тем же порядком за ними ворвалась и толпа народа. Два цензора поднесли Березовскому тему, заданную Мартини, увели его в боковую комнату, там заперли и воротились на места. Прошло около получаса. Академики во все это время читали книги, каждый про себя; некоторые писали музыку. Крик швейцара: «Леопольд и Амедео Моцарты!» раздвинул и взволновал толпу. Моцарты поклонились президенту, потом членам, наконец публике. Все это совершалось с театральною важностью. Мартини, взяв со

[1] Президент академии *(лат.)*.

стола жезл, другою рукою поднял бумажку. Цензора приняли ее почтительно и понесли к Моцарту... Затем отца разлучили с сыном и обоих заперли в разные боковые комнаты. Публика не утерпела и громогласно одобрила эту меру предосторожности. Прошло не более получаса. Березовский и Моцарт в одно время трижды застучали в двери; цензоры выпустили затворников. Очередь была за Березовским. Академики молча просмотрели его работу, многие с удовольствием улыбались, последний взял ноты Мартини, несколько раз просмотрел их с начала до конца, взял опять жезл и встал, все встали за ним, и это было знаком единогласного одобрения... «Dignus!» [1] — сказал Мартини, и цензоры, взяв Березовского под руки, подвели к президенту для принятия диплома. Приняв грамоту на всемирную известность и музыкальную славу, Березовский занял указанные президентом кресла. Вся эта церемония совершалась при громких восклицаниях публики. Пришла очередь Моцарта,— и толпа заволновалась и затихла; все глаза были обращены на члена, которому по порядку приходилось читать работу Моцарта. «Optima!» [2] — воскликнул первый; «Migandum!» [3] — сказал другой. Восклицания удивления умножались более и более, возрастая с переходом бумаги из рук в руки. Одобрительная полуулыбка Мартини показалась и Моцарту и публике каким-то сиянием лучшей высшей славы; и та же толпа, которая за час изрыгала хулу, вложенную в уста народные хлопотливою завистью, та же толпа от безмолвного удивления перешла к громовым изъявлениям восторга. Когда, по уставному порядку, цензоры усадили и Моцарта в академические кресла — Мартини поднял жезл — и все затихло. Речь его была коротка и заключала род отцовского благословения и напутствия молодым сочленам. Этим заключалась церемония, и президент с теми же спутниками, на тех же ослах отправился к Фаринелли. Хозяин ожидал их на дороге и весьма удивился, когда Мартини, вместо одного академика, представил ему двух. До этого дня Фаринелли не обращал большого внимания на Березовского, почитая его обыкновенным учеником, прислужником Мартини. И вдруг прислужник — Болонский академик! Massimo, красивый, белокурый Massimo, игравший в беседах в молчанку, сидевший всегда в углу, тише кошки и — он акаде-

[1] Достойный! *(лат.)*
[2] Хорошо! *(лат.)*
[3] Поразительно! *(лат.)*

мик... Удивление Фаринелли возросло еще более, когда он узнал, что этот Massimo — русский!

— Эти русские,— сказал он задумчиво,— наделают много бед в Европе. Вчера ночью я получил известие, которому с трудом верю... Русский флот в Дарданеллах!

— Возможно ли? — спросил удивленный Мартини.

— А мог ли я ожидать, что твой Massimo сегодня будет академиком. Как в искусстве, так и в политике надо иметь талант. В Петербурге теперь славная политическая академия и удивительный президент. Скоро все наши географии будут негодны. Екатерина сочиняет новую... Твой Massimo все-таки для меня загадка...— И Фаринелли стал расспрашивать Березовского о разных подробностях жизни; собеседники изъявили также любопытство; Максим Созонтович, бледнея, краснея и запинаясь, принужден был рассказать свою историю.

— Мне, право, совестно,— так начал он.— Уж сделайте милость, извините... Я совсем не умею говорить... И что вам за охота и нужда знать, кто я и откуда, и то и другое... Разве от того что-нибудь прибудет или убудет... Право, не знаю, как вам все это и объяснить, потому что объяснять нечего, а стороны моей вы совсем не знаете и никогда о ней не слыхали. Китай и Америка для вас ближе, чем моя Украйна... Там, видите, все иначе, не так, как в других землях. Украйна не то, чтобы народ какой был, а войско, казачество, рыцарство. И не то, чтобы войско, потому что есть помещики и мужики. Край чудный, край богатый, вашему в божьих дарах не уступит — да люди науки дичатся, хотя у них под боком в Киеве — академия. Редкий помещик туда сына отпустит. Я был счастливее других. Отец мой в Петербурге по делам лет шесть прожил. Воротился в свое село, видит: я подрос, он отдал меня на руки верному слуге и отправил в Киев; чему можно, тому я там научился, а на досуге песни складывал, составлял для них свою музыку, как, не знаю, только начала гармонии лежали в душе моей; я писал на два, на три, потом и на четыре голоса; выходило складно; и товарищи и учителя дивились; донесли генералу Румянцеву, тот меня в императорские певчие отрекомендовал; отвезли меня в Петербург; в Петербурге сказали, что у меня есть талант, и отправили в Италию...

— И только? — спросил Мартини.— Больше нечего тебе рассказать, Массимо!

— Да что же вам еще рассказывать, что у меня отец умер, что мне надо ехать в Петербург, там у меня и служба и братья учатся. Бог им не дал музыки, надо им отдать

земное в руки, надо ехать поскорее, не то братьев в армию на войну без меня ушлют; вот и все...

— Так я же доскажу, Массимо, если ты не хочешь...— сказал Мартини.— Года не прожил у меня Массимо, как я заметил необыкновенные его способности; он не учился, а будто шел по лестнице, без труда и усталости; после трех лет я сам послал ко двору Екатерины его церковные сочинения и не сомневался в успехе. Я видел пьесы Сарти, они не лучше. Я побоялся, чтобы привычка ко мне не имела вредного влияния на стиль и манеру; отправил его в Верону, Парму, Милан, Рим и Неаполь. Отовсюду он привез дипломы и не хотел нашего. До сего дня я щадил его скромность и любовался этим несомненным признаком большого таланта. Сегодня последовало emancipatio [1]. Ты не ученик мой, а товарищ. Теперь я могу хвалить тебя, не краснея.

— Итак, Массимо, вы хотите нас оставить, талант ваш похоронить...

— Посвятить отечеству, оно в нем нуждается. Отец Мартини прав: я приобрел стиль и манеру, не от него, ото всех, сочинения мои могут хвалить и чувствовать итальянцы; дерево одно, но у него много ветвей, так и у музыки; итальянская музыка только ветвь, может быть главная, но дереву об одной ветви быть нельзя, должны расти и другие, между них должна быть и русская ветка, чужеземец не сумеет ни привить ее, ни вырастить, для того надо быть русским. Надо открыть ее начала, их обнаружит ученое наблюдение, я помню, так сказать, цвет нашего церковного пения и народных песен, в них много своего, как в плодах земли; пусть будет тыква, да своя, не чужая дыня. Народной музыке еще нигде нет в правильном развитии, а уже все противу нее вооружаются. Значит, она должна быть. Говорят: не вкусно, не нравится. Нашему брату подавай нашего перцу, англичанину — английского, турку турецкого, а у искусного повара — все хороши. То, что есть — должно быть. Не вытопчешь, не вырежешь ничего из божьего мира. Не уничтожай ничего, улучшай все! Первого ты сделать не можешь, второму благодатная помощь от бога придет; ткали рогожу, доткались до батиста...

Massimo замолчал, и голова его упала на грудь, распаленная размышлениями и усилием высказать свою мысль. Итальянцам не совсем была понятна тоска Березовского, но маленький Моцарт легко понял Максима Созонтовича, он сам думал то же... Несмотря на все усилия Фаринелли,

[1] Освобождение *(ит.)*.

разговор не мог возобновиться. Березовский упорно молчал. Беседа переходила на другие предметы, но все как-то урывочно, нескладно, и гости на этот раз уехали раньше обыкновенного. Березовский тихо прошел в свою комнату и в какой-то безотчетной задумчивости ходил взад и вперед; удивительно, как у него голова не закружилась от беспрерывных оборотов, потому что во всей диагонали его комнатки не было более двенадцати шагов; шум в передней прекратил эту ходьбу, похожую на движение маятника.

— Не до нас! — говорил Опанас за дверьми.— Из Петербурга еще могут быть письма от Ивана или от Терентия Созонтовича, а то из какой-то Ливорны, такого и города нет: а если и есть, так мы там не бывали, кто же до нас станет писать. Верно, кому-нибудь другому. И без нас есть на свете Березовские. Вот в Чернигове — генеральным судьей — Березовский...

— Да уж это наверно к твоему господину,— отвечал неизвестный голос.— Поди, доложи!

— Стану я докладывать! я могу и просто сказать, да не можно, только что с паном Мартыном с хутора вернулись, отдыхать легли...

— Нет, я не сплю! — сказал Березовский, выходя из своей комнаты.— Что такое?..

— Да что такое! Навязывает письмо. Говорит, из Ливорны...

Березовский уже не слушал Опанаса, в руках его дрожало письмо, на нем странная надпись: Любезнейшему брату нашему Максиму Созонтовичу, в Болонее, а нет в Болонее, то в другом итальянском городе, где есть певчие или музыка. Затем мелкими буквами приписан был по-итальянски действительный адрес Березовского.

«Вот, любезнейший братец наш Максим Созонтович! и не дождались мы вас, и все в роте над нами смеялись, глаза кололи, что братец итальянский певчий, за горами песни поет, да за итальянками ухаживает, а нас уже на коронный кошт обмундерили, обстригли и отослали сюда в приморский город Ливорну, для того, что, как наши корабли из Туречины придут, то и нас заберут и завезут на греческие острова гарнизоны держать. Мы всем довольны, только бы хотели повидаться с вами, братец Максим Созонтович. Нам из Ливорны нельзя, а вам сюда можно. Будьте ласковы, любезнеший братец, приезжайте. Турков, слышно, на голову побили, корабли вернуться могут и нас заберут. Тогда поминайте, как звали. С чувствительнейшим

почтением и неложною преданностию, остаемся ваши, любезнейшие братцы, Иван да Терентий Березовские...»

В тот же день, ночью, Максим Созонтович с Опанасом отправились в Ливорно, на дороге они повстречали многих русских и чужестранных курьеров, но ни один не мог или не хотел объяснить им, с какою вестию ехал. Наконец они достигли Ливорно; толпы народа волновались по улицам, одни другим пересказывали всем известную новость; Максим Созонтович не решался спросить, в чем дело, какое-то невольное опасение его удерживало; удивление и любопытство его возросли, когда в гостинице сказали ему, что все русские, сколько их тут ни было, уехали в гавань, на русский корабль, поутру приплывший в Ливорно. Поручив Опанасу устроиться на квартире, Максим Созонтович поспешил в гавань, сел в первую лодку, какая ему попалась, и поплыл к кораблю, вид которого наводил уныние и множил тревогу в душе Березовского. Без мачт и парусов стоял он; во многих местах ребра его были избиты, изломаны; тысячи лодок как стая хищных птиц около слонового трупа кружились на покойном как зеркало море; почти на всех лодках сидели нарядно разодетые дамы; на палубе корабля-инвалида гремела музыка, раздавались веселые клики; на одной стороне палубы ставили зеленую палатку, и сердце Березовского радостно вздрогнуло, когда на этом шатре, вместо медного шарика, загорелся золоченый крест. Окрест представлялась картина очаровательная; стены, возвышения, крыши, все покрыто было пестрою толпою народа; на всех кораблях, стоявших в гавани, развевались все европейские флаги; казалось, вся Европа чему-то радуется, и виновником этой радости явственно был русский разбитый корабль. Гребец повернул мимо корабля.

— Причаливай! — закричал Березовский.

— Нельзя...

— Я русский! — еще громче прикрикнул Березовский, и лодочник почтительно снял шляпу. Причалили. В одно мгновение Березовский взобрался на палубу, но там уже все утихло, солдаты окружали зеленую палатку с обнаженными головами. Клир гремел молебные песни; Березовского охватило неописуемое чувство, дыхание у него остановилось, сердце сжалось, мгновение — и слезы брызнули в три ручья, рыдая, он бросился в палатку и распростерся перед походным престолом. «Тебе бога хвалим, тебе благодарим!» — вместе со священником запел Березовский звучным, серебряным тенором и обратил на себя общее внимание. Из угла раздались крики: «Это вы, братец, это

вы, Максим Созонтович!..» И братья, проливая радостные слезы, обнялись с надлежащею горячностью. Максим Созонтович расчувствовался, совершенно забылся и стал по порядку обнимать всех присутствовавших; дошла очередь до какого-то генерала, тот не отказался от такого искреннего поздравления; обнял Березовского и спросил: откуда пожаловать изволил? Тут только опомнился Березовский, смутился не на шутку и, отступая, бормотал какие-то несвязные извинения.

— Это наш братец, Максим Созонтович Березовский! — сказал брат Иван.— Мы уже докладывали вашему сиятельству.

Князь протянул Березовскому руку. Видя, что тот пришел еще в большее смущение, князь взял его за руку пониже плеча, поставил возле себя и сказал тихо: «Рад знакомству с вами, но дослушаем молебствие». Вскоре с корабля раздались пушечные выстрелы и громкое ура! Лодки любопытных ливорнцев отхлынули, хотя это была самая интересная минута праздника. Князь вышел на палубу и принимал поздравления.

— Теперь, господа, пообедаем! — сказал князь.— Мы расстаемся, кажется, надолго. Надо спешить. Посидим в темнице. Я надеюсь выпросить у тосканского правительства льготу для победителей турков; мы уже очистились от чумы чесменским огнем. Пусть зачтут нам это время в карантинный срок...

Это замечание навело на всех уныние. Тут только вспомнили все, что по тогдашним правилам и понятиям о чуме, они без исключения и снисхождения подвергались сорокадневному карантину. Положим, победители турков — соприкасались с носителями чумы, но их гости невинно попались в ту же категорию, не убив ни одного турка, чувство патриотизма перенесло их на корабль, откуда не было возврата до истечения сорока дней. Но русский не знает продолжительного уныния. Несколько мгновений неудовольствие выражалось короткими фразами; удачная шутка разогнала досаду, и пошел пир горой, продолжавшийся до глубокой ночи. Карантин, как и все карантины, сначала был весьма строг, приставы объезжали корабль на лодках, не смея к нему приблизиться, но мало-помалу стали вступать в разговоры с оцепленными, привозили все нужное из города, принимали подарки; разрешение из Флоренции пришло тогда уже, когда не было нужды в разрешении. Все офицеры не только побывали в Ливорне, но посетили театр, слушали оперу и на корабле друг другу

сообщали свои небывалые городские похождения по амурной части. Один только Березовский ни за что не хотел съехать в город до истечения срока, через других посылал наставления и деньги Опанасу и с жадностью слушал и переслушивал рассказы о чесменском побоище. Но вот все городские власти на великолепной лодке пристали к кораблю, поздравили князя с неслыханной победой и объявили об окончании карантина. Князь наскоро простился с ними и со своими, сел в шлюпку и отправился в Ливорно. Лодочники окружили корабль и сняли с него всех офицеров и гостей. Березовские также переехали в Ливорно и, само собою разумеется, расположились на житье у Максима Созонтовича в выгодной квартире в лучшей городской гостинице. Опанас имел довольно времени к принятию дорогих гостей. Он встретил их у пристани.

— Едут! Едут! — закричал он во все горло, завидя Березовских.— А и молодцы же какие! До Максима добираются, и доберутся, как подрастут. Здравствуйте, Иван Созонтович! здравствуйте, Терентий Созонтович! здравствуйте! Вот же, бог знает где, на краю света, а привелось увидеться. А видно-таки в школе вас хорошо кормили! Видишь, какие толстенькие. Даром что молодость! Вот я люблю вас за это, что на сухари не похожи... А что за город пречудесный! двух глаз мало, всего насмотришься: пойдемте, я вам покажу пушкарню, или где большие веревки вертят...

— Нет, Опанас! дай нам прежде дома осмотреться, а тогда уже...

— Домой, так домой, а в пушкарню завтра. И то правда, что пан Мартын из деревни наши деньги получил и сюда прислал; да еще был какой-то жид или цыган, спрашивал вас, пана Максима. Я ему сказал: пан на море живет, ступай туда... Да каждый день приходит. И сегодня был. Вы с ним осторожно. Должен быть из таковских, как говорят москали. Вот и дом! Вот эта лестница наша, мы тут одни, и ключ у меня; вот тут будет спальня, как в академии, там учиться, а здесь обедать...

— Чему учиться? — спросил Иван.

— Вот это вы из школы выскочили, да и забыли про науку. Нет, панычу! Максим Созонтович все учится, каждое утро поет, играет и пишет.

В это время Максим Созонтович распечатал огромный пакет, присланный от Мартини, свертки с червонцами упали на пол, но Березовский не обращал на них внимания, он жадно читал огромный лист, то был диплом Болонского

музыкального общества на звание капельмейстера. Новая и важная честь; она чувствительно тронула Болонского академика, он знал, что этой честью он обязан Мартини. Не успел он разделить своей радости с братьями, Опанас, взглянув в окно, закричал: «Прячьте деньги! Жид идет!..» И через несколько мгновений раздался вопросительный звук в двери. «Войдите!» — сказал Березовский, и в комнату с низкими поклонами вошел человек небольшого роста, наружность его совершенно оправдывала мнение Опанаса...

— Что вам угодно? — спросил Березовский...

— Много и высоко уважаемый член Болонской академии и капельмейстер знаменитого общества не примет за дерзость — искреннейшего желания содержателя здешнего театра — свести с ним знакомство. Отец Мартини...

— Очень рад с вами познакомиться! Садитесь! мы только что воротились из карантина! Не успели осмотреться...

— О, простите, простите, тысячу раз простите! назначьте время, когда я могу иметь счастие представить вам мое предложение...

— Какое предложение?

— Сан-Себастиано, театр наш, по удивительному превосходству примадонны и других сюжетов, может быть самостоятельным, но вы знаете, что мы получаем все оперы очень поздно от переписчиков, а это приходится очень дорого; наши слушатели люди торговые, бывают в разных городах, слышат музыкальные новости прежде и в Ливорне ходят в С.-Себастиано только от нечего делать. Надо бы свою оперу, знаменитой руки — и С.-Себастиано привлечет в Ливорно слушателей даже из других городов. У меня оперы не спишут, за это ручаюсь. Так вы мне позволите ли, знаменитый муж, прийти к вам...

— Если за оперой, напрасно будете трудиться. Это не мой род... Я дал себе слово никогда не писать опер...

Impresario истощил все красноречивые убеждения, расточал бесстыдную лесть, все напрасно. Березовский не согласился. Опечаленный Sisto, так назывался содержатель Ливорнского театра, вздохнул, вынул четыре билета и, положив их на стол, сказал с улыбкой: «Я не теряю надежды! На этот раз смею надеяться, что вы не откажетесь удостоить С.-Себастиано вашим посещением сегодня, в 6 часов. «Гекуба» opera seria! Ваш преданнейший слуга!»

И, не ожидая ответа, Sisto ушел.

II
PRIMA-DONNA

Что такое — поэзия, если не живое воспоминание? Откуда набирают поэты столько воспоминаний? Душа помнит, разум только верит, а где что видел, слышал, об этом не спрашивайте, может быть, память сохранила впечатление сна, осуществила воспоминание о том, что было до рождения; везде тайна, во всем тайна; что было сегодня знанием, завтра отошло в область побасенок, в пищу так называемому невежеству. Выводы опыта не лучше догадок; бесчисленны явления, ни одной причины и тьма умничаний, исполняющих должность причин — но зато явления увлекательны, их влияние волшебно; мелодия, например, явление самое поэтическое, но что, откуда оно? С какого света отголосок, как пришла она в божий мир, куда летит от нас; неужели воздух не имеет памяти и ничего не сохраняет? Композитор, говорите, сочинил мелодию. Полноте. Отчего же я плачу, слушая эту мелодию, отчего я понимаю ее, знаю, что он первый облек ее в ноты, этот подвиг принадлежит ему, а мелодия моя, ваша. Есть и такие мелодии, которые ни мои, ни ваши, а композитора; но эти мелодии не мелодия, это ноты, сложенные в осмитактную фигуру, как лоскутки картона в головоломке (Casse-têtè). Нет, та, *моя — ваша* мелодия не носит признаков человеческого создания, она упала из головы человека, как золотая пылинка, брошенная случайной волной на прибрежный песок; люди хитры, они умели усадить бесплотный огонь на покойных светильнях; нечего дивиться, что и другое бестелесное явление могло получить у них такую же оседлость и человеческий голос присел в клетке линеек на разнообразных крючках. Его читают, как мысль словесную; это не беда, напротив, полезно, но вот что жаль: иные слушают музыку будто разбирают египетские иероглифы, и этому несчастию подвергает учение. Братья Березовские, военные, слушали увертюру с удовольствием, арию примадонны с восторгом; Максим Созонтович — ему нечего было *читать* в этой музыке, и когда разношерстная публика С.-Себастиано, по окончании арии, стала кричать и хлопать — Максим Созонтович с изумлением оглядывался и не понимал причин. Он не знал, что причину он давно потерял, выкурил ее из себя учением, а окружающие носили ее без устали и вероятно все умерли вместе с нею. По врожденной доброте и снисходительности Максим Созонтович

не хотел выйти из театра, пусть себе поют, дослушаю, думал он, уж другой раз зато не пойду, пошлю Опанаса, ему понравится. Он бы еще что-нибудь придумал, да на сцену вошел хор: три души мужеска и две женска пола пропели, прошумели, и к Гекубе, то есть примадонне, подошла молодая девушка, запела речитатив и увлекла все внимание Березовского. Весь речитатив состоял из десяти слов, но каждое было произнесено так верно, выразительно, сильным, звучным и неисповедимо приятным сопрано, что Максим Созонтович, к общему соблазну, воскликнул громко: «Вот эта знает, что́ поет». По́ несчастию, эти слова вырвались по-итальянски, возбудили смех, досаду в приверженцах Гекубы; в бедную девушку полетело несколько яблок, раздался сильный свист, присутствие русских, победителей турков, выручило Березовского от неприятностей; но певица, смущенная, расплаканная, должна была сойти со сцены и во всю оперу более не появляться перед раздраженными слушателями. Из театра молодежь толпами повалила в кафе; больше всего набралось народа в кафе, которое сметливый хозяин назвал русским. Офицеры пристали к Максиму Созонтовичу...

— Что вы сегодня откололи в театре? Неужели вам не понравилась примадонна? — спрашивали наперерыв знакомые и незнакомые. Березовский качал головой в какой-то странной задумчивости. Докучливые вопросы, умножаясь, принудили его к объяснению.

— Я сказал, что думал. Мог ошибиться и, может быть, ошибся. Но примадонна поет, как все нынешние итальянские певицы, ломает музыку, чтобы удивить пустяками... Пение выражает же что-нибудь, а мы половины слов и не поняли, они погибли в блестящих staccato [1]. И все это, по совести, происходит оттого, что она не понимает, что поет... тогда как другая...

— Хороша собой, как прелестная мечта Гвидо-Рени,— заметил офицер, который любил говорить о живописи.— Она не уйдет от меня. Я рад ее несчастию, теперь она будет нуждаться в утешениях, а я на это мастер. От Чесмы до Ливорно я только о том и думал, как бы завести интрижку с актрисой. Говорят, это в большой моде, а вот и мы проверим, хороша ли мода. Я уже в театре приискал себе человечка, который знает хорошенькую хористку и очень огорчился, когда ее постигло театральное несчастие. Я с

---

[1] С т а к к а т о — короткое, отрывистое исполнение звуков *(ит.)*.

ним тотчас познакомился. Вы знаете, я на это мастер; мы сговорились завтра вместе обедать, условимся, и дело пойдет на лад...

— Видно, что новичок! — сказал моряк, обросший ужасными бакенбардами.— Если б ты, Ваня, поездил по разным странам с наше, ты бы умел обходиться без чужой помощи; в делах любви третий всегда или соперник, или предатель...

— Или плут, которому нужны деньги...

— Ну, постой же, Ваня! Хотя мне надоели женщины донельзя, да уж так и быть... я знаю, что я сделаю...

— Что же ты сделаешь?

— Мое дело...

— После меня, пожалуй, но уж прежде, извини!..

— Признаюсь,— прервал очень молодой человек, не имевший еще и офицерского чина.— Хористка и мне ужасно понравилась. Я тоже думал за ней приволокнуться, но я умею быть хорошим товарищем и уступаю Ване... Мы себе найдем...

Так делила молодежь между собою верную, по их мнению, добычу; речи их тяжелым свинцом падали на душу Березовского и будили в ней чувство сильное, чувство прекрасное — сострадание. Ему хотелось бы вырвать у одного из рыцарей шпагу, бежать к порогу несчастной и стать на защиту ее невинности... Невинность? О! в этом Березовский был уверен. В немногих звуках рокового речитатива она сказала Березовскому, так тайно, что никто более не слышал, всю чистоту души свежей, в пении ее господствовало спокойствие совести, в лице... вот лица-то он и не успел рассмотреть; это обстоятельство возбудило в нем досаду, он решился удовлетворить своему любопытству; было еще не поздно, Березовский схватил шляпу и ушел... «Куда?» — закричало сто голосов. «Сейчас приду!» — отвечал он уже с площади и, узнав в театре, где живет Sisto, прямо к нему отправился. Докладываться не было никакой нужды, двери были отперты, живой разговор, как ручей, лился шумно в гостиной... •

— Да кто закричал? — говорил Систо.— Скажите мне, кто кричал?

— Все равно! — вопила синьора Ладичи, примадонна, еще в костюме Гекубы.

— Совсем не все равно! Какой-нибудь отчаянный венгерец гаркнул спросонья, а вы приняли это...

— Повторяю тебе, Систо, что для меня все равно. Вон Матильду! Вон! Сейчас! Чтобы она не смела являться на

одних досках со мною! Вон! Дрянь! Она подучила этого варвара, подкупила своими прелестями...

— Синьора Ладичи! — отозвался звучный, покойный голос женщины.— Я теряю хлеб насущный из вашего упрямства. Это еще не беда. Но у меня нет ни одного любовника...

— Сто! Любовника в твоем звании иметь не стыдно, но у тебя их много, и все должны скрываться в тайне — это ясно...

— Мне, право, совестно вас слушать... Я лучше уйду...

— Нет, не уйдешь! Прежде надо решить, кому из нас оставаться на театре Себастиано...

— Позвольте, сделайте милость! — опять начал Систо.— Прежде надо узнать, кто кричал?..

— Вот кто кричал! — с бешенством закричала Ладичи, указывая на входящего Березовского...

— Маэстро Массими!

— Маэстро Массими! — повторили женщины, и все онемели...

— Я не кричал, а громко сказал мое мнение и в нем, кажется, нет ничего обидного. И вам, первой певице, должно быть приятно, что при вас и второстепенные актрисы понимают свое дело.

— Ну, вот видите! — прервал радостно Систо.— Я вам говорил, что тут не было ничего обидного. Слава богу, что вы, высокопочтенный муж, пришли ко мне на помощь; без вашего вмешательства мы бы никогда не кончили этой истории.

— А ты полагаешь, что история кончена! — с злобным смехом вскрикнула Ладичи.— Я или она! Выбирай сегодня, сейчас, сию минуту...

— Signora divina...

— Я или она! В последний раз спрашиваю: я или она!

— Конечно вы, но... Она ушла! Господи боже мой, скорее вы, знаменитый маэстро, напишете десять опер, нежели Ладичи уступит мне на волос! От огня, меча, воды и примадонны избави нас, господи! Нечего делать, Матильда, мы должны расстаться...

— Я сама это вижу,— сказала Матильда с тихою грустью,— особенно после сегодняшнего происшествия...— и она печально взглянула на Березовского. Максим Созонтович был тронут положением Матильды, но чем помочь горю? Душа его волновалась, сердце билось, он не смел смотреть на Матильду; она встала тихо со стула, подошла к Систо и сказала шепотом:

— Потрудитесь со мною рассчитаться...

— В том-то и беда,— отвечал смущенный Систо,— что у меня нет ни павла, вы видели сегодня, в кассе со мной сидел полицейский чиновник и забрал весь сбор на уплату долгов наших... Еще одно, два представления такие, как сегодня... и я чист, поправлюсь, заплачу вам с благодарностью, приищу вам место, где-нибудь в ближайших городах... Черт возьми эту Ладичи! Без нее... Право, отдам, ей-богу, отдам, повремените три-четыре дня...

Матильда горько улыбнулась, и Систо замолчал от смущения.

— Куда я уеду! — сказала Матильда.— Зачем я уеду! О! я знаю, чувствую сама, что у меня достало бы дарования и для больших ролей, но где мне учиться, на что нанять учителя...

— В этом вы не нуждаетесь! — поспешно перебил Березовский.— Позвольте предложить мои услуги, я останусь в Ливорно всю зиму, а в несколько месяцев, может быть, синьоре Ладичи придется учиться у вас...

— Какое неожиданное счастие! какой благоприятный оборот принимает наше дело! Но, ради бога, сохраним все это в тайне. Я жене не скажу... Что же вы не радуетесь благополучию вашему, синьора? Клад упал с неба, а вы ленитесь нагнуться, чтобы поднять его... Кланяйтесь, благодарите! Маэстро Массимо первый ученик отца Мартини...

— Знаю... но где и чем мне жить? Меня держали на хлебах добрые люди в долг, сомневались и надеялись, что вы заплатите: теперь и сомнение и надежды исчезнут...

— Кто вам сказал, синьора? Кто вам сказал? Вот ваши деньги сполна! Расплатитесь с добрыми людьми. Вот вам шесть червонцев вперед. Вы будете получать исправно ваше жалованье, и не будете играть на театре. Согласитесь, такого предложения никто вам не сделает...

— Но...

— Да что тут много говорить. Берите ваши деньги, ступайте! Помните, что мы с вами поссорились, разошлись! Тайна между нас троих. Учитесь!..

— Но я не хочу быть в долгу...

— О, помилуйте, рассчитаемся! С первого вашего дебюта я выручу все мои издержки втрое! Уходите, Ладичи может возвратиться, заметит нашу сделку и тогда сядет мне на шею. Ради бога уходите! Маэстро Массими вас проводит! Уходите, жена моя воротилась, она с нею в дружбе! Уходите, ну, так я сам уйду! Прошу покорно оставить и мой театр и мой дом! Надеюсь, мы больше не увидимся, убирай-

тесь! — и Систо ушел, хлопнув дверью, в самое то время, когда красиво разодетая, блистательной красоты женщина вошла в комнату и с изумлением слышала окончание разговора.

— Что это значит, Матильда? — спросила жена Систо с видом милостивой покровительницы.— Неужели ты должна пострадать за глупые слова какого-то невежи? Я в театре не была, но мне рассказывали...

— Простите, прекрасная синьора! — сказал Березовский. Систо взглянула на него гневно, но, заметив красивую наружность гостя, ласково улыбнулась. Березовский почтительно продолжал: — Конечно, Матильда не заслужила такого наказания за чужую вину, но дело кончено. Супруг ваш исполнил только желание Ладичи — и вместе желание Матильды.

— Разве такой ребенок может уже иметь желания?..

— Пока только одно: славы первой итальянской певицы! — и, схватив за руку Матильду, Березовский почти насильно вывел ее из дому, при громком хохоте жены Систо...

— Куда идти? — глухо спросил Максим Созонтович. Матильда рукой указала в переулок и пошла вперед молча. Березовский проводил ее до дома, при прощании сухо сказал: «Простите, до завтра!» — возвратился домой, не отвечал на вопросы Опанаса, не заметил отсутствие братцев, улегся, но спать не мог.

«Я испортил, я должен и поправить это дело! — думал он, метаясь на постели.— Но что, ежели я ошибся!.. Весьма легко... десять слов!.. заученных на двух-трех счастливых нотах... Наружность (Березовский покраснел), наружность чудная, глаза большие, губы... (лихорадочная дрожь пробежала по всему телу)... Но наружность одна не выкупит...» И мысль за мыслью, мечта за мечтой высыпали шумным, блестящим роем, как будто ночь осветилась горящими разноцветными мушками в этом фантастическом мире и пели так отрадно, и уста... те, что пели... Но всего не перескажешь... Приход братцев, довольно шумный и веселый, на мгновенье разогнал светлые мечты, ночь опять потемнела, Максим Созонтович притворился крепко спящим. Опанас сказал, что барин лег не совсем здорово, и братцы присмирели, улеглись и взаправду заснули. Тогда изо всех углов, с неба, из-под земли, над головой Максима Созонтовича собрались бесплотные и завели прежнюю свою пирушку. Крепко подружились они с Березовским, но солнечный луч разогнал их и поднял на ноги любимца

светлых видений. Братцы еще спали, а Максим Созонтович с нотами и скрипкой под мышкой стоял уже в бедной гостиной, откуда разогнал полунагих и полусонных детей. В другой и последней комнате этой жалкой квартиры шушукали несколько человек, суетились, возились, только и можно было разобрать: «Надень, ангел мой, белую мою косыночку. Тебе она очень к лицу... Паоло, отойди от дверей! стыдно подсматривать через щелку...» и тому подобные родительские наставления. Наконец тот же голос произнес шепотом: «Смело! смело! чего бояться!» Двери тихо отворились, поскрипывая весьма немузыкально, и в гостиную вошла дрожащая Матильда. Она не смела поднять глаз и потому не видела, что Максим Созонтович, по особенному какому-то чувству, не поклонился, а присел как-то, понизился и зажмурился. И было от чего! Только в полный день Матильду нельзя было назвать красавицей, потому что этого пошлого названия было бы мало; только в полный день, когда ни одна коварная тень не могла украсть у Матильды малейшей частички ее красоты, можно бы утверждать и биться об заклад, что она не дева земная, а гостья с другого мира; знали это и Ладичи и жена Систо, и одевали ее уродливо и красили невпопад, и все еще не могли показать ее безобразною. Безлюдный переулок с тех пор; как сюда переехала Матильда, стал шумной улицей, блестящим гульбищем, все театральные слуги были подкуплены богатыми сластолюбцами, во всех соседних домах каждая комната в одно окно отдавалась внаем дорогою ценою; разными путями соблазн пробирался в эту неприступную крепость — неприступную потому, что тут был неподкупный и недремлющий комендант, Лючия д'Орвелио, вдова одного банкрута, разорившегося от собственных благодеяний. Отец Матильды был приказчиком в купеческом доме д'Орвелио, с падением хозяина и Джиакомо Вальоне потерял все, сохранил только теплую благодарность за прежнее добро; Матильда имела хороший голос, и Джиакомо определил ее в хористки на Ливорнский театр, но не мог жить чужим жалованьем, хотя бы дочерним, умер, и Лючия взяла Матильду к себе в дом, любила и берегла ее, как собственную дочь, хотя и своих детей было у нее шестеро, мал мала меньше. На театр и с театра Матильду провожал всегда старый Космо, род самородного неприступного редута; осада многочисленных обожателей Матильды обратилась в блокаду. Бедность всего семейства и, может быть, умышленная неисправность Систо угрожали Матильде великой опасностью, но осажденные получили

важное подкрепление, явился Березовский. Он исподволь выпрямился, осмелился взглянуть и чуть было не присел ниже прежнего. На него с удивлением смотрели черные блестящие глаза, улыбка удивления играла на дивных устах. «Что с вами? — спросила Матильда — и Максим Созонтович снова выпрямился; это уж так в натуре человека: безмолвная беседа источник самого затруднительного смущения, раздались звуки голоса, и откуда берется бодрость, и все идет на лад...

— Так, ничего,— отвечал Максим Созонтович,— солнце в глаза...— А куда там солнце, окна этой комнаты были обращены на самый северный север, удивительно, что Матильда этого не заметила и бросилась к окну, чтобы задернуть занавеску...

— Не трудитесь! Это с бессонницы...

— А вы не спали?

— Не мог! После карантина, не привык еще к новому месту. И знаете, Атанасио постлал мне как-то неловко, переворачивался с боку на бок, не мог умоститься.

— Зачем же вы беспокоились! Мне, право, совестно...

— О, помилуйте! Я так был зол вчера на вашу примадонну, что, право, всю ночь только о том и думал, как бы отомстить ей почувствительнее.

— Я вам не верю, маэстро, впрочем...

— Да отчего же не верите?

— Бог с нею! Мы говорим о ней за глаза. Я не ищу соперничества, куда мне, я и не думаю о первых ролях; сказать ли вам правду? я ненавижу театр, но...

Матильда приложила палец к губам и посмотрела на двери. Березовский вспыхнул.

— Что же это? Так вас принуждают...

— Обстоятельства и обязанности. Я пела в хоре, точно так же, как принимаю ваш вызов быть моим учителем. Но не бойтесь! Я не употреблю во зло вашей снисходительности. Прошу у вас только полчаса времени и только сегодня...

— Боже мой, боже, я готов...— Но маэстро как ни был восторжен своею ученицею, не мог кончить фразы, язык не повиновался, что сказать, он не умел, а сказать пошлую любезность его бы недостало.

— Вы будете так добры, испытайте меня, но, ради бога, скажите мне откровенно, могу ли петь превосходно и во сколько времени или нет. У людей много способностей, я стану искать своей и отыщу. Решите, чем мне быть? Клавесина у меня давно нет, потрудитесь взять скрипку...

— Что же мы будем петь?

— Что вам угодно. У вас, кажется, есть ноты...

— Да это мои...

— Ведь вы их возьмете с собою...

— Но вы их не пели...

— Так неужели вы станете слушать мои партии из оперных хоров. Позвольте! Вот у вас, кажется, это ария для сопрано...

— Точно так...

— Позвольте...

И скрипка мгновенно настроена, и раздался сильный звучный голос, которому сначала сопутствовало легкое пение смычка, мало-помалу скрипка стала стихать, замерла, и трудная ария, правда, без вычур и украшений, была пропета и пересказана с безупречною верностью интонаций и с замечательною правдою выражения. Есть лица, весьма обыкновенные, а при пении хорошеют, а тут... Напрасно рассказывать, нельзя и вообразить, не только рассказать подобных впечатлений. Березовский походил на скрягу, который нашел в лесу клад такого объема, что ни поднять, ни спрятать. То просил Матильду, чтобы пела, то прерывал пение, чтобы не услышали ее голоса на улице... «Одну зиму, Матильда, одну зиму, и не Ливорно будет для вас поприщем. Мы поедем в Болонью, в Парму, в Милан... Отошлите эти шесть червонцев Систо, отошлите, это задаток за тяжкую неволю; подайте сюда эти шесть червонцев, я их сам отнесу Систо, я возьму с него расписку, квиты! Мы с ним квиты! Мы не нуждаемся в его помощи... Мы сами предпишем ему условия... Слышите! Я скажу ему, что у вас нет таланта, решительно никакого расположения к музыке. Он оставит вас в покое, он забудет про вас... О, мы наделаем чудес!.. Но, Матильда!..— И Березовский посмотрел на нее так значительно, что та вздрогнула. Конечно, Матильда была очень молода, но жизнь при театре, а еще более заботливая Лючия открыли ей многое, что у педагогов почитается ненужным к объяснению молодежи. Не так поступала Лючия, она не старалась оставлять Матильду в невинном неведении, что значат пламенные обеты любезных юношей, богатые подарки пожилых мужчин и дружба пожилых женщин. Напротив, Лючия прошла с Матильдой теорию страшной науки светской любви между богатою львицею и хорошенькой актрисой. Странный слог речей Березовского уже порождал сомнение. *Мы*, да *мы*! Отчего же *мы*? Кто соединил их так тесно? И поедем вместе, и чудес наделаем, и этот страшный, палящий

взгляд, слишком ярко обличавший страстную думу, которую Березовский не успел досказать. Матильда не могла не вздрогнуть. Она видела ясно, что гость хочет уволить ее от зависимости Систо, с тем, чтобы наложить на нее свое ярмо... что за издержки существенные, за труды и хлопоты учения он предложит страшные, отвратительные условия. Протянув руку, бледная, она хотела предупредить удар, отвести молнию, но Березовский не видал ее движения, он отвернулся и не знал, как сказать то, что думал. Мысли, как корабли в узкой бухте, стеснились, и ни одна не могла выйти...

— Матильда! Матильда! — наконец робко проговорил он.— Искусство — мысль божия и живет только в чистом сосуде... Птица поет так сладко, потому что она невинна... Ах господи, какое мучение, вы меня не поймете, да я и сам не приберу слов для моей мысли... Страсть можно выражать верно тогда только, когда мы сами испытаем эту страсть, ах, не только, совсем не то... Или лучше сказать, почти то... только не так. Представьте себе девушку: она любит, желает любить, потому что, когда она любит совсем, тогда уже любви не выразить, но когда выйдет замуж, тогда перестанет любить, и не то, что перестанет любить, но уже не пропоет своей любви. Артисту надо понимать страсть, а не чувствовать. Не любите, Матильда, если можете, никого не любите страстно — и я отвечаю за ваше первенство... Искусство — есть пост страстей, математика нравственная, уединение в толпе, борьба с целым светом, с самим собой... Матильда, достанет ли у вас сил? Матильда, свободно ли ваше сердце?..

Речь Березовского удивила не только Матильду, но и Лючию; хозяйка наскоро набросила на себя платок и выбежала в гостиную посмотреть на чудака, который учил молодую девушку не любить. И как же удивилась Лючия, когда нашла, что учителю не было и тридцати лет и что, по наружности, он мог научить совершенно противному. Жар, с каким говорил Березовский, убеждал Лючию в его искренности.

— Ваши советы очень хороши,— сказала она, как будто давно была знакома с Березовским,— но не забудьте, что Матильда — женщина...

— Или петь, или хозяйничать на кухне, кормить детей, быть женой!..

— Нет! — почти вскрикнула Матильда.

— Ну, вот и все! Давайте петь!.. Заприте окна... Нет ли у вас комнаты поуединеннее?.. Постойте! Нет! Я не могу...

Мне дурно... Мне жарко... Оставьте меня одного... Я подумаю...

Березовский схватил шляпу и ушел. Скрипка и ноты остались на столе. Удивленные дамы провожали его глазами... Березовский не знал Ливорно, да если бы и знал, это бы ни к чему не послужило. Менее чем в четверть часа он очутился за городом, шел по прекрасной битой дороге; по обе стороны в небольших промежутках красовались большие и малые летние домики, во многих ставни были еще заперты: так еще было рано; дорога вдруг круто повернула, и вид моря своим великолепием и внезапностью поразил Березовского. Он остановился, оглянулся: красивый двор, домик, за ним тенистый сад, перед забором на дороге скамейка. Все это в порядке вещей; Березовский почувствовал усталость — и это в порядке вещей, он присел на скамью и возбудил опасения чутких собак: продолжительный их лай вызвал к калитке старика, который издали еще кричал: кто тут? зачем пришел? Но, увидев Березовского, почтительно снял шляпу, поклонился и сказал: «Не извольте бояться, сеньор, моих сторожей, за решеткой вы безопасны».

— Это твои собаки? — спросил Максим Созонтович рассеянно.

— Если хотите, одна только моя, вот эта бурая, а та другая, видите, вот та пегая, старая, дороже для меня, чем своя...

— Отчего же она тебе дороже?

— Оттого, что она была любимицей сеньора Антонио.

— Так что ж из этого?..

— А то, что сеньор был мой благодетель...

Березовский встал и пристально посмотрел на старика.

— А где же твой сеньор?..

— У бога. Умер с горя, а добрая госпожа с детьми, может быть, умирает с голода, выгнали ее из этого дома, а кому он нужен? Вот другой год продают, никто его не хочет и даром, там, говорят, трое сряду разорились, никто не хочет быть четвертым... Хоть бы наняли, а то скука, будто в пустыне, а от города и четверти мили нет...

— Видно, дорожитесь?..

— Куда! Сначала запросили что-то много денег, потом стали сбавлять, а теперь поздно, лето на исходе, чуть не даром отдают...

— Да за сколько же?..

— Стыдно говорить! Вот и вчера приходил приказчик, говорит: «Пиэтро, что, никто не нанимал?..» Я говорю

нарочно: «Как никто? Были...» — «Так что же ты?» — «Да что я, давали цену на смех, я не смел...» — «А что же давали?» — «Да стыдно говорить. Пятьдесят пиастров на год...» — «Отдай, Пиэтро, отдай! черт его побери, заколдованный дом; только деньги вперед...»

— Хорошо, Пиэтро, хорошо! Вот тебе и деньги вперед! — сказал Березовский, опуская руку в карман.— Сегодня же сюда переедут жильцы... Но, Пиэтро, ты здесь не можешь оставаться...

— Это почему?

— Потому что нельзя...

— Так спрячьте же ваши деньги назад. Без меня никому не позволю жить в доме моего благодетеля...

— Ты прав, Пиэтро, прав! Но ты исполнишь ли мою просьбу?

— Посмотрим.

— Никто не должен знать, кто здесь живет...

— Только сами не проболтайтесь, а уж я никому не скажу, кроме приказчика.

— И приказчику нельзя!

— Так что же я ему скажу?

— Скажи, что наняли русские, вот и все тут, да прибавь, что отчаянные, не любят, чтобы к ним чужие ходили, понимаешь?..

— Если вы правду говорите, так и мне что-то страшно...

— Почему?

— Да помилуйте, слышно, будто они самих турков побили.

— Да ведь то турки...

— И то правда...

— Ваших не трогают...

— И то правда... Ничего дурного не слышно.

— Приходится им тут у вас с флотом зимовать; так для жен, для детей веселее жить за городом.

— Право, веселее. Вот я, так и в город никогда не хожу. Стукотня, беготня, толкаются на улицах, так что, право, стыдно... Ну, так быть по-вашему. Я пойду комнаты проветрю; не хотите ли взглянуть...

— Нет, приятель, мне все равно и некогда...

И на этот раз Березовский шел в город бодро, весело, ровным шагом и прямо к своей ученице. Он застал все семейство за скудным завтраком; как будто домашний человек, взял последний стул и присел к столу.

— Все идет как нельзя лучше,— сказал он с веселым спокойствием.— Вам надо бежать из Ливорно! Не пугай-

тесь! Бежать из этих опасных ущелий, где в каждой норе таится ядовитый зверь. Я нашел для вас тихое и безопасное убежище! На берегу моря, в виду Ливорно.

И Березовский рассказал, где и за сколько нанял он для них квартиру. Не без труда согласились дамы туда переехать; надежда сделаться известною певицею и быть в состоянии возвратить Березовскому все издержки заставили Матильду принять предложение. Положили переехать ночью, чтобы никто не мог узнать, куда исчезла Матильда. Старый Космо приготовил все к переезду. В сумерки явился проводник. Березовский, дамы и дети, под его начальством выступили в поход пешком, за ними шел небольшой обоз под надзором Космо. На повороте к морю Березовский указал на красивую усадьбу, и Лючия вскрикнула, судорожно схватив Березовского за руку.

— Что с вами? — спросил он заботливо.

— Великодушный сеньор! Я оттуда изгнана законом!

— Как!

— Это мой дом! Там сокрушилось мое счастие,— и в коротких словах рассказала свою не интересную, но всегда, однако же, страшную историю, потому что повесть всякого несчастия ужасна, хотя бы это несчастие заключалось в коротких словах: утонул, сломал ногу, и прочая. Читатель легко может представить бурю смешанных ощущений, волновавших Лючию и Матильду, когда они приближались к старому монастырю, как они во дни счастия называли свою загородную усадьбу; но уж никак не вообразит он себе, что делалось с Космо и Пиэтро, когда они встретились у ворот. Господа вошли в сад через калитку, далече от Пиэтро, и потому встреча с Космо была совершенно для него неожиданна...

— Космо,— закричал он.— Космо! Ты служишь русским! Ты покинул нашу добрую госпожу! Ты... Ах ты, ветряная мельница! Пусть тебе ветер изломает крылья, искрошит...

— Пиэтро! молчи! Я и сам ничего не понимаю, вижу чудеса и дивлюсь милосердию божию... Снимай эту рухлядь, ты ее узнаешь! Отпускай погонщиков! Тогда потолкуем...

Пиэтро, качая головой, шепотом бормотал свои сомнения и проклятия, но повиновался старшему, разгрузил обоз, отпустил погонщиков, которым было заплачено вперед, запер ворота и сказал с чувством:

— Ну, Космо! оправдывайся!

— Пойдем, Пиэтро, пойдем! Посмотри, кому я слу-

жу...— и потащил его в покои. С первого взгляда на Лючию и ее детей Пиэтро чуть с ума не сошел от радости. Без всяких чинов целовал то детей, то Лючию и с тем же намерением подошел к Матильде; она стояла у окна и тихо разговаривала с Березовским. Странная мысль блеснула в голове Пиэтро и сожгла его радость. Он отступил от Матильды в ужасе...

— Что с тобой, Пиэтро! — спросили все, не без страха и участия.

— Так что же это вы думаете! А! За болвана, осла считаете вашего Пиэтро! Вы думали: Пиэтро пустынник, Пиэтро в город не ходит, Пиэтро нас не любит, он об нас не заботится и не знает... Все знает Пиэтро, все. Он сидит вон на том камне, темно, теперь не видно, да все равно, вы знаете эту мохнатую глыбу, там сидит Пиэтро, туда к нему приходят старые знакомцы и рассказывают!.. О, лучше, сто раз лучше, если бы я их не слышал!.. Но неужели вы думаете, что я на все на это позволю...

— Что такое? — нетерпеливо спросила Лючия.— Растолкуй!..

— Прост Пиэтро! куда прост! Уж ему не понять всего этого греха и соблазна! А я еще чуть не прибил старого Джузеппо, когда он стал рассказывать, что дочь нашего доброго Вальоне... Собаки разделили мое негодование... искусали бедного — а выходит, он прав!.. Театр!.. Видишь, куда понесли старинную честность!.. Свели выгодное знакомство с этим народом, что побил самих турков... И мой дом, святой дом...

Все поняли, что́ возбуждало негодование Пиэтро, но никто не мог да и не умел бы его разуверить. Один только Космо легонько ударил старика по лбу и сказал с улыбкой:

— Ах ты, голова, голова! А я на что! Ты думаешь, так бы я и позволил! Видишь ты, мудрость плешивая, золотые горы стояли перед моим носом, ты бы всю честность растерял, а я моего клада не выдал... Что говорить, театр подлое ремесло: только подметили, кошельки в руках задрожали: на, бери, Космо, только...

— И ты не взял, Космо!

— Ни одного, Пиэтро!..

— Ну, и защитил, спас?

— С театра, брат, мы увезли, от греха, не для греха! По милости этого благородного и великодушного человека!

— Бей турков! — закричал Пиэтро, схватив обеими руками за голову Березовского.— Бей врагов Христа и Девы Марии и разливай добро, где оно добро, а не шутка!

Здравствуй, благородный, здравствуй, великодушный... Но надеюсь, ты в этом доме гость, не хозяин...

— Гость! и пора мне домой! Твои глупые сомнения только задержали меня... Такой же верный слуга, как и ты, и братья ожидают меня...

— Ступай, ступай. Поскорей ступай! Не засиживайся! У людей языки красные, клеветой горят! Прощай...

— Прощай, Пиэтро! но не забудь условия! Тайна! Тебе расскажут зачем...

— Хорошо, хорошо! Я кусок стены здешнего дома. Я ворота: всех и все вижу, и все молчу, нем как они.

И Березовский наскоро простился со всеми и почти бегом отправился в Ливорно...

III

OPERA SERIA

На другой день Березовский посетил своих пустынниц в качестве учителя; пели долго, пели много; Пиэтро слушал с особенным чувством и утирал слезы умиления. Зная, что новая музыкальная академия желает сохранить строжайшее incognito, Пиэтро на длинных вервиях привязал своих собак к ограде на улице, так что пешеходы, проходя по другую сторону дороги, спешили миновать поскорее заколдованный дом... Березовский после урока не остался обедать, а возвратился в город, в сборное место всех русских, красную аустерию, где его давно ожидали дорогие братцы и городские сплетни. Братцы и великое число военных русских чинов уже сидели за общим столом; Березовский вошел в столовую залу во время огромного аккорда смеха и хохота; возбудившая его шутка уже летела далече, Березовский не озаботился ее воротить; полный блаженства необъяснимого он не расставался с Матильдой, с мечтами, говорившими только о ней, и, сидя на месте, сохраненном для него братцами, вместо супа, питался воспоминаниями... Прямо, насупротив, сидел моряк, оброслый бакенбардами, и подтрунивал над Ваней...

— Скрылась, исчезла, улетела, вот тебе и посредник! А мы без посредника всегда и начинаем и оканчиваем подобные истории. Да отчего же бы, Ваня, не поискать следов! Ведь не сквозь землю же она провалилась, не улетела же на облака... Нет, у меня бы она не ушла так легко, воротил бы с дороги, заставил бы...

— Да полноте, пожалуйте! — прервал Ваня.— Мне не до шуток!

— Крепко, видно, в сердце вцепилась...

— Теперь только чувствую, когда ее уж нет в Ливорне!

— И слава богу! Такая страсть могла бы довести до женитьбы! А моряк по природе существо однополое, холостое... В реках твердой земли не загуливайся, там везде на тебя западня или засада. Дай слово, Ваня, не влюбляться в певунью по уши, и я тебе отыщу беглянку...

— Полно шутить!

— Какие тут шутки! Не только отыщу — сведу вас, познакомлю и познакомлюсь и прочая...

— Старая хвасть! Спасибо!

Разговор продолжился бы далее до неизвестных последствий, но в залу вбежал Систо, весьма встревоженный, и глазами искал Березовского. Как коршун бросился Систо на академика и, схватив за руку, тащил из-за стола.

— Одно слово, великий муж! Мы обмануты, над нами посмеялась неопытная девушка. Ребенок одурачил стариков. Деньги мои пропали...

— Нет! — спокойно перебил Березовский.— Вот ваши шесть червонцев...

— Шесть! Но я заплатил...

— То ее собственность, а вот этот задаток Матильда возвращает вам с извинением, что не может исполнить наших общих желаний. Она совершенно отказалась от театра и уехала в Болонью...

— В Болонью!

— Да! Я долго спорил, признаюсь, для ваших видов, но она так упряма...

— Ох! Уж не говорите, пожалуйста, об ее упрямстве. Уж не я ли предлагал ей самые выгодные партии...

— Конечно, не в операх...

Систо опомнился и смутился. Деньги взял, спрятал, сказал: «Черт ее возьми! Она меня обманула, ограбила, но зато в другой раз буду умнее»,— и Систо скрылся, и след Матильды занесло в памяти бесчисленных обожателей ее красоты песком разнообразных впечатлений. Никто уже об ней не заботился. Как никто? Само собою разумеется, кроме Березовского. Каждый день утром продолжительный урок приправлялся продолжительною беседой; к обеду в Красном трактире капельмейстер и академик заводил русские песни, и все Ливорно собиралось слушать варварские напевы; каждый вечер ученый муж слушал несносную для него оперу и еще несноснейшую сеньору Ладичи,

казалось, он ловил ее недостатки, изучал ее средства, мучился соображениями. Наступила зима, победоносный чесменский флот с своими орлами уселся в Ливорнской гавани. Лучший дом, убранный с возможным великолепием, едва мог вместить гостей чесменского победителя; свои, чужие, все расточали похвалы и поздравления. Приличия и долг требовали того же и от Березовского: он явился к графу с невольным тайным страхом.

— Очень рад с тобой познакомиться! — сказал граф, когда Березовского ввели в турецкий кабинет.— Давненько в Италии?..

— Девятый год, ваше графское сиятельство!

— Слышал я о твоей славе и успехах. Очень похвально, любезный, да в России-то нет ни одного порядочного музыканта. Ты бы, братец, подумал об этом. Одних побед мало для славы государств. И то правда, не все вдруг, да пора начинать. Вот Державин хорошо стихи складывает, чай Лосенку ты видал, порядочный живописец: пора бы и за музыку...

— Ваше графское сиятельство...

— То-то же! Надо, братец, ехать в Россию. Я отправил бы тебя курьером к матушке государыне, да еще, чего доброго, без меня тебя затрут, запутают; нынче и нашего *брата* оттирают, много ли увидишь, когда станешь ходить *в потемках...*

На словах: *«брата», «в потемках»*, граф усиливал голос, как будто намекая на возраставшую тогда силу князя таврического.

— Ваше графское сиятельство...

— Да, мой любезный! Будь ты искусный коновод, я взял бы тебя к себе, у меня — как у Христа за пазухой, сюда, братец, в это сердчишко, клевета не найдет дороги... У меня добро на рысях ездит: русская рысь, батюшка! русская! Ей везде дорога; умеем, кормилец, и круто поворачивать!..

Граф встал и с приметным неудовольствием прохаживался по комнате. Березовский собирался что-то сказать, да граф не дал...

— Так, любезный, ты в этом году не поедешь в Петербург, ты мне здесь нужен, надо потешить наших удальцов русскою оперой, любо им будет слушать своего сочинителя. Так распорядись же, любезный! Тут есть какой-то плутишка Систо, у него есть театр и комедианты, скажи ему, что я приказал тебе написать, а ему представить твою оперу, на эту зиму не успеешь, а уж на ту, верно, справишь-

ся, а я тебя утешу, скажу тебе искренно: то будет последняя зимовка, и ты увидишь матушку государыню! Я сам тебя представлю...

— Ваше графское сиятельство!..

— Хорошо, хорошо, любезный! Благодарности твоей мне не нужно. А есть ли у тебя деньги, чем прожить? Верно, нет! И какие у тебя деньги! На, любезный, на — двести червонных покуда, довольно для начала! Ступай с богом, только чур не лениться, жаль, если твоя физиономия меня обманет...

— Ваше...

— С богом! с богом! Не благодари! то есть не лги! пока ничего не сказал, ничем и не обязан, а наговоришь, да не то выйдет, жаль... Ну, прощай!

— Я хотел просить ваше сиятельство за моих братьев...

— А что? Попались в историю, нашалили?

— Не приведи господи!

— Так что же?

— Обратить на них милостивое внимание...

— Это их дело, любезнейший! Ни твое, ни мое! Ты же умел обратить на себя общее внимание, пусть стараются. А впрочем, так и быть, для тебя по весне возьму их с собой в экспедицию, на берегу подвигов не высидишь. Ну, прощай, некогда! а нужно будет, пришлю за тобой!

И граф придвинул кресло к столу и отвернулся. Что сталось с Березовским? Какие мысли вынес он из турецкого кабинета? Голова его горела, сердце билось, но от чего? Предстать пред светлые очи императрицы, оковавшей мир чароподобными подвигами, красотою царственною и государственною мудростью, предстать яко первому русскому музыканту, с громким именем, с блестящими надеждами, для прямой, патриотической цели; начать в России новую эпоху по части, едва там известной; дать русской музыке тело и душу... А Матильда! Драматический род был всегда не люб для Березовского, но отомстить Ладичи, Систо, публике, в ариях, нарочно придуманных для голоса и средств Матильды, доставить ей верную, несомненную победу.— А Матильда? — Что ж Матильда! Ведь не расставаться же с нею, напротив, теперь чаще можно с нею видеться; мысль о любви, эта пошлая ежедневная мысль не появлялась в голове так хорошо устроенной и настроенной. Максим Созонтович с триумфом объявил своим дамам о поручении графа: они так обрадовались, с возрастающим жаром, с избытком самодовольствия сказал он и о своем отъезде в Россию — и веселость дам исчезла; выражение

тайного страдания разлилось по лицу Матильды; Лючия задумалась; Березовский огорчился, что такое почетное назначение не радует его друзей; он старался разогнать неприятное впечатление, сам не понимая отчего и ему вдруг стало грустно. Лючия поспешила на помощь, и разговор возобновился. Стали толковать о выборе сюжета. По естественному сочувствию и можно сказать по тогдашней моде, обратились к Метастазио, делателю превосходных либретт, но книги не было, и Березовский отправился к Систо... Он не нашел его дома. Сеньора Систо и сеньора Ладичи завтракали с двумя молодыми людьми; сеньор Систо, само собою разумеется, тут был лишний и по всегдашнему своему благоразумию и любви к сцене отправился на репетицию. Миловидная девушка, исполнявшая должность слуги, остановила Березовского и не позволяла войти в столовую. Максим Созонтович, узнав, что тут Ладичи, сказал служанке, что он прислан с приказанием от такого лица, которое не терпит никаких отлагательств и препятствий, велел служанке не медля ни минуты сбегать за Систо, а сам, к немалому удивлению хозяйки и гостей, вошел в столовую...

— Сеньор Массимо!

— Не беспокойтесь, сеньора! Я вас не потревожу, продолжайте ваши занятия, а я обожду...

— Но вы не можете отказать женщине и не принять участия по крайней мере в беседе...

— Обязательность ваша...

— Помилуйте! Какая тут обязательность,— сказала хозяйка, разгоряченная, может быть, разговорами, а может быть, и вином.— Садитесь сюда, к нам, вот так! — и почти насильно усадила Березовского между собою и Ладичи.— Вы человек опытный,— продолжала она,— помогите мне просветить вот этих новичков! Я их уверяю, что двум братьям никак не следует влюбляться в одну и ту же женщину...

— По крайней мере неблагоразумно,— заметил Березовский, рассматривая двух братьев новичков. Нельзя было по виду угадать, который из них старше: и тому и другому было, как казалось, не более двадцати лет; несмотря на молодость, они не могли щегольнуть наружностью, но одежда, булавки, пуговицы, перстни обличали богачей, а речи — купцов ливорнских...

— Вот вам! — сказала хозяйка, продолжая разговор.— Я уверена, что сеньор Массимо одобрит и другую мысль мою, не должно любить женщину, которая нас не любит...

— Ну, с этим можно еще поспорить...

— А что, видите, прелестная Мария! — вскочив, сказал один купчик.— Видите?

— Вот например,— сказал Березовский, покраснев до ушей,— я знаю, что вы меня не любите, ненавидите, а я...

— Кто вам сказал? Какой вздор? Мы с вами и виделись всего раза три, и то в театре... Мы об этом никогда ничего и не говорили...

— А вы позволите поговорить с вами о любви?..

— Да вы видите, что мы здесь говорим все о любви, отчего же вы одни не можете...

— Но прежде я желал бы поговорить с вашим мужем.

— Муж никогда не мешается в дела жены, в этом отношении я завела у себя в доме отличный порядок. Откушайте!..

И Мария подала Березовскому добрый стакан вина, приправленного соблазнительным взглядом и коварною улыбкою; Березовский горел как рак, но вино выпил, поцеловал руку Марии и посмотрел на нее так пламенно, так проницательно, что Мария совершенно забылась; выдумала какой-то странный, неуклюжий предлог к разлуке, и купчики должны были уехать.

— Послушайте! — сказала Ладичи с важностью.— Вы, как вам угодно, но я не намерена терять таких богатых обожателей. Вы обещали мне уступить одного, вы хотели поделиться, а теперь и я и вы в потере...

— Полно, мой друг! Оба твои! Оба! ручаюсь! Перестанем говорить об этих несносных торговцах. Обрадовались, что отец умер. Они полюбят еще десять раз. Это детская причуда. И если бы я в самом деле искала их знакомства, если бы я любила эту буйную жизнь, о, я иначе направила бы их детские чувства. Я не хотела им сказать наотрез: подите прочь! Мне жалко их молодости. Видишь, любезная, наше положение в свете дает пищу этой уличной дерзости. Ты очень молода еще! Хочешь ловить, а я наказывать... Перестанем говорить об этом...

— Ах нет, Мария! Нет! Об этом тонком наказании я люблю рассуждать. Я сам человек мстительный и желал бы научиться...

— Чему? Полно, полно! Все эти разговоры для меня несносны. Станем лучше говорить об искусстве, я потеряла голос, но любовь моя к музыке не угаснет... Когда-то, Массимо, мы вас услышим!

— Сейчас!

— Неужели! Вы так добры...

— Для вас, Мария!

— Пойдем к клавичембалам...— Мария повела Березовского за руку в другую комнату и по дороге жала эту руку нещадно. Чудеса! Стыдливый Березовский отвечал тем же. Усевшись за фортепьяно, Максим Созонтович испугал уши слушательниц мудреными переходами, в каждом обнаруживая глубокую, оконченную ученость, но вдруг этот хаос звуков прояснился, малосложный мелодический ритурнель проигран, и светлый, чистый, серебряный тенор запел каватину, торжество и славу сеньоры Ладичи. Примадонна была поражена как громом; все трудности, которыми она так гордилась, изливались из мужского горла с такою легкостью, с такою непринужденностью, как будто их выделывал кларнет, расположение силы голоса на всю каватину вовсе не сходствовало с манерой Ладичи; тысячи оттенков сообщали плохому музыкальному сочинению интересный характер; как статуя, бледная, неподвижная Ладичи стояла у клавесина, к концу арии брызнули слезы досады, с последними аккордами ее уже не было в комнате...

— Не понравилось! — со смехом сказала хозяйка и, взяв стул, присела к Березовскому.— Ах, Массимо! Что я слышала! Мне кажется, это пели ангелы! Не пойте больше! Не пойте! Я не снесу этого пения, дайте к нему привыкнуть! Но послушайте, Массимо, вы с умыслом пропели эту арию? Скажите, с умыслом... Не правда ли? Чтобы выжить эту несносную кокетку, чтобы остаться... Скажите...

— Вы угадали!.. Мария! Долго я боролся с самим собой, долго противостоял вашим огненным взглядам, вашим вздохам, приглашению вашему: я боялся повиноваться; не правда ли, их внушала...

— Вы угадали, Массимо! Вы угадали! Но вините судьбу, с первого взгляда я полюбила вас... Массимо, вы меня не осуждаете?

— Вы простили невежу, который даже не отвечал...

— А вы получили эту безумную записку?..

— Вот она...

— Тише, тише, муж идет! Я его не боюсь, но...

Березовский заиграл на фортепьяно триумфальный марш, под который и вошел в комнату Систо. Импресарио едва верил глазам своим. Во все время пребывания Березовского в Ливорно Систо не переставал докучать ему оперой; кроме академической Болонской славы Систо рассчитывал и на патриотизм слушателей; и угождениям, искательствам не было конца, в театре и Систо и жена его

расточали вежливость, ласки, даже нежности; Мария искренно помогала мужу: крепкое сложение придавало фигуре и лицу Березовского красоту марциальную, и хотя Мария уже не была способна любить по всем правилам страсти, но зато пылала, томилась жаждой минутных восторгов, частые встречи, равнодушие к ней Березовского, все это волновало Марию до безумия, она не устыдилась писать к нему, была презрена — и не переставала обдумывать путей желанной цели. Муж, всегда в этих отношениях спокойный по расчету, на этот раз был спокоен по убеждению, полагая, что поведение жены было плодом угодливости и корыстных общих намерений. Он надеялся на победу, но не ожидал видеть ее так скоро и вот — Массимо у него в доме как старый приятель; возле жены, играет, поет; твердый металл расплавился, теперь из него можно все сделать, что угодно...

— Откуда этот марш? — закричал Систо.

— А что, нравится?

— Да это просто чудо, прелесть, очарование, так и напевается! Ради бога, откуда?..

— Из моей оперы!

— Что вы говорите! Вы пишете оперу! Наконец вы бросили пустые предубеждения. Ага! Сценическая, громкая, живая слава задела вас за живое?..

— Нет! Я не пишу оперы! А так иногда от нечего делать, от томительной скуки на этом рынке, который называют городом, и мне приходят на ум оперные шалости... Вот не хотите ли прослушать и каватину; она без слов; скажите только, хороша ли форма, как вам понравятся украшения, я спою ее своим голосом... Послушайте!

Систо присел и вытянул уши; Березовский импровизировал большую арию со всеми современными причудами...

«Это будет нравиться не одним русским,— думал Систо, слушая пение,— это во всей Италии будет иметь ход... У меня не спишут тайком!.. И все будут ездить сюда, ко мне, в Ливорно... Этой оперы станет на два карнавала. Но надо скрыть чувство удивления, а то станет дорожиться...»

— Прекрасно! — сказал он громко, когда ария была окончена.— Право, хорошо! Ручаюсь за большой успех...

— Да что мне в нем. Я не намерен писать оперы.

— Почему же?

— Потому что не сто́ит! Что за нее дадут? Двести, триста червонцев, а потом даром будут разыгрывать на всех итальянских театрах.

«Черт его побери! — подумал Систо.— Двести чер-

вонцев! За эту цену можно списать шесть опер». Впрочем...

— Послушайте, сеньор Массимо, об этом предмете станем говорить без шуток...

— Станем!

— Во-первых, не спишут. Это уж мое дело. Но я желал бы, чтобы первая ваша опера была исключительною принадлежностью Сан-Себастиана...

— Пожалуй! Но в таком случае я получу от вас пятьсот червонцев!

Систо уничтожился, присел и зажмурился.

— Пятьсот червонцев! — запищал он.— Вспомните, что карнавал у нас тянется какой-нибудь месяц, я за всеми расходами не выручу и половины.

— Полноте! Выручите вчетверо... Я это знаю...

«Знает! Истинно знает...— подумал Систо,— и оттого дорожится!»

— Положим, маэстро, положим, что я выручу эту сумму, но вспомните, что я весь в долгах, отец семейства, а вы человек холостой, одинокий, зачем же вам так много денег?

— Забавный вопрос,— со смехом сказала Мария.— Я уверена, что Массимо шутит, а ты хотел говорить с ним без шуток и пускаешься в торг. Скажи, что можно дать по твоему расчету, и я уверена...

— Что можно дать... червонцев сто...

— И это вы говорите опять без шуток...

— Уж я прибавлю еще сто...— сказала Мария.

— А я еще сто и это последнее,— отвечал Березовский, встал с места и взял шляпу...

— Послушайте, великий муж! Корыстолюбие унижает художника.

— И содержателя театра, а труд должен быть заплачен. Я отправлюсь в Милан и возьму вдвое...

— Помилуйте. Миланский театр разорился.

— Я помогу ему поправиться...

— Там в этот карнавал будут петь оперу мальчишки; никто для Милана писать не хочет.

— Тот мальчишка — Моцарт, я поставлю себе за честь сразиться с таким соперником...

— Двести пятьдесят!

— Триста... Прощайте!

— Триста! Но одно условие: на тот карнавал, потому что на этот уже все готово, и срок близок.

— Триста и три условия: первое, деньги на стол, когда

принесу рукопись, второе, разучивать я не буду, я только посмотрю последнюю репетицию. Третье, и самое главное: петь как написано, не переделывать по-своему ни одной нотки. Теперь напишем контракт...

— Очень хорошо... А какой же сюжет? Какая опера? Seria [1], Buffa?.. [2]

— Seria! Слова Метастазио...

— Постойте! Вот это прекрасная мысль, я нигде не мог достать музыки на Демофонта, говорят, пустая, в Вене упала, но слова прелесть!.. Угодно...

— С удовольствием...

— Ну, жена, ты займи гостя, а я сбегаю за нотариусом.— И Систо с особенною торопливостью убежал из комнаты.

«Черт возьми, триста! — думал он дорогою.— Все равно, перейдет к жене, может быть, его же деньгами заплатим, только бы Мария не оплошала. Надо ей дать время. С такими медведями нелегко ладить. Чего же я бегу... Тише, тише, Систо! Шагом, шагом! Иногда медленность доводит к цели скорее поспешности...»

Напрасно медлил Систо. У Марии было слишком много и мало времени, чтобы окончить роман свой. «Ах, Массимо! — сказала она, когда ушел Систо.— Мы опять одни! Наш дом точно рынок! Нам могут помешать...»

Максим Созонтович ходил большими шагами по комнате и не слушал страстного лепета Марии. Он рассуждал: хорошо ли поступил он, что не объявил Систо воли графа. Но червь самолюбия уже точил и это доброе сердце. Он был уверен, что не мог бы написать ни одной порядочной нотки, если бы принятием своей оперы на Ливорнский театр он был обязан силе и значению графа. Обращение его с Марией до этого дня, без сомнения, заставило бы его употребить все средства, угрозы и так далее, чтобы отклонить мужа от всякой с ним сделки, а сеньора Ладичи помогла бы ей своим адским усердием. Надо было устранить, разрушить все препятствия. Все удалось, как нельзя лучше. Но контракт еще не подписан, и Березовский протянул руку Марии. Странно и удивительно, как женщина, эта гордая, недоступная повелительница всех наших желаний, поступков, одним взором посылающая мужчину на все жертвы, на смерть,— в те мгновения, когда решается увенчать его пламень, становится не царицей, а рабой, не награду подает

---

[1] Серьезная *(ит.)*.
[2] Комическая *(ит.)*.

она за жертвы и лишения, а платит униженно дань своему повелителю, становится игрушкой его своенравных восторгов. И Мария, дрожа и пылая, целовала руку Березовского, влекла его в объятия, но не увлекла...

— Мария! — сказал он грустно.— Неужели и для меня нет исключения! Я мечтал, я надеялся, что сердце твое чисто, что случай только, твое невыгодное для женщины положение в обществе заставило, как ты называла, уличную дерзость распускать о тебе недостойные слухи... Да! Я должен признаться, долго боролся я с этими слухами и бежал, может быть, счастия, но теперь... мы одни. Скажи, что́ увлекло тебя ко мне, чем заслужил я твою любовь... Опера! Я пишу ее для тебя, я хочу высказать мои чувства в звуках потому, что я не умею говорить словами.

Бессмысленно смотрела Мария в глаза Березовского, не понимала ни его, ни себя; и страсть и стыд метали сердцем; чтобы оковать новую жертву, надо было в глазах его поддержать достоинство женщины, он еще не совсем ослеп, взоры его отуманены красотою Марии, но этого мало: надо помутить рассудок, надо притвориться, не жрицей Киприды предстать его художническому воображению, а тихою голубкой ворковать невинную повесть безгрешных ощущений. Опытная женщина, в самом разгаре страсти, способна изнасиловать сердце, отсрочить, чтобы не потерять навсегда вожделенного торжества. И Мария ударилась в слезы; Березовский не испытывал еще в жизни своей действий этого ужасного средства, но добрый гений берег его, он снес, выдержал пытку, слезы сменились упреками, упреки ласками и тихой повестью любви Марии... Все эти акты любовной комедии поглотили много времени, больше, нежели сколько находил для того нужным Систо. Во всех своих поступках благоразумный и осторожный Систо еще на лестнице стал говорить с нотариусом о невыгодах своего положения так громко, как будто пел бравурную партию.

— Diavolo! — прошипела Мария.— Очень нужно спешить с глупым контрактом. До свидания, Массимо, до свидания...— И порхнула в другую комнату.

Контракт написан, переписан и подписан. Березовский исчез, пропал, изредка видали его в театре, в отдаленных рядах, у Опанаса набралось множество записок разного формата, и все покоились нераспечатанные в самом темном углу чемодана; бог знает почему, Опанас полагал, что они когда-нибудь пригодятся; братцы, узнав волю графа, не беспокоились о постоянном отсутствии Максима Созонтовича, которого видали раз, два в неделю, пусть его пишет

оперу, они тоже были заняты любовными похождениями, по милости братца деньги и у них водились. Чего же больше? А братец? В виду окон Матильды, в рыбацкой избушке, усердно писал «Демофонта». К весне первый акт был совершенно окончен. Партия примадонны была испещрена, обременена самыми отчаянными вычурами, каких и не снилось Ладичи, но с тем вместе в главных драматических местах разливалось широкое, исполненное чувства, возвышенное пение. Рисунки мелодий были столько же новы и правдивы, сколько украшения нарядны и затейливы до роскоши. И как все это пела Матильда, как успехи ее превосходили все надежды Березовского, объем голоса, по его методе, распространялся более и более, и казалось, терял уже естественные пределы диапазона... Наступила весна; встрепенулись морские орлы, распустили широкие крылья и улетели плавать над классическими водами старой Греции; Ливорно опустел почти на половину народонаселения; отправив братцев в экспедицию, Березовский распростился с городом, рассчитался в гостинице, забрал Опанаса с прочими вещами и совершенно заперся в своем уединении, только и ходил он каждое утро на урок к Матильде: пел с нею и для нее «Демофонта», который быстро приближался к окончанию. Вечер посвящался труду и музыкальным размышлениям; в душе, полной лирических дум, Матильде почти не было места. Солнце садилось за далекие горы. Восточный ветер ложась струил адриатические волны, темнело, Опанас стоял у открытого окна.

— Полноте, право,— говорил он громко.— Вот уже и на свете божием темненько, а в этой лачужке зги не видно. Вы не кошка. Где же писать музыку в потемках...

— Сейчас, сейчас, Опанас... Остается только две строки для духовых... Не мешай...

— Вот уж духовых бы я поменьше, городские дудилы так фальшат, что не приведи господи. Намедни, как я был в театре, чуть не оглох от труб... Чур им... Правда, и на скрипках больно нескладно нарезывают, да уж куда не шло, то таки трудно, на то и скрипка, такой и штрумент уже, что без фальши не заиграешь.

— Конечно! — закричал Березовский не своим голосом и, захватив пук исписанной нотной бумаги, без шляпы опрометью бросился к заколдованному дому; видно, и Лючия и Матильда сидели у окна, видно, глядели в ту сторону, где стояла рыбацкая избушка, видно, да уж не знаю почему, а обе поспешно бросились в сад, выбежали на улицу и встретили Березовского тревожными вопросами: «Что с ва-

ми, что случилось?» Матильда забылась совершенно, схватила его за руки и дрожа шептала: «Массимо, Массимо! Бога ради, не змея ли?..»

— Опера! — отвечал он в восторге.— Опера! Вот она от начала до конца, от первой до последней нотки, вот она: моя месть! вот она: торжество моей Матильды! Я сдержал слово! Я свободен! Я блажен! Пойдемте! Пойдемте! Вы увидите, как помогло мне само небо!..— И все бросились к клавесину; когда поставили ноты на передок, расположились петь и слушать, тогда только заметили, что стало совершенно темно, а свечей не было! Подали свечи, и финал удивил, привел в восхищение всех, даже самого Березовского... Матильда, этот строгий, разборчивый, даже привязчивый критик, не нашла никакого повода сделать малейшее замечание, а прежде без этого не обходилась; она так заботливо хлопотала о «Демофонте», как будто о собственном произведении; в течение года Матильда уже была посвящена в тайны композиции; трудная музыкальная математика в изложении Березовского казалась ей наукою общественной, игры вроде лото или домино! но не эта математика руководила ее советами и замечаниями; тайное, неопределенное чувство вкуса или чего хотите, вспыхивало как порох при удачном переходе, разливалось в блаженстве при верной и красивой мелодии, кипело бурно при страстных порывах звуков и также чувствительно оскорблялось пошлостью, тосковало при общих местах, негодовало, когда в музыке заметно было безвдохновенное усилие, напряженный труд или изысканность... И всех этих впечатлений не умела скрывать Матильда, и все эти впечатления служили законами и нередко вдохновением для Березовского. Но он, счастливец, он не страдал от неудач, он только восхищался тем, что́ нравилось Матильде. А чем она была недовольна, то равнодушно перечеркивал и рад был случаю написать лучше, угодить Матильде, себе доставить удовольствие в удовольствие Матильды. А она? Поймите капризы женщин! Она в тот день, когда Березовский с неудачным номером весело возвращался в рыбацкую избушку с твердым намерением заменить плохое изящным и уже обдумывал перемены,— она с печалью прощалась с учителем, с печалью провожала его взорами, с печалью иногда до ночной тьмы глядела на море, само собою разумеется, в ту сторону, где торчала рыбацкая избушка. Она сердилась на себя, зачем огорчила маэстро, зачем... и давала себе слово твердое не мешаться более в чужие дела, скрывать свои впечатления, и оставалась при обетах. На-

утро, когда Березовский с робостью входил в заветные ворота, когда явственно раздавались его обычные вопросы: встали? здоровы? Матильда дрожала, с стесненным сердцем выходила в гостиную, она боялась за новую неудачу, за пошлую нотку, за поспешную небрежность аккомпанемента... Поймите капризы женщин! Я их не понимаю, а рассказываю и уверяю вас, что во всей опере финал доставил и маэстро, и Матильде, и впоследствии всей публике наибольшее удовольствие. Три раза повторили финал и задумались, да задумались так грустно, так печально, как будто услышали горькую весть, какая-то пустота томила жаждой и Березовского и Матильду, как будто они играли в интересную игру, и она кончилась вничью. Поймите капризы людей! Опера написана, во всех последствиях нельзя было сомневаться, да они и не думали о последствиях. Ну, что ж, опера написана! Да! написана, но души, которые пред тем страдали над этим срочным трудом, за окончанием возложенного на них поручения, остались праздными; невидимая нить, связывавшая два сердца одним общим делом, оборвалась; правда, они сидят так близко друг к другу, но это физические пустяки, наступила нравственная разлука, для этой тоски тесны духовные сосуды, чету разлучило море грусти... Лючия не могла участвовать в этом разрыве, но дружба имеет свойство угадывать чужие чувства чрез отражение; она почти поняла в чем дело и поспешила нарушить это опасное, безмолвное спокойствие...

— Теперь,— сказала она, не без принуждения,— теперь вы не можете отговориться от нас работой. Все кончено. Мы вместе поужинаем...

— Да, кончено! — сказал он со вздохом.— Я свободен от труда, но никогда душа моя не требовала так сильно совершенного уединения, как сегодня.

— Вот уже я этого не позволю. Такой счастливый день мы должны провести вместе. Слушайте, погуляйте с Матильдой по саду, в комнатах душно, а я похлопочу об ужине...

— Лючия! — почти вскрикнули оба, как будто боясь остаться наедине, но Лючии уже не было. «Правда! Душно! Очень душно! — тихо сказала Матильда,— пойдемте!» И, потупив головы, гуськом, и она и он вышли на небольшую террасу, уставленную цветами.

Темно-синее небо, усыпанное яркими звездами, благоухание цветов и весенней зелени, торжественное безмолвие ночи хоть кого расположат к задумчивости, к чувствам нежным, грустным; и без предшествующих поводов к раз-

мышлению можно задуматься, замечтаться, а у наших друзей на сердце стояла целая ярмарка, шум, гам, толкотня, пестро, разнообразно, ничего не поймешь, ничем не уймешь! На террасе стало хуже чем в комнатах; можно решительно поручиться, что ни Березовский, ни Матильда ничего не думали о любви до окончания оперы... Но опера окончена, и цепи страстей порвались как гнилые бечевки, и зашумела буря, ей же нет названия. Будущность, как это бесконечное небо, разостлалась ковром перед их воображением, искрошилась в вопросы: Что будет? Дадут оперу, а после чего? Много славы, да в славе что? Приятно, да както воздушно, неудовлетворительно? Что будет после славы? Не век же оставаться вместе учителю и ученице; но почему же бы и не остаться? Что из этого будет? Но ему надо после оперы тотчас ехать в Россию, а ей надо стяжать не одну ливорнскую известность, у нее много долгов, надо их заплатить, и она такова, что за деньги заплатит только деньгами, она, пожалуй, и любить перестанет, если не в состоянии будет рассчитаться. Да разве она уже любит? Кажется. Повесть раскроет истину; а теперь, на этой террасе, трудно добиться от них слова. Вздохи и больше ничего; глаза, полные слез, сверкают тихим отблеском звезд; вот и все тут... самая романическая беседа, и я никак бы не повел моих читателей на эту несносную террасу, если бы не знал наверное, что все серьезные беседы начинаются красноречивым молчанием. Эти паузы необходимы в житейской музыке, без них пришлось бы задохнуться музыкантам... Правда, речитатив, которым прерывается это красноречивое молчание, глупее самого молчания, но что же делать. Все речитативы глупы, и есть законы, не терпящие исключений.

— Чудная ночь! — сказал Березовский с глубоким вздохом.

— Да, ночь прекрасна,— отвечала Матильда,— прекрасна, хотя все-таки тяжело, душно...

— Да, не легко!

Речитатив затруднился. После краткой паузы:

— Какую звезду вы больше любите, Матильда?

— Для меня все равны, кроме вот этой... Я не могу смотреть на нее без страха...

— Это звезда моего холодного отечества!

Матильда вздрогнула, и рука, указывавшая на север, упала, будто сломанная.

— Отчего же этот страх, Матильда! — сказал Березовский, садясь на скамью в задумчивости.— И у меня бывают

припадки безотчетного предчувствия, Матильда! Поверите ли, в Ливорно и я познакомился с небесным сводом; прежде мне до звезд не было никакого дела; прежде море для меня было огромною лоханкой, без всякого значения... Теперь ропот его наводит на меня уныние, звездное небо — тоже, а эти северные звезды вселяют тайный страх, который проходит только после свидания, то есть после приятной беседы. Неужели в этих странных ощущениях таится капля существенности.

— Не дай боже!

— Никто как бог! Он там за этими звездами, он нас видит теперь, Матильда, перед лицом его теперь много молящихся... О, звезды, мои звездочки! Я понимаю вас! Вы с упреком сверкаете в глаза мои, вы зовете меня на место, к предназначенному подвигу... Я спешу! спешу! Я не уклонился от обязанности!

— Об чем вы это говорите, Массимо? Вы...

— Матильда! У каждого свои мысли и у меня свои; три любви на этом свете: к родной земле, к родному искусству, к родным... Первая паче всех! Весь я, вся моя душа целиком должна лечь на службу отчизне. И звезды зовут меня; нечему учиться мне по своей части в Италии, да и возраст учения миновался; надо учить; родное искусство мое — музыка; а там у нас в России еще и учиться не начинали, на одного на меня пало счастие — проникнуть в это таинство; я нужен теперь государству, как генерал, как судья, как купец, тех еще много, а я один и сижу в Италии, пишу итальянские оперы, трачу время, принадлежащее моим соотечественникам.

— Так вы почитаете это время потерянным?..

— О, нет, Матильда! Тут есть и уступка от промысла в пользу человека, это срок льготы, который мы должны употребить для родных, и я употребил его с пользою. Я отдал все мое состояние братьям, я обеспечил их будущность; я был так счастлив, помог раскрыться и развиться вашим колоссальным способностям. Вы теперь на безопасной высоте...

— Так вы и меня считаете родною?..

— Больше, Матильда! Больше! Клянусь небом...

— Пожалуйте ужинать! — раздался голос Лючии, и беседа прервалась на самом интересном месте, но последних слов Березовского было очень довольно для Матильды, она вошла в столовую такая веселая, радостная, сияла счастьем, улыбалась краше утренней зари, дышала блаженством; разрумяненная внутренними ощущениями, она была невы-

носимо прелестна, и Березовский понял наконец, что еще есть на свете четвертый род любви, который эту новую родную отделял от семьи кровных и друзей. С этих пор каждый день они проводили вместе: северные звезды возбуждали в них то же странное чувство страха, но эти ощущения пролетали легким облаком, и небо блаженства их опять было светло и чисто. Само собою разумеется, что «Демофонт» был между ними самым деятельным посредником. Матильда пела свою ужасную партию в совершенстве; время летело быстро, и однажды, когда под вечер наши пустынники скромно ужинали на открытом воздухе и любовались видом шумного моря, на отдаленном горизонте показались знакомые ветрила. Легкий попутный ветер нес в Ливорно целое стадо кораблей, ближе, ближе; смеркалось, и сумерки осветились вспышками пороха на кораблях, тишину ночи нарушили пушечные салюты: русский флот воротился.

— Неужели осень! — закричал Березовский.— Они пришли за мной! Матильда! Наше блаженство рушилось! Матильда, не выдавай меня...

— Что это значит? — спросила Лючия, изумленная выходкой Максима Созонтовича.— Опомнитесь, Массимо!

— Да! да! Вы правы! — отвечал Березовский, потирая рукою лоб.— Где права мои? Кто я! Что я! Бедняк, служка, птица в клетке... Да! да! Я и забыл! У меня есть обязанности! О, я полечу, я их исполню! Матильда, руку! На год, не больше! Прощайте, Матильда! Не пройдет и года! Имя ваше будет греметь в Европе! В Петербурге итальянская опера, в Петербурге любимейшие композиторы Италии! Надеюсь, очистят место, когда придет его законный властитель. Надеюсь, они посторонятся перед болонским академиком и капельмейстером, перед русским композитором. Они должны уступить! Я их заставлю, я... О, тогда, Матильда, вы приедете в Петербург, вы уже будете богаты, я с достатком; мы будем обеспечены. Не правда ли?..

— Я вас не узнаю, Массимо,— сказала Лючия.— Я уверена, что Матильда никогда не согласится...

— Напротив! Напротив! — закричала Матильда в свою очередь, вскочив с места.— Я принимаю твой вызов, Массимо! Вот тебе моя рука! с ней и сердце и клятва в неизменной любви.

— Матильда!

— Массимо!

И к неописанному удивлению Лючии, любовники без всяких церемоний обнялись, поцеловались и, проливая радостные слезы, бросились на шею Лючии.

IV
ОТЪЕЗД

Рано утром, в знакомом турецком кабинете, граф в халате принимал поздравления. Ему что-то нездоровилось. Он был всем и всеми недоволен, в ответах своих он был необыкновенно короток, сух, в вопросах замысловат, странен, может быть... Но в этом отношении причины неудовольствия графа пусть разгадывает история. Очередь приема гостей дошла и до Березовского.

— А, здравствуй! Что, опера готова? Хорошо разучили?

— До карнавала, ваше графское сиятельство, еще...

— Глупо! Я еду завтра! Оставайся ты тут с своей оперой, а мне некогда. Только смотри, чтоб было хорошо. Не осрами и не осрамись. Вот тебе денег на подмогу, а по весне приезжай в Петербург. Ну, прощай, любезный! Дай бог свидеться в Петербурге подобру-поздорову. Прощай!

И Березовский ушел без особенных каких-либо ощущений и отправился к Систо. Там господствовало великое замешательство и волнение. Систо ходил большими шагами взад и вперед по комнате. На него с коварной и злобной улыбкой глядела Мария; полуодетая, она покоилась в мягких креслах, возле на табурете без спинки вертелась Ладичи, перебраниваясь с первым певцом и другими сюжетами труппы; на полу были раскинуты целые тюки нот, в них рылась подслеповатая и неопрятно одетая фигура...

— Ну что, нашел? — спросил Систо.— Верно, продал, мерзавец! Целиком продал! Я берег эту партицию на черный день, про случай, а он... Изверг! и продал за безделицу, за фульету испанского вина! Посадил меня на мель этот академик...

«И меня!» — подумала Мария.

— А ты, Систо, я думаю, и задаток отпустил в полцены! Принял бродягу за академика и капельмейстера...

— Теперь уж не то время, чтобы отличить плута от честного человека. Уехал! Не велика беда, подумал я, времени много, поездит по разным городам и воротится... А он — хотя бы слово написал. Разорил, просто разорил, взял вперед больше половины денег, связал меня, спутал... И без оперы! Тогда как... Боже мой! Сеньор Массимо!

Березовский стоял посреди комнаты с огромным фолиантом под мышкой; Систо стоял перед ним в позиции удивления; Мария вскочила и, онемев, оставалась в неподвижном изумлении; прочие менее или более разделяли то же чувство. Первый опомнился Систо.

— И с оперой,— закричал он.— Право, с оперой! Да здравствует великий муж и его опера! Кресла сюда, клавесин, круг, круг, становитесь в круг, станем слушать...

— Не беспокойтесь! Клавесина не нужно. Вот стол, вот опера, пожалуйте по условию деньги...

— Как? Но...

— Я исполнил волю графа, исполнил условие — теперь за вами очередь...

— Но все, однако же, надо посмотреть...

— Что это! Уж не собираетесь ли вы заняться разбором моего труда. Это не по вашей части, Систо. Кончим! Я должен уведомить графа, чем мы решили...

— Давайте решать!

— Давайте деньги!

— Деньги верные...

— Когда будут в моем кармане. Опера еще вернее, вот она, извольте смотреть, я вас не обманываю... Не хотите ли взглянуть и на контракт, может быть, вспомните!..

— Я очень хорошо помню, но согласитесь сами, что, не видав ни одной нотки...

— Прощайте! Мне, право, некогда! Я доложу графу о вашей исправности и поеду в Милан, чтоб не терять времени...

— Да что же это вы, из денег хлопочете, что ли? Стану я затрудняться такими пустяками, вот ваши деньги!..

— Верно! простите! — и, положив деньги в карман, Березовский хотел уйти.

— Массимо! — раздался дрожащий женский голос. Березовский вздрогнул. Он не знал, что сказать, как обойтись и очень хорошо чувствовал всю неловкость своего поведения. Мария во всяком случае имела право на соблюдение общественных приличий, и Березовский подошел к ней, поклонился, хотел что-то сказать, но Мария его предупредила:

— Где это вы пропадали, Массимо?

— Я провел эту весну и лето как лаццарони, на берегу моря, питался устрицами, улитками и музыкой; этих лишений требовала опера...

— Надеюсь, вы нам пропоете что-нибудь из этого образцового произведения...

— Вы услышите его на сцене гораздо лучше...

— Но до карнавала далеко... Мы можем и вовсе не услышать...

— Не мой убыток, сеньора! Я свое получил — и спешу из Ливорно. Возвращусь к самому представлению, к последней репетиции, но еще раз напоминаю последнее условие и прошу артистов не переменять ни одной нотки! Простите!

И Березовский, неловко поклонясь, ушел; Мария, дрожа от злости, схватила за руку Ладичи так сильно, что та чуть не вскрикнула, и увлекла ее в свою спальню.

— Сто раз я помогала тебе, Ладичи. Помоги мне один раз... Не быть этой опере на сцене во что бы то ни стало...

— Нет, Мария! Мстить, так уж позволь мне... Дать оперу, дать, спеть, разыграть, но как: все вверх дном; ни одной нотки живой не останется, все переиначу! На последней репетиции спою как следует, а на первом представлении смех, стыд, поругание — вот что я доставлю этому гордецу... Не правда ли, моя месть умнее...

— Сто, тысячу раз... Но, кажется, муж нас подслушивает,— и Мария шепотом досказала свои желания и мысли.

Прошло около трех недель. Партии были расписаны, тщательно перепроверены, разосланы. Прошло еще несколько времени. Березовского нередко видали в театре с дамами, но дамы были в масках; ночевали в гостинице, а утром ни их, ни Березовского уже не находили в гостинице; а искали? любопытные офицеры от нечего делать, да Мария; чутко было ее сердце: опасны преследования, и дамы перестали бывать в театре. Березовский не скрыл от них прошедшего. Братцы получили чины и награды и кутили в новых званиях и с новыми средствами, как истинные победители турков, но уважали тайну братца, даже Опанаса не смели про нее расспрашивать. Все шло самым обыкновенным и совершенно не романическим порядком. Дни, недели мелькали; начались репетиции, наступила последняя; кроме Марии, посторонних никого не было. Березовский явился в урочное время со всею важностью маэстро. Почтение, с каким приветствовал его Систо и все артисты, показывало, что опера им понравилась. Березовский держал в руках афишку и капельмейстерский жезл.

— Мне кажется,— сказал он спокойно и сухо,— вы поспешили, Систо, объявили слишком рано, поставили себя в неприятную обязанность завтра дать «Демофонта» непременно...

— Да отчего же нет? Опера идет как нельзя лучше!

— Посмотрим, посмотрим!

— Как, великий муж, вы решаетесь сами вести оркестр...

— Разумеется! Начнем же, господа!

Все уселось, откашлялось, вооружилось инструментами, и по мановению палочки Березовского раздалась превосходная симфония, замечательная античною простотою и величием; в самом деле, музыканты постарались и проиграли симфонию с отличною отчетливостью; первые сцены прошли недурно; вышла примадонна, и с первых пассажей Березовский остановил репетицию.

— Сеньора! — сказал он с кроткою улыбкой.— А условие! Вы оставили почти одно нагое пение, все мои арабески пропали...

— Неужели их можно петь? — тоже с улыбкой сказала Ладичи и значительно взглянула на Марию, которая в полумраке злилась и горела нетерпеливою местью.

— Видно, что можно, если написано! Потрудитесь пропеть вполне...

— Помилуйте! Да этого не сыграет и скрипка.

— А споет человеческий голос.

— Кажется, я это лучше вас понимаю...

— О нет, сеньора! Я профессор пения, я знаю возможности человеческого голоса... Так не угодно ли?

— Нет! Я с этими украшениями петь не буду...

— В таком случае лучше вовсе не петь...

— По мне пожалуй!..

— И по мне тоже!..

— Что вы, что вы! Помилуйте! — закричал Систо.— Завтра представление! Уже объявлено!..

— Вспомните условие...

— Да если оно невозможно!

— Систо! — сказал Березовский строго.— За кого вы меня принимаете! Разве я полоумный, что ли, и стану писать неисполнимое! Угождать капризам ваших певиц! Стыдиться труда своего! Отчего же другие могут петь, а только одна примадонна...

— Да когда все эти ужасы и сидят в моей партии...

— Стыдитесь, сеньора, говорить такие вещи! Вы пренебрегли партиею, не дали себе труда поработать и не можете петь... Но я объявляю торжественно, что завтра же, если вам не угодно петь как написано, я остановлю представление на первой вашей перемене и прикажу опустить занавес!

— Так пойте же сами! — закричала Ладичи в бешен-

стве, швырнула свиток с партией прямо в лицо капельмейстеру и убежала; и Систо и Мария бросились за нею, а Березовский спокойно поднял свиток, поправил свечу, настроил лежавшую возле запасную скрипку и стал на свое место...

— Не беспокойтесь, господа! — сказал он с невозмутимым хладнокровием.— Станем продолжать репетицию. Все уладится. Покуда я за примадонну.— И репетиция пошла вперед. Березовский тщательно инде играл на скрипке, инде пел партию Ладичи, и опера шла как нельзя лучше... В финале первого акта с криком вбежал на сцену Систо.

— Что вы! — кричал он.— С ума сошли! Пробуете без примадонны! Ступайте к ней! Молите! Просите! Мне она сказала наотрез: «Не буду петь!»

— И не нужно! Молчите! Не мешайте,— грозно сказал Березовский и продолжал финал. Систо, немой от удивления, смотрел то на капельмейстера, то на артистов. Ему казалось, что они все сошли с ума; то щупал себя за голову и не знал, что подумать обо всей этой истории. Кончился первый акт. Систо опять пристал к Березовскому.

— Но подумайте, великий муж, как же это будет...

— Ах, какой вы несносный, Систо! Будет хорошо, превосходно. Я и не знаю, как благодарить господ артистов... В Болонии, в Милане мне не удавалось встречать такого согласия, такой твердости; восхитительно! Теперь, господа, кончим репетицию и не откажитесь со мной откушать во здравие «Демофонта»!

— Да здравствует «Демофонт» и его родитель!..

— Право, они с ума сошли! — кричал Систо.— Все до одного с ума сошли, со мною включительно. Да вспомните, ради самого бога, что у вас нет примадонны...

— Систо! говорю вам без шуток! отвяжитесь! Нам не до вас! Ступайте прочь, занимайтесь своим делом, приготовляйте костюмы, декорации, лампы и побольше билетов; после репетиции приходите ко мне обедать...

— В сумасшедший дом разве...

Но речь его заглушил сильный аккорд. Репетиция пошла своим порядком. Во все время слышны были одобрительные восклицания музыкантов и плач Систо.

Репетиция кончилась аплодисментом исполнителей оперы.

— Теперь ко мне, господа! — сказал громко Березовский, и страшный стук ящиков и гул голосов сменили стройные звуки «Демофонта». Березовский уходил из театра, Систо бежал за ним и кричал по-своему: «Шутки

в сторону, маэстро! Вы не знаете здешней публики. Мы с нею не разделаемся! Она готова убить меня и вас...»

— До этого не дойдет, Систо! Но я вижу, что вас нельзя унять. Послушайте! У меня есть брат, который по несчастию... вы меня понимаете,— превосходно поет сопрано... Чур, секрет...

— Отсохни язык!.. но это все похоже на сказку...

— Слушайте! Он еще очень молод, женоподобен и красив... Но если вы меня выдадите!..

— Убей меня гром небесный!

— Завтра пропоет он... Партию он уже знает и пропоет без репетиции... Так завтра он, а послезавтра, вы увидите, Ладичи у нас же будет просить прощения...

— Великий муж! Вы все предвидели! О, эта Ладичи! она сто́ит такого урока, право, сто́ит; сотрем рог ее гордости...

— Но вы видите, куда влечет меня авторское самолюбие. Для славы моей я жертвую репутацией моего брата. Понимаете? И потому вы должны первое: завтра на афишке не ставить лиц, а только роли...

— Весьма умно! Не поставлю ни одного лица, кроме вашего.

— Второе: сколько у вас выходов со сцены?

— Два, один в театре, другой на подъезд...

— Хорошо! Там будут держать стражу мои люди. Ни Ладичи, ни ваша жена не должны быть пропущены на сцену...

— Я скажу, что вы взяли все на себя, скажу, что граф не приказал; да уж я скажу, не бойтесь, а покуда...

— А покуда, и сегодня и завтра, до самого вечера настаивайте, чтобы Ладичи пела. Она не согласится, это верно.

— Это так верно, как то, что ваша опера чудо...

— Стращайте правительством...

— А она притворится больною...

— И не придет в театр...

— И все сойдет с рук, как нельзя лучше. Публика будет благодарна, что мы не остановили представления... А что, ваш братец, в самом деле, поет...

— Лучше, гораздо лучше Ладичи...

— Да это просто чудо, прелесть! — и Систо на площади хлопал в ладоши, подпрыгивал, подбрасывал шляпу, к изумлению артистов, выходивших из театра. Но вдруг он стих, повесил голову и печально пошел за Березовским — и неудивительно! В окнах своей квартиры он увидел жену

и сеньору Ладичи. Заметив радость Систо и спокойствие Березовского и зная, посредством тайных посольств служанки, что репетиция продолжалась, дамы не знали, что гадать, что думать; подозрения возрастали и могли навести на опасную догадку, но после доброго обеда явился Систо, вино придало ему смелости, он настаивал, грозил — и дамы успокоились, душевно смеялись над легкомыслием Березовского. На другой день рано поутру появились небывалые афишки, прилепленные на стенах домов, на всех перекрестках, они возбуждали толки и привлекали толпу. Театр был в осаде, но Систо, всегда лично раздававший билеты, почтительно кланялся из своей конурки и докладывал публике с гордостью, что билетов нет в продаже. Весьма многие молодые и богатые люди обращались в подобных случаях к жене Систо, к примадонне и к другим важнейшим членам труппы. Но каково же было их удивление, когда Ладичи не принимала никого за тяжким недугом, жена Систо не хотела никого видеть... Весть, что Ладичи не будет ввечеру петь, разнеслась по городу с быстротою самой нелепой сплетни, значит, быстрее молнии...

— Слышали, господа! — кричали осаждающие в задних рядах.— Оперы сегодня не будет.

— Будет! — ревел Систо во все горло.

— Ладичи больна...

— К вечеру выздоровеет!..

— Она при смерти...

— Это уже не в первый раз — и еще ни разу не умерла. На то есть меры.— Все Ливорно очень хорошо знало и ведало, что партия примадонны в опере Березовского ужасно трудна, что кроме Ладичи спеть ее некому, и потому не удивительно, что ввечеру, за час до урочного времени, в С.-Себастиано съехались не только слушатели, получившие билеты, но и те, которые не достали мест ни в кассе, ни у факторов Систо за плату, иногда вдесятеро превышавшую установленную магистратом. Публика сидела и стояла в потемках, громко требовала огня, но Систо презирал подобные требования и зажигал одинокую лампу, освещавшую амфитеатр ровно за десять минут до начала представления; притом же ему теперь было не до внутренней публики, внешняя крайне его беспокоила: она огромными двумя толпами окружала оба театральные крыльца, в особенности заднее. Систо очень хорошо знал, что в этих толпах скрываются такие обожатели сеньоры Ладичи, которые готовы взять театр приступом и наделать тьму самых неприятных историй; почему, забыв об лампах и костюмах,

Систо бросился к коменданту города, выпросил чуть не полк тосканских драгун; они оттеснили обе толпы на приличное расстояние, устроили просторную военную дорогу, по которой, немедленно по открытии, четыре трактирных лакея пронесли в закрытых носилках неизвестных седоков и выпустили их прямо в театр. Уличная публика только и могла заметить, что одна из прибывших в носилках особ была в греческом костюме и маске, другая в мужском плаще и также в маске. Огромные двери заперлись; ключ щелкнул два раза, и площадь с этой стороны опустела; но зато у выхода со сцены на театр происходило сильное словопрение между Опанасом и городскими щеголями. Привилегированные посетители закулисного края напрасно истощали все свое красноречие и доказывали Опанасу, что еще праотцы их имели свободный доступ за кулисы. Опанас сначала опровергал их права и притязания, потом махнул рукой, сел на деревянный табурет у самых дверей и на все фигуры слов и на все монеты закулисных гостей отвечал упорным молчанием. И с этой стороны осаждающие должны были отступить. Внизу, то есть по-нашему, по-нынешнему, в партере при слабом свете уже зажженной лампы, в темном углу собралась партия Ладичи и условливалась насчет дальнейших действий, но несколько неосторожных слов ей изменили, братцы их подслушали и подняли тревогу. Так как это было после обеда и разумеется обеда плотного, располагающего к великим подвигам, то и не удивительно, что к братцам пристали все обедавшие таким же образом и торжественно объявили, как будто друг другу, но так, что заговорщики не могли не слышать, — что всякое поползновение к шиканью, к метанью гнилыми яблоками и ко всяким иным беспорядкам они принимают на себя наказывать лишением уха, носа и других частей человеческой фигуры. В этот несчастный день во всем театре и его окрестностях не было уголка спокойного. И на сцене артисты, собравшись в круг, расспрашивали Систо: кто примадонна? откуда? и так далее. Но Березовский стоял близко, и Систо пантомимой наказывал молчание... И Березовский не был покоен. Как хотите, и Моцарт, и Мольер трепетали невольным страхом перед представлением даже последних своих произведений; нельзя привыкнуть к этому чувству. Оно создано из особенных ощущений, не принадлежит к психологическим каталогам чувств, и сходства с другими чувствами в нем мало; а у Березовского двойной страх и за себя, и за примадонну, несмотря на всю уверенность в высоких достоинствах и своего труда

и примадонны. Березовский дрожал всем телом, холодный пот выступал по лицу крупными каплями, ему хотелось бы и скорее начать представление и отменить его вовсе; но последнего сделать нельзя, и Березовский, громко сказав: «Пора!» — пошел в оркестр. Амфитеатр заволновался, но с первыми аккордами симфонии затих и хранил мертвое молчание до конца увертюры. Занавес поднялся при оглушительном громе рукоплесканий, и опять наступила тишина, и пение шло покойно, волнуя только искренних любителей и знатоков прелестью, простотою и новостью мелодий; но вдруг простота закудрявилась, оркестр сыграл ритурнель в высшей степени затейливую; внимание публики напряглось; во глубине театра показалась примадонна; по расположению пьесы она должна была издали, чуть не за кулисами, начать свою арию. И звучный серебряный голос рассыпался подобно блистательной ракете, на темном небе раскинувшей свои ослепительные блестки. Публика, будто один человек, вздрогнула: примадонна медленно приближалась к авансцене; из полумрака рисовалась дивной стройностью и прекрасным ростом роскошная женская фигура; костюм увеличивал прелесть; ближе, ближе, и передние лампы осветили очаровательное лицо Матильды, оживленное вдохновенным выражением; полуоткрытые уста, окончив первую часть арии, сомкнулись небесной улыбкой — и амфитеатр завыл, оглушая трубы оркестра. Несколько голосов кричало: «Matilda! Matilda! Divina!..» Волнение в оркестре увлекло общее внимание на Березовского; ближайшие музыканты, спешно оставив инструменты, подхватили его под руки; он плакал навзрыд слезами блаженства; умоляющий взгляд Матильды привел его в чувство, он схватил палочку, и оркестр загремел. Ария была докончена и представление остановилось слишком на четверть часа. Крики, стук, кошельки, цветы, платки, все это пришло в движение и смешалось в странный и общий хор; даже Систо и артисты до того забылись, что выбежали на сцену и громко кричали: «Матильда! Матильда!» Систо не преминул прибавить: «Убей меня гром небесный, я этого не знал и не ожидал! Никогда б не позволил, никогда!..»

— Прочь со сцены! — закричал Березовский.

— Прочь со сцены! — повторило сто голосов, и опера пошла далее, постепенно возрастая в успехе, так что последний финал угрожал разрушением старому С.-Себастиану. Занавес упал. Вызовы окончились, но публика не расходилась, ждала, ждала чего-то долго и разбрелась уже в потемках, потому что Систо приказал потушить лампу.

Замаскированная дама, в сопровождении Лючии в мужском плаще и маске, в тех же носилках благополучно воротилась в гостиницу, благодаря тосканским драгунам. Толпы восторженных слушателей провожали их до границы криками, песнями, и долго-долго, далеко за полночь бродили под тускло освещенными окнами... А Матильда? Она не раздевалась, она ждала кого-то и дождалась. Максим Созонтович вбежал в комнату как полоумный и бросился в ее объятия! Долго плакали все трое без слов, но голос Систо привел их в чувство...

— Маэстро! Вы погубили меня! Вы разорили меня! Они уже узнали! Видите, на лице моем кровь — это жена моя; видите, у меня нет парика — это Ладичи; нога болит; я летел с собственной лестницы, как падший ангел, только и разницы, что не в ад, а из аду. Что я буду теперь делать?

— Что хотите! Мы свое сделали! Вы нарушили условие. Я требовал...

— Знаю, господи боже мой, знаю, да что я стану теперь делать...

— Что угодно! «Демофонт» дан! Публика довольна! Мы отомщены, теперь можете сжечь мою оперу, я об ней не пожалею...

— Да я что буду делать! На завтра все билеты проданы, а кто будет петь, Ладичи не хочет...

— Заключите условие с Матильдой, она на этот карнавал, пожалуй, останется в Ливорно...

Систо стоял, вытаращив глаза на Матильду, и не знал, что сказать, на что решиться.

— Ну, послушайте, Систо! Теперь уже поздно; дамам нужен отдых. Пойдем ко мне...

— Да петь-то кто будет?

— Ладичи или Матильда... Но если Ладичи, так помоему. Не прощу ни одной нотки... Пойдемте!

И, простясь с дамами, Березовский утащил Систо в коридор...

— Постойте, маэстро! Не ложитесь! Пойдемте со мною к Ладичи, может быть, она согласится...

— Да мне какое до этого дело? Если Матильда не будет петь, я и в театр не пойду.

— Не пойдете? Честное слово?

— Пожалуй! Честное слово!

— Ну, смотрите же, ни ногой! Вы дали честное слово! Простите пока.— И Систо, как ни был разбит, бросился домой, но там, о, ужас! там нашел целую оргию. Жена его и Ладичи, в неистовом бешенстве, не зная, чем заглушить

вопиющую злобу, пировали с обожателями и покупали безумными ласками ужасные клятвы отомстить Матильде, Березовскому, Систо, всем, и отомстить завтра же. Дом Систо, всегдашний притон тайного разврата, обратился в открытый вертеп самых диких, бесстыдных страстей. Очарование было слишком сильно, по роскоши прелестей главной вакханки Марии. Не обинуясь, она громко объявила, что не останется жить с Систо, что убьет, зарежет его, как только увидит, что любовь ее тому наградой, кто чувствительнее отомстит за ее подругу Ладичи; обеты Ладичи были те же: и молодость клялась и ликовала, торжествуя вперед легкую победу. Как псы, бросилась вся компания на Систо, как только его зачуяла, но страх на своих легких крыльях унес его от погони прямо в гостиницу; Березовский впустил его в свой номер, дрожащего всем телом; он долго не мог выговорить слова, но как только оправился, тотчас начал старую песню:

— Да кто же будет петь завтра? Ладичи не будет! А билеты все проданы!

— Я вам говорил, Систо! Матильда; только надо заключить контракт по всем правилам...

— Так слушайте же, разбудите ее, станем торговаться...

— Ничего этого не нужно! Я за нее... за карнавал тысячу червонных — и дело с концом...

Напрасно Систо истощил все способы убеждения, чтобы сколько-нибудь облегчить участь С.-Себастиано и своего кошелька. Неумолимый Березовский умел воспользоваться своим положением, и к утру условие было написано, переписано, подписано, перед обедом засвидетельствовано всеми и городскими властями. И Мария, и Ладичи, и обожатели их, положившие страшную клятву, еще спали, когда началось второе представление «Демофонта», обеспеченное драгунами, Опанасом и братцами с братией. И Мария и Ладичи как львицы прибежали в театр посмотреть на падение Матильды и были свидетельницами только ее законного торжества; мстители еще одевались, пудрились, охорашивались, когда Матильда единогласно была провозглашена первою певицею Италии, и почти вся публика провожала ее в триумфе до крыльца гостиницы. На другой день все почетнейшие люди в городе искали ее знакомства; записные волокиты всякого рода и звания, в том числе почти все мстители, явились к ней с повинною головой, но, увы, уходили от нее влюбленные по уши и без надежды, унося с собою какое-то благоговейное уважение к женской

добродетели. Напрасно шипели злобой Мария и Ладичи, как змеи в траве, невидимые и безвредные, они обливались собственным ядом: с каждым днем слава Матильды возрастала; Сието богател; публика блаженствовала, и незабвенный карнавал доставил Европе певицу, каких немного видали на лучших итальянских театрах. Но всему есть срок в этой срочной жизни. Во вторник на первой неделе поста ударил колокол, зовущий грешников к покаянию; Ливорно стихло; весенние дожди и ветры обновили природу, флот русский готовился к отъезду; день разлуки Березовского с Матильдой приближался. Они боялись даже говорить об этом страшном дне, но благоразумная Лючия каждый раз наводила разговор на эту тяжелую тему. Березовский не сомневался в успехах своих в России; пример Моцарта не мог служить ему уроком, хотя он не раз удивлялся, что Моцарт, славный, знаменитый, истинное чудо в своем роде, скитался без места по родной Германии; Березовский был твердо уверен, что в Петербурге только и ждут его, что на другой же день он будет занимать первое музыкальное место, осмотрится и примется за реформу; Матильда в это время успеет удивить всю Италию, пропоет на важнейших театрах, карнавал проведет в Милане и через Вену, Дрезден и Варшаву приедет с торжеством в Петербург и там — и сердце Березовского замирало в избытке блаженства, и Матильда разделяла все эти надежды и чувства. Да и могло ли случиться иначе: контракт с Миланом был уже заключен; другие города звали ее на самых выгодных условиях, где на месяц, где на более; Березовский проводил Матильду до Венеции, был свидетелем ее торжества, поручил свою невесту заботливой дружбе Лючии, простился будто на один день — и воротился в Ливорно. Там уж давно ждали его, и на другой же день Березовский в красивой каюте на адмиральском корабле пустился в дальний путь. Адриатические волны и петербургские надежды убаюкали его сном сладостным; он проснулся . . . .

. . . .

V

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Уже несколько городов убедилось в справедливости слухов насчет ливорнской певицы. Матильда превосходила все ожидания; толпа волокит из города в город преследовали несравненную: но никакие хитрости, подкупы не удава-

лись; самые отчаянные селадоны не могли добиться минутного свидания с Матильдой; навязчивых, нахальных гостей принимала и отправляла Лючия — и весьма естественно; Лючия была и казначейша и домоправительница, она заключала контракты, получала деньги, расписывалась, закупала все нужное; никто не мог иметь самого ничтожного дела к Матильде; но прелести ее были такого высокого достоинства, что самые неприятные неудачи усиливали только, раздували людские желания, и в Вероне все возможные гостиницы и множество забытых, полуразрушенных домиков на предместьях — все было наполнено, набито приезжими из других городов обожателями. Знаменитая певица не знала, где остановиться в обширном городе; все было заблаговременно нанято; принуждены были нанять загородную виллу, но и там обожатели не оставляли их в покое. Серенады раздавались под высокой оградой, письма кучами приходили в руки Лючии и отправлялись нераспечатанные в огонь; но вот пришло письмо с почты; Лючия решилась распечатать и бросилась на балкон к Матильде.

— Письмо от Массимо! — успела прокричать Лючия, а Матильда уже читала:

«*Петербург, 7-го июля 1775 года.* Матильда! Здорова ли ты, Матильда! Хранит ли ангел божий лучшее творение божие, мою Матильду? Каждый день молюсь! На корабле в однообразной тоске морского пути душа моя пела молитву о тебе и напела эту тихую песенку, которую тебе и посылаю. Я в Петербурге со вчерашнего дня. Десять лет так изменили нашу столицу, что узнать трудно. Я боялся за тебя, думал, что, объехав лучшие города Италии и Германии, ты найдешь наш Петербург пустыней. Теперь не страшно. Само собою разумеется, я не успел еще и осмотреться; остановился в гостинице; Петербург пуст. Все в Москве; это у нас другая столица, центральная и старая, где коронуются наши государи и от времени до времени посещают старушку, весь двор там. Празднуют мир с Турцией. Опера, виртуозы, артисты, капелла, все там, и мне решительно нечего делать, некуда пойти. Ни души знакомой. Положение мое было бы незавидно, если бы душа моя не носила в себе неотлучной собеседницы, тебя, Матильда... Разлука — бог с ней... это жестокое страдание; слава богу, что не с кем говорить, нечего делать... Разлука, впрочем, имеет и хорошую сторону. Это мера нашим чувствам. Это время для самого трудного экзамена; я выдержал его, Матильда, и теперь во сто крат более люблю тебя. Все

к лучшему. Вольтер не прав. Право, все к лучшему. Когда я приехал в Петербург почти мальчиком, мне показалось, что меня привезли на кладбище, где и для меня уже готова могила. Когда я имел счастие, в старом деревянном дворце, за обедней, в плохом концерте, напевать неуместное соло, я испугался своей будущности... «Боже мой, боже! — думал я.— Только-то и цели в моей жизни! Зачем? Разве я не мог допеть моей жизни и в холмистом Киеве?» Но покойный Цопис сам немного знал, однако же открыл во мне музыкальное дарование. Кто ему шепнул, что меня надо посвятить в тайны композиции? Не думай, Матильда, что я обрадовался предложению Цописа. О, нет, я испугался, но приученный к повиновению старшим, горячо принялся за учение. Когда решили, что меня должно послать за границу, в Италию — я плакал с горя, не спал ночи: мне казалось, что Цопис хочет уморить меня, но повиновался, приехал в Болонью, учился, работал, мучился — не понимая, не постигая, зачем я все это делаю. В трудах моих не было никакого вдохновения; ничто меня не воспламеняло, не увлекало, в искусстве моем я не видел цели; естественно, я стал изнемогать, труд обратился мне в казнь, я боялся за рассудок; на краю пропасти я сам угадал необходимость дать занятиям своим какую-нибудь систему, отыскать цель — и бог благословил меня высоким чувством сознания в моем назначении для пользы и чести России. С тех пор мне стало легче, но признаюсь, и это чувство заключало меня в каком-то волшебном пустынном кругу, я жил будто не в свете, ничем с ним не связанный, и нередко я сравнивал себя с тучей — ходит высоко над землею, пьет воду, растет, тяжелеет, чтобы разлиться дождем над буграми песку и исчезнуть. И грустно было мне на этом свете, грустно, так грустно, что и улыбки не видал на устах моих ни Атаназио, ни Мартини. Пустота в моей жизни стала для меня заметна. Я ходил около нее, как бессмысленная лошадь на мельнице, не понимая, откуда и зачем этот однообразный стук колес и жерновов, и отчего под ногами земля ходит. Я сделан академиком. Не думай, чтобы эта честь сколько-нибудь меня порадовала. Ни на волос. Я считал обязанностью в отношении к России быть академиком не позже малолетнего Моцарта; я не читал моего диплома, и если бы не Атаназио, то, верно бы, не привез его с собою в Петербург. Письма братьев на мгновение оживили тоску мою, кровь заговорила. Я полетел к ним на крыльях, свиделся — и совершенно упал духом. Скажи, Матильда, зачем меня утащили из Киева, зачем отправили

в Италию, зачем учили, к чему бог мне подарил голос и музыку?.. О тебе, Матильда, заботилось провидение, и кто знает, может быть, я уже более не нужен на этом свете. Я не могу писать более... Мне грустно... Прости, Матильда!.. Нет! Я еще не могу с тобою расстаться, Матильда! Я провел весь день на открытом воздухе, любовался великолепной, оживленной Невой! Случай навел меня на старого знакомого, товарища по капелле, он спал с голосу и теперь служит в Сенате. Ах, как он обрадовался встрече со мною, мы проговорили с ним целый день, обошли почти все невские острова пешком, и признаюсь, я порадовался за Петербург. Несмотря на отсутствие двора, все рукава Невы покрыты большими ладьями, на них то публика, то музыканты, то песенники; со всех сторон слышались звуки рожков, кларнетов, фаготов; я тебе кое-что рассказывал о нашей роговой музыке, но сам еще не имел об ней порядочного понятия, на воде эффект этого оркестра поразителен, но на беду играют пьесы, вовсе несродные этого рода инструментам; я дорогой, гуляя с товарищем и слушая его рассказы, сочинил для рогов концерт, посылаю тебе его мотивы, напиши, что ты об них думаешь. Мой товарищ ужасно забавен. Сначала мне рассказал подробно разные училищные сплетни, потом, что у них делается в сенатской канцелярии. Представь, он не знает, что я сделан академиком и капельмейстером; на все мои уверения качал головою сомнительно и заключил опасением, что в Петербурге я никогда не буду капельмейстером. Чудак! «Полно, братец, полно,—говорил он мне.— Ты прежде не любил хвастать, теперь как по маслу...— Я не мог обидеться, а он продолжал: — Верю, братец, что ты теперь знаешь больше, чем знал, да куда тебе до Чимарозы и Паэзиэлло; первые в целом свете! Такие пишут оперы, что просто на диво...» — «А ты думаешь, что я не пишу опер!» — «Полно, братец, полно!» — «Да знаешь ли ты, что в Ливорно играли мою оперу «Демофонт»!» Он чуть не лег со смеху, признаюсь, это меня несколько огорчило! Как! Знакомый, товарищ, и тот не знает, что я академик, капельмейстер, что я написал «Демофонта»! Но так как занятия по службе могли его отвлечь от искусства, я утешился и перестал разговаривать о музыке. Но вот уже и утро, то есть солнце, потому что ночи здесь нет — легкие сумерки и только. Я измучен прогулкой. Завтра, то есть сегодня, идет почта; прости, Матильда! Да, милый друг, если можно, сделай моего «Демофонта» сколько-нибудь известным в Милане, во время карнавала и когда будешь ехать через Германию. Меня взбесил этот невежа! Итальян-

ских газет, как он сказывал, никто не читает в Петербурге; о миланском карнавале пишут и немцы; а это бы пригодилось по крайней мере для сенатских чиновников. Жду от тебя писем по прилагаемому адресу... До свидания, Матильда, когда-то мы увидимся! Весь твой *М. Б.*».

«*Верона, 22-го сентября 1775 года.* Друг мой, Массими! Я не писала к тебе так долго, потому что все поджидала из Ливорно «Демофонта». Но вот что случилось. Мария Систо, твоя любовь и моя соперница, узнав, что я прислала за оперой немало денег, ночью забралась в кладовую, отыскала партитуру и все голоса и предала нашего друга и наперсника огню. Не огорчайся, мой друг, горю можно помочь; я нашла в Вероне бывшего капельмейстера в Ливорно. Он уверяет меня, что помнит всю оперу наизусть и уже, с моею помощью, принялся писать партитуру. Пропусков и ошибок быть не может, потому что я знаю оперу лучше его, мне нужен только работник. Впрочем, я не упускаю случая блеснуть «Демофонтом». В знатных домах и раз на театре я пропела мою арию — и все были в восхищении. Кому же ближе заботиться о славе твоей, добрый мой друг и благодетель. Ах! скоро ли эти холодные имена заменятся священным именем супруга. Массими, Массими, ты прав! Разлука возвышает и усиливает любовь! На днях я оставляю Верону, беру моего капельмейстера и еду в Парму. Пиши прямо в Милан, потому что в Парме я долго не пробуду. Сделай милость, старайся поскорее устроиться, и я полечу к тебе на крыльях. Без тебя мне скучно, очень скучно. Мне кажется, я и пою хуже, и дурно играю, хотя добрая Лючия и уверяет меня, что я делаю успехи. Прости, милый друг, но кажется, мы с тобой не похожи ни на светских любовников, ни на романтических героев. Я иначе о тебе не думаю, как будто бы об отце, муже и детях вместе. Грусть моя велика от заботливых дум; я знаю, я помню, ты уехал, у тебя не было и трехсот червонных, деньги всегда нужны, с ними тебе и устроиться будет легче. Не прикажешь ли, Массими, прислать тебе пять, шесть сотен, у меня набралась денег куча, уже за две тысячи, ты велел беречь эти деньги, и мы не проживаем лишнего ни павла. Лючия — истинный Колберт. Напиши только, куда и как переслать. Я уверена, что ты не рассердишься за это на твою *Матильду*».

«*Петербург, 15-го декабря 1775 года.* Я получил письмо твое, Матильда, получил тогда, в такую минуту, когда без этой небесной помощи я не знаю что бы со мной сделалось... Не знаю, станет ли у меня духу, хладнокровия, чтобы рассказать тебе в порядке все, что со мною случилось. Не пугайся, Матильда! Буря стихла, но волнение еще продолжается! Я едва стою на ногах. Это было в день моего рождения, 21-го сентября. Ты как будто знала и на другой же день спешила меня утешить неоцененным письмом. Но мог ли я этого надеяться, мог ли я думать, мечтать!.. Да, недаром нас пугали северные звезды... Надо было верить небу... Надо было... Ах, Матильда, зачем я пишу к тебе? Скажи, не безумец ли я? Клянусь богом и всеми святыми, я не хотел писать к тебе; горя стыдом, я искал кого-нибудь, чтобы излить мои страдания, но Атанасио меня не понял, братья меня поздравили с позором; нет у меня ни живой души, которая бы могла понять мое положение. И как же ты хочешь, чтобы я не писал к тебе. О, Матильда, но после всего, что случилось, могу ли, смею ли обращаться к тебе... Признаюсь, я стыжусь об тебе думать, когда сижу на своем новом месте... Но будь что будет, Матильда! Прими мою исповедь и забудь меня. Да, это было в день моего несчастного рождения. Очень нужно мне было... Но... вот видишь. Я был один, как всегда; запершись, я доканчивал осьмиголосный концерт: «Не отвержи мене...» Я чувствовал какое-то небесное удовольствие от священного труда; ты, Матильда, право, ты одна сидела у стола и улыбалась так ангельски вдохновенной работе, и звуки будто слышимо лились на бумагу. Вдруг вошел Опанас и говорит: «Царица будет завтра».— «Ты почем знаешь?» — «Да приехали певчие, комедианты и дворская челядь. Печки топят, театр снаряжают». По счастию, концерт был совершенно окончен, оставалось дописать последнюю разрешительную каденцу; я бросил перо, наскоро оделся и пошел во дворец. В самом деле, это огромное здание, все время стоявшее пустырем, вдруг оживилось; везде мыли окна, люди бегали по крыльцам, кругом разнообразные дорожные экипажи. Я справился. Директор капеллы Сарти приехал; он жил недалеко от дворца, тут же на Мойке; я поспешил к нему. Он принял меня сухо, гордо, невыносимо и объявил мне, что для меня нет вакансии. Все помощники и его учителя в комплекте, а мне нет места! Мне! Да чье же место занимаешь ты, наемный пришлец? Мне, русскому, ты, чужеземец, не даешь приетанища в моем же отечестве, у меня дома! Ответ его меня рассмешил. «Про-

стите, маэстро,— сказал я, принуждая себя к учтивости.— Я совсем не за этим и пришел к вам. Место мне укажет ее императорское величество, всемилостивейшая государыня, а я пришел к вам только засвидетельствовать мое почтение как товарищу по ремеслу и свести необходимое знакомство». Ответ ему не понравился; он гордо окинул меня взглядом с ног до головы и сказал с запальчивостью: «Императорский певчий, не забудьте, вы говорите с своим начальником». Признаюсь, я не выдержал. «Кочующий музык, не забудьте и вы, что говорите с членом Болонской академии! Наше знакомство кончено. Прощайте!» Не знаю, хорошо ли я все это сделал, но признаюсь, я был и есмь доволен моим ответом. Прошло несколько дней. Я не выходил из дома, ожидал приказания представиться императрице и сочинял речи, какие намерен был сказать Екатерине; это было в воскресение, как теперь помню; я дремал утренним сном, досыпая до моего урочного часа, вошел Атанасио и доложил, что приехал из Царского Села, загородного дворца императрицы, красный лакей. Я поспешно оделся; лакей вошел и подал мне пакет: читаю — боже мой, боже, я хотел бы скрыть от тебя, Матильда, содержание этой страшной бумаги, но ты уже знаешь много, знай все — и забудь меня, ничтожного: «Возвратившийся из чужих краев камер-певчий Максим Березовский сопричисляется к певческой ее величества капелле, с окладом по четыреста рублей в год. О чем объявляя, предписываю вам явиться в контору капеллы для получения дальнейших приказаний». Подписано итальянскими буквами: *Sarti.* Что ты скажешь, Матильда, а? что ты скажешь на все на это? Забудь меня, забудь, я не достоин твоей любви; ничтожный музык со всеми моими заморскими титлами, со всею моею трансальпийскою славою. Забудь меня, Матильда. До этой минуты я не знал, что я самолюбив; не видели, не слышали меня и уже решили, чего я стою; и кто же? Какой-нибудь Сарти, которому так усердно дивится невежество, Сарти, который печатно не устыдился обличить себя в незнании музыки: он целой книгой доказывал, что Моцарт не знает музыки и пишет бессмыслицу! И этот Сарти за ухо посадил в клетку твоего Массими, подвел под уровень с толпою невежд, ремесленников самого низкого класса. В бешенстве я не знал что делаю; с добрую милю я бежал пешком в Царское Село; усталость заставила меня опомниться; меня догнал какой-то кухонный придворный экипаж; я стал проситься, и меня привезли на дворцовую кухню; вот я и в Царском. Но к кому обратиться, кому пожаловаться,

кого и об чем спросить? Я пошел куда глаза глядят; обошел я раза три весь дворец с пристройками; было уже не рано: вижу, музыканты один за другим идут во дворец; я к ним, начинаю говорить по-русски, качают головами и уходят; наконец один из них отозвался на мой вопрос довольно грубо: «Кого тебе нужно! Остерегись! Тут бродяг не жалуют; тут и Хандошкину иногда нет проходу...» — «Вы Хандошкин! — закричал я.— Вы знаменитый русский скрипач».— «Скриплю себе порядочно, а знаменитым, батюшка, нас не смей называть».— «Почему же?» — «Потому, батюшка, потому... Пусть после скажу,— а с кем, батюшка, не в обиду будь сказано, пришлось говорить...» — «Максим Березовский».— «Не слыхал, извини, родной отец, не слыхал!..» Матильда, скажи, нужно ли рассказывать тебе, как при этих словах заболело, закричало бедное сердце. Я стиснул губы, но глаза налились кровавыми слезами. «Что с вами, батюшка!» — спросил Хандошкин заботливо и поставил ящик со скрипкой на гранитную ступеньку. «Ничего, право, ничего... Пусть после скажу; кажется, мы не смеем называться знаменитыми, даже быть сколько-нибудь известными по одной и той же причине».— «А чем же вы, батюшка, знамениты? Простите неведению».— «В Петербурге пока ничем, а в Италии...» — «Ба, ба, ба! вспомнил, вспомнил! Граф Алексей Григорьевич что-то рассказывал».— «А где граф?» — «Да он здесь, вот тут за оранжереей в небольшом домике. Нынче не для всех есть место...» — «Я это испытал не хуже графа... Простите!» — «Куда же вы?» — «Да к графу». И не слушая, что говорил Хандошкин, я поспешил к указанному дому. Но графа не застал дома. Я пошел опять ко дворцу, в надежде встретить Хандошкина и свести с ним знакомство покороче. Русский, как ни груб, а все-таки свой. Смеркалось, из раскрытых окон полились очаровательные звуки превосходного смычка. Я забыл все, уселся на скамейке и пил эту чудную музыку, исполненную высокой энергии, великолепной простоты. Игра вполне соответствовала сочинению. Тут все было совершенно. Но не прошло и получаса, и все кончилось; прокричали браво, протрепали в ладоши, и музыканты стали расходиться. Почти все проходили мимо меня, в глубоком молчании, чуть не на цыпочках. Опять последним явился Хандошкин. «А! Вы все еще здесь. Видно, поджидаете...» — «Вас!» — «Меня!» — «Да кого же больше? Мы товарищи, мы должны познакомиться, потолковать...» — «Батюшка, помилуй, смерть хочу подкрепить

себя пуншиком; тоска, скука такая; пусть уж познакомимся завтра».

— Да разве вам не все равно, выпить стакан пуншику у меня или дома?

— Батюшка благодетель, вот уж и видно, что родной! Не согрешу отказом, а где твоя конурка? — Тут только я вспомнил, что у меня в Царском нет пристанища; по счастию, кошелек был со мной и я отвечал, что остановился в гостинице.

— Знаю, знаю,— сказал Хандошкин,— кто не знает обжогинского заведения, уж на городские харчевни не похоже. Пойдем! — и Хандошкин проводил меня в деревянный дом, довольно грязный; мы закупорились в самом отдаленном номере; Матильда, я стыжусь тебя, я пил, я не мог не пить, я горел, меня жгла неиспытанная жажда... Беседа пуще и пуще распаляла мое негодование. Я убедился из его ужасных рассказов, что итальянцы составили огромный заговор, с целью не давать русской музыке никакого хода, душить ее свежие побеги, если можно сгноить ее зерно в земле и обогащаться чужим достоянием. Итальянцев тут тьма; заговор идет успешно, потому что Чимароза, Паэзиэлло, Виотти, Дельфини, Мара, Тоди, Маркези, Маркети — люди с талантом; интрига умеет благовидно прикрываться их достоинством... Ах, Матильда, Матильда! Как хочешь, я не доскажу, чем кончился этот ужасный вечер... Нет, я не в силах сказать... Да и к чему тебе знать мой тяжкий грех! Я уже за него наказан, во многих домах уже громко называют меня пьяницей и положительно утверждают, что за границу молодых людей посылать не следует... Балуются, набираются дерзости, спиваются с круга... Я покорился необходимости... Явился в капеллу. Вот уже третий месяц — и только раз поручили мне пройти с певчими один концерт моего сочинения, присланный еще из Италии. Куда я ни обращался, везде видел, что Хандошкин прав. Мне нет, не дадут хода, в бездействии я просижу долго, долго, до смерти, потому что и года я не проживу в таком унижении. Мечты мои рушились! Матильда! Ты свободна; никому я не захочу, не позволю, чтобы ты погубила славный свой жребий для ничтожного, заживо погребенного человека. Я приучаю себя к этой ужасной мысли. Вечная разлука, вечная! И это еще лучшая сторона моего положения, потому что хуже будет, если я тебя увижу... Прости навеки!»

«Милан, 1-го марта 1776 года. Массимо, Массимо! Не нужно нам никого и ничего! Ненавистен мне театр, мне тяжка известность, но я не сниму этого бремени, пока не соберу подати со всей Европы для и за тебя, Массимо. Мой талант принадлежит тебе, я принесу тебе плоды твоих же трудов, мы утонем в общем забвении, проснемся для истинной жизни. Твердости, Массимо, твердости! Я не узнаю тебя! Не ты ли говорил: нельзя взойти на гору, благоразумие велит обойти ее; обойдем же, Массимо, эту пустую славу, не позволим грешному самолюбию волновать сердец, назначенных для семейного счастия. Знаешь ли, что я придумала. Тебе нечего делать. Напиши для меня оперу и пришли в Вену, я поставлю на своем, опера будет дана. Слава твоя, заглушенная заговорщиками, воскреснет, станут писать в газетах, дойдет до Петербурга, и великая твоя государыня обрадуется, что у нее в Петербурге живет первоклассный европейский композитор; от ее проницательного взора не укроется интрига; это событие может сломать все здание, удачно построенное корыстолюбивым коварством. Право так, Массимо! О себе не пишу ни слова. Ты одна моя забота, и прошу тебя, Массимо, не дурачиться, писать мне каждую неделю, исправно, со всеми подробностями, а чтобы тебя не отдали в пытку нищете и лишениям, посылаю тебе тысячу червонных из твоего же капитала. Найми себе порядочный дом, заведи хозяйство, опрятную мебель, хорошую прислугу. Это необходимо. Об этом просит, молит твоя *Матильда».*

«Петербург, 1-го мая 1776. Матильда, я уже простился с вами навсегда, я уже начинал привыкать к моему положению, живой гнил, влюблялся в ничтожество... Каждый день я убеждал себя, что вас и все прошедшее я видел во сне, в сладкой горячке. И вдруг вы напомнили мне, что все это было на самом деле. Нет, неправда! Этого ничего не было! Клянусь этим стаканом английского грога и пью его за мое ничтожество! Опера... Какой лукавый сон! И он уже снится не впервые; но как вы могли, как вы смели подумать, что я захочу, что я позволю себе жаловаться перед ненавистною Европой на страстно любимое отечество. Оно растет и процветает на глазах моих. Не одна музыка — много, много отраслей знания еще не начинались в нашем огромном царстве. Так что ж за беда! Придет время, и они выйдут из-

под спуда, а музыка и подавнему. Тут нет никакой ошибки, разве та, что я родился слишком рано, что полюбил музыку по свойственному мне неблагоразумию, как полюбил вас. Тут никто не виноват, кроме меня. Я все это очень хорошо понял, бросил в печку все мои сочинения, купил себе геометрию, учусь математике, хочу быть астрономом, чтобы заняться исследованием, какое имеют влияние звезды на судьбу человеческую. Не может быть, чтобы столько веков веровало в науку без сознания. Желаю вам, Матильда, успехов везде и больше всего при выборе человека... Деньги вам возвращаю; я не могу издержать и своих; братья уехали давно уже в армию; Атанасио я отправил в деревню. Надоел своими нравоучениями. Я теперь совершенно один. Мне ничего не нужно. Надеюсь, что вы перестанете думать о том, о ком теперь уже решительно никто не думает. С глубоким почтением и всегдашним удивлением к вашему высокому таланту всегда остается ваш покорнейший слуга *Максим Березовский*».

«*Петербург, 3-го июля 1776.* Надежда! Надежда. Она блеснула радужным крылышком! Матильда, я еще сам не знаю, верить ли моей радости. Но постой, я люблю все делать и рассказывать в порядке. Ты не знаешь, что у нас есть гениальный, колоссальный человек, граф Григорий Александрович Потемкин, он любит Россию не меньше меня, здешних чужеземных обирал крепко, не жалует, у него строят русские, поют для него русские песни, ест он по-русски. Словом, на большую руку русский человек. На днях его сделали светлейшим князем. Ты, я думаю, много слыхала про него в Вене. Его знает и уважает целый свет. Надобно тебе сказать, что он еще в прошлом году назначен генерал-губернатором в Южную Россию, где так тепло, как у нас в Ливорно, от моей родины два шага; князь полагает, и весьма справедливо, что музыкальная академия с большим успехом может существовать в Малороссии, что для удачи в этом предприятии нужен русский музыкант, и меня зовут завтра поутру к его светлости. Прости, что не пишу больше; почта скоро отходит, а мне еще надо похлопотать, достать напрокат порядочный кафтан и другие мелочи. Прости, до следующей почты. Весь твой *М. Б.*».

«*Петербург, 10-го июля 1776.* Ура! Да здравствует светлейший князь Григорий Александрович! Я, твой Мас-

симо, я директор музыкальной академии в Кременчуге! Слушай, Матильда, и радуйся! Прихожу, лакеи то и дело отворяют двери, а я себе иду да иду... Надо тебе знать, что я на себя похож не был: обрит, вымыт, в хорошем парике, в хорошем платье, выступаю себе по штучным полам, будто по улице; никакого страха; прошел комнат, я думаю, с двадцать, вошел в большой зал, на середине стол стоит, под серебром трещит, на одном конце самовар, на другом кофейник, а промежду балыки, сельди, икра, сыры, пироги, ветчина, просто съестная лавка. Тут в этой комнате человек двадцать генералов военных и статских ожидают князя, да молчат, не зашепчут... «Идет!» — кто-то сказал, и точно, послышалась тяжелая походка, щелкали турецкие туфли. Князь вышел. На нем была шуба из смушек, подпоясанная шалью, рубахи не было видно, на шее ничего, и туфли болтались на босых ногах. Какой молодец! Вот вельможа, так вельможа! и рост, и черты лица, и взгляд — богатырские. Кивнул всем гостям головой, да к столу; то ветчины кус большой, то сыру ломоть, то редисы горсть, ест себе на здоровье, так что мы и после завтрака были, а приметно всем есть захотелось; тут гости стали поодиночке подходить; один поднес ему диплом и ордена в футляре, докладывает, что от польского короля, другой от датского, третий от шведского, он себе мурлыкнет сквозь зубы: «Спасибо», так, что чуть расслушаешь, да и укажет на пустой стол у стенки, то есть поставь покуда там, теперь некогда, да и продолжает себе закусывать. Как дошел до кофе, тут приостановился, налил себе чашку, потом сливок туда и стал, прихлебывая, с гостьми разговаривать... «Я должен, господа, сказать вам новость...— Мы все уши и протянули, а он пошел опять по другой стороне стола, где персик, где кусок ананаса захватит, там малины тарелочку со сливками, дошел до самовара, тут кресло стоит, он и сел, налил себе большую чашку такого пахучего чаю, что по всей комнате аромат пошел; а мы все стоим да новости ждем.— Вот, господа,— стал говорить,— вы Кременчуг знаете. Там будет музыкальная академия — и вот я нарочно позвал его, мы с ним по-русски, мигом кашу сварим. Как тебя зовут?» — «Максим Созонтов Березовский».— «Ну хорошо, Максим, так ты останешься со мною». Те, другие, видят, что аудиенция кончилась. Князь кивнул им головой, с улыбкою такою странной, что и определить нельзя, посмотрел на стол у стенки, допил чай, утерся рукою и разлегся себе на мягкой низенькой софе. «Ну, Максим, ты у меня человек свой и без глупой спеси, так садись».—

«Ваша светлость...» — «Садись, говорят тебе. Дело народное, чванство в сторону, ты знаешь, зачем позван, так и говори, что думаешь...» Я сел и молчал, князь лежал и насвистывал. Вот я и собрался с духом и говорю: «Мысль вашей светлости ниспослана самим богом. При настоящих обстоятельствах русская музыка не может родиться в Петербурге, иноземцы употребят все средства задушить первые отпрыски будущего древа.— Князь кивнул головой одобрительно, я продолжал: — Положение Кременчуга таково, что со всех мест Южной России могут туда без больших издержек съезжаться охотники до музыки, а уединенность города и отсутствие всяких развлечений представит учащемуся юношеству возможность заниматься наукой со всею необходимою внимательностью. Я не знаю, какие средства предполагать изволите для этого заведения?» — «Какие нужды».— «В таком случае, я осмелился бы представить на благоусмотрение вашей светлости: не угодно ли будет академию разделить на две части: одна открытая, в которой будет преподавание для всех, кто только пожелает учиться; другая часть закрытая, для избранных учеников, принимаемых на содержание заведения. Этих надо учить гораздо более и обеспечить в будущности, не требуя от них никакого возмездия, дабы не лишить их бодрости и возбудить необходимое для всякого искусства самолюбие.— Князь опять кивнул головой весьма ласково, я совершенно воодушевился и забыл, кто лежит передо мной.— Курс учения,— продолжал я,— следовало бы разделить согласно назначению учащихся. В открытом публичном отделении достаточно будет преподавать чтение нот для фортепьяно и голосов, главные основания генерал-баса и шифрованный бас, методу пения с некоторыми важнейшими упражнениями — и на этом покончить; кто захочет учиться далее или играть на каком-либо отдельном инструменте, может в том же Кременчуге иметь учителей по вольным ценам. Это усилит и средства наставников и, с другой стороны, освободит их от излишнего и бесполезного труда заниматься с множеством учеников, которым, может быть, некоторые части музыкальной науки будут вовсе непригодны. В закрытое отделение избираются те из учеников, которые в публичных курсах уже обнаружили действительные, неподверженные сомнению способности. Не стоит кормить, поить, одевать множество детей, не ведая еще, что из них выйдет, и воспитывать будущих нищих. Неспособные к музыке пусть, пока не ушло время, обращаются к другим ремеслам. В закрытом отделении я полагаю

учредить четыре класса. Во всех ежедневное упражнение в избранной части; кто поет, пусть поет с учителем ежедневно; кто играет на скрипке, пусть играет ежедневно; это упражнение должно занять два-три утренние часа; тогда ученики отправляются в классы. В первом генерал-бас в самом обширном развитии с упражнениями; во втором инструментовка, то есть свойства разных инструментов, их ключи и употребление. Тут же читать и писать партитуры на заданные уже готовые пьесы; в третьем контрапункция, композиция и история музыки. Четвертый класс или год посвящается исключительно практическим упражнениям и сочинению большой пьесы для получения академического звания. Таким образом, в течение шести лет — потому что я полагаю для публичного преподавания два года — так в шесть лет воспитанники академии непременно достигнут полного музыкального образования, какого получить нельзя даже в лучших иностранных заведениях. Само собою разумеется, что певцы и певицы останавливаются на втором классе, если не пожелают учиться инструментовке, контрапункции и композиции, но зато слушают историю музыки вместе с другими и все-таки во все четыре года продолжают методически упражняться в пении и в сценическом искусстве на академической сцене. Это главные курсы утренние, на которые ученики могут употреблять с пользою ежедневно только три часа. Вечернее время должно быть посвящено на слушание вспомогательных курсов; в самом большом таланте неприятно встречать невежу, для дополнения воспитания в этом отношении я полагал бы в первом классе по вечерам преподавать русский, итальянский и французский языки, во втором историю и географию, в третьем продолжать историю, а в четвертом прочесть энциклопедию. Право, никому не мешает иметь хотя поверхностные сведения обо всех науках, по крайней мере знать их названия и чем каждая занимается. По выходе из академии каждый артист, сверх своих занятий, найдет еще очень много времени для приобретения подробных сведений в той науке, которой предмет ему понравился. Если ваша светлость не изволите скучать...» — «Нет, нет, продолжай, Максим, я слушаю очень внимательно». — «Насчет курсов я имел честь изложить мое мнение. Насчет наград и поощрений я полагаю необходимым учредить следующие три степени: воспитанник академии, академик и профессор. Первые обязаны в последнем курсе исполнить пением или на инструменте по три разнородные пьесы с первого взгляда и публично. При

удовлетворительном исполнении им выдаются дипломы с засвидетельствованием их успехов и к чему они на службе способны и небольшая сумма денег для отправления в Петербург, в Москву или куда пожелают, не обязывая их ничем относительно академии; академик, кроме исполнения пением или на избранном им инструменте трех разнородных пьес, напишет три большие сочинения: одно для голосов, другое для голосов с аккомпанементом и третье для полного оркестра; если в этих сочинениях не найдено будет ошибок, выдаются дипломы на звание академика, и академия уже сама озабочивается определением удостоенного к месту. Звание профессора получается исключительно академиками и воспитанниками академии по конкурсу, назначенному только в случае надобности, то есть когда профессор, преподающий в академии, оставит службу. Для конкурса предполагается написать концерто-гроссо, или симфонию, или со временем, когда число русских музыкантов и певцов умножится,— даже оперу. Труд увенчанный дает сочинителю право на профессорское место и разыгрывается в обеих столицах и при академии публично; собранная за это сумма разделяется поровну между соискателями, чтобы и они даром не трудились. Теперь, ваша светлость, позвольте мне сказать несколько слов и о составе академии. Во-первых, голова, директор...» — «Это ты! — сказал князь, и я чуть не полетел с кресел; голова у меня закружилась, я встал, не знал, как благодарить достойного вельможу.— Полно, Максим! — сказал князь.— Садись и докладывай! У меня для музыки времени немного!» И я кое-как собрался с силами и продолжал: «Профессоров семь: двое — пения, двое — генерал-баса и фортепианной игры, один — контрапункции и композиции, один инструментовки и один истории музыки. Учителей по возможности побольше для всех инструментов и вспомогательных наук; первоначально профессоры должны быть выписаны из-за границы и преподавать по контракту в течение семи лет; я уж буду тщательно смотреть за ними и ручаюсь вашей светлости, что положу всего себя, но через семь лет все профессорские и учительские места займут воспитанники академии не по нужде, а по достоинству. Но вот еще обстоятельство, на которое осмелюсь обратить внимание вашей светлости: я назначил двух профессоров пения, но как они должны образовать столько же певиц, сколько и певцов, то я и полагаю, что один из этих профессоров должна быть женщина, потому что в женском пении есть трудности, неизъяснимые без живого

примера. Вот, ваша светлость, план музыкальной академии в общих чертах; подробностей еще множество, но все они зависят от главных оснований и с большею удобностью могут быть изложены на бумаге».— «Так потрудись же, Максим, займись этим делом, и когда будет готово, приди ко мне прочесть. Спасибо, Максим! У меня большая на тебя надежда! Ну, прощай! Заслушался я твоих песен, а дела тьма...» — и князь перевернулся на другой бок. Уж не знаю, заснул ли он или стал думать. Я на цыпочках вышел из зала, на крылышках пробежал весь ряд комнат домой, за перо и давай писать. Матильда! Проект почти кончен. Каждую статью пересматриваю по сто раз, зато уж будет и академия! Боюсь опоздать на почту и потому прощаюсь с тобой, мой несравненный ангел, наскоро.— Весь твой *М. Б.*».

«*Петербург, 17-го июля 1776.* Милая Матильда, у меня дело кипит не по дням, а по часам. Я прочел князю черновую проекта. Он почти все одобрил, сделал, правда, и замечания, но такие, с которыми нельзя не согласиться. Что это за человек этот Потемкин; глядя на него, слушая его речи, веселее быть русским. Родятся же такие тузы. Немногому он учился, а знает все лучше профессоров. Кажется, всего два раза я имел счастие говорить с ним, а он уже рассуждает о методе музыкального учения так здраво, что я перед ним молчу и соглашаюсь. Ужасный ум. Захоти, послезавтра будет астроном! Он приказал мне исправить проект по его замечаниям и представить себе как можно скорее, да зайти к здешнему отличному архитектору Старову и объяснить, что его светлости угодно, чтобы Старов сделал проект академического здания по-моему и смету издержкам; да еще, чтобы я составил список лицам, которых думаю выписать на профессорские места. Ты угадаешь, что я нашел только одного профессора — тебя, Матильда... Я знаю в Италии весьма многих достойных людей, которые были бы полезны для всякой другой академии, только не русской; здесь они невольно увлекутся губительною системой соотечественников; незаметно пристанут к заговору и на каждом шагу будут мешать моему делу. Я долго думал, откуда взять людей, и вспомнил, что теперь музыкальная ученость, кроме отца Мартини и его сподвижников, наилучше развита в Праге. Сверх того, как хочешь, а богемцы русским сродни, говорят сходним языком, по-русски выу-

чатся скоро; полюбят Россию как отчизну, с Кременчугом и в климате нет большой разницы. Там, в Праге, есть знаменитый ученый профессор музыки, Немашек; отец Мартини был с ним в переписке и хвалил всегда его обширные исторические и теоретические сведения. Друг мой, Матильда, если можно, бросай Вену и поезжай в Прагу, переговори с богемскими профессорами, согласи их на подвиг общий, славянский; прилагаю и от себя письмо к Немашку, и как можно скорее уведоми меня, на каких условиях они согласятся переехать в Кременчуг. Если тебе нельзя этого сделать лично, так нельзя ли посредством переписки. О, Матильда, Матильда, думал ли я, утопая в мрачном ничтожестве, что я выплыву еще из этой бездны! что счастие мне улыбнется, покроет меня непроницаемой молнией. Страшно и подумать о прошедшем, но я чувствую, что там было только безумное отчаянье; благодарение богу, я не успел занемочь страшным, отвратительным недугом; я пил, Матильда, пил, но не пугайся, я теперь вижу всю гнусность этого средства заглушать ничтожные огорчения; и не пью, и не тоскую, радуюсь, что не дошло до болезни, да мне и некогда пить. С утра до вечера я занят моим проектом и справками. Теперь я совершенно понимаю, что ни на волос не принадлежу себе, а России и тебе, Матильда! Делитесь как знаете. Весь твой *М. Б.*».

«*Петербург, 25-го июля 1776.* Проект совершенно окончен. Лежит переписанный на прекрасной бумаге, красивым почерком, переплетен в зеленый сафьян,— а я все медлю отнести его к князю; поджидаю писем от тебя, планов и смет от Старова. Наша квартира, Матильда, будет хороша на чудо. Она расположена в нижнем этаже, и вот как: все здание идет фасадом на север, от него два огромные флигели тянутся на юг и в стенах своих заключают цветники, там идет уже решетчатая ограда, за нею огромный сад, разделенный высокою каменною стеной на две части: одна правая для учащих, другая левая для учащихся; из каждого флигеля ход прямо в сад; в верхних этажах размещены учебные комнаты, библиотека, инструментальный музей, концертная зала и театр; все это идет неразрывною цепью чрез главный корпус и флигеля; в нижнем этаже главного флигеля квартиры для профессоров, в левом спальни и столовая воспитанников, а низ корпуса, разделенный огромными сенями и лестницей, вмещает контору, казначейство,

музыкальный магазин — и нашу квартиру. В ней комнат множество: прихожая с двумя выходами: один в зал, другая в мой кабинет, окнами на цветники; из зала ход в гостиную, там в столовую, а из этой в буфет и кухню; а из моего кабинета комнаты идут так: моя уборная, людская с выходом на черный дворик, тут и черный ход на кухню, потом твоя уборная, спальня и кабинет. Пой себе сколько хочешь! Никто не помешает. Вдоль моих и твоих комнат идет коридор и ведет в детские и девичьи с особым выходом на тот черный дворик, наконец, коридор упирается в столовую воспитанников, откуда по круглой лестнице я могу подняться прямо в коридор, на котором расположены классы. Совершенство, истинное совершенство размещения! Не забудь, из окон парадных комнат виден величественный Днепр и весь город. Старов носил уже князю черновые чертежи, князь перечертил их с начала до конца своеручно; Старов спорил, но должен был уступить справедливости замечаний его светлости. И поистине — все к лучшему. Старов в этом сам сознается и только удивляется. Когда дело дошло до нашей квартиры, князь сказал: «Ну, Максим, как он себе хочет, а уж для одной квартиры стоит жениться!» О, как бы я желал исполнить совет князя как можно поскорее. Прости, Матильда, жаль, что писать нечего, а теперь так приятно с тобой беседовать. Не забудь, душа моя, узнать в Вене, какие инструменты музыкальные можно теперь сейчас достать у Штейна в Аугсбурге, у него в Вене есть свои лавки. Справься, что стоит так называемый vis-a-vis, двойной клавесин, мелодикон и гармошка, то есть инструмент с клавиатурой и со струнами для смычков; также средний орган и обыкновенных клавесинов с дюжину; такая огромная покупка должна доставить покупщику и значительную уступку; если они не могут решить этого в Вене, пусть напишут к старику в Аугсбург и доставят тебе ответ. Не забудь, что они должны принять на себя доставку по крайней мере до Киева, а там уж, пожалуй, спустим наш караван Днепром. И без того надо начинать с Киева, ради многих причин. Все эти инструменты мне нужны сейчас: один для ученья, другие для музея. Лишние, если окажутся, можно продать в магазине. Поэтому потрудись попросить Моцарта или Гайдна, чтобы отобрали для тебя коллекцию лучших нот во всех родах, десятка три кремонских скрипок, десяток брачии и шесть басов, но сделай милость, проси всех о секрете; если узнает Сальери, тотчас даст знать своим друзьям сюда в Петербург, а мы от них тщательно скрываем бурю, которая в тишине собирается на

их голову. За все за это кроме штейновых инструментов, можешь заплатить из своих денег и выслать их хотя сюда ко мне. Да, мой друг, уж и римских струн здесь в Петербурге нельзя достать порядочных. Наконец, что сама придумаешь. Пиши, ради бога! Вот уж сколько написал я писем, ни на одно ответа. Весь твой. *М. Б.*».

P. S. Сейчас получил записку от Старова. Планы утверждены князем. Его светлость изволил приказать изготовить все для доклада императрице; по утверждении Старов отправится со мной тотчас в Кременчуг; я осмотрюсь в крае, приглашу охотников к музыке учиться, а Старов войдет в условия с подрядчиками и заготовит все нужные материалы, так что здание будет готово к сентябрю будущего года; я открою академию в день моего рождения».

«*Прага, 2-го сентября 1776.* Ты не можешь пенять на меня, милый друг, за мою неисправность; едва соберусь писать к тебе, получаю новое письмо с новыми поручениями, едва исправлюсь, опять письмо. К тому же и венский мой ангажемент окончился только в начале августа; но это время я употребила не без пользы. Все ноты искуплены, с помощью Гайдна, потому что Моцарт, твой старый приятель, сидит с своим чудесным сынком в Зальцбурге, и оба ровно ничего не делают. Поговаривают, что они опять собираются в Париж. Скрипок, брачий, басов и струн нельзя было закупить по весьма простой причине: хороших в продаже весьма немного, но мой миланский корреспондент, который по счастию случился в Вене, обещал мне выбрать и выслать к будущему карнавалу. Следственно, они приедут к тебе гораздо ранее, чем я. Штейну я писала сама, потому что лавки его в Вене закрылись. Ты, любезный друг, забыл об арфах; без них нельзя и для оркестра и для нас, бедных женщин; нам только и позволено играть, что на клавесине да на арфе. Недавно мне случилось слышать женщину-виртуоза на скрипке; я едва досидела до конца концерта — неприятно смотреть. Не сердись, я купила две арфы; если будет мало, я, пожалуй, пожертвую и моею, что ты мне подарил. В Праге я нашла действительно высокое образование. Это город виртуозов и знатоков. Здесь знают музыку, как вечерние и утренние молитвы,

здесь не считают этого знания достоинством, а обязанностью. Здесь даже impresario Bondini не похож на наших итальянских жидов. Человек отличного образования, простой, откровенный, любит Прагу как богемец; мы с ним условились в десять минут, тогда как нигде мне не удалось заключить контракта в течение трех дней; случилось торговаться неделю. Прага еще и тем хороша, что никто не влюбляется в заезжих гостей: ни одной серенады, ни одного подброшенного стиха с пламенною ложью; тихо, скромно, но зато, признаюсь, я нигде не была принята так хорошо, как здесь. Я боялась за успех, считала их холодными умниками и ошиблась самым приятным образом. Вот бы где хотелось мне спеть твоего «Демофонта», вот бы где хотелось мне видеть и тебя самого, Массимо, в кругу этих почтенных людей, прямых служителей искусства. Они бы тебя оценили, полюбили и не выпустили из Праги. Я знаю тебя, я узнала их. Немашек пришел в восторг от твоего предложения. У богемцев к русским есть какое-то сочувствие, влечение. Он взялся переговорить с лучшими, по его мнению, людьми для твоей цели, представить их ко мне на экзамен, словом, устроить, уладить все как можно лучше и через четыре года лично посетить нас в Кременчуге и полюбоваться нашими успехами. Это он так говорит: нашими. Он считает твой подвиг общим подвигом всех славянских народов. Вот уже больше недели пишет к тебе письмо, каждый день заходит ко мне и говорит, что еще до конца далеко, потому что он хочет написать все, что знает и думает об этом предмете. Хвалит твой проект до небес и утверждает, что на этих же началах надо переделать и перестроить пражское гармоническое общество. Чудесный старик! В Праге так весело, так приятно, что я останусь здесь до тех пор, пока не прикажешь ехать в Петербург или Кременчуг. Бондини просит меня о том же, а условия его гораздо выгоднее всех, какие доселе я имела. Теперь, мой друг, следовало бы тебя пожурить за два глупейшие письма, но ты был болен, и бог тебя простит. Ты не знаешь своей Матильды!»

«*Петербург, 5-го октября 1776.* Ангел, которому нет названия и сравнения! Я чувствую всю вину мою и твое великодушие. Я знаю тебя, Матильда, но ты не знаешь твоего недостойного Массимо; он своенравен, горд, самолюбив, вместо крови в жилах его разлито нетерпение. Сам

чувствую мои недостатки, но как же не беситься, когда вот уже второй месяц прошел, а от князя ни слуху ни духу. Мы с Старовым справлялись, князь и не думал докладывать императрице; дело затягивается, тогда как оно должно кипеть... У меня все готово. Я сижу как на корабле и готов каждую минуту пуститься в море; князь и не думает о том, что бы могло доставить ему вечную славу и вечную благодарность. Я выдерживал мое достоинство, не хлопотал, не ходил к князю, но общее святое дело останавливается; приходится не в мочь; одиннадцать часов. Прощай. Я еду к князю...»

«*Петербург, 5-го октября 1776.* О! Это уже нарочно пытают меня! Шутят, издеваются над моим чувством! Я отослал письмо на почту, пошел к князю, вхожу, стою в приемной, выходит, завтракает, разговаривает с генералами о турках и татарах; между прочим, между куском баранины и стаканом пива спрашивает у меня... «Что, Максим, здоров ли ты, что поделывает твоя академия?» — «Ваша светлость, мы имели счастие представить...» — «Ах, забыл, право, упомнил. Хорошо, хорошо, я посмотрю и пришлю за тобой на досуге». И я должен был уйти! Матильда! Молись об моем терпении».

«*Петербург, 7-го ноября 1776 года.* Неужели надежды обманули меня; неужели мне все это снилось. Ради бога, напиши мне, Матильда, как все это было. Кажется, мы хотели устроить академию в будущем году; он говорит: «Нет, не в будущем, а когда позволят обстоятельства».— «Но, ваша светлость. вы уже хотели доложить государыне».— «Эх, Максим, твое дело не ушло, стану я беспокоить императрицу пустяками, когда есть на свете турки и татары, когда... да ты, любезный, не поймешь меня. С твоим делом можно и обождать, не испортится, да и деньги нужны на важные предметы. Музыка покуда пусть извинит...» Слышишь, Матильда, еще ждать, еще... Я не могу писать, Матильда! Мне кажется, что я тебя никогда не увижу, как не увижу моей академии; мне чудится, что ты уже... Нет, Матильда, не могу писать. Молись об моем рассудке!»

«*Прага, 15-го декабря 1776 года.* Не стыдно ли, Массимо! опомнись, четыре каких-нибудь месяца истощили твое терпение. Хороша же будет академия с таким директором. Признаюсь, я не замечала в тебе прежде такого малодушия и, если позволишь, объясню его источник. Прием, оказанный тебе в Петербурге, уязвил тебя, нанес такую глубокую рану твоему самолюбию, что ты одичал и хочешь мести скорой, сейчас, сию минуту. Когда ты мстил за меня, у тебя каждый шаг был обдуман, а теперь ты мечешься, плачешь как ребенок, и если бы я не знала твоего сердца, могла бы подумать, что ты не любишь, не хочешь, не умеешь любить ни отечества, ни меня. Иди к своей цели напролом, твердо, но не теряй бодрости от пустяков, связывай и то, что разорвется, благоразумием и терпением. Такие народные дела в один день не совершаются. Настойчивостью неуместною ты можешь поселить в князе отвращение к предприятию, для него совершенно побочному, которое, может быть, он и затеял только для тебя. Может быть, он скрывает перед тобою и недостаток средств, щадит твою чувствительность. Массимо, вспомни обо мне; жалею, что отпустила без себя, но извини, я скоро с тобою увижусь... Твоя *Матильда!*

P. S. Добрый Немашек! Он сдержал слово; профессора все в сборе, один другого ученее и благонамереннее, все как ты. Это мое ежедневное общество. Я толкую с ними и с их женами о нашей жизни в Кременчуге, и время летит, и верь мне, все исполнится как нельзя лучше, по твоему желанию...»

«*Петербург, 1-го января 1777.* Не приезжай, Матильда, ради самого бога, не приезжай! Незачем! Незачем! Он едет! Это уже решено! Едет в Южную Россию... Я был у него. «Скажу тебе, Максим, напрямки: теперь не время! Сиди смирно и жди моего возвращения». Нет, я не дождусь его! Разве он не может нас взять с собою, он будет в Кременчуге, мы бы могли все кончить и решить на месте... Бедный Максим, ты обманут, ты обманул Матильду, ты обманул пражских ученых, всех, всех... Новый год, ты ударил; я слышу стук карет по улице; ездят, поздравляют, веселятся... Поздравляю тебя, Матильда, с превосходным годом. Но как ты себе хочешь, у нас в крещение должен быть бал. Сделай милость, закупи все, что нужно, и приезжай поскорее. Жду и не могу тебя дождаться. Директор музыкальной Кременчугской Академии, член болонской, академик, капельмейстер, *Максим Березовский*».

«*Кременчуг. Новый год. 1777.* Его светлость проехал через Кременчуг двадцать минут тому назад. Я в парадном мундире, со звездой и шляпой с перьями провожал его по всему заведению; князь остался весьма доволен моею распорядительностью, но рассердился, зачем у меня на окне сидит черный кот. «Это не кот, ваша светлость, это генерал-капельмейстер Сарти».— «А! Сарти! Очень хорошо!» И остался очень доволен, что черный кот был Сарти. Потом мы поцеловались с князем; я велел подать карету в мою комнату, и он уехал в это окно. Богемскими профессорами также очень доволен и расспрашивал: где же Матильда Березовская? Я совершенно смешался, не знал, что отвечать: сделай милость, уведоми, где Матильда: я обещал князю донести о том рапортом. И правду сказать, без хозяйки в этой огромной квартире ужасная скука, пустота такая; ничего не умеют ни подать, ни приготовить. Какой-то трактирный мальчишка вместо рому принес мне прескверной французской водки. Не могу допить шестого стакана. Ужас какой шум в Петербурге; все будто в барабаны стучат, кричат: князь уехал. Конечно, уехал вот в это окно... И я еду, но прежде запечатаю письмо...»

Матильда не дочитала этого ужасного письма, которое вполне обличало состояние рассудка Березовского... «И я еду! — закричала она.— Лючия, карету!» И точно, захватив деньги, бриллианты, кое-что из белья, в почтовом экипаже Матильда пустилась в путь с одним Пиэтро, оставив Лючию в Праге для расчета с Бондини и устройства дел... Прошел месяц, другой... В Прагу поздно вечером возвратился один Пиэтро, перепугал детей и Лючию своим неожиданным появлением и своими ужасными вестями...

— Где Матильда? — спросила Лючия в ужасе.

— Умерла на гробе сумасшедшего...

— Массимо...

— Зарезался накануне нашего приезда в припадке белой горячки...

— Матильда...

— Она доказала, как любила сумасброда. Упала на деревянный, неокрашенный даже гроб Массимо. Я поднял труп и справил обоим похороны. Было мне за чем ездить в Петербург!

КОММЕНТАРИИ

Настоящий двухтомник является опытом создания антологии русской исторической повести, прослеживающим развитие этого интереснейшего жанра на всем его почти полуторавековом пути развития. При решении вопроса о включении того или иного произведения учитывались как его художественные достоинства, так и его роль в историко-литературном контексте эпохи.

Тексты, в основном, печатаются по последним прижизненным изданиям за исключением тех случаев, которые оговариваются. Часть текстов дается по авторитетным публикациям советского времени. В комментариях частично использованы материалы этих изданий.

Биографические справки приводятся в тех случаях, когда авторы, чьи произведения включены в сборник, недостаточно хорошо известны современному читателю.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН

(1766—1826)

Н. М. Карамзин, крупнейший представитель сентиментализма, творчество которого повлияло на развитие русского литературного языка, внес заметный вклад в развитие исторических жанров. В 1790-х — начале 1800-х годов его интерес к отечественной истории проявился в создании таких произведений, как «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», «О тайной канцелярии», «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича», «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств», «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода».

Огромную славу Карамзин снискал как крупнейший историк. В его двенадцатитомной «Истории государства Российско-

го», по меткому выражению Пушкина, «древняя Россия казалась найдена Карамзиным как Америка Колумбом». Карамзинская «История...» не утратила своего литературного и научного значения и в наше время.

Наталья, боярская дочь

Впервые — Московский журнал, 1792, ч. VIII, № 10—11. Печатается по изд.: Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х томах, т. 1. Л., 1984.

Стр. 27. *Подкапок* — шапка без полей, но с околышем.

Галло-альбионские наряды — наряды по французским и английским модам.

Парки.— В римской мифологии три богини судьбы, изображавшиеся в виде старух, прядущих нить человеческой жизни.

Стр. 29. *Двунадесятый праздник* — один из двенадцати наиболее важных праздников по религиозному календарю православной церкви.

Зефирова любовница.— Здесь: роза.

Сократ (470/469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ; по преданию, занимался ваянием.

...ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля»...— книги английского философа-материалиста Джона Локка (1632—1704) «Мысли о воспитании» (1693) и французского писателя и философа Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Эмиль, или О воспитании» (1762).

Стр. 32. *...в уголке трапезы...*— Место в церкви, где во время богослужения стояли самые скромные из прихожан.

Стр. 33. *Красные ворота* — триумфальная арка, установленная в 1742 г. на одной из московских площадей.

...хоронили золото...— Речь идет о старинной обрядовой игре под песню «Уж я золото хороню...».

Дриады (греч. миф.) — нимфы деревьев.

Стр. 35. *Дафна, Хлоя* — условные литературные имена идиллических героинь в поэзии XVIII — начала XIX вв.

Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель, один из основоположников сентиментализма.

Стр. 36. *Крылос* (клирос) — возвышенное место для хора перед алтарем в православной церкви.

...замешанных сновидений...— то есть запутанных.

Стр. 45. *Налой* (аналой) — высокий, с покатым верхом столик в церкви, на который кладутся богослужебные книги и иконы.

...говоря языком оссианским... — то есть языком Оссиана, легендарного кельтского барда и воина (III в.), сына короля Фингала, героя его поэм, которые оказались крупнейшей литературной мистификацией. Их автор — шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736—1796).

Марфа-посадница, или Покорение Новагорода

Впервые — Вестник Европы, 1803, № 1—3.

Печатается по изд.: Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х томах, т. 1. Л., 1984.

В повести Карамзин несколько отходит от точной исторической фактографии. Так, в один поход объединены два похода Ивана III на Новгород (1471 г. и 1477—1478 гг.). Сын Марфы посадник Дмитрий Борецкий в действительности не пал на поле битвы при реке Шелони, а после пленения был вместе с другими военными предводителями новгородцев бит кнутом и затем казнен «за измену» московскому государю. Сама же Марфа-посадница, напротив, не была казнена, а лишь заточена в монастырь. И вообще идеализация образа Марфы Борецкой сказывается и в том, что ее связи с польско-литовской стороной оказываются приглушенными. К легендарным событиям в повести относятся падение башни Ярослава с вечевым колоколом, пророчества таинственного голоса о близком падении Новгорода. Идеализированный подход писателя проявился и в изображении Ивана III.

Стр. 60. *Мудрый Иоанн...* — Иван III Васильевич (1440—1505); великий князь Московский с 1462 г.; один из создателей централизованного русского государства.

...присоединить область Новогородскую к своей державе... — После попыток восстаний новгородцев против Москвы (1471—1478) Иван III в 1478 г. осадил Новгород, лишил его веча и окончательно присоединил к Российскому государству.

...Ярославом, утвердителем их вольности. — Речь идет о князе Ярославе Владимировиче Мудром (ок. 978—1054), даровавшем, по преданию, Новгороду особые права.

Марфа Борецкая — жена посадника боярина Исаака Андреевича Борецкого, стоявшая во главе новгородской партии, склонявшейся к польско-литовскому подданству во имя сохранения вольности Новгорода; после покорения Иваном III Новгорода была сослана в монастырь.

Катон Старший, Марк Порций (234—149 гг. до н. э.) — римский консул; как цензор один отвечал за нравственность и политическую благонадежность граждан; был поборником строгих

нравов, слыл человеком высокой морали и защитником угнетенных.

Стр. 61. *Посадники* — княжеские наместники.

Тысячские — в Древней Руси предводители городского ополчения («тысячи»), в Новгороде выбирались на вече.

...на месте лобном, или Вадимовом... — помост в центре древнего Новгорода, с которого объявлялись народу важнейшие указы и приговоры. Получило свое название по имени Вадима Храброго, который возглавил восстание против правившего в Новгороде князя Рюрика.

Князь Холмский Даниил Дмитриевич — московский боярин, воевода; в 1471 г. был одним из предводителей похода против Новгорода, разбил новгородцев на реке Шелони.

Стр. 62. *Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам Цареградским.* — В 907 г. князь Олег (? — 912) при участии новгородцев победил греков и, по преданию, укрепил свой щит на вратах Цареграда.

Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия... — Согласно летописи, князь Святослав (? — 972) в первом походе против греков победил во много раз превосходившую его армию византийского императора Иоанна Цимисхия. Цимисхий Иоанн I (ум. 976) — император с 969 г.

Стр. 63. *...тайные связи с Литвою и Казимиром.* — Речь идет о переговорах «литовской» партии новгородцев с Казимиром Ягеллончиком (1427—1492), королем польским и великим князем литовским, о помощи против Москвы.

...берега Камы были свидетелями побед наших. — В 1468 г. на берегах Камы московские войска разбили татарский отряд из двухсот человек, сами же потеряли убитыми двух человек.

...поразив Мамая... — Имеется в виду победа на Куликовом поле (8 сентября 1380 г.) над войском хана Мамая.

Стр. 65. *Мусикийские орудия* — музыкальные инструменты.

...князь аварский... — Речь идет о Баяне, князе тюркоязычного племени аваров, или обров, которые пришли на славянские земли с придунайских областей (где в VI—VIII вв. существовал Аварский каганат); часто совершали набеги на славян и другие племена.

См. византийских историков Феофилакта и Феофана. — Феофилакт Симокатта и Феофан-хронист — историки конца VI — первой половины VII в.

Менандер (Менандр Протиктор) — византийский историк конца VI — первой половины VII в.

Стр. 67. *Поносная жизнь* — то есть позорная.

...Батый ...спешил удалиться!.. — Весной 1238 г. полчища

Батыя, «не дошедши сто верст до Новгорода, остановились, боясь, по некоторым известиям, приближения весеннего времени, разлива рек, таяния болот, и пошли к юго-востоку, на степь» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. 3, кн. 2. М., 1960, с. 142—143).

Стр. 68. *Не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы?* — В 1240 г. Александр Невский одержал победу над шведами (Невская битва).

Сартак — монгольский хан, сын Батыя.

Стр. 69. *Ахмат* (?—1481) — хан Большой Орды (с 1465 г.); его попытка пробиться к Москве (1480) закончилась неудачей.

Стр. 73. *Победитель Витовта...*— Витовт (1350—1430), великий князь Литвы (с 1392 г.); трижды воевал с Новгородской республикой.

Стр. 76. *Ратсгер* — член совета магистрата.

Стр. 79. *Ольга* (?—969) — княгиня, жена Киевского князя Игоря Рюриковича; жестоко отомстила древлянам за смерть мужа.

Стр. 80. *Ванда* — легендарная польская королевна, царствовавшая по желанию народа; исполняя данный во имя победы над врагами обет, принесла себя в жертву богам, бросившись в Вислу.

Стр. 81. *Вино фряжское* — французское.

Стр. 85. *Образец Василий* Федорович — великокняжеский воевода, нанесший новгородцам поражение на берегах Двины (1471).

Стр. 89. *...боялись вопля жен и матерей отчаянных.*— Здесь: охваченных отчаянием.

Стр. 98. *Пламенники* — факелы.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ

(1782—1856)

Интерес к истории в поэтическом творчестве Жуковского сказался, в частности, в его монументальных переводах древних эпосов, в том числе «Слова о полку Игореве» (1817—1819). Замысел же написать большую эпическую поэму из жизни Киевской Руси «Владимир» остался неосуществленным, хотя известно, что в 1815 году поэт уже составил ее план и занимался изучением исторических источников.

В жанре исторической прозы Жуковскому принадлежат два произведения — неоконченная повесть «Вадим Новгородский» (1803) и представленная в сборнике «Марьина роща».

Марьина роща

Старинное предание

Впервые — Вестник Европы, 1809, № 2, 3.

Печатается по изд.: Жуковский В. А. Собр. соч., т. IV. М.—Л., 1960.

Стр. 101. *Маткина-душка* — народное название душистой фиалки.

Стр. 103. *Ночная красавица* — народное название растения вечерница.

Стр. 105. *Шишак* — шлем.

Илья, Чурила, Добрыня — древнерусские легендарные богатыри, герои былинного эпоса.

Стр. 118. *Несчастный труженик.*— Здесь: страдалец; от древнерусского «труд» — печаль, страдание.

Стр. 119. *Марьина Роща* — название этого района, ставшего в XIX в. местом народных гуляний, восходит к деревне «Марьино».

Троицкая дорога — дорога к Троице-Сергиевой лавре, ныне Ярославское шоссе.

Мытищинский водовод.— Ныне: Ростокинский акведук; каменный мост с арками, построенный в конце XVIII — начале XIX в. через Яузу около бывшего села Ростокина, по которому проходил водовод московского водопровода, питавшегося от источника вблизи села Мытищи.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ

(1787—1855)

«Предслава и Добрыня» (1810) — первое обращение Батюшкова к исторической прозе. Действие повести происходит в Киеве при дворе князя Владимира. Опубликованная более чем на два десятилетия позднее ее написания, повесть тем не менее встретила самый доброжелательный прием. Рецензенты отмечали в основном «звучность и чистоту языка» и «слог этой повести» (Европеец, 1832, № 2 и др.). В «Прогулке по Москве» (1811—1812) автор запечатлел яркую картину допожарной Москвы. Очерк отмечен уже не условным, а подлинным, почти документальным, историзмом. Столь же примечательно «Путешествие в замок Сирей» (1814). Знаменитый французский замок связан был с именем Вольтера. Очерк, написанный участником заграничного похода русской армии 1813—1814 годов, полон размышлений об истории Европы, ощущений грядущих перемен.

Предслава и Добрыня

Старинная повесть

Впервые — Северные цветы на 1832 год. СПб., 1831.
Печатается по изд.: Батюшков К. Н. Соч. М.— Л., 1934.

Стр. 121. *Зимцерла* — богиня зари и весны, культ которой существовал у древних славян.

Царевна Анна — сестра греческих императоров Василия II и Константина VII, жена князя Киевского Владимира Святославовича.

Стр. 122. *Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable* — цитата из IX послания Н. Буало.

Стр. 123. *...отважного Кия...*— Согласно летописным преданиям, Кий, один из вождей племени полян, вместе со своими братьями Щеком и Хоривом основал Киев и был его первым правителем.

Стр. 124. *Биармия* — сказочная страна из скандинавских саг, якобы лежащая на берегу Белого моря.

Стр. 125. *Болгары были магометанского исповедания...*— В упомянутые времена болгары были по преимуществу христианами, однако в «Повести временных лет» за 858 г. упоминается о крещении болгар: «Царь Михаил отправился с воинами на болгар по берегу и морем. Болгары же, узнав об этом, не смогли противостоять им, попросили их крестить и обещали покориться грекам. Царь же крестил их князя и всех бояр и заключил мир с болгарами» («Повесть временных лет»).

Император Михаил — византийский император Михаил III (856—867).

Гридница — помещение, в котором находились гриди — княжеские телохранители на Киевской Руси.

Стр. 127. *...баснословного Термодона.*— Термодон (Фермодонт) — река, впадавшая в Черное море. В ее устье была расположена столица амазонок Фемискара (греч. миф.).

Тул — колчан.

«Мифология славян» г. Кайсарова.— Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1813), филолог, историк, публицист, поэт, профессор Дерптского университета; защитил в Геттингене докторскую диссертацию на немецком языке «Об освобождении крепостных в России». Упомянутая книга была впервые опубликована на немецком языке. («Versus einer Slavischen Mythologie». Hettingen, 1804), а затем в 1807 г. появился в Москве ее русский перевод — «Мифология славянская и российская». Сам же Кайсаров погиб во время заграничного похода русской армии в Европу.

Стр. 129. *Иверни* — осколки.

Стр. 130. *Знич* — бог огня в древнеславянской мифологии.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ

(1791—1855)

Н. А. Бестужев, старший брат А. А. Бестужева-Марлинского. После окончания Морского кадетского корпуса начал службу в звании мичмана. Совершил ряд дальних плаваний в западноевропейские страны; получил звание капитан-лейтенанта. С 1824 года — член Северного общества, в котором играл видную роль. 14 декабря 1825 года вывел на Сенатскую площадь Морской гвардейский экипаж; был приговорен к 20 годам каторжных работ. С 1839 года находился в ссылке в Иркутской губернии.

«Не было ремесла или искусства, которого бы, по словам современника, он не знал и не изучил почти в совершенстве...» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1980, с. 213).

Н. А. Бестужев был писателем и экономистом, историком и художником, изобретателем и механиком. Историческую и художественную ценность представляет выполненный Бестужевым в Сибири цикл акварельных портретов ссыльных декабристов.

Гуго фон Брахт

Происшествие XIV столетия

Впервые — Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 24.

Печатается по изд.: Бестужев Н. А. Рассказы и повести старого моряка. М., 1860.

Стр. 134. Эпиграф — из стихотворения К. Ф. Батюшкова «Послание к другу».

Эзель (Сааремаа) — остров в Балтийском море, у входа в Рижский залив.

Стр. 141. *Чекан* — старинное оружие: топор и молоток на длинной рукояти.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

(1797—1837)

А. А. Бестужев родился в Петербурге в просвещенной дворянской семье. Отец его Александр Федосеевич служил при Екатерине II артиллерийским офицером, занимался литературой

и вместе с И. П. Пниным издавал «Санкт-Петербургский журнал». Из пяти его сыновей четверо стали декабристами.

Обучался в Горном кадетском корпусе; в 1816 году поступил юнкером в лейб-гвардию. В начале 1820-х годов Бестужев становится ведущим литературным критиком. Вместе с К. Ф. Рылеевым он выпускает знаменитый альманах «Полярная звезда», ставший выразителем творческих взглядов декабристов. В это же время приобретает известность и его историческая проза. Став членом тайного Северного общества, А. А. Бестужев оказался одним из руководителей восстания 14 декабря (он вывел на Сенатскую площадь солдат Московского полка). Был приговорен к смертной казни, замененной сначала каторгой, а потом ссылкой в Якутск. В 1829 году был переведен рядовым в действующую армию на Кавказ (без права выслуги). Погиб в бою на мысе Адлер.

По политическим и цензурным причинам выступал под псевдонимом («Марлинский» происходит от названия дворца Марли в Петергофе, места службы юного лейб-драгуна Бестужева). Исключительную популярность в 1830-е годы ему принес цикл этнографических повестей, среди которых преобладала кавказская тематика.

Ревельский турнир

Впервые — Полярная звезда. СПб., 1825; за подписью: А. Бестужев.

Печатается по изд.: Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., 1981.

«Московский телеграф» писал о «Ревельском турнире»: «Эту повесть можно назвать лучшим из всего того, что доныне написал г-н Бестужев: рассказ и разговор живы, природа, картины верны, характеры отделаны с точностью» (Московский телеграф, 1825, № VIII, с. 334). Известно также мнение Пушкина. В письме к автору он, правда, высказался в пользу сюжетов из отечественной истории: «Твой «Турнир» напоминает W. Scotta. Брось ты этих немцев и обратись к нам, православным» (Пушкин А. С. Собр. соч., т. IX. М., 1982, с. 222). Академик М. П. Алексеев обратил внимание на связь между «Ревельским турниром» и пушкинскими «Сценами из рыцарских времен».

Стр. 146. *Ревель* — прежнее название Таллина (с 1219 по 1917 г.)

Звон колоколов с Олая великого... — Речь идет о церкви св. Олая, одном из древнейших памятников готики в Прибалтике (впервые упоминается в 1267 г.).

...кружева Арахны.— Здесь: паутина. Согласно мифу, девушка Арахна (греч: паук), искусная мастерица, вызвала богиню Афину на состязание в ткачестве и в наказание за дерзость была превращена ею в паука (греч. миф.).

Стр. 147. *Арабески* — насыщенный, сложный орнамент, сочетающий геометрические фигуры и стилизованные растительные мотивы.

Любчанин — житель Любека, главного города Ганзейского союза.

Стр. 148. *Брандскугель* (нем.) — зажигательное ядро.

Мальвазия — сорт сладкого виноградного вина.

Греческий огонь — зажигательная смесь, применявшаяся в VII—XV вв. в морских сражениях.

Стр. 149. *...под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!* — Имеются в виду битвы ливонских рыцарей с русскими войсками в 1501—1502 гг.

Стр. 150. *Орвиетан* — эликсир от всех болезней, названный в честь его изобретателя Фероата из итальянского города Орвието; впоследствии — нарицательное название всякого шарлатанского снадобья.

Стр. 151. *Рыцарь Икскуль* — один из знатных рыцарей, был известен жестокостью обращения с вассалами; казнен жителями Ревеля в 1535 г. за злоупотребления властью и убийство одного из подданных.

Ратсгер (нем.) — член совета городского магистрата.

Стр. 152. Эпиграф — стихи А. А. Бестужева.

Стр. 153. *Шпензер* (нем.) — род куртки.

Стр. 156. Эпиграф — стихи А. А. Бестужева.

Риттергауз (нем.) — рыцарский дом в Ревеле, расположенный в Вышгороде; перед ним в средние века происходили турниры рыцарей.

Стр. 157. *Фрез* (фр.) — род воротника.

Далматика — род мантии, плаща-накидки.

Стр. 158. *Киршвассер* (нем.) — вишневая наливка.

Стр. 159. *Дерпт* — прежнее название города Тарту (с 1224 по 1893 г.), с 1030 по 1224 г. и в 1893—1919 гг. назывался: Юрьев.

Стр. 160. *...с фогтами и командорами Ордена...*— с высшими чинами Ливонского ордена.

Стр. 161. *Фейерверочный бурак* — гильза с пороховым зарядом, выбрасывающая огненный фонтан.

Стр. 165. Эпиграф — стихи А. А. Бестужева.

Стр. 167. *Бургомистр.*— Здесь: старший член магистрата.

Ландрат — член королевского или земского совета.

Стр. 167—168. *Вицбетрейбер* (нем.) — шут, остряк.

Стр. 172. Эпиграф — из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония».

Стр. 173. *...в прусском Ордене, преданном Сигизмунду...*— Польский король и великий князь литовский Сигизмунд I Старый (1467—1548) способствовал усилению рыцарского ордена на балтийском побережье; в 1525 г. с его согласия Тевтонский орден получил статус светского государства — герцогства Пруссия.

Полевать — выезжать на охоту.

...общество Черноголовых...— Купеческое братство в Ревеле, основанное в XIV в. для обороны города, имело, особенно с 1525 г., большой политический вес и представляло серьезную военную силу.

Изменник

Повесть

Впервые — Полярная звезда. СПб., 1825; за подписью: А. Бестужев.

Печатается по изд.: Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., 1981.

Стр. 177. Эпиграф — из трагедии Шекспира «Отелло».

Стр. 179. *...кличет к себе из Польши царей...*— Часть московских бояр, недовольных правлением В. Шуйского, поддерживала сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава (1595—1648). Чтобы обезопасить себя от возможного народного возмущения этой изменнической политикой, правящая клика тайно в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. впустила польские войска в Москву.

...вор Сапега обложил Троицу...— Сапега Ян Петр (1569—1611) — польско-литовский магнат, один из главных советников и военачальников при Лжедмитрии II. В сентябре 1608 г. он осадил Троице-Сергиев монастырь. Безуспешная осада продолжалась до января 1610 г., после чего получившим отпор интервентам пришлось отступить.

В рядах Шуйского? — Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1587—1610) — выдающийся военачальник, сын боярина, князя В. Ф. Скопина-Шуйского, родственник Василия Шуйского. В 1604 г. стал стольником при Борисе Годунове; в 1605 г. при Лжедмитрии был пожалован в «великие мечники»; в 1606 г. при Василии Шуйском стал воеводой. Участвовал в подавлении восстания Болотникова, а затем прославился победами, одержанными над Лжедмитрием II и его польскими сторонниками. В 1610 г. снял блокаду с Москвы. Любимый народом, Скопин-Шуйский считался возможным претендентом на царский трон.

Предполагают, что он был отравлен царской свояченицей — дочерью Малюты Скуратова Екатериной.

Стр. 180. *Засадный воевода* — воевода, руководящий обороной города.

Стр. 183. *Иван Хворостинин* (ум. 1625) — русский политический деятель и писатель из рода ярославских князей. В 1605 г. при Лжедмитрии I — кравчий и один из его фаворитов. При Шуйском был сослан в монастырь. В 1613—1614 гг. участвовал в военных действиях против польских интервентов и отрядов И. М. Заруцкого. В 1618—1619 гг. был воеводой в Переяславле Рязанском. Затем был обвинен в ереси и склонности к католичеству (у него были найдены «латинские» книги), а также попытке бегства в Литву. Был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1624 г. был прощен и вскоре постригся в монахи.

Доломан — гусарская куртка или короткий плащ, который носили на одном плече.

Стр. 185. *Волынский* — видимо, князь Иван Иванович Волынский, воевода ярославский.

Стр. 186. *Охабень* — старинный широкий кафтан с четырехугольным отложным воротником.

Лисовский Александр Иосиф — польский полковник-авантюрист, стоявший во главе войск Лжедмитрия II, захвативший Коломну и ряд других московских городов. Вместе с Сапегой возглавлял осаду Троице-Сергиевой лавры.

Стр. 187. *Контуш* (кунтуш) — польский старинный верхний кафтан.

Гультай (пол.) — праздный человек, пьяница.

Стр. 189. *Рында* — царский телохранитель или оруженосец.

Замок Эйзен

Повесть была первоначально опубликована в 1825 году в альманахе «Звездочка» под названием «Кровь за кровь», однако весь тираж «Звездочки» из-за восстания 14 декабря был конфискован и пролежал в запечатанных тюках на складах типографии Главного штаба до 1861 года.

В 1827 году повесть увидела свет уже под названием «Замок Эйзен» в «Невском альманахе». Под этим названием повесть и стала известна современникам.

Печатается по изд.: Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., 1981 (с другим названием).

Стр. 195. *Воспожинки* — время после окончания жатвы.

Копань — ров.

Стр. 198. *Пергала* (эст.) — черт, сатана.

Стр. 204. *...словно таксы трюфелей...*— Трюфели — сумчатые грибы с подземными клубневидными мясистыми плодами. Растут в Италии и во Франции. Их обычно разыскивают таксы — собаки охотничьей породы.

Стр. 207. *Пресвятая Бригитта!* — Бригитта — канонизированная церковью шведская монахиня (XIV в.), происходила из королевской семьи, основала женский монашеский орден. В окрестностях Ревеля в начале XV в. был построен монастырь, названный ее именем, который был разрушен во время Ливонской войны.

ОРЕСТ МИХАЙЛОВИЧ СОМОВ

(1793—1833)

Литератор пушкинской эпохи, поэт, литературный критик, прозаик, О. М. Сомов происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода. Родился он в г. Волчанске, близ Харькова, учился в Харьковском университете. С 1817 года он живет в Петербурге, где активно занимается литературной деятельностью, становится членом Вольного общества любителей российской словесности. В различных петербургских журналах печатаются его переводы и оригинальные сочинения, критические статьи и очерки. Сомов был близок к декабристским кругам. Так, он принимает ближайшее участие в издании «Полярной звезды». Позднее он помогает Дельвигу в выпуске альманаха «Северные цветы» и сближается с литераторами пушкинского круга.

Наибольшее признание принесли Сомову его этнографические и исторические повести, легенды, сказки, основанные на украинском фольклоре. К сюжету о легендарном украинском разбойнике Гаркуше (см.: Гайдамак, 1825) Сомов обращался и в 1830-е годы, задумывая большой роман, но замысел этот не осуществился (написано всего лишь несколько глав).

Гайдамак

Малороссийская быль

Впервые — Звездочка на 1826 год. СПб., 1825; перепечатано: Невский альманах на 1827 год. СПб., 1826. Подписано: Порфирий Байский.

Печатается по изд.: Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.

Стр. 211. Эпиграф — из поэмы И. П. Котляревского «Энеида» (1798).

Чумаки.— «*Чумаками* в Малороссии,— пояснял это понятие О. А. Сомов в примечаниях к «Сказкам о кладах»,— называются погонщики волов, ходящие с обозами и нанимающиеся для перевоза тяжестей. Они ходят с волами не только в разные далекие края России, но даже и за границу, как-то: в Силезию, Саксонию и пр. Места сии называют они по-своему, например: Шлёнек (Силезия), Береслав (Бреславль) и Липск (Лейпциг)».

Ворган — музыкальный инструмент типа шарманки: род небольшого органа (отсюда, наверное, и название «ворган») без клавиатуры.

Стр. 213. *...под красную шапку...*— в солдаты.

Добрый человек и скотов милует...— Неточная цитата из ветхозаветной «Книги притчей Соломоновых».

Эпиграф — из старинной украинской народной песни «Дума о походе Хмельницкого в Молдавию».

Стр. 214. *Сеннахерим* (искаж.) — Сеннахериб (704—680 гг. до н. э.), ассирийский царь, известный своими вторжениями в Иудею и другие соседние государства.

Моавит — моавитяне, один из семитских народов.

...в толпе этих назареев...— среди иноверцев; здесь: среди христиан.

Велиал — в мифологической трактовке демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения.

Стр. 215. *Торбан* — струнный щипковый инструмент, похожий на бандуру.

Стр. 217. *...дай ему острогу...*— То есть — подстереги его.

Стр. 218. *З низу Днiпра тихий вiтер...*— из «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию».

Стр. 222. Эпиграф — неточная цитата из поэмы Котляревского «Энеида».

ФАДДЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ БУЛГАРИН

(1789—1859)

Уроженец Минской губернии, Ф. В. Булгарин был по происхождению поляком. Жизнь Булгарина, по словам П. Н. Сакулина, «похожа на авантюрный роман». Отца его, бывшего соратником Костюшко, сослали в Сибирь за убийство русского генерала, когда мальчику было пять лет. Курс обучения Булгарин проходит в Сухопутном кадетском курпусе в Петербурге и поступает на военную службу. Его переводят в армейский полк, он уезжает в Варшаву, а затем переходит на службу к Наполеону и участвует в военной кампании в Италии и Испании и в бесславном походе наполеоновской армии в Россию. Здесь Булгарин попадает в рус-

ский плен, что не мешает ему спустя несколько лет неожиданно для окружающих начать новую жизнь. Он становится профессиональным русским литератором, снискавшим известность у современников, невзирая на то, что придерживался ура-патриотических и ультра-монархических воззрений. Такой идейной эволюции предшествовал, правда, и краткий период либеральных настроений, когда Булгарин находился в дружеских отношениях с Грибоедовым, Бестужевым и Рылеевым. Но после трагических событий 14 декабря 1825 года начинается резкое поправение Булгарина.

Пик популярности Булгарина приходится на вторую половину 1820-х — начало 1830-х годов, когда один за другим выходят его многочисленные романы и повести. С писательской славой Булгарина конкурировала его журналистская популярность как издателя самой читаемой газеты того времени — официозной «Северной пчелы». Однако творческая и идейная вражда с Пушкиным и литераторами его круга, а также его сотрудничество с III Отделением оттолкнули от Булгарина и передового читателя, и прогрессивную часть русских литераторов.

Падение Вендена

Историческая повесть

Впервые — Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827.

Печатается по изд.: Булгарин Фаддей. Соч., ч. 6. СПб., 1830. События, описываемые в повести, произошли в 1577 г.

Стр. 226. *Венден* (Цесис) — крепость, в свое время бывшая резиденцией магистра Ливонского ордена. Последний существовал с 1237 по 1562 гг., вел захватнические войны против Литвы и Руси.

Орден Меченосцев — духовно-рыцарский орден, основанный в 1202 г. В 1237 г. слился с Тевтонским орденом, образовав восточный филиал последнего — Ливонский орден.

Магнус (1540—1583) — принц датский, сын Христиана III, был женат на племяннице Ивана IV Марии. В 1570 г. был провозглашен королем Ливонии под верховным владычеством русского царя. В 1578 г. перешел на службу к польскому королю Стефану Баторию.

Стр. 228. *Фридерик* — старший брат Магнуса, король Дании Фридерик II (1534—1588).

Эзель — см. примеч. к с. 134.

Стр. 229. *Он уже наказал бесчестно твоих посланных...*— Двое послов, отправленных Магнусом к царю, были высечены по приказанию Ивана IV и отправлены обратно.

...так проходит слава земная...— Автор вкладывает в уста вещуна древнее латинское изречение.

Стр. 231. *Богдан Бельский* (?—1611) — любимец Ивана IV, был крестным отцом и воспитателем царевича Дмитрия; после пресечения династии Рюриковичей претендовал на царский престол; при Лжедмитрии I, которого Бельский почитал за истинного царя, стал боярином (1605).

Стр. 233. *Слово и дело...*— «Слово и дело государево» — девиз и система политического сыска в России конца XVI—XVIII вв.

Салтыков — очевидно, имеется в виду Михаил Глебович Салтыков, боярин (1601), известный деятель времен Смуты.

Малюта Скуратов (?—1573) — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, думный дворянин, глава опричного террора, любимец Ивана IV, погиб в бою в Ливонии.

Стр. 234. *Давид Бельский* — приближенный Ивана IV, был свойственником Малюты Скуратова, впоследствии бежал в Литву.

Стр. 235. *Колывань* — древнерусское название Ревеля.

Стр. 236. *Голдовник* — вассал.

...изменники Сильвестр, Адашев и Курбский...— Речь идет о бывших сподвижниках Ивана IV. Сильвестр (?—1566) — русский политический деятель и писатель, священник, имевший одно время большое влияние на царя; с 1560 г. был удален от двора, а позже постригся в монахи. Адашев Алексей Федорович (ум. 1561) — один из руководителей внешней политики при Иване IV; окольничий, начальник Челобитного приказа и постельничий; с 1560 г. в опале. Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, боярин, писатель; в 1564 г. бежал в Литву. Широкую известность получили его послания к Ивану Грозному, которого Курбский обвинял в деспотическом правлении и нарушении христианского милосердия.

Стр. 238. *Стефан Баторий* (1533—1586) — король польский (с 1576 г.), прославившийся своими военными победами.

Стр. 239. *...с знамением водворителя христианства в России, первозванного апостола Андрея.*— По сказанию древнерусских летописей, св. апостол Иисуса Христа, брат Петра Андрей проповедовал христианство в Древней Руси и доходил до Киева и Новгорода.

Стр. 242. *Юмала.*— В финской мифологии первоначально божество огня, соответствовавшее славяно-литовскому Перуну (Перкуну); затем Юмала был признан высшим божеством, создателем всего мира.

Стр. 245. *...о геройском подвиге защитников замка...*— Событие имело место в действительности. У Соловьева об этом сказано так: «Уже три дня продолжалась осада замка, осажденные

видели, что далее защищаться нельзя, и решили взорвать себя на воздух, чтоб не ждать мучительной смерти и не видать, как татары будут бесчестить их жен и дочерей» (Соловьев С. М. История России, т. 5-6. М., 1960, с. 645.)

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛЕВОЙ

(1796—1846)

Журналист, писатель и критик, Н. А. Полевой родился в Иркутске в старинной купеческой семье. В 1817 году он впервые выступает в печати. Значительную роль сыграл Полевой как издатель и редактор «Московского телеграфа» (1825—1834), лучшего журнала того времени, впоследствии за свое направление запрещенного по распоряжению Николая I. Он был автором романа «Аббаддонна», повестей «Эмма», «Живописец», «Блаженство безумия». Пользовались успехом и пьесы Полевого: «Дедушка русского флота», «Иголкин, купец Новгородский», «Параша-сибирячка» и др.

Видное место в истории русской литературы занимает Полевой как один из пионеров отечественной исторической прозы: романы «Клятва при гробе господнем» (1832), «Византийские легенды» (1841), повести «Симеон Кирдяпа» (1828), «Святочные рассказы» (1826), «Рассказы русского солдата» (1834).

Интерес Полевого к русской историографии проявился в создании фундаментальных исторических трудов, таких, как шеститомная «История русского народа» (1829—1832), где автор полемизировал с карамзинской концепцией, и «История Петра Великого» в четырех частях (1843).

Симеон Кирдяпа

Русская быль XIV века

Впервые — Московский телеграф. СПб., 1828, ч. 19, № 1—3; подписано «Н. П.». Печатается по изд.: Предслава и Добрыня. М., 1986. В 1843 г. при переиздании повести автор внес в нее отдельные, в основном стилистические поправки, изменил концовку и название повести: «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» (см. сб. «Повести Ивана Гудошника. Собранные Николаем Полевым». СПб., 1843, ч. I).

Но в истории литературы и критики повесть более известна по ее журнальной публикации 1828 года. Она и представлена в настоящем издании.

Симеон Дмитриевич, князь суздальский, удачно отразил нападение мордвы на нижегородское княжество. Во время наше-

ствия Тохтамыша он добровольно сопровождал его в походе на Москву и принимал участие в уговорах москвичей сдать город в обмен на обещание Тохтамыша пощадить население.

В конце XIV века Симеон вместе с братом Василием предпринял несколько попыток отнять нижегородское княжение у своего дяди Бориса. Москва вначале поддерживала эти притязания братьев Кирдяпа, но затем великий князь Московский Василий I Дмитриевич предпочел распространить свою власть на Нижний Новгород. Попытки Симеона Кирдяпы с помощью ордынских татар отторгнуть от Москвы Нижегородское княжество ни к чему не привели. После последней неудачи князь Симеон бежал в мордовские земли, а затем на следующий год (1402) добровольно прибыл в Москву «с челобитьем и покорением», окончательно отказавшись от своих честолюбивых планов.

События в повести воспроизводятся близко к историческим источникам.

Стр. 248. *...пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки бусурманские...* — Имеется в виду нашествие татар под предводительством хана Арапши (Араб-хана) на Нижегородское княжество в 1377 г.

За Пьяною люди пьяны. — Во время отдыха за рекой Пьяной (приток Суры) объединенное московско-нижегородское войско во главе с князем Иваном, сыном Димитрия Константиновича Нижегородского из-за беспечности дозорных и из-за бражничания в стане потерпело сокрушительное поражение от татарских сил. Погибло «бояр и слуг, и народа бесщислено».

...после вражьего меча десятый год проходит... — Речь идет о нашествии ордынского хана Тохтамыша, сжегшего Москву в 1382 г.

...царю Давиду предложили... — Имеются в виду слова царя Давида: «...пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его; только бы в руки человеческие не впасть мне...» (библ.)

Тохтамыш (?—1407) — один из потомков старшего сына Чингисхана Джучи. В 1380 г. с помощью Тимура Тамерлана стал ханом Золотой Орды, отобрав престол у разбитого в Куликовской битве Мамая. Совершил в 1382 г. разорительное нашествие на русские города, обманом взяв Москву. В 1395 г. он был разгромлен на берегах Терека Тимуром, после чего, лишившись престола, продолжал вести борьбу с золотоордынскими ставленниками Тимура. В 1407 г. был убит темником Эдигеем.

Стр. 249. *Троицкий монастырь* — Троице-Сергиева лавра, основанная Сергием Радонежским около 1335 г. В 1408 г. лавра была сожжена татарским ханом Эдигеем, но затем вновь отстроена уже из камня.

Стр. 250. *«Временник».*— Имеется в виду «Повесть временных лет», составленная в Киеве, в Печерском монастыре Нестором ок. 1113 г.

Мефодий Патарский (III—IV в.) — епископ города Патар, в Малой Азии, на его «Откровение» ссылается автор «Повести временных лет».

Лукоморье.— Здесь: сказочная страна.

...запаял сунклитом...— окропил веществом (типа смолы), предохраняющим от разрушения и сгорания.

Стр. 251. *Князь Димитрий Иванович* — Димитрий Иванович Донской (1350—1389).

Князь Остей — князь литовский, внук великого князя литовского Ольгерда; находился в Москве во время осады ее Тохтамышем в 1382 г., содействовал ее укреплению; был убит татарами после того, как оказался среди вышедших навстречу хану с дарами, поверив его обещаниям не тронуть Москвы.

...род его яко древо насаждено при исходище вод.— Здесь приводится неточная цитата из Псалтыри (Псалом I, ст. 3).

Стр. 252. *...козни Москвы навели на него злого Арапшу?..*— Имеется в виду разорение Нижнего Новгорода ордынским царевичем Арапшой в 1377 г. после поражения русского войска на реке Пьяне.

...благочестивая Евдокия была супругою вашего Димитрия...— Евдокия Димитриевна (?—1407), дочь Димитрия Константиновича, князя нижегородского, жена великого князя Дмитрия Ивановича Донского.

Стр. 254. *Белевут, боярин московский.*— Прототипом этого персонажа был, видимо, Александр Белеут, боярин, упоминаемый в русской истории.

Румянец Василий — нижегородский боярин; одним из первых он переметнулся на сторону Симеона Кирдяпы, обещая выдать ему Бориса.

Стр. 255. *...к пределам хлыновским.*— К местам близ города Хлынова (позже Вятки).

Мурза Беткут идет повоевать Вятку.— В 1391 г. хан Тохтамыш послал в русские земли царевича Беткута; он захватил Вятку, перебил и взял в плен многих жителей города.

Стр. 263. *Волоковое окошко* — небольшое окно, задвигавшееся доской.

Стр. 264. *Мономахово наставление.*— Имеется в виду «Поучение» Владимира Мономаха, включенное в Лаврентьевскую летопись.

Стр. 277. *Пря* (распря) — спор, раздоры, состязание.

Азис (Озиз) — один из ханов Золотой Орды.

Сергий затворил храмы божии в Нижнем Новегороде...—

Сергий Радонежский, по приказу митрополита Московского и великого князя Димитрия Ивановича, в 1363 г. за отказ князя Бориса Константиновича Суздальского предоставить законный удел своему брату Димитрию Константиновичу наложил запрет на службу в нижегородских церквах; этот акт был поддержан военной помощью из Москвы.

Борис укрылся в Городце...— После примирения Димитрий Константинович отдал брату город Городец.

Стр. 279. *Старец Киприян* (ок. 1336—1406) — московский митрополит (1381—1382 гг. и с 1390 г.); канонизирован православной церковью в XV в.

Ветшаные книги — ветхие, древние.

Стр. 280. *...судьба вела тебя с берегов Дуная...*— Киприян, болгарин по национальности, был родом из Тырново, в то время столицы Болгарии.

Стр. 281. *Терлик* — род длинного кафтана с короткими рукавами.

Охобень (охабень).— См. примеч. к с. 186.

Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410) — князь серпуховский и боровский, внук Ивана Калиты; защищал Псков от ливонских рыцарей (1362), Москву от Ольгерда Литовского (1368), один из героев Куликовской битвы.

Стр. 282. *Хан Мурут* — возможно, Мурат-Гирей, крымский хан.

Стр. 283. *Синие Орды.*— Древнерусские памятники называли так Ак-Орду (Белую Орду), которая находилась на территории нынешнего Казахстана и Западной Сибири.

Стр. 285. *Ферез* (ферезь) — старинная русская одежда.

Арид (Аред) — иносказательное; возможно, от: Иаред (имя отца библейского пророка Еноха) — старый скаред, богатый скряга, заедающий чужой век.

Стр. 286. *...боярин Кошка, смотри как ладит с ними.*— Речь идет, видимо, о боярине в княжение великого князя Московского Василия I Димитриевича — Федоре Андреевиче Кошке.

Стр. 287. *...при Калке погибла надежда России...*— 31 мая 1223 г. на берегу реки Калки соединенные силы русских князей потерпели жестокое поражение от передового отряда монголо-татарских полчищ Чингисхана; причиной тому было внезапное бегство союзников-половцев, смявших русское войско, а также отсутствие согласия между князьями.

Малвазия (мальвазия).— См. примеч. к с. 148.

Стр. 288. *Кравчий* — почетная придворная должность в русском государстве в XV — начале XVII вв.; кравчий распоряжался стольниками и чашниками, подавал блюда царю и особам царской семьи.

Стр. 290. *Князь Роман жену терял...*— Начало одного из вариантов известной русской былины о князе Романе, который убил (терял) жену.

Стр. 295. *«О! Стонать тебе, Русская земля...»* — Неточный перевод цитаты из «Слова о полку Игореве».

Стр. 298. *Саиб* (Сагеб) — *Керем вселенной...*— хвалебный титул: милостивый господин вселенной (т а т а р.).

Стр. 299. *Баязет* (1354 или 1360—1403) — турецкий султан Баязид I Молниеносный (1389—1402). Покорил Болгарию, часть Сербии, Македонию и Фессалию, был побежден и взят в плен Тимуром в битве при Ангоре (1402); умер в плену.

Стр. 301. *Восток и Запад область божия!..* — перефразировка стиха из Библии: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами...»

Стр. 303. *...прося опасу...*— защитную грамоту.

Дела давно минувших дней, // Преданья старины глубокой...— Стихи из первой главы поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ КОРНИЛОВИЧ

(1800—1834)

Писатель-декабрист, историк А. О. Корнилович родился в Тульчине Подольской губ. Образование получил в Одесском благородном пансионе и в Московском училище для колонновожатых. Служил в гвардейском Генеральном штабе в чине штабс-капитана, сотрудничал в журналах, работал в московских архивах. За участие в восстании декабристов был осужден в каторгу. Отбывал ее в Чите, а с 1828 года возвращен в Петропавловскую крепость. В 1832 году отправлен в действующую армию на Кавказ.

Корнилович — автор трудов по отечественной истории. Занимался он также историей русских географических открытий XVIII века. Совместно с В. Д. Сухоруковым он выпустил альманах «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного» (СПб., 1824; 2-е изд.—1825). Особую известность приобрели его исторические очерки из эпохи Петра, вошедшие в альманах: «О первых балах в России», «Об увеселениях российского двора при Петре I» и др. Этой же эпохе посвящены и его четыре исторические повести (кроме представленных в сборнике,— «Утро вечера мудренее» и «За Богом молитва, а за царем служба не пропадет»).

Татьяна Болтова

Историческая повесть

Впервые — «Альбом северных муз. Альманах на 1828 год». Печатается по изд.: Предслава и Добрыня. М., 1986.

Стр. 304. *Ослаба и Пересвет.*— Родион Ослябя (ум. после 1398) и Александр Пересвет (ум. 1380) — монахи Троице-Сергиева монастыря, герои Куликовской битвы.

Стр. 305. *Дорожины* — желобки.

Стр. 306. *Армяк* — старинная простонародная одежда из толстого сукна в виде кафтана.

Поярковая шляпа — шляпа из шерсти первой стрижки.

Арапник — длинная ременная плеть.

Гордон Патрик (1635—1699) — родом шотландец; с 1663 г. на русской службе, генерал и контр-адмирал.

Князь-кесарь.— Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 1640—1717), глава Преображенского приказа, в отсутствие Петра I был фактическим правителем страны.

Стр. 308. *Под Лесным...*— В сентябре 1708 г. при деревне Лесной близ Могилева русская армия Петра I одержала первую крупную победу над шведами.

Турецкий поход — очевидно, Прутский поход 1711 г. во время русско-турецкой войны 1710—1713 гг.

Стр. 314. *Фендрик* — младший офицер.

Стр. 316. *...по случаю уничтожения нантского постановления.*— Речь идет об отмене в 1685 г. Людовиком XIV Нантского эдикта 1598 г., предоставлявшего гугенотам свободу вероисповедания.

Стр. 318. *Уложение.*— Имеется в виду Уложение царя Алексея Михайловича или Соборное уложение, свод законов Русского государства, принятый Земским собором в 1648—1649 гг.

Стр. 319. *Чекмень* — короткий полукафтан.

Стр. 320. *Тихон Иванович Стрешнев* — боярин и сенатор петровской эпохи.

И. Л. Мусин-Пушкин — очевидно, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, боярин, граф, сенатор, управляющий Монастырским приказом при Петре I.

Апраксин Федор Матвеевич (1661—1728) — сподвижник Петра I, генерал-адмирал, граф (1709), с 1718 г. президент Адмиралтейств-коллегии; с 1726 г. член Верховного тайного совета.

Борис Петрович Шереметев (1652—1719) — сподвижник Петра I, боярин, генерал-фельдмаршал (1701), граф (1706).

Стр. 322. *...должник, ему же оставишь пятьсот динарий, паче возлюбит тя, нежели другой, ему же отпустишь пятьдесят...* — Вольное переложение цитаты из Библии.

Андрей Безыменный

Старинная повесть

Впервые — отдельным изданием без указания имени автора в 1832 г. в Петербурге. На титуле: «Андрей Безыменный (Старинная повесть)»; и далее надпись: «Напечатано в типографии III отделения собственной е. и. в. канцелярии».

Печатается по изд.: Предслава и Добрыня. Исторические повести русских романтиков. М., 1986.

Стр. 327. *Окольничий* — придворный чин и должность в Русском государстве XIII — начала XVIII в., с середины XVI в. — второй думный чин Боярской думы.

Стр. 329. *Андрусовское перемирие.* — Завершило русско-польскую войну 1654—1667 гг., в результате которой Польша признала воссоединение с Россией Левобережной Украины.

Стр. 332. *Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву...* — Места побед русских войск: под Азовом над турками — 19 июля 1696 г., над шведской армией при Калише — 18 октября 1706 г., под Лесным — 28 сентября 1708 г., под Полтавой — 27 июня 1709 г.

Бунчук — знак сана и власти (прядь конского волоса, укрепленная на украшенном древке).

...поход Чигиринский... — Речь идет о победных действиях под Чигирином 7—24 августа 1677 г. русской армии и казачьих полков против турок.

Стр. 333. *...на корм воеводам...* — Воевода, военачальник и правитель на Руси в XVII в., кормились (содержались) за счет местного населения. Эта система упразднена земской реформой 1655—1656 гг.

Подьячий. — Здесь: вольный делец, «кормящийся пером».

Стр. 334. *Славяно-греко-латинская академия.* — Первое высшее учебное заведение в Москве; открыто в 1687 г. при Заиконоспасском монастыре.

Стр. 335. *...муж мудр биет дитя неразумно... иже щадит жезл, ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно.* — Перефразировка библейских изречений из «Притчей Соломоновых»: «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней».

Келарь — инок, ведующий монастырским хозяйством.

Стр. 338. *Объяринный сарафан* — из объяри, плотной шелковой ткани с золотыми и серебряными узорами.

Стр. 345. *...о щит ее притупятся разженные стрелы лукаво-го...* — Неточная цитата из Евангелия.

Стр. 350. *Боле грешный неправдою...* — Неточная цитата из Псалтыри.

Ков — тайный, злой умысел, козни.

Стр. 354. *Пряслице.* — Здесь: веретено.

Роброн — старинное дамское платье с кринолином на стальных обручах или китовом усе.

Стр. 362. *Головкин* Гаврила (Гавриил) Иванович (1660—1734) — граф, видный государственный деятель, один из воспитателей и сподвижников Петра I, постельничий; с 1709 г. государственный канцлер, с 1718 г.— президент коллегии иностранных дел.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — сподвижник Петра I, русский государственный и военный деятель, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегии (1717), генерал-фельдмаршал (1726). Перевел немало книг на русский язык, ведая Московской гражданской типографией. Его именем был назван гражданский календарь (1709—1715).

Шафиров Петр Павлович (1669—1739) — переводчик Посольского приказа, дипломат, президент Коммерц-коллегии, вице-канцлер, автор исторического сочинения о Северной войне.

Долгорукие — княжеский род; в царствование Петра наиболее известны — *Яков Федорович* (1639—1720), князь, сподвижник Петра I, его советник и доверенное лицо, участник Азовских походов и создания регулярной армии; 11 лет провел в шведском плену; с 1712 г.— сенатор, с 1717 г.— президент Ревизионной коллегии; *Василий Владимирович* (1667—1746), генерал-фельдмаршал, с 1728 г.— член Верховного тайного совета; *Василий Лукич* (ок. 1670—1739), русский дипломат в Польше, Дании, Франции, Швеции. С 1727 г. член Верховного тайного совета; *Михаил Владимирович*, князь, сенатор.

Кикин Александр Васильевич (?—1718) — деятель петровского времени; в 1712 г.— адмиралтейский советник; позднее поддерживал царевича Алексея, за что был казнен.

Бутурлин Иван Иванович (1661—1738) — стольник, генерал.

Стр. 363. *Не хвалися о утрие...* — Цитата из библейских «Притчей Соломоновых».

Стр. 370. *Княгиня Мария Андреевна Меньшикова... утратила в ссылке и жизнь...* — Вероятно, речь идет о жене Александра Даниловича Меншикова, сподвижника Петра I, светлейшего князя, крупного военачальника, Дарье Михайловне; она сконча-

лась по пути в Березов, куда было сослано семейство Меншиковых Петром II в 1727 г.

Стр. 374. *Феофан* Прокопович (1681—1736) — государственный и церковный деятель, сподвижник Петра I, писатель, философ, сторонник просвещенного абсолютизма, с 1721 г.— вице-президент Синода, с 1724 г.— архиепископ Новгородский.

Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — родом из Вестфалии; на русской службе с 1703 г., дипломат, вице-президент Коллегии иностранных дел, воспитатель Петра II; член Верховного тайного совета; в царствование Анны Иоанновны (1730—1740) фактически руководил внешней и внутренней политикой России. В 1741 г. при Елизавете Петровне был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой.

Стр. 376. *Эзоповы и Федровы басни.*— Басни древнегреческого баснописца Эзопа (VI в. до н. э.) и римского — Федра (ок. 15 г. до н. э.— ок. 70 г. н. э.).

Стр. 380. *Шафиров* П. П.— См. примеч. к с. 362.

Б. П. Шереметев.— См. примеч. к с. 320.

Апраксин Федор Матвеевич — см. примеч. к с. 320.

Толстой Петр Андреевич (1645—1729) — граф, государственный деятель и дипломат. Добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича. С 1718 г. начальник тайной канцелярии, президент Коммерц-коллегии.

Дмитрий Михайлович Голицын.— Вероятно, Михаил Михайлович Голицын (1675—1730), князь, генерал, позже фельдмаршал и видный военачальник первой трети XVIII в.

Ягужинский Павел Иванович (1683—1736) — генерал-аншеф, один из ближайших помощников Петра I, дипломат, затем генерал-прокурор (1722).

Стр. 384. *Голицын* Борис Алексеевич (1654—1714) — князь, дядька-воспитатель Петра I. Во время Великого посольства (1697—1698) — одно из главных лиц в правительстве; после Астраханского восстания (1705—1706) в немилости у царя.

Стр. 386. *...царевна Екатерина Ивановна...*— Имеется в виду племянница Петра I, герцогиня Мекленбургская.

Стр. 387. *Неплюев Иван Иванович* (1693—1773) — государственный деятель, конференц-министр и сенатор (с 1760 г.); дипломат, русский резидент в Константинополе.

Апраксин Степан Федорович (1702—1758) — генерал-фельдмаршал (1756), участник турецких походов; главнокомандующий русской армией в начале Семилетней войны (1756—1763); за нерешительные действия отстранен от командования в 1757 г.

Салтыков Петр Семенович (1698—1773) — генерал-фельдмаршал (1759), московский генерал-губернатор (1764—1771),

в Семилетней войне победитель в сражениях при Пальциге и Кунерсдорфе.

Бутурлин Александр Борисович (1694—1767) — генерал-фельдмаршал (1756), сенатор, фаворит Елизаветы Петровны. Во время Семилетней войны, в 1760—1761 гг., был главнокомандующим русской армией.

Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) (1683—1767) — уроженец Вестфалии; с 1721 г. на русской службе; в годы правления Петра I руководил гидравлическими работами; впоследствии граф, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, в правление Анны Леопольдовны был первым министром, при Елизавете Петровне был сослан; возвращен из ссылки в 1762 г. Петром III.

Стр. 388. *...l'hôtel Rambouillet.*— Отель Рамбулье — знаменитый литературный салон XVII в., центр литературной жизни Франции в 1624—1648 гг. Хозяйкой его была Катарин Вивон-Пизани, маркиза Рамбулье.

Стр. 389. *...жезл, наподобие кадуцея...*— Обвитый двумя змеями магический жезл Гермеса (Меркурия), вестника богов и бога торговли, стад и дорог (греч. и римск. миф.).

Стр. 390. *Гросфатер* (нем. Großvater).— Здесь: название старинного танца.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

(1809—1852)

Хотя кроме «Тараса Бульбы» ничего другого в историческом жанре Гоголь не успел закончить, следует отметить и его замысел большого исторического романа «Гетман», от которого сохранилось всего лишь несколько глав. Не окончил Гоголь и историческую трагедию из древнеанглийской истории «Альфред».

В течение полутора лет Гоголь также работал адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-петербургском университете, что свидетельствовало о его сильном желании испробовать свои силы в качестве профессионального историка. Гоголь — автор нескольких статей по всеобщей истории.

Тарас Бульба

(Редакция «Миргорода»)

Впервые — Гоголь Н. В. Миргород. СПб., 1835.

Печатается по изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 2. М., 1983.

Стр. 394. *Пышный.*— Здесь: гордый, недотрога.

Стр. 396. *Пундики* — сладости.

Вытребеньки — причуды.

Стр. 398. *Баторий* Стефан (1533—1586) — см. примеч. к с. 238.

Стр. 401. *Очкур* — шнурок, которым затягивали шаровары.

Казакин — мужское верхнее платье в виде короткого кафтана на крючках со сборками сзади.

Стр. 403. *Консул.*— Здесь: старший из бурсаков, избираемый для надзора за товарищами.

Ликторы.— Здесь: помощники консула.

Стр. 406. *Шемизетка* — накидка.

Стр. 408. *Кулиш* — жидкая пшенная каша с салом.

Стр. 409. *Крамари под ятками* — торговцы в палатках.

Стр. 413. *Кошевой* — выбиравшийся ежегодно руководитель коша (стана).

Стр. 415. *Анотолия* — черноморское побережье Турции.

Стр. 417. *Клейтух* — пыж.

Стр. 419. *Цехин* — старинная золотая монета, первоначально чеканившаяся в Венгрии (с 1284 г.). В XVI в. цехины чеканились во многих государствах под названием «дукаты».

Стр. 420. *Скудельные... города.*— Здесь: слабые, неукрепленные.

Стр. 421. *...картезианский...*— монах одного из средневековых орденов.

Стр. 422. *Кобеняк* — старинная верхняя суконная одежда.

Стр. 450. *Гетман Остраница* — один из героев национально-освободительной борьбы украинского народа в середине XVII в. нежинский полковник Степан Остраница, нанесший сокрушительное поражение польскому гетману Николаю Потоцкому. Позже гетман Остраница был вероломно убит польской шляхтой. Гоголь выбрал Остраницу главным героем для своего оставшегося неоконченным исторического романа «Гетман».

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ МАСАЛЬСКИЙ

(1802—1861)

Писатель и журналист, К. П. Масальский родился в Ярославле в семье чиновника. Окончил курс в дворянском пансионе при Петербургском университете. По служебной лестнице достиг чина действительного статского советника. В течение десяти лет был главным редактором известного журнала «Сын Отечества» (1842—1852). Его перу принадлежит ряд исторических романов и повестей: «Терпи, казак, атаманом будешь»,

«Стрельцы», «Регентство Бирона», «Бородолюбие», «Русский Икар», «Осада Углича», «На ледяных горах», «Граница 1616 года».

Масальский был первым русским переводчиком «Дон Кихота» Сервантеса (1838—1849).

Черный ящик

Историческая повесть

Впервые — отдельной книгой: «Черный ящик. Историческая повесть. Сочинение Константина Масальского». СПб., 1843.

Печатается по изд.: Предслава и Добрыня. М., 1986.

Стр. 459. *Александр Данилыч Меншиков* (1673—1729) выдающийся государственный деятель и полководец, светлейший князь (1707), фельдмаршал (1709), генералиссимус (1727); сыграл важную роль в Полтавской битве, президент Военной коллегии (1718—1724 и 1726—1727). При Екатерине I Меншиков оказался фактическим правителем государства. В 1727 г. новым императором Петром II был подвергнут опале и сослан в Сибирь.

Стр. 468. *Князь Бутурлин.*— См. примеч. на с. 387.

Стр. 469. *Плисовые штаны* — из плиса, хлопчатобумажного бархата.

Стр. 473. *Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там!..*— Строка из стихотворной сатирической повести И. И. Дмитриева (1760—1837) «Модная жена» (1792).

Стр. 474. *Пофилософствуй! Ум вскружится!* — Реплика из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 476. *...речи, которые Гомер называл крылатыми.*— Выражение «крылатое слово» восходит к Гомеру: оно часто встречается в «Илиаде» и «Одиссее» и употребляется в значении афоризма, меткого выражения.

Стр. 492. *Король Густав Адольф.*— Густав II Адольф (1594—1632), король Швеции с 1611 г., активный участник Тридцатилетней войны.

Стр. 494. *Раймунд Лулл* (Луллий) (ок. 1235— ок. 1315) — поэт, теолог и философ-мистик, был миссионером в Северной Африке, занимался алхимией и оставил рецепт получения философского камня. Написал много трудов богословского, медицинского и философского содержания на каталонском, арабском и латинском языках.

Король Эдуард I (1239—1307) — английский король с 1272 г. из династии Плантагенетов; при нем был присоединен Уэльс и начал регулярно собираться парламент.

Стр. 495. *Юлий Кесарь* — Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.), знаменитый римский полководец и государственный деятель. При нем путем установления его пожизненной диктатуры была фактически уничтожена республика в Древнем Риме и подготовлен переход к монархической форме правления. Цезарь был убит во время заседания Сената заговорщиками-республиканцами.

Феодосий Великий — Флавий Феодосий Август (ок. 346—395), римский император с 379 г. Провозгласил в 380 г. христианство единственной религией во всей Римской империи; преследовал армян и язычников; отменил Олимпийские игры.

Юпитер Серапис.— Культ Сераписа, объединившего в себе черты египетских богов Аписа, Осириса и греческих Зевса и Аида, характерен для религий эллинистической эпохи; в этом культе особенно заметны черты мистицизма.

Стр. 498. *Ингерманландия* (Ижорская земля).— Так называлась в XII—XVII вв. местность по берегам Невы и юго-западному Приладожью.

Гаврила Иванович Головкин (1660—1734) — граф, видный государственный деятель, один из воспитателей и сподвижников Петра I, руководитель русской внешней политики после смерти Ф. А. Головина; с 1709 г. государственный канцлер, с 1718—президент коллегии иностранных дел.

Стр. 501. *...санкт-петербургского обер-коменданта Романа Вилимовича Брюса*.— Р. В. Брюс (1668—1720) был комендантом Петропавловской крепости; он участвовал в Азовских походах, сражался под Нарвой, Шлиссельбургом, Ниеншанцем; о его брате, Я. В. Брюсе, см. примеч. на с. 721.

Стр. 509. *Корреджио* (Корреджо; настоящая фамилия Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534) — знаменитый итальянский живописец.

Стр. 513. *Анна Иоанновна* (1693—1750) — племянница Петра I, герцогиня курляндская (с 1710), с 1730 г. российская императрица; фактически правителем при ней был ее фаворит Э. И. Бирон (1690—1772).

Стр. 514. *Апраксин*.— См. примеч. к с. 320.

Одежд и лиц, // Племен, наречий, состояний.— Приводится цитата из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники».

Стр. 515. *...женоубийца Рауль Синяя борода...*— Речь идет о герое старинной французской сказки, кровожадном рыцаре, убившем за любопытство шесть жен.

Балакирев Иван Александрович (1699—1763) — придворный шут при Петре I и Анне Иоанновне.

АЛЕКСАНДР ФОМИЧ ВЕЛЬТМАН

(1800—1870)

Русский писатель, историк, археолог, А. Ф. Вельтман родился в Петербурге в семье шведского происхождения. Отец его служил в лейб-гвардейском гренадерском полку. Учился Вельтман в Московском университетском благородном пансионе, частном пансионе Терликова и в школе колонновожатых, откуда был выпущен в 1817 году офицером по квартирмейстерской части. В отставку он вышел в 1831 году в звании подполковника, и с того времени основным его занятием становится литература. Его перу принадлежат многочисленные исторические, фантастические и психологически-бытовые романы и повести («Беглец», «Странник», «Муромские леса», «MMMCDXLVIII год, рукопись Мартына Задеки», «Сердце и думка», «Лунатик», «Александр Филиппович Македонский», «Предки Каломероса», «Генерал Каломерос», «Новый Емеля, или Превращения», «Саломея» и др.). Некоторые из них, например, историко-былинные романы «Кощей Бессмертный» (1833) и «Святославич, вражий питомец» (1835), имели шумный успех.

Произведения Вельтмана отмечены элементами литературного бурлеска и травестирования, что сообщает его творческой манере печать неповторимого своеобразия.

Вельтман выступал и как профессиональный историк и археолог. В 1852 году он был назначен директором Оружейной палаты в Кремле; в 1854 году — избран членом-корреспондентом Академии наук.

Райна, королевна Болгарская

Впервые — Библиотека для чтения. СПб., 1843, т. 59.

Печатается по изд.: Вельтман А. Ф. Романы. М., 1985.

Стр. 537. *Симеон* (864—927) — болгарский князь (с 893 г.), царь (с 919 г.). В правление Симеона Первое Болгарское царство достигло наибольшего могущества и территориального расширения в войнах с Византией.

Филархия.— Здесь: честолюбие.

Стр. 538. *...Роман Лекапен, василевс Восточного Римского Царства...*— Роман I Лакапин (?—948) византийский император с 920 г. Остановил наступление болгар на Константинополь. После смерти Симеона распространил свое влияние на Болгарию.

Великий логофет — высший придворный чин.

Беллерофон — герой греческой мифологии: на укрощенном

им крылатом коне Пегасе победил трехглавое чудовище Химеру.

Эльбордж — Эльбрус.

Протостратор, деспот, севастократор, панхиперсеваст, доместик — придворные должности при византийском дворе.

Стр. 541. *Стратиот.*— Первоначально: византийский свободный земледелец, обязанный нести военную службу государству (с собственным конем и оружием); здесь: рыцарь-феодал.

Стратиот Никифор.— Византийский император Никифор II Фока (963—969) проводил политику, отражавшую интересы стратиотов. Военная реформа Фоки считала катафрактов (латников-кавалеристов) основой армии, с ними он вел победоносные войны с арабами. В 966 г. Никифор начал войну с Болгарией, которую, судя по византийским хроникам, ненавидел. Убит в результате заговора Иоанна Цимисхия.

Стр. 542. *Сариссофоры* — копьеносцы (сарисы — основное вооружение тяжелой пехоты в Древней Македонии).

Фаранги — франки, служившие наемниками.

Порфира — пурпурная царская одежда.

Стр. 547. *Меровинги* — первая королевская династия во Франкском государстве (конец V в.— 751 г.).

Стр. 548. *Челенка* — головной наряд, хоругвь.

Стр. 549. *...«Руси есть веселие пити, не может без того быти!»* — Изречение, приписываемое в «Повести временных лет» великому князю Владимиру Святославовичу.

...рода руссов — поколения древних земных богов.— Вельтман считал, что слово «руссы» происходит от древнеиндийского «раджи».

...«тако ж и прочии вои его бяху веси».— Вельтман дословно цитирует слова летописи о воспитании Святослава.

...любили полосы.— Слово «полоса» Вельтман производил от древнеиндийского «палас» (полоса меча), показывая, что руссы хранили традиции своих индоевропейских предков. Возможно, что автор учитывал и сообщения римских источников о преобладании у древних германцев (которых он считал славянами) длинных рубящих мечей над колющим оружием.

...князь почал, а дружина кончила дело победой.— Перефраз из «Повести временных лет» (поход Святослава на древлян). По ритуалу битва начиналась с того, что князь (полководец) бросал копье или стрелу в сторону противника.

Стр. 550. *...аз и иже со мною... да изсечени будем.*— Вельтман перефразирует клятву русичей из договоров Руси с греками 912 и 945 гг., приведенных в «Повести временных лет». Помещенное выше описание вокняжения Святослава — художественная реконструкция; в источниках это событие не отразилось.

Полки словен... и тиверцев...— славянские племена, входившие в состав Древнерусского государства.

...тружаяся ловы деять...— Цитата из «Поучения Владимира Мономаха». О Малуше и ее брате Добрыне рассказывается в «Повести временных лет».

Стр. 551. *Вокруг него нет невольников... ни в Берестовом.*— Намек на летописное сообщение о «блудодеяниях» сына Святослава — Владимира.

Стр. 551—552. *Не метали при нем старцы и бояре жеребья... не осквернялась еще кровми земля русская и холм той...*— «Повесть временных лет» рассказывает, что, когда Владимир Святославович стал княжить в Киеве, он «поставил кумиров на холме». При нем, по летописи, «осквернилась кровью земля Русская и холм тот». Отроков и девиц для жертвоприношений выбирали по жребию.

Стр. 552. *Нарочитых людей* — знатных людей.

Паволока — дорогая привозная ткань в Древней Руси.

...ежели приедет Русь с куплею... и различные овощи.— Пересказ договора Руси с греками, помещенного в «Повести временных лет».

Стр. 553. *Багр и синета* — багряные и синие ткани.

...и послал меня отец твой, княже, с наемными печенегами воевать землю.— В «Повести временных лет» сообщается, что, разгневавшись на болгар, предупредивших византийцев о русском походе, Игорь «повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и паволоки на всех воинов, возвратился и пришел назад к Киеву восвояси».

...оставив воеводу Претича охранять Киев...— В летописи упоминается, что, когда Святослав был в Болгарии, Киев осадили печенеги. Собрав войско, Претич рассчитывал переправиться через Днепр и спасти княгиню и княжичей. Увидев его дружину, печенеги, подумав, что возвращается сам князь, «побежали от города врассыпную».

Стр. 555. *Кметы и момцы* — сельские старосты и десятники с подручными.

Рад — соборная площадь.

Стр. 557. *...за двадцать шесть лет храбрые болгары лозою изгнали из своей земли насильников русь и печенегов...*— Согласно «Повести временных лет», набег Игоря на Константинополь был отбит в 941 г. Нет известий об участии в походе печенегов и столкновений русичей с болгарами. Вельтман домыслил этот эпизод, исходя из того, что первый мир Руси с печенегами был заключен в 915 г., а болгары могли преследовать проходящих мимо них русичей.

Стр. 566. *Челеги* — ловчие птицы.

Стр. 567. *Луница гривенная* — полукруглое драгоценное ожерелье, отличавшееся от гривны тем, что застегивалось не вокруг шеи, а на плечах.

Стр. 568. *Морана.*— В древнеславянской мифологии богиня смерти, зимы и ночи (от санскр. mri — умираю).

Стр. 569. *Капа* — шапка.

Стр. 570. *Калугерская одежда* — одежда пилигрима.

Стр. 571. *Саян.*— Здесь: кафтан.

Буздованы — палицы.

Стр. 578. *...разбил комитопула Самуила, собравшего войско, прошел тучей по поморью Болгарии и по Дунаю, одождил калеными стрелами и камнями города.*— «Повесть временных лет» рассказывает: «В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их восемьдесят по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков». Вскоре после этого Болгария разделилась. Западная — управлялась комитополами и занимала антивизантийскую позицию. Святослав не враждовал с ней. Сражение с Самуилом появилось в повести в связи с тем, что Вельтман склонен был считать Святослава преемником царя Симеона, боровшегося за единство Болгарии.

Стр. 580. *Калугер* — почтенный старец, монах.

Стр. 585. *...Симеон умер именно в тот день и час, когда голова его, изваянная мною из воску, растаяла на костре посреди площади Таврической...*— «В «Хронике Амартола» (на которую в данном случае опирается и «Повесть временных лет») смерть Симеона представлена более реалистично.

Стр. 590. *Иоанн Цимисхий* — византийский император (966—976) из знатного малоазийского рода Куркуасов. Вел активную внешнюю политику на Балканах, в Сирии, жестоко расправлялся с многочисленными восстаниями внутри империи.

Стр. 591. *...на оболонье...*— под стенами города.

Стр. 592. *Чужой земли ищешь ты, а от своей отчуждался!* — В «Повести временных лет» рассказывается, что после того как Претич снял осаду Киева (968), печенеги не ушли с русской земли, а стояли на реке Лыбеде.

Стр. 593. *Прилепился я к богу отцов моих... в путях моих.*— В диалоге Ольги и Святослава автор использует текст летописи.

Стр. 594. *Святослав не мог противиться последнему желанию больной матери.*— Рассказ о жизни Святослава в Киеве также взят из «Повести временных лет».

Стр. 595. *...греки взяли Преслав.*— Преслав пал уже после возвращения Святослава в Болгарию. В повести, вопреки историческим фактам, Святослав прибывает в Болгарию к началу обо-

роны Доростола и тут же вновь покидает поле битвы, бросившись спасать Райну.

Стр. 596. *...и просил от имени всего народа защиты против насилия Руси и поставленного ими короля Бориса.*— Посольство болгар было направлено не к Цимисхию, как пишет Вельтман, а к Фоке во время первого похода Святослава.

Стратиг.— В Византии наместник области, обладавший в ней всей полнотой власти. *Феодор* — лицо историческое.

Стр. 602. *Кул* — башня.

Пласт — плащ.

Стр. 604. *Бой с Святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну.*— В Азии византийцы не сталкивались с серьезной пехотой и основным родом войск считали тяжеловооруженную конницу.

Стр. 609. *Гай* — боевой клич.

Стр. 611. *...на голове хохол, признак великого рода русского, и в ухе серьга, украшенная жемчужинами и рубином, как у благорожденных предков раджей.*— Обычай русских князей носить длинный чуб и серьгу Вельтман считал одним из древнейших у индоевропейцев.

Стр. 615. *Ноин* (нойон) — ордынский воевода.

НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КУКОЛЬНИК

(1809—1868)

Учился Кукольник в Нежинской гимназии высших наук, приравненной к высшему учебному заведению, где директором был его отец. Среди его однокашников был Н. В. Гоголь.

После переезда в Петербург Кукольник быстро приобрел литературную известность. На середину 1830-х годов приходится пик его читательской популярности. Осип Сенковский даже назвал Кукольника «новым Гете».

В эти годы Кукольник выступает практически во всех жанрах: пишет стихи, драмы, с которых и началась его шумная слава, повести и романы, статьи и очерки. О плодовитости Кукольника может красноречиво свидетельствовать хотя бы такой факт: его перу принадлежит свыше пятнадцати романов, не считая еще большего числа повестей. Не все было в его творчестве равноценным. Учитывая эстетический анахронизм литературного направления, к которому принадлежал Кукольник, не приходится особенно удивляться быстрому закату его литературной популярности, наступившему уже к середине столетия. Но наиболее значимой в творчестве Кукольника оказалась его историческая проза. Рядом с повестями из эпохи Петра I («Позуман-

тами», «Прокурором», «Сержантом Иваном Ивановичом», «Сказанием о синем и зеленом сукне», «Новым годом») можно поставить и повесть «Максим Созонтович Березовский», одно из первых русских произведений биографического жанра. Своеобразный интерес представляет и историко-авантюрная проза Кукольника — его романы «Эвелина де Вальероль», «Альф и Альдона», повести «Историческая красавица», «Жан-Батист Людо», «Антонио», «Полковник Лесли», «Часовой».

Максим Созонтович Березовский

Исторический рассказ

Впервые — Сказка за сказкой (редактор Н. В. Кукольник). СПб., 1844.

Печатается по изд.: Кукольник Н. В. Сочинения. Повести и рассказы, т. VI. СПб., 1852.

Стр. 618. *Фаринелли* Карло-Броски (1705—1782) — знаменитый певец (сопрано), он был к тому же и политическим деятелем: в Испании при короле Фердинанде VI стал министром, при Карле III вернулся в Италию.

Стр. 619. *Мартини* Джямбаттиста (1706—1784) — итальянский историк музыки и композитор.

Леопольд Моцарт (1719—1787) — композитор, член капеллы архиепископа Зальцбургского; отец знаменитого Моцарта.

Стр. 620. *...как меня будут хвалить за царя Митридата...* — Речь идет об одной из первых опер В.-А. Моцарта «Митридат». Митридат — имя ряда царей в Боспорском царстве.

Стр. 621. *Каденция* — гармонический оборот, завершающий музыкальное построение.

Стр. 622. *Дожинки* — последний день жатвы, отмечавшийся как праздник.

Стр. 623. *Румянцев*-Задунайский Петр Александрович (1725—1796) —граф (1744), генерал-фельдмаршал (1770), с 1764 г. президент Малороссийской коллегии; прославился своими победами в войнах с турками и в Семилетней войне.

Стр. 627. *Сарти* Джузеппе (1729—1802) — итальянский композитор и дирижер. С 1784 г. работал в России; несколько лет находился при Потемкине.

Стр. 630. *Чесменский огонь.* — Имеется в виду Чесменское сражение в июне 1770 г., когда две русские эскадры под общим командованием А. Г. Орлова (1737—1807/8), графа (1762), генерал-аншефа (1769), нанесли поражение турецкому флоту. За эту победу Орлов получил титул Чесменского.

Стр. 632. *Opera seria* — см. примеч. на с. 656 наст. тома.

Стр. 634. *Гекуба* — жена троянского царя Приама, мать Гектора и Париса.

Гвидо-Рени (1575—1642) — знаменитый итальянский живописец болонской школы.

Стр. 649. *...чай Лосенку ты видал...* — Имеется в виду Лосенко А. П. (1737—1773), живописец и рисовальщик.

Стр. 651. *Метастазио* Пьетро (1698—1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист. К его услугам либреттиста обращались Гендель, Глюк, Моцарт, Гайдн и др.

Демофонт — мифический герой; сын елевсинского царя Келея; его кормилицей была богиня Деметра. Березовский написал на этот сюжет оперу «Демофонт».

Стр. 665. *Лаццарони* (ит.) — босяк, бездельник.

Стр. 668. *Инде* — с другой стороны, кое-где, где-нибудь.

Стр. 678. *Чимароза* Доменико (1749—1801) — известный итальянский оперный композитор; три года провел в России.

Паэзиэлло (Паизиелло) Джованни (1740—1816) — итальянский композитор, крупнейший представитель неаполитанской оперной школы; в течение нескольких лет был придворным композитором в Петербурге.

Стр. 680. *...осьмиголосный концерт: «Не отвержи мене...»* — Имеется в виду самый известный из написанных Березовским хоровых концертов — «Не отвержи мене во время старости».

Стр. 682. *Хандошкин* Иван (1765—1804) — виртуозный скрипач и композитор, учился в Италии у знаменитого Тартини.

Стр. 690. *Старов.* — Очевидно, Иван Егорович Старов (1743—1808), архитектор, адъюнкт-ректор Академии художеств (1794).

СОДЕРЖАНИЕ

Р 89 Русская историческая повесть: В 2-х т. Т. 1/ Сост., подгот. текста, вступ. статья, коммент. Ю. Беляева.— М.: Худож. лит., 1988.— 735 с.

ISBN 5—280—00094—9 (Т. 1)
ISBN 5—280—00093—0

В 1-й том входят исторические повести первой половины XIX века Н. М. Карамзина, А. А. Бестужева-Марлинского, Н. А. Полевого, А. О. Корниловича, Н. В. Гоголя и др.

Р $\frac{4702010100-367}{028(01)-88}$ 1—88 ББК 84Р1

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Том первый

●

Редактор *Г. Колосова*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
В. Нефёдова
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова
ИБ № 5041

Сдано в набор 09.02.88. Подписано к печати 15.09.88. Формат 84×108[1]/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64. Усл. кр.-отт. 39,06. Уч.-изд. л. 43,19. Тираж 500 000 экз. (1-й завод 1—250 000). Изд. № II-2700. Заказ № 1405.
Цена 3 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

